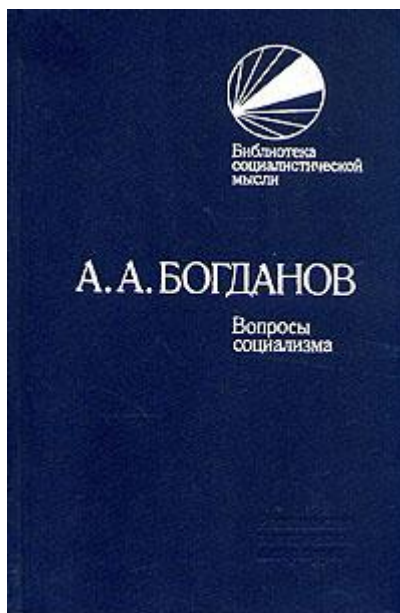


# Александр Александрович Богданов Вопросы социализма (сборник)



<http://www.teatr-lib.ru>

«Вопросы социализма»: Политиздат; Москва; 1990

ISBN 5-250-00982-4

## **Аннотация**

*В настоящем сборнике впервые осуществлена попытка дать целостное представление о взглядах видного деятеля рабочего движения, крупного ученого, интересного мыслителя и талантливого писателя А. А. Богданова на социализм. Читатель получит возможность детально познакомиться с его анализом проблем движения человечества по пути к социализму, места и роль науки и культуры в процессе подготовки пролетариата к социалистической революции, планомерной организации жизни нового общества. Помимо теоретических работ в сборник включены и художественные произведения Богданова — «Красная звезда» и «Инженер Мэнни».*

<http://ruslit.traumlibrary.net>

## **Александр Александрович Богданов Вопросы социализма Работы разных лет**

### ***Трагедия коллективиста***

Выдающийся французский мыслитель Сен-Симон, стоявший у истоков утопического социализма прошлого столетия, различал «органические» и «критические» исторические эпохи. Во второй половине 80х гг. века нынешнего на наших глазах застойная органичность «развитого социализма» сменилась порывистой и бурной критичностью перестройки и демократизации. Разрушены бытовавшие десятилетиями стереотипы; гласность обнажила кровоточащие раны истории; стало очевидным кризисное состояние «плановой экономики», густым туманом нависла неопределенность общественной перспективы. Оживился старый спор о соответствии человеческой природы социальному идеалу, и не в унылом однообразии

резолуций, а в напряженном осмыслении тревожных реалий, в пестром калейдоскопе различных мнений и в переключке духовных традиций приходится сегодня искать ответы на вопросы: «Что за общество мы построили?», «Какой социализм народу нужен?»

Поиск «ариадниной нити», способной вывести из лабиринта предубеждений в спорах о судьбах социалистической идеи, невозможен без кропотливого (а не крикливого!) воссоздания исторической правды, нового обращения к «критическим точкам» богатейшей истории социалистической мысли. К числу таких «критических точек», долгое время замазываемых черной краской тенденциозных схем, принадлежит и идейное наследие Александра Александровича Богданова. Видный деятель пролетарского этапа революционного движения, естествоиспытатель с «удивительным по своей универсальности и способности к синтезу умом»<sup>1</sup>, врач, философ, экономист, писатель-фантаст — зачастую он представляется общественному сознанию смутной, однобокой, деформированной предвзятостью «исследователей» фигурой, и мало кто знает, что подытожившая его кипучую многостороннюю деятельность тектология<sup>2</sup> — всеобщая организационная наука, ныне признанная первой глубоко разработанной общесистемной концепцией и непосредственной предшественницей кибернетики, — была задумана именно как *наука о строительстве социализма* на основе *всего* социально-экономического и культурного опыта, накопленного *человечеством*<sup>3</sup>. Богданов считал себя «рядовым представителем великого и сильного течения жизни и мысли, которое даст людям действительную свободу развития».

А. А. Малиновский (Богданов) родился 10 (22) августа 1873 г. в г. Соколка Гродненской губернии. Вторым из шести детей в малообеспеченной семье народного учителя, он с детства отличался математическим складом ума, превосходной памятью, редким трудолюбием, любовью к книге и естественным наукам. Окончив с золотой медалью тульскую классическую гимназию (куда был принят на казенный кошт и где «злостно-тупое начальство» научило его «бояться и ненавидеть властвующих и отрицать авторитеты»<sup>4</sup>), в 1892 г. поступил на естественное отделение Московского университета, откуда вскоре был исключен за активное участие в народовольческом Союзном Совете землячеств. Высланный в Тулу, «неблагонадежный» студент сближается с рабочим оружейником Иваном Савельевым (1870–1900), искавшим «интеллигента» для занятий в рабочих кружках. Взявшись за объяснение рабочим тульских заводов политэкономии Маркса, Александр пробует подвести своих слушателей к учению о прибавочной стоимости через легальные пособия либерального направления, но быстро чувствует их неудовлетворительность и, опираясь на беседы с рабочими и самостоятельную работу над «Капиталом», пишет специальные лекции, из которых сложился «Краткий курс экономической науки», вышедший в 1897 г. под ставшим вскоре широко известным псевдонимом «А. Богданов».

Статья К. Тулина (В. И. Ленина) «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве» закрепила окончательный переход молодого пропагандиста от народовольческих идей к марксизму. А сам В. И. Ленин в рецензии на «Краткий курс экономической науки» писал о «выдающихся достоинствах этого сочинения», называя его «замечательным явлением в нашей экономической литературе»<sup>5</sup>. К 1898 г. вокруг кружка

---

<sup>1</sup> Моисеев Н. Н. Экология человечества глазами математика. М., 1988. С. 175.

<sup>2</sup> От греческого «тектон» — «строитель».

<sup>3</sup> См.: Богданов А. А. Тектология. М., 1989. Кн. I. С. 13–14, 106.

<sup>4</sup> Деятели СССР и революционного движения России. М., 1989. С. 361.

<sup>5</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 35.

А. Богданова — И. Савельева вырастает тульская социал-демократическая организация. Через несколько лет автор «Курса экономической науки» станет ближайшим соратником Ленина в борьбе за организационное оформление большевизма.

Марксизм был для Богданова «научным откровением»<sup>6</sup>, однако народовольческий порыв его юности не прошел бесследно. Нравственный идеализм и максимализм, просветительский энтузиазм и стремление активно влиять на ход истории, сочетание энергии раскрепощенного знания с самоотверженностью революционного действия — эти черты роднили большевика Богданова с поколением, которому в туманной дали будущего светили две путеводные звезды — наука и гражданская свобода<sup>7</sup>. Своеобразную форму приняла у быстро приобретшего литературное имя «глубоко чтимого в кругах молодой социал-демократии автора „Политэкономии“»<sup>8</sup> выпестованная П. Л. Лавровым идея долга интеллигенции перед народом — «преобразовать науку так, чтобы сделать ее доступной рабочему классу», преодолеть отчуждение широких трудящихся масс от богатства знаний, накопленного человечеством.

В 1899 г. определившийся в своих убеждениях «работник научного социализма» становится одновременно дипломированным медиком, автором философского сочинения «Основные элементы исторического взгляда на природу», написанного с целью удовлетворить широту и разнообразие запросов рабочих «в области общего мировоззрения», и... политическим ссыльным. Четырехлетнее поднадзорное пребывание в Калуге и Вологде вместило приобретение практического опыта врача-психиатра, ежедневные многочасовые занятия самообразованием и научно-литературным трудом, сближение с талантливым публицистом и оратором А. Луначарским, жаркие дебаты со ссыльной «аристократией» — апостолом «вольного духа» Н. Бердяевым, начинающим боевиком Б. Савинковым, писателем А. Ремизовым, историком П. Щеголевым; путешествие вместе с еще одним «неблагонадежным», будущим знаменитым арктическим исследователем В. Русановым по Коми-Зырянскому краю; наконец, главное — переписку в качестве секретаря вологодской группы социал-демократов с В. И. Лениным и редакцией газеты «Искра». Простудированная в ссылке книга Ленина «Что делать?» предопределила выбор Богданова после раскола РСДРП на II съезде. Летом 1904 г., приехав из России в Женеву, он становится ближайшим соратником Ленина в борьбе с меньшевиками-«новоискровцами». Закаленный годами партийной работы в Туле, Москве, Вологде, Харькове, Калуге, Твери, отточивший теоретическую мысль и перо публициста в полемике с С. Булгаковым и М. Туган-Барановским, Богданов (партийные клички «Рядовой» и «Максимов») вносит весомый вклад в организацию III съезда РСДРП, на котором избирается в новый ЦК партии.

Однако уже в то время попытки Богданова и его «меньшого брата» Луначарского представить марксистскую философию в «более широкой и ярко-цветной редакции», чем «сухая и отжившая плехановская ортодоксия», вызывают настороженное отношение Ленина. При знакомстве с Богдановым, указывал Владимир Ильич, «мы сразу презентовали друг другу: я — „Шаги“, он — одну свою *тогдашнюю* философскую работу. И я тотчас же (весной или в начале лета 1904 г.) писал ему... что он меня своими писаниями сугубо убеждает в правильности своих взглядов и сугубо убеждает в правильности взглядов Плеханова»<sup>9</sup>. Однако «неортодоксальность» Богданова и Луначарского, вызывая у Ленина

---

<sup>6</sup> Луначарский А. В. А. А. Богданов. Некролог // Правда. 1928. 10 апреля.

<sup>7</sup> См.: Морозов Н. А. Повести моей жизни. М., 1965. Т. 1. С. 43.

<sup>8</sup> Луначарский А. В. Воспоминания и впечатления. М., 1968. С. 248.

<sup>9</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 47. С. 141.

«известную досаду», не мешала единству отчетливой революционной позиции в политике<sup>10</sup>. Впоследствии Ленин подчеркивал: «Летом и осенью 1904 г. мы окончательно сошлись с Богдановым, как *беки*, и заключили тот молчаливый и молчаливо устраняющий философию, как нейтральную область, блок, который просуществовал все время революции и дал нам возможность совместно провести в революцию ту тактику революционной социал-демократии (= большевизма), которая, по моему глубочайшему убеждению, была единственно правильной»<sup>11</sup>.

Богданов был в гуще революционных событий 1905 г.: представитель ЦК партии в Исполкоме Петербургского Совета рабочих депутатов, руководитель (вместе с Л. Красиным) большевистской военно-технической группы, автор многих прокламаций и летучих листовок ЦК РСДРП. В 1906 г. отношения Ленина и Богданова скрепляются совместной дружеской жизнью на конспиративной даче на станции Куоккала в Финляндии. Однако «блоку» не суждено было оказаться длительным.

Червоточина разногласий, первоначально вызванная прямолинейностью Богданова в тактических вопросах, становится все сильнее в связи с растущей обеспокоенностью Ленина идейными шатаниями среди русских социал-демократов. Философия перестает быть нейтральной областью. В «Материализме и эмпириокритицизме» Ленин показывает, «на чем свихнулись люди, преподносящие под видом марксизма нечто невероятно сбивчивое, путаное и реакционное», «как мертвый философский идеализм хватает живого марксиста Богданова»<sup>12</sup>. Богданов, однако, упорно отстаивал свои позиции, и обоюдоострая полемика закончилась расколом.

Более 80 лет отделяют нас от резкой критики В. И. Лениным философских взглядов А. А. Богданова. С тех пор «лично — заклятый враг всякой реакции»<sup>13</sup> фигурирует исключительно под рубрикой «идейного противника», «ревизиониста» и «махиста». Огородившись частоколом ленинских цитат, оказалось возможным фабриковать самые нелепые обвинения в адрес автора «Эмпириомонизма». Ниже мы кратко остановимся на них. А сейчас попробуем бегло проследить путь, каким большевик Богданов пришел к сомнительной репутации «еретика во марксизме».

Наука и социализм — вот два берега, между которыми пролегает русло идейной эволюции марксиста Богданова. Воспринятая им от разночинцев-шестидесятников убежденность в неограниченных возможностях научного знания укрепилась историческим оптимизмом учения Маркса. Рационалистический склад ума (для психолога Богданов мог бы служить образцом «левополушарного мышления») и волевой характер натуры не позволяли ему разделить чувство непреодолимой «надтреснутости мира», охватившее деятелей «серебряного века» русской культуры — от Александра Блока до о. Павла Флоренского<sup>14</sup>. Будучи не только ученым, но и активным революционером, не только естество-, но и «социоиспытателем», Богданов не сомневался в способности общества поставить под свой контроль «условия жизни, окружающие людей и до сих пор над ними

---

<sup>10</sup> См.: *Луначарский А. В.* Воспоминания и впечатления. С. 34.

<sup>11</sup> *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 47. С. 142.

<sup>12</sup> Там же. Т. 18. С. 11, 346.

<sup>13</sup> См. там же. С. 346.

<sup>14</sup> См.: *Блок А. А.* Собр. соч. В 6 т. М., 1971. Т. 5. С. 275; *Половинкин С. А.* П. А. Флоренский: логос против хаоса. М., 1988. С. 21–22.

господствовавшие...»<sup>15</sup>.

Расцвет политической деятельности Богданова и первые работы зрелого периода его научно-теоретического творчества («Новый мир», «О социализме» и пресловутый «Эмпириомонизм») падают на 1904–1906 гг. — эпоху подготовки и подъема первой российской революции. Революция 1905 г. — сердцевина первого десятилетия XX в. — времени глубочайших социальных потрясений и невиданного взлета мирового научного движения, определенного А. А. Богдановым как «научно-техническая революция»<sup>16</sup>. Неутомимый искатель и блестящий эрудит, он не мог не быть захвачен атмосферой «одного из самых романтических периодов в развитии человеческого знания... когда даже химические элементы перестали казаться неизменными, а материи неподвижными»<sup>17</sup>, когда выяснилось, «что взрывы, полные игры, таят томсоновы вихри, и что огромные миры в атомных силах не утихли»<sup>18</sup>, когда открылись удивительные и тревожные перспективы радиоактивности, набрала силу физическая химия, разгорелся горячий спор о каналах на Марсе и прозвучали вещие слова Циолковского об «исследовании мировых пространств реактивными приборами». Оказавшись в этом пространстве идей «всеобщей динамизации и торжества эволюционного принципа»<sup>19</sup>, Богданов ставит перед собой задачу найти познавательные формы «бесконечно широкие и прочные, но и бесконечно пластичные, чтобы охватить все разнообразие беспредельно прогрессирующей жизни»<sup>20</sup>.

Он обращает особое внимание на два заметных явления философии естествознания конца XIX — начала XX в. — на историко-методологические труды австрийского физика Э. Маха и «энергетический императив», предлагаемый немецким ученым В. Оствальдом как принцип культурного движения<sup>21</sup>. В работах Маха Богданова привлекла «борьба против всевозможных фетишей научного и философского познания... окаменелых понятий, успокаивающих и задерживающих пылливость человеческого ума»<sup>22</sup>, в натурфилософском «монизме» Оствальда — направленность на содействие победе естественнонаучного рассмотрения всякого явления природы и общества. Богданову представлялся совместимым критический дух учения Маркса и «монистическое понимание общественной жизни и

---

<sup>15</sup> Богданов А. А. Приключения одной философской школы. СПб., 1908. С. 66.

<sup>16</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 294.

<sup>17</sup> Старостин Б. А. От феномена человека к человеческой сущности // Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987. С. 7.

<sup>18</sup> Белый А. Первое свидание // Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. С. 410.

<sup>19</sup> Старостин Б. А. От феномена человека к человеческой сущности // Тейяр де Шарден П. Феномен человека. С. 7.

<sup>20</sup> Богданов А. А. Эмпириомонизм. Кн. 1. М., 1904. С. 7.

<sup>21</sup> Вызывает недоумение, что литературовед Л. Аннинский в интересной статье «Откровение и сокровение. Горький и Платонов», говоря о восприятии А. М. Горьким и А. П. Платоновым нового мироотношения, в котором «основа бытия не материя, а энергия, преодолевающая, преображающая и одухотворяющая материю» (Литературное обозрение. 1989. № 9 С. 19), проходит мимо А. А. Богданова, влияние которого испытали оба великих писателя.

<sup>22</sup> Критический анализ понятий абсолютного пространства и абсолютного времени классической механики, осуществленный Э. Махом, сыграл большую роль в становлении теории относительности и был высоко оценен А. Эйнштейном, не принимавшим, однако, философии Маха.

развития» с «новейшим естественнонаучным позитивизмом». На этой почве он столкнулся с мэтром «ортодоксального марксизма» Г. В. Плехановым и его школой, квалифицировавшей взгляды Богданова как «новую разновидность ревизионизма».

Ленин солидаризировался в 1908–1909 гг. с плехановской критикой Богданова, хотя и подчеркнул ее недостаточность — игнорирование связи «махизма» с новейшей революцией в естествознании. Последнее замечание представляется очень важным и позволяет по-новому взглянуть на спор между Плехановым и Богдановым.

Марксизм был не только социально-философским учением, создавшим теоретический фундамент освободительной борьбы пролетариата, но и *методологическим обобщением* достижений науки XIX в. Плеханов и Богданов, считая себя приверженцами марксизма, смотрели на него, однако, *разными глазами*. Эта разница не только в том, что один был более умеренным, а другой — более радикальным, но прежде всего, используя меткое выражение П. Тейяра де Шардена, «вся разница между тем, кто только читал, и тем, кто проделывал опыты»<sup>23</sup>. Не случайно «опыт» — ключевое понятие в системе взглядов Богданова, тогда как Плеханов неизменно гордился большим количеством *прочитанных* книг по истории философии. И. В. Гете (по иронии судьбы, любимый поэт и Плеханова, и Богданова) как-то заметил, что между двумя противоположными мнениями лежит не истина, но проблема. Проблема, обнаруживаемая в полемике между Плехановым и Богдановым — это проблема развития диалектики Маркса как «последнего слова научно-эволюционного метода»<sup>24</sup> с учетом радикальных сдвигов в естествознании, техническом прогрессе и самом типе человеческой цивилизации в начале XX в.

Плеханов не смог выполнить этой задачи, так как почти совсем не занимался естественными науками и их историей и может рассматриваться не как философ, развивающий диалектическое учение Маркса и Энгельса, а лишь как его пропагандист и популяризатор<sup>25</sup>. А Богданов?

Для него социальная теория Маркса — не распространение на анализ общественных процессов материалистически переработанной диалектики Гегеля, как для Плеханова, а начало универсальной «методологии миропонимания», постепенно охватывающей все науки и вбирающей в себя их достижения — первая ступень в *естественнонаучном обосновании социалистического идеала*, претворяемого в жизнь классом промышленных пролетариев.

Пролетариат, по мнению Богданова, несет с собой новое миро-отношение — активное, монистическое, социально-трудовое. Социалистический идеал — устранение элементов принуждения из отношений между людьми, замена анархии и конкурентной борьбы товарищеским коллективизмом, «переход к неограниченной свободе труда»<sup>26</sup> и подчинение стихийных сил природы на основе грядущего торжества «монизма науки». «Всякое научное познание представляет из себя творчество норм целесообразности для практической деятельности людей»<sup>27</sup>, но задача «познавательного монизма» не может быть решена в классовых обществах, раздробленных авторитарным разъединением «организаторов» и «исполнителей» и гипертрофированной специализацией; восхождение к монизму — миссия социалистического пролетариата, совмещающего в общественном производстве функции

---

<sup>23</sup> Тейяр де Шарден П. Феномен человека. С. 43.

<sup>24</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 241.

<sup>25</sup> Кедров Б. М., Огурцов А. П. Марксистская концепция истории естествознания. М., 1985. С. 404.

<sup>26</sup> Наст. изд. С. 142.

<sup>27</sup> Там же. С. 63.

организатора и исполнителя и видящего «в самой действительности опыта воплощение коллективной человеческой практики»<sup>28</sup>.

Философия «эмпириомонизма» — попытка Богданова разработать единую познавательную картину мира для своего времени и для класса, делу которого он себя посвятил<sup>29</sup>. «Эмпириомонизм» возникает из «активной гармонизации опыта», заменяющей «первичный хаос элементов... упорядоченным миром отношений»<sup>30</sup>. Богданов нащупал отдельные нити к «организационному подходу», сложившемуся впоследствии в стройную систему тектологии, обобщившей интегративные тенденции в естественнонаучном и социальном познании к 1910 м гг. Однако в целом теория познания, изложенная в «Эмпириомонизме» сквозь призму психофизиологии, выглядела неубедительной, окрашенной в субъективно-идеалистические тона. Под влиянием Э. Маха и швейцарского философа Р. Авенариуса Богданов характеризовал законы природы «исключительно как человеческие методы ориентировки в потоке опыта, изменяющиеся сообразно с практическими потребностями», а от понятий «материя» и «дух» отказался, отнеся их к «домонистической» ступени познания<sup>31</sup> и заменив универсальным понятием «энергии», служащим познанию для того, чтобы «представить все явления как соизмеримые»<sup>32</sup>. Оторвав исторический материализм Маркса — Энгельса (трансформированный в «исторический монизм») от материалистической диалектики<sup>33</sup>, Богданов вместо углубления марксизма как научно-эволюционной методологии получил «„наверху“... — исторический материализм, правда, вульгарный и сильно подпорченный идеализмом, „внизу“ — идеализм, переодетый в марксистские термины, подделанный под марксистские словечки»<sup>34</sup>.

Неудача «эмпириомонизма» усугубилась попыткой А. В. Луначарского найти в идеях «подлинного неплеханизированного марксиста» Богданова «почву для расцвета социалистического религиозного сознания»<sup>35</sup>. Л. Б. Каменев, державшийся в споре с «махистами» на стороне В. И. Ленина, саркастически заметил по этому поводу: «Спасибо за откровенность, которая впрочем не очень понравится Богданову, т. Луначарский»<sup>36</sup>. Сам Богданов подчеркивал свое возмущение «религиозными оболочками и выходками Луначарского», который «хочет великое пролетарское движение втянуть в авторитарные рамки»<sup>37</sup>, однако в накаленной атмосфере идейной полемики «евангелие от Анатолия», —

---

<sup>28</sup> Богданов А. и др. Очерки философии коллективизма. СПб., 1909. С. 51.

<sup>29</sup> См.: Богданов А. А. Эмпириомонизм. Кн. III. М., 1906. С. X.

<sup>30</sup> Там же. Кн. I. М., 1904. С. 57.

<sup>31</sup> Богданов А. Очерки философии коллективизма. С. 46, 45.

<sup>32</sup> Богданов А. А. Эмпириомонизм. Кн. II. М., 1905. С. 43.

<sup>33</sup> Заметим, что при всем содержательном богатстве «Тектологии» и в ней сохраняется непропорциональное противопоставление системного подхода материалистической диалектике.

<sup>34</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 351.

<sup>35</sup> Луначарский А. В. Религия и социализм. СПб., 1909. Т. 2. С. 378.

<sup>36</sup> Каменев Л. Б. Между двумя революциями. М., 1923. С. 274.

<sup>37</sup> Протоколы совещания расширенной редакции «Пролетария». М., 1934. С. 42–43.

высмеянное Г. В. Плехановым и категорически отвергнутое В. И. Лениным, но поддержанное мощным художественным голосом А. М. Горького, — бросало тень и на искания Богданова.

К сожалению, в последнее время отождествление позиции Богданова с «богостроительством» Горького и Луначарского стало источником новой волны исторических спекуляций<sup>38</sup>. Но А. М. Горький еще задолго до знакомства с Богдановым и Луначарским высказывался о том, что бог — частица разума и сердца человека<sup>39</sup>, писал: «... человек — вместилище бога живого, бога же я понимаю как неукротимое стремление к совершенствованию, к истине и справедливости»<sup>40</sup>. Поначалу певец романтического индивидуализма, бунтарей, гордых сознанием силы своей личности, — Горький под влиянием философии Богданова действительно по-иному увидел смысл жизни: в приобщенности к великому человеческому коллективу, в растворении «я» в океане человеческих стремлений, горя и радости<sup>41</sup>. Богданов укрепил Горького в «мысли, что победит мерзость жизни, облагородит человека не греза, не мечта, а — опыт; накопление опыта, его стройная организация»<sup>42</sup>. «Большевизм, — писал Алексей Максимович в 1910 г., — мне дорог, поскольку его делают мистики, как социализм дорог и важен именно потому, что он единственный путь, коим человек скорее придет к наиболее полному и глубокому сознанию своего *личного* человеческого достоинства»<sup>43</sup>.

Горький, Богданов, Луначарский были едины не в «богостроительстве», а в *просветительстве* : это и «Энциклопедия для изучения России», задуманная Горьким, и школы для рабочих, и идея пролетарской культуры. Богданов — интеллектуал и рационалист, атеист, естествоиспытатель широкого кругозора<sup>44</sup>, не только не был «богостроителем» — он *не мог* им быть<sup>45</sup>, его «левополушарное мышление» удовлетворялось картиной социалистического мира как общества, в котором отношения людей к природе и друг к другу всецело определяются нормами *научной* целесообразности. Но этот «социализм чистого разума» не мог удовлетворить *художественного* темперамента Горького и Луначарского, мысливших эмоциями, образами, «правым полушарием». Потому-

---

<sup>38</sup> См.: Гангнус А. На руинах позитивной эстетики // Новый мир. 1988. № 9; Лебедев А. А. «Последняя религия» // Вопросы философии. 1989. № 1. // Примечательный факт. В 1979 г. литературовед В. Акимов в книге «В спорах о художественном методе» с характерным подзаголовком «Из истории борьбы за социалистический реализм» на 60 страницах доказывал, что предварительным условием победы метода соцреализма был разгром «эстетических концепций богдановщины». В 1988–1989 гг. А. Гангнус уже заявляет о том, что соцреализм — «реванш», взятый «богдановщиной» у диалектического материализма.

<sup>39</sup> См.: Архив А. М. Горького. М., 1954. Т. 4: Письма к К. П. Пятницкому. С. 13.

<sup>40</sup> Горький М. Собр. соч. В 30 т. М., 1954. Т. 28. С. 121 (письмо Л. Н. Толстому, 1900).

<sup>41</sup> Замечательный критический анализ метаморфозы Горького-индивидуалиста в Горького-коллективиста дан в статье А. К. Воронского «О Горьком» (1911 г.) // Воробченко Н. И. Публицист-ленинец. Кишинев, 1986. С. 106–107.

<sup>42</sup> Архив А. М. Горького. Т. 4: Письма к К. П. Пятницкому. С. 251.

<sup>43</sup> Литературное наследство. М., 1988. Т. 95. С. 184.

<sup>44</sup> Для Богданова «критика была лозунгом всего прогрессивного в познании» (Эмпириомонизм. Кн. 1. С. 5).

<sup>45</sup> Богданов прямо признавал «вред, который приносит пропаганда богостроительства и абсолютов» (Протоколы совещания расширенной редакции «Пролетария». С. 42).



то у них рационалистический коллективизм Богданова превратился в «религию Труда, Вида и Прогресса»<sup>46</sup>, исповедуемую «богостроителем-народушкой»<sup>47</sup>. Потому-то (в отличие от Богданова) внимание Горького и Луначарского больше привлекал не холодный аналитик Мах, а романтический сверхиндивидуалист Ницше, потому-то даже в 1925 г. Луначарский писал о возможности своеобразного возрождения «пантеизма» и восторгался религиозным отношением И. Дицгена и Ф. Шлейермахера к единому космосу<sup>48</sup>.

Марксизм в варианте Богданова и Луначарского оказался как бы «расколотым»: бесстрастность «научного монизма» одного не могла быть дополнена ложной направленностью заботы другого о «судьбе ценностей». Луначарский и Горький, конечно, ошибались, отождествляя ценность лишь с божественностью, коллективистское чувство — с религиозным. Но, критикуя «богостроителей», не следует, как это делали ранее, упускать из виду серьезнейшую и остающуюся открытой проблему, неудачно решенную ими и не решенную Богдановым, — проблему *аксиологической интерпретации социализма*.

Еще одна грань поучительной темы «Богданов и Горький» — проблема «сурового цинизма истории»<sup>49</sup>, поставленная Горьким периода «Несвоевременных мыслей».

Будучи оптимистом, Богданов видел в социализме «освобождение человеческой деятельности»<sup>50</sup>, хотя голос тревоги, голос Кассандры прорывался в его душе сквозь логику исторического оптимизма. «Даже там, где социализм удержится и выйдет победителем, — предостерегал он, — его характер будет глубоко и надолго искажен многими годами осадного положения, необходимого террора и военщины, с неизбежным последствием — варварским патриотизмом»<sup>51</sup>. Но сомнения не могли все же заглушить внутренний порыв к «социализму чистого разума». История же не стеснялась вновь и вновь обнажать свой «суровый цинизм». Наверное, в этом — самая глубокая трагедия человека, призывавшего в 1917 г. не спешить с провозглашением социализма из опасения, что революционные потрясения могут обернуться авантюрой, исходом которой будет длительное господство Железной Пяты — страшной реализации некоторых внешних сторон «разумно-чистого социализма».

Но вернемся к биографии.

Разойдясь с Лениным, а вскоре после каприйской школы в 1909 г. рассорившись с Горьким, Богданов и Луначарский возглавили литературно-пропагандистскую группу «Вперед» («фракцию карикатурных большевиков»<sup>52</sup>), продолжая отстаивать программу подготовки кадров образованных рабочих, способных организовать в России сеть культурно-революционных школ. Эта идея быстро обнаружила свою утопичность: царская охранка сумела выловить большую часть выпускников «партийных» школ на Капри и в Болонье. Выдвинутый Богдановым в 1910 г. лозунг «социализм в настоящем» был отвергнут не только большевиками-ленинцами и меньшевиками (Плехановым, Мартыновым,

---

<sup>46</sup> Луначарский А. В. Религия и социализм. Т. 2 С. 338 и др.

<sup>47</sup> См.: Горький М. Исповедь // Полн. собр. соч. В 30 т. М., 1950. Т. 8. С. 331.

<sup>48</sup> См.: Луначарский А. В. От Спинозы до Маркса. М., 1925. С. 13, 128.

<sup>49</sup> Горький А. М. Предисловие // Легенда об Агасфере. СПб., 1919. С. 23.

<sup>50</sup> Наст. изд. С. 64.

<sup>51</sup> Наст. изд. С. 184.

<sup>52</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 19. С. 19.

Потресовым), но и не нашел поддержки внутри самой группы «Вперед», члены которой (Ст. Вольский, В. Менжинский, М. Покровский) отказались признать разработку «пролетарской культуры» необходимым дополнением к «войне против капитализма»<sup>53</sup>. Г. Алексинский опубликовал язвительную рецензию на книгу Богданова «Культурные задачи нашего времени» (1911), где обосновывались лозунги Рабочего Университета, Рабочей Энциклопедии и пролетарского искусства. После «тяжелой распри»<sup>54</sup> с Алексинским Богданов в 1911 г. порвал с «впередовцами», не желая заниматься политиканством<sup>55</sup>.

Все это время А. А. Богданов продолжал свои философско-социологические искания. В работах «Философия современного естествоиспытателя» (1909) и особенно «Падение великого фетишизма» (1910) он последовательно изложил *трудовую теорию общества*, краеугольный камень которой — «теория трудовой стоимости в той коллективистической форме, которая дана ей Марксом»<sup>56</sup>. Для Богданова труд — важнейшее системообразующее не только политико-экономическое, но и социокультурное понятие; причем труд не как индивидуальное усилие «*homo economicus*», а труд как *социальная производительная сила*, как совместная созидательная деятельность людей. Социалистический идеал — идеал трудового коллективизма, зарождающийся в производственных отношениях пролетариата — «класса, преобразующего природу средствами машинной техники». В соответствии с основоположниками марксизма, Богданов полагал, что социалистическое общество должно преодолеть разделение между умственным и физическим, промышленным и сельскохозяйственным, организаторским и исполнительским трудом. Не ограничиваясь декларациями, он поставил перед собой задачу *практически* разработать те общенаучные основы, благодаря которым станет возможной реализация отстаиваемой им вслед за Ш. Фурье, К. Марксом и Ф. Энгельсом идеи *перемены труда* как необходимого условия всестороннего развития личности и избавления работника от судьбы искалеченной экономической разновидности, прикованной к производству одного вида продуктов<sup>57</sup>. Причем если Ш. Фурье рассматривал перемену труда как проявление одной из высших человеческих страстей — страсти к разнообразию, то К. Маркс, Ф. Энгельс и А. А. Богданов считали, что машинное производство с его революционным техническим базисом делает возможной и жизненно необходимой всестороннюю подвижность труда<sup>58</sup> и тем самым создает материальную основу для универсального применения способностей личности и открывает перспективы преодоления специализации.

От «интегральной концепции человека» (1905) через идею «социалистического знания» (1910) Богданов приходит к программе «всеобщей организационной науки», лежащей в русле ключевых положений Ф. Энгельса: «Общество, освобожденное от пут капиталистического производства», вырастит «новое поколение всесторонне развитых производителей, которые понимают научные основы всего промышленного производства и каждый из которых изучил на практике целый ряд отраслей производства от начала до

---

<sup>53</sup> См.: БСЭ. М., 1929. Т. 13. С. 388.

<sup>54</sup> См.: Луначарский А. В. Воспоминания и впечатления. С. 50.

<sup>55</sup> См.: Под знаменем марксизма. 1928. № 4. С. 183.

<sup>56</sup> Богданов А. А. Падение великого фетишизма. М., 1910. С. 60.

<sup>57</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 309.

<sup>58</sup> См. там же. С. 306.

конца...»<sup>59</sup>

Впервые идея всеобщей организационной науки четко прозвучала в эпилоге к фантастическому роману «Инженер Мэнни» (1912), который Богданов писал, имея за плечами удачный опыт литературной утопии «Красная звезда». Известный советский философ Э. В. Ильенков верно отметил важное значение «Инженера Мэнни» для понимания эволюции взглядов Богданова<sup>60</sup>. Однако смысл романа Ильенков, к сожалению, искажил, сведя его к «проповеди утопического представления о роли инженеров в развитии истории», к апологии научно-технической элиты.

В действительности (и читатель в этом убедится, прочитав роман) стержневой идеей Богданова является мысль о *недопустимости монополии на принятие решений* — опасности, масштабы которой стали столь очевидны в последние десятилетия. Именно универсальное научно-техническое знание *каждого* работника и способность широких слоев трудящихся (а не узкого круга экспертов) компетентно судить о технических проектах, затрагивающих жизненно важные интересы миллионов людей, должны сделать невозможным господство инженерной элиты, равно как и правительственных чиновников — «специалистов». Столкновения вокруг проекта марсианских каналов удивительно напоминают хорошо знакомые нам бурные споры о проектах переброски рек, сооружения АЭС и т. д. И это не единственное тревожное предвосхищение Богданова. Первым блестяще обрисовавший в «Красной звезде» возможности мирного использования атомной энергии, он в «Инженере Мэнни» первым же предупреждает человечество об опасности ядерного омницида.

В гиперболизированной фигуре главного героя романа Э. Ильенков увидел несуществующие «богостроительские тенденции», проигнорировав очевидное противопоставление «суперинженера» его сыну — рабочему вожажу Нэтти, стремящемуся избавить трудящихся от интеллектуального рабства. Образ Мэнни символизирует обреченность буржуазного индивидуализма и осуждаемое Богдановым безразличие к *социальным последствиям научного поиска*, грозящее катастрофой в эпоху массовых политических потрясений. Изобретатель динамита Альфред Нобель писал: «Вещи, над которыми мы работаем, действительно чудовищны, но они так интересны с чисто теоретической точки зрения... что становятся привлекательными вдвойне». Такую позицию Богданов называл «бесчеловечным фетишизмом отвлеченной истины», открывшим дорогу к созданию оружия массового уничтожения<sup>61</sup>. Возможность предотвращения пагубного использования достижений науки во вред человечеству Богданов видел в *социализации* знаний, органическом включении науки в общественно-трудовой процесс — именно эта мысль воплощена в речи Нэтти на митинге рабочих.

Социальное измерение «всеобщей организационной науки» прямо связано с той моделью социализма, контуры которой четко обозначены Ф. Энгельсом в «Анти-Дюринге». Однако сегодня многими советскими обществоведами все чаще поднимается проблема несоответствия реального социализма представлениям Ф. Энгельса при большой схожести с проектами Е. Дюринга<sup>62</sup>. Долгое время на это закрывались глаза, а положения Ф. Энгельса

---

<sup>59</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 308.

<sup>60</sup> См.: Ильенков Э. В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма. М., 1980. С. 89.

<sup>61</sup> «Невиданное торжество математических, физических и химических формул — идеальная точность расчета в истреблении миллионов людей» — такова, по мнению Богданова, роль науки в первой мировой войне (Богданов А. Элементы пролетарской культуры в развитии рабочего класса М., 1920. С. 71) Напомним, что в 1918 г. Нобелевскую премию по химии получил Фриц Габер глава военного департамента кайзеровской Германии в 1914–1918 гг., инициатор массового боевого применения отравляющих веществ.

<sup>62</sup> См., например: Иного не дано М., 1988. С. 357–359.

декларативно провозглашались фундаментом политической экономии социализма. Среди попыток переосмысления классических формулировок мы бы выделили круглый стол журнала «Вопросы экономики», посвященный 110летию выхода в свет «Анти-Дюринга». В частности, замечания, сформулированные в отношении подходов Ф. Энгельса Г. Х. Поповым<sup>63</sup>, могут быть переадресованы и А. А. Богданову, для которого в разработке «организационной модели социализма» отправным пунктом был прогноз К. Маркса и Ф. Энгельса о промышленном пролетариате — создателе новой цивилизации, сделанный на основе научного анализа капитализма XIX в.

Следуя основоположникам марксизма, А. А. Богданов развивал представления о социализме как о *нетоварной* хозяйственной системе, в рамках которой продолжаются, организационно оформляются процессы обобществления, завершающиеся превращением экономики в единую фабрику: «все общество становится единым предприятием». «Рабочий класс осуществляет дело организации вещей в своем труде, организации своих коллективно человеческих сил в своей борьбе. Опыт той и другой области ему приходится связывать в свою особую идеологию — организацию идей. Таким образом, сама жизнь делает его организатором универсального типа, а всеорганизационную точку зрения — естественной и необходимой для него тенденцией»<sup>64</sup>. В процессе выполнения пролетариатом своей исторической миссии формируется человек будущего — «человек науки, человек труда, человек идеала», многогранный работник с универсальностью знаний и навыков и высокоразвитым чувством коллективизма.

Так рассуждал Богданов. Однако «сегодня ясно, что индустриальный рабочий класс, с которым связывали свои надежды Маркс и Энгельс, не смог выполнить возлагавшуюся на него миссию прорыва в посткапиталистическую цивилизацию»<sup>65</sup>. Нетоварный идеал социализма исходил из анализа реальных противоречий раннего капитализма и соответствовал антибуржуазным настроениям пролетариата той эпохи. «Но в последующем выяснилось, что западная буржуазия способна снять остроту этого конфликта, осуществить своего рода экономическую и политическую интеграцию рабочего класса в капиталистическую систему»<sup>66</sup>. Характерно, что и А. А. Богданов, и его ученик Ф. Калинин все же не прошли мимо начальных фаз этого процесса<sup>67</sup>. Более того: уроки первой мировой войны подтолкнули Богданова к выводу о неготовности *реального* европейского пролетариата к роли класса — строителя социализма<sup>68</sup>. Однако это не привело его ни к отказу от дальнейшей разработки нетоварной модели социалистического хозяйства, ни к пересмотру однозначной ориентации на рабочий класс как единственную силу, способную «тектологически верно» разрешить противоречия капиталистического общества.

Призывая к преодолению пролетариатом «культурной несамостоятельности» в рамках особой формы рабочего движения, Богданов не терял надежды на превращение в ходе длительной полосы исторического развития реального рабочего класса в тот абстрактный

---

<sup>63</sup> Вопросы экономики. 1988. № 10. С. 105–106.

<sup>64</sup> Богданов А. А. . Тектология: всеобщая организационная наука. Кн. I. С. 108–109.

<sup>65</sup> Клямкин И. М. . Еще раз об истоках сталинизма // Политическое образование. 1989. № 9. С. 48.

<sup>66</sup> Там же.

<sup>67</sup> См.: Богданов А. А. . Между человеком и машиной (О системе Тейлора). СПб., 1913. С. 13; Калинин Ф. . Об идеологии // Пролетарская культура. 1917. № 6. С. 5.

<sup>68</sup> См. наст. изд. С. 307, 354.

«зрелый» пролетариат, который соответствовал бы его теоретическому идеалу. Тем самым создатель «организационной науки» не избежал односторонности социолога-субъективиста, который, «начиная свое рассуждение якобы с „живых личностей“... вкладывает в эти личности такие „помыслы и чувства“, которые он считает рациональными», и, «изолируя своих „личностей“ от конкретной общественной обстановки», лишает себя возможности «изучить *действительные* их помыслы и чувства», т. е. «начинает с утопии»...<sup>69</sup> В *пролетарской утопии* Богданова место «критически мыслящих личностей» народнической школы социологии занял рабочий класс.

Второе утопическое слагаемое богдановской концепции социализма — воспроизведение на принципиально новой основе представления об *организации человеческого общества через организацию человеческого знания*. Провозглашая «организационное мышление», создание Пролетарской энциклопедии и «монистическую» интеграцию разных областей науки обязательным условием «положительно-практического» осуществления социализма, Богданов отходил от исторического материализма К. Маркса и Ф. Энгельса к *социалистически окрашенному сциентизму*<sup>70</sup>, ведущему свое происхождение от учения Сен-Симона о промышленной системе<sup>71</sup>.

Утопия исходит из проектирования совершенной социальной организации на основе какого-либо отвлеченного принципа. Утописты XVIII–XIX вв., особенно Ш. Фурье, стремились показать соответствие идеального строя с «человеческой природой», с «понятием разумно-нравственной жизни»<sup>72</sup>. Утопические же элементы системы Богданова связаны с универсализацией другого отвлеченного принципа — «*научно-организованного труда*». При этом недооцененной оказалась как раз полнота проявлений человеческой природы, что особенно сказалось на некоторых сторонах концепции «пролетарской культуры».

Богданов рассматривал социализм прежде всего как производство, основанное на сознательно-товарищеских началах. «Все — трудящиеся, и в сфере труда они удовлетворяют жажду творчества... Они совершенствуют технику и познание — а стало быть и собственную природу»<sup>73</sup>. Но осуществимо ли «абсолютное выявление творческих дарований человека»<sup>74</sup> только в присвоении вещества природы в процессе труда, в материально-преобразовательной деятельности? Надо сказать, что основоположники марксизма не оставили ясного ответа на этот вопрос<sup>75</sup>. С одной стороны, они писали о

---

<sup>69</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. I. С. 424.

<sup>70</sup> Философская энциклопедия определяет сциентизм как 1) социокультурную позицию, признающую конкретно-научное знание в совокупности его результатов и способов получения наивысшей культурной ценностью и достаточным условием мировоззренческой ориентации человека; 2) направление социальной мысли, ориентированное на методологию естественных наук (см.: Т. 5. М., 1970. С. 173, 175). К А. А. Богданову приложимы оба эти толкования.

<sup>71</sup> Подробное сопоставление идей Сен-Симона и А. Богданова см.: Гловели Г. Три утопии Александра Богданова // Социокультурные утопии XX в. Вып. 6. М., 1988.

<sup>72</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. I. С. 157.

<sup>73</sup> Наст изд. С. 98.

<sup>74</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. I. С. 476.

<sup>75</sup> Следует отметить, что ни А. А. Богданов, ни другие исследователи 20х гг., писавшие о «логически-производственной точке зрения Маркса» (*Рапорт II*. К проблеме Маркс и Бакунин // Записки Научного общества марксистов. Пг.; М., 1922. Вып. 3. С. 158), не были знакомы с ранними экономическо-философскими

совпадении развития производительных сил общества с развитием богатства человеческой природы, о превращении именно производительного труда из тяжкого бремени в наслаждение<sup>76</sup>, с другой стороны — что свобода лежит «по ту сторону сферы собственно материального производства»<sup>77</sup>, что при коммунизме мерой общественного богатства будет не рабочее, а свободное время<sup>78</sup>. «Свобода труда» или «свобода от труда» — что является разрешением четко зафиксированной в человеческом существовании дихотомии «производство — досуг»?

Антагонистическим формациям присущ выбор второго варианта, когда досуг (= время для свободного развития) присваивается господствующими классами наряду с прибавочным продуктом. Благодаря такому присвоению возникают высшие формы духовной культуры. «... Математические искусства, — писал, например, Аристотель, — были созданы прежде всего в Египте, ибо там было предоставлено жрецам время для досуга»<sup>79</sup>. С греческой античности начинается осознание человеком своего «я». Но это осознание было доступно лишь узкому элитарному слою, свободному от материального производства. Более того, оно подчеркнуто противостоит участию в производительном труде — уделу рабов, «говорящих орудий». Даже математика освобождалась Пифагором от практических приложений и наряду с философией и искусством становилась «чем-то вроде религиозного созерцания, дабы приблизиться к божеству»<sup>80</sup>.

Богданов уже в «Кратком курсе экономической науки» уделил внимание пренебрежению к производительному труду, доставшемуся человечеству в наследство от греко-римской цивилизации. Позднее он противопоставит «созерцательной тенденции» философии (начиная с греческой) — тектологию, «всеобщую естественную науку» о способах решения непосредственных жизненно-практических задач техники, хозяйства, быта<sup>81</sup>. Богданову будет вторить выдающийся педагог Павел Блонский, теоретик и практик единой трудовой политехнической школы: «Теоретическая культура — культура досужных классов... Это культура отчужденных от технически совершенного производства лиц»<sup>82</sup>.

Реакцией на связь «досужной культуры» с социальным неравенством становятся и грубоуравнительные манифесты бабувизма с их подозрением к «аристократии духа», и вульгарно-социологические перехлесты русского радикализма — от шестидесятников<sup>83</sup> до пролеткультовцев и нотовцев 20х гг. Развитая социалистическая традиция, ставящая задачу

---

рукописями Маркса.

<sup>76</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. II. С. 123.

<sup>77</sup> Там же. Т. 25. Ч. II. С. 387.

<sup>78</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Т. 46. Ч. II. С. 217.

<sup>79</sup> Аристотель. Метафизика // Соч. В 4 т. М., 1976. Т. 1. С. 67.

<sup>80</sup> Ван дер Варден Б. Л. Пробуждающаяся наука. М., 1959. С. 146.

<sup>81</sup> Богданов А. А. Тектология. Кн. I. С. 141, 47.

<sup>82</sup> Блонский П. П. Реформа науки. П., 1919. С. 45.

<sup>83</sup> Вспомним, что Д. И. Писарев (автор «Очерков из истории труда») отрицал А. С. Пушкина во имя задачи «накормить голодных». В. В. Берви-Флеровский (автор «Положения рабочего класса в России») обрушился на «изящного романиста» Л. Н. Толстого, не найдя в гениальном полотне «Войны и мира» ничего, кроме «безнравственности» и «барства» и т. д.

создания общества на научно планируемой основе и исходящая из того, что в таком обществе каждый будет работать не только головой, но и руками, выдвигает в противовес элитарному идеалу «досужной жизни» идеал преобразования природы трудом ассоциированного человечества, красной нитью проходящий от Сен-Симона через Маркса и Энгельса — к Богданову.

«Настоящее разрешение проклятого вопроса старой философии о необходимости и свободе», считал Богданов, лежит «в сознательном коллективном творчестве, закономерно и планомерно изменяющем мир»<sup>84</sup>. Природа рассматривалась им как великий враг и в то же время полный таинственного очарования друг человека, борющегося со слепыми силами стихийности. Не следует забывать, что утопия «Красная звезда», на страницах которой возникает образ природы-мстительницы, была написана в 1908 г., потрясшем Европу «безжалостным концом Мессины»<sup>85</sup> — унесшим многие тысячи жизней катастрофическим землетрясением на Сицилии. «Распалась месья Культура, которая вздыбилась „стальной щетиною“ штыков и машин, — писал Александр Блок. — Это — только знак того, что распалась и другая месья — месья стихийная и земная. Между двух костров раскалившейся мести, между двух станов мы и живем»<sup>86</sup>. Богданов принадлежал к числу тех ученых и сторонников прогресса, которые, по словам Блока, уверяли, что «наука если еще и не совсем победила природу, то через 3000 лет победит»<sup>87</sup>.

Однако природа действительно мстит за попытки обуздать ее силами технического прогресса. XX век показал, что деятельность человека, преобразующего природу, приобретает характер, опасный для него самого, и «отношение человека к природе, реализуемое машинными методами, обнаруживает свой предел в естественных возможностях биосферы»<sup>88</sup>. Homo faber прочувствовал «антиномию, что Природа и История, стихии и разум не приводимы друг к другу»<sup>89</sup>. Жажду избавления от античеловеческих случайностей приходится ограничивать рамками экологического императива. Необходимым дополнением «товарищеского сотрудничества» становится сотрудничество с природой, не ограничивающееся «коллективно-страховым аспектом задач научной техники»<sup>90</sup>.

Из представления о коллективизме, коммунизме, социальном единении и регулировании как пути к победе над природой вытекает и отстаиваемое Богдановым *инструменталистское понимание культуры*, «Цель науки — создание плана завоевания природы»<sup>91</sup>, искусство — орудие социальной организации людей<sup>92</sup>. Ограниченность

---

<sup>84</sup> Богданов А. А. Падение великого фетишизма. С. 113.

<sup>85</sup> См.: Блок А. А. Собр. соч. В 6 т. Т. 3. С. 194.

<sup>86</sup> Там же. Т. 5. С. 283.

<sup>87</sup> Там же. С. 276.

<sup>88</sup> Гиренок Ф. И. Экология, цивилизация, ноосфера. М., 1987. С. 119, 82.

<sup>89</sup> Половинкин С. И. П. А. Флоренский: логос против хаоса. С. 50.

<sup>90</sup> Богданов А. А. Общественно-научное значение тенденций новейшего естествознания. Доклад в Комакадемии // Архив АН СССР. Ф. 350. Оп. 2. № 14. Л. 18.

<sup>91</sup> Протоколы I Всероссийской конференции пролетарских культурно-просветительских организаций. М., 1920. С. 40.

подобного подхода коренится в недооценке Богдановым «созерцательной» ипостаси человеческого бытия, с которой связана и более полная реализация заложенной в человеке потребности бескорыстно-интеллектуального освоения действительности, и возможность общения с природой в ее самобытной прелести<sup>93</sup>, и сосредоточение индивида на собственном духовном мире.

Социалистический пафос «всеобщей организационной науки» был направлен против такого общественного антагонизма, при котором «духовные потенции материального процесса производства противостоят рабочим как чужая собственность и господствующая над ними сила»<sup>94</sup>. Но подходя к социалистическому человеку как к работнику, всесторонне развивающему свою трудовую силу, Богданов не продумал в достаточной степени того факта, что послекапиталистический строй должен обеспечить не только равновладение научно-техническим знанием, но и *равновладение досугом*, и «самоосуществление индивида»<sup>95</sup> *помимо* социально-производственной деятельности, поскольку благодаря промышленной революции «производительная сила человеческого труда достигла такого высокого уровня, что создала возможность... не только производить в размерах, достаточных для обильного потребления всеми членами общества и для богатого резервного фонда, но и предоставить каждому достаточно досуга для восприятия всего того, что действительно ценно в исторически унаследованной культуре — науке, искусстве, формах общения и т. д. ...»<sup>96</sup>

Социалистический человек, таким образом, — не праздный сибарит, но и не homo faber; его бытие может быть основано на «подвижном равновесии»<sup>97</sup> ипостасей — «трудовой» и «досужной», материально-преобразовательной и «созерцательной». Организационная концепция социализма уделяла главное внимание превращению общественного труда в «научный процесс, ставящий себе на службу силы природы и заставляющий их действовать на службе у человеческих потребностей...»<sup>98</sup>. Но есть еще «первозданное, неоспоримое, непреложное, основное — могучие инстинкты и соки жизни... Социализм для них. Вставшая во весь рост человеческая личность — это они, силы и соки жизни, освобожденные от пут»<sup>99</sup>.

А. А. Богданов рассчитывал, что трудовой коллективизм разрешит и еще одну

---

<sup>92</sup> См. наст. изд. С. 421.

<sup>93</sup> «Мы относимся к миру прежде всего практически... познаем его в соответствии с этими нуждами и потребностями. Но есть другое отношение к миру, лишенное этого узкого практицизма, есть „день седьмой“... когда мы бескорыстно хотим любоваться и природой и людьми» (Воронский А. К. Искусство видеть мир. М., 1987. С. 543). Заслуживает внимания и замечательная формула А. В. Луначарского о диалектическом синтезе научно-инженерного отношения к природе и греческого мышления о мире (см.: Луначарский А. В. Собр. соч. В 8 т. М., 1967, Т. 8. С. 189–190).

<sup>94</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 374.

<sup>95</sup> См. там же. Т. 46. Ч. II. С. 110.

<sup>96</sup> Там же. Т. 18. С. 215.

<sup>97</sup> «Подвижное равновесие» — одно из понятий «всеобщей организационной науки» (Богданов А. А. Тектология. Кн. I. С. 187).

<sup>98</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. II. С. 208.

<sup>99</sup> Воронский А. К. Искусство видеть мир. С. 199.



дихотомию человеческого существования — «противоречие между непосредственно-эгоистическими устремлениями и непосредственно-социальными»<sup>100</sup>. В социально-экономическом плане это означало бы превращение труда на благо общества в органическую потребность, что в совокупности с переменой занятий и всесторонним научно-техническим знанием заменило бы рыночный механизм вовлечения трудовых ресурсов в производительный процесс; в духовной же сфере — психологическую совместимость и полное взаимопонимание людей. Убежденность, что «для личности невозможна гармония жизни иначе, чем в труде для коллективного блага», хотя и имела реальные основания в духовном складе самого Богданова и его современников — революционных интеллигентов и передовых рабочих, тем не менее упрощала проблему, явно недооценивая всей сложности как личностных, так и общественных структур.

Можно спорить о том, насколько силен в человеке природный эгоизм и насколько воспитаем коллективизм. Но очевидно, что, отвергая в полемике с буржуазным индивидуализмом «автономность личности» и не «зарезервировав» в своей модели социализма права индивида на самовыделение, Богданов, наряду с другими марксистами той эпохи, явно не учел опасности, которая скрыта в возможности истолкования коллективизма как «послушания большинству»<sup>101</sup>.

Однако, с другой стороны, идейная эволюция Богданова показывает ошибочность мнения, что классовый подход «неизбежно притупляет интерес к человеческим качествам, необходимым для созидания... Готовность человека к революционной борьбе приобретает больший вес, чем его готовность к эффективному осмысленному труду»<sup>102</sup>. Подчеркивая, что пролетариат — «класс-разрушитель лишь по внешней необходимости, созидатель по самой природе своей», Богданов не только выдвигал на первый план именно «строительные» (а не «боевые») задачи рабочего класса, но и перед лицом угрозы эскалации насилия отказался от признания классовой борьбы главной движущей силой перехода к социализму.

Развитие социальности человечества для Богданова — основной смысл цивилизации<sup>103</sup>. Уже в 1914 г. Л. Б. Каменев с укоризной писал, что в системе его взглядов, взятой в целом, «идея общности всех людей превалирует над идеей классовой и групповой борьбы»<sup>104</sup>. Это было сказано на пороге первой мировой войны, поставившей «ясно дилемму: преодоление анархии социальных сил и интересов или распад цивилизации»<sup>105</sup>. Очевидец кровавой мясорубки, скромный полковой врач, беспартийный социал-демократ Богданов, как и большевики, занимал по отношению к войне интернационалистическую позицию. Но он не поддерживал лозунга превращения империалистической войны в войну гражданскую. Ибо уже не мог согласиться с высказыванием Маркса, что рабочим придется пережить 15, 20, 50 лет гражданских войн и международных столкновений, чтобы изменить существующие условия и самим сделаться способными к политическому господству<sup>106</sup>.

---

<sup>100</sup> Наст. изд. С. 56.

<sup>101</sup> О связи «послушания большинству» с деформациями социализма см.: *Ципко А. С.* . Человек не может изменить своей природе // Политическое образование. 1989. № 4. С. 77.

<sup>102</sup> *Ципко А. С.* . Истоки сталинизма // Наука и жизнь. 1988. № 12. С. 45.

<sup>103</sup> См.: *Богданов А. А.* . Тектология. Кн. I. С. 241.

<sup>104</sup> *Каменев Л. Б.* . Между двумя революциями С. 284.

<sup>105</sup> *Богданов А. А.* . Тектология. Кн. I. С. 50.

<sup>106</sup> См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* . Соч. Т. 8. С. 431.

Богданов стал противопоставлять завоеванию власти пролетариатом его «культурное вызревание» в рамках буржуазно-демократического строя. Он надеялся, что «организационное мышление», распространившись на рабочий класс, а затем на другие слои общества, разрушит «фетиши авторитарно-индивидуалистического сознания» и станет основой единения общечеловеческого коллектива в условиях атомной эпохи<sup>107</sup>, регулирующей силой, способной найти механизмы предотвращения «безумно-истребительных столкновений», в которые увлекают народы экономические стихии<sup>108</sup>.

Чувство, что в индустриальную эру изменение мира насилем, даже революционным, может вызвать лавинообразный процесс, ставящий под угрозу саму жизнь на Земле, заставило Богданова воздерживаться от понятия «диктатура пролетариата». Такая позиция вступала в противоречие с «ортодоксальным» марксизмом и большевизмом. Еще более конфликтными были выступления Богданова о «неоправданном максимализме» курса на социалистическую революцию в России. В статье «Государство-коммуна», опубликованной в «Известиях» Моссовета 27 июня 1917 г., он полемизировал с ленинскими «Письмами о тактике». Считая иллюзией надежды на мировую революцию, на помощь со стороны опутанного соглашательством европейского пролетариата, не веря в способность Советов быть государственно-правовыми организациями, Богданов не видел и возможности прочного союза пролетариата с российским крестьянством, опасаясь расхождений между ними в столкновения с подавлением одной из сторон «грубо-механическим путем». Богданов предостерегал против гражданской войны «с расточением лучших сил народа» и видел единственный способ избежать ее в установлении парламентской республики, в рамках которой пролетариат должен выполнить «программу культуры» как необходимое переходное звено между реализацией «программы-минимум» и «программы-максимум».

Сборник «Вопросы социализма», состоящий из статей, написанных до Октябрьской революции, но вышедший *после* нее, подобно праведному миролюбию В. Г. Короленко<sup>109</sup> и «Несвоевременным мыслям» М. Горького прозвучал явным диссонансом рядом с упованиями на близость «последнего и решительного боя», вследствие чего член ЦК РКП (б) Н. И. Бухарин безапелляционно обвинил Богданова в «оппортунистическом культурничестве»<sup>110</sup>.

Лидер «левого крыла» большевистской партии был прав в одном — «рассматривая исторический процесс как рационалист»<sup>111</sup>, Богданов проглядел то, что он позднее в письме тому же Бухарину признает «правдой действительного порыва»<sup>112</sup>. Рассмотрение социализма как «мировой организационной задачи» не смогло стать исторически «органической» идеологией, указать массам путь к разрешению реального революционного кризиса, ибо «подменять конкретное абстрактным один из самых главных грехов, самых опасных грехов в

---

<sup>107</sup> Наст. изд. С. 297–298.

<sup>108</sup> См.: Богданов А. А. Тектология. Кн. I. С. 50.

<sup>109</sup> До написания своих известных «Писем Луначарскому» В. Г. Короленко опубликовал в «Русских ведомостях» (1917, 3 декабря) статью «Торжество победителей (открытое письмо Луначарскому)», перепечатанную многими газетами.

<sup>110</sup> Коммунист. 1919. № 3. С. 19.

<sup>111</sup> Там же.

<sup>112</sup> Цит. по: Спутник коммуниста. 1923. № 24. С. 182.

революции»<sup>113</sup>.

Богданов находил правильным Брестский мир<sup>114</sup>, но не принял методов «военного коммунизма» и не вернулся в партию большевиков, хотя еще в 1920 г. ему предлагались в ней руководящие посты<sup>115</sup>. Он понимал, что переходной ступенью от *рынка* труда к *свободе* труда не может быть «пролетарское внеэкономическое принуждение», представлявшееся частью «азбуки социализма» и Н. Бухарину, и Е. Преображенскому, и Л. Троцкому.

Но уйти в сторону от строительства новой жизни он не мог. Член Коммунистической академии, профессор политэкономии МГУ, Богданов стремится показать «работающую полезность» созданной им «всеобщей организационной науки» для решения важных хозяйственных вопросов. Доклад «Организационная наука и хозяйственная планомерность» открывает проходившую в январе 1921 г. под председательством академика В. М. Бехтерева Первую Всероссийскую инициативную конференцию по научной организации труда и производства и становится заметным вкладом в разработку модели народнохозяйственного баланса<sup>116</sup>.

Именно с возможностью распространения «всеобщей организационной науки» связана активная роль А. А. Богданова в 1918–1920 гг. в Пролеткульте. Этот аспект деятельности снискал ему незаслуженно недобрую славу, отчасти ввиду действительных идеологических и организационных ошибок его и первого председателя Пролеткульта П. И. Лебедева-Полянского<sup>117</sup>, подвергнутых резкой критике В. И. Лениным, но главным образом — вследствие крайне тенденциозного освещения данного вопроса в историографии. «Крайностью, в которую впадали руководители Пролеткульта, и в частности А. Богданов, было то, что они призывали поэтов (?) строить пролетарскую культуру в полном отрыве от культурного прошлого», — читаем мы, например, в недавней антологии стихотворений и поэм первых лет Октября. Однако надеемся, что в нашем сборнике читатель найдет достаточный материал для объективной характеристики отношения к культурному наследию «в частности» А. Богданова и опровержения еще одного мифа, унаследованного от сталинской эпохи — расхожего мнения о «богдановском нигилизме».

Как показывает историографический анализ, обвинение Богданова в отрицании культурного наследия (и сведение к этому всей программы «пролетарской культуры») впервые появилось в злобно фальсификаторской книжке А. Щеглова «Борьба Ленина с богдановской ревизией марксизма» (вышедшей в недоброй памяти 1937 м)<sup>118</sup> и

---

<sup>113</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 17.

<sup>114</sup> И. С. [Скворцов-Степанов]. А. А. Богданов // Известия ВЦИК. 1928. 9 апреля.

<sup>115</sup> См.: Под знаменем марксизма. 1928. № 4. С. 185.

<sup>116</sup> См.: Белых А. А. О кибернетических идеях А. А. Богданова // Экономика и математические методы. 1988 № 5.

<sup>117</sup> После ухода Лебедева-Полянского и Богданова Пролеткульт в 1921 г. возглавил журналист В. Ф. Плетнев, к ошибкам которого Богданов отношения не имеет.

<sup>118</sup> Характерно, что еще в 1935 г. Литературная энциклопедия (Т. 9. С. 309–310), говоря о том, что «Коммунистическая партия неустанно исправляла» (а не разоблачала!) ошибки Пролеткульта, подчеркивала и его заслуги, в том числе в области «критического усвоения» ценностей прошлых эпох. Создание традиции исключительно негативных оценок Пролеткульта вызвано тем обстоятельством, что многие его деятели в период культа личности были репрессированы (А. К. Гастев, М. П. Герасимов, В. Т. Кириллов, Н. М. Лукин, С. М. Третьяков, И. Г. Филипченко и др.) или посмертно оклеветаны (А. А. Богданов, Андрей Белый).

перекочевало на страницы монографий, учебных пособий, диссертаций.

Почти все пишущие о Пролеткульте, приводя отрицательные высказывания о нем В. И. Ленина, игнорируют принципиальное ленинское положение: «Самое надежное в вопросе общественной науки... — не забывать основной исторической связи...»<sup>119</sup>. Но о каком понимании исторической связи может идти речь, когда никто не только не понял, но и не старался понять связи тектологии как попытки организации общенаучного пролетарского базиса с моделью социализма Ф. Энгельса?

Когда выдающаяся теоретическая концепция, содержащая первую серьезную попытку системно-кибернетического анализа вопросов функционирования социальных структур и управления ими, трактуется как «мрачная научная фантазия... на основе биопсихологии»<sup>120</sup> (?) или изложение... тейлоризма<sup>121</sup>, к которому на деле никакого отношения не имеет? Когда Пролеткульт упорно оценивается под углом зрения сугубо *искусствоведческого* подхода, тогда как в центре внимания А. А. Богданова было, конечно, не художественное творчество, а историческое творчество рабочего человека в развитии знаний и трудовых навыков? Как справедливо пишет С. Г. Семенова, «в культуру стала включаться не только (мы бы сказали — не столько. — *Авт .*) символическая художественная деятельность, но шире — весь материальный творческий комплекс масс, результаты их труда, несущие на себе печать рабочего ума, чувства, профессионального умения»<sup>122</sup>. Отсюда понятна тесная связь Пролеткульта с развернувшимся в 20е гг. широким движением за научную организацию труда<sup>123</sup> — связь, которую смешно было бы искать у профессиональных литературных организаций: «Кузницы» или «Серапионовых братьев», РАППа или «Перевала».

Разумеется, были и схематизм, и вульгарный социологизм, и переиздание Пролеткультом старой книги А. А. Богданова «Философия живого опыта», содержащей прямую полемику с диалектическим материализмом, и отстаивание Лебедевым-Полянским с молчаливого согласия Богданова требования об «автономии» Пролеткульта от Наркомпроса. Все это вызывало резкую критику. Масла в огонь подлило и то, что уже после ухода Богданова из Пролеткульта его именем безответственно воспользовались две подпольные организации — «коллективисты», а позже «Рабочая Правда»<sup>124</sup>. В их авантюристических выступлениях увидели подтверждение опасений В. И. Ленина, что под флагом «пролетарской культуры» может свить себе гнездо какая-нибудь политическая ересь<sup>125</sup>, и «еретику» Богданову был закрыт доступ в рабочую среду.

На него обрушился шквал тенденциозной критики с позиций «плехановской

---

<sup>119</sup> Ленин В. И. Полн. Собр. соч. Т. 39. С. 67.

<sup>120</sup> См.: История русской советской литературы. В 4 т. М., 1967. Т. 1. С. 159.

<sup>121</sup> Знамя. 1988 № 4. Оценка тейлоризма Богдановым была близка к ленинской. На I конференции по НОТ он прямо противопоставил тейлоризму научную организацию труда и активно полемизировал с крайностями «большевиков-тейлористов» во главе с А. К. Гастевым, что отмечается и зарубежными исследователями (*Stites R. Fantasy and Revolution // Bogdanov A. Red Star. Bloomington, 1984. P. 7.*)

<sup>122</sup> Семенова С. Г. Преодоление трагедии. М., 1988. С. 263.

<sup>123</sup> На I Всероссийской конференции по НОТ из 8 основных докладов три были сделаны деятелями Пролеткульта — самим А. А. Богдановым, М. Н. Смит и М. В. Пиолунковским.

<sup>124</sup> Под знаменем марксизма. 1928. № 4. С. 186.

<sup>125</sup> См.: Луначарский А. В. Статьи о советской литературе. М., 1958. С. 76.

ортодоксии» и «воинствующего материализма». Писали об «отрыжках богдановщины» в политэкономии, о «меньшевизме в пролеткультовской одежде», о недооценке массовой борьбы, об «оппортунистической реакции против революции» и т. д.

Богданов стоически встретил этот новый трагический виток своей судьбы. Он не надломился, как позднее Герберт Уэллс, который, по словам Дж. Оруэлла, «верил в добро науки, а когда увидел, что от точных наук может иногда быть и зло, то потерял голову». Он остался убежденным сторонником социализма, «коллективистом по чувству и разуму одновременно»<sup>126</sup>, хотя и никак не мог слиться с массовым коллективным потоком, устремившимся в русло построения «социализма в одной стране».

С теоретиками последнего Богданов не скрывал своих разногласий. Один из них, некогда его восторженный почитатель и одновременно яростный оппонент — Н. И. Бухарин, теперь с высоких трибун критиковал «полумарксистского литератора», не согласного с ортодоксией генеральной линии<sup>127</sup>. А И. В. Сталин, подбираясь к пьедесталу «единственного великого», в одном из писем 1925 г. со значением обмолвился о закономерно сошедших со сцены бывших большевистских вождях Луначарских, Богдановых, Красиных...<sup>128</sup>

Богданов же продолжал работать — теперь во главе основанного по его инициативе Института переливания крови, желая практически проверить заманчивую идею «коллективной борьбы за жизнеспособность», выдвинутую им в «Красной звезде». Он понимал, что служба переливания крови необходима стране, над которой может нависнуть угроза войны, и надеялся помочь восстановлению сил работников, ослабевших, «изношенных» в условиях напряженного хозяйственного строительства.

Его героическая гибель в результате проводимого на себе медицинского эксперимента не могла оставить равнодушной советскую общественность. 13 апреля 1928 г. Совнарком РСФСР, «принимая во внимание исключительные революционные и научные заслуги А. А. Богданова (Малиновского)», постановил присвоить его имя Государственному научному институту переливания крови<sup>129</sup>.

Н. И. Бухарин в прощальном слове выразил уверенность, что история, несомненно, отберет все ценное, что было у Богданова, и отведет ему свое почетное место среди бойцов революции, науки и труда. «Чем дальше отойдет человечество от переживаемой нами эпохи, тем ярче будет сиять созвездие В. И. Ленина, в котором имя А. А. Богданова никогда не померкнет», — сказал у гроба старого друга А. В. Луначарский<sup>130</sup>.

Однако в известный период нашей истории померкло не только имя Богданова — померкла «Трагедия крупного ума»<sup>131</sup> в сравнении с трагедией поправленной памяти.

Провозглашенный генсеком Сталиным «великий перелом» сопровождался

---

<sup>126</sup> Бухарин Н. И. Памяти А. Богданова // *Богданов А. А.* Тектология. Кн. II. С. 346.

<sup>127</sup> См.: Бухарин Н. И. Избранные произведения. М., 1988. С. 281.

<sup>128</sup> См.: Сталин И. В. Соч. Т. 7. С. 43.

<sup>129</sup> Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1928. № 43. С. 323. Понимая, что «бесполезно стучаться в дверь глухого», все же не можем не упомянуть об оскорбительной безосновательности пассажей о том, будто Богданову было все равно где жить (см.: Наш современник. 1987. № 9. С. 157), о «ненависти к слабым» как «характерной черте богдановщины» (см.: Новый мир. 1988. № 9. С. 154).

<sup>130</sup> Похороны А. Богданова // Правда. 1928. 11 апреля.

<sup>131</sup> Так назвал свою статью о судьбе Богданова старый большевик П. Н. Лепешинский (Огонек. 1928. № 17).

развернутым идеологическим наступлением по всему фронту. Борьба с «богдановщиной» — «идеалистической фальсификацией марксизма, смыкающейся с реакционной буржуазной наукой»<sup>132</sup>, с «богдановщиной» — «теоретической основой правого уклона» была объявлена актуальной задачей.

Роковую черту подвел 1937й. После выхода уже упоминавшейся книжки А. Щеглова, заканчивающейся призывом «развезть в прах все и всякие богдановско-бухаринские реставраторские, буржуазные „теории“, являющиеся орудием фашистской контрреволюции в борьбе против победившего в СССР социализма»<sup>133</sup>, имя Богданова исчезло из названия Института переливания крови. Оно было восстановлено лишь в 1990 г.

В последнее прижизненное издание своей главной работы — «Тектологии» — Богданов вставил слова-предупреждение: «В революционные эпохи особенно часто и особенно ярко выступает процесс преобразования организаций с зародышевой агрессией, в виде едва заметной авторитарности, в организации вполне выраженной эгрессии, строгой авторитарности, дисциплины, „твердой власти“»<sup>134</sup>. До апофеоза «авторитарности» и «твердой власти» Богданов не дожил. Его нельзя было физически репрессировать. Репрессированы были его имя, его книги, его идеи. Все это было затоплено мутной волной сталинского идеологического цунами и осело под илистой почвой «оттепели» и «застоя». Социализм Богданова не был нужен ни «социализму, построенному в основном», ни «развитому социализму». И только теперь, в дни мучительного осмысления исторического опыта нашей страны и всей социалистической традиции, Богданов приходит к нам.

В настоящий сборник включены работы А. Богданова с 1904 по 1920 г. Среди них есть практически неизвестные не только широкому читателю, но и специалистам. Касаясь вопросов политики, экономики, социологии, науки, искусства, они дают, на наш взгляд, разноплановое, но одновременно цельное представление о творческом наследии Богданова именно как социалистического мыслителя.

*Г. Д. Гловели, Н. К. Фигуровская*

## **Новый мир<sup>135</sup>**

**(1904–1924)<sup>1</sup>**

Эти три статьи составляют одно целое. В них я стремился обрисовать развитие высшего типа жизни, как я его понимаю. Статья первая посвящена изменению типа человеческой личности — устранению той узости и неполноты человеческого существа, которые создают неравенство, разнородность и психическое разъединение людей. Статья вторая говорит об изменении типа общественной системы — устранении элементов

---

<sup>132</sup> XVI съезд ВКП (б). Стенографический отчет. М., 1930. С. 273 (выступление А. Стецкого). См. также: Леонтьев А. Экономическая теория правого уклона. М., 1929. С. 44–45.

<sup>133</sup> Щеглов А. Борьба Ленина с богдановской ревизией марксизма. М., 1937. С. 226.

<sup>134</sup> Богданов А. А. Всеобщая организационная наука: тектология Кн. II. М.; Л., 1927. С. 144. «Эгрессия» — понятие, характеризующее возрастание жестокости Централизованной системы. Публицистом И. Ачильдиевым (Идол // Юность. 1989. № 10. С. 54) предложено использовать понятие Эгрессивная Система как более емкое, чем Административная Система.

<sup>135</sup> Три статьи — «Собирание человека», «Цели и нормы жизни», «Проклятые вопросы философии». Они были напечатаны в московском журнале «Правда» в 1904 г., а затем отдельными изданиями в виде книжки «Новый мир».

принуждения из отношений между людьми. Статья третья намечает изменение типа человеческого познания — освобождение от фетишей, ограничивающих и извращающих познавательное творчество. В выяснении вопросов я старался идти по тому пути, который указан Марксом, — искать линии развития «высших» проявлений человеческой жизни, опираясь на их зависимость от развития *основных* ее условий. В моей работе дело идет, разумеется, только о самых общих контурах нового жизненного типа.

## Собирание человека

Что такое человек? Вопрос этот одни решают слишком просто и конкретно, другие слишком сложно и отвлеченно. Оба типа решений во многом сходятся между собою не только со стороны реального содержания, которое охватывают, но и со стороны основной точки зрения, из которой исходят. Это *наивные* решения.

Для обывателя «человек» — вовсе не загадка, не «проклятый вопрос», а просто живой факт его обывательского опыта: «человек» — это он сам и другие обыватели, и все, кто обладает достаточным сходством с ними. Решение, как видим, не только наивное, но явным образом и не вполне определенное. Однако оно совершенно удовлетворяет обывателя: своей незатейливостью оно как нельзя более соответствует несложности запросов обывателя, своей узостью — крошечным размерам того мира, в котором он живет.

Для философа-метафизика «человек» — великая загадка, но при помощи «самонаблюдения», «умозрения» и других методов он разрешает ее довольно легко: «человек» — это существо, одаренное «разумом», «нравственной свободой», «стремлением к абсолютному» и т. п. возвышенными свойствами. Формулы как будто не слишком отчетливые, не слишком точные, но для метафизика они обладают вполне достаточной определенностью. Они удовлетворительно резюмируют его личный опыт, кабинетный и житейский: «разум» для него означает способность к схоластическим упражнениям с их тонкостями и ухищрениями; «нравственная свобода» — склонность нарушать свои практические принципы и затем раскаиваться в том, что поступил так, а не иначе; «стремление к абсолютному» — общую неудовлетворенность жизнью, смутное сознание бессодержательности и бесплодности своего существования и т. д. И здесь наивность мышления заключается в том, что свой маленький и дрянный мирок, не стараясь расширить и развить его действительное содержание, делают, незаметно для себя, мерою для такой большой вещи, как человечество.

Наивным точкам зрения противопоставляются научные. К сожалению, в этом вопросе их имеется до сих пор не одна, а несколько. Так, для общей науки о жизни «человек» характеризуется определенными анатомическими и физиологическими особенностями, для психологии — определенными сочетаниями фактов сознания, для социальной науки — определенными отношениями к себе подобным, и т. д. Все эти точки зрения, разумеется, вполне законны и удовлетворительны каждая в своей области; но в одном отношении они недостаточны и уступают наивно-обывательской и наивно-схоластической: все они «парциальны», частичны.

«Человек» есть *целый мир опыта*. Этот мир не охватывается полностью ни анатомическим и физиологическим комплексом — «человеческое тело», ни психическим комплексом — «сознание», ни социальным — «сотрудничество»... И если мы просто соединим, механически свяжем все эти точки зрения, у нас еще не получится *целостной* концепции: собрание частей еще не есть целое.

В этом смысле и обывательская точка зрения, и ее разновидность — схоластическая имеют несомненное преимущество: каждая из них *формально* берет человека целиком, не отвлекая ту или другую его «сторону». Но от такой формальной целостности, к сожалению, толку очень немного, потому что *содержание* в обоих случаях берется мелкое и неопределенное. Самая «широта» этих концепций оказывается узкой и односторонней: «человек» выступает в них не как нечто беспредельно развивающееся, а как нечто

неподвижное в своих основах, статически-данное: в одном случае он всецело ограничивается рамками обывательщины наивной, в другом — рамками обывательщины философской; здесь он навсегда обрекается быть существом «полным страха и надежды, что бог сжалится над ним», там — существом полным праздных размышлений чистого разума об истинном познании и безнадежных мечтаний разума практического о преодолении всех инстинктов. Общая предпосылка состоит в том, что «всякой твари предел положен есть», его же не преидеши...

Задача состоит в том, чтобы дать *научную* и в то же время *интегральную*, а не частичную только, концепцию «человека». Для этого надо рассматривать человека не только как целый мир опыта, но и как мир развертывающийся, не ограниченный никакими *безусловными* пределами.

## I

Человек — мир, но мир частичный, не космос, а микрокосм, не все, а только часть и отражение великого целого.

Но почему он не целое? Что делает его частью? То, что связывает его с целым.

Если бы человек был один, он не был бы микрокосмом. Его опыт и мир совпадали бы между собою. Он, может быть, отличал бы от своего тела другие предметы, но все они были бы исключительно предметами его опыта. Всякое расширение этого опыта было бы тогда расширением мира в целом.

*Общение с другими существами* — вот что делает человека микрокосмом.

Только это общение научает человека тому, что есть вещи, которые не принадлежат к его опыту и, однако, «*существуют*», потому что принадлежат к опыту других людей, что есть переживания, которых он не испытывает, и которые, однако, «*реальны*», потому что протекают в сознании других людей. Он убеждается, что поток опыта не один, а их много, и все они сливаются для него в бесконечный океан, который он называет природой.

Таким образом, между «человеком» — индивидуальным миром опыта и «природою» — миром универсальным связь создается средою общения, социальной средою в точном смысле этого слова. И если мы хотим решить вопрос, что такое человек среди всеобщего мирового процесса, то путь к решению лежит для нас через другой вопрос: в каком отношении находится опыт отдельного человека к опыту других живых существ?

Эти другие существа прежде всего, конечно, люди — именно те, с которыми он находится в наиболее тесном жизненном общении — члены того общества, к которому он принадлежит.

## II

На заре жизни человечества между опытом отдельного человека и коллективным опытом его «общества» разница сравнительно очень небольшая и очень простая: это разница *количества*, а не качества.

Первобытное родовое общество — это мир стереотипных людей, с ничтожными вариациями повторяющих один другого, формы жизни просты, элементарны, однообразны; все, что доступно в опыте одному члену родовой группы, доступно и всякому другому; что делает и умеет один, то делает и умеет всякий другой; что знает один, то знает и всякий другой. Одинаковая среда, в которой каждый из них живет и действует: одна и та же маленькая группа людей, один и тот же маленький клочок природы. Одинаковы и средства, которыми каждый располагает в своей жизни и деятельности: один и тот же стихийно накопленный группою запас трудового опыта, одни и те же примитивные орудия.

Тут нет ничего такого, что выделяло бы некоторых среди остальных принципиально *более широким* содержанием жизни, ничего такого, что отличало бы некоторых от остальных принципиально *иным* материалом опыта. Есть только незначительные



количественные различия силы, ловкости, памяти, сообразительности; по существу, в полном жизненном цикле особый опыт каждого равен опыту всех.

Мышление людей при этом имеет «сплошной» характер. Группа живет, как целое; *нет личности*, нет идеи «Я» как особого центра интересов и стремлений. Оттого в первобытных языках и не было личных местоимений.

Не раз пытались идеализировать первобытную жизнь, представить ее *золотым веком* позади нас. Отсутствие власти и подчинения истолковывали — как господство свободы и равенства: отсутствие внутренней борьбы в родовой группе и ее тесную сплоченность на почве кровной связи — как осуществление братства. *Все это большая ошибка*. Наши идеи свободы и равенства возникают из такого опыта, в котором существуют угнетение и неравенство; они выражают активные стремления, направленные против этих фактов *опыта*; наша идея братства также возникает из реальных противоречий общественной жизни и выражает активные стремления, направленные против их фактического господства. Где опыт не дает отрицательной основы для этих идей, там они пусты и неприменимы. Таковы они по отношению к первобытному обществу.

Простота и элементарность жизни еще не составляют ее гармонии, потому что гармония — это примирение противоречий, а не простое их отсутствие, объединение разнообразного, а не простое однообразие. Если гармония не всегда воплощается в могучем движении, то она всегда заключает *в себе возможность могучего* движения. Этого нет в первобытной жизни людей: она неподвижна, стихийно-консервативна.

Бедность содержания жизни — такая бедность, какой мы не можем себе представить, — основная причина этого консерватизма. Развитие, творчество жизни возникают из богатства комбинаций опыта. Где весь материал опыта сводится к небольшому числу привычных ассоциаций образов, привычных эмоций и действий, там нет условий для развития и творчества. Где все строение психики основано на привычке, там нет и потребности в изменениях. Основное орудие человеческого развития — познание, строго говоря, не существует в этом мире: то, что лежит в рамках привычного, не вызывает потребности «объяснения»; то, что, неожиданно являясь извне, нарушает эти рамки, в ничтожном материале психики не находит данных для своего объяснения. Жизнь без познания стихийна, власть природы над нею безраздельна.

### III

При всей своей неподвижности первобытный мир обладает своими собственными силами развития. Это, конечно, стихийные, биологические силы: размножение, перенаселение, голод... Они вынуждают развитие, и оно совершается — в долгом ряду тысячелетий, с такой медленностью, которая недоступна нашему воображению.

Сначала это развитие имеет чисто количественный характер: поле опыта расширяется, сумма переживаний возрастает, — но «общество» остается комплексом *однородных* единиц, «человек» — существом *цельным и стереотипным*. Это продолжается до известного предела, за которым изменения становятся *качественными*.

Сумма коллективного опыта возрастает до таких размеров, что отдельный человек овладевает ею только в поздних стадиях своей жизни, да и то не каждый в полной мере. Тогда выделяется старший в роде, как носитель *всего* опыта группы, в противоположность остальным ее членам, располагающим лишь *неполным* опытом.

Первоначальная однородность отношений внутри группы шаг за шагом исчезает. Один, опираясь на свой накопленный опыт, начинает указывать, остальные — следовать его указаниям. Это различие в дальнейшем возрастает, потому что неоднородность жизненной роли людей сама обуславливает неоднородность последующего развития.

Чтобы в пределах своей психики охватить наибольшую сумму опыта, тот, кто указывает другим, все в большей мере суживает свою «физическую» активность: он реже и реже действует лично, чаще и чаще — через других; он превращается в распорядителя по

преимуществу, в *организатора* групповой жизни. Остальные, напротив, сохраняют все меньше личной инициативы, привыкают подчиняться, становятся постоянными *исполнителями* чужих указаний. Относительная бедность их жизненного содержания — благоприятное условие для такой деятельности: больше автоматизма, меньше колебаний, организатору легче справляться со своей задачей.

Так совершилось первое дробление человека — отделение «головы» от «рук», повелевающего от повинующегося; так возникла *авторитарная* форма жизни. В дальнейшей истории человечества она, развиваясь и усложняясь и разрушаясь, выступает в бесчисленных вариациях; до сих пор это — основное и главное разделение общества. В виде мягкого матриархата и сурового патриархата, в виде облеченной религиозной тайною власти жреческой и облеченной силою оружия власти феодальной, в виде чуждой всяких формальностей системы рабства и полной холодного формализма системы наемного труда, в виде бессмысленно-тупого восточного деспотизма и западно-культурной власти избранника, в виде бумажно-сухой власти бюрократа над обывателями и опирающейся на нравственную силу власти идеолога над его согражданами — во всех этих изменяющихся формах авторитарное дробление человека сохраняет одну и ту же основу: отчетливо или смутно опыт одного человека признается принципиально неравным опыту другого, зависимость человека от человека становится односторонней, воля активная отделяется от воли пассивной.

#### IV

Дробление человека вызывает дробление мира.

Дело начинается с того, что мышление людей перестает быть «сплошным», что один человек в их сознании отделяется от другого как особый, своеобразный мир опыта. Возникает «я» — центр отдельных интересов и стремлений. Но оно находится еще в самом начале своего развития: это «я» — личность организатора; ему нет еще антитезы в виде других «я», которые бы с ним сталкивались как независимые от него единицы; перед ним только подчиненные единицы, которые с ним неразрывно связаны как низшие органы его организма. Организатор не может вполне отделить себя как самостоятельное «я» от исполнителей: он им соотносителен, без них он немислим, как и они без него; *логической невозможностью является организатор без исполнителей и исполнители без организатора* .

Дальше авторитарное дробление распространяется на всю природу, сохраняя тот же характер соотносительности и связности.

Первобытному мышлению мир представлялся как хаос *действий* , потому что именно в форме действий являлась человеку его собственная борьба за жизнь. При этом «действие» выступало в сознании как единый и цельный жизненный акт среди других таких актов. Теперь же «действие» дробится в опыте, разлагается на два отдельных момента, — на активно-организаторскую волю и пассивное ее выполнение. *И вся природа, как мир действий, становится такой же двойственной: во всяком явлении принимается активная воля как определяющее; и пассивная сила как определяемое: это «дух» и «тело». Сам человек — явление в ряду явлений — подвергается такому раздвоению наряду со всем остальным: он приобретает «душу», как приобретают ее в то же время камни, растения, животные, светила. Развивается анимизм как всеобщая форма мышления* .

Нет надобности специально доказывать, что отношение «духа» и «тела» есть именно авторитарное отношение господства и подчинения, высшего и низшего. Но и фактически, насколько мы знаем историю первобытного человечества, *этот дуализм* именно там и тогда возникает в сознании людей, где и когда в общественной системе уже существует авторитарное дробление. И дальше по мере того как авторитарное дробление развивается, усложняется, меняет свои формы, то же самое происходит с авторитарным дуализмом мышления. Когда сознание группирует обширные ряды явлений в сложные единства, то за каждым таким рядом выступает организующая его высшая сила и божества политеизма

занимают свои почетные места в человеческом мышлении. Когда развивающееся познание достигает объединения всех рядов опыта в *Universum*, в мировое целое, тогда наступает эпоха единобожия. Когда противоречия социальной жизни, отражаясь в психике личности, порождают *этическое* мировоззрение, тогда человек раздваивает собственное сознание, противопоставляя в нем высшие стремления низшим, разумный долг — слепым инстинктам... Дуализм и религиозное сознание дороги именно тем классам общества, которые живут в атмосфере авторитарных отношений по преимуществу, которые тяготеют к власти и подчинению. Где расцветает авторитарная жизнь, там расцветает и дуалистически-религиозное миропонимание, и в такой же связи совершается их упадок.

Авторитарный дуализм есть исторически первая форма «мировоззрения»; до него не было той связи опыта, для которой подходило бы это слово. Вместе с авторитарным дуализмом возникло то, что мы называем «познанием»: различая в явлениях активное и пассивное начало, человек тем самым уже «объясняет» через первое проявление второго. Это, разумеется, только начало познавательного развития; цепь «объяснения», цепь причинности обрывается здесь уже на втором звене: если явление имеет свою причину в собственной «душе», то дальше этой души объяснению идти некуда. Но подобно тому как авторитарные отношения, расширяясь, развертывались в длинные ряды последовательных звеньев, усложнялась и развертывалась также цепь причинности; в общественной жизни людей авторитарные ряды отношений всегда сходились в каком-нибудь одном высшем авторитете; и точно так же познание людей стремилось сводить все причинные ряды в одной высшей первоначальной причине. Так познание отражает общественную жизнь людей не только в своем содержании, но и в своих формах.

## v

В сущности, авторитарные формы дробят не столько самое *содержание* человеческого опыта, сколько *отношение* людей к данным опыта. Тот, кто повелевает, и тот, кто подчиняется, неминуемо с *различной* точки зрения воспринимают одни и те же факты.

Вторая фаза дробления человека — специализация — идет в другом направлении. Здесь для каждого качественно суживается *содержание* жизни, и коллективный опыт оказывается разделенным между людьми так, что одному достается по преимуществу одна его область, другому другая, и т. д. Сапожник знает свои колодки, купец свой прилавок, ученый свои фолианты, жрец свои молитвы, философ свои силлогизмы. Микрокосм делается мал и узок, мир заслоняется колодками, прилавками, фолиантами, мысль вращается в тесном кругу и не может из него выбраться.

Это суженное существование не способно к самостоятельности, и потому даже не в силах окончательно вывести человека из-под власти авторитаризма: она сохраняется в виде патриархального господства отца в семье, экономического господства предпринимателя в предприятии, политически-организаторской роли бюрократии, идейно-организаторской роли идеологов и т. д.

Специальным опытом определяется специальное мировоззрение. В сознании одного специалиста жизнь и мир выступают как мастерская, где каждая вещь готовится на свою особую колодку, в сознании другого — как лавка, где за энергию и ловкость покупается счастье, в сознании третьего — как книга, написанная на разных языках и разными шрифтами, в сознании четвертого — как храм, где все достигается путем заклинаний, в сознании пятого — как сложная, разветвляющаяся схоластическая задача, и т. д. и т. д. В мире торговли и кредита вырастает утилитарист, для которого любое проявление жизни арифметически оценивается на разменную монету выгоды; в атмосфере специально-правовой деятельности юрист, который даже законы природы невольно рассматривает как нормы, извне для нее установленные и не подлежащие нарушению; среди стихийно-могучей и гармонически-связной работы машин современный работник бессознательно усваивает механическую концепцию природы... Всякий *строит мир* по

образу и подобию своего специального *опыта* .

Вместе с тем суживается возможность взаимного понимания людей. Имея дело с различным содержанием опыта и создавая для этого содержания неодинаковые формы, члены общества, развившего специализацию, говорят неминуемо на разных языках. И если бы специализация могла бесконечно развиваться, если бы наряду с дроблением коллективного опыта значительная его часть не оставалась общею для всех, то повторилась бы история вавилонского столпотворения, и люди принуждены были бы разойтись вследствие полного взаимного непонимания.

## VI

Специализация не разрушила общества, но все же она в высокой степени его разъединила.

Хотя специализация возникла среди авторитарных отношений, но, развиваясь, она перестает укладываться в рамки той или иной авторитарной группы. В своей обособленной сфере опыта каждый специалист встречает гораздо меньше сопротивлений, чем прежние цельные люди в своем разностороннем мире; поэтому расширение опыта идет здесь несравненно быстрее. Мир коллективный, разрастаясь одновременно по различным «специальным» направлениям, достигает колоссальных размеров по сравнению с прежней суммой коллективного опыта.

Между тем силы старого авторитета ограничены хотя бы потому, что форма его конкретна и персональна; он воплощается в живом человеке, а никаких сил человеческих не хватит на то, чтобы владеть всей суммой опыта, какую представляет жизнь специализированного общества. Коллективное целое уже не может сдерживаться и регулироваться одной волею, оно дробится, распадается на независимые группы. Это — индивидуальные хозяйства.

Центром каждой такой группы становится отдельный «специалист». Он участвует в социальной жизни как вполне самостоятельная единица, которой ничья чужая воля не предписывает ни путей, ни средств в ее трудовой деятельности. Общество, как целое, становится неорганизованной, анархической системой, и потому оно полно противоречий. Живя разнородной жизнью, будучи независимы по форме, но постоянно сталкиваясь в силу необходимой материальной связи, элементы общества оказываются взаимно неприспособлены, а это значит — взаимно враждебны. Коллективный мир превращается тогда в мир конкуренции, борьбы интересов, войны всех против всех...

Тогда развивается и выступает на первый план человеческое «Я».

## VII

В мире специализации уже одно различие жизненного опыта вместе с его результатом — неполным взаимным пониманием людей — глубоко отграничивает человека от человека в их сознании. Это отграничение упрочивается благодаря внешней независимости отдельной личности от других в ее трудовой деятельности. Оно завершается на основе взаимной борьбы людей, вытекающей из противоречия их жизненных интересов.

Реально противопоставляясь другим «я», человеческое «я» становится самостоятельным центром интересов и стремлений. Молот общественного антагонизма выковывает индивидуалистическое сознание.

Перед нами уже не то относительное «я» авторитарного мира, которое не может представить себя без исполнительского «ты»: перед нами «я» абсолютное, «я» *an und für sich*, само по себе и само для себя, чуждое сознания своей органической связи с другими «я» и всем миром.

Старый авторитет не в силах примириться с этим развивающимся анархическим сознанием, — он вступает в борьбу с ним, пытается подавить его. В борьбе с авторитетом

индивидуализм становится *освободительным* течением. Эта его роль имеет громадное историческое значение, но она исторически преходяща. В старых революциях XVII и XVIII веков она выступает еще в полной силе; в революциях нашего времени борьба индивидуализма против авторитарного прошлого все более отступает перед его борьбой против социалистического будущего.

## VIII

«Абсолютное» индивидуальное «я» выражает собою социально-раздробленный опыт и жизненное противоположение человека человеку. Понятно, что единство общественного целого — вне его поля зрения. И это единство не только невидимо для личности, — оно, кроме того, несовершенно, стихийно, неорганизовано: оно полно жизненных противоречий. Личность *ниже* этих противоречий недоступного и непонятного ей целого, она бессильна перед ними; стихийные силы общественной жизни господствуют над человеком.

Каков опыт, таково мышление. Оно индивидуалистично, его вечным центром является «я», «абсолютное», оторванное от общественного — и тем более от мирового целого: это «я» — «субъект», противостоящий всему остальному как «объекту», в бесконечном ряду явлений действительности оно не находит себе места. Оно мучительно чувствует господство над собою каких-то темных стихийных сил, — но эти силы переходят за пределы его опыта, они сверхиндивидуальны; и свое смутное представление о них человек воплощает в безличных абстракциях метафизики, с их неопределенным, колеблющимся содержанием. Вся жизнь, весь мировой процесс представляются тогда сознанию «проявлением» таинственных, безлично-абстрактных реальностей, глубоко скрытых под корою «видимого» мира, как его непознаваемая «сущность».

В философских головах эти и метафизические формы мышления получают только наиболее чистую и тонкую отделку; но они характерны для *всякого* индивидуалистического сознания, как бы ни было смутно и неуклюже их выражение в психике неученого обывателя.

## IX

Воплощая в себе раздробленный, противоречивый опыт, индивидуалистическое сознание необходимо становится жертвою «проклятых вопросов». Это те безнадежно-бесплодные вопросы, на которые вот уже столько веков «глупец ожидает ответа». Что я такое? — спрашивает он, — и что этот мир? Откуда все это? Зачем? Почему столько зла в мире? и т. д., до бесконечности.

Приглядитесь к этим вопросам, и вам станет ясно, что это — вопросы раздробленного человека. Именно их должны были бы задавать себе разъединенные органы одного организма, если бы продолжали жить и могли спрашивать.

Что я такое? — разве это не самый естественный вопрос для какого-нибудь пальца руки, оторванного от тела? Зачем я? откуда? — как не спрашивать об этом живой части, потерявшей связи со своим жизненным целым? И неминуемым дополнением этих вопросов выступают другие — относительно того целого, которое необходимо и в то же время недоступно для своей части: что такое мир, зачем он, откуда? А там, где проходит разрыв живой ткани, отделяющий орган от тела, там чувствуется мучительная непонятная боль; — и вот вопросы о зле жизни.

Безнадежность вопросов вытекает из того, что никакие ответы на них все равно не могут и не должны удовлетворить индивидуалистического сознания. Ведь эти вопросы выражают муки разорванной жизни, — и пока она остается разорванной, никакой ответ не прекратит боли, потому что на боль вообще не может быть ответа. Здесь все бесполезно; даже когда развивающаяся критика докажет, что эти вопросы неверно поставлены, не имеют смысла, основаны на ложных посылах, — даже тогда индивидуалистическое сознание не перестанет задавать их, потому что критика не в силах реально преобразовать это сознание,

не в силах превратить его из жизненной дробы в целое.

## х

Специализация не устранила авторитарного дробления человека, она только ограничила его поле и создала для него новые рамки. «Специалист» — ремесленник, крестьянин, ученый — не только внешним образом независим в своей деятельности, но он еще «авторитет» в пределах той маленькой группы, с которой связан прямой жизненной связью; он «глава» своей семьи, своего хозяйства. «Мещанский мир» — это мир авторитарно-индивидуалистический.

Блестящий представитель этого мира, Людвиг Бернез, определял, помнится, свободу как деспотизм в известной, ограниченной сфере. Эта сфера прежде всего, конечно, семья; и потому великий либерал горячо отстаивал рабство женщины и детей.

Мышление мещанского мира естественно совмещает в себе и авторитарный дуализм и индивидуалистическую разорванность. Оно религиозно и метафизично. Его *Universum* раздвоено по всей линии и полон таинственных противоречий.

## xi

Дробление человека порождает не только неполноту жизни, раздвоенность опыта, разорванность мира; оно порождает реальные жизненные противоречия и через них — развитие.

В раздробленном человеке со стихийной силою возникает потребность стать целым. Она несет ему тяжелые муки неудовлетворенности, но и толкает его на путь борьбы за ее удовлетворение. На этом пути совершается *собрание человека*.

Процесс этот жизненно сложнее и потому жизненно труднее, чем процесс дробления. Таким образом, пока этот последний развивается прогрессивно, первый неминуемо отстает от него все более. В результате хотя *собрание человека* постоянно *вызывается* дроблением и идет за ним следом, но оно им совершенно *маскируется* в течение долгих периодов жизни человечества. Только тогда, когда процесс дробления замедляется и приостанавливается, только тогда процесс *собрания* выступает на первый план и налагает свою печать на развитие жизни человечества.

Новейшее время истории является эпохой *собрания человека*.

## xii

В специализированном обществе потребность объединить, собрать раздробленный опыт достигает такой силы, что вызывает сознательные попытки в этом направлении. Эти попытки носят название «философии». Задача философии — гармонически единое мышление мира — совпадает с задачей *собрания человека*, потому что мир есть вся сумма доступного людям опыта.

Пока дробление человека прогрессивно развивалось, работа философии была работою Сизифа. Это была мучительная трагедия героических умов, вновь и вновь повторявших безнадежные усилия связать тонкими, светлыми нитями идей глубоко разорванную и все дальше расползающуюся ткань мира.

На известной стадии развития этой трагедии в нее вступает элемент комического. Философ делается *специалистом*, и чем далее, тем более узким. У него оказывается своя специальная область опыта — область *слов*, выражающих попытки объединения опыта. Он перестает быть энциклопедистом, каким был раньше, и уже не стремится быть им. Он замыкается в специальность и становится ходячим противоречием: оторванный кусок, серьезно занимающийся сшиванием целого.

Идя по этому пути, философ все больше превращается в филистера. Его деятельность

становится систематическим штопаньем дыр мироздания бумажной тканью его ночного колпака. Таков преобладающий тип современных гносеологов и метафизиков. Бесплезность их усилий только смешна, их судьба — фарс, а не трагедия.

Каждый из них искренне считает себя наследником философских гениев прошлого — героев борьбы за единство мира и человека — и не замечает, что в действительности он только плохой портной, не более.

Филистерская философия, разумеется, бесполезна и даже вредна для дела собирания человека. Оно осуществляется помимо нее, не схоластической болтовней, а самой жизнью. Сама жизнь становится «философией».

### XIII

Самый живой, самый типичный и яркий пример собирания человека мы найдем именно там, где дробление человека дошло до последней крайности.

Предел дробления человека — это детальный работник мануфактуры. Уже ремесленник был «узким специалистом», дробью человека по содержанию и по объему опыта; но работник мануфактуры сделался мелкой частью ремесленника. Один всю жизнь обтачивал острие иглока, другой — всю жизнь пробивал ушко... Это были люди-машины.

Они и отупели почти до степени машин. И чем больше каждый из них тупел, утрачивая жизнь и индивидуальность, тем лучше он был в качестве машины, — и тем выгоднее для того, кто над ним господствовал и им пользовался. Выгода и привела к полному устранению этой индивидуальности и этой жизни: детального работника заменила *машина*, и это оказалось возможно и сравнительно легко — до такой степени он был раздроблен и упрощен.

Но вместе с тем явился новый тип труда: работник машинного производства.

Работник мануфактуры был мыслим только как *исполнитель* чужих указаний: он был машиной, а машиной надо управлять. Работник при машине — тоже исполнитель, но не только это: он *управляет* машиною. Он направляет и контролирует деятельность механизма, — работа по своему психическому содержанию того же типа, как деятельность организатора, направлявшего и контролировавшего труд мануфактурных работников. «Организаторские» качества — интеллигентность, внимание — нужны машинному работнику даже в большей степени: детального работника понимать было легко, и слушался он почти всегда; но машину понимать зачастую гораздо труднее, и она нередко перестает слушаться...

Так в мире техники делается важный шаг на том пути, на котором преодолевается основное — авторитарное дробление человека: возникает психический тип, совмещающий организаторскую и исполнительскую точку зрения в одной непосредственно-цельной деятельности.

Этого мало. Требуя от работника интеллигентности и внимания, машина в то же время *сама по себе* вовсе не способна удовлетворить вызванным ею запросам. Работа при машине пуста, малосодержательна, она только время от времени полностью занимает интеллект и внимание. Приходится искать для них иной пищи, чтобы заполнить пустоту. Развиваются умственные интересы, стремление углубить и расширить опыт — интересы и стремления, направленные к собиранию человека.

Но как удовлетворить их? Об этом заботится капитал. Он собирает *людей*, и это ведет к собиранию человека.

Капитал объединяет людей большими массами за общей работой. Им надо только *понимать* друг друга, чтобы взаимно расширять и углублять свой опыт. И к этому взаимному пониманию нет прежних препятствий, потому что тут перед нами уже люди, а не специализированные машины мануфактур. При каких бы различных машинах ни находились машинные работники, в общем характере и содержании их труда всегда много сходного; и это сходство все более возрастает по мере того, как машина совершенствуется и

приближается к своему идеалу — автоматическому механизму. Таким образом, общности опыта достаточно для взаимного понимания при общении. И общение развивается.

Так шаг за шагом преодолевается вторая форма дробления человека — специализация.

#### XIV

На основе общности опыта, как той, которая дана непосредственно, так и той, которая развивается путем общения, возникают далее новые и более совершенные формы собирания человека.

Типичнейшая из этих форм есть групповое и классовое самосознание. Оно расширяет индивидуальный опыт до группового, и более широкого — классового; индивидуальные интересы и стремления — до групповых и затем классовых. Это необходимая стадия собирания человека.

На ее почве в свою очередь возникают различные новые формы и комбинации собирания людей — экономические, политические, идейные союзы; партии, доктрины. Одни из них оказываются более жизнеспособными, другие менее; одни развиваются, другие распадаются. Но в конечном счете, прямо и косвенно, все они служат делу собирания человека.

#### XV

Машина родилась в мире конкуренции, общественного антагонизма. Эту конкуренцию, этот антагонизм она, как известно, обострила, довела до крайности. Но тем самым она обострила и усилила *потребность развития*.

Для конкуренции становится необходимым непрерывное, планомерное совершенствование техники в каждой данной ее области. Потребность эта удовлетворяется выработкой общих технических методов.

Общие методы техники ведут к тому, что все машины шаг за шагом приближаются к высшему их типу, автоматическому механизму. Этот процесс не только прямо и непосредственно уменьшает значение специализации, увеличивая сходство различных форм труда, — он имеет еще иное, косвенное, но громадное значение для дела собирания человека.

Наука в своей основе есть систематизация техники: ее материалом является «труд, который есть опыт, и опыт, который есть труд». *Общие технические методы она выражает и отражает в общих методах познания*. Она становится монистичной.

Всеобщий научный закон сохранения и превращения энергии есть именно всеобщий технический принцип машинного производства: он выражает собою тот основной факт всякого человеческого труда, что работа необходимо почерпается из какого-нибудь наличного запаса сил. А дополняющий собою закон энергии всеобщий ограничительный закон энтропии отражает собою всеобщую ограниченность человеческой техники: наличный запас энергии никогда не может быть всецело, полностью использован человеком.

Так систематизируется весь коллективный опыт в объединяющие формы познания, доступные психике отдельного человека. Знание общих методов заменяет знакомство с бесконечными деталями. Неспециалист тогда в любой специальной области перестает чувствовать себя чуждым: ему, конечно, многие частности и мелочи *неизвестны*, но все в общем для него *понятно*, и с каждой из этих частных и мелочей он может легко ознакомиться, как только пожелает. Специалист же остается таким лишь в сфере деталей; а в сфере методов, т. е. во всей *активной* стороне своего специального опыта, он уже — человек.

Специалист прежнего типа становится не только уродливой, но и бесполезной фигурой, он не в силах ничего создать в своей области, потому что приемы его стереотипны, а психика узка и бедна. В лучшем случае он годится еще для собирания фактов; но и тут зачастую приносит вред вместо пользы, не умея разобраться в этих фактах, без толку их нагромождая



или даже бессознательно их искажая соответственно своей отжившей точке зрения. Когда же он вступает в область широких обобщений, то оказывается прямо реакционером: в биологии он — виталист<sup>4</sup>, в экономической науке «Grenz-nützlich», в философии — метафизик, повсюду — схоластик. Тут он еще вреден, но для развивающегося познания уже не страшен; его величественная мина вызывает только веселый смех молодой критики.

На смену старому филистеру-специалисту приходит новый тип ученого: широко образованный, монистически мыслящий, социально-живущий. В нем выражается сознательно-систематическое собирание человека, оно идет чем дальше, тем успешнее, потому что находит себе опору в стихийно-общественном процессе. Лучшим, почти идеальным, воплощением этого типа был тот, кто первый дал монистическое понимание общественной жизни и развития, — великий философ-боец Карл Маркс.

## XVI

Собирание человека происходит различными путями: я указал для них только основные — в сфере техники и познания. Проследить все производные — в области «политических», «правовых», «нравственных» отношений — было бы слишком долго. Важно то, что каждый новый шаг на этом пути облегчает дальнейшие, увеличивая связь и взаимное понимание тех элементов человечества, которые вовлечены в процесс «собирания». Следовательно, как ни труден, как ни мучителен порою этот процесс, но с каждой новой своей фазой он осуществляется все легче. Скорость его возрастает.

## XVII

Куда же ведет эта линия развития? К превращению человека — дробь в человека — целое. Но что это значит?

Должно ли при этом получиться возвращение к первобытному типу стихийно-целостной жизни, когда опыт каждого и опыт всех совпадали, когда человек был стереотипно повторяющимся элементом недифференцированного целого? Конечно, нет.

По мере завоевания человеком природы сумма коллективного опыта возрастает до таких колоссальных размеров, что ее нельзя себе представить полностью вмещающейся в каждую отдельную психику. И самый процесс собирания человека, насколько он нам известен, направлен вовсе не к такому чудовищному распуханию человеческой души.

Дело идет о возрастающей общности *основного содержания* опыта, а не бесчисленных частных переживаний, о возможности *полного взаимного понимания* людей, а не об их психическом тождестве; о способности каждого во всякое время *овладеть* какой угодно частью опыта других людей, а не о фактическом обладании всем этим опытом.

Первобытная цельность основывалась на ограниченности жизни и соединялась с крайним ее консерватизмом: та новая цельность, к которой ведет собирание человека, должна охватить громадное богатство жизни и дать простор ее беспредельному развитию. Первая имеет статический характер, вторая — динамический; первая является *привычной*, вторая — *пластичной*; сущность первой составляет простота, сущность второй — гармония.

Вы смотрите вокруг себя, в поле вашего зрения развертывается бесконечный мир. В ваших глазах лучи света рисуют изображения предметов; это уменьшенные, но «верные» изображения. Одни предметы ближе к нам и воспринимаются с большей детальностью, другие дальше и воспринимаются лишь в общих чертах, третьи в данный момент недоступны нашему зрению. Для другого человека все отношения иные: он видит те предметы, которых вы не видите, и, наоборот, для него с мелкими подробностями выступают такие части среды, которые вам являются лишь в виде смутных контуров, и т. д. Словом, поле зрения у него *другое*. Но вам стоит только подойти или приложить к глазам бинокль, чтобы разглядеть любой из ближайших к нему предметов настолько же ясно и детально, насколько он его видит., Зрительный мир у вас обоих *один и тот же*, и оба вы располагаете

*общими методами* , чтобы зрительно «овладеть» любой частью этого мира.

Однако, если вы живете на маленьком острове, которого не можете покинуть, или если вы не знаете употребления оптических инструментов, которыми пользуются другие, то для вас зрительный мир не тот, что для других людей, и вам «непонятны» их описания других стран, их сообщения относительно формы и движения планет и тому подобные высказывания.

Поставьте в обоих случаях вместо зрительного мира коллективный опыт, и вы получите антитезу между гармонической жизнью будущего, к которой ведет собирание человека, — и современной отживающей специализацией. Если человек владеет выработанными общими методами познания и практики, то стоит ему «подойти» с этими методами к любому вопросу, к любой жизненной задаче, и он разрешит этот вопрос, эту задачу, хотя они вне его «специальности». А при старой специализации человек «подойти» не в силах, общих методов не имеется, — для разрешения частного вопроса, частной задачи надо овладеть целой новой специальностью, что может потребовать всей жизни человека.

Когда в опыте каждого имеется уменьшенное, но верное и гармоничное отражение опыта всех, когда в переживаниях другого никто не находит ничего принципиально недоступного и непонятного, тогда «специальный» труд так же мало отрывает человека от коллективной жизни, как данное поле зрения отрывает его от всего зрительного мира. Тогда жизнь может свободно расширяться во всяком данном направлении, не уродуясь, не искажаясь, не делаясь болезненно-односторонней.

К этому ведет собирание человека.

## XVIII

Человек — отражение общества. Каким же общественным отношениям соответствует новый, развивающийся тип человеческой жизни?

Принципиальное равенство опыта, соединенное с полным взаимным пониманием людей, может явиться лишь результатом широкого общения людей при полном равенстве их взаимного положения. Этим условиям соответствует только один тип отношений между людьми — отношения *товарищеские* . Отношения эти по существу враждебны всяким перегородкам между людьми — всякому подчинению и сужению, всякому дроблению человека.

Собирание человека и совершается в действительности именно там и постольку, где и постольку отношения авторитаризма и специализации сменяются товарищескими.

Доказывать это нет надобности; подробно выяснять — здесь не приходится.

## XIX

Несомненно, что всеобщие товарищеские отношения и полное взаимное понимание людей означают уничтожение общественных противоречий и антагонизмов.

Здесь возникает вопрос о *силах развития* .

Противники товарищеских отношений утверждают, что сами по себе эти отношения застойны, именно потому, что гармоничны. Только борьба между людьми, в виде войн, конкуренции, группового антагонизма, наконец, хотя бы ослабленного психического отражения этой борьбы — соревнования, только она, по их мнению, вызывает развитие и гарантирует его непрерывность. Где есть гармония, там некуда и незачем идти дальше.

Так ли это?

Разве жизненная борьба прекращается с прекращением борьбы между людьми? Разве стихийная природа заключает тогда мир с человеческим сознанием? Разве страдания, смерть, непознанное нашего мира и неизвестное других отдаленных миров перестают окружать человека? Разве великий враг раскрывает ему тогда свои объятия?

Борьба человека против человека — это только дорогая цена, которою покупается

*стихийное* развитие. Масса сил бесплодно растрачивается на эту борьбу, и только небольшая часть их идет прямо на то, чтобы сделать человека сильнее и совершеннее. С прекращением такой растраты сил начинается эпоха *сознательного* развития.

Там, где опыт каждого непрерывного получает новое и новое содержание из опыта всех, где из взаимного общения людей для каждого непрерывного возникают новые и новые вопросы и задачи, где гармоническое объединение коллективных сил дает каждому возможность вступить в общую борьбу против стихийной природы с уверенностью в победе — там не может быть вопроса о стимулах развития.

Кто считает борьбу между людьми необходимым условием их развития, тот просто обобщает свой узкий опыт, грубо перенося прошлое в будущее. Нередко человек, воспитанный на розге, считает невозможным без ее помощи научить детей чему-нибудь. Это та же логика.

Собирание человека ведет не к застою, а к смене одного типа развития другим: дисгармонического развития человечества раздробленного — гармоническим развитием объединенного человечества.

В сущности, дробление человека никогда не было только дроблением. Оно совершалось гораздо больше путем одностороннего развития, чем путем сокращения жизни, гораздо больше путем гипертрофии одной ее стороны, чем путем атрофии других сторон. *Полнота жизни* при этом не уменьшалась, а возрастала.

Даже самый узкий специалист нашего времени — какой-нибудь кузнец, выковыливающий одни гвозди, или запыленный гносеолог, видящий жизнь только через тусклые стекла своего кабинета, — даже они обладают неизмеримо большим богатством переживаний, чем первобытно-целостный человек времен давно минувших. И таково же должно оказаться различие суммы жизни для одностороннего, противоречиво развивающегося человека наших времен — и для того гармоничного, разностороннего существа, которое его сменит.

При громадном количественном различии опыта и при коренном несходстве самого типа жизни представитель одной фазы развития человечества не в силах даже понять представителя другой фазы, не в силах конкретно вообразить его психическую жизнь; исследуя ее, он может только абстрактно характеризовать ее основные черты, как делаю это я по отношению к типу доисторического прошлого и к типу исторически намечающегося будущего.

Тут возникает вопрос: имеет ли смысл одним и тем же словом «человек» обозначать существа, настолько разнородные?

И да, и нет. Да, потому что цепь развития здесь все же непрерывна. Нет, потому что мало пользы в объединяющем *понятии* там, где реальные различия преобладают над сходством, где нет психической связи и единства, достаточных для взаимного *понимания* живых существ. Очевидно, что «нет» здесь вернее, чем «да».

Итак, что же такое человек? Ответом на этот вопрос служит вся обрисованная картина развития.

Признаем ли мы человеком существо эмбрионально-простое, стихийное, чуждое развития? Мне кажется, нет.

Признаем ли мы человеком существо неполное, часть, оторванную от своего целого, дисгармонически развивающуюся? Мне кажется, нет.

Но если человеком мы признаем существо развитое, а не эмбриональное, целостное, а не дробное, то наш вывод будет такой:

*Человек еще не пришел*, но он близко, и его силуэт ясно вырисовывается на горизонте.

## Цели и нормы жизни

Прошло всего несколько тысяч лет с тех пор, как жизнь человечества перестала быть голою «борьбой за существование». Целые тысячи веков весь ее смысл, все содержание сводились к простому ее *сохранению*, к ее отстаиванию против грозных и враждебных сил внешнего мира. Все усилия людей направлялись к тому, чтобы только избежать ее крушения и гибели, чтобы только поддерживать ее, поддерживать *такую, какова она есть*; при ее слабости и неустойчивости малейшее изменение угрожает ей страшной опасностью, почти неминуемым разрушением; и человек чувствует непреодолимый ужас перед всем новым и необычным в своей собственной жизни, как и в окружающей природе.

Все это вполне естественно и закономерно. Когда чуть теплится огонек жизни, всякое колебание для него опасно, грозит погасить его бесповоротно. Стихийные влияния внешнего мира не могут не порождать время от времени стихийных изменений в природе людей, в их взаимных отношениях; но изменения эти бесконечно чаще губительны, чем полезны для жизни; они нарушают сложившееся равновесие жизни, а в ней нет элементов для того, чтобы произвести новое, высшее, и тогда ее падение неизбежно. Отсюда *стихийный консерватизм* первобытной жизни, отсюда то громадное внутреннее сопротивление, которое оказывает она всякому развитию, всякому преобразованию. Этот консерватизм и это сопротивление так долго царили над человечеством безраздельно, что их не успело изгладить все движение исторической жизни, и следы их на каждом шагу дают себя чувствовать даже в психологии прогрессивнейших групп и классов современного общества.

В эпоху первобытного консерватизма вопрос о «нормах» человеческой жизни является чрезвычайно упрощенным, точнее даже — не существовал. Данная, сложившаяся форма жизни и есть *абсолютно-должное*; ее консерватизм есть ее норма. Ничто не должно изменяться; все должно быть, как было и как есть; такова «всеобщая норма» первобытной психологии.

Но в сущности это даже не норма. Всякая норма предполагает более или менее сознательную формулировку и предполагает мысль о возможности «нарушения». Первобытный консерватизм свободен от всякой сознательной формулировки, в ней нет надобности, потому что нет мысли о возможности «нарушить» этот консерватизм. Он *существует*, и его так же мало требуется формулировать в виде нормы, как инстинкт самосохранения, чистейшей формой которого он является. Все, что его нарушает, — внешняя и враждебная сила для первобытного человека; и против всего этого человек борется стихийно, повинувшись непосредственному импульсу своей организации, а не голосу совести, правового сознания или хотя бы благоразумия, выражающему свои требования в виде различных «норм».

Над первобытной жизнью царит «обычай», — так принято ее характеризовать. Но этот «обычай» вовсе не то, что называют таким именем в современном мире: он не есть старая, известная всем *норма*, не правило, которым люди руководятся и которого стараются не нарушать, а тысячелетняя *привычка*, составляющая нераздельную часть человеческого существа. Бывают случаи, что и этот «обычай» нарушается; но для первобытного сознания — это просто нарушение естественного порядка фактов, все равно как рождение двухголового чудовища или солнечное затмение. Чудовищного младенца выбрасывают, нарушителя обычая убивают или изгоняют, темную силу, помрачающую солнце, стараются отогнать стрелами, — все это психологически-однородные действия, проявления бессознательного и безусловного консерватизма жизни, инстинкта самосохранения в первичной фазе его развития.

Люди, принадлежащие к одной первобытно-родовой группе, психологически настолько же тождественны между собою, насколько одинаково организованы физически. Благодаря этому их взаимные отношения бесконечно просты и чужды всяких противоречий. Нормы же нужны только там, где отношения сложны и противоречивы. Вот почему первобытная жизнь их не знает, вот почему ей незнакомы даже те основные представления, которые составляют необходимое содержание всякой нормировки. В этом далеком от нас мире нет места идеям

«должного» и «не должного», «принуждения» и «свободы», «закона» и его «нарушения». Есть только непосредственная жизнь, которая судорожно борется против всего нарушающего одинаковый в бесчисленных повторениях цикл ее стихийного течения.

## II

Нормы человеческой жизни выражают собою познание «добра и зла». Царство их начинается с грехопадением человека.

Грехопадение это совершилось не в один день и не в тысячу лет: оно было долгим, страшно медленным процессом. Состояло оно в том, что жизнь все более переставала быть абсолютно верною тому, чем она была, — переставала быть верною в своей изначальной окаменелой форме.

Как бы ни были редки и случайны *полезные* изменения первобытно-консервативной жизни, но они сохраняются с нею, потому что помогают ей сохраняться, тогда как все иные изменения губят ее и гибнут вместе с нею. Путем бесконечного накопления бесконечно малых создаются новые реальные величины. Сила жизни возрастает и перевешивает в борьбе силы враждебной природы.

Избыток энергии вызывает рост жизни и, накапливаясь, порождает потребность в новых формах ее равновесия. Чем быстрее совершается накопление энергии, тем сильнее потребность в новых комбинациях и отношениях, тем менее возможно и целесообразно простое сохранение данных форм.

Таким образом, в силу необходимости, из простого повторения неизменных циклов жизнь мало-помалу начала превращаться в развитие, из голой борьбы за сохранение того, что есть, — в борьбу за большее. *Данное* перестало быть для нее единственной целью и нормой.

Зарождающееся развитие не могло быть иным, как стихийным развитием, возникающая борьба за большее в жизни — иною, как бессознательной борьбой. Движение вперед было произвольным и чуждым планомерности. Поэтому в каждый данный момент, в каждом данном проявлении оно оказывалось частным и односторонним, а не целостным и общим. Оно *нарушало* сложившуюся гармонию жизненной системы. Тогда выступал на сцену старый инстинкт *сохранения данного*, стремление отстоять и восстановить прежнюю гармонию; но победить вполне он уже не мог, потому что сила развития возрастала, и, отступая перед нею в борьбе, он переходил в новую форму — стремление *положить границы* нарушению сложившейся гармонии. Здесь и лежит исходная точка образования принудительных норм.

Так, если в коммунистических родовых общинах начинали все чаще появляться случаи захвата отдельными их членами в исключительное пользование каких-нибудь средств труда или потребления — орудий, одежды, украшений, — то несомненно, что эти факты — исторически вполне прогрессивные — глубоко потрясали весь строй общинной жизни и вызывали болезненную реакцию. Но простое их подавление, какое практиковалось, разумеется, вначале, не достигало цели; они повторялись чаще и чаще, их неизбежность входила в коллективное сознание, оно вынуждено было к ним приспособляться. Тогда его полубессознательное творчество приводило к некоторому компромиссу: «новое» допускалось, но до известного предела, за которым начиналось подавление. Воплощением компромисса была *норма обычая*: «это можно, а этого нельзя». «Нельзя» означало реальную санкцию нормы — общественное принуждение, насилие, направленное против ее нарушителя. Таков был первый плод коллективного творчества, направленного на борьбу с противоречиями социального развития.

## III

Что же именно довело людей до такого греховного состояния, при котором уклонения

от сложившейся формы жизни перестали быть совершенно исключительным явлением, вошли в цепь естественных событий?

Дело началось с того, что психологическое тождество людей одной группы исчезло, их мышление сделалось не «сплошным». *Разделение труда* стало шаг за шагом вытеснять прежнюю его однородность; а оно было в то же время *разделением опыта*. Содержание трудовой деятельности людей становилось все более различным; материал впечатлений, над которым приходилось работать мышлению, был для земледельца уже не тот, что для лесного охотника, у охотника не тот, что у рыболова. Имея дело с неодинаковым материалом, мышление отдельных людей все чаще приводило к неодинаковым результатам. Общество превращалось в непрерывно усложняющуюся комбинацию элементов возрастающей разнородности. Жизненные проявления людей оказывались все менее согласованными, возникала глубокая и сильная потребность в их согласовании.

Разделение труда нередко приводит людей к столкновению даже в сфере их непосредственных целей, когда, например, охотник, гоняясь за дичью, топчет посевы хлебопашца или скотовод, пригоняя стадо на водопой, мешает работе рыболова. Но гораздо важнее, гораздо чаще и глубже те конфликты, которые обнаруживаются между привычками различных работников, их точками зрения на жизнь, их способами реагировать на окружающее: грубость и беззаботность воина плохо мирятся с мягкостью и предусмотрительностью его сообщинника-земледельца, повышенные потребности искусного ремесленника вызвали недоумение и отвращение непривычного рыбака, и т. д. и т. под. Органическое сходство привычек исчезало; они потеряли характер абсолютной устойчивости и стихийной непреложности.

При таких условиях нарушение прежнего «обычая» должно было встречаться все чаще и чаще, оно переставало казаться чем-то чудовищно-странным и непонятным, прежде бессознательно-рефлекторное отношение к нему становилось невозможным. Работа сознания в этой области была неизбежна и необходима: *прежняя* форма обычая была негодна для восстановления то и дело нарушаемого жизненного равновесия.

Тут и происходит коренное преобразование обычая, коренное даже в том случае, если самое содержание его продолжает сохраняться: из голого, непосредственного факта жизни он становится ее *нормой*, органическая тенденция получает определенную формулировку.

«Должно поступать так-то»!.. Это «должно» включает в себе не только стремление *сохранить* исторически данную форму жизненной связи, но также и представление о возможности ее *нарушить*. Оно выражает борьбу двух сил, внутреннее противоречие жизни. Обе стороны обычая находят объективное воплощение тогда, когда его «норма» нарушается: на сцену выступает «принуждение», которым нарушение прекращается. «Обычай» проявляется как принудительная норма с определенной санкцией.

Этим открывается целая новая область человеческого развития.

#### IV

Развитие неоднородности элементов общественного целого влечет за собою, на известной стадии, развитие его *неорганизованности*; и тогда мир принудительных норм развертывается до колоссальных размеров.

По мере того как отдельные элементы общества становятся все менее однородными, они все больше и легче обособляются в своих жизненных функциях, и поддержание постоянной связи между ними делается все труднее. В небольших родовых или племенных общинах это поддержание связи достигалось деятельностью общего организатора — патриарха или вождя. Но прогресс производства приводит к тому, что размеры общества возрастают во много раз; и тогда общая организация труда становится невозможной. Для отдельной личности она уже совершенно непосильна, а общество в целом, благодаря разнородности своих элементов, неспособно выполнять ее коллективно. Происходит распадение общества на отдельные маленькие группы — частные хозяйства, из которых

каждое самостоятельно организует свою трудовую деятельность и внешним образом не связано с другими.

Материальная связь между хозяйствами остается, они образуют из себя звенья одной гигантской цепи — системы общественного разделения труда; иначе они были бы вполне самостоятельными обществами, и тогда каждое из них, по ничтожности своих сил, было бы совершенно неспособно к борьбе за жизнь против внешней природы. Неорганизованный характер этой трудовой связи находит себе выражение *в меновых отношениях* между хозяйствами, это также анархичное, не объединенное чьей-либо сознательной волею, непланомерное *распределение* продуктов труда в обществе.

Неорганизованность жизни означает непроизводительную растрату ее сил, антагонизм ее форм, противоречивость ее проявлений. Это относится ко всем областям жизни. В сфере производства общественный труд должен удовлетворять точно и во всей полноте общественные потребности. Но когда он не организован, когда его распределение между общественными единицами совершается без всякого плана и контроля, то это строгое соответствие его результатов с общественными потребностями уже невозможно. Часть труда неминуемо рассеивается бесплодно, создавая излишнее в области той или иной общественной потребности, часть потребностей остается неудовлетворенной, не найдя достаточного количества необходимых продуктов общественного труда. «Перепроизводство» идет рядом с «недопроизводством».

В сфере распределения неорганизованность порождает новые глубокие дисгармонии. Самое распределение получает форму борьбы и конкуренции, борьбы покупателя и продавца, конкуренции покупателей и продавцов между собою; каждый стремится получить больше за счет другого. В результате — неравномерность, непропорциональность распределения; и даже при общем избытке потребности многих членов общества оказываются неудовлетворенными, многие хозяйства гибнут или испытывают понижение уровня жизни. Грубая власть рынка издевается над усилиями людей.

В дальнейшем развитии та же неорганизованность социальной системы порождает борьбу классов, обостряющуюся по мере роста силы самих классов. Борьба эта проникает собою *всю* общественную жизнь, от самых «материальных» до самых «идеальных» ее проявлений... Колоссальный прогресс жизни и силы человечества идут все время рука об руку с колоссальным ростом социальных контрастов и противоречий.

Нетрудно понять, какое громадное значение для развития имеет все то, что вносит какой-нибудь порядок в этот хаос, что сколько-нибудь организует эту неорганизованность, что ставит какие-нибудь рамки этой дисгармонии, как это делают принудительные нормы. Вот почему общественное творчество в этой области разворачивается с громадной силой и порождает громадное богатство форм. Это — результат суровой жизненной необходимости.

## v

Начало развития нормативного мира положено было, как мы видели, тем, что обычай из непосредственного проявления органически-целостной жизни превратился во внешнюю норму принудительного характера. В дальнейшем этот новый, «нормативный» обычай стал родоначальником целого ряда иных форм того же типа: обычного права и закона, приличий и нравственности. При всех видовых различиях формы эти сходны между собою в том, что представляют для членов общества силу внешнюю и принудительную, направленную к регулированию их отношений. Смысл этого регулирования заключается в том, что оно стремится ослабить и устранить противоречия, порождаемые развитием, внести организованность в раздробленное и анархичное общественное бытие.

Первичная и основная форма внешнего принуждения, санкционирующего предписания норм, есть прямое материальное насилие общества над тем, кто преступает норму. Эта санкция сохраняется всецело в сфере обычая и права. Иной характер имеет то принуждение, которое составляет жизненный базис для норм приличия и нравственности: оно сводится к

общественному порицанию и презрению. Эта смягченная форма общественного противодействия «ненормальным» (с точки зрения сложившихся отношений) поступкам людей остается единственной для тех случаев, когда уклоняющиеся поступки не нарушают прямо и резко основных жизненных интересов коллективности; как они выступают в ее сознании, — когда эти интересы затрагиваются лишь слабо или косвенно. Являясь ослабленным отражением грубо-материальной борьбы общества против «аномальных» действий его членов, этот второй тип принуждения, конечно, не исключает первого и обыкновенно к нему присоединяется в случаях «преступлений» и «проступков» против норм исконного обычая или права: такие преступления и проступки не только пресекаются и наказываются физической силой общества, но и клеймятся, как нечто безнравственное, а иногда также — неприличное.

Нарушитель нормы сам — дитя того общества, которое карает ее нарушение порицанием и презрением; он сжился с нормой, он ее *признает* даже тогда, когда, повинувшись мотивам непосредственного характера, он ее преступает. Поэтому он и сам выполняет по отношению к себе то «принуждение», ту кару, которая в данном обществе сделалась постоянным результатом «ненормального» образа действий, выполняет, по крайней мере, в нематериальной форме порицания и презрения. Такова объективная основа мучительного чувства, называемого угрызением совести; это — индивидуально-психологическое отражение *общественной* реакции на противные норме поступки.

Здесь имеется удобная почва для индивидуалистического фетишизма, который и формулировала кантианская философия морали. На том только основании, что нравственные нормы, раз они сложились, приобретают внутреннюю санкцию «угрызения совести», им приписывается *исключительно* внутренняя обязательность, они выдаются за собственное автономное законодательство абсолютной личности, лежащей в основе человеческого существа. Игнорируется при этом весь генезис нравственности: ее происхождение по прямой линии от обычая, ее позднее обособление от обычного права, далеко еще не достигнутое, например, в феодально-католическом обществе; игнорируется и явно *неавтономный* характер ее норм, их внешнепринудительный характер, отчетливо выступающий в столкновениях морального долга с инстинктами и стремлениями развивающейся жизни. Игнорируя все это, кантианской философии морали удалось надолго и для многих затемнить тот элементарно-простой факт, что «внутренние» моральные конфликты суть конфликты непосредственных импульсов жизни с *внешней для них*, хотя и встречающейся с ними в одном поле личного сознания, кристаллизованной силой социального прошлого. Во всяком случае, освободительная борьба современного *аморализма*, индивидуалистического и социального, уже сама по себе является живым и ярким доказательством того, что обязанность нравственных норм есть только исторически-преобразованная форма общественного принуждения.

В этом смысле между нравственностью и всеми другими нормативными формами — обычными, правовыми и т. д. — нет никакого существенного различия.

## VI

Организирующее значение нормативных форм для противоречиво-развивающегося социального бытия людей поистине громадно. Чтобы понять его во всей полноте, надо хоть приблизительно себе представить, во что обратилось бы общество, если бы не было этих норм. Оно рассыпалось бы, как бочка без обручей, оно разложилось бы, как человеческий организм, лишенный объединяющей и регулирующей жизнь его частей деятельности нервной системы.

Обмен — необходимое условие жизни исторически данных нам культурных обществ, конкуренция и классовый антагонизм — движущие силы их развития. Но обмен имеет форму борьбы между покупателем и продавцом из-за приобретения возможно большей ценности; если бы борьба эта не находила себе границ в том принуждении, которое



налагается обычаем, правом, нравственностью, то, естественно развертываясь, она переходила бы в беспощадный взаимный грабеж обменивающихся, т. е. самый обмен стал бы невозможен. Конкуренция аналогичным образом перешла бы в физическое истребление конкурентов, которых желательно устранить; а классовая борьба не была бы мыслима в иных формах, кроме ожесточенной и кровавой междоусобной войны.

Все это так и бывает в действительности, когда жизненные противоречия, временно обостряясь до крайности, прорывают оболочку норм и стихийно разыгрываются на свободе. Тогда громадное разрушение элементов жизни, не только дряхлеющих, но также и нарождающихся, с потрясающей наглядностью обнаруживает реальный смысл «развития в противоречиях».

По широте своего жизненного значения различные нормы весьма неравноценны. Правовая норма частного присвоения охватывает и определяет собою всю жизнь современного общества, между тем как многие, например, правила приличия имеют отношение лишь к некоторым частным случаям общения между людьми. Это не создает принципиального различия между нормами, — они остаются по существу однородны как *организующие приспособления для общественной жизни людей*.

Организовать жизнь — это для нас означает стройно ее регулировать, гармонически приспособлять одни ее проявления к другим. Но именно с этой точки зрения организующее значение принудительных норм нередко может казаться очень спорным; и даже более — роль их становится в иных случаях безусловно дезорганизующей, вносящей противоречия в процесс развития. Так, в наше время очень многие правовые нормы в политической жизни общества, многие нравственные в жизни семейной порождают невыносимые противоречия, глубоко дезорганизуя развивающуюся жизнь. В таких случаях дело выясняется историческим исследованием генезиса нормы, потому что тогда ее положительная роль принадлежит *прошлому*. Норма продолжает сохраняться, когда уже исчезли условия, ее создавшие, а с ними — ее жизненное значение, и она остается как ненужный пережиток на пути развития. Иногда норма дряхлеет очень быстро, как это бывает со многими правовыми установлениями: иногда она не теряет своей жизненности целые тысячи лет, как некоторые нравственные принципы; различная по степени, но всегда исторически ограниченная жизненность эта сводится к одному и тому же основному содержанию, к организующей функции в общественном процессе.

Современные общества, с анархическим строением их системы сотрудничества, держатся всецело на *принудительных нормах*. *Нормы собственности и договорного подчинения* составляют душу капитализма.

## VII

В первобытном обществе обычай-привычка охватывал собою все существование людей, все сферы их деятельности. Наследуя обычаю, нормативные формы захватили мало-помалу такую же обширную область. Они регулировали и технику общественного труда, и экономические отношения людей, и их потребление, и их мышление. Человек повсюду стал наталкиваться на принудительные границы, повсюду стал чувствовать над собою власть внешних норм, не им установленных, а помимо него сложившихся в его общественной среде.

Так как всякое отклонение от нормы было «преступно», то «преступления» были возможны решительно во всех сферах жизни. Всякое крупное усовершенствование техники рассматривалось как «преступное нововведение» и ожесточенно преследовалось до тех пор, пока сила нормативного принуждения не отступала перед силою экономической необходимости. Живой иллюстрацией может служить трагическая судьба многих изобретений и изобретателей в Средние века и на пороге Нового времени. Такое же отношение к техническим и экономическим новшествам, только в ослабленной форме — нравственного отвращения, — наблюдается и у современного крестьянина отсталых

местностей, который в необычных улучшениях хозяйства видит «бесовские выдумки», т. е. нечто в высшей степени греховное. В области потребления характерны различные «табу», обычные, правовые, нравственные и т. д. Религиозно-закрепленные в «пятикнижии» обычаи, воспрещавшие евреям употребление свинины, крови животных и многих других видов пищи, законы Средних веков, каравшие роскошь не по состоянию или, вернее, не по сословию, приличия, не допускающие в наше время наиболее простых и удобных костюмов, а также известных способов принятия пищи, нравственное отвращение многих культурных и некультурных людей к спиртным напиткам, — вот типичные примеры «табу», примеры, которых можно было бы еще привести бесчисленное множество.

Всеобъемлющая сила обычая-привычки определяла собою первоначально не только *поступки* людей, но и их *внутренние переживания*. Здесь принудительные нормы также наследовали обычаю. В восточных деспотиях древности встречались случаи смертной казни за «преступные сновидения»; когда, например, человеку приснится, что он убил царя; инквизиция считала еретические мысли преступными независимо от того, высказывались они или нет; и был случай, что инквизитор сам донес на себя, когда его стали осаждать богохульные мысли, за что и был по справедливости сожжен на костре. И в нашем культурном мире представление о «грешных» или даже «преступных» мыслях далеко еще не вполне исчезло; исчезло только правовое принуждение, карающее «незаконную» ассоциацию идей; но осталось до сих пор в большой силе принуждение нравственное, в виде общественного порицания и угрызений совести, и почти не отличающееся от него принуждение, связанное с нарушением норм приличия.

Так сеть внешних норм, то грубых и твердых, то мягких и эластичных, оплетает собою всевозможные проявления человеческой жизни.

## VIII

Внешнепринудительные нормы всех видов служат для того, чтобы внести порядок в дисгармонию жизни, порождаемую стихийным развитием. Но тот порядок, который они вносят, еще не есть гармония в положительном смысле этого слова. Объединение и регулирование разнородных жизненных процессов получается лишь внешнее. В человеке возникает, например, противоречие между непосредственно-эгоистическими стремлениями и непосредственно-социальными, между желанием отвернуться и уйти от чужих страданий и желанием помочь им ценою некоторой жертвы. Веление закона или нравственного долга подчиняет одни из этих мотивов другим: человек действует сообразно тем из них, которые соответствуют «норме». Но в пределах психики борьба их от этого не прекращается: она может даже все более обостряться, если сила нормы дала победу не тем мотивам, которые в данное время сами по себе усиливаются, а тем, которые слабеют: и человек, например, горько раскаивается в том, что отдал бедняку часть денег, которые могут очень понадобиться самому. Таким образом, сглаживая и подавляя проявления внутренних противоречий, внешняя норма этих противоречий не устраняет. Пожалуй, она даже прибавляет к ним новое противоречие: между той частной жизненной тенденцией, которая нормой подавляется, и самой этой нормой.

Далее, внешние нормы консервативны, они медленно складываются и большей частью медленно изменяются: они всегда живут дольше, чем вызвавшая их потребность, и умирают только после упорной борьбы. Наше время полно такой борьбой: к ней часто сводится почти вся политическая жизнь отсталых стран и даже значительная часть политической жизни стран передовых. То же и в других областях нормативной идеологии. Пережившая себя правовая организация, система обычаев, морали уже не регулирует стихийного развития, не сглаживает его противоречий, а просто его задерживает, вызывая иногда своим сопротивлением колоссальную растрату лучших сил развивающейся жизни, чему столько примеров мы видели в нашей стране. Здесь — новый источник жизненных противоречий.

Внешнепринудительные нормы безусловно необходимы для сохранения жизни среди

противоречий стихийного развития, но достигают они этого сохранения лишь ценою стеснения самого развития, ценою его ограничения и задержек. Зато они, заменяя внешние конфликты грубой борьбы внутренними противоречиями, вытекающими из принуждения, направляют тем сильнее человеческое сознание в сторону выработки новых форм жизни и развития, форм, свободных от стихийности, от противоречий и принуждения.

## IX

Можно считать за общее правило, что противоречия стихийного развития тем острее, глубже и шире, чем выше та ступень жизни, на которой они проявляются. В стихийном росте человеческого организма выступление на сцену половой жизни дает гораздо больше новых тревог и диссонансов, чем в развитии какого-нибудь молодого животного. Точно так же прогресс «культурных» капиталистических обществ покупается ценою несравненно большей суммы противоречий, чем прогресс «докультурных» общин натурально-хозяйственного типа. Для высших форм стихийно развивающейся жизни ее ускоренный рост соединяется с усиленной ее растратой.

Очень часто бывает даже так, что растрата перевешивает рост жизни, развитие переходит в деградацию, «шаг вперед» влечет за собою «два шага назад». Болезни роста приводят иногда к глубокому и длительному истощению молодой, тонкой организации, а то и к полному ее крушению.

Что же именно обостряет до такой степени для высших форм жизни противоречия стихийного их развития? Те самые особенности этих форм, которые делают их «высшими».

Прежде всего их меньший консерватизм, их большая гибкость и пластичность. Неподвижные, консервативные, низшие формы обладают, естественно, гораздо большей непосредственной устойчивостью. Правда, это только непосредственная устойчивость, подобная прочности камня, который трудно разбить, но раз это случилось — его прежняя форма потеряна навсегда. Однако такая устойчивость гарантирует жизненный комплекс от слишком быстрого разрушения под действием умеренно сильных вредных влияний, т. е. именно наиболее обычных и частых. Так, для горожанина или вообще культурного человека, с их более впечатлительной, менее выносливой организацией, противоречия периода половой зрелости имеют гораздо более болезненный и острый характер, чем для дикаря или крестьянина.

Другой момент, действующий в том же смысле, это богатство жизненного содержания высших форм — большое количество элементов и разнообразие частей, из которых они слагаются. Всякое изменение, порождаемое стихийным развитием, среди массы наличных комбинаций, входящих в данную жизненную систему, встречает, естественным образом, очень много таких, с которыми оказывается в жизненном противоречии. Так, новая идея, возникшая в голове отдельной личности, имеет все шансы встретить гораздо больше сопротивлений и противодействий в сфере сложной, широко расчлененной идеологической жизни общества, чем в узкой и небогатой идейной жизни ближайшего к автору кружка людей.

Наконец, третья особенность высших форм, обостряющая противоречия их стихийного развития, это их внутреннее единство, их организованность, тесная жизненная связь их частей и элементов. Именно в силу этой связи и организованности для человеческого, например, организма гипертрофия или атрофия какого-нибудь его органа или функции, оказывая более глубокое влияние на все остальные его отношения, гораздо опаснее, чем, положим, для кольчатого червя с его сравнительно малой жизненной связью и зависимостью отдельных частей.

Очевидно, все эти условия, обостряющие дисгармонию стихийного развития, должны все более усиливаться по мере самого этого развития. Противоречия должны все более возрастать.

Выход лежит за пределами стихийного развития, он дается изменением самой формы

развития.

## х

Из мучительных колебаний жизни, порождаемых стихийным развитием, из его дорогой цены и возрастающей ненадежности возникает новая потребность: внести гармонию и единство в самый процесс развития, сделать его стройным и целостным, устранить его стихийность. Его колебания должны уступить место непрерывности, его диссонансы — полным и ясным аккордам; его цена должна стать равной его результатам, элемент случайности должен из него исчезнуть. Словом, необходимо, чтобы из движения стихийной жизни превратилась в движение гармоническое.

Только тогда прогресс находит несокрушимую опору во всей сумме накопленных сил жизни, только тогда перед ним открывается бесконечность побежденной и постоянно вновь побеждаемой природы: *борьба за большее превращается в борьбу за все*.

В этом сознательно-целесообразном прогрессе жизни вопрос о целях жизни получает впервые законченное значение и находит свободный от противоречий ответ — в бесконечно возрастающей сумме счастья. Представить себе этот тип жизни сколько-нибудь полно и ясно не в силах мы — люди одностороннего, дисгармонического развития, люди эпохи противоречий. Но мы смутно предчувствуем его в моменты экстаза созерцания или мысли, когда при живом общении с прекрасной природой или могучим гением нам кажется, что наше маленькое существо исчезает, сливаясь с бесконечностью.

## xi

Было бы, однако, неразумно говорить о высшем типе жизни, о гармоническом ее прогрессе, если бы в нашем опыте не имелось ничего, кроме смутных его предчувствий, кроме неопределенного стремления к нему, — если бы нельзя было наметить его зародышей в прошлом и настоящем, если бы не было данных, чтобы хоть в самых общих и схематичных чертах обрисовать его вероятное дальнейшее развитие. К счастью, такие зародыши и такие данные существуют, и их достаточно для того, чтобы дать основу для вполне определенных выводов.

Прежде всего, где лежат те условия, которые создают самую *возможность* перехода от стихийно-противоречивого развития к планомерно-гармоническому? *Там же*, где условия прогрессивного обострения противоречий стихийно развивающейся жизни: в возрастающей пластичности жизненных форм, в умножающемся богатстве их содержания, в их увеличивающейся организованности.

Только высокая пластичность жизни допускает быстрое и разностороннее приспособление к ее среде; сравните в этом отношении гибкую натуру городского работника-пролетария с деревянно-неуклюжею психикой крестьянина отсталой деревни. Только в богатом жизненном содержании, сложном и разнообразном, могут всегда найтись необходимые элементы для такого приспособления; сопоставьте, например, живую находчивость много видавшего и много испытавшего человека при всевозможных обстоятельствах с обычной тупой растерянностью человека, бедного опытом, при сколько-нибудь новой комбинации условий. Наконец, только растущая организованность форм делает отдельные, частные процессы развития все менее изолированными, приводит к тому, что каждый из них уже не ограничивается той частью жизненного целого, где возникает, но немедленно отражается на всех остальных частях, вызывая в них ряд соответственных изменений. Характерна в этом смысле противоположность между высоко организованным мышлением философа, в котором новое явление, новая идея может вызвать созвучные изменения или даже преобразования во всех областях мировоззрения, и сравнительно слабо организованным мышлением филистера, который укладывает новый факт или новую мысль в одни из многочисленных ящичков своего мозга и затем запирает на ключ впредь до

практической надобности, не заботясь о том, что в других ящичках лежат мысли и факты, глубоко этим противоречащие или особенно с ними гармонирующие.

Так переход от низших форм жизни к высшим, усиливая противоречия стихийного развития, подготавливает в то же время коренное устранение этих противоречий вместе с порождающей их стихийностью.

## ХИ

Вполне гармоничное, чуждое внутренним противоречиям развитие — это для нас только *предельное понятие*, выражающее известную нам из опыта тенденцию к освобождению процессов развития от связанных с ними противоречий. Поэтому дать наглядное представление о гармоническом типе развития можно лишь путем сопоставления таких конкретных случаев, которые наиболее к нему приближаются, с такими, в которых недостаток гармонии бросается в глаза.

В современном обществе образцом высокоорганизованной, богатой содержанием и пластичной жизненной комбинации может служить крупно-капиталистическое предприятие, взятое специально со стороны его трудовой техники. В этой ограниченной сфере процессы развития совершаются довольно гармонично. Вводится, положим, новое техническое изобретение, которое во много раз уменьшает затраты рабочей силы в одной из операций данного производства. Немедленно происходит ряд дальнейших изменений.

Нельзя ограничиться удалением старых машин и постановкою новых; надо приурочить к этим новым машинам все внутреннее устройство фабрики. Например, старое здание может для них не годиться; тогда его надо переделать применительно к новым требованиям; и соответственно этому могут понадобиться частичные переделки в других отделениях фабрики и в сообщениях между ними. Система передаточных механизмов, распределяющих механическую силу между отдельными машинами, также должна быть соответственно преобразована. Уменьшение потребности в рабочей силе освобождает часть капитала, и ее можно употребить на более или менее равномерное расширение всего предприятия. Освобожденные машиной рабочие руки при этом могут вновь найти себе применение, но в значительной части уже не то, какое прежде; и при этой перемене ролей надо, в интересах предприятия, дать каждому работнику наиболее подходящую для него функцию, а некоторых, может быть, совсем устранить из данного производства и взамен их нанять умело выбранных новых. Все это перераспределение капитала и труда выполняется быстро и легко, благодаря наличности инженеров и директоров, обладающих богатым опытом и знаниями по организации дела. Таким образом, развитие в одной части системы вызывает соответственные приспособления во всех остальных и частичный прогресс превращается в прогресс целого. Никаким значительным замешательством или расстройством в технической жизни предприятия он не сопровождается.

Но совсем в ином виде выступает дело тогда, когда мы берем данное предприятие в связи со всеми другими. Капиталистическая система в ее целом отличается *анархичностью* и в этом смысле по сравнению с высокоорганизованным ее же отдельным предприятием представляет низшую форму жизни, развитие которой имеет несравненно более стихийный и противоречивый характер. Здесь технический прогресс одних предприятий вызывает упадок и даже гибель других; он лишает множество сильных работников их полезной роли в общественном труде, а вместе с тем и всяких средств к жизни, — делая их рабочую силу излишней в тех предприятиях, где производительность труда повысилась, не дает им места в других, отсталых, а потому падающих предприятиях. Временами тот же технический прогресс приводит к общим кризисам производства — ужасным потрясениям всей общественной жизни. Наконец, классовые противоречия — порождение того же стихийного прогресса; и хотя только они в своем развитии создают для общества возможность выбраться из-под власти собственной стихийной природы, но все же сами по себе они полны мучительной дисгармонии, заключают массу элементов разрушения жизни...

Так анархия целого господствует над организованностью частей, на каждом шагу уничтожая или ослабляя своей стихийною силою результаты планомерно-гармонического их развития. Общий характер социального процесса остается глубоко противоречивым.

### XIII

Весь жизненный смысл, все положительное значение принудительных норм неразрывно связаны с противоречиями стихийного развития. По мере того как эти противоречия и эта стихийность в той или другой области жизни отступают перед организованностью и планомерностью, общественная роль принудительных норм радикально изменяется; их смысл исчезает, их значение извращается. Принуждение, подавляющее противоречия, излишне там, где развитие само по себе их уже не порождает. Консерватизм внешней нормы резко сталкивается с непрерывной тенденцией прогресса и, в свою очередь, становится источником — в этом случае основным или даже единственным — глубоких жизненных противоречий. Возникает потребность в иных нормах, соответствующих новому типу движения жизни. Эти новые нормы, очевидно, должны быть свободны и от принудительности, и от консерватизма прежних.

Таковы *нормы целесообразности*.

Нормы внешнего принуждения — правовые, моральные и т. д., — разумеется, могут быть «целесообразными», т. е. полезными для общества; и они даже лишь постольку занимают в жизни прочное место, поскольку «целесообразны»; однако это не делает их нормами целесообразности. Они принуждают, не мотивируя и не разбирая условий; они не приспособляют своего принуждения к изменяющимся условиям: «ты должен делать то-то и не смеешь поступать так-то», должен и не смеешь совершенно независимо от того, насколько в каждом данном случае это для тебя целесообразно, — должен, не смеешь, и только: императив безусловный, категорический.

Нормы целесообразности не имеют ничего общего с *такой* императивностью. Вполне типичный образец их — научно-технические правила. Правила эти, в сущности, никого и ни к чему не принуждают, а только указывают наилучшие способы к достижению той или иной *данной* цели. Они говорят: если ты хочешь достигнуть того-то, ты должен действовать так-то, — императив условный, гипотетический. Нормы внешнего принуждения предписывают человеку самые его цели или, по крайней мере, границы этих целей: «не пожелай жены искреннего твоего» и т. п. Нормы целесообразности представляют выбор целей самому человеку: если ты пожелал жены искреннего твоего, то... и т. д.

Связь этих норм с гармоническим ходом развития очень понятна. Если развитие не порождает противоречий, то цели, из него вытекающие и выражающие собою его тенденции, не сталкиваются между собою в безвыходных конфликтах, а потому в интересах жизни для них не требуется никаких ограничений.

Впрочем, поскольку дело идет о промежуточных, о посредствующих целях, постольку и нормы целесообразности могут определять собою выбор целей: если ты хочешь достигнуть такой-то конечной цели, то сначала должен поставить себе такие-то ближайшие цели, а от них перейти к таким-то последующим, и т. д. Очевидно, и здесь указание имеет тот же условный характер: это выяснение необходимых средств, которые временно играют роль целей. Так, для сознательного политического деятеля сила его партии есть одна из главных целей, но отнюдь не конечная цель; в случае надобности он ради этой последней должен забыть о первой: если данное средство перестало быть необходимым для достижения поставленного идеала и всего вернее к нему ведущим, то целесообразность предписывает отказаться от этого средства.

Нормы целесообразности всецело *подлежат критике* опыта и познания, нормы принуждения *требуют* себе *господства и над этой критикой*. Эти две тенденции мышления философски выражаются, с одной стороны, в виде «примата» теоретического разума над практическим, с другой — в идее «примата» практического разума над

теоретическим.

#### XIV

Если нормы целесообразности сами по себе не предписывают людям тех или иных конкретных целей, то не следует ли из этого, что они предполагают полный произвол в выборе этих целей?

И да, и нет.

Формально — да, потому что логически мыслимы какие угодно цели, самые разумные и самые чудовищные, и вместе с ними — вполне соответствующие им нормы целесообразности: если ты хочешь пожертвовать своею жизнью с наибольшей пользой для развития человечества, то это надо сделать таким-то способом; если ты хочешь отнять жизнь у своего ближнего, то здесь всего удобнее такие-то приемы, и т. п.

По существу — нет. Из бесчисленных логических возможностей только одна равняется реальности. Нормы целесообразности — не игра мышления, а определенные *формы жизни*. Они выступают в общественных отношениях на место норм принуждения только при определенных жизненных условиях и исторически неразрывно связаны с этими условиями. Они соответствуют гармоническому развитию жизни и имеют его своей предпосылкою. Этим вполне определяется та всеобщая конечная цель, которой они подчинены: максимум жизни общества, как целого, совпадающий в то же время с максимумом жизни его отдельных частей и его элементов — личностей. Поскольку такого совпадения нет, постольку не может быть и речи о гармоническом развитии — а следовательно, и о социальном господстве норм целесообразности; поскольку оно есть, постольку цели, которым служат эти нормы, при всем своем конкретном разнообразии, сливаются в высшем единстве *социально-согласованной борьбы за счастье*, борьбы за все, что жизнь и природа могут дать для человечества.

#### XV

Нормы целесообразности только на определенной стадии развития человечества должны отнять у принудительных норм господство над социальной жизнью; но возникают они гораздо раньше этой стадии, проходят долгий путь развития, распространяются шаг за шагом на целые обширные области жизни, продолжая в ее общей системе занимать *подчиненное* положение. Это вполне понятно: где и поскольку цели и результаты человеческих действий перестают оказываться взаимно противоречивыми, где и поскольку дисгармония стихийного развития исчезает, — там и постольку освобождается место для норм целесообразности...

Всего быстрее они завоевывают область *трудовой техники*, область непосредственной борьбы человека с природой. Здесь первично создается объединение человеческих усилий, здесь необходимость победы над великим всеобщим врагом всего раньше преодолевает и прямые конфликты человеческих целей и косвенно порождаемые их стихийными комбинациями жизненные противоречия.

Система норм целесообразности, планомерно организующих технический опыт людей, называется *наукою*.

Сюда относятся не только собственно технические науки, которые так и излагаются в виде систематизированного ряда практических указаний, какими способами всего легче достигается та или другая техническая цель; науки естественные, от математики и астрономии до социологии и теории познания, имеют, по существу, *то же значение*. Они представляют систему норм целесообразности *высшего порядка*, норм, нормирующих нормы, подчиняющих себе применение всяких практических правил. Когда инженер при помощи математического анализа и принципов механики вырабатывает проект постройки здания и моста, он создает непосредственно-технические нормы целесообразности при

помощи норм научных. Когда политик вырабатывает программу действий для данного исторического момента и данной общественной группы, опираясь на определенную социально-философскую теорию и на анализ соотношения общественных сил, он также создает непосредственно-практические нормы целесообразности, опираясь на нормы научные. В конечном счете, всякое научное познание представляет из себя творчество норм целесообразности для практической деятельности людей.

В идеологической жизни общества также преобладают в наше время нормы целесообразности, но там они не господствуют всецело. Человек может в современном обществе *верить*, как ему кажется целесообразным для спасения его души, *размышлять*, как ему кажется целесообразным для правильного понимания и оценки окружающей его действительности; но как только он начинает *высказывать* результаты своей идеологической работы, так наряду с нормами целесообразности он обыкновенно вынужден принимать во внимание еще некоторые принудительные нормы — права, приличия, обычая; в обществах отсталых этих принудительных норм больше, и они даже решительно преобладают; в обществах передовых они имеются в меньшем количестве и отступают на второй план. Развитие и здесь ведет к относительному упадку норм принудительных и к замене их нормами целесообразности — *к освобождению* человеческой деятельности.

## XVI

Когда в той или другой сфере жизни процесс освобождения людей от принудительных норм завершился, самое воспоминание о них исчезает, то практически устраняется из жизни и мысль о «свободе» в этой области. В наше время в передовых странах никто не думает о «свободе» внутренних переживаний — мыслей и снов, о «свободе» технических изобретений и усовершенствований и т. п. Но самый процесс освобождения неминуемо протекает в формах принудительных отношений — нравственных, правовых.

В культурных странах существует «свобода» совести, слова, печати, союзов. Что такое эта свобода? Определенное *право*. Как норма правовая, она должна, следовательно, заключать в себе элементы внешнего принуждения. В чем они заключаются? В том, что общественною силою подавляются всякие попытки нарушения этой свободы. Например, юридическое содержание «свободы слова» таково: никто не должен препятствовать другим высказывать их мысли, а кто делает это, тот подвергается наказанию. Но самая мысль о возможности препятствовать людям высказывать их мысли означает, что сохранились еще следы прежнего принудительного нормирования человеческих высказываний, что есть, по меньшей мере, воспоминания о прежней насильственной цензуре слова. Когда эти следы и воспоминания окончательно исчезнут, то общество так же мало будет помышлять о свободе слова, как мало уже в наше время оно помышляет о свободе дыхания или о свободе сновидений.

Тут проявляется тот общий закон эволюции, что новое содержание жизни первоначально берет элементы для своих организующих форм от старого содержания, и только по мере отмирания этих элементов вырабатывает на их место свои вполне оригинальные формы. Новое из старого и через старое. Правовое принуждение цензуры преодолевается правовым принуждением, ограждающим свободу слова, и только вместе с этим последним отрицательным принуждением исчезает в данной области правовая форма вообще.

Метафизический идеализм в социальных науках создает из свободы совести, слова и т. д. ряд «абсолютных» или «естественных» прав человека, непреложных и вечно обязательных. Он не понимает, что действительная, вполне реализованная свобода есть вовсе не «право», а отрицание права. Он достиг той ступени развития, на которой городского, стесняющего свободу, стремятся заменить городским, охраняющим свободу: но выше этого последнего такой идеализм не в силах подняться в полете своей творческой фантазии и наивно мечтает сделать его вечным. Тут сказывается специфическая узость



буржуазной психологии, не позволяющая «идеалисту» выйти из рамок идеологических форм, свойственных буржуазному миру — форм правовых, нравственных и т. д.

## XVII

Итак, в сфере техники и познания господство норм целесообразности намечается с определенностью уже в наше время. Иначе обстоит дело в области экономики — взаимных отношений между людьми, возникающих в трудовом процессе.

В современном обществе отношения эти характеризуются неорганизованностью, анархичностью. Их развитие связано с наибольшею суммой противоречий. Поэтому здесь объективно дается наименьший простор для норм целесообразности и наибольшая потребность в нормах принуждения. И мы уже видели, насколько необходимы эти нормы для менового процесса, выражающего в себе основное экономическое строение нынешнего общества, необходимы в силу коренных и неустранимых противоречий его содержания.

Здесь царствует принцип собственности — права определенных людей на определенные вещи, — и около этого принципа, как его частные проявления, вариации, или как его необходимые дополнения, группируются всякие другие принудительные нормы, правовые, нравственные и т. д.

Буржуазный экономический строй совершенно невыносим вне правовой системы: она — его скелет, необходимая связь его частей и постоянная облекающая их форма.

## XVIII

Переход от экономической системы, полной противоречий и потому регулируемой внешними нормами, к гармонической системе сотрудничества, для которой такие нормы не нужны, может совершиться только через определенную переходную фазу, где новое, незаконченно сложившееся содержание пользуется еще старыми формами. Преобразование экономического строя должно произойти при посредстве новых правовых отношений, т. е. политическим путем. Поэтому оно исторически выступает как цель определенной *партии*, причем обыкновенно обозначается термином «государство будущего».

Исследуя эту формулу при помощи исторической теории той же Марксовской школы, которая делает ее своим лозунгом, легко прийти к мысли, что тут есть противоречие. «Государство есть организация классового господства», учит эта школа, и в то же время она выставляет, как идеал, уничтожение классов. Каким образом примирить с этим идею «государства будущего», которое все же есть государство?

Противоречие здесь, конечно, только кажущееся. «Государство будущего» есть действительно организация классового господства, — но только *того класса, который стремится устранить классы*. Таким образом, оно есть переходная стадия; оно предполагает пережитки старых классовых идеологий, стоящие в противоречии с новой организацией жизни и подлежащие правовому нормированию. Когда эти пережитки исчезнут и психология всего общества придет к соответствию с его новой системой сотрудничества — всеобщей кооперацией для всеобщего развития, — то и «государство будущего», теряя элементы принуждения, перестанет быть «государством». Это — общество, в котором взаимные отношения людей так же, как их отношения к природе и опыту, определяются нормами целесообразности. — Такой идеал, доступный взгляду современного человека, — социалистический мир.

## XIX

Современный человек — дитя эпохи противоречий и принуждения — неминуемо задаст здесь вопрос: мыслимо ли такое общество? И после этого вопроса другой: вероятно ли его возникновение?

Первый вопрос выражает собою требование указать теперь те элементы такой общественной связи, которая сводилась бы к нормам целесообразности.

Второй вопрос — требование показать, что существует объективная возможность расширения такой связи до пределов всего общества.

Ответом на первый вопрос нам послужит картина внутренних отношений товарищеского кружка.

Как совершается распределение труда в группах этого типа? Вне зависимости от норм принуждения и согласно нормам целесообразности. Люди собираются и обсуждают, какую именно часть общего дела каждому из них удобнее на себя взять. Общая цель является исходной точкой всех решений.

Что здесь не может быть речи о принудительности правовой, это очевидно само собою.

Исключается здесь и та ее вариация, которая обозначается как обязательность «условного соглашения». Обязательность эта заключается в том, что человек подчиняется решениям своей группы, пока в ней участвует; если же не хочет подчиниться, то должен уйти. При товарищеских отношениях, в их чистой и развитой форме, этого нет. Если член группы заявляет, что та роль, которую предлагают ему остальные, для него не подходит, что он не может ее выполнить, — это не влечет за собою его исключения из товарищеской организации.

О нравственной обязательности также не может быть речи. Никакой безусловный императив здесь не руководит действиями человека. Человек может взять на себя такую работу, которая мало гармонирует с его привычками, или даже прямо ему неприятна; но он поступает так или потому, что ее некому из товарищей выполнить, кроме него, т. е. ради чисто практической целесообразности, или потому, что ему хочется избавить других товарищей от тяжелого для них труда, — стало быть, в силу непосредственной симпатии к ним; а симпатия эта, как всякое непосредственное чувство, конечно, не заключает в себе ничего нормативного, ничего формально-обязательного.

Частные цели отдельных лиц вытекают здесь, таким образом, из их общего дела и возникающих на его почве непосредственных отношений между ними; а действия определяются нормами целесообразности соответственно этим целям.

Таков высший тип трудовой организации в своем *элементарном виде*.

## XX

Теперь перед нами выступает второй, более трудный вопрос: возможно ли расширение товарищеской организации труда, свободной от принуждения, до размеров всего общества и далее — до пределов человечества?

Отрицательный ответ представляется с первого взгляда единственно вероятным. Аргументы в его пользу толпятся такой массой, что не знаешь, с чего начать.

Однако, исследуя эти аргументы, легко свести их к двум типам: одни из них имеют исходную точку в определенном понимании самых товарищеских отношений, которым приписываются свойства, исключающие возможность их беспредельного расширения; другие ссылаются на природу человека и общества, в которой будто бы существуют условия, ставящие узкие границы такому расширению. Рассмотрим аргументы первого рода.

Самый общий и самый серьезный из них таков. Товарищеские отношения — это по существу отношения *кружковые*. Они опираются на *личные симпатии* отдельных людей друг к другу; там, где таких симпатий нет, товарищеская организация невозможна или нежизнеспособна: а между тем для каждого человека область личного чувства ограничена, — и, следовательно, так же ограничена сфера товарищеской связи людей: она не может охватывать миллионы и миллиарды личностей, образующие общество и человечество.

Вся сила этого аргумента заключается в смешении частной, конкретной формы товарищеских отношений, и притом низшей их формы, с товарищескими отношениями вообще, с тем особым типом развития, который они выражают.

Сущность товарищеской организации заключается в единстве цели, свободно, без всякого принуждения поставленной себе людьми и выходящей за пределы личных интересов каждого из них. В раздробленном, анархичном обществе, где цели человеческой деятельности чрезвычайно разнообразны и так мало связаны между собою, что противоречиво сталкиваются на каждом шагу, — в таком обществе вполне естественным образом товарищеское единство цели выступает на первых порах только в маленьких группах людей, близко связанных родством, дружбой, вообще личными симпатиями, личными элементами жизни. Эта узкая непосредственная связь чувства упрочивает собою и самое единство цели: любовь к общему делу сливается с любовью к людям, его выполняющим, и находит в ней для себя лишнюю опору. Но все изменяется по мере расширения самого дела.

Тут личная близость и кружковая связь не только перестают служить надежной опорой общей работы, но нередко оказываются прямо вредными для нее. Привыкши связывать в своем сознании стремление к общей цели с определенными личностями и субъективно-односторонне оценивая эти личности под влиянием живой симпатии к ним, человек кружковой психологии не мирится с неизбежным теперь в силу интересов самого дела изменением их роли в работе и вносит свое недовольство как источник раздора и противоречий в общую жизнь товарищеской организации. На этой стадии развития товарищеская связь не лишена еще к тому же некоторой авторитарной окраски, — положение одних товарищей, как признаваемых руководителей, кажется более «влиятельным» и «почетным», чем положение других, и человек кружка нередко готов даже вступить в борьбу с товарищами, лично ему не близкими и не симпатичными, из-за «мест» для «своих», для более близких и симпатичных людей.

Так бывает нередко в жизни профессиональных и политических организаций товарищеского типа при переходе их от узкогрупповой постановки дела к более широкой, особенно при слиянии в партию ряда отдельных «кружков», долго работавших независимо один от другого. Тогда получается странная картина: люди, стремящиеся, по-видимому, к одной и той же цели и не расходящиеся, даже в основных средствах ее достижения, ведут ожесточенную борьбу между собою, бессмысленно растрачивая силы своего коллективного целого. Борьба эта заканчивается только тогда, когда побеждают в ней группы, наименее пропитанные духом кружка, наиболее проникнутые идеей целого. Товарищеская организация освобождается тогда от господства личных связей и симпатий и выступает как действительная коллективность, сплоченная реальным единством работы.

Впрочем, при анархическом, неорганизованном строении всего общества, при неизбежном в его условиях преобладании индивидуалистической психологии даже товарищеская организация по мере своего расширения принуждена одеваться в безличные формы условного нормативного характера, в формы организационных «уставов». На вид это такие же внешнепринудительные нормы, как юридические, обычные, нравственные и т. под.: по существу же они совсем не таковы. Их *обязательность* заранее подчинена их *целесообразности*; заранее признается возможность и даже необходимость их нарушения, как только они окажутся в явном противоречии с той общей целью, ради которой возникла самая организация. Это не веления личной или безличной *власти*, которая, не мотивируя, требует повиновения: это *организационные нормы целесообразности*, которыми устанавливаются наиболее целесообразные способы сотрудничества. В них нет, при нормальных условиях, того фетишизма, который составляет душу норм принуждения, который делает из этих норм законы для постановки людьми самых целей их деятельности, а не для выбора только наилучших средств к достижению их свободно поставленных целей.

Итак, принципиальная узость связей кружковых отнюдь не означает такой же узости связей товарищеских. Совсем напротив. Только путем устранения элементов специально-кружковых могут товарищеские отношения получить возможность свободного развития. Но это не значит, чтобы в них могли совершенно отсутствовать элементы симпатии, чтобы товарищеская связь являлась по существу эмоционально-холодной, узкоделовой связью. Нет,

только симпатия здесь имеет не такой узколичный, индивидуалистический характер, как, положим, в отношениях дружбы, кровного родства, половой любви. Симпатия, основанная на сотрудничестве, на общей борьбе, на общей цели, может быть *не менее* глубока, чем симпатия, основанная на обычных приятных впечатлениях, получаемых от другого человека. В то же время по своему типу она более совершенна в том смысле, что гораздо менее чувствительна к случайностям жизни, гораздо менее болезненна при неизбежных жизненных крушениях. В ней преобладает *не сострадание*, а сорадование.

Товарищ дорог товарищу как гармонично с ним действующая сила в общей борьбе, как частичное живое воплощение общей цели. Каждый успех в этой общей борьбе служит богатым источником той общей радости, к которой взаимные выражения счастливых переживаний углубляют и усиливают их радостный характер. Но неудача или поражение далеко не в такой мере влекут здесь за собою обмен проявлениями горя и печали: этого не допускает *активный* характер товарищеской связи. Товарищ выбыл из строя, товарищ погиб, — первая мысль, которая выступает на сцену, это как *заменить* его для общего дела, как заполнить пробел в системе сил, направленных к общей цели. Здесь не до унынья, не до погребальных эмоций: все внимание направлено в сторону действия, а не «чувства». — Отсюда та «бесчувственность» к страданиям товарищей, которая так поражает филантропических филистеров в активных политических борцах<sup>5</sup>.

Итак, по существу, товарищеская связь способна к такому же безграничному расширению, как сознательное сотрудничество, составляющее реальную основу этой связи. Симпатия узколичного характера не только не является необходимым условием товарищеских отношений, но, наоборот, находится в некотором антагонизме с тенденцией их развития. Это чувство, неизбежно играющее большую роль на ранних ступенях развития товарищеской организации, становится на следующих его стадиях препятствием, которое необходимо преодолеть. На место такой симпатии выступает иная, чуждая индивидуализма и мелочности, способная в своем развитии охватывать неопределенно-расширяющийся круг человеческих личностей.

## XXI

Переходим к другому ряду обычных аргументов против защищаемой нами концепции. Разве в самой природе человека и общества нет коренных условий, делающих неизбежными жизненные противоречия между людьми и как необходимый результат этих противоречий — принудительное регулирование человеческих отношений внешними нормами? Условия эти неустранимы, пока человек есть человек, а не ангел; эгоистические инстинкты всегда будут вызывать столкновения личных интересов, и чтобы столкновения эти в своем прогрессивном развитии и обострении не превратили людей в настоящих волков, перегрызающих горло друг другу, необходимо внешнее обуздание законом, правом, моралью и т. д. Нормы же целесообразности совершенно не могут заменить такого обуздания; они одинаково будут указывать при одних условиях наилучшие способы помочь ближнему, при других — наилучшие способы перегрызть ему горло, их условный императив определяет средства, а не цели; регулировать цели в силах только императив категорический, безусловное принуждение.

Представьте себе, — говорят представители таких взглядов, — громадную железнодорожную сеть, где непрерывно движутся и скрещиваются тысячи поездов, где только величайшая точность в выполнении каждым из бесчисленных агентов общего дела его специальной роли гарантирует непрерывность целого, где малейшая небрежность угрожает гибелью тысячам человеческих жизней и глубоким потрясением всей общественной системе. Что будет, если каждый из агентов руководится при этом лишь нормами целесообразности; т. е. в сущности преследует повсюду свои собственные цели, стараясь только достигать их возможно быстрее и полнее, с наименьшей затратой сил? Пусть опытные специалисты составили самое лучшее, самое целесообразное расписание,

указывающее каждому работнику системы его функцию во всех ее подробностях; кто может поручиться, что указания эти будут всеми строго выполняться? Все будет зависеть от личного произвола каждого из многих тысяч работников; не чувствуя над собой никакой принудительной силы, не опасаясь никакого наказания, они будут на каждом шагу поддаваться индивидуальным и случайным настроениям, ошибочным расчетам, и жизнь целого станет невозможной: сегодня усталый машинист найдет целесообразным остановить поезд на несколько часов, чтобы отдохнуть, завтра кочегар предпочтет созерцание прекрасных ландшафтов утомительной топке паровоза, послезавтра стрелочник сочтет удобным направить все поезда на запасной путь, чтобы они там подождали, пока он вернется с любовного свидания, и т. д., и т. д. Только суровое принуждение может непрерывно удерживать всякого в точных границах его обязанностей.

Те сильные аффекты — гнев, месть, половое влечение, ревность, — которые в наше время так легко разрывают даже прочные рамки закона и морали, тем более не встретят серьезного сопротивления в гибких, эластичных формах чистой целесообразности. Это будет полная свобода для преступления. Спасительный страх не будет удерживать людей от крайностей и порывов; и все социальное потонет в анархическом хаосе разнузданных инстинктов. Безумие и страх воцарятся на месте разума и свободы.

Все эти соображения имеют своей исходной точкой ту идею, что человеческая природа в основе своей неизменна, что при всяких общественных формах, при всяких исторических условиях она остается эгоистичной, индивидуалистичной, какой видим мы ее в современном обществе. Верная узколичному интересу, она чужда идее целого, и общественный интерес, социальная целесообразность только тогда получают для нее руководящее значение, когда при посредстве наказания и принуждения, насилия и страха преобразуются в личную целесообразность, в индивидуальный интерес. К счастью, с человеческой природой дело обстоит не так плохо, и представление об ее неизменности — давно пройденная ступень познания.

Человек — производное своей общественной среды, учит современная историческая теория. Если в данную эпоху он является по существу индивидуалистом, то это именно потому, что таким создает его современное общество, атомически раздробленное, анархичное, построенное на конкуренции и классовой вражде. Отражая собою это социальное строение, человек не может не быть индивидуалистом; но он не был им в ином, иначе устроенном — первобытно-коммунистическом, родовом обществе. Там личный интерес не обособлялся от коллективного, там человек органически сливался со своим целым — группою, общиной, как сливаются клетки в живых тканях. Понадобились тысячи лет развития, чтобы человек стал выделять свои личные цели из общих целей своей коллективности: и это случилось уже тогда, когда распалась первобытная связь общества, когда из маленькой организованной системы оно стало огромным неорганизованным агрегатом.

Нет и не может быть сомнения, что в новом обществе, где исчезает разъединяющая сила конкуренции и классовой борьбы, исчезает и та психология разъединения, в которой личность противопоставляет себя со своими целями и интересами другим личностям и всему обществу. Сознывая себя интегральной частью великого целого, живя непрерывно единой с ним жизнью, человек утратит даже представление об эгоистических, узкоиндивидуальных целях. Вместе с тем станут излишними и регулирующие борьбу этих целей нормы принуждения.

Даже в современном обществе связь принуждения и насилия только в общем и целом преобладает над связью симпатии и трудовой солидарности. В целой массе случаев эта последняя всецело устраняет первую, и именно тогда коллективное действие достигает наибольшей силы и планомерности. Когда в столкновении двух армий солдат одной из них объединяет и ведет на бой принудительная сила долга, служебного и морального, а солдат другой — живое, непосредственное сознание общей цели в виде любви к родине, как было в борьбе отсталой Европы против великой французской революции, — тогда мы знаем,

которая из двух оказалась на деле организованнее и героичнее. Насколько живее, ярче и глубже должно проявляться сознание коллективной цели в таком обществе, где цель эта выступает на сцену не в отдельных исключительных случаях, но проникает собою всю социальную жизнь, непосредственно воплощаясь в организованной системе коллективного труда.

## XXII

Тут аргумент, опирающийся на «природу человека», изменяет свою форму и превращается в аргумент, основанный на *природе общества*. Именно та самая коллективная организация труда, которая одна в силах устранить антагонизмы личные, групповые и классовые и этим будто бы освободить путь для господства норм целесообразности, именно она требует для своего существования громадного развития принудительных норм, громадного расширения их области. В самом деле, общественное производство должно быть организовано так, чтобы полностью удовлетворять все общественные потребности. Для этого человеческий труд должен быть целесообразно распределен между всеми отраслями производства; а каким путем достигнуть такого распределения помимо внешнепринудительных приемов? Если представить каждому свободно определять для себя и род, и количество труда, то в результате наиболее интересные и приятные отрасли труда будут постоянно переполнены работниками, тогда как в других отраслях недостаток рабочих сил будет совершенно неизбежным хроническим злом. Поэтому там безусловно необходимо установление всеобщего рабочего дня, может быть, не очень продолжительного, но обязательного для всех, и притом без права для каждого отдельного лица по произволу выбирать себе работу. Такой принудительный рабочий день, очевидно, предполагает периодическое полное подчинение личности внешней для нее силе общественного целого и *исключает* собою действительное господство норм целесообразности.

Грозный призрак государственной казармы, неумолимо приковывающей личность к ненавистной для нее работе, призрак «грядущего рабства» жестоко тревожит сердце современного индивидуалиста. Великий ученый, проводящий ежедневно по восьми часов на отупляющей работе у ткацкого станка, талантливый художник, отдающий столько же времени на выламывание угля в темной шахте, гениальный романист за счетной конторской работой, и т. д., и т. д. — все эти каторжные ужасы отражают одновременно и стихийное, инстинктивное отвращение нынешнего индивидуалиста к тем высшим формам, которые зарождаются в глубине капиталистического общества, и глубочайшее их *непонимание*.

Труд — органическая потребность человека, и обществу нет надобности стегать личность бичом государственного или хотя бы морального принуждения, чтобы заставить ее трудиться. Для нормального, развивающегося человека трудовой день, наверное, не 8 часов, а значительно больше. Посмотрите на проснувшегося к жизни рабочего, который в прошлые годы, до революции, нередко после 10–11 часов принудительной работы на фабрике тратил еще целые часы на интенсивнейшую работу самообразования; посмотрите на активного политического работника, часто едва находящего время есть и спать после самого напряженного труда; психология этих представителей будущего общества в обществе современном достаточно ручается вам за то, что грядущий социальный строй будет располагать колоссальной суммой свободного труда. Даже при нынешних социальных отношениях, систематически воспитывающих высшие классы в паразитическом направлении, — даже тут представители этих классов отнюдь не являются, в громадном большинстве случаев, простыми бездельниками; работают обыкновенно даже чистейшие рентьеры, хотя и меньше, чем другие люди; они только свободно избирают себе род труда и по большей части в силу классовых предрассудков и других ненормальных условий жизни избирают именно какой-нибудь наименее содержательный, наиболее бесполезный для общества. Итак, есть все основания думать, что недостатка в труде будущее общество и помимо всяких форм принуждения в общем и целом испытывать отнюдь не будет.

Правда, можно думать, что даже в общем и целом этот свободный труд заполнит далеко не все сферы производства равномерно, — его в целом ряде отраслей окажется слишком мало. Здесь-то и выступает вопрос о принудительном пополнении недостающего. *То переходное коллективистическое общество*, которое будет организовано еще в государственных формах, правовых, которое будет еще организацией классового господства, организацией власти пролетариата, это общество, конечно, и прибегнет к принудительному установлению рабочего дня. Но уже здесь при достаточном развитии производительных сил обязательный труд будет охватывать лишь некоторую, с самого же начала едва ли значительную часть коллективно-необходимого количества, так что вряд ли потребуются не только 8-часовой, но даже 6-часовой «рабочий день». В распределении этой доли труда общество опять-таки необходимо должно — в интересах самой производительности труда — считаться по мере возможности с личными склонностями и вкусами работников; и лишь постольку, поскольку и тогда окажется, что самораспределение работников не соответствует реальной потребности производства, на сцену выступит социальная обязательность, принудительная норма.

Таково, однако, лишь переходное состояние общества. В дальнейшем перемена должна совершаться в двух отношениях. С одной стороны, быстрое развитие производительных сил само по себе будет уменьшать потребность в принудительно-организованном труде; машина будет заменять здесь человека, освобождая его от работы, но не от средств к жизни, как она делает это при капитализме. С другой стороны, в новой общественной организации будет изменяться сама психология человека, становясь все более социальной, все менее индивидуалистичной. При этом свободное самораспределение труда будет все более облегчаться: недостающее в той или иной области производства количество труда будет быстро пополняться добровольными работниками, для привлечения которых понадобится не сила общественного принуждения, а только статистические таблицы, констатирующие общественную потребность. И это будет достигаться тем легче, что бесконечно прогрессирующее развитие машин делает все менее трудным переход от одних видов работы к другим, а интенсивный рост энергии человеческого организма будет постоянно порождать в нем стремление к новой и новой смене одних трудовых процессов другими.

### XXIII

Итак, ни в природе человека, ни в природе общества нет таких условий, которые исключали бы возможность развития вплоть до полного устранения внешних норм и принудительных отношений, вплоть до полного господства норм целесообразности и товарищеских отношений между людьми. Остается еще один, страшно важный вопрос: насколько прогрессивны эти высшие формы жизни? Давая беспредельный простор развитию, дают ли они достаточные стимулы к нему? Их гармония не ведет ли к застою, и их стройность — к неподвижности? Если бы это было так, то даже современный мир, с его болезненным развитием среди бесчисленных противоречий, был бы бесконечно лучше того «высшего» мира, гармонично и безболезненно процветающего в бессмысленных циклических повторениях.

А между тем это именно так и есть, — решительно утверждают защитники индивидуализма. Только из противоречий общественной жизни рождается общественное развитие, только конкуренция и борьба классов создают движение прогресса. Разве родовые общества, чуждые этой борьбы и этих противоречий, не были самыми застойными, какие знает история? Разве технический прогресс — основа всякого иного прогресса — не вызывается именно конкуренцией, заставляющей капиталистов искать новых и новых средств удержать за собою рынок среди отчаянных нападений соперников? Разве самая смена общественных форм не обуславливается борьбою классов? А потому не очевидно ли, что устранить конкуренцию и борьбу классов, устранить общественные противоречия стихийного развития — значит устранить прогресс техники и общественных форм,

устранить развитие вообще?

Не только конкуренция и прямая борьба, но даже простое соревнование должно исчезнуть там, где исчезают индивидуалистические чувства, потому что оно из них всецело вытекает, потому что для него нет почвы там, где личность не противопоставляет себя другим личностям. Откуда же возьмутся стимулы развития?

Ответ очень нетруден. Борьба между людьми, их конкуренция, соревнование — все это только *производные* стимулы развития, и за ними скрываются иные, глубже их лежащие, — стимулы *первичные*. Эти последние возникают там, где человек встречается лицом к лицу с природой, где в непосредственной борьбе с нею он сам выступает как производительная, как творческая сила. Вот неутомимый путешественник ведет свою одинокую, отчаянную борьбу с полярной природой, вот страстный охотник ежечасно рискует своею жизнью в истребительной войне с хищниками, вот упорный изобретатель без отдыха напрягает свою мысль и свое воображение, чтобы подчинить человеку еще одну из стихийных сил вселенной, вот идеалист ученый с непреклонною энергией стремится вырвать у природы ее тайну, — эти люди переживают наиболее быстрое, наиболее интенсивное развитие, а разве *только* конкуренция или соревнование с другими людьми двигают при этом их волей? Конечно, нет; эти мотивы имеют для них наименьшее значение.

Всюду, где дается новый и новый материал опыта, и всюду, где обнаруживается дисгармония в старом его материале, там начинается прогрессивная, творчески-гармонизирующая работа психики. Родовое общество теряло свой консерватизм и начинало преобразовывать технику, когда абсолютное перенаселение проявляло себя в общем голодании: конкуренция между отдельными людьми при этом не требовалась. Открытие Америки с той массой нового жизненного содержания, которую принесло оно человечеству, и без всякого соревнования способно было преобразовать всю жизнь человечества. Враг человек не сильнее и не вернее толкает человека на путь развития, чем другой великий враг — и в то же время полный таинственного очарования друг его — природа.

При полном взаимном понимании людей широта товарищеского общения между ними в будущей социальной системе гарантирует для личности постоянный приток новых и новых переживаний, нового и нового материала опыта. В то же время исторически выработанная и ставшая привычной тонкая и сложная гармония жизни обусловит высшую чувствительность ко всякой возникающей дисгармонии. Эти условия интенсивнейшего развития представляют прямую противоположность с теми, какие создаются в нашем современном мире. Здесь «дробление» человека, порожаемое специализацией, понижает степень взаимного понимания людей и суживает сферу их общения; а в то же время *привычка* к жизненной дисгармонии, естественно возникающая там, где человека на каждом шагу окружают противоречия, притупляет чувствительность ко всякой новой дисгармонии. Мы из опыта наших дней хорошо знаем, до чего может в эпоху острых общественных кризисов доходить эта нечувствительность людей к самым ужасным, до безумия чудовищно проявляющимся противоречиям жизни.

Та внутриобщественная борьба, в которой индивидуалист видит единственный и безусловно необходимый двигатель прогресса, в действительности является не только двигателем, но отчасти и тормозом прогресса: она растрчивает *силы* и рассеивает творческое *внимание* человека. Первое понятно само собою; второе также становится в высшей степени очевидным, если ясно себе представить, что победа в борьбе человека с людьми, хотя бы и в экономической борьбе, очень часто достигается и такими путями, которые ничего общего с социальным прогрессом не имеют. Сколько ума и изобретательности, пригодных для лучшего дела, тратится на спекуляцию и биржевые проделки! И в то же время возможность введения машин в производстве значительно суживается оттого, что условием этого введения служит не их полезность, а их прибыльность, не сбережение при их помощи труда работников, а увеличение процента.

Все эти побочные вредные действия совершенно чужды тому *всеобщему* и *основному* двигателю прогресса, каким является непосредственная борьба человека с природою.



Степень прогрессивности товарищеских организаций находится в наибольшей зависимости от широты общения между людьми, какая в них достигается. Узкие кружки, с их бедным жизненным содержанием, неминуемо впадают в консерватизм по мере того, как исчерпывается все новое, что могут их члены дать друг другу. Крупные товарищеские организации развиваются гораздо дольше, интенсивнее, — в зависимости опять-таки от их широты; коммунистические общины с несколькими сотнями участников после нескольких десятков лет процветания переходят к вырождению, политические партии аналогичного типа со многими тысячами членов растут и крепнут и вырабатывают новые формы все быстрее и энергичнее, не обнаруживая никакого истощения.

Все это с полной определенностью приводит к тому выводу, что наибольшая скорость и энергия прогресса, наибольшая его разносторонность и гармоничность могут быть достигнуты только в таком обществе, которое своей социальной формой будет иметь товарищеское сотрудничество, своими рамками — границы человечества. Там силы развития станут беспредельны.

### Проклятые вопросы философии

*У моря пустынного, моря полночного  
Юноша грустный стоит.  
В груди тревога, сомненьем полна голова,  
И мрачно волнам говорит он:  
«О разрешите мне, волны,  
Загадку жизни —  
Древнюю, полную муки загадку,  
Уж много мудрило над нею голов —  
Голов в колпаках с иероглифами,  
Голов в чалмах и черных, с перьями, шапках,  
Голов в париках, и тысячи тысяч других,  
Голов человеческих, жалких, бессильных...  
Скажите мне, волны, что есть человек?  
Откуда пришел он? Куда пойдет?  
И кто там над нами на звездах живет?»  
Волны журчат своим вечным журчаньем:  
Веет ветер; бегут облака;  
Блещут звезды безучастно холодные;  
И дурак ожидает ответа!*

**Г. Гейне**

Те философские вопросы, с которыми гейневский герой обращается к морским волнам, после того как без успеха обращался к современной ему немецкой идеалистической философии Фихте, Шеллинга и Гегеля, эти «последние», «высшие» или «вечные» вопросы не во все времена обнаружили те свойства, за которые получили характеристику «проклятых». Так называемые «органические» эпохи, когда общественный мир стоит твердо на своих китах, и эти серьезные, флегматичные животные, не тревожимые острыми гарпунами практических противоречий и идейной критики, не проявляют опасной склонности ворочаться с боку на бок и нырять, — органические эпохи, в сущности, не знают проклятых вопросов. Если бы наш симпатичный молодой метафизик адресовал свои вопросы, например, к тому не тронутому капитализмом и культурой натурально-хозяйственному мужичку, который некогда был настоящим «китом» для целого стройного, полного надежд старонароднического мировоззрения, а ныне превратился почти в мифическое существо, — то ответы получились бы определенные и вразумительные, чуждые всякой «тревоги» и «сомнений». Правда, эти ответы не удовлетворили бы, вероятно, нашего героя, может быть, показались бы ему вовсе даже не ответами; но это именно потому, что он

— представитель совершенно иной, «критической» или «переходной» эпохи, которая уже выполнила одну половину дела — покончила со старыми ответами, но не успела выполнить другой — покончить со старыми вопросами.

Философское и теологическое образование «мрачного юноши» не может подлежать сомнению. Он знаком со всевозможными ответами, какие когда-либо давались мудрецами человеческого рода на занимающие его вопросы. Почему же он не в состоянии успокоиться ни на одном из этих ответов? Что довело его до такого безнадежного к ним недоверия, что морские волны кажутся ему более компетентными в метафизике, чем мудрые авторы этих ответов, и что даже головы означенных мудрых людей он считает вполне достаточным классифицировать по тем колпакам, которыми они украшены?

Во всех ответах метафизиков и теологов он нашел одно общее и крайне прискорбное свойство: развертываться в бесконечные ряды, не двигаясь с места.

«В чем состоит существо человека?» — спрашивает, например, он, и ему, положим, отвечают: «В бессмертной душе». «А в чем существо этой души?» — спрашивает он тогда. Допустим, что на это дается такой ответ: в вечном стремлении к абсолютному идеалу добра, истины и красоты. «А что такое этот идеал?» — продолжает он; и когда ему дадут определение: идеал этот есть то-то и то-то, — он вынужден спрашивать дальше: «Что есть это самое „то-то и то-то“, которое заняло место сказуемого при подлежащем „абсолютный идеал“?» — и т. д., без конца. Перед ним выступает как будто бесконечный ряд отраженных образов в двух параллельных зеркалах. Успокоиться на каком-нибудь из ответов его ум может так же мало, как его зрение остановиться на котором-нибудь из отражений. Напротив, образы становятся все более тусклыми, ответы все менее понятными, чувство неудовлетворенности возрастает.

Та же история повторяется с каждым из «проклятых» вопросов; и наш юный философ, видя, что не может ни от кого добиться иных ответов, кроме еще более «проклятых», впадает в вполне понятное отчаяние. Мудрецы пытаются объяснить ему, что это совершенно неосновательно, что во всем виноват он сам. Они говорят: «Молодой человек, вы впали в очень грубую ошибку, бесконечно растягивая цепь вопросов. Вы можете, разумеется, по поводу всякой вещи, по поводу всякого определения спрашивать: что такое это? что такое то? — но вопросы эти не всегда имеют разумный смысл. Есть вещи, непосредственно известные, непосредственно очевидные и понятные; всякая попытка определить их, во-первых, бесцельна, потому что они не нуждаются в определении, во-вторых, неосуществима, потому что нет ничего более их известного, через что их можно было бы определить. Раз вы дошли до них, вы достигли цели и должны остановиться; дальнейшие вопросы представляют уже только злоупотребление грамматическими формами и нашим терпением».

— Прекрасно, — замечает мрачный юноша, — так будьте же любезны указать мне, где то непосредственно известное, о котором вы говорите. Я спрашивал вас, в чем состоит существо человека; вы мне сказали: в бессмертной душе. Уж не она ли должна быть непосредственно для меня очевидна и понятна?

— Конечно, да! — подхватывает один мудрец, — разве вы не чувствуете ее в себе, разве вы не сознаете себя, свое духовное «я», так резко и ясно выделяющееся среди всего мира? Неужели тут нужны еще какие-нибудь определения?

— Так вот, представьте себе, что для меня это «я» совсем не ясно и не понятно. Иногда мне кажется, что я его действительно чувствую и отличаю от всего остального; иногда, напротив, оно совсем куда-то ускользает и становится неуловимо; а иногда я замечаю, что оно у меня не одно, а как будто их несколько. Как же мне не спросить, что оно, в сущности, такое?

— В этом вы совершенно правы, — снисходительно замечает другой мудрец. — Эмпирическое «я», которое старые богословы смешивали с душою, отнюдь не есть что-либо определенное, — это не более как хаос переживаний. В нем надо выделить то абсолютное, нормальное «я», которое составляет подлинную сущность человеческой личности, ее бессмертную душу. Именно это «я» вы сознаете в себе, когда подчиняете свои переживания

высшим этическим, эстетическим и логическим нормам, когда стремитесь к абсолютному добру, красоте, истине.

— Увы, почтеннейший, — с грустью отвечает наш герой, — с этими вашими абсолютами дело обстоит для меня еще хуже, чем с душой вообще. Вчера мне казалось, что я стремлюсь к абсолютному добру, отдаваясь порыву патриотической ненависти к врагам отечества и подавляя все противоположные чувства; а сегодня я вижу, что это была оргия пошлого шовинизма, враждебного истинному идеалу. Вчера я старался обуздывать чувственные страсти, стремясь, как мне казалось, к высшей духовной красоте; а сегодня я подозреваю, что в основе этого обуздания лежала просто подлая трусость перед стихийными силами моей собственной природы. Как же мне не спросить вас, что такое ваши абсолютные идеалы?

Очевидно, несчастье молодого философа, а вместе с тем и его отличие от тех мудрецов, которые предлагали ему свои решения вечных задач, сводится к полной невозможности найти в своих переживаниях что-нибудь достаточно определенное и непосредственно-понятное, чтобы оно могло послужить надежным базисом и критерием для всего остального. Если человек старых времен употреблял выражение «моя душа», то он хорошо знал, о чем говорит: то было его сегодняшнее сознание, которое лишь незаметно отличалось от вчерашнего и завтрашнего, которое представляло прочный и консервативный в своих повторениях комплекс переживаний, а потому и воспринималось как нечто вполне известное и само собою понятное. Привычное не возбуждает вопросов и недоумений, человек не может видеть в нем никакой загадки: силою многократного повторения даже самое смутное понятие, как о том свидетельствует вся история религиозных догматов, получает в конце концов окраску величайшей достоверности и очевидности. Различные мелкие божества католической религии, с которыми ежедневно вступает в молитвенное общение итальянский крестьянин, для него ничуть не менее реальны и несомненны, чем его соседи, с которыми он беседует и ссорится. Чем консервативнее сознание, тем больше в нем самоочевидного и самопонятного, — того, что не порождает сомнений, а, наоборот, может служить опорой против всяких сомнений, базисом для надежных и убедительных ответов на всякие вопросы.

В своей психике наш герой не находит ничего достаточно устойчивого и консервативного, ничего настолько «непосредственно-известного», чтобы можно было остановиться и с успокоенным сердцем сказать: «Вот это для меня понятно и не требует ни вопросов, ни объяснений; и так же будет понятно все, что мне удастся свести к этому». Все отвлеченности, которыми угощают его мудрецы, кажутся ему *переменными*, неопределенными и сомнительными по содержанию. Все определения, которыми ему пытаются помочь, кажутся ему бесплодной игрою со смутными и туманными образами, в которых нет жизни и силы, чтобы материализоваться. «*Mobilis in mobili*» — «изменяющийся в изменчивой среде», — таково трагическое положение, которое делает совершенно безнадежными, с его точки зрения, все усилия философских голов, без различия их уборов, в деле решения «вечных» вопросов, — вопросов о неизменном и неподвижном в жизни.

На сцену выступает новое лицо, для которого мрачный юноша, к своему удивлению, не находит места в своей классификации философских голов. Это — критик-позитивист, который, вместо измышления ответов на «проклятые» вопросы, ставил вопрос о самых этих вопросах, об их законности и логической состоятельности.

«Вы хотите знать, в чем состоит „сущность“ человека, жизни, мира? — говорит он, — но постарайтесь сначала выяснить себе, что, собственно, подразумеваете вы под этим словом „сущность“. Оно означает неизменную основу явлений, тот абсолютно постоянный субстрат, который скрывается под их непостоянной оболочкой. Это слово имело смысл для ваших предков, которые *не знали*, что в действительности нет ничего неизменного, ничего абсолютно постоянного. Они выделяли из действительности более устойчивые элементы и сочетания и, считая их, по недостатку наблюдения и опыта, за абсолютно устойчивые, называли их „сущностью“ данных вещей и явлений. Вам же хорошо известно, что абсолютно постоянных комбинаций вовсе нет, что в каждом явлении каждый его элемент может

исчезнуть и смениться новым; и если вы, стремясь добраться до сущности, устранили из действительности все, что в ней изменчиво и что, следовательно, не соответствует самому понятию сущности, то у вас *ничего* не останется. Останется только слово „сущность“, выражающее вашу попытку найти неизменное в изменениях, попытку безнадежную по своей внутренней, логической противоречивости. И все ваши вопросы, в которых фигурирует это слово, так же логически противоречивы, как выражаемое им понятие. В них не больше разумного смысла, чем, например, в вопросе, как велик объем данной поверхности, или из какого дерева сделано железо.

Другие ваши вопросы — о „происхождении“ человека, жизни, мира, — происхождении не в смысле научного опыта и наблюдаемой последовательности явлений, а в смысле абсолютного, внеопытного, творческого первоисточника, — вопросы эти выражают стремление найти последнюю причину всего существующего. Но понятие причины возникло из опыта и относится к опыту, оно выражает связь между одним и другим предметом, между одним и другим явлением; вне отдельных данных предметов и явлений оно лишено всякого смысла. Между тем, то „всё“, о котором вы спрашиваете, отнюдь не есть какой-либо данный предмет или данное явление, — оно есть бесконечно развертывающееся содержание, к которому принадлежат все предметы и явления; применять к нему понятие причины — значит принимать его за нечто данное, ограниченное, — а оно безгранично и никогда не дано нам. И опять-таки ваши предки знали, что говорили, когда ставили вопрос о причине всего, о творении мира. Их „всё“, их „мир“ представлял из себя, действительно, нечто данное и вполне ограниченное, хотя бы в их мысли: им чужда была идея о бесконечности бытия, природа была для них только очень большой вещью, для которой они подыскивали и соответственно большую причину. Но вы, имеющий понятие и об экстенсивной и об интенсивной бесконечности существующего<sup>136</sup>, как можете вы ставить об этой бесконечности вопрос, относящийся только к конечному? Вы, знающий, что „всё“ не есть объект возможного опыта, а только символ его беспредельного расширения, каким образом хотите вы обращаться с этим „всё“, как с одним из таких объектов? Поистине, вопрос ваш подобен вопросу ребенка о том, сколько верст от земли до небесного свода или сколько лет господу богу.

Третий ряд ваших вопросов относится к „смыслу“, т. е. к „цели“, существования человека, жизни, мира. Здесь недоразумение еще очевиднее. Понятие „цели“ заимствовано из психического опыта, из области сознания; оно выражает связь между *представлениями* сознательного существа и результатами его действий. Следовательно, вопрос о цели мира и жизни заранее предполагает уже наличность какого-то сознательного существа, которое стремится своими действиями достигнуть определенных результатов, т. е., очевидно, обладает определенными потребностями, для удовлетворения которых средством или одним из средств служит мировой процесс и жизнь человека. Но где нашли вы такое существо, и что дает нам право *arguere* предположить его наличность? Вполне естественно и понятно, что ваши предки, жившие в атмосфере рабства и подчинения, привыкшие во всевозможных случаях жизни играть роль средства для целей чуждого расчета и произвола, что они повсюду присоединяли к наблюдаемым действиям людей, и даже к явлениям мертвой природы мысль о деспотической воле, которой служат эти действия или явления. Но вы, человек, знакомы с идеями свободы и даже с борьбой за свободу, вы, практически отрицающий рабство и подчинение, а теоретически признающий их за пройденную ступень развития человечества, почему в сфере высших обобщений вы ставите вопрос так, будто не можете и вообразить себя иначе, как рабом чьей-то чуждой воли? И при этом вопрос ваш оказывается так же мало мотивирован, так же плохо обоснован, как если бы вы, например, спрашивали у голодного человека, по чьей просьбе он собирается обедать, или у падающего

---

<sup>136</sup> Бесконечность «широты» и «глубины»: явлений бесконечно много, и каждое бесконечно сложно для исследования.

с колокольни — по чьему поручению он спешит.

Итак, бросьте эти бессмысленные комбинации слов, называемые „вечными вопросами“; на них не требуется ответа, потому что это — вопросы только по грамматической форме, а не по логическому содержанию; и, кроме отрицания самой их постановки, всякий иной ответ на них был бы такой же, как и они сами, нелепостью».

Юный вопрошатель, прошедший школу кантовской «Критики чистого разума», не может отрицать законности постановки вопроса о критике самых вопросов, которые его занимают. После нескольких возражений и попыток защитить эти вопросы он приходит к выводу, что с формальной стороны отстаивать их — дело безнадежное. Тогда он обращается к своему собеседнику с таким заявлением:

«Я допускаю, что логически вы совершенно правы, что волнующие меня вопросы нелогичны и противоречивы. Но отчего же ваши аргументы, против которых я уже не в силах возражать, не убеждают меня настолько, чтобы я отказался хотя бы от одного из этих вопросов? Отчего, когда я принуждаю себя стать на вашу точку зрения, отвергнутые вопросы напоминают о себе тоской и болью в душе и через минуту вновь всплывают, прорывая всякие логические вопросы? Отчего они так *неустранимы* из моего сознания и даже кажутся для меня дороже всего остального, что я в нем имею? Я думаю, что не в одной логике дело и что теоретический разум не компетентен отвергать и даже подвергать критике то, что рождается из глубочайших глубин практического разума. Может быть, нелогичность вопросов означает только то, что они выше логики?»

«Мой друг, — отвечает критик-позитивист, — если вам угодно отрицать логику, то никакой спор с вами, никакая попытка убедить вас вообще не могут иметь места. Но посмотрите, до чего жалкий вид имеет то подобие аргументации, которое вы применяете в защите своих вопросов. Разве тоска и боль в душе могут доказать что-нибудь, кроме болезни? Разве неустранимость из сознания не свойственна многим окончательно опровергнутым иллюзиям, например хотя бы иллюзии движения солнца вокруг земли или движения луны вместе с вашей особой, когда вы идете? А ваше соображение, что нелогичное может быть выше, а не ниже логики, — скажите, что может быть печальнее в смысле убедительности, чем такие „может быть — соображения?“. И напрасно вы прячетесь под приоритет практического разума над теоретическим; этот удобный догмат — да не вменится он покойному Канту в день страшного суда! — никак не может отменить логику, ибо то, что называется разумом, по самому понятию „разума“ должно подчиняться логике. Итак, бросьте бесплодные умствования над несуществующими вопросами, — ваши юные силы могут пригодиться на что-нибудь лучшее!»

«Ах, оставьте вы меня в покое, — нервно протестует наш вопрошатель. — Нет для меня на свете ничего ни лучшего, ни худшего, пока не решены эти вопросы; а если они нелепы, то к чему я сам, и не все ли равно, куда я растрочу свои силы? Нет цели, нет смысла в жизни, все течет и изменяется, призраки рождаются из призраков, и ничего нет за ними, кроме бесконечной, сияющей пустоты. К чему мне тогда ваша логика, ваша наука, ваша критика и ваши положительные знания? Не могу я вам поверить, даже если за вас очевидность; ибо что мне в такой холодной, безжизненной очевидности?»

— И знаете ли что? — прибавляет вдруг он, останавливая свой пристальный, горящий взгляд на грустно-насмешливом лице своего собеседника, — вы ведь и сами не вполне себе верите. Там, в темной глубине вашей души, осталось то, против чего вы боретесь, что так горячо отрицаете. И я, милостью божией психолог и поэт, которому дано проникать в человеческое сердце дальше, чем другим людям, — я говорю вам: только ваша борьба против этих проклятых вопросов спасает вас от их фатального влияния. Если бы эта борьба кончилась, вы убедили бы всех и самого себя, и некому было бы доказывать то, что вы мне пытались доказать, — эта победа превратилась бы в величайшее поражение. Холод охватил бы вашу опустошенную душу, бездна раскрылась бы перед нею, и из ее темной глубины восстали бы все те же, ненавистные и неизбежные, проклятые вопросы.

— Да, *этой* болезни не вылечит ваша беспощадная хирургия. Вам приходится изрезать

всего пациента, — и останется от него только система Iege artis наложенных повязок. Лучше пойду я, неисправимый, допрашивать волны; если они и не сумеют мне ответить, то дадут мне минуту забвения в уносящем всякие вопросы созерцании. А пройдет эта минута, и вновь обступят мою душу проклятые гости, — ну, тогда, может быть, я обращусь к волнам за другой услугой: в их холодных объятиях можно навек избавиться от тревог и сомнений, все смоят они, чистые, прозрачные...

Позитивист удаляется, сострадательно пожимая плечами, и молодой философ остается один со своими мыслями.

Пойдем же и мы, в свою очередь, побеседовать с ним об этих мыслях. Правда, поступая так, мы впадаем в несомненный анахронизм; но что значат анахронизмы для «вечных» вопросов? К тому же мы на три четверти века старше его, потому что явились на свет тремя поколениями позже; и, может быть, тот большой опыт, который стоит за нашими плечами, даст какие-нибудь указания или намеки на выход из той мучительной безысходности, которая так угнетает этого симпатичного идеалиста времен минувших.

Он спрашивает о сущности человеческого сознания, об его последней причине, об его конечной цели: соотносительные вопросы о *мире* подразумеваются при этом сами собою. Что же получил бы он в случае удачного решения вопросов? В чем их жизненный смысл?

«Сущность» — этот неизменный субстрат изменений — дала бы ему твердую, устойчивую *точку опоры* в хаосе непрерывного движения, вечной смены форм в нем самом и в окружающей среде. К «сущности» мог бы он апеллировать, на ней успокаиваться каждый раз, как его познание и воля терялись бы в этом хаосе, каждый раз, как опасное головокружение угрожало бы отнять его силы и радость жизни.

А «последняя причина», эта остановка на пути бесконечно развертывающегося в прошлое познания причин? Она, очевидно, была бы также точкой опоры, именно — *точкой опоры в прошлом*.

Такова же и «конечная цель» — *точка опоры в будущем*.

Кто ищет для себя с тоской и тревогой точек опоры в жизни? Тот, у кого их нет, кого уносит куда-то, и уносит против его воли, — потому что пловец, добровольно и радостно отдающийся волнам, не мучится в это время тревогой и тоскою по прибрежным скалам.

Уносит против воли и неизвестно куда! Вот в чем трагизм положения нашего идеалиста, и не его одного...

Что же уносит? Космические силы — движение земли вокруг солнца, движение солнца вокруг неизвестного центра?.. Ну, об этом наш философ не особенно беспокоится... С этим давно примирилось его сознание, и законы тяготения кажутся ему достаточной точкой опоры в бесконечном плаваньи по астрономическим безднам. У него срывается даже иногда легкомысленная шутка по поводу космического «perpetuum mobile»:

«А там — это яркое солнце —  
Не красный ли спьяну то нос  
Властителя мира?  
И около этого красного носа  
Не спьяну ли мир кружится?»

Над чем весело и беззаботно смеются, к тому не относятся, очевидно, с особенной «тревогой и сомнением», и не из этого движения рождаются фатальные вопросы о точках опоры...

А смерть? Может быть, это она, неизбежная и беспощадная, наполняя сознание инстинктивным страхом, мучительным и смутным, как кошмар, — может быть, она произвела на свет эти злые призраки? Но она для человека — не движение, а конец движения, остановка на пути; и уж, конечно, не из нее возникает задача — найти точку опоры в движении жизни. Устанавливая неопределенные, но тесные границы личному существованию, она может стимулировать, обострить потребности и загадки, возникающие в

этих границах, — но не определить собою их содержание. Его исходная точка, во всяком случае, в движении самой жизни.

Но, может быть, нашего поэта-философа пугают и мучат непонятные, стихийные силы его собственной души? Нет, он и их не боится, а, скорее, любит, они дают ему счастье творчества, они зовут его к радости жизни, к борьбе... К борьбе, — но из-за чего? К радостям, — но неужели только для себя? Творчество, — но куда его направить, на что в нем опереться? Вот тут и встают проклятые вопросы. Не вечное движение великого космоса, не волнения и порывы собственной души идеалиста порождают в нем эти вопросы — они только *приводят* к ним, не более. Источник их лежит вне отдельной личности и вне безразличной стихийности внешней природы.

Где же именно? На это ясно указывает другое стихотворение Гейне, посвященное также «проклятым вопросам», которые там он формулирует ближе к жизни:

Брось свои иносказанья  
И гипотезы пустые,  
На проклятые вопросы  
Дай ответы нам прямые:  
Отчего под ношей крестной  
Весь в крови влачится правый,  
Отчего везде бесчестный  
Встречен почестью и славой?  
Кто виной? Иль богу правды  
На земле не все доступно?  
Или он играет нами?  
Это подло и преступно.  
Так мы спрашиваем жадно,  
До тех пор, пока безмолвно  
Не забьют нам рта землю...  
Да ответ ли это, полно?

Вот где лежит то неразумное и нелогичное в жизни, что наполняет душу тревогой и сомнением и будит в ней неразрешимые вопросы, — оно в социальной жизни людей, в их взаимных отношениях. Непонятны те стихийные силы, которые царят там, нет в них ни логики, ни справедливости; уносят они человека к той судьбе, которой он не хочет и не заслуживает и, что всего ужаснее, которой он не знает... Идет борьба, — но лучшие ли в ней побеждают? Кипит работа, — но кому достанутся ее плоды? Ответы жизни то и дело оказываются так нелепы, так чудовищны, что сердце сжимается от боли и недоумения. Противоречия общественного бытия людей — вот корень проклятых вопросов, осаждающих сознание.

Когда природа всецело властвовала над человеком, тогда неразумное и нелогичное, тяготевшее над его жизнью, находилось совершенно вне его и ему подобных и было ему вполне чуждо. Оно лежало там, где он и не мог искать и требовать ни логики, ни разумности, где он бы мог бояться и умолять, но только не спрашивать. Поэтому в религиозном мировоззрении, выражающем эту фазу развития, проклятых вопросов вовсе нет; те вопросы, которые соответствовали им по внешнему выражению, имели совершенно иное, несравненно менее сложное содержание, и допускали чрезвычайно простые, ясные и достаточно убедительные ответы. Если, например, признавалось, что человек и все живое существует для того, чтобы творить волю божества, то воля эта понималась как чистый произвол, и не философский анализ должен был выяснять ее, а непосредственное откровение. Если было установлено, что «существо человека» состоит в его душе, то уже не возникало дальнейшего вопроса, в чем же существо этой души: она не была соткана из загадочных противоречий, ее простота и жизненная устойчивость не порождали сомнений насчет ее состава и степени ее

реальности. Все было на своем месте; и философские сомнения не могли найти дороги в головы, всецело заполненные заботой о непосредственном поддержании жизни.

Ряд решительных побед, одержанных человечеством над внешней природой, протекал нераздельно с коренным преобразованием общественной природы человека. Человек стал существом *логическим и этическим*.

Первое — логическая форма мышления — явилось более непосредственным результатом возрастающей власти над природою: в твердых логических нормах выразилось прочное обладание целой массой связей и соотношений между комплексами природы. Закон тождества формулирует по преимуществу социальный и непрерывный характер этого обладания: «то, что для меня и в данный момент есть А, является таковым же А и в *опыте* других людей, а также и в моих последующих воспоминаниях об этом», таков единственно возможный смысл формулы  $A=A$ , смысл, вне которого она превращается в бесполезную и безжизненную комбинацию знаков. Закон достаточного основания резюмирует реальное жизненное значение того же обладания — возможность предвидеть будущее, освобождение от непостижимых случайностей и чудес.

Этическое сознание было более косвенным следствием трудового развития человечества. Общество возросло до громадных размеров и глубоко дифференцировалось в зависимости от разделения труда между людьми. Но именно это сделало общество формально-неорганизованной, анархической системой. Материальная жизненная связь сотрудничества между членами и группами общества осталась, но была совершенно замаскирована их формальной обособленностью и борьбой их интересов. Этическое сознание и выразило в себе эту двойственную природу общества, являясь той формой, в которой материальная связь трудовой солидарности ограничивала и обуздывала анархические тенденции групп и личностей в борьбе их интересов. Фетишистический характер этого сознания (абсолютный императив, религиозный или «категорический»), его «непостижимость» вытекала именно из противоречия между реальной связью сотрудничества, составляющей его основу, и скрывающими эту связь — формальной независимостью личностей в трудовом процессе и борьбой между ними. Раз основа ускользает от наблюдения, а проявление обладает очевидной жизненной реальностью и практическим значением, то очень понятно, что оно представляется фетишисту «голосом из другого мира».

Неорганизованная, анархичная форма общественного процесса отдала человека, вышедшего из подчинения стихиям внешней природы, во власть не менее стихийных сил самой общественной жизни, и силы эти понесли человека «неизвестно куда и против его воли». Но существо логическое и этическое уже не могло с первобытным фатализмом и покорностью отнестись к этому положению; оно стало цепляться за то, что обычно давало ему опору в жизни, — за логические и этические формы своего сознания. К непонятному и непреодолимому потоку жизни оно начало предъявлять логические и этические требования, которые, конечно, не удовлетворялись, но благодаря этому становились только еще более настоящими и ощущались еще болезненнее. Обобщенную форму этих требований и представляют «проклятые вопросы».

Громадные различия жизненного опыта людей как членов дифференцированного общества, различия, приводящие к неизбежному в той или иной мере их взаимному непониманию в их сотрудничестве и борьбе, вместе с громадными изменениями в содержании опыта отдельного человека в различных фазах его существования, приводящими к неустойчивости образа собственного «я» человека, создают мучительную потребность в том общем и непрерывном, что господствовало бы над всеми этими различиями и изменениями, что было бы *всегда и для всех тождественной* точкой опоры в хаосе жизни. Эта потребность, выражаемая в «вечном вопросе» о «сущности вещей», и есть перенесение на «всё», на стихийный поток бытия того требования, которое логика формирует как *закон тождества*.

Беспомощность личности перед непонятными силами общественного бытия, ее



неспособность овладеть ими в познании и практике обостряет потребность причинно представить себе движение этих сил и порождает другой «вечный вопрос» — о всеобщей «причине причин», которая послужила бы отдыхом и успокоением от вечно мелькающих и ускользающих, утомительно сплетающихся и безнадежно запутывающихся причин частных. Это — перенесение на бесконечное той точки зрения, которая логически выражается по отношению к конечным явлениям в законе *достаточного основания*.

Что касается вопроса о высшей цели бытия, то его смысл еще очевиднее: это страстный вопль бессилия *этического сознания* перед безнадежной прозаичностью развертывающейся жизненной борьбы. К общественному, к человеческому бытию этический человек не может не предъявлять этических требований; а оно молчаливо издевается над ними, наказывая добродетель и награждая порок. Боль этого противоречия воплощается в вопросе о конечной цели — «проклятом» и «вечном», потому что самые обстоятельства, которые его порождают, ручаются за его неразрешимость.

Итак, тот своеобразный социально-психологический факт, который называется «проклятым» или «вечным» вопросом философии, имеет свой глубоко реальный жизненный базис: это господство стихийности общественных отношений над личностью и ее судьбой. Пока этот базис существует, нельзя и мечтать о *полном* искоренении означенных вопросов; самая тонкая и сильная философская критика не может уничтожить того, что зарождается гораздо глубже сферы действия критики вообще. В этом смысле прав был наш герой в своей отповеди критику-позитивисту: сам этот позитивист, понятия не имевший об истинной основе критикуемых вопросов, конечно, в глубине души был не настолько свободен от склонности к ним, насколько воображал и высказывал это. Как дитя буржуазного общества, всецело стоя на почве его отношений, как и все, подчиненный их непреодолимой стихийности, — мог ли он не отразить в своей психике это подчинение и эту стихийность?

В ином положении находится его исторический наследник — реалист школы Маркса, современный коллективист. Для него существуют не только сложившиеся буржуазно-капиталистические отношения, но также иные, из них возникающие, и в то же время представляющие их противоположность. Рядом с классами, живущими всецело в атмосфере конкуренции и общественно-трудовой анархии, обуславливающих господство над людьми их собственных отношений, выступает иной класс — пролетариат, представитель растущей товарищеской солидарности, массового объединения сил, с тенденцией подчинить своей организованной воле эти общественные отношения. Появление этого класса создает и новую точку зрения, которая уже позволяет, во-первых, исследовать стихийные силы общественного процесса и, таким образом, познавательно овладеть ими, во-вторых, вести шаг за шагом сознательную борьбу против их реального господства. Таким образом, подрывается самый базис мучительных «вечных» вопросов и возникает впервые возможность их действительного и прочного устранения.

Кто знает тенденцию происходящих в жизни изменений, кто ясно понимает, куда они ведут, и ничего не имеет против их основного направления, а, наоборот, видит в нем прогресс, рост и расширение жизни, тот уже не находится в положении пловца, уносимого течением неизвестно куда и против его воли, тот не ищет отчаянно точек опоры, фиктивных, если нет реальных. Таков коллективист. Ему известна в основных чертах линия развития общественной жизни, известна настолько, что позволяет уже с успехом делать некоторые важные предсказания; и общий смысл этих предсказаний оказывается благоприятным для роста жизни и силы людей. Где совершающиеся изменения не страшны и не враждебны, там нет стремления цепляться за неизменное. К чему коллективисту пустая «сущность» вещей, когда для него раскрываются шаг за шагом полные смысла и содержания законы их движения? К чему неизменная «последняя причина», когда, развертывая одно за другим звенья бесконечной цепи причин, он с каждым новым шагом испытывает гордое чувство победы, возрастания власти над враждебными силами? К чему извне поставленная, чужой волей навязанная «конечная цель» жизни, когда, свободно избирая себе идеал жизни, он убеждается, что ее собственный путь, по которому ведет ее объективный ход ее

собственного развития, пролегает в сторону этого же идеала? «Вечные» вопросы отмирают, уходят в прошлое, освобождая место и силы для новых, трудных, но разрешимых вопросов, «временных», но живых и близких — вопросов жизни, а не того, что вне жизни и над нею.

Все эти условия и мотивы успокоения на борьбе и для борьбы существуют в наше время, но их не было или почти не было в эпоху гейневского идеалиста. Поэтому, если бы, вопреки закону истории, к нему явился современный «реалист»-коллективист и попытался изложить свою точку зрения, молодой вопрошатель просто не понял бы, не нашел бы в своей психике тех переживаний, которые составляют действительный смысл и содержание нового понимания жизни. Он пожал бы плечами и сказал бы: «Вы говорите на моем родном языке, каждое слово мне знакомо, а ваша речь в целом совершенно мне недоступна, точно бессмысленный набор слов». Ему нельзя было бы помочь, потому что словами и аргументами нельзя создать нового жизненного содержания.

В 1848 году, среди грозы и бури «безумного года», гейневский идеалист умер, а еще в 1847 коммунистический манифест возвестил миру появление на свет современного «реалиста». Новое жизненное содержание создавалось быстро, его росту и развитию не предвидится конца.

Все изменилось. Теперь уже не «дурак ожидает ответа» от волн холодного, безжизненного моря, а сознательный пловец стремится овладеть волнами кипящего моря жизни, чтобы сделать их грозную силу средством движения к своему идеалу. И на этом пути зарождается новый мир, царство гармоничного и целостного человека, освобожденного от противоречий и принуждения в своей практике, от фетишизма — в познании.

Пусть этот мир не так близок, как думают те, кто слишком смутно представляет его себе; его красота и величие не делаются оттого меньше, борьба за него не перестает быть благороднейшей из всех целей, какие сознательное существо может себе поставить.

## **Социалистическое общество7**

Эпоха промышленного капитализма еще далеко не завершилась; но неустойчивость ее отношений уже выяснилась вполне. Выяснились и коренные противоречия этого строя, которые все глубже его подрывают, и силы развития, которые создают основы для иного строя. Наметилось, в главных чертах, *направление*, по которому идет и это разрушение, и это развитие. Таким образом, уже теперь можно сделать выводы о том, каков будет новый строй, в чем его основные различия от нынешнего.

Может показаться, что наука не имеет права говорить о том, что еще не наступило и чему не было точного примера в прошлом. Такая мысль очень ошибочна. Наука существует именно для того, чтобы *предвидеть*. Чему не было еще точного примера, того она не может, разумеется, предвидеть вполне точно. Но если в общем известно *то, что есть*, и известно, в *какую сторону оно изменяется*, то наука *должна* сделать вывод о том, что из этого получится. Она должна сделать этот вывод для того, чтобы люди в своих действиях могли с ним сообразоваться, чтобы они не тратили бесплодно свои силы, действуя вопреки будущему, задерживая развитие новых форм, — но чтобы они могли сознательно работать для ускорения и облегчения этого развития.

Выводы общественной науки о будущем строе не могут быть вполне точными благодаря тому, что громадная сложность общественных явлений не позволяет в наше время охватывать их во всей полноте, со всеми частностями, но только — в общих чертах. Поэтому и картина нового строя может быть дана только в еще более общих чертах. Но они-то и являются *наиболее важными* чертами, особенно для человека наших дней.

При современном состоянии науки не только нельзя установить, хотя бы приблизительно, время коренного изменения общественных форм и замены их новыми, но даже сам переход к этим новым формам приходится принимать условно: новый, высший строй явится в том случае, *если общество будет идти вперед в своем развитии*, как шло

вперед до сих пор. История древнего мира показывает, что человеческие общества могут иногда идти назад, приходиться в упадок, разлагаться; история первобытного человечества, а также некоторых замкнутых восточных обществ говорит о возможности долгого застоя. Но для застоя или деградации нужны достаточные причины; в жизни современного общества их указать нельзя. Стать застойным оно не может при массе внутренних противоречий, при порождаемом ими стремительном ходе жизни. Вызвать коренную деградацию эти противоречия могли бы только в том случае, если бы налицо не имелось достаточных сил и элементов для развития; но они имеются, и до сих пор те же общественные противоречия развивали их и умножали. Производительные силы общества непрерывно растут, растет и организуется громадный класс общества, стремящийся осуществить новые формы. Поэтому нет никаких серьезных данных, чтобы ожидать обратного движения, деградации общества; неизмеримо больше оснований думать, что оно продолжит свой путь и создаст новые формы.

## 1. Отношения общества к природе

Развитие машинной техники еще в период капитализма приобретает характер такой последовательности и непрерывности, что становится вполне возможным определить тенденции, а стало быть и дальнейшие результаты этого развития. Основная тенденция уже была намечена — она направлена к *автоматизму* машинной работы. Машина старого типа, при которой более или менее значительная часть необходимых механических движений выполняется руками работника, уступает место новому типу — механизму автоматическому, при котором роль работника сводится почти исключительно к надзору и контролю над действием машины. Сам этот контроль все более упрощается и облегчается введением вспомогательных регулирующих приспособлений, становится все менее мелочным, все более приобретает характер лишь общего наблюдения за исправностью действий различных аппаратов, входящих в состав машины: механику нет надобности ежеминутно взглядывать на манометр или на измеритель тока и каждый раз самому принимать меры к установке надлежащего уровня давления пара или силы тока, если в машину включены регуляторы, автоматически поддерживающие то и другое на установленной высоте; он должен только время от времени осведомляться, действуют ли сами регуляторы, и в случае надобности менять их установку, а также заботиться о быстром их исправлении в случае порчи и т. под. Но при этом все более повышается уровень знания, понимания, сообразительности, общего психического развития, который требуется от работника. Труд при машине становится по своему типу все более «организаторским», все более интеллектуальным, все менее ремесленным, все менее требующим технической ловкости узкого специалиста. Работа мысли получает все большее преобладание над работой мускулов.

При этом количество машин и сумма развиваемой ими механической энергии возрастают в такой колоссальной степени, что физическая энергия людей становится почти несоизмеримо малою по сравнению с этой громадной величиной. Силы природы выполняют для человека исполинскую работу, — послушные мертвые рабы, мощь которых растет до бесконечности.

Особенное значение для развития новых общественных форм имеет техника сообщений между людьми. Ее стремительный прогресс, наблюдаемый в конце эпохи капитализма, явно направлен к тому, чтобы устранить все препятствия, которые ставят объединению и сплочению людей природа и пространство. Усовершенствование беспроволочного телеграфа и телефона в очень недалеком, по-видимому, будущем создаст возможность людей непосредственно сноситься на каких угодно расстояниях и на каких угодно естественных преградах. Возрастающая скорость всех способов передвижения будет физически сблизять людей вместе с продуктами их труда в таком мире, как не могли и мечтать прошлые поколения. Наконец несомненно близок уже момент создания свободно управляемых воздухоплавательных аппаратов. Разрешение этой труднейшей задачи даст человеческим отношениям реальную независимость от географических условий земной

поверхности, от ее строения и ее очертаний.

*Действительная власть общества над природою, беспредельно развивающаяся на основе научно-организованной техники*, — такова первая характеристика послекапиталистического строя.

## 2. Общественные отношения производства

Как мы видели, машинная техника в период капитализма изменяет формы сотрудничества в двух отношениях. С одной стороны, техническое разделение труда теряет характер «специализации», суживающей и ограничивающей психику работника, становится сходным с «простой кооперацией», в которой работники выполняют однородную работу; при этом техническая «специализация» переносится с человека на машину. С другой стороны, сами рамки этого сотрудничества расширяются в громадных размерах: возникают предприятия, объединяющие в одной организованной системе тысячи и десятки тысяч работников.

Обе эти тенденции для нового строя надо представить себе продолженными несравненно дальше, чем в эпоху машинного капитализма. Различия профессиональной специализации должны свестись к такой ничтожной величине, что исчезает окончательно то психическое разъединение, которое создается разнородностью трудовой жизни людей; связь взаимного их понимания и общения беспрепятственно расширяется и упрочивается на основе действительной общности жизненного содержания.

В то же время организованное трудовое объединение непрерывно растет, группируя людей уже сотнями тысяч и миллионами на одной общей трудовой задаче.

Из продолжающегося развития этих двух прежних тенденций возникают две уже новые особенности послекапиталистического строя. С одной стороны, преодолевается и теряет значение последняя наиболее устойчивая форма специализации — разделение организатора и исполнителя. С другой стороны, все трудовые группировки людей становятся все более подвижными, все более текучими.

Хотя в эпоху машинного капитализма исполнительский труд при машинах уже приближается по своему характеру к организаторскому труду, но все же различий между ними остается достаточно, а потому и обособление ролей организаторской и исполнительской не перестает быть прочным: самый опытный работник машинного производства все же далеко не то, что его директор, и не может заменить этого последнего. Но дальнейшее повышение сложности и тонкости механизмов, а вместе с тем и общей интеллигентности работника должно подорвать это различие и создать постоянную возможность легкой замены любого организатора одним из исполнителей обратно. Исчезает трудовое неравенство этих двух типов, и они сливаются между собою.

Вместе с последними остатками психической «специализации» устраняется всякая необходимость и всякая разумность прикрепления определенных лиц к определенной частной работе. Совершенно напротив, новые формы труда требуют такой умственной гибкости и такой разносторонности опыта, для развития и поддержания которых работник прямо-таки должен время от времени менять работу, переходя от одних машин к другим, от роли «организаторской» к «исполнительской» и обратно. А несравненно более быстрый, чем в нашу эпоху, прогресс техники, с постоянным усовершенствованием машин и их комбинаций, должен сделать в высокой степени подвижными, быстро изменяющимися сами группировки человеческих сил в отдельные трудовые системы («предприятия», как их называют в наше время).

Все это становится возможным и осуществимым благодаря тому, что производство в целом *организовано обществом сознательно и планомерно*. На основе научного опыта и трудовой солидарности создается всеобщая, объединяющая организация труда; устраняется та анархия, которая в эпоху капитализма разъединяет отдельные предприятия — беспощадной конкуренцией, и целые общественные классы — суровою борьбой. Наука

указывает путь к такой организации, вырабатывает способы ее выполнения; объединенная сила сознательных работников ее осуществляет.

В этой новой системе производства каждый работник действительно равен другому работнику как сознательные элементы единого разумного целого; в этой системе каждому даются все условия, чтобы с наибольшей полнотой и всесторонностью развить свою трудовую силу и с наибольшей целесообразностью применять ее в пользу всех.

Итак, *стройная организованность всей производственной системы, при величайшей подвижности ее элементов и их группировок и при высокой психической однородности трудящихся как всесторонне развитых сознательных работников*, — вот вторая характеристика послекапиталистического общества.

### 3. Распределение

Распределение представляет вообще необходимую часть производственной системы, и в своей организации всецело от нее зависит. Планомерная организация производства предполагает такую же организацию распределения. Верховным организатором и здесь и там является само общество, как целое: оно распределяет труд, оно соответственно этому распределяет и продукты труда. Это прямая противоположность тому анархическому, неорганизованному распределению, которое выражается в обмене и частной собственности, которое протекает на почве конкуренции и грубой борьбы интересов.

Принцип распределения прямо вытекает из основ организации сотрудничества. Если система производства организована так, что должна обеспечить каждому члену общества полное и всестороннее развитие сил и целесообразное их применение на пользу всех, то система распределения должна давать ему все средства потребления, какие ему необходимы и для этого развития сил, и для их применения. Приблизительно эта мысль, только неполно и неточно, выражается в обычной так называемой коммунистической формуле распределения труда и продукта: от каждого по его силам, каждому по его потребностям.

Общественная организация производства и распределения предполагает, конечно, и общественную собственность на средства производства, и точно так же на предметы потребления, созданные общественным трудом, — вплоть до момента передачи их обществом отдельным лицам для потребления. Там, в области потребления, которое по существу индивидуально, начинается «индивидуальная собственность». Она, конечно, не имеет ничего общего с капиталистической частной собственностью, которая прежде всего есть собственность частных лиц на средства производства, и не включает в себе права работников на необходимые средства потребления.

Сложность новой организации распределения, очевидно, должна быть громадна и требует такого развития статистического и осведомляющего аппарата, до какого нашей эпохе еще очень далеко. Однако уже в наше время складываются, в самых различных областях экономической жизни, различные элементы, которые должны послужить материалом для подобного аппарата: в сфере банкового и кредитного дела — агентуры и комитеты экспертов для выяснения положения рынков, организация биржевая и т. под.; в сфере рабочего движения — организация союзных касс взаимопомощи, потребительных обществ; далее, сюда же относится организация государственного страхования и т. д. Но все эти элементы должны существенно преобразиться, чтобы войти в будущую систему распределения, потому что теперь они всецело приспособлены к анархической системе капитализма и подчинены ее формам. Это скорее разбросанные зародышевые *прообразы* будущей единой и стройной системы распределения.

Итак, *общественно организованное распределение на основе общественной собственности на все средства производства* — такова третья характеристика после капиталистического строя.

### 4. Общественная психология

Основным строением новой общественной организации определяется первая черта общественной психологии, выступающей в ее рамках: высшая степень *социальности*. Трудовая сплоченность великой семьи человечества и коренная однородность развития людей должны создать такую степень взаимного сочувствия и взаимного понимания людей, на которую слабым указанием является только современная солидарность сознательных и борющихся элементов рабочего класса — представителя будущего общества в настоящем. Человек, воспитанный эпохой ожесточенной конкуренции, беспощадной экономической вражды людей, групп и классов, не в силах даже представить себе того высшего развития товарищеской связи людей, которое органически вытекает из новых трудовых отношений.

Из реальной власти общества над природой внешней и над своей собственной природою вытекает другая черта психологии нового мира — это *отсутствие всякого фетишизма*, чистота и ясность познания, освобожденного от идолов мистики и признаков метафизики. Исчезают последние следы фетишизма натурального, отражающего окончательно низвергнутое господство над человеком внешней природы; разрушается и искореняется до конца фетишизм социальный, отражающий господство над человеком стихийных сил общественной природы, власть рынка и конкуренции. Сознательно и планомерно организуя свою борьбу со стихиями природы и свои собственные отношения в этой борьбе, общественный человек не нуждается в кумирах, воплощающих чувство беспомощности перед непреодолимыми силами окружающего мира; непознанное для него перестает быть непознаваемым, потому что процесс познания, организованный планомерно на почве организованного труда, сопровождается сознанием силы, чувством победы, потому что в жизненном опыте человека нет больше области, окруженной несокрушимой стеною тайны.

Как результат соединения обеих указанных черт общественной психологии выступает третья черта — *прогрессивное устранение принудительных норм* и вообще элементов принуждения в общественной жизни.

Жизненное значение всяких принудительных норм — обычая, права, нравственности — заключается в том, что они регулируют жизненные противоречия между людьми, группами, классами. Противоречия же эти сводятся к борьбе, конкуренции, вражде, насилию и вытекают из неорганизованности, анархичности общественного целого. Принудительные нормы, которые, частью стихийно, частью сознательно, вырабатывает общество в борьбе с этой неорганизованностью и этими противоречиями, становятся для людей *внешней силой*, которой они подчиняются; и в качестве такой внешней силы, стоящей над человеком, нормы эти становятся фетишами, т. е. извращенно представляются людям как что-то высшее, требующее поклонения или почитания. Без этого фетишизма принудительные нормы не имели бы той власти над людьми, какая необходима, чтобы сдерживать жизненные противоречия. Натуральный фетишист приписывает власти, праву, нравственности происхождение из самой «сущности вещей». То и другое означает — высшее происхождение, абсолютное значение. Веруя в такой высший и абсолютный характер норм, фетишист с преданностью раба подчиняется им и поддерживает их.

Когда общество перестает быть анархичным и складывается в гармоничные формы стройной организации, тогда жизненные противоречия в его среде перестают быть основным и постоянным явлением, но только — частным и случайным. Принудительные нормы суть своего рода «законы» в том смысле, что они должны регулировать явления повторяющиеся, вытекающие из самого строения общества; очевидно, при новом строе они утрачивают свой смысл. Случайные же и частные противоречия, при высоком развитии *социального чувства* и при таком же высоком развитии *познания*, легко преодолеваются людьми и без специальных «законов», принудительно проводимых «властью». Например, если душевнобольной причиняет опасность и вред другим людям, то не требуется особых «законов» и органов «власти», чтобы устранить такое противоречие, но достаточно указаний науки, чтобы целесообразно лечить человека, и социального чувства окружающих людей,

чтобы, препятствуя проявлениям насилия с его стороны, причинять ему также как можно меньше насилия.

Смысл принудительных норм в обществе высшего типа теряется тем более, что с исчезновением социального фетишизма, с ними связанного, они теряют и свою «высшую» силу.

Ошибочно думают те, кто полагают, что в новом обществе должно сохраниться «государственное устройство», т. е. правовая организация, потому что необходимы некоторые принудительные законы, например закон о том, чтобы каждый по столько-то часов в день работал для общества. Всякое государственное устройство есть *организация классового господства*, и оно невозможно там, где нет классов. Что касается распределения труда в обществе, то оно при новом строе гарантируется, с одной стороны, указаниями науки и ее выразителей, технических организаторов труда, действующих только именем науки, но не именем власти, с другой стороны, — силою социального чувства, связывающего людей в одну трудовую семью искренним стремлением сделать все для блага всех.

Только в переходном периоде, когда еще сохраняются остатки классовых противоречий прошлого, мыслима государственная форма и для нового общества — «государство будущего». Но и это государство есть также организация классового господства, только — господства пролетариата, класса, уничтожающего разделение общества на классы, а с этим разделением устраняющего затем и государственную форму общества.

## 5. Силы развития

Новое общество основано не на меновом, а на *натуральном* хозяйстве. Между производством и потреблением продуктов не стоит рынок, покупка и продажа, — но только сознательно и планомерно организованное распределение.

Новое натуральное хозяйство отличается от старого, — например, первобытно-коммунистического, — тем, что оно охватывает собою не большую или маленькую общину, но — целое общество из сотен миллионов людей, а затем — все человечество.

В обществах с меновым хозяйством силы развития — «относительное перенаселение», конкуренция, классовая борьба, — т. е. в сущности *внутренние противоречия* общественной жизни. В обществах натурально-хозяйственных, рассмотренных нами выше — родовых, феодальных и т. под., — эти силы сводятся к «абсолютному перенаселению», т. е. к *внешнему противоречию*, к противоречию между обществом и природой, между возникающим из размножения ростом потребности в средствах жизни и суммой этих средств, которую при данных способах труда доставляет природа.

В новом натурально-хозяйственном обществе силы развития лежат опять во *внешнем противоречии* — общества и природы, *в самом процессе борьбы*, общества с природою. Здесь не требуется медленной действующей силы чрезмерного размножения, чтобы человек совершенствовал далее свой труд и свое познание: потребности человечества растут в самом процессе труда и опыта, каждая новая победа над природою и ее тайнами ставит новые задачи и загадки в высокоорганизованной, гармоничной, чуткой ко всякому пробелу и противоречию психике нового человека. Власть над природою означает постоянное накопление энергии общества, усвояемой им из внешней природы. Накопляемая энергия ищет выхода и находит его в *творчестве, в создании* новых форм труда и познания.

Правда, не всегда накопление энергии ведет к творчеству — оно может вести и к вырождению. Паразитические классы современного и прежних обществ, накапливая энергию за счет труда других людей, ищут ей исхода не в творчестве, а в разврате, извращениях, в утонченностях потребления; и это ведет к ослаблению психики, к упадку класса. — Но таковы только *паразиты*; они живут не в сфере общественно полезного труда, а почти исключительно в сфере *потребления*; естественно, что в этой сфере они и ищут новых форм жизни — и находят их в утонченностях и извращениях. — Таких паразитов новое общество

не знает; в нем все — трудящиеся, и в сфере труда они удовлетворяют жажду творчества, вытекающую из избытка энергии. Они совершенствуют технику и познание, — а стало быть, и собственную природу.

Новые силы развития, рождающиеся из трудового опыта людей, действуют тем сильнее и быстрее, чем шире, сложнее, разностороннее этот опыт. Поэтому в новом обществе, с его колоссальной широтой и сложностью системы труда, с его громадной связностью, сближающей и объединяющей опыт самых различных (при одинаковом *уровне* развития) человеческих личностей, эти силы развития должны создать такой стремительный прогресс, о котором мы не можем даже составить себе точного понятия. Гармонический прогресс будущего общества неизмеримо интенсивнее, чем полустихийный, колеблющийся среди противоречий прогресс нашей эпохи.

Все *экономические препятствия* к развитию устранены в новой общественной системе. Так, распространение машин, которое в капиталистическом обществе находит границу в *прибыльности* машин, там зависит всецело от их *производительности*. А мы уже видели, что машина, очень полезная для сбережения труда, часто является весьма невыгодной с точки зрения капиталистической прибыли (см. главу о распространении машин).

Итак, высшая мыслимая для нас ступень *власти над природою, организованности, социальности, свободы, прогрессивности* — такова общая характеристика нового, *социалистического* строя.

## Социализм в настоящем<sup>137</sup>

Социалистическое общество — это такое, в котором все производство организовано на сознательно-товарищеских началах. Отсюда уже вытекают все другие черты социализма: и общественная собственность на средства труда, и уничтожение классов, и такое распределение продуктов, при котором каждый мог бы в полной мере развивать свою производительную энергию, следуя своему трудовому призванию. Но эти условия могут осуществиться лишь тогда, когда налицо будет их основа, товарищеская организация производства в целом; значит, лишь тогда, когда рабочий класс одержит окончательную победу и получит возможность по-своему организовать все общество. А до тех пор не может быть ни постепенного уничтожения классов, ни постепенного перехода к общественной собственности на средства производства, ни планомерного распределения общественного продукта: пока *трудовые* отношения общества в целом не станут социалистическими, невозможен никакой социализм в *имущественных* отношениях людей.

Оппортунисты ошибаются, когда видят начало социалистического хозяйства в профессиональных союзах, кооперативах, в предприятиях демократического государства и демократических муниципалитетов. Повышение заработной платы, вырванное профессиональным союзом у капиталистов, не имеет ничего общего с социалистическим распределением хотя бы потому, что не может обеспечить рабочему самой возможности заработка. Собственность кооперативов остается капиталистической хотя бы потому, что подлежит покупке-продаже, принимает форму денег, хранится в банках, зависит от рыночной конъюнктуры, от колебания цен и т. п. Предприятия самого демократического государства и даже таких муниципалитетов, в которых социалистам принадлежит большинство, не перестают быть капиталистическими, ибо организуются посредством найма рабочих, подчинены условиям рабочего рынка, рынка орудий и материалов труда, кредитно-денежного рынка и т. д. Пока сохраняется власть денег и капитал — хозяин мирового производства, до тех пор нет места социалистическому *хозяйству*.

<sup>137</sup> Статья из сборника «Вперед» (Женева, февраль 1911 г., № 2). Выкинуто начало — популярное введение.



И все же социализм — не только будущее, но и настоящее, не только идея, но и действительность. Он растет и развивается, он вокруг нас; но только не там, где ищут его товарищи-оппортунисты<sup>138</sup>; он лежит глубже: это — товарищеская связь рабочего класса, это — его сознательная организованность в труде и социальной борьбе. Не в имущественном хозяйстве рабочих организаций, профессиональных, партийных и иных, надо теперь искать социализма, а в их живом классовом сотрудничестве. Оно — не прообраз социализма, а его истинное начало; ибо в товарищеской трудовой связи и состоит его сущность. Чем больше оно растет и развивается, тем для него теснее рамки старого общества, тем его противоречие с ними острее; не так далеко уже время, когда они станут разрываться под могучим давлением этой новой силы, которой нужны новые формы; ряд грозных революций начнется, по всему судя, еще на наших глазах. Эта эпоха последней борьбы будет, вероятно, самой тяжелой, революционные кризисы — самыми жестокими. Но ветхая оболочка будет, наконец, сброшена; тогда социализм перестанет быть только классовым сотрудничеством пролетариата и охватит производство в его целом; тогда он осуществит новую организацию собственности и распределения, новое общественное хозяйство.

Тогда социализм станет *всем*, а теперь он уже — могучая тенденция, пробивающая себе дорогу в жизни, действительная общественная сила среди других и против других общественных сил, особый способ организации людей среди других и против других способов. Очевидно, что и нынешний сознательный борец за социализм — вовсе не филантропический герой, жертвующий собой для будущих поколений, а работник, участвующий в деле устройства современной жизни. Совершенно естественно и понятно, что великий и сильный общественный класс желает жить по-своему, а не так, как ему навязывает старое общество, — что он развивает *свои* формы человеческих отношений и выражает их в *своем* социальном идеале. Идеал этот возникает в пролетарской душе не из чистой мечты о братстве и не из голого протеста против жестокого общественного порядка, — нет, он есть отражение действительно развивающихся в рабочем классе трудовых отношений, стоящих в глубоком противоречии к нынешнему строю. Сознательно-товарищеская организация рабочего класса в настоящем и социалистическая организация всего общества в будущем — это разные моменты одного и того же процесса, разные ступени одного и того же явления.

Если так, то борьба за социализм отнюдь не сводится к одной войне против капитализма, к простому собиранию сил для нее. Борьба эта есть в то же время положительная, творческая работа — созидание новых и новых элементов социализма в самом пролетариате, в его внутренних отношениях, в его обыденных жизненных условиях: *выработка социалистической пролетарской культуры*.

Самые различные области жизни являются полем такой работы. Недостаточно объединять пролетариев в организации, недостаточно даже ставить перед ними лозунги экономической и политической борьбы, как недостаточно вербовать солдат в армию и намечать для нее план кампании. Главная сила армии в том, что называют ее «духом», т. е. в ее внутренней связи и сплоченности, в единении чувства и мысли, которое проникает ее и превращает в живой, целостный организм. То же относится к рабочему классу; но его задачи неизмеримо шире и сложнее, чем задачи обыкновенной армии, — и, значит, глубже и теснее должна быть его внутренняя связь, его духовное единение.

Социалисты должны стремиться к развитию истинно товарищеских отношений во всей житейской практике пролетариата. Даже в организациях приходится наблюдать массу пережитков иных, ничего общего с социализмом не имеющих отношений; борьбу честолюбий, авторитарные притязания иных «руководителей», несознательное подчинение

---

<sup>138</sup> (Примеч. 1924 г.) Это выражение объясняется тем, что тогда существовала единственная социал-демократическая рабочая партия. В начале 1910 г. было проведено даже слияние фракций большевиков и меньшевиков: обе фракции были формально распущены. Конечно, это продолжалось недолго.

некоторых последователей; отвращение анархично настроенных личностей к товарищеской дисциплине, внесение личных интересов и мотивов в коллективное дело и т. п. Все это — вещи вначале неизбежные; пролетариат не родился на свет белый сразу в виде сложившегося класса, он произошел из разорившегося мещанства и крестьянства, из мелких собственников, привыкших жить частными, индивидуальными интересами и подчиняться властным авторитетам; понятно, что он не может легко и скоро утратить непригодные для него душевные свойства этих классов. А кроме того, рабочие организации притягивают к себе некоторые непролетарские элементы из революционной интеллигенции, а также и продолжающей разоряться мелкой буржуазии, — элементы, которым, конечно, еще труднее усвоить дух и смысл товарищеского сотрудничества. Надо настойчиво, неуклонно бороться с проявлениями индивидуализма, идейного рабства, идейного барства, выясняя их противоречие с пролетарским социализмом, их полную с ним несовместимость.

Особенно крепко и долго держатся старые привычки в семейной жизни. Властное отношение мужа к жене, требование не рассуждающей покорности родителям от детей — это основы прежнего строя семьи. Капитализм их подрывает, вынуждая женщин, подростков и даже детей наниматься на фабрики и путем самостоятельного заработка получать некоторую экономическую независимость. Но если и при этом сохраняются старые отношения между членами семьи, то ее глава становится часто эксплуататором своей жены и детей. Вообще же рабство женщин замедляет возрастание силы рабочего класса, суживая товарищеские ряды, делая женщину задержкой и обузой для рабочего в его революционных стремлениях; а рабство детей вредит социалистическому воспитанию будущих борцов. Поэтому социалисты должны энергично бороться, словом и примером, против всяких остатков семейного рабства, не считая их делом частным или маловажным. Слишком часто бывает так, что рабочий, ведущий пропаганду на заводе, пренебрегает ею в своей семье и с пренебрежением махает рукой на отсталость своей жены. Нередки еще и сейчас даже настоящие пережитки варварства в рабочей семье. Но она должна уже теперь проникаться духом социализма, — уже теперь должна быть преобразована силою трудовых товарищеских отношений.

Социализм требует также новой науки и новой философии. Мы знаем, дело науки и философии состоит в том, чтобы собирать опыт людей воедино и организовать его в стройный порядок. Но пролетарский опыт иной, чем у старых классов, и прежние познания недостаточно для пролетариата. Марксу и пришлось положить начало новой общественной науке и новой исторической философии. Можно думать, что все науки и *вся* философия примут в руки пролетариата новый вид, потому что иные условия жизни порождают иные способы восприятия и понимания природы.

Нынешняя наука и философия отличаются цеховым характером: познание разбито на отдельные специальности, каждая загромождена массой мелочей и тонкостей, для изучения каждой нужна чуть не целая человеческая жизнь, и сами ученые плохо понимают друг друга, потому что каждый не видит дальше своей специальности. Пролетарию необходима наука в его жизни и борьбе, но не такая, которая доступна людям только кусочками и порождает между ними взаимное непонимание: в сознательно-товарищеских отношениях всего важнее, напротив, полное понимание друг друга. Выработка социалистического знания должна поэтому стремиться к упрощению и к объединению науки, к отысканию тех общих ее способов исследования, которые давали бы ключ к самым различным специальностям и позволяли бы быстро овладевать ими, — как рабочий машинного производства, зная по опыту общие черты и общие приемы его техники, может сравнительно легко переходить от одной специальности к другой. Разумеется, надо будет потратить много труда, чтобы привести разные науки и философию к такому состоянию; но тогда они глубже проникнут в массы и получат гораздо более твердую, более широкую основу для своего развития. Наука, великое орудие труда, таким способом будет обобществлена, как этого требует социализм по отношению ко всем и всяким орудиям труда.

Подобно науке, искусство служит для собирания воедино человеческого опыта; только

оно его организует не в отвлеченных понятиях, а в живых образах. Благодаря такому характеру, искусство как бы демократичнее науки, оно ближе к массам и шире в них распространяется. Пролетариату нужно свое, социалистическое искусство, проникнутое его чувствами, его стремлениями, его идеалами. Уже теперь можно указать на первые шаги к его созданию, — правда, только первые, но зато ведь и самые трудные шаги. Некоторые художники и поэты непролетарского происхождения пришли к социализму и желают служить своим талантом его великому делу. С другой стороны, в самой рабочей среде чаще появляются начинающие писатели, которым хочется силою искусства выразить душу пролетариата. Первым не хватает, большей частью, способности стать всецело на точку зрения пролетариата, видеть жизнь его глазами, чувствовать его сердцем; вторым не хватает художественного воспитания, умения воплотить в ясных образах свой опыт, свои заветные мысли и чувства. Но все это будет, конечно, достигнуто трудом и талантом. Тогда новое искусство стремительно разольется в массах; оно будет пробуждать их к борьбе и учить, и вести вперед, к светлому будущему.

Было бы, разумеется, наивно думать, что еще при нынешнем капиталистическом строе пролетариат успеет в полной мере выработать свою социалистическую культуру. Нет, слишком огромно это дело, чтобы оно могло так скоро завершиться, и слишком велики препятствия на его пути. Уже одна постоянная необходимость борьбы с другими классами наложит на зарождающуюся культуру особый отпечаток, заставит ее отразить противоречия социальной жизни, не даст ей достигнуть той стройности и гармонии, какие станут возможны при господстве социализма в объединенном обществе, свободном от классовой борьбы. Но ведь и тогда не наступит такого времени, когда культура оказалась бы законченной и прогресс ее мог бы остановиться. Не в завершении цель жизни человечества, — а в творчестве и непрерывном движении вперед.

Эта цель близка пролетариату больше, чем какому-либо другому из прежних и нынешних классов. Во всех областях жизни — в обычной работе, в общественной деятельности, в семье, в научном и философском познании, в искусстве, — творя свои новые формы в непримиримой борьбе со старым обществом, пролетариат будет все более жить по-своему, социалистически преобразуя самого себя, чтобы затем социалистически преобразовать все человечество.

*(1910 г.)*

## **Красная звезда**

(роман-утопия)8

### **Часть I**

#### **I. Разрыв**

Это было тогда, когда только начиналась та великая ломка в нашей стране, которая идет еще до сих пор и, я думаю, близится теперь к своему неизбежному грозному концу.

Ее первые, кровавые дни так глубоко потрясли общественное сознание, что все ожидали скорого и светлого исхода борьбы: казалось, что худшее уже совершилось, что ничего еще худшего не может быть. Никто не представлял себе, до какой степени цепки костлявые руки мертвеца, который давил — и еще продолжает давить — живого в своих судорожных объятиях.

Боевое возбуждение стремительно развивалось в массах. Души людей беззаветно раскрывались навстречу будущему, настоящее расплывалось в розовом тумане, прошлое уходило куда-то в даль, исчезая из глаз. Все человеческие отношения стали неустойчивы и

непрочны, как никогда раньше.

В эти дни произошло то, что перевернуло мою жизнь и вырвало меня из потока народной борьбы.

Я был, несмотря на свои двадцать семь лет, одним из «старых» работников партии. За мною числилось шесть лет работы, с перерывом всего на год тюрьмы. Я раньше, чем многие другие, почувствовал приближение бури и спокойнее, чем они, ее встретил. Работать приходилось гораздо больше прежнего; но я вместе с тем не бросал ни своих научных занятий — меня особенно интересовал вопрос о строении материи, — ни литературных: я писал в детских журналах, и это давало мне средства к жизни. В то же время я любил... или мне казалось, что любил.

Ее партийное имя было Анна Николаевна.

Она принадлежала к другому, более умеренному течению нашей партии. Я объяснял это мягкостью ее натуры и общей путаницей политических отношений в нашей стране; несмотря на то, что она была старше меня, я считал ее еще не вполне определившимся человеком. В этом я ошибался.

Очень скоро после того, как мы сошлись с нею, различие наших натур стало сказываться все заметнее и все болезненнее для нас обоих. Постепенно оно приняло форму глубокого идейного разногласия — в понимании нашего отношения к революционной работе и в понимании смысла нашей собственной связи.

Она шла в революцию под знаменем долга и жертвы, я — под знаменем моего свободного желания. К великому движению пролетариата она примыкала, как моралистка, находящая удовлетворение в высшей нравственности, я — как аморалист, который просто любит жизнь, хочет ее высшего расцвета и потому вступает в то ее течение, которое воплощает главный путь истории к этому расцвету. Для Анны Николаевны пролетарская этика была священна сама по себе; я же считал, что это полезное приспособление, необходимое рабочему классу в его борьбе, но преходящее, как сама эта борьба и порождающий ее строй жизни. По мнению Анны Николаевны, в социалистическом обществе можно было предвидеть только преобразование классовой морали пролетариата в общечеловеческую; я же находил, что пролетариат уже теперь идет к уничтожению всякой морали и что социальное чувство, делающее людей товарищами в труде и радости и страдании, разовьется вполне свободно только тогда, когда сбросит фетишистскую оболочку нравственности. Из этих разногласий рождались нередко противоречия в оценке политических и социальных фактов, противоречия, которые примирить было, очевидно, нельзя.

Еще острее мы разошлись во взглядах на наши собственные отношения. Она считала, что любовь обязывает к уступкам, к жертвам и, главное, к верности, пока брак продолжается. Я на деле вовсе не собирался вступать в новые связи, но не мог и признать обязательства верности, именно как обязательства. Я даже полагал, что многобрачие принципиально выше единобрачия, так как оно способно дать людям и большее богатство личной жизни и большее разнообразие сочетаний в сфере наследственности. На мой взгляд, только противоречия буржуазного строя делают в наше время многобрачие частью просто неосуществимым, частью привилегией эксплуататоров и паразитов, все грязящих своей разлагающейся психологией; будущее и здесь должно принести глубокое преобразование. Анну Николаевну такие воззрения жестоко возмущали: она видела в них попытку облечь в идейную форму грубо чувственное отношение к жизни.

И все же я не предвидел и не предполагал неизбежности разрыва, — когда в нашу жизнь проникло постороннее влияние, которое ускорило развязку.

Около этого времени в столицу приехал молодой человек, носивший необычное у нас конспиративное имя Мэнни. Он привез с юга некоторые сообщения и поручения, по которым можно было видеть, что он пользуется полным доверием товарищей. Выполняв свое дело, он еще на некоторое время решил остаться в столице и стал нередко заходить к нам, обнаруживая явную склонность ближе сойтись со мною.

Это был человек оригинальный во многом, начиная с наружности. Его глаза были настолько замаскированы очень темными очками, что я не знал даже их цвета; его голова была несколько непропорционально велика; черты его лица, красивые, но удивительно неподвижные и безжизненные, совершенно не гармонировали с его мягким и выразительным голосом, так же как и с его стройной, юношески-гибкой фигурой. Его речь была свободной и плавной и всегда полна содержания. Его научное образование было очень односторонне, по специальности он был, по-видимому, инженер.

В беседе Мэнни имел склонность постоянно сводить частные и практические вопросы к идейным основаниям. Когда он бывал у нас, выходило всегда как-то так, что противоречия натур и взглядов у меня с женой очень скоро выступали на первый план настолько отчетливо и ярко, что мы начинали мучительно чувствовать их безысходность. Мироззрение Мэнни было, по-видимому, сходно с моим; он всегда высказывался очень мягко и осторожно по форме, но столь же резко и глубоко по существу. Наши политические разногласия с Анной Николаевной он так искусно связывал с основным различием наших мироззрений, что эти разногласия казались психологически неизбежными, почти логическими выводами из них, и исчезала всякая надежда повлиять друг на друга, сгладить противоречия и прийти к чему-нибудь общему. Анна Николаевна питала к Мэнни нечто вроде ненависти, соединенной с живым интересом. Мне он внушал большое уважение и смутное недоверие: я чувствовал, что он идет к какой-то цели, но не мог понять, к какой.

В один из январских дней — это было уже в конце января — предстояло обсуждение в руководящих группах обоих течений партии проекта массовой демонстрации, с вероятным исходом в вооруженное столкновение. Накануне вечером пришел к нам Мэнни и поднял вопрос об участии в этой демонстрации, если она будет решена, самих партийных руководителей. Завязался спор, который быстро принял жгучий характер.

Анна Николаевна заявила, что всякий, кто подает голос за демонстрацию, нравственно обязан идти в первых рядах. Я находил, что это вообще не обязательно, а идти следует тому, кто там необходим или кто может быть серьезно полезен, причем имел в виду именно себя как человека с некоторым опытом в подобных делах. Мэнни пошел дальше и утверждал, что ввиду очевидно неизбежного столкновения с войсками на поле действительно должны находиться уличные агитаторы и боевые организаторы, политическим же руководителям там совсем не место, а люди физически слабые и нервные могут быть даже очень вредны. Анна Николаевна была прямо оскорблена этими рассуждениями, которые ей казались направленными специально против нее. Она оборвала разговор и ушла в свою комнату. Скоро ушел и Мэнни.

На другой день мне пришлось встать рано утром и уйти, не повидавшись с Анной Николаевной, а вернуться уже вечером. Демонстрация была отклонена и в нашем комитете, и, как я узнал, в руководящем коллективе другого течения. Я был этим доволен, потому что знал, насколько недостаточна подготовка для вооруженного конфликта, и считал такое выступление бесплодной растратой сил. Мне казалось, что это решение несколько ослабит остроту раздражения Анны Николаевны из-за вчерашнего разговора. На столе у себя я нашел записку от Анны Николаевны.

«Я уезжаю. Чем больше я понимаю себя и вас, тем более для меня становится ясно, что мы идем разными путями и что мы оба ошиблись. Лучше нам больше не встречаться. Простите».

Я долго бродил по улицам, утомленный, с чувством пустоты в голове и холода в сердце. Когда я вернулся домой, то застал там неожиданного гостя: у моего стола сидел Мэнни и писал записку.

## II. Приглашение

— Мне надо переговорить с вами по одному очень серьезному и несколько странному делу, — сказал Мэнни.

Мне было все равно; я сел и приготовился слушать.

— Я читал вашу брошюру об электронах и материи, — начал он. — Я сам несколько лет изучал этот вопрос и полагаю, что в вашей брошюре много верных мыслей.

Я молча поклонился. Он продолжал.

— В этой работе у вас есть одно особенно интересное для меня замечание. Вы высказали там предположение, что электрическая теория материи, необходимо представляя силу тяготения в виде какого-то производного от электрических сил притяжения и отталкивания, должна привести к открытию тяготения с другим знаком, т. е. к получению такого типа материи, который отталкивается, а не притягивается землей, солнцем и другими знакомыми нам телами; вы указывали для сравнения на диамагнитное отталкивание тел и на отталкивание параллельных токов разного направления. Все это сказано мимоходом, но я думаю, что сами вы придавали этому больше значения, чем хотели обнаружить.

— Вы правы, — ответил я, — и я думаю, что именно на таком пути человечество решит как задачу вполне свободного воздушного передвижения, так затем и задачу сообщения между планетами. Но верна ли сама по себе эта идея или нет, она совершенно бесплодна до тех пор, пока нет точной теории материи и тяготения. Если другой тип материи и существует, то просто найти его, очевидно, нельзя: силою отталкивания он давно уже устранен из всей Солнечной системы, а еще вернее — он не вошел в ее состав, когда она начинала организовываться в виде туманности. Значит, этот тип материи надо еще теоретически конструировать и затем практически воспроизвести. Теперь же для этого нет данных и можно, в сущности, только предчувствовать свою задачу.

— И тем не менее эта задача уже разрешена, — сказал Мэнни.

Я взглянул на него с изумлением. Лицо его было все так же неподвижно, но в его тоне было что-то такое, что не позволяло считать его за шарлатана.

«Может быть, душевнобольной», — мелькнуло у меня в голове.

— Мне нет надобности обманывать вас, я хорошо знаю, что говорю, — отвечал он на мою мысль. — Выслушайте меня терпеливо, а затем, если надо, я представлю доказательства. — И он рассказал следующее:

— Великое открытие, о котором идет речь, не было совершено силами отдельной личности. Оно принадлежит целому научному обществу, существующему довольно давно и долго работавшему в этом направлении. Общество это было до сих пор тайным, и я не уполномочен знакомить вас ближе с его происхождением и историей, пока нам не удастся столкнуться в главном. Общество наше значительно опередило академический мир во многих важных вопросах науки. Радирующие элементы и их распадение были известны нам гораздо раньше Кюри<sup>9</sup> и Рамзая<sup>10</sup>, и нашим товарищам удалось гораздо дальше и глубже провести анализ строения материи. На этом пути была предусмотрена возможность существования элементов, отталкиваемых земными телами, а затем выполнен и синтез этой «минус-материи», как мы ее кратко обозначаем.

После этого было уже не трудно разработать и осуществить технические применения этого открытия — сначала летательные аппараты для передвижения в земной атмосфере, а потом и для сообщения с другими планетами.

Несмотря на спокойно-убедительный тон Мэнни, его рассказ казался мне слишком странным и неправдоподобным.

— И вы сумели все это выполнить и сохранить в тайне? — заметил я, прерывая его речь.

— Да, потому что мы считали это в высшей степени важным. Мы находили, что было бы очень опасно опубликовать наши научные открытия, пока в большинстве стран остаются реакционные правительства. И вы, русский революционер, более чем кто-либо, должны с нами согласиться. Посмотрите, как ваше азиатское государство пользуется европейскими способами сообщения и средствами истребления, чтобы подавлять и искоренять все, что есть у вас живого и прогрессивного. Многим ли лучше правительство той полуфеодальной, полуконституционной страны, трон которой занимает воинственно-болтливый глупец,

управляемый знатными мошенниками? И чего стоят даже две мещанские республики Европы? А между тем ясно, что если бы наши летательные машины стали известны, то правительства прежде всего позаботились бы захватить их в свою монополию и использовать для усиления власти и могущества высших классов. Этого мы решительно не желаем и потому оставляем монополию за собой, выжидая более подходящих условий.

— И вам в самом деле уже удалось достичь других планет? — спросил я.

— Да, двух ближайших, теллурических планет 11, Венеры и Марса, не считая, конечно, мертвой Луны. Именно теперь мы заняты их подробным исследованием. У нас есть все необходимые средства, нам нужны люди сильные и надежные. По полномочию моих товарищей, я предлагаю вам вступить в наши ряды, — разумеется со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами.

Он остановился, ожидая ответа. Я не знал, что думать. — Доказательства! — сказал я, — вы обещали представить доказательства.

Мэнни вынул из кармана стеклянный флакон с какой-то металлической жидкостью, которую я принял за ртуть. Но странным образом эта жидкость, наполнявшая не более трети флакона, находилась не на дне его, а в верхней части, около горлышка, и в горлышке до самой пробки. Мэнни перевернул флакон, и жидкость перелилась ко дну, т. е. прямо вверх. Мэнни выпустил склянку из рук, и она повисла в воздухе. Это было невероятно, но несомненно и очевидно.

— Флакон этот из обыкновенного стекла, — пояснил Мэнни, — а налита в него жидкость, которая отталкивается телами Солнечной системы. Жидкости налито ровно столько, чтобы уравновесить тяжесть флакона; таким образом, то и другое вместе не имеет веса. По этому способу мы устраиваем и все летательные аппараты: они делаются из обыкновенных материалов, но заключают в себе резервуар, наполненный достаточным количеством «материи отрицательного типа». Затем остается дать всей этой невесомой системе надлежащую скорость движения. Для земных летательных машин применяются простые электрические двигатели с воздушным винтом; для межпланетного передвижения этот способ, конечно, негоден, и тут мы пользуемся совершенно иным методом, с которым впоследствии я могу познакомить вас ближе.

Сомневаться больше не приходилось.

— Какие же ограничения налагает ваше общество на вступающих в него, кроме, разумеется, обязательной тайны?

— Да вообще-то почти никаких. Ни личная жизнь, ни общественная деятельность товарищей ничем не стеснены, лишь бы не вредили деятельности общества в целом. Но каждый должен при самом своем выступлении исполнить какое-либо важное и ответственное поручение общества. Этим способом, с одной стороны, укрепляется связь с обществом, с другой — выясняется на деле уровень его способностей и энергии.

— Значит, и мне будет теперь же предложено такое поручение?

— Да.

— Какое именно?

— Вы должны принять участие в отправляющейся завтра экспедиции на планету Марс.

— Насколько продолжительна будет экспедиция?

— Это неизвестно. Одна дорога туда и обратно требует не менее пяти месяцев. Можно и совсем не вернуться.

— Это-то я понимаю, но не в том дело. Но как мне быть с моей революционной работой? Вы сами, по-видимому, социал-демократ и поймете мое затруднение.

— Выбирайте. Мы считаем перерыв в работе необходимым для завершения вашей подготовки. Поручение не может быть отложено. Отказ от него есть отказ от всего.

Я задумался. С выступлением на сцену широких масс устранение того или иного работника — факт совершенно ничтожный по своему значению для дела в его целом. К тому же это устранение временное, и, вернувшись к работе, я буду гораздо более полезен ей со своими новыми связями, знаниями и средствами. Я решил.

— Когда же я должен отправляться?

— Сейчас, со мною.

— Вы дадите мне два часа, чтобы известить товарищей? Меня надо завтра же заменить в районе.

— Это почти сделано. Сегодня приехал Андрей, бежавший с юга. Я предупредил его, что вы можете уехать, и он готов занять ваше место. Дожидаясь вас, я написал ему на случай письмо с подробными указаниями. Мы можем завезти ему это письмо по дороге.

Больше толковать было не о чем. Я быстро уничтожил лишние бумаги, написал записку своей хозяйке и стал одеваться. Мэнни был уже готов.

— Итак, идем. С этой минуты — я ваш пленник.

— Вы — мой товарищ! — отвечал Мэнни.

### III. Ночь

Квартира Мэнни занимала весь пятый этаж большого дома, обособленно возвышающегося среди маленьких домиков одной из окраин столицы. Нас никто не встречал. В комнатах, по которым мы шли, было пусто, и при ярком свете электрических лампочек пустота эта казалась особенно мрачной и неестественной. В третьей комнате Мэнни остановился.

— Вот здесь, — он указал на дверь четвертой комнаты, — находится воздушная лодочка, в которой мы сейчас поедem к большому этеронефу. Но раньше я должен подвергнуться маленькому превращению. В этой маске мне трудно было бы управлять гондолой.

Он расстегнул воротничок и снял с себя вместе с очками ту удивительно сделанную маску, которую я, как и все другие, принимал до этого момента за его лицо. Я был поражен тем, что увидел при этом. Его глаза были чудовищно громадны, какими никогда не бывают человеческие глаза. Их зрачки были расширены даже по сравнению с этой неестественной величиной самих глаз, что делало их выражение почти страшным. Верхняя часть лица и головы была настолько широка, насколько это было неизбежно для помещения таких глаз; напротив, нижняя часть лица, без всяких признаков бороды и усов, была сравнительно мала. Все вместе производило впечатление крайней оригинальности, пожалуй уродства, но не карикатуры.

— Вы видите, какой наружностью наделила меня природа, — сказал Мэнни. — Вы понимаете, что я должен скрывать ее, хотя бы ради того, чтобы не пугать людей, не говоря уже о требованиях конспирации. Но вам уж придется привыкать к моему безобразию, вы по необходимости будете проводить много времени со мною.

Он отворил дверь следующей комнаты и осветил ее. Это была обширная зала. Посредине ее лежала небольшая, довольно широкая лодочка, сделанная из металла и стекла. В ее передней части и борта, и дно были стеклянные, со стальными переплетами; эта прозрачная стенка в два сантиметра толщиной была, очевидно, очень прочна. Над носовыми бортами две плоских хрустальных пластинки, соединенных под острым углом, должны были разрезать воздух и охранять пассажиров от ветра при быстром движении. Машина занимала среднюю часть лодочки, винт с тремя лопастями в полметра ширины находился в кормовой части. Передняя половина лодочки вместе с машиной была прикрыта сверху тонким пластинчатым навесом, прикрепленным к металлической оковке стеклянных бортов и к легким стальным колонкам. [...] Мэнни предложил мне сесть на боковую скамеечку гондолы, погасил электрический свет и раскрыл огромное окно залы. Сам он сел спереди возле машины и выбросил несколько мешков балласта, лежавших на дне лодки. Затем он положил руку на рычаг машины. Лодка заколебалась, медленно поднялась и тихо проскользнула в открытое окно.

— Благодаря минус-материи для наших аэропланов не требуется ломких и неуклюжих крыльев, — заметил Мэнни.



Я сидел, как прикованный, не решаясь пошевелиться. Шум винта становился все слышнее, холодный зимний воздух врвался под навес, приятно освежая мое горевшее лицо, но бессильный проникнуть под мое теплое платье. Над нами сверкали, переливаясь, тысячи звезд, а внизу... Я видел через прозрачное дно гондолы, как уменьшались черные пятна домов и уходили вдаль яркие точки электрических фонарей столицы, и снежные равнины светились далеко под нами тусклым синевато-белым светом. Головокружение, сначала легкое и почти приятное, становилось все сильнее, и я закрыл глаза, чтобы избавиться от него.

Воздух становился все резче, шум винта и свист ветра все выше, — очевидно, быстрота движения возрастала. Скоро среди этих звуков мое ухо стало различать тонкий непрерывный и очень ровный серебристый звон, — это дрожала, разбивая воздух, стеклянная стенка гондолы. Странная музыка заполняла сознание, мысли путались и уходили, оставалось только чувство стихийно-легкого и свободного движения, уносящего куда-то вперед и вперед, в бесконечное пространство.

— Четыре километра в минуту, — сказал Мэнни, и я открыл глаза.

— Какой вы хороший, — произнес я, смутно сознавая эту перемену.

Он улыбнулся и положил мне руку на лоб. Это была маленькая мягкая рука. Я снова закрыл глаза и с нелепой мыслью о том, чтобы поцеловать эту руку, забылся в спокойном, блаженном сне.

#### IV. Объяснение

Когда я проснулся и осветил комнату, часы показывали десять. Окончив свой туалет, я нажал кнопку звонка, и через минуту в комнату вошел Мэнни.

— Мы скоро отправляемся? — спросил я.

— Через час, — ответил Мэнни.

— Вы заходили ко мне сегодня ночью или мне только приснилось?

— Нет, это был не сон, но приходил не я, а наш молодой доктор, Нэтти. Вы плохо и тревожно спали, он должен был усыпить вас посредством голубого света и внушения.

— Он ваш брат?

— Нет, — улыбаясь сказал Мэнни.

— Вы до сих пор не сказали мне, какой вы национальности... Ваши остальные товарищи принадлежат к тому же типу, как и вы?

— Да, — ответил Мэнни.

— Значит, вы меня обманули, — резко заявил я. — Это не научное общество, а нечто другое?

— Да, — спокойно сказал Мэнни. — Все мы жители другой планеты, представители другого человечества. Мы — марсиане.

— Зачем вы меня обманули?

— А вы стали бы меня слушать, если бы я сразу сказал вам всю правду? У меня было слишком мало времени, чтобы убедить вас. Приходится исказить истину ради правдоподобия. Без этой переходной ступени ваше сознание было бы чрезмерно потрясено. В главном же я сказал вам правду, — в том, что касается предстоящего путешествия.

— Значит, я все-таки ваш пленник?

— Нет, вы и теперь свободны. У вас еще час времени, чтобы решить вопрос. Если вы откажетесь за это время, мы отвезем вас обратно, а путешествие отложим, потому что нам одним возвращаться нет смысла.

— Зачем же я вам нужен?

— Чтобы послужить живой связью между нашим и земным человечеством, чтобы ознакомиться с нашим строем жизни и ближе ознакомить марсиан с земным, чтобы быть — пока вы этого пожелаете — представителем своей планеты в нашем мире.

— Это уже вполне правда?

— Да, вполне, если вы окажетесь в силах выполнять эту роль.

— В таком случае надо попытаться. Я остаюсь с вами.

— Это ваше окончательное решение? — спросил Мэнни.

— Да, если и последнее ваше объяснение не представляет какой-нибудь переходной ступени.

— Итак, мы едем, — сказал Мэнни, оставляя без внимания мою колкость. — Сейчас я пойду сделать последние указания машинисту, а потом вернусь к вам, и мы пойдем вместе наблюдать отплытие этеронефа.

Он ушел, а я предался размышлениям. Наше объяснение, в сущности, не было вполне закончено. Оставался еще один вопрос, и довольно серьезный, но я не решился предложить его Мэнни. Сознательно ли он содействовал моему разрыву с Анной Николаевной? Мне казалось, что да. Вероятно, он видел в ней препятствие для своей цели. Может быть, он был прав. Во всяком случае, он мог только ускорить этот разрыв, а не создавать его. Конечно, и это было дерзким вмешательством в мои личные дела. Но теперь я уже был связан с Мэнни и все равно должен был подавлять свою враждебность к нему. Значит, незачем было и трогать прошлое, лучше всего было и не думать об этом вопросе. В общем, новый оборот дела не слишком меня поразил: сон подкрепил мои силы, а удивить меня чем-нибудь, после всего пережитого накануне, было уже довольно трудно. Надо было только выработать план дальнейших действий.

Задача состояла, очевидно, в том, чтобы как можно скорее и полнее ориентироваться в своей новой обстановке. Самое лучшее — начинать с ближайшего и переходить шаг за шагом к более отдаленному. Ближайшим же являлось — этеронеф, его обитатели и начинающееся путешествие. Марс был еще далеко: самое меньшее на два месяца расстояния, как можно было заключить из вчерашних слов Мэнни.

Наружную форму этеронефа я успел заметить еще накануне: это был почти шар со сглаженным сегментом внизу, на манер поставленного колумбова яйца, — форма, рассчитанная, конечно, на то, чтобы получался наибольший объем при наименьшей поверхности, т. е. наименьшей затрате материала и наименьшей площади охлаждения. Что касается материала, то преобладали, по-видимому, алюминий и стекло. Внутреннее устройство мне должен был показать и объяснить Мэнни, он же должен был познакомить меня со всеми остальными «чудовищами», как я мысленно называл своих новых товарищей.

Вернувшись, Мэнни повел меня к остальным марсианам. Все собрались в боковой зале с громадными хрустальными окнами в половину стены. Настоящий солнечный свет был очень приятен после призрачного света электрических лампочек. Марсиан было человек двадцать, и все были, как мне тогда показалось, на одно лицо. Отсутствие бороды, усов, а также морщин на лицах почти сглаживало у них даже разницу возраста. Я невольно следил глазами за Мэнни, чтобы не потерять его среди этой чуждой мне компании. Впрочем, я скоро стал различать между ними моего ночного посетителя, Нэтти, выделявшегося своей молодостью и живостью, а также широкоплечего гиганта Стэрни, поражавшего меня каким-то странно-холодным, почти зловещим выражением лица. Кроме самого Мэнни, один Нэтти говорил со мной по-русски, Стэрни и еще три-четыре человека — по-французски, другие — по-английски и по-немецки, между собою же они говорили на каком-то совершенно новом для меня, очевидно, своем родном, языке. Язык этот был звучен и красив и, как я с удовольствием заметил, не представлял, по-видимому, никаких особенных трудностей в произношении.

## V. Отплытие

Как ни интересны были «чудовища», но главное мое внимание было невольно устремлено к приближающемуся торжественному моменту «отплытия». Я пристально смотрел на снежную поверхность, находившуюся перед нами, и на отвесную гранитную стену, поднимающуюся за нею. Я ожидал, что вотвот почувствую резкий толчок, и все это

быстро замелькает, удаляясь от нас. Но ничего подобного я не дождался.

Бесшумное, медленное, чуть заметное движение стало понемногу отделять нас от снежной площади. В течение нескольких секунд поднятие было едва заметно.

— Ускорение два сантиметра, — сказал Мэнни.

Я понял, что это значило. В первую секунду мы должны были пройти всего один сантиметр, во вторую три, в четвертую семь сантиметров; и скорость должна была все время изменяться, непрерывно возрастая по закону арифметической прогрессии. Через минуту мы должны были достигнуть скорости идущего человека, через 15 минут — курьерского поезда и т. д.

Мы двигались по закону падения тел, но падали вверх и в пятьсот раз медленнее, чем обыкновенные тяжелые тела, падающие близ поверхности земли.

Стеклянная пластинка окна начиналась от самого пола и составляла с ним тупой угол, сообразно направлению шаровой поверхности этеронефа, частью которого она являлась. Благодаря этому мы могли, наклоняясь вперед, видеть и то, что было прямо под нами.

Земля все быстрее уходила из-под нас, и горизонт расширялся. Уменьшились темные пятна скал и деревушек, очертания озер вырисовывались, как на плане. А небо становилось все темнее; и в то самое время, как синяя полоса незамерзшего моря заняла всю западную сторону горизонта, мои глаза уже стали различать наиболее яркие звезды при полуденном солнечном свете.

Очень медленное вращательное движение этеронефа вокруг его вертикальной оси позволило нам видеть все пространство вокруг.

Нам казалось, что горизонт поднимается вместе с нами, и земная площадь под нами представлялась громадным вогнутым блюдечком с рельефными украшениями. Их контуры становились мельче, рельеф все плосче, весь ландшафт все в большей мере принимал характер географической карты, резко вычерченной в середине, расплывчато и неясно к ее краям, где все заволакивалось полупрозрачным синеватым туманом. А небо сделалось совсем черным, и бесчисленные звезды, вплоть до самых мелких, сияли на нем спокойным, немерцающим светом, не боясь яркого солнца, лучи которого стали жгучими до боли.

— Скажите, Мэнни, это ускорение в два сантиметра, с которым мы сейчас движемся, будет продолжаться все время путешествия?

— Да, — отвечал он, — только его направление будет около середины пути изменено на обратное и скорость будет тогда не увеличиваться, а уменьшаться каждую секунду на такую же величину. Таким образом, хотя наибольшая скорость этеронефа будет около 50 километров в секунду, а средняя — около 25 километров, но к моменту прибытия она станет так же мала, как была в самом начале пути, и мы без всякого толчка и сотрясения опустимся на поверхность Марса. Без этих огромных переменных скоростей мы бы не могли достигнуть ни Земли, ни Венеры, потому что даже их ближайшие расстояния — 60 и 100 миллионов километров — при скорости, например, ваших поездов удалось бы проехать только в течение столетий, а не месяцев, как это сделаем мы с вами. Что же касается способа «пушечного выстрела», о котором я читал в ваших фантастических романах<sup>12</sup>, то это, конечно, простая шутка, потому что по законам механики практически одно и то же — находится ли внутри ядра во время выстрела или получить ядро внутрь.

— А каким образом вы достигаете такого равномерного замедления и ускорения?

— Движущая сила этеронефа — это одно из радирующих веществ, которое нам удалось добывать в большом количестве. Мы нашли способ ускорять разложение этих элементов в сотни тысяч раз; это делается в наших двигателях при помощи довольно простых электрохимических приемов. Таким образом освобождается громадное количество энергии. Частицы распадающихся атомов разлетаются, как вам известно, со скоростью, которая в десятки тысяч раз превосходит скорость артиллерийских снарядов. Когда эти частицы могут вылетать из этеронефа только по одному определенному направлению, т. е. по одному каналу с непроницаемыми для них стенками, тогда весь этеронеф движется в противоположную сторону, как это бывает при отдаче ружья или откате орудия. По

известному мне закону живых сил вы легко можете рассчитать, что незначительной части миллиграмма таких частиц в секунду вполне достаточно, чтобы дать нашему этеронефу его равномерно ускоренное движение.

Во время нашего разговора все марсиане исчезли из зала. Мэнни предложил мне идти позавтракать в его каюте. Я пошел с ним. Его каюта примыкала к стенке этеронефа, и в ней было большое хрустальное окно. Мы продолжали беседу. Я знал, что мне предстоят новые, неиспытанные ощущения в виде потери тяжести моего тела, и расспрашивал об этом Мэнни.

— Это еще далеко? — спросил я.

— Около часу пути, на льду одного озера.

Мы находились на высоте нескольких сот метров, и лодка летела горизонтально, не опускаясь и не поднимаясь. Мои глаза привыкали к темноте, и я видел все яснее. Мы вступили в страну озер и гранитных скал. Эти скалы чернели местами, свободные от снега. Между ними кое-где лепились деревушки.

Налево позади нас оставалось вдали снежное поле замерзшего залива, справа — белые равнины громадного озера. На этом безжизненном зимнем ландшафте мне предстояло порвать свои связи со старой землей. И вдруг я почувствовал — не сомнение, нет, настоящую уверенность, что это — разрыв навсегда.

Гондола медленно опустилась между скалами, в небольшой бухте горного озера, перед темным сооружением, возвышавшимся на снегу. Ни окон, ни дверей не было видно. Часть металлической оболочки сооружения медленно сдвинулась в сторону, открывая черное отверстие, в которое и вплыла наша лодка. Затем отверстие снова закрылось, а пространство, где мы находились, осветилось электрическим светом. Это была большая, удлиненная комната без мебели; на полу ее лежала масса мешков с балластом.

Мэнни прикрепил гондолу к специально предназначенным для этого колонкам и отворил одну из боковых дверей. Она вела в длинный полуосвещенный коридор. По сторонам его были расположены, по-видимому, каюты. Мэнни привел меня в одну из них и сказал:

— Вот ваша каюта. Устраивайтесь сами, а я пойду в машинное отделение. Увидимся завтра утром.

Я был рад остаться один. Сквозь все возбуждение, вызванное странными событиями вечера, утомление давало себя знать, я не прикоснулся к приготовленному для меня на столе ужину и, погасив лампочку, лег в постель. Мысли нелепо перемешивались в голове, переходя от предмета к предмету самым неожиданным образом. Я упорно заставлял себя заснуть, но это мне долго не удавалось. Наконец сознание стало неясным; смутные, неустойчивые образы начали толпиться перед глазами, окружающее ушло куда-то далеко, и тяжелые грезы овладели моим мозгом.

Цепь снов закончилась ужасным кошмаром. Я стоял на краю громадной черной пропасти, на дне которой сияли звезды, и Мэнни с непреодолимой силой увлекал меня вниз, говоря, что не стоит бояться силы тяжести и что через несколько сот тысяч лет падения мы достигнем ближайшей звезды. Я застонал в мучительной последней борьбе и проснулся.

Нежный голубой свет наполнял мою комнату. Около меня сидел на постели и наклонялся ко мне... Мэнни. Да, он, но призрачно-странный и как будто другой: мне казалось, что он стал гораздо меньше, и глаза его не так резко выступали на лице, у него было мягкое, доброе выражение, а не холодное и непреклонное, как только что на краю бездны...

— Да, — сказал Мэнни, — хотя солнце продолжает притягивать нас, но здесь это действие ничтожно. Влияние земли тоже станет незаметно завтра-послезавтра. Только благодаря непрерывному ускорению этеронефа у нас будет сохраняться  $1/400$  —  $1/500$  нашего прежнего веса. В первый раз привыкать к этому нелегко, хотя перемена происходит очень постепенно. Приобретая легкость, вы будете утрачивать ловкость, будете делать массу неправильно рассчитанных движений, ведущих мимо цели. Удовольствие летать по воздуху покажется вам весьма сомнительным. Что касается неизбежных при этом сердцебиений,

головокружений и даже тошноты, то избавиться от них вам поможет Нэтти. Трудно будет также справляться с водою и другими жидкостями, которые будут при малейших толчках ускользать из сосудов и разбрасываться повсюду в виде огромных сферических капель. Но у нас все старательно приспособлено для устранения этих неудобств: мебель и посуда прикрепляются к месту, жидкости сохраняются закупоренными, всюду приделаны ручки и ремни для остановки невольных полетов при резких движениях. Вообще же вы привыкнете, времени для этого хватит.

Со времени отъезда прошло около двух часов, а уменьшение веса было уже довольно ощутительно, хотя пока еще очень приятно: тело становилось легче, движения свободнее и ничего больше. Атмосферу мы успели вполне миновать, но это нас не беспокоило, так как в нашем герметически закрытом корабле имелся, конечно, достаточный запас кислорода. Видимая область земной поверхности стала окончательно похожа на географическую карту — правда, с перепутанным масштабом: более крупным в середине, более мелким к горизонту; кое-где ее закрывали еще белые пятна облаков. На юге, за Средиземным морем, север Африки и Аравии был довольно ясно виден сквозь зимнюю дымку; на севере, за Скандинавией, взгляд терялся в снежной и ледяной пустыне, — только скалы Шпицбергена выделялись еще темным пятном. На востоке, за зеленовато-бурой полосой Урала, местами прорезанной снежными пятнами, начиналось опять сплошное царство белого цвета, кое-где только с зеленоватым отливом — слабым напоминанием о громадных хвойных лесах Сибири. На западе за ясными контурами средней Европы терялись в облаках очертания берегов Англии и северной Франции. Я не мог долго смотреть на эту гигантскую картину, так как мысль о страшной глубине бездны, над которой мы находились, быстро вызывала у меня чувство, близкое к обмороку. Я возобновил разговор [...]

— Вы капитан этого корабля, не так ли?

Мэнни утвердительно кивнул головой и заметил:

— Но это не значит, чтобы я обладал тем, что у вас называется властью начальника. Просто я наиболее опытен в деле управления этеронефом, и мои указания принимаются так же, как я принимаю астрономические вычисления, выполняемые Стэрни, или как все мы принимаем медицинские советы Нэтти для поддержания нашего здоровья и рабочей силы.

— А сколько лет этому доктору Нэтти? Он кажется мне уж очень молодым.

— Не помню, 16 или 17, — с улыбкой ответил Мэнни.

Приблизительно так мне и казалось. Но я не мог не удивляться такой ранней учености.

— И в этом возрасте быть уже врачом! — невольно вырвалось у меня.

— И прибавьте: знающим и опытным врачом, — дополнил Мэнни.

В то время я не сообразил, — а Мэнни умышленно не напомнил этого, — что годы марсиан почти вдвое длиннее наших; оборот Марса вокруг Солнца совершается в 686 наших дней, и 16 лет Нэтти равнялись 30 земным годам.

## VI. Этеронеф13

После завтрака Мэнни повел меня осматривать наш «корабль». Прежде всего мы направились в машинное отделение. Оно занимало нижний этаж этеронефа, примыкая прямо к его уплощенному дну, и делилось перегородками на пять комнат, одну центральную и четыре боковых. В середине центральной комнаты возвышалась движущая машина, а вокруг нее со всех четырех сторон были сделаны в полу круглые стеклянные окна, одно из чистого хрустала, три из цветного стекла различной окраски; стекла были в три сантиметра толщиной, удивительно прозрачные. В данную минуту мы могли видеть через них только часть земной поверхности.

Основную часть машины составлял вертикальный металлический цилиндр трех метров вышины и полметра в диаметре, сделанный, как мне объяснил Мэнни, из осмия — очень тугоплавкого, благородного металла, родственного платине. В этом цилиндре происходило разложение радирующей материи: накаливаемые докрасна 20сантиметровой толщины стенки

явно свидетельствовали об энергии этого процесса. И, однако, в комнате не было слишком жарко: весь цилиндр был окружен вдвое более широким футляром из какого-то прозрачного вещества, прекрасно защищающего от жары; а сверху этот футляр соединен был с трубами, по которым нагретый воздух отводился из него во все стороны для равномерного «отопления» этеронефа.

Остальные части машины, связанные разными способами с цилиндром, — электрические катушки, аккумуляторы, указатели с циферблатами и т. п. — были расположены вокруг в красивом порядке, и дежурный машинист благодаря системе зеркал видел все их сразу, не сходя со своего кресла.

Из боковых комнат одна была «астрономическая», справа и слева от нее находились «водяная» и «кислородная», а на противоположной стороне — «вычислительная». В астрономической комнате пол и наружная стенка были сплошь хрустальные, из геометрически отшлифованного стекла идеальной чистоты. Их прозрачность была такова, что когда я, идя вслед за Мэнни по воздушным мостикам, решался взглянуть прямо вниз, то я ничего не видел между собой и бездной, расстилавшейся под нами, — мне приходилось закрыть глаза, чтобы остановить мучительное головокружение. Я старался смотреть по сторонам на инструменты, которые были расположены в промежутках сети мостиков, на сложных штативах, спускавшихся с потолка и внутренних стен комнаты. Главный телескоп был около двух метров длины, но с непропорционально большим объективом и, очевидно, с такой же оптической силой.

— Окуляры мы применяем только алмазные, — сказал Мэнни, — они дают наибольшее поле зрения.

— Насколько значительно обычное увеличение этого телескопа? — спросил я.

— Ясное увеличение около 600 раз, — отвечал Мэнни, — но когда оно недостаточно, мы фотографируем поле зрения и рассматриваем фотографию под микроскопом. Этим путем увеличение фактически доводится до 60 тысяч и более, а замедление с фотографированием не составляет у нас и минуты.

Мэнни предложил мне сейчас же взглянуть в телескоп на покинутую Землю. Он сам направил трубу.

— Расстояние теперь около 2000 километров, — сказал он. — Узнаете ли вы, что перед вами?

Я сразу узнал гавань скандинавской столицы, где нередко проезжал по делам партии. Мне было интересно рассмотреть пароходы на рейде. Мэнни одним поворотом боковой ручки, имевшейся при телескопе, поставил на место окуляра фотографическую камеру, а через несколько секунд снял ее с телескопа и целиком перенес в большой аппарат, стоявший сбоку и оказавшийся микроскопом.

— Мы проявляем и закрепляем изображение тут же, в микроскопе, не прикасаясь к пластинке руками, — пояснил он и после нескольких незначительных операций, через какие-нибудь полминуты предоставил мне окуляр микроскопа. Я с поразительной ясностью увидел знакомый мне пароход Северного общества, как будто он находился в нескольких десятках шагов от меня; изображение в проходящем свете казалось рельефным и имело совершенно натуральную окраску. На мостике стоял седой капитан, с которым я не раз беседовал во время поездки. Матрос, опускавший на палубу большой ящик, как будто застыл в своей позе, так же как и пассажир, указывавший ему что-то рукою. И все это было за 2000 километров.

Молодой марсианин, помощник Стэрни, вошел в комнату. Ему надо было произвести точное измерение пройденного этеронефом расстояния. Мы не хотели мешать ему в работе и прошли дальше, в «водяную» комнату. Там находился огромный резервуар с водой и большие аппараты для ее очищения. Множество труб проводили эту воду из резервуара по всему этеронефу.

Далее шла «вычислительная» комната. Там стояли непонятные для меня машины со множеством циферблатов и стрелок. За самой большой машиной работал Стэрни. Из нее тянулась длинная лента, заключающая, очевидно, результаты вычислений Стэрни, но знаки

на ней, как и на всех циферблатах, были мне незнакомы. Мне не хотелось мешать Стэрни и вообще разговаривать с ним. Мы быстро прошли в последнее боковое отделение.

Это была «кислородная» комната. В ней хранились запасы кислорода в виде 25 тонн бертолетовой соли, из которой можно было выделить, по мере надобности, 10 000 кубических метров кислорода: это количество достаточно для нескольких путешествий, подобных нашему. Тут же находились аппараты для разложения бертолетовой соли. Далее, там же хранились запасы барита и едкого калия для поглощения из воздуха углекислоты, а также запасы серного ангидрида для поглощения лишней влаги и летучего левкомаина — того физиологического яда, который выделяется при дыхании и который несравненно вреднее углекислоты. Этой комнатой заведовал доктор Нэтти.

Затем мы вернулись в центральное машинное отделение и из него в небольшом подъемнике переправились прямо в самый верхний этаж этеронефа. Там центральной комнатой занимала вторая обсерватория, во всем подобная нижней, но только с хрустальной оболочкой вверху, а не внизу и с инструментами более крупных размеров. Из этой обсерватории видна была другая половина небесной сферы вместе с «планетой назначения». Марс сиял своим красноватым светом в стороне от зенита. Мэнни направил туда телескоп, и я отчетливо увидел знакомые мне по картинам Скиапарелли очертания материков, морей и сети каналов. Мэнни фотографировал планету, и под микроскопом выступила детальная карта. Но я не мог ничего понять в ней без объяснений Мэнни: пятна городов, лесов и озер отличались одни от других неуловимыми и непонятными для меня частностями.

— Как велико расстояние? — спросил я.

— Сейчас сравнительно близкое — около 100 миллионов километров.

— А почему Марс не в зените купола? Мы, значит, летим не прямо к нему, а в сторону?

— Да, и мы не можем иначе. Отправляясь с Земли, мы в силу инерции сохраняем, между прочим, скорость ее движения вокруг Солнца — 30 километров в секунду. Скорость же Марса всего 24 километра, и если бы летели по перпендикуляру между обеими орбитами, то мы ударились бы о поверхность Марса с остаточной боковой скоростью 6 километров в секунду. Это очень неудобно, и мы должны выбрать криволинейный путь, на котором уравнивается и лишняя боковая скорость.

— Как же велик в таком случае весь ваш путь?

— Около 100 миллионов километров, что потребует не менее двух с половиной месяцев.

Если бы я не был математиком, эти цифры ничего не говорили бы моему сердцу. Но теперь они вызвали во мне ощущение, близкое к кошмару, и я поспешил уйти из астрономической комнаты.

Шесть боковых отделений верхнего сегмента, окружавших кольцом обсерваторию, были совсем без окон, и их потолок, представлявший часть шаровой поверхности, наклонно опускался к самому полу. У потолка помещались большие резервуары «минус-материи», отталкивание которой должно парализовать вес всего этеронефа.

Средние этажи — третий и второй — были заняты общими залами, лабораториями отдельных членов экспедиции, их каютами, ванными, библиотекой, гимнастической комнатой и т. д.

Комната Нэтти находилась рядом с моею.

## VII. Люди

Потеря тяжести все больше давала себя знать. Возрастающее чувство легкости перестало быть приятным. К нему присоединился элемент неуверенности и какого-то смутного беспокойства. Я ушел в свою комнату и лег на койку.

Часа два спокойного положения и усиленных размышлений привели к тому, что я незаметно заснул. Когда я проснулся, в моей комнате у стола сидел Нэтти. Я невольно резким движением поднялся с постели и, как будто подброшенный чем-то кверху, ударился

головой о потолок.

— Когда весишь менее 20 фунтов, то надо быть осторожнее, — добродушно-философским тоном заметил Нэтти.

Он пришел ко мне со специальной целью дать все необходимые указания на случай той «морской болезни», которая уже начиналась у меня от потери тяжести. В каюте имелся особый сигнальный звонок в его комнату, которым я мог всегда его вызвать, если бы еще потребовалась его помощь.

Я воспользовался случаем разговориться с юным доктором, — меня как-то невольно влекло к этому симпатичному, очень ученому, но и очень веселому мальчику. Я спросил его, почему случилось так, что из всей компании марсиан на этеронефе он один, кроме Мэнни, владеет моим родным языком.

— Это очень просто, — объяснил он. — Когда мы искали человека, то Мэнни выбрал себя и меня для вашей страны, и мы провели в ней больше года, пока нам не удалось покончить это дело с вами.

— Значит, другие «искали человека» в других странах?

— Конечно, среди всех главных народов Земли. Но, как Мэнни и предвидел, найти его всего скорее удалось в вашей стране, где жизнь идет наиболее энергично и ярко, где люди вынуждены всего больше смотреть вперед. Найдя человека, мы известили остальных; они собрались из всех стран; и вот мы едем.

— Что вы собственно подразумеваете, когда говорите: «искали человека», «нашли человека»? Я понимаю, что дело шло о субъекте, пригодном для известной роли, — Мэнни объяснил мне, какой именно. Мне очень лестно видеть, что выбрали меня, но я хотел бы знать, чему я этим обязан.

— В самых общих чертах я могу сказать вам это. Нам нужен был человек, в натуре которого совмещалось бы как можно больше здоровья и гибкости, как можно больше способности к разумному труду, как можно меньше чисто личных привязанностей на Земле, как можно меньше индивидуализма. Наши физиологи и психологи полагали, что переход от условий жизни вашего общества, резко раздробленного вечной внутренней борьбой, к условиям нашего, организованного, как вы сказали, социалистически, — что переход этот очень тяжел и труден для отдельного человека и требует особенно благоприятной организации. Мэнни нашел, что вы подходите больше других.

— И мнения Мэнни было для всех вас достаточно?

— Да, мы вполне доверяем его оценке. Он — человек выдающейся силы и ясности ума и ошибается очень редко. Он имеет больше опыта в сношениях с земными людьми, чем кто-либо из нас; он первый начал эти сношения.

— А кто открыл самый способ сообщения между планетами?

— Это — дело многих, а не одного. «Минус-материя» была добыта уже несколько десятков лет тому назад. Но вначале ее удавалось получать только в ничтожных количествах, и понадобились усилия очень многих фабричных коллегий, чтобы найти и развить способы ее производства в больших размерах. Затем понадобилось усовершенствовать технику добывания и разложения радирующей материи, чтобы иметь подходящий двигатель для этеронефов. Это также требовало массы усилий. Далее, много трудностей вытекало из самых условий междупланетной среды, с ее страшным холодом и жгучими солнечными лучами, не смягченными воздушной оболочкой. Вычисление пути оказалось тоже делом нелегким и подверженным таким погрешностям, которых не предвидели раньше. Словом, прежние экспедиции на Землю оканчивались гибелью всех участников, пока Мэнни не организовал первую успешную экспедицию. А теперь, пользуясь его методами, мы проникли недавно и на Венеру.

— Но если так, то Мэнни — настоящий великий человек, — сказал я.

— Да, если вам нравится так называть человека, который действительно много и хорошо работал.

— Я хотел сказать не это: работать много и хорошо могут и вполне обыкновенные



люди, люди-исполнители. Мэнни же, очевидно, совсем иное: он гений, человек-творец, создающий новое и ведущий вперед человечество.

— Это все неясно и, кажется, неверно. Творец — каждый работник, но в каждом работнике творит человечество и природа. Разве в руках Мэнни не находился весь опыт предыдущих поколений и современных ему исследователей и разве не исходил из этого опыта каждый шаг его работы? И разве не природа предоставила ему все элементы и все зародыши его комбинаций? Человек — личность, но дело его безлично. Рано или поздно, он умирает с его радостями и страданиями, — а оно остается в беспредельно растущей жизни. В этом нет разницы между работниками; неодинакова только величина того, что они переживали, и того, что остается в жизни.

— Но ведь, например, имя такого человека, как Мэнни, не умирает же вместе с ним, а остается в памяти человека, тогда как бесчисленные имена других исчезают бесследно.

— Имя каждого сохраняется до тех пор, пока живы те, кто жил с ним и знает его. Но человечеству не нужен мертвый символ личности, когда ее уже нет. Наша наука и наше искусство безлично хранят то, что сделано общей работой. Балласт имен прошлого бесполезен для памяти человечества.

— Вы, пожалуй, и правы: но чувство нашего мира возмущается против этой логики. Для нас имена вождей мысли и дела — живые символы, без которых не может обойтись ни наша наука, ни наше искусство, ни вся наша общественная жизнь. Часто в борьбе сил и в борьбе идей имя на знамени говорит больше, чем отвлеченный лозунг. И имена гениев — не балласт для нашей памяти.

— Это оттого, что единое дело человечества для вас все еще не единое дело; в иллюзиях, порождаемых борьбой между людьми, оно дробится и кажется делом людей, а не человечества. Мне тоже было трудно понять вашу точку зрения, как вам нашу.

— Итак, хорошо это или плохо, но бессмертных нет в нашей компании. Зато смертные здесь, вероятно, все из самых отборных — не так ли? — из тех, которые «много и хорошо работали», как вы выражаетесь?

— Вообще да. Мэнни подбирал товарищей из числа многих тысяч, выразивших желание отправиться с ним.

— А самый крупный после него — это, может быть, Стэрни?

— Да, если уж вам упорно хочется измерять и сравнивать людей, Стэрни — выдающийся ученый, хотя и совершенно в другом роде, чем Мэнни. Он математик, каких очень мало. Он раскрыл целый ряд погрешностей в тех вычислениях, по которым устраивались все прежние экспедиции на Землю, и показал, что некоторые из этих погрешностей сами по себе уже были достаточны для гибели дела и работников. Он нашел новые методы для таких вычислений, и до сих пор результаты, полученные им, оказались непогрешимыми.

— Я так его себе и представлял на основании слов Мэнни и первых впечатлений. А между тем я сам не понимаю — почему его вид вызывает во мне какое-то неопределенное беспокойство, нечто вроде беспричинной антипатии. Не найдется ли у вас, доктор, какого-нибудь объяснения для этого?

— Видите ли, Стэрни — очень сильный, но холодный, главным образом аналитический ум. Он все разлагает, неумолимо и последовательно, и выводы его часто односторонни, иногда чрезмерно суровы, потому что анализ частей дает ведь не целое, а меньше целого: вы знаете, что везде, где есть жизнь, целое бывает больше суммы своих частей как живое человеческое тело больше, чем грудa его членов. Вследствие этого Стэрни меньше прочих может входить в настроения и мысли других людей. Он вам всегда охотно поможет в том, с чем вы сами к нему обратитесь, но он никогда не угадает за вас, что вам нужно. Этому мешает, конечно, и то, что его внимание почти всегда поглощено его работой, его голова постоянно полна какой-нибудь трудной задачей. В этом он не похож на Мэнни: тот всегда все видит вокруг и не раз умел объяснить даже мне самому, что мне хочется, что меня беспокоит, что ищет мой ум или мое чувство.

— Если все это так, то Стэрни, должно быть, к нам, земным людям, полным противоречий и недостатков, относится довольно враждебно?

— Враждебно? — нет, ему это чувство чуждо. Но скептицизма у него, я думаю, больше, чем следует. Он пробыл во Франции всего полгода и телеграфировал Мэнни: «Здесь искать нечего». Может быть, он был отчасти прав, потому что и Летта, который был вместе с ним, не нашел подходящего человека. Но характеристики, которые он дает виденным людям этой страны, гораздо суровее, чем те, которые дает Летта, и, конечно, гораздо более односторонни, хотя и не заключают в себе ничего неверного.

— А кто такой этот Летта, о котором вы говорите? Я его как-то не запомнил.

— Химик, помощник Мэнни, немолодой человек, старше всех на нашем этеронефе. С ним вы сойдетесь легко, и это будет для вас очень полезно. У него мягкая натура и много понимания чужой души, хотя он и не психолог, как Мэнни. Приходите к нему в лабораторию, он будет этому рад и покажет вам много интересного.

В этот момент я вспомнил, что мы уже далеко улетели от Земли, и мне захотелось посмотреть на нее. Мы отправились вместе в одну из боковых зал с большими окнами.

— Не придется ли нам проехать близко от Луны? — спросил я по дороге.

— Нет, Луна остается далеко в стороне, и это жаль. Мне тоже хотелось посмотреть на Луну поближе. С Земли она казалась мне такой странной. Большая, холодная, медленная, загадочно-спокойная, она совсем не то, что наши две маленькие луны, которые так быстро бегают по небу и так быстро меняют свое личико, точно живые, капризные дети. Правда, ваша Луна зато гораздо ярче, и свет ее такой приятный. Ярче и ваше Солнце; вот в чем вы гораздо счастливее нас. Ваш мир вдвое светлее: оттого и не нужны вам такие глаза, как наши, с большими зрачками для собирания слабых лучей нашего дня и нашей ночи.

Мы сели у окна. Земля сияла вдали, как гигантский серп, на котором можно было различить только очертания запада Америки, северо-востока Азии, тусклое пятно, обозначающее часть Великого океана, и белое пятно Северного Ледовитого. Весь Атлантический океан и Старый свет лежали во мраке; за расплывчатым краем серпа их можно было только угадывать, и именно потому, что невидимая часть Земли закрывала звезды на обширном пространстве черного неба. Наша косвенная траектория и вращение Земли вокруг оси привели к такой перемене картины.

Я смотрел, и мне было грустно, что я не вижу родной страны, где столько жизни, борьбы и страданий, где вчера еще я стоял в рядах товарищей, а теперь на мое место должен стать другой. И сомнение поднялось в моей душе.

— Там, внизу, льется кровь, — сказал я, — а здесь вчерашний работник в роли спокойного созерцателя...

— Кровь льется там ради лучшего будущего, — отвечал Нэтти, — но и для самой борьбы надо знать лучшее будущее. И ради этого знания — вы здесь.

С невольным порывом я сжал его маленькую, почти детскую руку.

## VIII. Сближение

Земля все более удалялась и, точно худея от разлуки, превращалась в луновидный серп, сопровождаемый теперь совсем маленьким серпом настоящей Луны. Параллельно с этим все мы, обитатели этеронефа, становились какими-то фантастическими акробатами, способными летать без крыльев и удобно располагаться в любом направлении пространства, головой к полу, или к потолку, или к стене — почти безразлично. Понемногу я сходиллся со своими новыми товарищами и начинал чувствовать себя свободнее.

Уже на другой день после нашего отплытия (мы сохранили этот счет времени, хотя для нас, конечно, уже не существовало настоящих дней и ночей) я по собственной инициативе переделался в марсианский костюм, чтобы меньше выделяться между всеми. Правда, костюм этот и сам по себе нравился мне: простой, удобный, без всяких бесполезных, условных частей вроде галстука или манжет, он оставлял наибольшую возможную свободу для

движений. Отдельные части костюма так соединялись маленькими застёжками, что весь костюм превращался в одно целое, и в то же время легко было, в случае надобности, отстегнуть и снять, например, один рукав, или оба, или всю блузу. И манеры моих спутников были похожи на их костюм: простота, отсутствие всего лишнего и условного. Они никогда не здоровались, не прощались, не благодарили, не затягивали разговора из вежливости, если прямая цель его была исчерпана; и в то же время они с большим терпением давали всегда всякие разъяснения, тщательно приспособляясь к уровню понимания собеседника и входя в его психологию, как бы мало она ни подходила к их собственной.

Разумеется, я с первых же дней принялся за изучение их родного языка, и все они с величайшей готовностью исполняли роль моих наставников, а больше всех Нэтти. Язык этот очень оригинален, и, несмотря на большую простоту его грамматики и правил образования слов, в нем есть особенности, с которыми мне нелегко было справиться. Его правила вообще не имеют исключений, в нем нет таких разграничений, как мужской, женский или средний род, но рядом с этим все названия предметов и свойств изменяются по временам. Это никак не укладывалось в моей голове.

— Скажите, какой смысл в этих формулах? — спрашивал я Нэтти.

— Неужели вы не понимаете? А между тем в ваших языках, называя предмет, вы старательно обозначаете, считаете ли вы его мужчиной или женщиной, что, в сущности, очень не важно, а по отношению к неживым предметам даже довольно странно. Насколько важнее различие между теми предметами, которые существуют, и теми, которых уже нет, или теми, которые еще должны возникнуть. У вас «дом» — мужчина, а «лодка» — женщина, у французов это наоборот, — и дело от того несколько не меняется. Но когда вы говорите о доме, который уже сгорел или который еще собираетесь выстроить, вы употребляете слово в той же форме, в какой говорите о доме, в котором живете. Разве есть в природе большее различие, чем между человеком, который живет, и человеком, который умер, — между тем, что есть, и тем, чего нет? Вам нужны целые слова и фразы для обозначения этого различия, — не лучше ли выразить его прибавлением одной буквы в самом слове?

Во всяком случае, Нэтти был доволен моей памятью, а его метод обучения был превосходен, и дело подвигалось вперед очень быстро. Это помогало мне сближаться с марсианами, — я начинал все с большей уверенностью путешествовать по всему этеронефу, заходя в комнаты и в лаборатории моих спутников и расспрашивая их обо всем, что меня занимало.

Молодой астроном Энно, помощник Стэрни, живой и веселый, тоже почти мальчик по возрасту, показывал мне массу интересных вещей, явно увлекаясь не столько измерениями и формулами, в которых он был, однако, настоящим мастером, сколько красотой наблюдаемого. У меня было хорошо на душе с юным астрономом-поэтом; а законное стремление ориентироваться в нашем положении среди природы давало мне постоянный повод проводить понемногу времени у Энно и его телескопов.

Один раз Энно показал мне при самом сильном увеличении крошечную планету Эрот, часть орбиты которой проходит между путями Земли и Марса, а остальная часть лежит дальше Марса, переходя в район астероидов. И хотя в это время Эрот находился от нас на расстоянии 150 миллионов километров, но фотография его маленького диска представляла в поле зрения микроскопа целую географическую карту, подобную картам Луны. Конечно, это безжизненная планета, такая же, как Луна.

В другой раз Энно фотографировал рой метеоритов, проходивший всего в нескольких миллионах километров от нас. Изображение представляло, разумеется, только неопределенную туманность. При этом случае Энно рассказал мне, что в одной из прежних экспедиций на Землю этеронеф погиб как раз в то время, когда прорезывал другой подобный рой. Астрономы, следившие за этеронефом в самые большие телескопы, увидели, как погас его электрический свет и этеронеф навеки исчез в пространстве.

— Вероятно, этеронеф столкнулся с несколькими из этих маленьких телец, а при громадной разности скоростей они должны были насквозь пронизать все его стенки. Тогда

воздух ушел из него в пространство, и холод междупланетной среды оледенил уже мертвые тела путешественников. И теперь этеронеф летит, продолжая свой путь по кометной орбите; он удаляется от Солнца навсегда, и неизвестно, где конец этого страшного корабля, населенного трупами.

При этих словах Энно холод эфирных пустынь как будто проник и в мое сердце. Я живо представил себе наш крошечный светлый островок среди бесконечного мертвого океана. Без всякой опоры в головокружительном быстром движении, и черная пустота повсюду вокруг... Энно угадал мое настроение.

— Мэнни — надежный кормчий, — сказал он, — и Стэрни не делает ошибок... А смерть... вы ее, вероятно, видели близко в своей жизни... ведь она — только смерть, не более.

Очень скоро наступил час, когда мне пришлось вспомнить эти слова в борьбе с мучительной душевной болью.

Химик Летта привлекал меня к себе не только особенной мягкостью и чуткостью натуры, о которой говорил мне Нэтти, но также и своими громадными знаниями в наиболее интересном для меня научном вопросе — о строении материи. Один Мэнни был еще компетентнее его в этой области, но я старался как можно меньше обращаться к Мэнни, понимая, что его время слишком драгоценно и для интересов науки, и для интересов экспедиции, чтобы я имел право отвлекать его для себя. А добродушный старик Летта с таким неистощимым терпением относился к моему невежеству, с такой предупредительностью и даже видимым удовольствием разъяснял мне самую азбуку предмета, что с ним я несколько не чувствовал себя стесненным.

Летта стал читать мне целый курс по теории строения материи, причем иллюстрировал его рядом опытов разложения элементов и их синтеза. Многие из относящихся сюда опытов он должен был, однако, пропускать, ограничиваясь словесным их описанием, — именно те, в которых явления имеют особенно бурный характер и протекают в форме взрыва или могут принять такую форму.

Как-то раз во время лекции в лабораторию зашел Мэнни. Летта заканчивал описание очень интересного эксперимента и собирался приступить к его выполнению.

— Будьте осторожны, — сказал ему Мэнни, — я помню, что этот опыт однажды кончился у меня нехорошо; достаточно ничтожнейшей посторонней примеси к веществу, которое вы разлагаете, и тогда самый слабый электрический разряд может вызвать взрыв во время нагревания.

Летта хотел уже отказаться от выполнения опыта, но Мэнни, неизменно внимательный и любезный по отношению ко мне, сам предложил помочь ему тщательной проверкой всех условий опыта; и реакция прошла превосходно.

На следующий день предстояли новые опыты с тем же веществом. Мне казалось, что на этот раз Летта взял его не из той банки, что накануне. Когда он поставил уже реторту на электрическую баню, мне пришло в голову сказать ему об этом. Обеспокоенный, он тотчас пошел к шкафу с реактивами, оставив баню и реторты на столике у стены, которая была вместе с тем наружной стенкой этеронефа. Я пошел вместе с ним.

Вдруг раздался оглушительный треск, и нас обоих с большой силой ударило о дверцы шкафа. Затем последовал оглушительный свист и вой и металлическое дребезжание. Я почувствовал, что непреодолимая сила, подобная урагану, увлекает меня назад, к наружной стене. Я успел машинально схватиться за крепкую ремennую ручку, приделанную к шкафу, и повис горизонтально, удерживаемый в этом положении могучим потоком воздуха.

— Держитесь крепче! — крикнул он мне, и я едва расслышал его голос среди шума бури. Резкий холод пронизал мое тело.

Летта быстро осмотрелся вокруг. Лицо его было страшно своей бледностью, но выражение растерянности вдруг сменилось на нем выражением ясной мысли и твердой решимости. Он сказал только два слова, — я не мог их расслышать, но угадал, что это было прощанье навеки, — и его руки разжались.

Глухой звук удара, и вой урагана прекратился. Я почувствовал, что можно выпустить ручку, и оглянулся. От столика не было и следа, а у стены, плотно прижавшись к ней спиной, неподвижно стоял Летта. Глаза его были широко раскрыты, и все лицо его как будто застыло. Одним прыжком я очутился у двери и отворил ее. Порыв теплого ветра отбросил меня назад. Через секунду в комнату вошел Мэнни. Он быстро подошел к Летта.

Еще через несколько секунд комната была полна народу. Нэтти оттолкнул всех с пути и бросился к Летта. Все остальные окружили нас в тревожном молчании.

— Летта умер, — раздался голос Мэнни. — Взрыв во время химического опыта пробил стенку этеронефа, и Летта своим телом закрыл брешь. Давление воздуха разорвало его легкие и парализовало сердце. Смерть была мгновенная. Летта спас нашего гостя — иначе гибель обоих была неизбежна.

У Нэтти вырвалось глухое рыдание.

## IX. Прошлое

Несколько дней после катастрофы Нэтти не выходил из своей комнаты, а в глазах Стэрни я стал подмечать иногда прямо недоброжелательное выражение. Бесспорно, из-за меня погиб выдающийся ученый, и математический ум Стэрни не смог не делать сравнения между величиной ценности той жизни, которая была утрачена, и той, которая была спасена. Мэнни оставался неизменно ровным и спокойным и даже удвоил свое внимание и заботливость обо мне; так же вели себя и Энно, и все остальные.

Я стал усиленно продолжать изучение языка марсиан и при первом удобном случае обратился к Мэнни с просьбой дать мне какую-нибудь книгу по истории их человечества. Мэнни нашел мою мысль очень удачной и принес мне руководство, в котором популярно излагалась для детей-марсиан всемирная история.

Я начал, с помощью Нэтти, читать и переводить книжку. Меня поражало искусство, с каким неизвестный автор оживлял и конкретизировал иллюстрациями самые общие, самые отвлеченные на первый взгляд понятия и схемы. Это искусство позволяло ему вести изложение по такой геометрически стройной системе, в такой логически выдержанной последовательности, как не решился бы писать для детей ни один из наших земных популяризаторов.

Первая глава имела философский характер и была посвящена идее Вселенной как единого целого, все заключающего в себе и все определяющего собой. Эта глава живо напомнила мне произведения того рабочего-мыслителя, который в простой и наивной форме первый изложил основы пролетарской философии природы.

В следующей главе изложение возвращалось к тому необозримо отдаленному времени, когда во Вселенной не сложилось еще никаких знакомых нам форм, когда хаос и неопределенность царили в безграничном пространстве. Автор рассказывал, как обособлялись в этой среде первые бесформенные скопления неуловимо-тонкой, химически не определившейся материи; скопления эти послужили зародышами гигантских звездных миров, какими являются звездные туманности, и в числе их наш Млечный путь с 20 миллионами солнц, среди которых наше Солнце — одно из самых маленьких.

Далее шла речь о том, как материя, концентрируясь и переходя к более устойчивым соединениям, принимала форму химических элементов, а рядом с этим первичные, бесформенные скопления распались и среди них выделялись газообразные солнечно-планетные туманности, каких сейчас еще при помощи телескопа можно найти многие тысячи. История развития этих туманностей, кристаллизация из них солнц и планет излагалась одинаково с нашей канто-лапласовской теорией происхождения миров, но с большей определенностью и большими подробностями.

— Скажите, Мэнни, — спросил я, — неужели вы считаете правильным давать детям с самого начала эти беспредельно общие и почти столь же отвлеченные идеи, эти бледные мировые картины, столь далекие от их ближайшей конкретной обстановки? Не значит ли это

населять детский мозг почти пустыми, почти только словесными образами?

— Дело в том, что у нас никогда не начинают обучения с книг, — отвечал Мэнни. — Ребенок черпает свои сведения из живого наблюдения природы и живого общения с другими людьми. Раньше, чем он возьмется за книги, он уже совершил множество поездок, видел разнообразные картины природы, знает множество пород растений и животных, знаком с употреблением телескопа, фотографии, фонографа, слышал от старших детей, от воспитателей и других взрослых друзей много рассказов о прошлом и отдаленном. Книга, подобная этой, должна только связать воедино и упрочить его знания, заполняя мимоходом случайные пробелы и намечая дальнейший путь изучения. Понятно, что при этом идея целого прежде всего и постоянно должна выступать с полной отчетливостью, должна проводиться от начала и до конца, чтобы никогда не теряться в частностях. Цельного человека надо создавать уже в ребенке.

Все это было для меня очень непривычно, но я не стал подробнее расспрашивать Мэнни: мне все равно предстояло непосредственно познакомиться с марсианскими детьми и системой их воспитания. Я возвратился к своей книжке.

Предметом следующих глав являлась геологическая история Марса. Ее изложение, хотя и очень сжатое, было полно сопоставлений с историей Земли и Венеры. При значительном параллелизме всех трех основное различие заключалось в том, что Марс оказывался вдвое старше Венеры. Были установлены и цифры возраста планет, я их хорошо помню, но не стану приводить здесь, чтобы не раздражать земных ученых, для которых они оказались бы довольно неожиданными.

Далее шла история жизни с самого ее начала. Давалось описание тех первичных соединений, сложных циановых производных, которые, не будучи еще настоящей живой материей, обладали многими ее свойствами, и описание тех геологических условий, при которых эти соединения химически создавались. Выяснялись причины, в силу которых такие вещества сохранялись и накапливались среди других, более устойчивых, но менее гибких соединений. Прослеживалось шаг за шагом усложнение и дифференциация этих химических зародышей всякой жизни, вплоть до образования настоящих живых клеток, с которых начинается «царство протистов».

Книга дальнейшего развития жизни сводилась к лестнице прогресса живых существ, или, вернее, к их общему генеалогическому дереву: от протистов до высших растений, с одной стороны, до человека, с другой стороны, — вместе с различными боковыми ответвлениями. При сравнении с «земной» линией развития оказывалось, что на пути первичной клетки до человека ряд первичных звеньев цепи почти одинаков и также незначительны различия в последних звеньях, а в средних различий гораздо больше. Это представлялось мне чрезвычайно странным.

— Этот вопрос, — сказал мне Нэтти, — насколько я знаю, еще не исследован специально. Ведь еще двадцать лет тому назад мы не знали, как устроены высшие животные на Земле, и мы сами были очень удивлены, найдя такое сходство с нашим типом. Очевидно, число возможных высших типов, выражающих наибольшую полноту жизни, не так велико; и на планетах, настолько сходных, как наши, в пределах весьма однородных условий природа могла достигнуть этого максимума жизни только одним способом.

— И притом, — заметил Мэнни, — высший тип, который завладевает нашей планетой, есть тот, который наиболее целостно выражает всю сумму ее условий, тогда как промежуточные стадии, способные захватить только часть своей среды, выражают эти условия так же частично и односторонне. Поэтому при громадном сходстве общей суммы условий высшие типы должны совпадать в наибольшей мере, а промежуточные в силу самой своей односторонности представляют больше простора для различий.

Я вспомнил, как мне, еще во время моих университетских занятий, та же мысль об ограниченном числе возможных высших типов пришла в голову по совершенно другому поводу: у спрутов, морских головоногих моллюсков, высших организмов целой ветви развития, глаза необычайно сходны с глазами нашей ветви — позвоночных, а между тем

происхождение и развитие глаз головоногих совершенно иное, настолько иное, что даже соответственные слои тканей зрительного аппарата расположены у них в обратном нашему порядке...

Так или иначе, факт был налицо: на другой планете жили люди, похожие на нас, и мне оставалось усердно продолжать свое ознакомление с их жизнью и историей.

Что касается доисторических времен и вообще начальных фаз жизни человечества на Марсе, то и здесь сходство с земным миром было огромное. Те же формы родового быта, то же обособленное существование отдельных общин, то же развитие связи между ними посредством обмена. Но дальше начиналось расхождение, хотя и не в основном направлении развития, а скорее в его стиле и характере.

Ход истории на Марсе был как-то мягче и проще, чем на Земле. Были, конечно, войны племен и народов, была и борьба классов, но войны играли сравнительно небольшую роль в исторической жизни и сравнительно рано совсем прекратились, а классовая борьба гораздо меньше и реже проявлялась в виде столкновений грубой силы. Это, правда, не указывалось прямо в книге, которую я читал, но это было очевидно для меня из всего изложения.

Рабства марсиане вовсе не знали, в их феодализме было очень мало военщины, а их капитализм очень рано освободился от национально-государственного дробления и не создал ничего подобного нашим современным армиям.

Объяснения всему этому я должен был искать сам: марсиане, даже и сам Мэнни, еще только начинали изучать историю земного человечества и не успели произвести сравнительного исследования своего и нашего прошлого.

Я вспомнил один из прежних разговоров с Мэнни. Собираясь изучать язык, на котором говорили между собою мои спутники, я поинтересовался узнать, был ли это наиболее распространенный из всех, какие существуют на Марсе. Мэнни объяснил, что это единственный литературный и разговорный язык всех марсиан.

— Когда-то и у нас, — прибавил Мэнни, — люди из различных стран не понимали друг друга, но уже давно, за несколько сот лет до социалистического переворота, все различные диалекты сблизилась и слились в одном всеобщем языке. Это произошло свободно и стихийно, — никто не старался и никто не думал об этом. Долго сохранялись еще некоторые местные особенности, так что были как бы отдельные наречия, но достаточно понятные для всех. Развитие литературы покончило и с ними.

— Я только одним могу объяснить себе это, — сказал я. — Очевидно, на вашей планете сношения между людьми с самого начала были гораздо шире, легче и теснее, чем у нас.

— Именно так, — отвечал Мэнни. — На Марсе нет ни ваших громадных океанов, ни ваших непроходимых горных хребтов. Наши моря невелики и нигде не производят полного разрыва суши на самостоятельные континенты; наши горы невысоки, кроме немногих отдельных вершин. Вся поверхность нашей планеты вчетверо менее обширна, чем поверхность Земли, а между тем сила тяжести у нас в два с половиной раза меньше, и благодаря легкости тела мы можем довольно быстро передвигаться даже без искусственных средств сообщения: мы бегаем сами не хуже и устаем при этом не больше, чем вы, когда ездите верхом на лошадях. Природа поставила между нашими племенами гораздо меньше стен и перегородок, чем у вас.

Такова и была, значит, первоначальная и основная причина, помешавшая резкому расовому и национальному разъединению марсианского человечества, а вместе с тем и полному развитию войск, милитаризма и вообще системы массового убийства. Вероятно, капитализм силою своих противоречий все-таки дошел бы до создания всех этих отличий высокой культуры, но и развитие капитализма шло там своеобразно, выдвигая новые условия для политического объединения всех племен и народов Марса. Именно в земледелии мелкое крестьянство было весьма рано вытеснено крупным капиталистическим хозяйством, и скоро после этого произошла национализация всей земли.

Причина заключалась в непрерывно возраставшем высыхании почвы, с которым мелкие земледельцы не в силах были бороться. Кора планеты глубоко поглощала воду и не

возвращала ее обратно. Это было продолжение того стихийного процесса, благодаря которому существовавшие некогда на Марсе океаны обмелели и превратились в сравнительно небольшие замкнутые моря. Такой процесс поглощения идет и на нашей Земле, но здесь он пока не зашел далеко; на Марсе, который вдвое старше Земли, положение уже тысячу лет тому назад успело стать серьезным, так как с уменьшением морей, естественно, шло рядом уменьшение облаков, дождей, а значит, и обмеление рек и высыхание ручьев. Искусственное орошение стало необходимым в большинстве местностей. Что могли сделать независимые мелкие земледельцы?

В одних случаях они прямо разорялись, и их земли переходили к окрестным крупным землевладельцам, располагающим достаточными капиталами для устройства орошения. В других случаях крестьяне образовывали большие ассоциации, соединяя свои средства для этого общего дела. Но рано или поздно таким ассоциациям приходилось испытывать недостаток в денежных средствах, вначале, казалось бы, лишь временный; а раз только заключались первые займы у крупных капиталистов, дела ассоциаций начали идти под гору все быстрее: немалые проценты по займам увеличивали издержки ведения дела, наступала необходимость в новых займах и т. п. Ассоциации подпадали под экономическую власть своих кредиторов, и те их в конце концов разоряли, захватывая себе сразу участки целых сотен и тысяч крестьян.

Так возделанная земля перешла к нескольким тысячам крупных земельных капиталистов, но внутри материков оставались еще огромные пустыни, где вода не была, да и не могла быть проведена средствами отдельных капиталистов. Когда государственная власть, к тому времени уже вполне демократическая, принуждена была заняться этим делом, чтобы отвлечь возрастающий излишек пролетариата и помочь остаткам вымирающего крестьянства, то и у самой этой власти не оказалось таких средств, какие были необходимы для проведения гигантских каналов. Синдикаты капиталистов хотели взять дело в свои руки, но против этого восстал весь народ, понимая, что тогда эти синдикаты вполне закрепостят себе и государство. После долгой борьбы и отчаянного сопротивления земельных капиталистов был введен большой прогрессивный налог на доход от земли. Средства, добытые от этого налога, послужили фондом для гигантских работ по проведению каналов. Сила лендлордов была подорвана, и вскоре совершилась национализация земли. При этом исчезли и последние остатки мелкого крестьянства, потому что государство в собственных интересах сдавало землю только крупным капиталистам, и земледельческие предприятия стали еще более обширными, чем прежде. Таким образом, знаменитые каналы явились и могучими двигателями экономического развития, и прочной основой политического единства целого человечества.

Когда я прочитал все это, то не мог удержаться, чтобы не выразить Мэнни своего изумления, что руками людей могли быть созданы такие гигантские водные пути, видимые даже с Земли в наши плохие телескопы.

— Тут вы отчасти ошибаетесь, — заметил Мэнни. — Эти каналы, действительно, громадны, но все же не по несколько десятков километров ширины, — только при таких размерах могли бы, собственно, их разглядеть ваши астрономы. То, что они видят, это широкие полосы лесов, разведенных нами вдоль каналов, чтобы поддерживать равномерную влажность воздуха и тем самым не допускать слишком быстрого испарения воды. Кажется, некоторые из ваших ученых угадали это.

Эпоха прорытия каналов была временем большого процветания во всех областях производства и глубочайшего затишья в классовой борьбе. Спрос на рабочую силу был громадный, и безработица исчезла. Но когда Великие работы закончились, а вслед за ними закончилась и шедшая рядом капиталистическая колонизация прежних пустынь, то вскоре разразился промышленный кризис и «социальный мир» был нарушен. Дело пошло к социальной революции. И опять ход событий был довольно мирным: главным оружием рабочих были стачки, до восстаний дело доходило лишь в редких случаях и в немногих местностях, почти исключительно в земледельческих районах. Шаг за шагом хозяева



отступали перед неизбежным; и даже тогда, когда государственная власть оказалась в руках рабочей партии, со стороны побежденных не последовало попытки отстоять свое дело насилием.

Выкупа, в точном смысле этого слова, при социализации орудий труда применено не было. Но капиталисты были сначала оставлены на пенсиях. Многие из них играли затем крупную роль в организации общественных мероприятий. Нелегко было преодолеть трудности распределения рабочих сил согласно призванию самих работников. Около столетия существовал обязательный для всех, кроме пенсионеров-капиталистов, рабочий день, сначала около 6 часов, потом все меньше. Но прогресс техники и точный учет свободного труда помогли избавиться от этих последних остатков старой системы.

Вся картина ровной, не залитой, как у нас, сплошь огнем и кровью, эволюции общества вызывала во мне невольное чувство зависти. Я говорил об этом с Нэтти, когда мы дочитывали книгу.

— Не знаю, — задумчиво сказал юноша, — но мне кажется, что вы не правы. Противоречия острее на Земле, это верно; и ее природа расточает удары и смерть гораздо щедрее нашей. Но, может быть, это именно потому, что богатства земной природы изначально несравненно больше, и Солнце гораздо больше дает ей своей живой силы. Посмотрите, на сколько миллионов лет старше наша планета, а ее человечество возникло лишь на несколько десятков тысяч лет раньше вашего и теперь идет впереди его по развитию едва ли на двести сотни лет. Мне оба человечества представляются как два брата. У старшего натура спокойная и уравновешенная, у младшего — бурная и порывистая. Младший брат хуже тратит свои силы и делает больше ошибок: его детство было болезненное и беспокойное, а теперь, в переходном возрасте к юности, бывают часто мучительные судорожные припадки. Но не выйдет ли из него художник-творец более крупный и сильный, чем его старший брат, не сумеет ли он тогда лучше и богаче украсить нашу великую природу? Не знаю, но мне кажется, что это будет так...

## Часть II

### I. У Мэнни

На первое время я поселился у Мэнни, в фабричном городке, центр и основу которого составляет большая химическая лаборатория, расположенная глубоко под землей. Надземная часть городка разбросана среди парка на протяжении десятка квадратных километров: это несколько сот жилищ работников лаборатории, большой Дом собраний, Потребительский склад — нечто вроде универсальной лавки и Станция сообщений, которая связывает химический городок со всем остальным миром. Мэнни был там руководителем всех работ и жил вблизи от общественных зданий, рядом с главным спуском в лабораторию.

Первое, что меня поразило в природе Марса и с чем всего труднее было освоиться, — это красный цвет растений. Их красящее вещество, по составу весьма близкое к хлорофиллу земных растений, выполняет совершенно аналогичную ему роль в жизненной экономике природы: создает ткани растений за счет углекислоты воздуха и энергии солнечных лучей.

Заботливый Нэтти предлагал мне носить предохранительные очки, чтобы избавиться от непривычного раздражения глаз. Я отказался.

— Это цвет нашего социалистического знамени, — сказал я. — Должен же я освоиться с вашей социалистической природой.

— Если так, то надо признать, что и в земной флоре есть социализм, но в скрытом виде, — заметил Мэнни. — Листья земных растений имеют и красный оттенок, — он только замаскирован гораздо более сильным зеленым. Достаточно надеть очки из стекол, вполне поглощающих зеленые лучи и пропускающих красные, чтобы ваши леса и поля стали красными, как у нас.

Я не могу тратить время и место на то, чтобы описывать своеобразные формы растений и животных на Марсе, или его атмосферу, чистую и прозрачную, сравнительно разреженную, но богатую кислородом, или его небо, глубокое и темное, зеленоватого цвета, с похудевшим солнцем и крошечными лунами, с двумя яркими вечерними или утренними звездами — Венерой и Землей. Все это — странное и чуждое тогда, прекрасное и дорогое мне теперь, в окраске воспоминаний, — не так тесно связано с задачами моего повествования. Люди и их отношения — вот что всего важнее для меня; и во всей той сказочной обстановке именно они были всего фантастичнее, всего загадочнее.

Мэнни жил в небольшом, двухэтажном домике, по архитектуре не отличавшемся от остальных. Самая оригинальная черта этой архитектуры заключалась в прозрачной крыше из нескольких громадных пластинок голубого стекла. Прямо под этой крышей помещались спальня и комната для беседы с друзьями. Марсиане проводят часы отдыха непременно среди голубого освещения, ради его успокаивающего действия, и не находят неприятным тот мрачный для нашего глаза оттенок, который это освещение придает человеческому лицу.

Все рабочие комнаты — кабинет, домашняя лаборатория, комната сообщений — находились в нижнем этаже, большие окна которого свободно пропускали волны беспокойного красного света, отброшенного яркой листвой деревьев парка. Этот свет, который во мне первое время вызывал тревожное и рассеянное настроение, для марсиан является привычным возбуждением, полезным при работе.

В кабинете Мэнни было много книг и различные приборы для письма, от простых карандашей до печатающего фонографа. Последний аппарат представляет из себя сложный механизм, в котором запись фонографа при отчетливом произнесении слов тотчас передается рычагам пишущей машины таким способом, что получается точный перевод этой записи на обыкновенный алфавит. При этом фонограмма сохраняется в целостности, так что ею можно пользоваться одинаково с печатным переводом, смотря по тому, что кажется удобнее.

Над письменным столом Мэнни висел портрет марсианина среднего возраста. Черты лица его сильно напоминали Мэнни, но отличались выражением суровой энергии и холодной решительности, почти грозным выражением, чуждым Мэнни, на лице которого всегда была только спокойная и твердая воля. Мэнни рассказал мне историю этого человека.

То был предок Мэнни, великий инженер. Он жил задолго до социальной революции, в эпоху прорыва Великих каналов; эти грандиозные работы были организованы по его плану и велись под его руководством. Его первый помощник, завидуя его славе и могуществу, повел интригу против него. Один из главных каналов, над которым работало несколько сот тысяч человек, начинался в болотистой, нездоровой местности. Многие тысячи работников умирали там от болезней, и среди остальных разгоралось недовольство. В то самое время как главный инженер вел переговоры с центральным правительством Марса о пенсиях семьям погибших на работе и тех, кто от болезней потерял способность к труду, старший помощник тайно вел агитацию против него среди недовольных: он подстрекал их устроить стачку, с требованием перенесения работ из этой местности в другую, что было невозможно по существу дела, так как разрушало весь план Великих работ, и отставки главного инженера, что было, конечно, вполне осуществимо. Когда тот узнал все это, он пригласил старшего помощника для объяснений и убил его на месте. На суде инженер отказался от всякой защиты, а только заявил, что он считает свой образ действий справедливым и необходимым. Его приговорили к многолетнему заключению в тюрьме.

Но вскоре оказалось, что никто из его преемников не в силах вести гигантскую организацию работ; начались недоразумения, хищения, беспорядки, весь механизм дела пришел в расстройство, расходы возросли на сотни миллионов, а среди рабочих острое недовольство грозило перейти в восстание. Центральное правительство поспешило к прежнему инженеру; ему было предложено полное помилование и восстановление в должности. Он решительно отказался от помилования, но согласился руководить работами из тюрьмы.

Назначенные им ревизоры быстро выяснили положение дела на местах, при этом были

разогнаны и отданы под суд тысячи инженеров и подрядчиков. Заработная плата была повышена, организация доставки рабочим пищи, одежды, орудий труда, планы работ были пересмотрены заново и исправлены. Скоро порядок был вполне восстановлен, и громадный механизм стал работать быстро и точно, как послушное орудие в руках настоящего мастера.

А мастер не только руководил всем делом, но и разрабатывал план его продолжения на будущие годы, и одновременно он готовил себе заместителя в лице одного энергичного и талантливого инженера, выдвинувшегося из рабочей среды. К тому дню, когда истекал срок тюремного заключения, все было подготовлено настолько, что великий мастер нашел возможным передать дело в другие руки без опасения за его судьбу; и в тот самый момент, когда в тюрьму явился первый министр центрального правительства, чтобы освободить заключенного, главный инженер покончил с собой.

Когда Мэнни рассказывал мне все это, его лицо как-то странно изменилось: у него появилось то же выражение непреклонной суровости, и он стал совершенно похож на своего предка. А я почувствовал, до какой степени ему был близок и понятен этот человек, умерший за сотни лет до его рождения.

Комната сообщений была центральной комнатой нижнего этажа. В ней находились телефоны и соответствующие им оптические аппараты, передающие на какое угодно расстояние изображения того, что перед ними происходит. Одни из приборов соединяли жилище Мэнни со Станцией сообщений, а через нее — со всеми домами города и со всеми городами планеты. Другие служили связью с подземной лабораторией, которою управлял Мэнни. Эти последние действовали непрерывно: на нескольких тонкорешетчатых пластинках видны были уменьшенные изображения освещенных зал, где находились большие металлические машины и стеклянные аппараты, а перед ними — десятки и сотни работающих людей. Я обратился к Мэнни с просьбой взять меня с собой в эту лабораторию.

— Это неудобно, — отвечал он. — Там ведутся работы над материей в ее неустойчивых состояниях; и как ни мала, при наших предосторожностях, опасность взрыва или отравления невидимыми лучами, но эта опасность всегда существует. Вы не должны ей подвергаться, потому что вы теперь у нас один и заменить вас было бы некем.

В домашней лаборатории Мэнни находились всегда только те приборы и материалы, которые относились к его исследованиям, выполняемым в данное время.

В коридоре нижнего этажа у потолка была подвешена воздушная гондола, на которую во всякое время можно было сесть и отправиться куда угодно.

— Где живет Нэтти? — спросил я у Мэнни.

— В большом городе, в двух часах воздушного пути отсюда. Там находится машинный завод с несколькими десятками тысяч работников, и у Нэтти больше материала для его медицинских исследований. Здесь же у нас есть другой доктор.

— А машинный завод мне не воспрещается осмотреть при случае?

— Конечно, нет: там не угрожают никакие особенные опасности. Если хотите, мы завтра же отправимся туда вместе.

Так мы и решили.

## II. На заводе

Около 500 километров в два часа — скорость самого быстрого соколиного полета, не достигнутая до сих пор даже нашими электрическими дорогами... Внизу развевались в быстрой смене незнакомые, странные ландшафты; еще быстрее проносились иногда мимо нас незнакомые странные птицы. Лучи солнца вспыхивали синим светом на крышах домов и обычным желтоватым светом на огромных куполах каких-то незнакомых мне зданий. Реки и каналы мелькали стальными лентами; мои глаза отдыхали на них, потому что они были такие же, как на земле. Вот вдаль стал виден огромный город, раскинутый вокруг маленького озера и перерезанный каналом. Гондола замедлила ход и плавно опустилась около небольшого красивого домика — домика Нэтти.

Нэтти был дома и радостно нас встретил. Он сел в нашу гондолу, и мы отправились дальше: завод был еще в нескольких километрах, на той стороне озера.

Пять громадных зданий, расположенных крестообразно, все одинакового устройства: чистый стеклянный свод, лежащий на нескольких десятках темных колонн, образующих точный круг или мало растянутый эллипс; такие же стеклянные пластинки, поочередно прозрачные и матовые, между колоннами в виде стен. Мы остановились у центрального, самого большого корпуса, перед воротами, занимавшими целый промежуток от колонны до колонны, метров десять ширины и двенадцать вышины. Потолок первого этажа горизонтально прорезывал посередине пространство ворот; несколько пар рельсов входили в ворота и терялись внутри корпуса.

Мы подплыли к верхней половине ворот и, оглушенные шумом машин, сразу попали во второй этаж. Впрочем, это не был особый этаж в точном смысле слова, а скорее сеть воздушных мостиков, оплетавшая со всех сторон гигантские машины незнакомого мне устройства. На несколько метров над нею находилась другая подобная сеть, еще выше третья, четвертая, пятая; все они были образованы из стеклянного паркета, охваченного брусками железных решеток, все были связаны множеством подъемников и лестниц, и каждая следующая сеть была меньше предыдущей.

Ни дыма, ни копоти, ни запаха, ни мелкой пыли. Среди чистого, свежего воздуха машины, залитые светом, не ярким, но проникающим всюду, работали стройно и размеренно. Они резали, пилили, строгали, сверлили громадные куски железа, алюминия, никеля, меди. Рычаги, похожие на исполинские стальные руки, двигались ровно и плавно; большие платформы ходили вперед и назад со стихийной точностью; колеса и передаточные ремни казались неподвижными. Не грубая сила огня и пара, а тонкая, но еще более могучая сила электричества была душой этого грозного механизма.

Самый шум машин, когда ухо к нему несколько привыкло, начинал казаться почти мелодичным, кроме тех моментов, когда падает главный молот в несколько тысяч тонн и все содрогается в громовом ударе.

Сотни работников уверенно ходили между машинами, и ни шаги их, ни голоса не были слышны среди моря звуков. В выражении их лиц не было напряженной озабоченности, только спокойное внимание; они казались любознательными учеными наблюдателями, которые, собственно, ни при чем во всем происходящем; им просто интересно видеть, как громадные куски металла, на рельсовых платформах всплывающие под прозрачный купол, попадают в железные объятия темных чудовищ, как эти чудовища затем разгрызают их своими крепкими челюстями, мнут своими тяжелыми, твердыми лапами, строгают и сверлят своими блестящими, острыми когтями и как, наконец, остатки этой жестокой игры увозятся с другой стороны корпуса легкими вагонами электрической дороги в виде стройных и изящных машинных частей с загадочным назначением. Казалось вполне естественным, что остальные чудовища не трогают маленьких большеглазых созерцателей, доверчиво гуляющих между ними: это было просто пренебрежение к слабости, признание добычи слишком ничтожною, недостойною грозной силы гигантов. Были неуловимы и невидимы со стороны те нити, которые связывали нежный мозг с несокрушимыми органами механизма.

Когда мы, наконец, вышли из корпуса, водивший нас техник спросил, желаем ли мы осматривать другие корпуса и вспомогательные строения сейчас или же намерены сделать перерыв для отдыха. Я высказался за перерыв.

— Я видел машины и работников, — сказал я, — но самой организации труда совершенно себе не представляю. Вот об этом мне хотелось бы расспросить вас.

Вместо ответа техник повел нас к маленькому кубической формы строению, находившемуся между центральным и одним из угловых корпусов. Таких строений было еще три, и все они были аналогично расположены. Их черные стены были покрыты рядами блестящих белых знаков: это были просто таблицы статистики труда. Я уже владел языком марсиан настолько, что мог разбирать их. На одной, отмеченной номером первым, значилось:

«Машинное производство имеет излишек в 968 757 рабочих часов ежедневно, из них 11 325 часов труда опытных специалистов».

«На этом заводе излишек 753 часа, из них 29 часов труда опытных специалистов».

«Нет недостатка работников в производствах: земледельческом, горном, земляных работ, химическом...» и т. д. (было перечислено в алфавитном порядке множество различных отраслей труда).

На таблице номер второй было написано:

«Производство одежды имеет недостаток в 392 685 рабочих часов ежедневно, из них 21 380 часов труда опытных механиков для специальных машин и 7 852 часа труда специалистов-организаторов».

«Производство обуви нуждается в 79 360 часах; из них...» и т. д.

«Институт подсчетов — в 3 078 часах...» и т. д.

Такого же содержания были и таблицы номеров 3го и 4го. В списке отраслей труда были и такие, как воспитание детей младшего возраста, воспитание детей среднего возраста, медицина городов, медицина сельских округов и проч.

— Почему излишек труда точно указан только в машинном производстве, а недостаток повсюду отмечен с такими подробностями? — спросил я.

— Это очень понятно, — отвечал Мэнни, — посредством таблиц надо повлиять на распределение труда: для этого необходимо, чтобы каждый мог видеть, где рабочей силы не хватает и в какой именно мере. Тогда, при одинаковой или приблизительно равной склонности к двум занятиям, человек выберет то из них, где недостаток сильнее. А об излишке труда знать точные данные достаточно только там, где этот излишек имеется, чтобы каждый работник такой отрасли мог сознательно принять в расчет и степень излишка, и степень своей склонности к перемене занятия.

В то время как мы таким образом разговаривали, я вдруг заметил, что некоторые цифры таблицы исчезли, а затем на их месте появились новые. Я спросил, что это значит.

— Цифры меняются каждый час, — объяснил Мэнни, — в течение часа несколько тысяч человек успели заявить о своем желании перейти с одних работ на другие. Центральный статистический механизм все время отмечает это, и каждый час электрическая передача разносит его сообщения повсюду.

— Но каким образом центральная статистика устанавливает свои цифры излишка и недочета?

— Институт подсчетов имеет везде свои агентуры, которые следят за движением продуктов в складах, за производительностью всех предприятий и изменением числа работников в них. Этим путем точно выясняется, сколько и чего следует произвести на определенный срок и сколько рабочих часов для этого требуется. Затем институту остается подсчитать разницу между тем, что есть, и тем, что должно быть, и сообщать об этом повсюду. Поток добровольцев тогда восстановит равновесие.

— А потребление продуктов ничем не ограничено?

— Решительно ничем: каждый берет то, что ему нужно, и столько, сколько хочет.

— И при этом не требуется ничего похожего на деньги, никаких свидетельств о количестве выполненного труда или обязательств его выполнить, или вообще чего-нибудь в этом роде?

— Ничего подобного. В свободном труде у нас и без этого никогда не бывает недостатка: труд — естественная потребность каждого развитого социального человека, и всякие виды замаскированного или явного принуждения к труду совершенно для нас излишни.

— Но если потребление ничем не ограничено, то не возможны ли в нем резкие колебания, которые могут опрокинуть все статистические расчеты?

— Конечно, нет. Отдельный человек, может быть, станет есть то или иное кушанье в двойном, тройном против обычного количестве или захочет переменить десять костюмов в десять дней, но общество в три тысячи миллионов человек не подвержено таким колебаниям.

При таких больших числах отклонения в ту и другую сторону уравниваются, и средние величины изменяются очень медленно, в строгой непрерывности.

— Таким образом, ваша статистика работает почти автоматически, — простые вычисления и ничего больше?

— Ну, нет. Трудности тут очень большие. Институт подсчетов должен зорко следить и за новыми изобретениями, и за изменением природных условий производства, чтобы их точно учитывать. Вводится новая машина, — она сразу требует перемещения труда как в той области, где применяется, так и в машинном производстве, а иногда и в производстве материалов для той или другой отрасли. Истощается руда, открываются новые минеральные богатства, — опять перемещение труда в целом ряде разветвлений производства: в горном деле, в постройке рельсовых путей и т. д. Все это надо рассчитать с самого начала если не вполне точно, то с достаточной степенью приближения, а это вовсе не легко, пока не будут получены данные прямого наблюдения.

— При таких трудностях, — заметил я, — очевидно, необходимо иметь постоянно в запасе некоторый излишек труда?

— Именно так — и в этом заключается главная опора нашей системы. Лет 200 назад, когда коллективного труда лишь кое-как хватало для удовлетворения всех потребностей общества, тогда была необходима полная точность в расчетах, и распределение труда не могло совершаться вполне свободно: существовал обязательный рабочий день, и в его пределах приходилось не всегда и не вполне считаться с призванием товарищей. Но каждое изобретение, создавая статистике временные трудности, облегчало главную задачу — переход к неограниченной свободе труда. Сначала рабочий день сокращался, затем, когда во всех областях труда оказался избыток, всякая обязательность была окончательно устранена. Заметьте, как незначительны все цифры, выражающие недостаток труда по производствам: тысячи, десятки, сотни тысяч рабочих часов, не более, — это при миллионах и десятках миллионов часов труда, который уже затрачивается в тех же производствах.

— Однако и недостаток труда все же бывает, — возразил я. — Правда, он, вероятно, покрывается последующим избытком, не так ли?

— И не только последующим избытком. В действительности самое вычисление необходимого труда ведется таким образом, что к основной цифре надбавляется еще некоторое количество. В самых важных для общества отраслях — в производстве пищи, одежды, зданий, машин — эта надбавка достигает 6 процентов, в менее важных — 12 процента. Таким образом, цифры недостатка в таких таблицах выражают, вообще говоря, только относительный, а не абсолютный недочет. Если бы обозначенные здесь десятки и сотни тысяч часов и не были пополнены, это еще не значит, что общество стало бы терпеть недостаток.

— А сколько времени работает ежедневно каждый, например, на этом заводе?

— Большею частью полтора, два, два с половиной часа, — ответил техник, — но бывает меньше и больше. Вот, например, товарищ, который заведует главным молотом, до того увлекается своей работой, что никому не позволяет сменить себя за все рабочее время завода, то есть шесть часов ежедневно.

Я мысленно перевел для себя все эти цифры на земной счет с марсианского, по которому сутки, немного более длинные, чем наши, заключают в себе десять часов. Оказалось: обычная работа четыре, пять, шесть часов; наибольшая продолжительность — 15 часов, то есть такая, как у нас, на Земле, в наиболее эксплуатируемых предприятиях.

— А разве не вредно товарищу при молоте работать так много? — спросил я.

— Пока еще не вредно, — отвечал Нэтти, — еще с полгода он может позволять себе такую роскошь. Но я, конечно, предупредил его об опасностях, которыми угрожает ему его увлечение. Одна из них — это возможность судорожного психического припадка, который с непреодолимой силой потянет его под молот. В прошлом году подобный случай произошел на этом же заводе с другим механиком, таким же любителем сильных ощущений. Только благодаря счастливой случайности успели остановить молот, и невольное самоубийство не

удалось. Жажда сильных ощущений сама по себе не есть еще болезнь, но она легко подвергается извращениям, как только нервная система хоть немного пошатнулась от переутомления, душевной борьбы или какой-нибудь случайной болезни. Вообще же я, разумеется, не упускаю из виду тех товарищей, которые неумеренно предаются какой бы то ни было однообразной работе.

— А не должен ли был бы этот товарищ, о котором мы говорим, сократить свою работу ввиду того, что в машинном производстве есть избыток труда?

— Конечно, нет, — засмеялся Мэнни. — Почему именно он должен за свой счет восстанавливать равновесие? Статистика никого ни к чему не обязывает. Каждый принимает ее во внимание при своих расчетах, но не может руководиться ею одной. Если бы вы пожелали немедленно поступить на этот завод, вам, вероятно, нашлась бы работа, а в центральной статистике цифра излишка увеличилась бы на один-два часа, только и всего. Влияние статистики непрерывно сказывается на массовых перемещениях труда, но каждая личность свободна.

За разговором мы успели достаточно отдохнуть, и все, кроме Мэнни, отправились дальше осматривать завод. А Мэнни уехал домой, — его вызвали в лабораторию.

Вечером я решил остаться у Нэтти: он обещал на следующий день свести меня в «дом детей», где одной из воспитательниц была его мать.

### III. «Дом детей»

«Дом детей» занимал целую значительную и притом лучшую часть города с населением в 15–20 тысяч человек. Это население составляли, действительно, почти только дети с их воспитателями. Такие учреждения имеются во всех больших городах планеты, а во многих случаях образуют и самостоятельные города; только в маленьких поселениях, таких, как «химический городок» Мэнни, их по большей части нет.

Большие двухэтажные дома с обычными голубыми крышами, разбросанные среди садов с ручейками, прудами, площадками для игр и гимнастики, грядами цветов и полезных трав, домиками для ручных животных и птиц... Толпы большеглазых ребятишек неизвестного пола — благодаря одинаковому для девочек и мальчиков костюму... Правда, и среди взрослых марсиан трудно различать мужчин и женщин по костюму, — в основных чертах он одинаков, некоторая разница только в стиле: у мужчин платье более точно передает формы тела, у женщин в большей мере их маскирует. Во всяком случае, та немолодая особа, которая встретила нас при выходе из гондолы перед дверями одного из самых больших домов, была несомненно женщина, ибо Нэтти, обнимая, называл ее «мамой». В дальнейшем разговоре он, впрочем, часто обозначал ее, как и всякого другого товарища, просто по имени — Нэлла.

Марсианка уже знала о цели нашего приезда и прямо повела нас в свой «дом детей», по всем его отделениям, начиная с отделения самых маленьких, которым она сама заведовала, до отделения старшего детского возраста, граничащего с отрочеством. Маленькие чудовища по пути присоединялись к нам и шли за нами, с интересом наблюдая своими огромными глазами человека с другой планеты, — они хорошо знали, кто я такой; и когда мы обходили последние отделения, нас сопровождала уже целая толпа, хотя большинство ребятишек еще с утра разбежалось по садам.

Всего жило в этом доме около трехсот детей различных возрастов. Я спросил Нэllu, почему в «домах детей» все возрасты соединяются вместе, а не отделяются каждый в особом доме, что значительно облегчило бы разделение труда между воспитателями и упростило бы всю их работу.

— Потому что тогда не было бы действительного воспитания, — отвечала мне Нэлла. — Чтобы получить воспитание для общества, ребенок должен жить в обществе. Всего больше жизненного опыта и знаний дети усваивают друг у друга. Изолировать один возраст от другого — значило бы создавать для них одностороннюю и узкую жизненную среду, в

которой развитие будущего человека должно идти медленно, вяло и однообразно. И для прямой активности различие возрастов дает наибольший простор. Старшие дети — наши лучшие помощники в уходе за маленькими. Нет, мы не только сознательно соединяем все детские возрасты, но и воспитателей в каждом детском доме стараемся подобрать самых различных возрастов и различных практических специальностей.

Однако в этом доме дети распределены по отделениям только для того, чтобы спать, завтракать, обедать, — тут, конечно, нет надобности смешивать различные возрасты. Но для игр и занятий они постоянно группируются так, как это им самим нравится. Даже когда бывают какие-нибудь чтения, беллетристические или научные, для детей одного отделения, в аудиторию всегда набирается масса ребятшек всех других отделений. Дети сами выбирают себе свое общество и сами любят сходить с детьми других возрастов, а особенно со взрослыми.

— Нэлла, — сказал в это время, выступая из толпы, один малыш. — Эста унесла мою лодочку, которую я сам сделал; возьми лодочку у нее и отдай мне.

— А где она? — спросила Нэлла.

— Она убежала к пруду спускать лодочку на воду, — объяснил ребенок.

— Ну, у меня сейчас нет времени идти туда, пусть кто-нибудь из старших детей идет с тобой и убедит Эсту не обижать тебя. А всего лучше, иди туда один и помогай ей спускать лодочку; нет ничего удивительного, что лодочка ей понравилась, если сделана хорошо.

Ребенок ушел, а Нэлла обратилась к остальным:

— А вы, детки, хорошо бы сделали, если бы оставили нас одних. Иностранцу едва ли приятно, что на него таращится сотня детских глаз. Представь себе Эльви, что на тебя внимательно смотрит целая толпа таких иностранцев. Что бы ты тогда сделал?

— Я бы убежал, — храбро заявил ближайший из толпы, которого она назвала. И все дети в ту же минуту со смехом разбежались. Мы вышли в сад.

— Да, вот посмотрите, какова сила прошлого, — с улыбкой сказала воспитательница. — Кажется бы, коммунизм у нас полный, отказывать детям почти никогда ни в чем не приходится, — откуда взяться чувству личной собственности? А ребенок приходит и заявляет: «моя» лодочка, «я сам» сделал. И это очень часто: иногда дело доходит и до драки. Ничего не поделаешь, — общий закон жизни: развитие жизни сокращенно повторяет развитие вида, развитие личности таким же образом повторяет развитие общества. Самоопределение ребенка среднего и старшего возраста в большинстве случаев имеет такой смутно-индивидуалистический характер. Приближение половой зрелости сначала еще усиливает этот оттенок. Только в юношеском возрасте социальная среда настоящего окончательно побеждает остатки прошлого.

— А вы знакомите детей с этим прошлым? — спросил я.

— Конечно, знакомим; и они очень любят разговоры и рассказы о старых временах. Сначала для них это сказки, красивые, немножко страшные сказки о другом мире, далеком и странном, но пробуждающем своими картинами борьбы и насилия неясные отзвуки в атавистической глубине детских инстинктов. Только впоследствии, преодолевая живые остатки прошлого в своей собственной душе, ребенок научается яснее воспринимать связь времен, и картины-сказки становятся для него действительностью истории, преобразуются в живые звенья живой непрерывности.

Мы шли по аллеям обширного сада. Временами нам попадались группы детей, занятых то играми, то рытьем канавок, то работой с какими-нибудь ремесленными инструментами, то постройкой беседок, то просто оживленным разговором. Все они с интересом оборачивались на меня, но никто не шел за нами: по-видимому, все были предупреждены. Большинство встречавшихся групп были смешанного возраста; во многих было по одному, по двое взрослых.

— В вашем доме довольно много воспитателей, — заметил я.

— Да, особенно если в числе их считать всех детей старшего возраста, как это по справедливости следует. Но воспитателей-специалистов у нас здесь всего трое; остальные



взрослые, которых вы видите, это большей частью матери и отцы, временно поселяющиеся у нас около своих детей, или молодые люди, желающие изучить дело воспитания.

— Что же, все желающие родители могут здесь поселяться, чтобы жить со своими детьми?

— Да, разумеется, и некоторые из матерей живут здесь по несколько лет. Но большинство их приезжает время от времени, на неделю, на две, на месяц. Отцы живут здесь реже. В нашем доме всего 60 отдельных комнат для родителей и для тех детей, которые ищут уединения, и я не помню случая, чтобы этих комнат не хватало.

— Значит, и дети иногда отказываются жить в общих помещениях?

— Да, дети старшего возраста нередко предпочитают жить отдельно. В этом сказывается отчасти тот неопределенный индивидуализм, о котором я вам говорила, отчасти же, особенно у детей, склонных углубляться в научные занятия, просто стремление отстранить все, что развлекает и рассеивает внимание. Ведь и из числа взрослых у нас любят жить совершенно отдельно главным образом те, кто всего больше занимается научными исследованиями или художественным творчеством.

В этот момент впереди себя на небольшой полянке мы заметили ребенка, который с палкой в руках гонялся за каким-то животным. Мы ускорили шаги; ребенок не обращал на нас внимания. В тот момент, как мы подошли, он настиг свою добычу, — это оказалось нечто вроде большой лягушки, — и сильно ударил ее палкой. Животное медленно поползло по траве с перешибленной лапой.

— Зачем ты это сделал, Альдо? — спокойно спросила Нэлла.

— Я никак не мог ее поймать, она все убегала, — объяснил мальчик.

— А ты знаешь, что ты сделал? Ты причинил лягушке боль и переломил ей лапку. Дай сюда палку, я тебе объясню это.

Мальчик подал тросточку Нэлле, и она быстрым движением сильно ударила его по руке. Мальчик вскрикнул.

— Тебе больно, Альдо? — все так же спокойно спросила воспитательница.

— Очень больно, злая Нэлла! — отвечал он.

— А лягушку ты ударил сильнее этого. Я только ушибла тебе руку, а ты ей сломал лапку. Ей не только гораздо больнее, чем тебе, но она теперь не может бегать и прыгать, ей нельзя будет находить пищу, и она умрет с голоду, или ее загрызут злые животные, от которых она не сможет убежать. Что ты об этом думаешь, Альдо?

Ребенок стоял молча со слезами боли на глазах, придерживая ушибленную руку другой рукой. Но он задумался. Через минуту он сказал:

— Надо починить ей лапку.

— Вот это верно, — сказал Нэтти. — Дай, я научу тебя, как это сделать.

Они тотчас поймали раненое животное, которое успело отползти только на несколько шагов. Нэтти вынул свой платок и разорвал его на полоски, а Альдо, по его указанию, принес ему несколько тонких щепочек. Затем они оба, с серьезностью истинных детей, занятых очень важным делом, принялись устраивать плотную укрепляющую повязку на сломанную лапку лягушки.

Вскоре я и Нэтти собрались уходить домой.

— Да, вот что, — вспомнила Нэлла. — Сегодня вечером вы могли бы застать у нас вашего старого друга Энно. Он будет читать детям старшего возраста о планете Венера.

— Значит, он живет в этом же городе? — спросил я.

— Нет, обсерватория, в которой он работает, лежит в трех часах пути отсюда. Но он очень любит детей и не забывает меня, свою старую воспитательницу. Поэтому он часто приезжает сюда и каждый раз рассказывает детям что-нибудь интересное.

Вечером, в назначенный час мы, разумеется, опять явились в «дом детей», в большую аудиторию, где собрались уже все дети, кроме совсем маленьких, и несколько десятков взрослых. Энно радостно меня встретил.

— Я выбрал тему как будто для вас, — шутливо говорил он. — Вас огорчает отсталость

вашей планеты и злые нравы вашего человечества. Я буду рассказывать о такой планете, где высшие представители жизни пока только динозавры и летучие ящеры, а их обычаи хуже, чем у вашей буржуазии. Ваш каменный уголь там не горит в огне капитализма, а еще только растет в виде гигантских лесов. Поедем когда-нибудь туда вместе охотиться на ихтиозавров? Эти тамошние Ротшильды и Рокфеллеры, правда, много умереннее ваших земных, но зато гораздо менее культурные. Там царство самого первоначального накопления, забытого в «Капитале» вашего Маркса... Ну, Нэлла уже хмурится за мою легкомысленную болтовню. Сейчас начинаю.

Он увлекательно описывал далекую планету с ее глубокими бурными океанами и горами громадной высоты, с ее жгучим солнцем и густыми белыми облаками, с ее страшными ураганами и грозами, с ее безобразными чудовищами и величественными исполинскими растениями. Все это он иллюстрировал живыми фотографиями на экране, занимавшем целую стену залы. Голос Энно один был слышен во мраке; глубокое внимание царило в зале. Когда он, описывая приключения первых путешественников в этом мире, рассказал, как один из них ручной гранатой убил исполинскую ящерицу, произошла странная маленькая сцена, не замеченная большинством публики. Альдо, все время державшийся около Нэллы, вдруг тихо заплакал.

— Что с тобой? — наклонившись к нему, спросила Нэлла.

— Мне жаль чудовище. Ему было очень больно, и оно совсем умерло, — тихо отвечал мальчик.

Нэлла обняла ребенка и стала что-то ему объяснять вполголоса, но он не скоро еще успокоился.

А Энно между тем еще рассказывал о неисчислимых естественных богатствах прекрасной планеты, о ее гигантских водопадах в сотни миллионов лошадиных сил, о благородных металлах, найденных прямо на поверхности ее гор, о богатейших залежах радия на глубине нескольких сот метров, о запасах энергии на сотни тысяч лет. Я еще не настолько владел языком, чтобы чувствовать красоту изложения, но самые картины приковывали мое внимание так же всецело, как и внимание детей. Когда Энно кончил и зала осветилась, мне стало даже немного грустно, как детям бывает жаль, когда окончена красивая сказка.

По окончании лекции начались вопросы и возражения со стороны слушателей. Вопросы были разнообразны, как сами слушатели; они касались то подробностей в картинах природы, то способов борьбы с этой природой. Был и такой вопрос: через сколько времени на Венере должны были бы из ее собственной природы появиться люди и какое должно у них быть устройство тела?

Возражения, большей частью наивные, но иногда и довольно остроумные, направлялись главным образом против того вывода Энно, что в настоящую эпоху Венера — планета очень неудобная для людей, и едва ли скоро удастся использовать сколько-нибудь значительно ее великие богатства. Юные оптимисты энергично восставали против этого положения, выражавшего взгляды большинства исследователей. Энно указывал, что жгучее солнце и влажный воздух с массой бактерий создают для людей опасность многих болезней, что испытали на себе все путешественники, побывавшие на Венере; что ураганы и грозы затрудняют работу и угрожают жизни людей, и многое другое. Дети находили, что перед подобными препятствиями странно отступать, когда надо овладеть такой прекрасной планетой. Для борьбы с бактериями и болезнями надо как можно скорее послать туда тысячу врачей, для борьбы с ураганами и грозами — сотни тысяч строителей, которые проведут, где надо, высокие стены и поставят громоотводы. «Пусть девять десятых погибнет, — говорил один пылкий мальчик лет двенадцати, — тут есть из-за чего умереть, лишь бы была одержана победа!» И по его горящим глазам было видно, что сам он, конечно, не отступил бы перед тем, чтобы оказаться в числе этих девяти десятых.

Энно мягко и спокойно разрушал карточные домики своих противников, но было очевидно, что в глубине души он сочувствует им и что в его горячей юной фантазии

скрываются такие же решительные планы, разумеется, более обдуманнные, но, может быть, не менее самоотверженные. Он сам еще не был на Венере, и по его увлечению было ясно, что ее красота и ее опасности сильно притягивают его.

Когда беседа закончилась, Энно отправился со мною к Нэтти. Он решил пробыть еще день в этом городе и предложил мне на завтра пойти в музей искусства. Нэтти был занят — его вызывали в другой город на большое совещание врачей.

#### IV. Музей искусства

— Вот уже никак не предполагал, чтобы у вас существовали особые музеи художественных произведений, — сказал я Энно по дороге в музей. — Я думал, что скульптурные и картинные галереи — особенность именно капитализма с его показной роскошью и стремлением грубо нагромождать богатства. В социалистическом же обществе, я предполагал, искусство рассеивается повсюду рядом с жизнью, которую оно украшает.

— В этом вы и не ошибались, — отвечал Энно. — Большая часть произведений искусства предназначается у нас для общественных зданий, — тех, в которых мы обсуждаем наши общие дела, тех, в которых учимся и исследуем, в которых отдыхаем... Гораздо меньше мы украшаем наши фабрики и заводы: эстетика могучих машин и их стройного движения приятна нам в ее чистом виде, и очень мало таких произведений искусства, которые вполне гармонировали бы с нею, нисколько не рассеивая и не ослабляя ее впечатлений. Всего меньше мы украшаем наши дома, в которых большей частью живем очень мало. А наши музеи искусства — это научно-эстетические учреждения, это школы для изучения того, как развиваются искусства или, вернее, как развивается человечество в его художественной деятельности.

Музей находился на маленьком острове озера, который узким мостом соединялся с берегом. Самое здание, удлиненным четырехугольником окружавшее сад с высокими фонтанами и множеством синих, белых, черных, зеленых цветов, было изящно разукрашено снаружи и полно света внутри.

Там действительно не было такого сумбурного скопления статуй и картин, как в больших музеях Земли. Передо мной в нескольких сотнях образов прошла цепь развития пластических искусств, от первобытных грубых произведений доисторической эпохи до технически идеальных произведений последнего века. И от начала до конца повсюду чувствовалась печать той живой внутренней цельности, которую люди называют «гением». Очевидно, это были лучшие произведения всех эпох.

Чтобы вполне ясно понимать красоту другого мира, надо глубоко знать его жизнь, а чтобы дать другим понятие об этой красоте, необходимо быть самому к ней органически причастным... Вот почему для меня невозможно описать то, что я там видел; я смогу дать только намеки, только отрывочные указания на то, что меня всего более поразило.

Основной мотив марсианской, как и нашей, скульптуры — это прекрасное человеческое тело. Различия физического сложения марсиан от сложения земных людей в общем не велики; если не считать резкой разницы в величине глаз и отчасти, значит, в устройстве черепа, то различия эти не превосходят тех, какие существуют между земными расами. Я не сумел бы точно объяснить их, — для этого я слишком плохо знаю анатомию; но мой глаз легко привыкал к ним и воспринимал их почти сразу не как безобразие, а как оригинальность.

Я заметил, что мужское и женское сложение сходны в большей мере, чем у большинства земных племен сравнительно широкие плечи женщин, не так резко благодаря некоторой полноте выступающая мускулатура мужчин и их менее узкий таз сглаживают разницу. Это, впрочем, относится главным образом к последней эпохе — к эпохе свободного человеческого развития: в статуях капиталистического периода половые различия выражены сильнее. Очевидно, домашнее рабство женщины и лихорадочная борьба за существование мужчины искажают их тело в двух несходных направлениях.

Ни на минуту не исчезало во мне то ясное, то смутное сознание, что передо мною образы чужого мира; оно придавало всем впечатлениям какую-то странную, полупрозрачную окраску. И даже прекрасное женское тело этих статуй и картин вызывало во мне непонятное чувство, как будто совсем непохожее на знакомое мне любовно-эстетическое влечение, а похожее скорее на те неясные предчувствия, которые волновали меня когда-то давно, на границе детства и юности.

Статуи ранних эпох были одноцветные, как у нас, позднейшие — естественных цветов. Это меня не удивило. Я всегда думал, что отклонение от действительности не может быть необходимым элементом искусства, что оно даже антихудожественно, когда уменьшает богатство восприятия, как одноцветность скульптуры, что оно в этом случае не помогает, а мешает художественной идеализации, концентрирующей жизнь.

В статуях и картинах древних эпох, как в нашей античной скульптуре, преобладали образы величественного спокойствия, образы безмятежной гармонии, свободной от всякого напряжения. В средние, переходные эпохи выступает иной характер: порыв, страсть, волнующее стремление, иногда смягченное до степени блуждания мечты, эротической или религиозной, иногда резко прорывающееся в предельном напряжении неуравновешенных сил души и тела. В социалистическую эпоху основной характер опять меняется: это — гармоническое движение, спокойно-уверенное проявление силы, действие, чуждое болезненности усилия, стремление, свободное от волнения, живая активность, проникнутая сознанием своего стройного единства и своей непобедимой разумности.

Если идеальная женская красота древнего искусства выражала беспредельную возможность любви, а идеальная красота средних веков и времен Возрождения — неутолимую жажду любви, мистическую или чувственную, то здесь, в идеальной красоте другого, идущего впереди нас мира воплощалась сама любовь, в ее спокойном и гордом самосознании, сама любовь — ясная, светлая, всепобеждающая...

Для позднейших художественных произведений, как и для древних, характерна чрезвычайная простота и единство мотива. Изображаются очень сложные человеческие существа с богатым и стройным жизненным содержанием, и при этом выбираются такие моменты их жизни, когда вся она сосредоточивается в одном каком-нибудь чувстве, стремлении... Любимые темы новейших художников — экстаз творческой мысли, экстаз любви, экстаз наслаждения природой, спокойствие добровольной смерти, — сюжеты, глубоко очерчивающие сущность великого племени, которое умеет жить со всей полнотой и напряженностью, умирать сознательно и с достоинством.

Отдел живописи и скульптуры составлял одну половину музея, другая была посвящена всецело архитектуре. Под архитектурой марсиане понимают не только эстетику зданий и больших инженерных сооружений, но также и эстетику мебели, орудий, машин, вообще эстетику всего материально-полезного. Какую громадную роль играет в их жизни это искусство, о том можно было судить по особенной полноте и тщательности составления этой коллекции. От первобытных пещерных жилищ, с их грубо украшенной утварью, до роскошных общественных домов из стекла и алюминия, с их внутренней обстановкой, исполненной лучшими художниками, до гигантских заводов, с их грозно-красивыми машинами, до величайших каналов, с их гигантскими набережными и воздушными мостами, — тут были представлены все типические формы в виде картин, чертежей, моделей и особенно стереограмм в больших стереоскопах, где все воспроизводилось с полной иллюзией тождества. Особое место занимала эстетика садов, полей и парков; и как ни была непривычна для меня природа планеты, но даже мне часто была понятна красота тех сочетаний цветов и форм, которые создавались из этой природы коллективным гением племени с большими глазами.

В произведениях прежних эпох очень часто, как и у нас, изящество достигалось за счет удобства, украшения вредили прочности, искусство совершало насилие над прямым полезным назначением предметов. Ничего подобного мой глаз не улавливал в произведениях новейшей эпохи — ни в ее мебели, ни в ее орудиях, ни в ее сооружениях. Я спросил Энно,

допускает ли их современная архитектура уклонение от практического совершенства предметов ради их красоты.

— Никогда, — отвечал Энно, — это была бы фальшивая красота, искусственность, а не искусство.

В досоциалистические времена марсиане ставили памятники своим великим людям; теперь они ставят памятники только великим событиям, таким, как первая попытка достигнуть Земли, закончившаяся гибелью исследователей, таким, как уничтожение смертельной эпидемической болезни, таким, как открытие разложения и синтеза всех химических элементов. Ряд памятников был представлен в стереограммах того же отдела, где находились гробницы и храмы (у марсиан раньше существовали и религии). Одним из последних памятников великим людям был памятник тому инженеру, о котором рассказывал мне Мэнни. Художник сумел ясно представить силу души человека, победоносно руководившего армией труда в борьбе с природой и гордо отвергнувшего трусливый суд нравственности над его поступками. Когда я в невольной задумчивости остановился перед панорамой памятника, Энно тихо произнес несколько стихов, выражавших сущность душевной трагедии героя.

— Чьи эти стихи? — спросил я.

— Мои, — отвечал Энно, — я написал их для Мэнни.

Я не мог вполне судить о внутренней красоте стихов на чуждом еще для меня языке, но несомненно, что их мысль была ясна, ритм очень стройный, рифма звучная и богатая. Это дало новое направление моим мыслям.

— Значит, у вас в поэзии еще процветают строгий ритм и рифма?

— Конечно, — с оттенком удивления сказал Энно. — Разве это кажется вам некрасивым?

— Нет, вовсе не то, — объяснил я, — но у нас распространено мнение, что эта форма была порождена вкусами господствующих классов нашего общества, как выражение их прихотливости и пристрастия к условностям, сковывающим свободу художественной речи. Из этого делают вывод, что поэзия будущего, поэзия эпохи социализма должна отвергнуть и забыть эти стеснительные законы.

— Это совершенно несправедливо, — горячо возразил Энно. — Правильно-ритмическое кажется нам красивым вовсе не из пристрастия к условному, а потому, что оно глубоко гармонирует с ритмической правильностью процессов нашей жизни и сознания. А рифма, завершающая ряд многообразий в одинаковых конечных аккордах, разве она не находится в таком же глубоком родстве с той жизненной связью людей, которая их внутреннее многообразие увенчивает единством настроения в искусстве? Без ритма вообще нет художественной формы. Где нет ритма звуков, там должен быть, и притом тем строже, ритм идей... А если рифма, действительно, феодального происхождения, то ведь это можно сказать и о многих других хороших и красивых вещах.

— Но ведь рифма в самом деле стесняет и затрудняет выражение поэтической идеи?

— Так что же из этого? Ведь это стеснение вытекает из цели, которую свободно ставит себе художник. Оно не только затрудняет, но и совершенствует выражение поэтической идеи, и только ради этого оно и существует. Чем сложнее цель, тем труднее путь к ней и, следовательно, тем больше стеснений на этом пути. Если вы хотите построить красивое здание, сколько правил техники и гармонии будут определять и, значит, «стеснять» вашу работу! Вы свободны в выборе целей, — это и есть единственная человеческая свобода. Но раз вы желаете цели, тем самым вы желаете и средств, которыми она достигается.

Мы сошли в сад отдохнуть от массы впечатлений. Был уже вечер, ясный и мягкий весенний вечер. Цветы начинали свертывать свои чашечки и листья, чтобы закрыть их на ночь: это общая особенность растений Марса, порожденная его холодными ночами. Я возобновил начатый разговор.

— Скажите, какие роды беллетристики у вас теперь преобладают?

— Драма, особенно трагедия, и поэзия картин природы, — ответил Энно.

— В чем же содержание вашей трагедии? Где материал для нее в вашем счастливом мирном существовании?

— Счастливое? мирное? откуда вы это взяли? У нас царствует мир между людьми, это правда, но нет мира со стихийностью природы и не может его быть. А это такой враг, в самом поражении которого всегда есть новая угроза. За последний период нашей истории мы в десятки раз увеличили эксплуатацию нашей планеты, наша численность возрастает, и еще несравненно быстрее растут наши потребности. Опасность истощения природных сил и средств уже не раз вставала перед нами то в одной, то в другой области труда. До сих пор нам удавалось преодолеть ее, не прибегая к ненавистному сокращению жизни — в себе и в потомстве, но именно теперь эта борьба принимает особенно серьезный характер.

— Я никак не думал, что при вашем техническом и научном могуществе возможны такие опасности. Вы говорите, что это уже случилось в вашей истории?

— Еще семьдесят лет тому назад, когда иссякли запасы каменного угля, а переход на водяную и электрическую энергии был далеко еще не завершен, нам, чтобы выполнить громадную перестройку машин, пришлось истребить значительную долю дорогих нам лесов нашей планеты, что на десятки лет обезобразило ее и ухудшило климат. Потом, когда мы уже оправились от этого кризиса, лет двадцать тому назад, оказалось, что приходят к концу железные руды. Началось спешное изучение твердых сплавов алюминия, и громадная доля технических сил, которыми мы располагали, была направлена на электрическое добывание алюминия из почвы. Теперь, по вычислениям статистиков, нам угрожает через тридцать лет недостаток пищи, если до того времени не будет выполнен синтез белковых веществ из элементов.

— А другие планеты? — возразил я. — Разве там вы не можете найти, чем пополнить недостаток?

— Где? Венера, по-видимому, еще недоступна. Земля? Она имеет свое человечество, и вообще до сих пор не выяснено, насколько удастся нам использовать ее силы. На переезд туда нужна каждый раз громадная затрата энергии, а запасы радирующей материи, необходимой для этого, по словам Мэнни, который недавно рассказал мне о своих последних исследованиях, очень невелики на нашей планете. Нет, трудности повсюду значительны, и чем теснее наше человечество смыкает свои ряды для завоевания природы, тем теснее смыкаются и стихии для мести за победы.

— Но всегда же достаточно, например, сократить размножение, чтобы поправить дело?

— Сократить размножение? Да ведь это и есть победа стихий. Это — отказ от безграничного роста жизни, это — неизбежная ее остановка на одной из ближайших ступеней. Мы побеждаем, пока нападаем. Когда же мы откажемся от роста нашей армии, это будет значить, что мы уже осажены стихиями со всех сторон. Тогда станет ослабевать вера в нашу коллективную силу, в нашу великую общую жизнь. А вместе с этой верой будет теряться и смысл жизни каждого из нас, потому что в каждом из нас, маленьких клеток великого организма, живет целое, и каждый живет этим целым. Нет! сократить размножение — это последнее, на что бы мы решились, а когда это случится помимо нашей воли, то оно будет началом конца.

— Ну хорошо, я понимаю, что трагедия целого для вас всегда существует, по крайней мере как угрожающая возможность. Но пока победа остается еще за человечеством, личность достаточно защищена от этой трагедии коллективностью, даже когда наступает прямая опасность, гигантские усилия и страдания напряженной борьбы так ровно распределяются между бесчисленными личностями, что не могут серьезно нарушить их спокойного счастья. А для счастья у вас, кажется, есть все, что надо.

— Спокойное счастье! Да разве может личность не чувствовать сильно и глубоко потрясений жизни целого, в котором ее начало и конец? И разве не возникает глубоких противоречий жизни из самой ограниченности отдельного существа по сравнению с его целым, из самого бессилия вполне слиться с этим целым, вполне растворить в нем свое сознание и охватить его своим сознанием? Вам непонятны эти противоречия? Это потому,

что они затемнены в вашем мире другими, более близкими и грубыми. Борьба классов, групп, личностей отнимает у вас идею целого, а с ней и то счастье, и те страдания, которые она приносит. Я видел ваш мир, я не мог бы вынести десятой доли того безумия, среди которого живут ваши братья. Но именно поэтому я не взялся бы решить, кто из нас ближе к спокойному счастью: чем жизнь стройнее и гармоничнее, тем мучительнее в ней неизбежные диссонансы.

— Но скажите, Энно, разве вы, например, не счастливый человек? Молодость, наука, поэзия и, наверно, любовь... Что могли вы испытать такого тяжелого, чтобы говорить настолько горячо о трагедии жизни?

— Это очень удачно, — засмеялся Энно, и странно звучал его смех. — Вы не знаете, что веселый Энно один раз уже решил было умереть. И если бы Мэнни всего на один день опоздал написать ему шесть слов, расстроивших все расчеты: «Не хотите ли ехать на Землю?» — то у вас не было бы вашего веселого спутника. Но сейчас я не сумел бы объяснить вам всего этого. Вы сами увидите потом, что если есть у нас счастье, то только не то мирное и спокойное счастье, о котором вы говорили.

Я не решился идти дальше в вопросах. Мы встали и вернулись в музей. Но я не мог больше систематически осматривать коллекции: мое внимание было рассеяно, мысли ускользали. Я остановился в отделе скульптуры перед одной из новейших статуй, изображавшей прекрасного мальчика. Черты его лица напоминали Нэтти, но всего больше меня поразило то искусство, с которым художник сумел в несложившемся теле, в незаконченных чертах, в тревожных, пылливо вглядывающихся глазах ребенка воплотить зарождающуюся гениальность. Я долго неподвижно стоял перед статуей, и все остальное успело исчезнуть из моего сознания, когда голос Энно заставил меня очнуться.

— Это вы, — сказал он, указывая на мальчика, — это ваш мир. Это будет чудесный мир, но он еще в детстве; и посмотрите, какие смутные грезы, какие тревожные образы волнуют его сознание... Он в полусне, но он проснется, я чувствую это, я глубоко верю в это!

К радостному чувству, которое вызвали во мне эти слова, примешивалось странное сожаление:

«Зачем не Нэтти сказал это!»

## V. В лечебнице

Я возвратился домой очень утомленный, а после двух бессонных ночей и целого дня полной неспособности к работе я решил опять отправиться к Нэтти, так как мне не хотелось обращаться к незнакомому врачу химического городка. Нэтти с утра работал в лечебнице; там я и нашел его за приемом приходящих больных.

Когда Нэтти увидал меня в приемной, он тотчас подошел ко мне, внимательно посмотрел на мое лицо, взял за руку и отвел в отдаленную маленькую комнату, где с мягким голубым светом смешивался легкий, приятный запах незнакомых мне духов и тишина ничем не нарушалась. Там он удобно усадил меня в глубокое кресло и сказал:

— Ни о чем не думайте, ни о чем не заботьтесь. На сегодня я беру все это на себя. Отдохните, я потом приду.

Он ушел, а я ни о чем не думал, ни о чем не заботился, так как он взял на себя все мысли и заботы. Это было очень приятно, и через несколько минут я заснул. Когда я очнулся, Нэтти опять стоял передо мной и с улыбкой смотрел на меня.

— Вам теперь лучше? — спросил он.

— Я совершенно здоров, а вы — гениальный врач, — отвечал я. — Идите к своим больным и не беспокойтесь обо мне.

— Моя работа на сегодня уже кончена. Если хотите, я покажу вам нашу лечебницу, — предложил Нэтти.

Мне это было очень интересно, и мы отправились в обход по всему обширному

красивому зданию.

Среди больных преобладали хирургические и нервные. Большая часть хирургических были жертвы несчастных случаев с машинами.

— Неужели у вас на заводах и фабриках недостаточно ограждений? — спросил я у Нэтти.

— Абсолютных ограждений, при которых несчастные случаи были бы невозможны, почти не существует. Но здесь собраны эти больные из района с населением больше двух миллионов человек, — на такой район несколько десятков пострадавших не так много. Чаще всего — это новички, еще не освоившиеся с устройством машин, на которых работают: у нас ведь все любят переходить из одной области производства в другую. Специалисты, ученые и художники особенно легко становятся жертвами своей рассеянности: внимание им часто изменяет, они задумываются или забываются в созерцании.

— А нервные больные — это, конечно, главным образом от переутомления?

— Да, таких немало. Но не меньше и болезней, вызванных волнениями и кризисами половой жизни, а также другими душевными потрясениями, например смертью близких людей.

— А здесь есть душевнобольные с затемненным или спутанным сознанием?

— Нет, таких здесь нет, для них есть отдельные лечебницы. Там нужны особые приспособления для тех случаев, когда больной может причинить вред себе или другим.

— В таких случаях у вас прибегают к насилию над больными?

— Настолько, насколько это безусловно необходимо, разумеется.

— Вот уже второй раз я встречаюсь с насилием в вашем мире. Первый раз это было в доме детей. Скажите: вам, значит, не удастся вполне устранить эти элементы из вашей жизни, вы принуждены их сознательно допускать?

— Да, как мы допускаем болезнь и смерть или, пожалуй, как горькое лекарство. Какое же разумное существо откажется от насилия, например, для самозащиты?

— Знаете, для меня это значительно уменьшает пропасть между нашими мирами.

— Но ведь их главное различие вовсе не в том заключается, что у вас много насилия и принуждения, а у нас мало. Главное различие в том, что у вас то и другое облекается в законы, внешние и внутренние, в нормы права и нравственности, которые господствуют над людьми и постоянно тяготеют над ними. У нас же насилие существует либо как проявление болезни, либо как разумный поступок разумного существа. И в том и в другом случае ни из него, ни для него не создается никаких общественных законов и норм, никаких личных или безличных повелений.

— Но установлены же у вас правила, по которым вы ограничиваете свободу ваших душевнобольных или ваших детей?

— Да, чисто научные правила ухода за больными и педагогики. Но, конечно, и в этих технических правилах вовсе не предусматриваются ни все случаи необходимости насилия, ни все способы его применения, ни его степень, — все это зависит от совокупности действительных условий.

— Но если так, то здесь возможен настоящий произвол со стороны воспитателей или тех, кто ухаживает за больными?

— Что значит это слово — «произвол»? Если оно означает ненужное, излишнее насилие, то оно возможно только со стороны больного человека, который сам подлежит лечению. А разумный и сознательный человек, конечно, не способен на это.

Мы миновали комнаты больных, операционные, комнаты лекарств, квартиры ухаживающих за больными и, поднявшись в верхний этаж, прошли в большую красивую залу, через прозрачные стены которой открывался вид на озеро, лес и отдаленные горы. Комнату украшали высокохудожественные статуи и картины, мебель была роскошна и изящна.

— Это — комната умирающих, — сказал Нэтти.

— Вы приносите сюда всех умирающих? — спросил я.



— Да, или они сами сюда приходят, — отвечал Нэтти.

— Но разве ваши умирающие могут еще сами ходить? — удивился я.

— Те, которые физически здоровы, конечно, могут.

Я понял, что речь шла о самоубийцах.

— Вы предоставляете самоубийцам эту комнату для выполнения их дела?

— Да, и все средства спокойной, безболезненной смерти.

— И при этом — никаких препятствий?

— Если сознание пациента ясно и его решение твердо, то какие же могут быть препятствия? Врач, конечно, сначала предлагает больному посоветоваться с ним. Некоторые соглашаются на это, другие — нет...

— И самоубийства очень часты между вами?

— Да, особенно среди стариков. Когда чувство жизни слабеет и притупляется, тогда многие предпочитают не ждать естественного конца.

— Но вам приходится сталкиваться и с самоубийством молодых людей, полных сил и здоровья?

— Да, бывает и это, но это не часто. На моей памяти в этой лечебнице было два таких случая; в третьем случае попытку удалось остановить.

— Кто же были эти несчастные и что привело их к гибели?

— Первый был мой учитель, замечательный врач, который внес в науку много нового. У него была чрезмерно развита способность чувствовать страдания других людей. Это направило его ум и энергию в сторону медицины, но это и погубило его. Он не вынес. Свое душевное состояние он скрывал от всех так хорошо, что крушение произошло совершенно неожиданно. Это случилось после тяжелой эпидемии, возникшей при работах по осушению одного морского залива вследствие разложения нескольких сот миллионов килограммов погибшей при этом рыбы. Болезнь была мучительна, как холера, но еще гораздо опаснее и в девяти случаях из десяти оканчивалась смертью. Благодаря этой слабой возможности выздоровления врачи даже не могли исполнять просьб своих больных о скорой и легкой смерти: ведь нельзя считать вполне сознательным человека, захваченного острой лихорадочной болезнью. Мой учитель безумно работал во время эпидемии, и его исследования помогли довольно скоро покончить с нею. Но когда это было сделано, он отказался жить.

— Сколько лет ему было тогда?

— По нашему счету — около пятидесяти. У нас это еще совсем молодой возраст.

— А другой случай?

— Это была женщина, у которой умерли муж и ребенок одновременно.

— И наконец, третий случай?

— Его мог бы рассказать вам только сам товарищ, его переживший.

— Это правда, — сказал я. — Но объясните мне другое: почему у вас, марсиан, так долго сохраняется молодость? Особенность ли это вашей расы, или результат лучших условий жизни, или еще что-нибудь?

— Раса тут ни при чем: лет 200 тому назад мы были вдвое менее долговечны. Лучшие условия жизни? Да, в значительной мере это. Но не только это. Главную роль тут играет применяемое нами обновление жизни.

— Что же это такое?

— Вещь, в сущности, очень простая, но вам она, вероятно, покажется странной. А между тем в вашей науке уже имеются все данные для этого метода. Вы знаете, что природа, чтобы повысить жизнеспособность клеток или организмов, постоянно дополняет одну особь другою. Для этой цели одноклеточные существа, когда их жизнеспособность понизится в однообразной обстановке, сливаются по два в одно, и только этим путем возвращается в полной мере способность их к размножению — «бессмертие» их протоплазмы. Такой же смысл имеет и половое скрещивание высших растений и животных: здесь также соединяются жизненные элементы двух различных существ, чтобы получился более

совершенный зародыш третьего. Наконец, вы знаете уже и применение кровяных сывороток для передачи от одного существа другому элементов жизнеспособности, так сказать, по частям — в виде, например, повышенного сопротивления той или иной болезни. Мы же идем дальше и устраиваем обмен крови между двумя человеческими существами, из которых каждое может передавать другому массу условий повышения жизни. Это просто одновременное переливание крови от одного человека другому и обратно путем двойного соединения соответственными приборами их кровеносных сосудов. При соблюдении всех предосторожностей это совершенно безопасно; кровь одного человека продолжает жить в организме другого, смешавшись там с его кровью и внося глубокое обновление во все его ткани.

— И таким образом можно возвращать молодость старикам, вливая в их жилы юношескую кровь?

— Отчасти да, но не вполне, разумеется, потому что кровь — не все в организме, и она, в свою очередь, им перерабатывается. Поэтому, например, молодой человек не стареет от крови пожилого: то, что в ней есть слабого, старческого, быстро преодолевается молодым организмом, но в то же время из нее усваивается многое такое, чего не хватает этому организму; энергия и гибкость его жизненных отправлений также возрастают.

— Но если это так просто, то почему же наша земная медицина до сих пор не пользуется этим средством? Ведь она знает и переливание крови уже несколько сот лет, если не ошибаюсь.

— Не знаю, может быть, есть какие-нибудь особые органические условия, которые у вас лишают это средство его значения. А может быть, это просто результат господствующей у вас психологии индивидуализма, которая так глубоко отграничивает у вас одного человека от другого, что мысль об их жизненном слиянии для ваших ученых почти недоступна. Кроме того, у вас распространена такая масса болезней, отравляющих кровь, болезней, о которых сами больные часто не знают, а иногда и просто скрывают. Практикуемое в вашей медицине — теперь очень редко — переливание крови имеет какой-то филантропический характер: тот, у кого ее много, дает другому, у которого в ней есть острая нужда, вследствие, например, большого кровотечения из раны. У нас бывает, конечно, и это, но постоянно применяется другое — то, что соответствует всему нашему строю: товарищеский обмен жизни не только в идейном, но и в физиологическом существовании...

## VI. Работа и призраки

Впечатления первых дней, бурным потоком нахлынувшие на мое сознание, дали мне понятие о громадных размерах той работы, которая мне предстояла. Надо было прежде всего постигнуть этот мир, неизмеримо богатый и своеобразный в своей жизненной стройности. Надо было затем войти в него не в качестве интересного музейного экземпляра, а в качестве человека среди людей, работника среди работников. Только тогда могла быть выполнена моя миссия, только тогда я мог послужить началом действительной взаимной связи двух миров, между которыми я, социалист, находился на границе как бесконечно малый момент настоящего — между прошлым и будущим.

Когда я уезжал из лечебницы, Нэтти сказал мне: «Не очень спешите!» Мне казалось, что он не прав. Надо было именно спешить, надо было пустить в ход все свои силы, всю свою энергию, потому что ответственность была страшно велика! Какую колоссальную пользу нашему старому, измученному человечеству, какое гигантское ускорение его развития, его расцвета должно было принести живое, энергичное влияние высшей культуры, могучей и гармоничной! И каждый момент замедления в моей работе мог отдалять это влияние... Нет, ждать, отдохнуть было некогда.

И я очень много работал. Я познакомился с наукой и техникой нового мира, я напряженно наблюдал его общественную жизнь, я изучал его литературу. Да, тут было много трудного.

Их научные методы ставили меня в тупик: я механически усваивал их, убеждался на опыте, что применение их легко, просто и непогрешимо, а между тем я не понимал их, не понимал, почему они ведут к цели, где их связь с живыми явлениями, в чем их сущность. Я был точно те старые математики XVII века, неподвижная мысль которых органически не могла усваивать живой динамики бесконечно малых величин.

Общественные собрания марсиан поражали меня своим напряженно-деловым характером. Были ли они посвящены вопросам науки, или вопросам организации работ, или даже вопросам искусства, — доклады и речи были страшно сжаты и кратки, аргументация определена и точна, никто никогда не повторялся и не повторял других. Решения собраний, чаще всего единогласные, выполнялись со сказочной быстротой. Решало собрание ученых одной специальности, что надо организовать такое-то научное учреждение; собрание статистиков труда, что надо устроить такое-то предприятие; собрание жителей города, что надо украсить его таким-то зданием, — немедленно появлялись новые цифры необходимого труда, публикуемые центральным бюро, приезжали по воздуху сотни и тысячи новых работников, и через несколько дней или недель все было уже сделано, а новые работники исчезали неизвестно куда. Все это производило на меня впечатление как будто своеобразной магии, странной магии, спокойной и холодной, без заклинаний и мистических украшений, но тем более загадочной в своем сверхчеловеческом могуществе.

Литература нового мира, даже чисто художественная, не была также для меня ни отдыхом, ни успокоением. Ее образы были как будто несложны и ясны, но как-то внутренне чужды для меня. Мне хотелось глубже в них проникнуть, сделать их близкими и понятными, но мои усилия приводили к совершенно неожиданному результату: образы становились призрачными и одевались туманом.

Когда я шел в театр, то и здесь меня преследовало все то же чувство непонятного. Сюжеты были просты, игра превосходна, а жизнь оставалась далекой. Речи героев были так сдержанны и мягки, поведение так спокойно и осторожно, их чувства подчеркивались так мало, как будто они не хотели навязывать зрителю никаких настроений, как будто они были сплошные философы да еще, как мне казалось, сильно идеализированные. Только исторические пьесы из далекого прошлого давали мне сколько-нибудь знакомые впечатления, а игра актеров там была настолько же энергична и выражения личных чувств настолько же откровенны, как я привык видеть в наших театрах.

Было одно обстоятельство, которое, несмотря на все, привлекало меня в театр нашего маленького городка с особенной силой. Это именно то, что в нем вовсе не было актеров. Пьесы, которые я там видел, либо передавались оптическими и акустическими передаточными аппаратами из далеких больших городов, либо даже — и это чаще всего — были воспроизведением игры, которая была давно, иногда так давно, что сами актеры уже умерли. Марсиане, зная способы моментального фотографирования в естественных цветах, применяли их для того, чтобы фотографировать жизнь в движении, как это делается для наших кинематографов. Но они не только соединяли кинематограф с фонографом, как это начинают делать у нас на Земле, — пока еще весьма неудачно, — но они пользовались идеей стереоскопа и превращали изображения кинематографа в рельефные. На экране давалось одновременно два изображения — две половины стереограммы, а перед каждым креслом зрительной залы был прикреплен соответствующий стереоскопический бинокль, который сливал два плоских изображения в одно, но всех трех измерений. Было странно видеть ясно и отчетливо живых людей, которые движутся, действуют, выражают свои мысли и чувства, и сознавать в то же время, что там ничего нет, а есть матовая пластинка и за нею — фонограф и электрический фонарь с часовым механизмом. Это было почти мистически странно и порождало смутное сомнение во всей действительности.

Все это, однако, не облегчало мне выполнения моей задачи — понять чужой мир. Мне, конечно, нужна была помощь со стороны. Но я все реже обращался к Мэнни за указаниями и объяснениями. Мне было неловко обнаруживать свои затруднения во всем их объеме. К тому же внимание Мэнни в это время было страшно занято одним важным исследованием из

области добывания «минус-материи». Он работал неутомимо, часто не спал целые ночи, и мне не хотелось мешать ему и отвлекать его; а его увлечение работой было как будто живым примером, который невольно побуждал меня идти дальше в своих усилиях.

Остальные друзья между тем временно исчезли с моего горизонта. Нэтти уехал за несколько тысяч километров руководить устройством и организацией новой гигантской лечебницы в другом полушарии планеты. Энно был занят как помощник Стэрни в его обсерватории измерениями и вычислениями, необходимыми для новых экспедиций на Землю и Венеру, а также для экспедиций на Луну и Меркурий с целью их лучше сфотографировать и привезти образчики их минералов. С другими марсианами я близко не сходил, а ограничивался необходимыми расспросами и деловыми разговорами: трудно и странно было сближаться с чуждыми мне и высшими, чем я, существами.

С течением времени мне стало казаться, что работа моя идет, в сущности, недурно. Я все меньше нуждался в отдыхе и даже в сне. То, что я изучал, как-то механически легко и свободно стало укладываться в моей голове, и при этом ощущение было таково, словно голова совершенно пуста и в ней можно поместить еще очень, очень много. Правда, когда я пытался по старой привычке отчетливо формулировать для себя то, что узнавал, это мне большей частью не удавалось; но я находил, что это неважно, что мне не хватает только выражений да каких-нибудь частных и мелочей, а общее понятие у меня имеется, и это главное.

Никакого живого удовольствия мне мои занятия уже не доставляли; ничто не вызывало во мне прежнего непосредственного интереса. «Что же, это вполне понятно, — думал я, — после всего, что я видел и узнал, меня трудно чем-нибудь еще удивить; дело не в том, чтобы это мне было приятно, а в том, чтобы овладеть всем, чем надо».

Только одно было непонятно: все труднее становилось сосредоточивать внимание на одном предмете. Мысли отвлекались то и дело то в одну, то в другую сторону; яркие воспоминания, часто очень неожиданные и далекие, всплывали в сознании и заставляли забывать окружающее, отнимая драгоценные минуты. Я замечал это, спохватывался и с новой энергией принимался за работу; но проходило короткое время, и снова летучие образы прошлого или фантазии овладевали моим мозгом, и снова приходилось подавлять их резким усилием.

Все чаще меня тревожило какое-то странное, беспокойное чувство, точно было что-то важное и спешное, чего я не исполнил и о чем все забываю и стараюсь вспомнить. Вслед за этим чувством поднимался целый рой знакомых лиц и минувших событий и неудержимым потоком уносил меня все дальше назад, через юность и отрочество к самому раннему детству, теряясь затем в каких-то смутных и неясных ощущениях. После этого моя рассеянность становилась особенно сильной и упорной.

Подчиняясь внутреннему сопротивлению, которое не давало мне долго сосредоточиваться на чем-нибудь одном, я начинал все чаще и быстрее переходить от предмета к предмету и для этого нарочно собирал в своей комнате целые груды книг, раскрытых заранее на нужном месте, таблиц, карт, стенограмм, фонограмм и т. д. Таким путем я надеялся устранить потерю времени, но рассеянность все незаметнее подкрадывалась ко мне, и я ловил себя на том, что уже долго смотрю в одну точку, ничего не понимая и ничего не делая.

Зато когда я ложился в постель и смотрел сквозь стеклянную крышу на темное небо, тогда мысль начинала самовольно работать с удивительной живостью и энергией. Целые страницы цифр и формул выступали перед моим внутренним зрением с такой ясностью, что я мог перечитывать их строчка за строчкой. Но эти образы скоро уходили, уступая место другим; и тогда мое сознание превращалось в какую-то панораму удивительно ярких и отчетливых картин, не имевших уже ничего общего с моими занятиями и заботами: земные ландшафты, театральные сцены, картины детских сказок спокойно, точно в зеркале, отражались в моей душе и исчезали и сменялись, не вызывая никакого волнения, а только легкое чувство интереса или любопытства, не лишенное очень слабого приятного оттенка.

Эти отражения сначала проходили внутри моего сознания, не смешиваясь с окружающей обстановкой, потом они ее вытесняли, и я погружался в сон, полный живых и сложных сновидений, очень легко прерывавшийся и не дававший мне главного, к чему я стремился, — чувства отдыха.

Шум в ушах уже довольно давно меня беспокоил, а теперь он становился все постоянное и сильнее, так что иногда мешал мне слушать фонограммы, а по ночам уносил остатки сна. Время от времени из него выделялись человеческие голоса, знакомые и незнакомые; часто мне казалось, что меня окликают по имени, часто казалось, что я слышу разговор, слов которого из-за шума не могу разобрать. Я стал понимать, что уже не совсем здоров, тем более что рассеянность окончательно овладела мною и я не мог даже читать больше нескольких строчек подряд.

«Это, конечно, просто переутомление, — думал я. — Мне надо только больше отдыхать; я, пожалуй, слишком много работал. Но не надо, чтобы Мэнни заметил, что со мной происходит: это слишком похоже на банкротство с первых же шагов моего дела».

И когда Мэнни заходил ко мне в комнату — это бывало тогда, правда, не часто, — я притворялся, что усердно занимаюсь. А он замечал мне, что я работаю слишком много и рискую переутомиться.

— Особенно сегодня у вас нездоровый вид, — говорил он. — Посмотрите в зеркало, как блестят ваши глаза и как вы бледны. Вам надо отдохнуть, вы этим выиграете в дальнейшем.

И я сам очень хотел бы этого, но мне не удавалось. Правда, я почти ничего не делал, но меня утомляло уже всякое, самое маленькое усилие; а бурный поток живых образов, воспоминаний и фантазий не прекращался ни днем, ни ночью. Окружающее как-то бледнело и терялось за ними и приобретало призрачный оттенок.

Наконец я должен был сдаться. Я видел, что вялость и апатия все сильнее овладевают моей волей и я все меньше могу бороться со своим состоянием. Раз утром, когда я встал с постели, у меня все сразу потемнело в глазах. Но это быстро прошло, и я подошел к окну, чтобы посмотреть на деревья парка. Вдруг я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Я обернулся — передо мной стояла Анна Николаевна. Лицо ее было бледно и грустно, взгляд полон упрека. Меня это огорчило, и я, совершенно не думая о странности ее появления, сделал шаг по направлению к ней и хотел сказать что-то. Но она исчезла, как будто растаяла в воздухе.

С этого момента началась оргия призраков. Многого я, конечно, не помню, и, кажется, сознание часто спутывалось у меня наяву, как во сне. Приходили и уходили или просто появлялись и исчезали самые различные люди, с какими я встречался в своей жизни, и даже совершенно незнакомые мне. Но между ними не было марсиан, это были все земные люди, большей частью те, которых я давно не видал, — старые школьные товарищи, молодой брат, который умер еще в детстве. Как-то раз через окно я увидел на скамейке знакомого шпиона, который со злобной насмешкой смотрел на меня своими хищными, бегающими глазами. Призраки не разговаривали со мной, а ночью, когда было тихо, слуховые галлюцинации продолжались и усиливались, превращаясь в целые связные, но нелепо-бессодержательные разговоры большей частью между неизвестными мне лицами: то пассажир торговался с извозчиком, то приказчик уговаривал покупателя взять у него материю, то шумела университетская аудитория, а субинспектор убеждал успокоиться, потому что сейчас придет господин профессор. Зрительные галлюцинации были, по крайней мере, интересны, да и мешали мне гораздо меньше и реже.

После появления Анны Николаевны я, разумеется, сказал все Мэнни. Он тотчас уложил меня в постель, позвал ближайшего врача и телефонировал Нэтти за шесть тысяч километров. Врач сказал, что он не решается что-нибудь предпринять, потому что недостаточно знает организацию земного человека, но что, во всяком случае, главное для меня — спокойствие и отдых, и тогда неопасно подождать несколько дней, пока приедет Нэтти.

Нэтти явился на третий день, передав все свое дело другому. Увидав, в каком я состоянии, он с грустным упреком взглянул на Мэнни.

## VII. Нэтти

Несмотря на лечение такого врача, как Нэтти, болезнь продолжалась еще несколько недель. Я лежал в постели, спокойный и апатичный, одинаково равнодушно наблюдая действительность и призраки; даже постоянное присутствие Нэтти доставляло мне лишь очень слабое, едва заметное удовольствие.

Мне странно вспоминать о своем тогдашнем отношении к галлюцинациям: хотя десятки раз мне приходилось убеждаться в их нереальности, но каждый раз, как они появлялись, я как будто забывал все это; даже если мое сознание не затемнялось и не спутывалось, я принимал их за действительные лица и вещи. Понимание их призрачности выступало только после их исчезновения или перед самым исчезновением.

Главные усилия Нэтти в его лечении были направлены на то, чтобы заставить меня спать и отдыхать. Никаких лекарств для этого, однако, и он применять не решался, боясь, что все они могут оказаться ядами для земного организма. Несколько дней ему не удавалось усыпить меня его обычными способами: галлюцинаторные образы врываются в процесс внушения и разрушали его действие. Наконец ему удалось это, и, когда я проснулся после двух-трех часов сна, он сказал:

— Теперь ваше выздоровление несомненно, хотя болезнь еще довольно долго будет идти своим путем.

И она в самом деле шла своим путем. Галлюцинации становились реже, но они не были менее живыми и яркими; они даже стали несколько сложнее, — иногда призрачные гости вступали в разговор со мною.

Но из этих разговоров только один имел смысл и значение для меня. Это было в конце болезни.

Проснувшись утром, я увидел около себя по обыкновению Нэтти, а за его креслом стоял мой старший товарищ по революции, пожилой человек и очень злой насмешник, агитатор Ибрагим. Он как будто ожидал чего-то. Когда Нэтти вышел в другую комнату приготовить ванну, Ибрагим грубо и решительно сказал мне:

— Ты дурак! Чего ты зеваешь? Разве ты не видишь, кто твой доктор?

Я как-то мало удивился намеку, заключающемуся в этих словах, а их циничный тон не возмутил меня — он был мне знаком и очень обычен для Ибрагима. Но я вспомнил железное пожатие маленькой руки Нэтти и не поверил Ибрагиму.

— Тем хуже для тебя! — сказал он с презрительной усмешкой и в ту же минуту исчез.

В комнату вошел Нэтти. При виде его я почувствовал странную неловкость. Он пристально посмотрел на меня.

— Это хорошо, — сказал он. — Ваше выздоровление идет быстро.

Весь день после этого он был как-то особенно молчалив и задумчив. На другой день, убедившись, что я чувствую себя хорошо и галлюцинации не повторяются, он уехал по своим делам до самой ночи, заменив себя другим врачом. После этого в течение целого ряда дней он являлся лишь по вечерам, чтобы усыпить меня на ночь. Тогда только мне стало ясно, насколько для меня важно и приятно его присутствие. Вместе с волнами здоровья, которые как будто вливались в мой организм из всей окружающей природы, стали все чаще приходиться размышления о намеке Ибрагима. Я колебался и всячески убеждал себя, что это нелепость, порожденная болезнью: из-за чего бы Нэтти и прочим друзьям обманывать меня относительно этого? Тем не менее смутное сомнение оставалось, и оно мне было приятно.

Иногда я допрашивал Нэтти, какими делами он сейчас занят. Он объяснял мне, что идет ряд собраний, связанных с устройством новых экспедиций на другие планеты, и он там нужен как эксперт. Мэнни руководил этими собраниями; но ни Нэтти, ни он не собирались скоро ехать, что меня очень радовало.

— А вы сами не думаете ехать домой? — спросил меня Нэтти, и в его тоне я подметил беспокойство.

— Но ведь я еще ничего не успел сделать, — отвечал я.

Лицо Нэтти просияло.

— Вы ошибаетесь, вы сделали многое... даже и этим ответом, — сказал он.

Я чувствовал в этом намек на что-то такое, чего я не знаю, но что касается меня.

— А не могу ли я отправиться с вами на одно из этих совещаний? — спросил я.

— Ни в каком случае! — решительно заявил Нэтти. — Кроме безусловного отдыха, который вам нужен, вам надо еще целые месяцы избегать всего, что имеет тесную связь с началом вашей болезни.

Я не спорил. Мне было так приятно отдыхать; а мой долг перед человечеством ушел куда-то далеко. Меня беспокоили только, и все сильнее, странные мысли о Нэтти.

Раз вечером я стоял у окна и смотрел на темневшую внизу таинственную красную «зелень» парка, и она казалась мне прекрасной, и не было в ней ничего чуждого моему сердцу. Раздался легкий стук в дверь; я сразу почувствовал, что это Нэтти. Он вошел своей быстрой, легкой походкой и, улыбаясь, протянул мне руку — старое, земное приветствие, которое нравилось ему. Я радостно сжал его руку с такой энергией, что и его сильным пальцам пришлось плохо.

— Ну, я вижу, моя роль врача окончена, — смеясь, сказал он. — Тем не менее я должен еще вас порасспросить, чтобы твердо установить это.

Он расспрашивал меня, я бестолково отвечал ему в непонятном смущении и читал скрытый смех в глубине его больших-больших глаз. Наконец я не выдержал:

— Объясните мне, откуда у меня такое сильное влечение к вам? Почему я так необыкновенно рад вас видеть?

— Всего скорее, я думаю, оттого, что я лечил вас, и вы бессознательно переносите на меня радость выздоровления. А может быть... и еще одно... это, что я... женщина...

Молния блеснула перед моими глазами, и все потемнело вокруг, и сердце словно перестало биться... Через секунду я как безумный сжимал Нэтти в своих объятиях и целовал ее руки, ее лицо, ее большие, глубокие глаза, зеленовато-синие, как небо ее планеты.

Великодушно и просто Нэтти уступала моим необузданным порывам... Когда я очнулся от своего радостного безумия и вновь целовал ее руки с невольными слезами благодарности на глазах, — то была, конечно, слабость от перенесенной болезни, — Нэтти сказала со своей милой улыбкой:

— Да, мне казалось сейчас, что весь ваш юный мир я чувствую в своих объятиях. Его деспотизм, его эгоизм, его отчаянная жажда счастья — все было в ваших ласках. Ваша любовь сродни убийству... Но... я люблю вас, Лэнни...

Это было счастье.

## Часть III

### I. Счастье

Эти месяцы... Когда я их вспоминаю, трепет охватывает мое тело, и туман застилает мои глаза, и все вокруг кажется ничтожным. И нет слов, чтобы выразить минувшее счастье.

Новый мир стал мне близок и, казалось, вполне понятен. Прошлые поражения не смущали меня, юность и вера возвратились ко мне и, я думал, никогда не уйдут больше. У меня был надежный и сильный союзник, слабости не было места, будущее принадлежало мне.

К прошлому мысль моя возвращалась редко, а больше всего к тому, что касалось Нэтти и нашей любви.

— Зачем вы скрывали от меня свой пол? — спросил я ее вскоре после того вечера.

— Сначала это произошло само собой, случайно. Но потом я поддерживала ваше заблуждение вполне сознательно и даже умышленно изменила в своем костюме все то, что могло навести вас на истину. Меня напугала трудность и сложность вашей задачи, я боялась усложнить ее еще больше, особенно когда заметила ваше бессознательное влечение ко мне. Я и сама не вполне понимала себя... до вашей болезни.

— Значит, это она решила дело... Как я благодарен моим милым галлюцинациям!

— Да, когда я услышала о вашей болезни, это было как громовой удар. Если бы мне не удалось вполне вылечить вас, я бы, может быть, умерла.

После нескольких секунд молчания она прибавила:

— А знаете, в числе ваших друзей есть еще одна женщина, о которой вы этого не подозревали, и она также очень любит вас... конечно, не так, как я...

— Энно! — сейчас же догадался я.

— Ну конечно. И она также обманывала вас нарочно по моему совету.

— Ах, сколько обмана и коварства в вашем мире! — воскликнул я с шутливым пафосом. (...)

Дни проходили за днями, и я радостно овладевал прекрасным новым миром.

## II. Разлука

И все-таки этот день наступил, день, о котором я не могу вспомнить без проклятья, день, когда между мной и Нэтти встала черная тень ненавистной и неизбежной... разлуки. Со спокойным и ясным, как всегда, выражением лица Нэтти сказала мне, что она должна отправиться на днях вместе с гигантской экспедицией, снаряжаемой на Венеру под руководством Мэнни. Видя, как я ошеломлен этим известием, она прибавила:

— Это будет недолго; в случае успеха, в котором я не сомневаюсь, часть экспедиции вернется очень скоро, и я в том числе.

Затем она стала объяснять мне, в чем дело. На Марсе запасы радиоматерии, необходимой как двигатель междупланетного сообщения и как орудие разложения и синтеза всех элементов, приходили к концу: она только тратилась, и не было средств для ее возобновления. На Венере, молодой планете, которая существовала почти вчетверо меньше, чем Марс, было по несомненным признакам установлено присутствие у самой поверхности колоссальных залежей радирующих веществ, не успевших самостоятельно разложиться. На одном острове, расположенном среди главного океана Венеры и носившем у марсиан имя «Острова горячих бурь», находилась самая богатая руда радиоматерии; и там решено было начать немедленно ее разработку. Но прежде всего для этого было необходимо постройкой очень высоких и прочных стен оградить работающих от губительного действия влажного горячего ветра, который своей жестокостью далеко превосходит бури наших песчаных пустынь. Поэтому и потребовалась экспедиция из десяти этеронефов и полутора-двух тысяч человек, из них всего одна двадцатая для химических, а почти все остальные для строительных работ. Были привлечены лучшие научные силы, в том числе и наиболее опытные врачи: опасности здоровью угрожали и со стороны климата и со стороны убийственных лучей и эманации радирующего вещества. Нэтти, по ее словам, не могла уклониться от участия в экспедиции; но предполагалось, что если работы пойдут хорошо, то уже через три месяца один этеронеф отправится обратно с известиями и с запасом добытого вещества. С этим этеронефом должна была вернуться и Нэтти, значит, через 10–11 месяцев после отъезда.

Я не мог понять, почему Нэтти необходимо ехать. Она говорила мне, что предприятие слишком серьезное, чтобы от него можно было отказаться; что оно имеет большое значение и для моей задачи, так как его успех впервые даст возможность частых и широких сношений с Землею; что всякая ошибка в постановке медицинской помощи с самого начала может привести к крушению всего дела. Все это было убедительно, — я уже узнал, что Нэтти считается лучшим врачом для всех тех случаев, которые выходят из рамок старого



медицинского опыта, — и все-таки мне казалось, что это не все. Я чувствовал, что тут есть что-то недоговоренное.

В одном я не сомневался — в самой Нэтти и в ее любви. Если она говорила, что ехать необходимо, значит, это было необходимо; если она не говорила почему, значит, мне не следовало ее допрашивать. Я видел страх и боль в ее прекрасных глазах, когда она думала, что я не смотрю на нее.

— Энно будет для тебя хорошим и милым другом, — сказала она с грустной улыбкой, — и Нэллу ты не забывай, она любит тебя за меня, у нее много опыта и ума, ее поддержка в трудные минуты драгоценна. А обо мне думай только одно: что я вернусь как можно скорее.

— Я верю в тебя, Нэтти, — сказал я, — и потому верю в себя, в человека, которого ты полюбила.

— Ты прав, Лэнни. И я убеждена, что из-под всякого гнета судьбы, из всякого крушения ты выйдешь верным себе, сильнее и чище, чем прежде.

Будущее бросало свою тень на наши прощальные ласки, и они смешались со слезами Нэтти.

### III. Фабрика одежды

За те короткие месяцы я успел с помощью Нэтти в значительной мере подготовить выполнение своего главного плана — стать полезным работником марсианского общества. Я сознательно отклонял все предложения читать лекции о Земле и ее людях: было бы неразумно сделать это своей специальностью, так как это значило бы искусственно останавливать свое знание на образах своего прошлого, которое и без того не могло от меня уйти, вместо того будущего, которое надо было завоевать. Я решил поступить просто на фабрику и выбрал на первый раз, после обстоятельного сравнения и обсуждения, фабрику одежды.

Я выбрал, конечно, почти самое легкое. Но для меня и здесь потребовалась немалая и серьезная предварительная работа. Пришлось изучить выработанные наукою принципы устройства фабрик вообще, ознакомиться специально с устройством той фабрики, где мне предстояло работать, с ее архитектурой, с ее организацией труда, выяснить себе в основных чертах также устройство всех применяемых на ней машин, а той машины, с которою я специально должен был иметь дело, — конечно, во всех подробностях. При этом оказалось необходимо предварительно усвоить некоторые отделы общей и прикладной механики и технологии и даже математического анализа. Главные трудности тут возникали для меня не из содержания того, что приходилось изучать, а из формы. Учебники и руководства не были рассчитаны на человека низшей культуры. Я вспоминал, как в детстве мучил меня случайно попавшийся под руку французский учебник математики. У меня было серьезное влечение к этому предмету и, по-видимому, недюжинные способности к нему; трудные для большинства начинающих идеи «предела» и «производной» достались мне как-то незаметно, точно я всегда был знаком с ними. Но у меня не было той логической дисциплины и практики научного мышления, которую предполагал в читателе-ученике французский профессор, очень ясный и точный в выражениях, но очень скупой на объяснения. Он постоянно пропускал те логические мостики, которые могли сами собой подразумеваться для человека более высокой научной культуры, но не для юного азиата. И я не раз целыми часами думал над каким-нибудь магическим превращением, следующим за словами: «откуда, принимая во внимание предыдущие уравнения, мы выводим...» Так было со мной и теперь, только еще сильнее, когда я читал марсианские научные книги; иллюзия, которая владела мной в начале моей болезни, когда мне все казалось легко и понятно, исчезла без следа. Но терпеливая помощь Нэтти постоянно была со мною и сглаживала трудный путь.

Вскоре после отъезда Нэтти я решился и вступил на фабрику. Это было гигантское и очень сложное предприятие, совершенно не подходящее к нашему обычному представлению

о фабрике одежды. Там совмещалось пряденье, тканье, кройка, шитье, окраска одежды, а материалом работы служил не лен, не хлопок и вообще не волокна растений, и не шерсть, и не шелк, а нечто совсем иное.

В прежние времена марсиане приготавливали ткани для одежды приблизительно таким же способом, как это делается у нас: культивировали волокнистые растения, стригли шерсть с подходящих животных и сдирали с них кожу, разводили особые породы пауков, из паутины которых получалось вещество, подобное шелку, и т. д. Толчок к изменению техники дан был необходимостью увеличивать все более и более производство хлеба. Волокнистые растения стали вытесняться волокнистыми минералами вроде горного льна. Затем химики направили свои усилия на исследование паутинных тканей и на синтез новых веществ с аналогичными свойствами. Когда это удалось им, то за короткое время во всей этой отрасли промышленности произошла полная революция, и теперь ткани старого типа хранятся только в исторических музеях.

Наша фабрика была истинным воплощением этой революции. Несколько раз в месяц с ближайших химических заводов по рельсовым путям доставлялся «материал» для пряжи в виде полужидкого прозрачного вещества в больших цистернах. Из этих цистерн материал при помощи особых аппаратов, устраняющих доступ воздуха, переливался в огромный, высоко подвешенный металлический резервуар, плоское дно которого имело сотни тысяч тончайших микроскопических отверстий. Через отверстия вязкая жидкость продавливалась под большим давлением тончайшими струйками, которые под действием воздуха затвердевали уже в нескольких сантиметрах и превращались в прозрачные паутинные волокна. Десятки тысяч механических веретен подхватывали эти волокна, скручивали их десятками в нити различной толщины и плотности и тянули их дальше, передавая готовую «пряжу» в следующее ткацкое отделение. Там на ткацких станках нити переплетались в различные ткани, от самых нежных, как кисея и батист, до самых плотных, как сукно и войлок, которые бесконечными широкими лентами тянулись еще дальше, в мастерскую кройки. Здесь их подхватывали новые машины, тщательно складывали во много слоев и вырезали из них тысячами заранее намеченные и размеренные по чертежам разнообразные выкройки отдельных частей костюма.

В швейной мастерской скроенные куски сшивались в готовое платье, но без всяких иголок, ниток и швейных машин. Ровно сложенные края кусков размягчались посредством особого химического растворителя, приходя в прежнее полужидкое состояние, и когда растворяющее вещество, очень летучее, через минуту испарялось, то куски материи оказывались прочно спаянными, лучше, чем это могло быть сделано каким бы то ни было швом. Одновременно с этим впаивались везде, где требовалось, и застежки, так что получались готовые части костюма — несколько тысяч образцов, различных по форме и размеру.

На каждый возраст имелось несколько сотен образцов, из которых на всякого желающего почти всегда можно было выбрать вполне подходящий, тем более что одежда у марсиан обыкновенно очень свободная. Если подходящего найти не удавалось, например вследствие не вполне нормального сложения, то немедленно снимали особую мерку, устанавливали машину для кройки по новым чертежам и «шили» специально на данное лицо, что требовало какого-нибудь часа времени.

Что касается цвета костюма, то большинство марсиан удовлетворяется обычными оттенками, темными и мягкими, в каких приготавливается самая материя. Если же требуется иной цвет, кроме того, какой оказался налицо, то костюм отправляют в красильное отделение, где в несколько минут при помощи электрохимических приемов он приобретает желательную окраску, идеально ровную и идеально прочную.

Из таких же тканей, только гораздо более плотных и прочных, и приблизительно такими же способами приготавливается обувь и теплая зимняя одежда. Наша фабрика этим не занималась, но другие, еще более крупные, производили сразу решительно все, что нужно, чтобы одеть человека с головы до ног.

Я работал поочередно во всех отделениях фабрики и вначале очень увлекался своей работой. Особенно интересно было заниматься в отделении кройки, где мне приходилось применять на деле новые для меня способы математического анализа. Задача состояла в том, чтобы из данного куска материи с наименьшей потерей материала выкраивать все части костюма. Задача, конечно, очень прозаичная, но и очень серьезная; потому что даже минимальная ошибка, повторенная много миллионов раз, давала громадную потерю. И достигать успешного решения мне удавалось «не хуже» других.

Работать «не хуже» других — к этому я стремился всеми силами и в общем не без успеха. Но я не мог не заметить, что мне это стоит гораздо больших усилий, чем остальным работникам. После обычных 4–6 (по земному счету) часов труда я бывал сильно утомлен, и мне нужен был немедленный отдых, тогда как прочие отправлялись по музеям, библиотекам, лабораториям или на другие фабрики наблюдать производство, а иногда даже там еще работать...

Я надеялся, что придет привычка к новым видам труда и сравняет меня со всеми работниками. Но этого не было. Я все более убеждался, что у меня не хватает *культуры внимания*. Физических движений требовалось очень мало, и по их быстроте и ловкости я не уступал, даже превосходил многих. Но требовалось такое непрерывное и напряженное внимание при наблюдении за машинами и материалом, которое было очень тяжело для моего мозга: очевидно, только в ряде нескольких поколений могла развиться эта способность до той степени, какая здесь являлась обычной и средней.

Когда — обыкновенно к концу моей дневной работы — в ней начинало уже сказываться утомление и внимание мне начинало изменять, я делал ошибку или замедлял на секунду выполнение какого-нибудь акта работы, тогда неминуемо и безошибочно рука когонибудь из соседей поправляла дело.

Меня не только удивляла, но порой прямо возмущала их странная способность, ни на йоту не отрываясь от своего дела, замечать все происходящее вокруг. Их заботливость не столько трогала меня, сколько вызывала во мне досаду и раздражение; у меня являлось такое чувство, как будто все они постоянно следят за моими действиями... Это беспокойное настроение увеличивало еще более мою рассеянность и портило мою работу.

Теперь, спустя долгое время, когда я тщательно и уже беспристрастно вспоминаю все обстоятельства, я нахожу, что все это воспринималось неверно. Совершенно с такой же заботливостью и совершенно таким же образом — может быть, только менее часто — мои товарищи на фабрике помогали и друг другу. Я не был предметом какого-нибудь исключительного надзора и контроля, как мне тогда казалось. Я сам — человек индивидуалистического мира — невольно и бессознательно выделял себя из остальных и болезненно воспринимал их доброту и товарищеские услуги, за которые, как это казалось мне, человеку товарного мира, мне нечем было заплатить.

#### IV. Энно

Миновала и долгая осень; зима, малоснежная, но холодная, воцарилась в нашей области — в средних широтах северного полушария. Маленькое солнце совсем не грело и светило меньше прежнего. Природа сбросила яркие краски, стала бледной и суровой. Холод заползал в сердце, сомнения росли в душе, и нравственное одиночество пришельца из другого мира становилось все более мучительным.

Я отправился к Энно, с которой давно уже не виделся. Она встретила меня как близкого и родного человека, — точно яркий луч недалекого прошлого прорезал холод зимы и сумрак заботы. Потом я заметил, что она и сама была бледна и как будто утомлена или измучена чем-то; была какая-то скрытая печаль в ее манерах и разговоре. Нам было о чем говорить между собою, и несколько часов прошли для меня незаметно и хорошо, как не бывало с самого отъезда Нэтти.

Когда я встал, чтобы отправиться домой, нам обоим стало грустно.

— Если ваша работа не приковывает вас здесь, то поедem со мною, — сказал я.

Энно сразу согласилась, взяла с собой работу — она в это время занималась не наблюдением на обсерватории, а проверкой огромного запаса вычислений, — и мы поехали в химический городок, где я жил один в квартире Мэнни. По утрам я каждый день путешествовал на свою фабрику, находившуюся в сотне километров, то есть в полчасе пути оттуда, а долгие зимние вечера мы с Энно стали теперь проводить вместе в научных занятиях, разговорах и иногда прогулках по окрестностям.

Энно рассказала мне свою историю. Она любила Мэнни и была раньше его женой. Ей страстно хотелось иметь от него ребенка, но проходил год за годом, а ребенка не было. Тогда она обратилась к Нэтти за советом. Нэтти самым внимательным образом выяснила все обстоятельства и пришла к категорическому выводу, что детей никогда не будет. Мэнни слишком поздно сложился из мальчика в мужчину и слишком рано стал жить самой напряженной жизнью ученого и мыслителя. Активность его мозга своим чрезмерным развитием подорвала и подавила жизненность элементов размножения с самого начала; и это было непоправимо.

Приговор Нэтти был страшным ударом для Энно, у которой любовь к гениальному человеку и глубокий материнский инстинкт слились в одном страстном стремлении, оказавшемся вдруг безнадежным.

Но это было не все; исследование привело Нэтти еще к другому результату. Оказалось, что для гигантской умственной работы Мэнни, для полноты развития его гениальных способностей было нужно как можно больше физической сдержанности, как можно меньше любовных ласк. Энно не могла не последовать этому совету и быстро убедилась, насколько он был справедлив и разумен. Мэнни оживился, стал работать энергичнее, чем когда-либо, новые планы с необыкновенной быстротой зарождались в его голове и выполнялись особенно успешно, и, по-видимому, он несколько не чувствовал лишения. Тогда Энно, для которой ее любовь была дороже жизни, но гений любимого человека дороже любви, сделала все выводы из того, что узнала.

Она разошлась с Мэнни; это вначале его огорчило, но потом он быстро примирился с фактом. Истинная причина разрыва осталась для него, может быть, даже неизвестной: Энно и Нэтти сохраняли ее в тайне; хотя, конечно, нельзя было знать наверняка, не угадал ли проницательный ум Мэнни скрытую подкладку событий. А для Энно жизнь оказалась настолько опустошенной, подавленное чувство создавало такие страдания, что спустя короткое время молодая женщина решила умереть.

Чтобы помешать самоубийству, Нэтти, к содействию которой обратилась Энно, под разными предлогами затянула на день его выполнение, а сама известила Мэнни. Тот в это время организовывал экспедицию на Землю и тотчас прислал Энно приглашение принять участие в этом важном и опасном предприятии. Уклониться было трудно. Энно приняла предложение. Масса новых впечатлений помогла ей справиться с душевной болью; и ко времени возвращения на Марс она успела уже овладеть собою настолько, что могла принять на себя вид веселого мальчика-поэта, которого я знал на этеронефе.

В новую экспедицию Энно не поехала потому, что боялась вновь слишком привыкнуть к присутствию Мэнни. Но тревога за его судьбу не покидала ее, пока она оставалась в одиночестве: она слишком хорошо знала опасности предприятия. В долгие зимние вечера наши мысли и разговоры постоянно возвращались к одной и той же точке вселенной: туда, где под лучами огромного солнца, под дыханием палящего ветра самые близкие для нас обоих существа с лихорадочной энергией вели свою титанически смелую работу. Нас глубоко сближало это единство мысли и настроения. Энно была для меня более чем сестрою.

Как-то само собою, без порыва и без борьбы, наше сближение привело нас к любовным отношениям. Неизменно кроткая и добрая Энно не уклонялась от этой близости, хотя и не стремилась к ней сама. Она только решила не иметь от меня детей... Был оттенок мягкой грусти в ее ласках — ласках нежной дружбы, которая все позволяет...

А зима по-прежнему простирала над нами свои холодные, бледные крылья — долгая

марсианская зима без оттепелей, бурь и метелей, спокойная и неподвижная, как смерть. И у нас обоих не было желания лететь на юг, где в это время грело солнце и полная жизни природа развешивала свою яркую одежду. Энно не хотелось той природы, слишком мало гармонизировавшей с ее настроением; я же избегал новых людей и новой обстановки, потому что знакомиться и привыкать к ним требовало нового, лишнего труда и утомления, а я и без того слишком медленно шел к своей цели. Призрачно-странной была наша дружба-любовь в царстве зимы, заботы, ожидания...

#### V. У Нэллы

Энно еще в ранней юности была самой близкой подругой Нэтти и много рассказывала мне о ней. В одном из наших разговоров мой слух поразило такое сочетание имен Нэтти и Стэрни, которое показалось мне странным. Когда я задал прямой вопрос, Энно сначала задумалась и как будто даже смутилась и затем ответила:

— Нэтти была раньше женой Стэрни. Если она этого вам не сказала, значит, и мне не следовало говорить. Я сделала, очевидно, ошибку, и дальше вы меня не спрашивайте об этом.

Я был как-то странно потрясен тем, что услышал... Как будто не было ничего нового... Я никогда не предполагал, что я первый муж Нэтти. Было бы нелепостью думать, что женщина, полная жизни и здоровья, красивая телом и душой, дитя свободной высококультурной расы, могла без любви прожить до нашей встречи. Чем же вызвано было мое непонятно-ошеломленное состояние? Я не мог рассуждать об этом, я чувствовал только одно, что мне надо знать все, знать точно и ясно. Но допрашивать Энно, очевидно, было невозможно. Я вспомнил о Нэлле.

Нэтти, уезжая, говорила: «Не забывай о Нэлле, иди к ней в трудную минуту!» И я не раз уже думал о том, как бы повидаться с ней; но мешала отчасти работа, отчасти какой-то смутный страх перед сотнями любопытных детских глазок, которые ее окружали. Но теперь всякая нерешительность исчезла, и я в тот же день был в «доме детей», в Большом городе машин.

Нэлла тотчас бросила работу, которой была занята, и, попросив другую воспитательницу заменить себя, провела меня в свою комнату, где дети не могли мешать нам.

Я решил не говорить ей сразу о цели моего посещения, тем более что мне самому эта цель не казалась ни особенно разумной, ни особенно благородной. Было как нельзя более естественно, что я завел разговор о самом близком для нас обоих человеке; а затем оставалось ожидать подходящего момента для моего вопроса. Нэлла много и с увлечением рассказывала мне о Нэтти, об ее детстве и юности.

Первые годы своей жизни Нэтти провела при матери, как в большинстве случаев и бывает у марсиан. Затем, когда надо было отдать Нэтти в «дом детей», чтобы не лишать ее воспитательного влияния детского общества, Нэлла не могла уже с нею расстаться и сначала временно поселилась в этом же доме, а потом навсегда осталась там воспитательницей. Это подходило и к ее научной специальности: она занималась главным образом психологией.

Нэтти была живым, энергичным, порывистым ребенком, с большой жадностью знаний и деятельности. Особенно интересовал и привлекал ее таинственный астрономический мир за пределами планеты. Земля, которой тогда еще не удавалось достигнуть, и ее невидимые люди были любимой мечтой Нэтти, любимым сюжетом ее разговоров с другими детьми и с воспитателями.

Когда был опубликован отчет о первой удачной экспедиции Мэнни на Землю, девочка чуть не сошла с ума от радости и восхищения. Доклад Мэнни она запомнила от слова до слова и поэтому замучила Нэллу и воспитателей требованиями объяснить ей каждый непонятный термин этого доклада. Она влюбилась в Мэнни заочно и написала ему восторженное письмо; в этом письме она, между прочим, умоляла его привезти с Земли

ребенка, которого некому воспитывать; она бралась воспитать его самым лучшим образом. Она увешала всю свою комнату земными видами и портретами земных людей и стала изучать словари земных языков, как только они появились в печати. Она негодовала на насилие, которое Мэнни и его спутники применили к первому встреченному ими земному человеку: они взяли его в плен, чтобы он помог им познакомиться с земными языками; и в то же время она горячо сожалела, что, уезжая обратно, они отпустили его на свободу, а не привезли с собой на Марс. Она твердо решила когда-нибудь поехать на Землю и в ответ на шутку матери, что там она выйдет замуж за земного человека, подумавши, заявила: «Очень может быть!»

Всего этого сама Нэтти никогда не рассказывала мне; в своих разговорах она вообще избегала касаться прошлого. И конечно, никто, даже она сама, не мог бы рассказать этого лучше Нэллы. Как ярко сияла материнская любовь в описаниях Нэллы! Минутами я совсем забывался и как живую видел перед собою чудную девочку с горящими большими глазами и с загадочным влечением к далекому, далекому миру... Но это быстро проходило: возвращалось сознание окружающего и воспоминание о цели разговора, и вновь становилось холодно на душе.

Наконец, когда разговор перешел к более поздним годам жизни Нэтти, я решился спросить с возможно спокойным и непринужденным видом, как возникли отношения Нэтти и Стэрни. Нэлла задумалась на минуту.

— А, вот что! — сказала она. — Так вы явились ко мне из-за этого... Почему же вы не сказали мне этого прямо?

Непривычная строгость звучала в ее голосе. Я молчал.

— Разумеется, я могу рассказать вам это, — продолжала она. — Это очень несложная история. Стэрни был один из учителей Нэтти, он читал молодежи лекции по математике и астрономии. Когда он вернулся из своей первой поездки на Землю — то была, кажется, вторая экспедиция Мэнни, — он выступил с целым рядом докладов об этой планете и ее обитателях. При этом Нэтти была его постоянной слушательницей. Особенно сблизило их то терпение и внимание, с которым он относился к ее бесконечным вопросам. Сближение привело к браку. Тут было своего рода полярное тяготение двух очень несходных, во многом противоположных натур. Впоследствии то же самое несходство, проявляясь более постоянно и во всей полноте в их совместной жизни, привело к охлаждению и к разрыву. Вот и все.

— Скажите, когда совершился этот разрыв?

— Окончательно — после смерти Летта. Собственно, уже сближение Нэтти и Летта было началом этого разрыва. Нэтти становилось не по себе от аналитически холодного ума Стэрни; он слишком систематично и упорно разрушал все воздушные замки, все фантазии ума и чувства, которыми она так много и так сильно жила. Она невольно стала искать человека, который относился бы ко всему этому иначе. А у старого Летта было на редкость отзывчивое сердце и много полудетского энтузиазма. Нэтти нашла в нем такого товарища, какого ей было надо: он не только умел терпеливо относиться к порывам ее воображения, но нередко и сам увлекался вместе с нею. У него она отдыхала душой от суровой, все замораживающей критики Стэрни. Он, как и она, любил Землю мечтой и фантазией, верил в будущий союз двух миров, который принесет с собою великий расцвет и великую поэзию жизни. И когда она узнала, что человек с таким сокровищем чувства в душе никогда не знал женской любви и ласки, она не могла с этим примириться. Так возникла ее вторая связь. (...)

Почему Нэтти не говорила мне всего этого? И сколько еще тайн и обманов вокруг меня? И сколько их ожидать в будущем? Опять неправда! Тайна — да, это верно. Но обмана тут не было. А разве в этом случае тайна не обман?..

Эти мысли вихрем пронеслись в моей голове, когда дверь отворилась и в комнату вошла Нэлла. Она, очевидно, прочитала на моем лице, насколько мне было тяжело, потому что в ее тоне, когда она ко мне обратилась, уже не было прежней сухости и суровости.

— Конечно, — сказала она, — нелегко привыкать к совершенно чуждым жизненным отношениям и к обычаям другого мира, с которым не имеешь кровной связи. Вы преодолели

уже много препятствий, справитесь и с этим. Нэтти в вас верит, и я думаю, что она права. А разве ваша вера в нее поколебалась?

— Отчего она скрывала все это от меня? Где тут ее вера? Я не могу ее понять.

— Почему она так поступила, я этого не знаю. Но я знаю, что она должна была иметь для этого серьезные и хорошие, а не мелкие мотивы. Может быть, их объяснит вам это письмо. Она мне оставила его для вас на случай именно такого разговора, какой сейчас был между нами.

Когда я дочитал письмо, Нэлла вопросительно посмотрела на меня.

— Вы были правы, — сказал я и поцеловал ее руку.

## VI. В поисках

От этого эпизода у меня осталось в душе чувство глубокого унижения. Еще болезненнее, чем прежде, я стал воспринимать превосходство надо мной окружающих и на фабрике и во всех других сношениях с марсианами. Несомненно, я даже преувеличивал это превосходство и свою слабость. В доброжелательстве и заботливости их обо мне я начинал видеть оттенок полупрезрительной снисходительности, в их осторожной сдержанности — скрытое отвращение к низшему существу. Точность восприятия и верность оценки все более нарушались в этом направлении.

Во всех других отношениях мысль оставалась ясной, и теперь она особенно сильно работала над заполнением пробелов, связанных с отъездом Нэтти. Больше, чем прежде, я был убежден, что для участия Нэтти в этой экспедиции существовали еще неизвестные мне мотивы, более сильные и более важные, чем те, которые приводились для меня. Новое доказательство любви Нэтти и того громадного значения, которое она придавала моей миссии в деле сближения двух миров, было новым подтверждением того, что без исключительных причин она не решилась бы покинуть меня надолго среди глубин и мелей и подводных камней океана чуждой мне жизни, лучше и яснее меня самого понимая своим умом, какие опасности тут угрожали. Было что-то, чего я не знал, но был убежден, что оно имело ко мне какое-то серьезное отношение; и надо было выяснить это что-то во что бы то ни стало.

Я решил добраться до истины путем систематического исследования. Припоминая некоторые случайные и невольные намеки Нэтти, беспокойное выражение, которое я очень задолго улавливал на ее лице, когда при мне заходила речь о колониальных экспедициях, я пришел к заключению, что Нэтти решилась на эту разлуку не тогда, когда об этом мне сказала, а очень давно, не позже первых дней нашего брака. Значит, и причин надо искать около этого времени. Но где их искать?

Они могли быть связаны либо с личными делами Нэтти, либо с происхождением, характером, значением самой этой экспедиции. Первое после письма Нэтти представлялось наименее вероятным. Следовательно, прежде всего надо было направить розыски по второму направлению и начать с того, чтобы вполне выяснить историю происхождения экспедиции.

Само собой разумеется, что экспедиция была решена «колониальной группой» — так называлось собрание работников, активно участвующих в организации междупланетных путешествий, вместе с представителями от центральной статистики и от тех заводов, которые делают этеронефы и вообще доставляют необходимые средства для этих путешествий. Я знал, что последний съезд этой «колониальной группы» был как раз во время моей болезни. Мэнни и Нэтти участвовали там. Так как я тогда уже выздоравливал и мне было скучно без Нэтти, то я хотел быть тоже на этом съезде, но Нэтти сказала, что это опасно для моего здоровья. Не зависела ли «опасность» от чего-нибудь такого, чего мне не следовало знать? Очевидно, требовалось достать точные протоколы съезда и прочитать все, что могло относиться к данному вопросу.

Но тут встретились затруднения. В колониальной библиотеке мне дали только собрание решений съезда. В решениях была превосходно намечена, почти до мелочей, вся

организация грандиозного предприятия на Венере, но не было ничего такого, что специально меня теперь интересовало. Это никоим образом для меня не исчерпывало вопроса. Решения при всей их обстоятельности были изложены без всякой мотивировки, без всяких указаний на все обсуждение, которое им предшествовало. Когда я сказал библиотекарю, что мне нужны самые протоколы, он мне объяснил, что протоколы не опубликованы и что подобных протоколов вообще не велось, как обыкновенно и делается при технически-деловых собраниях.

На первый взгляд это казалось правдоподобным. Марсиане действительно чаще всего публикуют только решения своих технических съездов, находя, что всякое разумное и полезное мнение, высказанное там, либо найдет себе отражение в принятой резолюции, либо гораздо лучше и обстоятельнее, чем в короткой речи, будет выяснено автором в особой статье, брошюре, книге, если сам автор находит его важным. Марсиане вообще не любят чрезмерно размножать литературу, и ничего подобного нашим многотомным «трудам комиссий» у них найти нельзя: все сжимается до наименьшего возможного объема. Но в данном случае я не поверил библиотекарю. Слишком крупные и важные вещи решались на съезде, чтобы можно было так отнестись к их обсуждению, как к обычным дебатам по какому-нибудь обычному техническому вопросу.

Я, однако, постарался скрыть свое недоверие и, чтобы отвлечь от себя всякое подозрение, покорно углубился в изучение того, что мне дали, в действительности же тем временем обдумывал план дальнейших действий.

Было очевидно, что в книжной библиотеке я не получу того, что мне надо: протоколов либо в самом деле не было, либо предупрежденный моим вопросом библиотекарь искусно спрятал их от меня. Оставалось другое — фонографическое отделение библиотеки.

Там протоколы могли найтись даже в том случае, если не были изданы в печати. Фонограф часто заменяет у марсиан стенографию, и в их архивах хранятся многие неизданные фонограммы различных общественных собраний.

Я выбрал момент, когда книжный библиотекарь был сильно поглощен работой, и незаметно для него прошел в фонографический отдел. Там я спросил у дежурного товарища большой каталог фонограмм. Он дал мне его. По каталогу я быстро нашел номера фонограмм интересующего меня съезда и, делая вид, что не хочу беспокоить доставанием их дежурного товарища, отправился сам разыскивать их. Это мне также легко удалось.

Всех фонограмм было пятнадцать, по числу заседаний съезда. При каждой, как обыкновенно у марсиан делается, было приложено писаное оглавление. Я быстро пересмотрел их.

Первые пять заседаний оказались посвященными всецело докладам об экспедициях, устроенных после предыдущего съезда, и новых усовершенствованиях в технике этеронефов.

В заголовке шестой фонограммы значилось:

«Предложение центральной статистики о переходе к массовой колонизации. Выбор планеты — Земля и Венера. Речи и предложения Стэрни, Нэтти, Мэнни и других. Предварительное решение в пользу Венеры».

Я почувствовал, что это то самое, что искал. Я вставил фонограмму в аппарат. То, что я услышал, навсегда врезалось мне в душу. Вот что там было.

Шестое заседание открыл Мэнни, председатель конгресса. Первым взял слово для доклада представитель центральной статистики.

Он посредством ряда точных цифр доказал, что при данном росте населения и прогрессе его потребностей, если марсиане будут ограничиваться эксплуатацией всей планеты, то через тридцать лет начнется недостаток в средствах питания. Помешать этому могло бы открытие технически легкого синтеза белков из неорганической материи, но никоим образом нельзя ручаться, что за тридцать лет этого удастся достигнуть. Поэтому совершенно необходимо, чтобы колониальная группа от простых научных экскурсий на другие планеты перешла к делу организации настоящего массового переселения туда



марсиан. Налицо имеются две доступные для марсиан планеты с громадными естественными богатствами. Надо немедленно же решить, какую из них сделать для начала центром колонизации, и затем приступить к выработке плана.

Мэнни спрашивает, есть ли желающие возразить по существу против предложения центральной статистики или против его мотивировки. Желающих не оказывается.

Тогда Мэнни ставит на обсуждение вопрос о том, какую планету выбрать в первую очередь в деле массовой колонизации.

Слово берет Стэрни.

## VII. Стэрни

— Первый вопрос, поставленный нам представителем центральной статистики, — так начал Стэрни своим обычным, математически-деловым тоном, — вопрос о выборе планеты для колонизации, на мой взгляд, не нуждается в решении, потому что решен давно, решен самой действительностью. Выбрать не из чего. Из двух доступных нам теперь планет только одна вообще пригодна для массовой колонизации. Это Земля. О Венере существует большая литература, с которой все вы, конечно, знакомы. Вывод из всех собранных в ней данных возможен только один: овладеть Венерой мы теперь не можем. Ее жгучее солнце истомит и обессилит наших колонистов, ее страшные грозы и бури разрушат наши постройки, размечут в пространстве наши аэропланы и разобьют их об исполинские горы. С ее чудовищами мы могли бы еще справиться, хотя и ценою немалых жертв; но ее бактериальный мир, страшно богатый формами, известен нам лишь в ничтожной степени, — а сколько новых болезней для нас скрывает он в себе? Ее вулканические силы еще находятся в беспокойном брожении; сколько неожиданных землетрясений, извержений лавы, океанических наводнений они нам обещают. Разумные существа не должны предпринимать невозможного. Попытка колонизовать Венеру дала бы нам бесчисленные, но и бесполезные жертвы, не жертвы науки и общего счастья, а жертвы безумия и мечты. Этот вопрос, мне кажется, ясен, и уже один доклад последней экспедиции на Венеру вряд ли в ком-нибудь мог оставить какие бы то ни было сомнения.

Таким образом, если дело идет вообще о массовом переселении, то, конечно, только о переселении на Землю. Тут препятствия со стороны природы ничтожны, ее богатства неисчислимы, — они в восемь раз превосходят то, что дает наша планета. Самое дело колонизации хорошо подготовлено уже существующей на Земле, хотя и невысокой культурой. Все это, разумеется, известно в центральной статистике. Если она предлагает нам вопрос о выборе, а мы находим нужным его обсуждать, то исключительно по той причине, что Земля представляет нам одно очень серьезное препятствие. Это ее человечество.

Люди Земли владеют ею, и ни в каком случае они ее добровольно не уступят, не уступят сколько-нибудь значительной доли ее поверхности. Это вытекает из всего характера их культуры. Ее основа есть собственность, огражденная организованным населением. Хотя даже самые цивилизованные племена Земли эксплуатируют на деле только ничтожную часть доступных им сил природы, но стремление к захвату новых территорий у них никогда не ослабевает. Систематическое ограбление земель и имущества менее культурных племен носит у них название колониальной политики и рассматривается как одна из главных задач их государственной жизни. Можно себе представить, как отнесутся они к естественному и разумному предложению с нашей стороны — уступить нам часть их материков, взамен чего мы научили бы их и помогли бы им несравненно лучше пользоваться остальной частью... Для них колонизация — это вопрос только грубой силы и насилия; и хотим мы или не хотим, они заставят нас принять по отношению к ним эту точку зрения.

Если бы при этом дело шло только о том, чтобы один раз доказать им перевес нашей силы, это было бы сравнительно просто и потребовало бы не больше жертв, чем любая из их обычных бессмысленных и бесполезных войн. Существующие у них большие стада дрессированных для убийства людей, называемые армиями, послужили бы самым

подходящим материалом для такого необходимого насилия. Любой из наших этеронефов мог бы посредством потока губительных лучей, возникающих при ускоренном разложении радия, уничтожить в несколько минут одно-два таких стада, и это было бы скорее полезно, чем вредно даже для их культуры. Но, к сожалению, дело не так просто, а главные трудности только начались бы с этого момента.

В вечной борьбе между племенами Земли у них сложилась психологическая особенность, называемая патриотизмом. Это неопределенное, но сильное и глубокое чувство включает в себе и злобное недоверие ко всем чуждым народам и расам, и стихийную привычку к своей общей жизненной обстановке, особенно к территории, с которой земные племена срастаются, как черепаха со своей оболочкой, и какое-то коллективное самомнение, и часто кажется, простую жажду истребления, насилия, захватов. Патриотическое душевное состояние чрезвычайно усиливается и обостряется после военных поражений, особенно когда победители отнимают у побежденных часть территории; тогда патриотизм побежденных приобретает характер длительной и жестокой ненависти к победителям, и месть им становится жизненным идеалом всего племени, не только его худших элементов — «высших», или правящих классов, но и лучших — его трудящихся масс.

И вот если бы мы взяли себе часть земной поверхности посредством необходимого насилия, то несомненно, что это повело бы к объединению всего земного человечества в одном чувстве земного патриотизма, в беспощадной расовой ненависти и злобе против наших колонистов; истребление пришельцев каким бы то ни было способом, вплоть до самых предательских, стало бы в глазах людей священным и благородным подвигом, дающим бессмертную славу. Существование наших колонистов сделалось бы совершенно невыносимым. Вы знаете, что разрушение жизни — дело вообще очень легкое, даже для нашей культуры; мы неизмеримо сильнее земных людей в случае открытой борьбы, но при неожиданных нападениях они могут убивать нас так же успешно, как обыкновенно делают это друг с другом. Надо к тому же заметить, что искусство истребления развито у них несравненно выше, чем все другие стороны их своеобразной культуры.

Жить вместе с ними и среди них было бы, конечно, прямо невозможно; это означало бы вечные заговоры и террор с их стороны, постоянное сознание неотвратимой опасности и бесчисленные жертвы для наших товарищей. Пришлось бы выселить их из всех занятых нами областей — выселить сразу десятки, может быть, сотни миллионов. При их общественном строе, не признающем товарищеской взаимной поддержки, при их социальных отношениях, обуславливающих услуги и помощь уплатою денег, наконец, при их неуклюжих и лишенных гибкости способах производства, не допускающих достаточно быстрого расширения производительности и перераспределения продуктов труда, — эти миллионы выселенных нами людей были бы в громадном большинстве обречены на мучительную голодную смерть. А уцелевшее меньшинство образовало бы кадры ожесточенных, фанатичных агитаторов против нас среди всего остального человечества Земли.

Затем пришлось бы все-таки продолжать борьбу. Вся наша земная область должна была бы превратиться в непрерывно охраняемый военный лагерь. Страх дальнейших захватов с нашей стороны и великая расовая ненависть направили бы все силы земных племен на подготовку и организацию войн против нас. Если уже теперь их оружие гораздо совершеннее их орудий труда, то тогда прогресс истребительной техники пойдет у них еще несравненно быстрее. В то же время они будут отыскивать и подстерегать случаи для внезапного открытия войны, и, если им это удастся, они, несомненно, нанесут нам большие вознаграждаемые потери, хотя бы дело и окончилось нашей победой. Кроме того, нет ничего невозможного и в том, что они каким-нибудь способом узнают устройство нашего главного оружия. Радирующая материя им уже известна, а метод ускоренного ее разложения может быть либо разведан ими каким-нибудь способом у нас, либо даже самостоятельно открыт их учеными. Но вы знаете, что при таком оружии тот, кто на несколько минут предупреждает противника своим нападением, тот неизбежно его уничтожает; и разрушить высшую жизнь в

этом случае так же легко, как самую элементарную.

Каково же было бы существование наших товарищей среди этих опасностей и этого вечного ожидания? Были бы отравлены не только все радости жизни, но и самый тип ее скоро был бы извращен и принижен. В нее мало-помалу проникли бы подозрительность, мстительность, эгоистичная жажда самосохранения и неразрывно связанная с нею жестокость. Эта колония перестала бы быть нашей колонией, превратившись в военную республику среди побежденных, неизменно враждебных племен. Повторяющиеся нападения с их жертвами не только порождали бы чувство мести и злобы, искажающее дорогой нам образ человека, но и объективно вынуждали бы к переходу из самозащиты в беспощадное наступление. И в конце концов после долгих колебаний и бесплодной мучительной растраты сил дело пришлось бы неизбежно к той постановке вопроса, какую мы, существа сознательные и предвидящие ход событий, должны принять с самого начала: *колонизация Земли требует полного истребления земного человечества*.

(Среди сотен слушателей проносится ропот ужаса, из которого выделяется громкое негодующее восклицание Нэтти.) Когда тишина восстанавливается, Стэрни спокойно продолжает:

— Надо понять необходимость и твердо смотреть ей в глаза, как бы ни была она сурова. Нам предстоит одно из двух: либо остановка в развитии нашей жизни, либо уничтожение чуждой нам жизни на Земле. Ничего третьего нет перед нами. (Голос Нэтти: «Неправда!») Я знаю, что имеет в виду Нэтти, протестуя против моих слов, и разберу сейчас ту третью возможность, которую она предлагает.

Это попытка немедленного социалистического перевоспитания земного человечества, план, к которому все мы еще недавно склонялись и от которого теперь, по моему мнению, должны неизбежно отказаться. Мы достаточно уже знаем о людях Земли, чтобы понять всю неосуществимость этой идеи.

Уровень культуры передовых народов Земли приблизительно соответствует тому, на котором стояли наши предки в эпоху прорытия Больших каналов. Там также господствует капитализм и существует пролетариат, ведущий борьбу за социализм. Судя по этому, можно было думать, что недалек уже момент переворота, который устранил систему организованного насилия и создаст возможность свободного и быстрого развития человеческой жизни. Но у земного капитализма есть важные особенности, сильно изменяющие все дело.

С одной стороны, земной мир страшно раздроблен политическими и национальными делениями, так что борьба за социализм ведется не как единый цельный процесс в одном обширном обществе, а как целый ряд самостоятельных и своеобразных процессов в отдельных обществах, разъединенных государственной организацией, языком, иногда и расою. С другой стороны, формы социальной борьбы там гораздо грубее и механичнее, чем это было у нас, и несравненно большую роль в них играет прямое материальное насилие, воплощенное в постоянных армиях и вооруженных восстаниях.

Благодаря всему этому получается то, что вопрос о социальной революции становится очень неопределенным: предвидится не одна, а множество социальных революций, в разных странах в различное время, и даже во многом, вероятно, неодинакового характера, а главное — с сомнительным и неустойчивым исходом. Господствующие классы, опираясь на армию и высокую военную технику, в некоторых случаях могут нанести восставшему пролетариату такое истребительное поражение, которое в целых обширных государствах на десятки лет отбросит назад дело борьбы за социализм; и примеры подобного рода уже бывали в летописях Земли. Затем отдельные передовые страны, в которых социализм восторжествовал, будут как острова среди враждебного им капиталистического, а частью даже докапиталистического мира. Борясь за свое собственное господство, высшие классы несоциалистических стран направят все свои усилия, чтобы разрушить эти острова, будут постоянно организовывать на них военные нападения и найдут среди социалистических наций достаточно союзников, готовых на всякое правительство, из числа прежних

собственников, крупных и мелких. Результат этих столкновений трудно предугадать. Но даже там, где социализм удержится и выйдет победителем, его характер будет глубоко и надолго искажен многими годами осадного положения, необходимого террора и военщины, с неизбежным последствием — варварским патриотизмом. Это будет далеко не наш социализм.

Задача нашего вмешательства должна была, по нашим прежним планам, заключаться в том, чтобы ускорить и помочь торжеству социализма. Каким способом для нас возможно это сделать? Во-первых, мы можем передать людям Земли нашу технику, нашу науку, наше умение господствовать над силами природы и тем самым настолько сразу поднять их культуру, что отсталые формы экономической и политической жизни окажутся в слишком резком противоречии с нею и падут в силу своей негодности. Во-вторых, мы можем прямо поддержать социалистический пролетариат в его революционной борьбе и помочь ему сломить сопротивление двух классов. Иных способов нет. Но эти два достигают ли своей цели? Мы теперь достаточно знаем, чтобы решительно ответить: нет!

К чему приведет сообщение земным людям наших технических знаний и методов?

Первыми захватят их в свою пользу и увеличат ими свою силу *господствующие* классы всех стран. Это неизбежно, потому что в их руках находятся все материальные средства труда и им служат девяносто девять сотых всех ученых и инженеров, — значит, им будет принадлежать *вся возможность применения* новой техники. И они воспользуются ею ровно настолько, насколько это будет для них выгодно и насколько это будет усиливать их власть над массами. Более того: те новые и могущественные средства истребления и разрушения, которые при этом попадут в их руки, они постараются немедленно пустить в ход для подавления социалистического пролетариата. Они удесятерят его преследования и организуют широкую провокацию, чтобы поскорее вызвать его на открытый бой и в этом бою раздавить его сознательные и лучшие силы, идейно его обезглавить, пока он не успел, в свою очередь, овладеть новыми лучшими методами военного насилия. Таким образом, наше вмешательство послужит толчком для реакции сверху и в то же время даст ей оружие невиданной силы. В конечном итоге оно на целые десятки лет замедлит борьбу социализма.

А чего достигли бы мы попытками оказать прямую помощь социалистическому пролетариату против его врагов?

Предположим — это ведь еще не наверное, — что он примет союз с нами. Первые победы будут тогда одержаны легко. Но дальше? Неизбежное развитие среди всех других классов общества самого ожесточенного и бешеного патриотизма, направленного против нас и против социалистов Земли... Пролетариат все еще представляет меньшинство почти во всех, даже наиболее передовых странах Земли; большинство образуют не успевшие разложиться остатки класса мелких собственников, массы наиболее невежественные и темные. Восстановить всех их до крайней степени против пролетариата будет тогда для крупных собственников и их ближайших прислужников — чиновников и ученых — очень легко, потому что эти массы, по своей сущности консервативные и даже частью реакционные, чрезвычайно болезненно воспринимают всякий быстрый прогресс. Передовой пролетариат, окруженный со всех сторон страшно озлобленными, беспощадными врагами, — к ним примкнут и обширные слои отсталых по развитию пролетариев, — окажется в таком же невыносимом положении, в каком оказались бы наши колонисты среди побежденных земных племен. Будут бесчисленные предательские нападения, погромы, резня, а главное, вся позиция пролетариата среди общества будет как нельзя более неблагоприятна для того, чтобы руководить преобразованием общества. И опять-таки наше вмешательство не приблизит, а замедлит социальный переворот.

Время этого переворота, таким образом, остается неопределенным, и не от нас зависит его ускорить. Во всяком случае, ждать его пришлось бы гораздо дольше, чем это для нас возможно. Уже через 30 лет у нас окажется 15–20 миллионов избыточного населения, а затем каждый год оно будет возрастать еще на 20–25 миллионов. Надо *заранее* произвести значительную колонизацию; иначе у нас не хватит сил и средств для того, чтобы сразу

выполнить ее в необходимых размерах.

Кроме того, более чем сомнительно, чтобы нам удалось мирно столкнуться даже с социалистическими обществами Земли, если бы они неожиданно скоро образовались. Как я уже говорил, это будет во многом не наш социализм.

Века национального дробления, взаимного непонимания, грубой и кровавой борьбы не могли пройти даром, — они надолго оставят глубокие следы в психологии освобожденного земного человечества; и мы не знаем, сколько варварства и узости социалисты Земли принесут с собою в свое новое общество.

Перед нами налицо опыт, который позволяет судить, в какой мере далека от нас психология Земли даже в лучших ее представителях. Из последней экспедиции мы привезли с собою одного земного социалиста, человека, выдающегося в своей среде душевной силой и физическим здоровьем. И что же? Вся наша жизнь оказалась для него такой чуждой, в таком противоречии со всей его организацией, что прошло очень немного времени, и он уже болен глубоким психическим расстройством.

Таков один из лучших, которого выбрал среди многих сам Мэнни. Чего мы можем ожидать от остальных?

Итак, остается все та же дилемма: или приостановка нашего собственного размножения и с нею ослабление всего развития нашей жизни, или колонизация Земли, основанная на истреблении всего ее человечества.

Я говорю об истреблении всего ее человечества, потому что мы не можем даже сделать исключения для его социалистического авангарда. Нет, во-первых, никакой технической возможности среди всеобщего уничтожения выделить этот авангард среди остальных масс, незначительную долю которых он представляет. И, во-вторых, если бы нам удалось сохранить социалистов, они сами начали бы потом с нами ожесточенную, беспощадную войну, жертвуя в ней собою до полного истребления, потому что они никогда не могли бы примириться с убийством сотен миллионов людей, им подобных и с ними связанных многими, часто очень тесными жизненными связями. В столкновениях двух миров здесь нет компромисса.

Мы должны выбирать. И я говорю: мы можем выбирать только одно.

Высшей жизнью нельзя жертвовать ради низшей. Среди земных людей не найдется и нескольких миллионов, сознательно стремящихся к действительно человеческому типу жизни. Ради этих зародышевых людей мы не можем отказаться от возможности зарождения и развития десятков, может быть, сотен миллионов существ нашего мира — людей в несравненно более полном значении этого слова. И не будет жестокости в наших действиях, потому что мы сумеем выполнить это истребление с гораздо меньшими страданиями для них, чем они сами постоянно причиняют друг другу.

Мировая жизнь едина. И для нее будет не потерей, а приобретением, если на Земле вместо ее еще далеко полуварварского социализма развернется теперь же наш социализм, жизнь несравненно более гармоничная в ее непрерывном, беспредельном развитии.

(После речи Стэрни наступает сначала глубокая тишина. Ее прерывает Мэнни, предлагая высказаться тем, кто держится противоположного взгляда. Слово берет Нэтти.)

#### VIII. Нэтти

«Мировая жизнь едина» — это сказал Стэрни. И что же он предложил нам?

Уничтожить, навеки истребить целый своеобразный тип этой жизни, тип, которого потом мы никогда уже не сможем ни восстановить, ни заменить.

Сотни миллионов лет жила прекрасная планета, жила своей, особенной жизнью, не такой, как другие... И вот из ее могучих стихий стало организовываться сознание; поднимаясь в жестокой и трудной борьбе с низших ступеней на высшие, оно наконец приняло близкие, родные нам человеческие формы. Но эти формы не те, что у нас: в них отразилась и сосредоточилась история иной природы, иной борьбы; под ними скрыта иная

стихийность, в них заключаются иные противоречия, иные возможности развития. Настала эпоха, когда впервые может осуществиться соединение двух великих линий жизни. Сколько нового многообразия, какая высшая гармония должна возникнуть из этого сочетания! И нам говорят: мировая жизнь едина, поэтому нам надо не объединять, а... разрушать ее.

Когда Стэрни указывал, насколько человечество Земли, его история, его нравы, его психология непохожи на наши, он опровергал свою идею почти лучше, чем я могу это сделать. Если бы они были совершенно похожи на нас во всем, кроме ступени развития, если бы они были тем, чем были наши предки в эпоху нашего капитализма, тогда со Стэрни можно было бы согласиться: низшей ступенью стоит пожертвовать ради высшей, слабыми ради сильных. Но земные люди не таковы, они не только ниже и слабее нас по культуре — они иные, чем мы, и потому, устраняя их, мы их не заместим в мировом развитии, мы только механически заполним собою ту пустоту, которую создадим в царстве форм жизни.

Не в варварстве, не в жестокости земной культуры заключается ее действительное различие от нашей. Варварство и жестокость — это только преходящее проявление той общей расточительности в процессе развития, которую отличается вся жизнь Земли. Там борьба за существование энергичнее и напряженнее, природа непрерывно создает гораздо больше форм, но гораздо больше их и погибает жертвами развития. И это не может быть иначе, потому что от источника жизни — Солнца — Земля в целом получает лучистой энергии в восемь раз больше, чем наша планета. Оттого там рассеивается и разбрасывается так много жизни, оттого в разнообразии ее форм возникает так много противоречий и так мучительно сложен и полон крушений весь путь их примирения. В царстве растений и животных миллионы видов ожесточенно боролись и быстро вытесняли друг друга, участвуя своей жизнью и своей смертью в выработке новых, более законченных и гармоничных, более синтетических типов. Так было и в царстве человека.

Наша история, если ее сравнить с историей земного человечества, кажется удивительно простой, свободной от блужданий и правильной до схематичности. Спокойно и непрерывно происходило накопление элементов социализма, — исчезали мелкие собственники, поднимался со ступени на ступень пролетариат; все это происходило без колебаний и толчков, на всем протяжении планеты, объединенной в связное политическое целое. Велась борьба, но люди кое-как понимали друг друга; пролетариат не заглядывал далеко вперед, но и буржуазия не была утопична в своей реакционности; различные эпохи и общественные формации не перемешивались до такой степени, как это происходит на Земле, где в высококапиталистической стране возможна иногда феодальная реакция и многочисленное крестьянство, отстающее по своей культуре на целый исторический период, часто служит для высших классов орудием подавления пролетариата. Ровным и гладким путем мы пришли несколько поколений тому назад к такому общественному устройству, которое освобождает и объединяет все силы социального развития.

Не такова была дорога, по которой шли наши земные братья, — тернистая, с множеством поворотов и перерывов. Немногие из нас знают, и никто из нас не в силах себе ясно представить, до какого безумия было доведено искусство мучить людей у самых культурных народов Земли в идейных и политических организациях господства высших классов — в церкви и государстве. И что же в результате? Замедлилось развитие? Нет, мы не имеем основания утверждать этого, потому что первые стадии капитализма, до зарождения пролетарского социалистического сознания, протекли среди путаницы и жестокой борьбы различных формаций не медленнее, а быстрее, чем у нас, — в постепенных и более спокойных переходах. Но самая суровость и беспощадность борьбы породила в борцах такой подъем энергии и страсти, такую силу героизма и мученичества, каких не знала более умеренная и менее трагичная борьба наших предков. И в этом земной тип жизни людей не ниже, а выше нашего, хотя мы, старшие по культуре, стоим на гораздо более высокой ступени.

Земное человечество раздроблено, его отдельные расы и нации глубоко срослись со своими территориями, они говорят на разных языках, и глубокое непонимание друг друга

проникает во все их жизненные отношения... Все это верно, и верно то, что общечеловеческое объединение, которое с великими трудностями пробивает себе дорогу через все эти границы, будет достигнуто нашими земными братьями сравнительно гораздо позже, чем нами. Это дробление возникло из обширности земного мира, богатства и разнообразия его природы. Оно ведет к возникновению множества различных точек зрения и оттенков в понимании вселенной. Разве все это ставит Землю и ее людей ниже, а не выше нашего мира в аналогичные эпохи его истории?

Даже механическое различие языков, на которых они говорят, во многом помогало развитию их мышления, освобождая понятие от грубой власти слов, которыми они выражаются. Сравните философию земных людей с философией наших капиталистических предков. Философия Земли не только разнообразнее, но и тоньше, не только исходит из более сложного материала, но в своих лучших школах и анализирует его глубже, вернее, устанавливая связь фактов и понятий. Конечно, всякая философия есть выражение слабости и разрозненности познания, недостаточности научного развития; это попытка дать единую картину бытия, заполняя предположениями пробелы научного опыта; поэтому философия будет устранена на Земле, как устранена уже у нас монизмом науки. Но посмотрите, сколько предложений философии, созданной их передовыми мыслителями и борцами, предупреждают в грубых чертах открытия нашей науки — такова почти вся общественная философия социалистов. Ясно, что племена, превзошедшие наших предков в творчестве философском, могут впоследствии превзойти нас самих в творчестве научном.

И Стэрни хочет измерять это человечество счетом праведников — сознательных социалистов, которых оно сейчас в себе заключает, — хочет судить его по его нынешним противоречиям, а не по тем силам, которыми порождены и в свое время будут разрешены эти противоречия. Он хочет осушить навеки этот бурный, но прекрасный океан жизни!

Твердо и решительно мы должны ему ответить: *никогда!*

Мы должны подготовить свой будущий союз с человечеством Земли. Мы не можем значительно ускорить его переход к свободному строю; но то немногое, что мы в силах сделать для этого, мы сделать должны. И если первого посланника Земли в нашей среде мы не сумели уберечь от ненужных страданий болезни, это не делает чести нам, а не им. К счастью, он скоро выздоровеет, и даже если в конце концов его убьет это слишком быстрое сближение с чуждой для него жизнью, он успеет сделать еще многое для будущего союза двух миров.

А наши собственные затруднения и опасности мы должны преодолеть на других путях. Надо направить новые научные силы на химию белковых веществ, надо готовить, насколько возможно, колонизацию Венеры. Если мы не успеем решить этих задач в короткий срок, который нам остался, надо временно сократить размножение. Какой разумный акушер не пожертвует жизнью народившегося младенца, чтобы сохранить жизнь женщины? Мы должны также, если это необходимо, пожертвовать частицей той нашей жизни, которой еще нет, для той, пока еще чуждой жизни, которая есть и развивается. Союз миров бесконечно окупит эту жертву.

Единство жизни есть высшая цель, и любовь — высший разум!

(Глубокое молчание. Затем слово берет Мэнни.)

#### IX. Мэнни

— Я внимательно наблюдал настроение товарищей и вижу, что значительное большинство их на стороне Нэтти. Я очень рад этому, потому что приблизительно такова же и моя точка зрения. Прибавлю только одно практическое соображение, которое мне кажется очень важным. Существует серьезная опасность, что в настоящее время нам даже не хватило бы технических средств, если бы мы сделали попытку массовой колонизации других планет.

Мы можем построить десятки тысяч больших этеронефов, и может оказаться, что их нечем будет привести в движение. Той радирующей материи, которая служит необходимым

двигателем, нам придется тратить в сотни раз больше, чем до сих пор. А между тем все известные нам месторождения истощаются и новые открываются все реже и реже.

Надо не забывать, что радиоматерия нужна нам постоянно не только для того, чтобы давать этеронефам их громадную скорость. Вы знаете, что вся наша техническая химия построена теперь на этих веществах. Их мы затрачиваем при производстве «минус-материи», без которой те же этеронефы и наши бесчисленные аэропланы превращаются в негодные тяжелые ящики. Этим необходимым применением активной материи жертвовать не приходится.

Но всего хуже то, что единственная возможная замена колонизации — синтез белков — может оказаться неосуществимой из-за того же недостатка радирующих веществ. Технически легкий и удобный для фабричного производства синтез белков при громадной сложности их состава немыслим на пути старых методов синтеза, методов постепенного усложнения. На том пути, как вы знаете, уже несколько лет тому назад удалось получить искусственные белки, но в ничтожном количестве и с большими затратами энергии и времени, так что вся работа имеет лишь теоретическое значение. Массовое производство белков из неорганического материала возможно только посредством тех быстрых и резких изменений химических составов, какие достигаются у нас действием неустойчивых элементов на обыкновенную устойчивую материю. Чтобы добиться успеха в этом направлении, десяткам тысяч работников придется перейти специально на исследования по синтезу белков и поставить миллионы разнообразнейших новых опытов. Для этого, а затем, в случаях успеха, для массового производства белков опять-таки необходимо будет затрачивать громадные количества активной материи, каких теперь нет в нашем распоряжении.

Таким образом, с какой точки зрения ни посмотреть, мы можем обеспечить себе успешное разрешение занимающего нас вопроса только в том случае, если найдем новые источники радиоэлементов. Но где их искать? Очевидно, на других планетах, то есть либо на Земле, либо на Венере; и для меня несомненно, что первую попытку следует сделать именно на Венере.

Относительно Земли можно предполагать, что там есть богатые запасы активных элементов. Относительно Венеры это вполне установлено. Земные месторождения нам неизвестны, потому что те, которые найдены земными учеными, к сожалению, ничего не стоят. Месторождения на Венере нами уже открыты с первых шагов нашей экспедиции. На Земле главные залежи расположены, по-видимому, так же, как и у нас, то есть глубоко под поверхностью. На Венере некоторые из них находятся так близко к поверхности, что их радиации были сразу обнаружены фотографическим путем. Если искать радий на Земле, то придется перерывать ее материк так, как мы это сделали на нашей планете; на это могут потребоваться десятки лет, и есть еще риск обмануться в ожиданиях. На Венере остается только добывать то, что уже найдено, и это можно сделать без всяких промедлений.

Поэтому, как бы мы ни решили впоследствии вопрос о массовой колонизации, теперь, чтобы гарантировать возможность этого решения, надо, по моему глубокому убеждению, немедленно произвести маленькую, может быть, временную колонизацию Венеры, с единственной целью добывания активной материи.

Естественные препятствия, конечно, громадны, но нам вовсе не придется теперь преодолевать их полностью. Мы должны овладеть только маленьким клочком этой планеты. В сущности, дело сводится к большой экспедиции, которая должна будет пробыть там не месяцы, как прежние наши экспедиции, а целые годы, занимаясь добыванием радия. Придется, конечно, одновременно вести энергичную борьбу с природными условиями, ограждая себя от губительного климата, неизвестных болезней и других опасностей. Будут большие жертвы; возможно, что только малая часть экспедиции вернется назад. Но попытку сделать необходимо.

Наиболее подходящим местом для начала является, по многим данным, остров Горячих бурь. Я тщательно изучил его природу и составил подробный план организации всего дела.



Если вы, товарищи, считаете возможным обсуждать его теперь, я немедленно изложу его вам.

(Никто не высказался против, и Мэнни переходит к изложению своего плана, причем обстоятельно рассматривает все технические детали. По окончании его речи выступают новые ораторы, но все они говорят исключительно по поводу его плана, разбирая частности. Некоторые выражают недоверие к успеху экспедиции, но все соглашаются, что попытаться надо. В заключение принимается резолюция, предложенная Мэнни.)

## Х. Убийство

То глубокое ошеломление, в котором я находился, исключало всякую даже попытку собраться с мыслями. Я только чувствовал, как холодная боль железным кольцом сжимала мне сердце, и еще перед моим сознанием с яростью галлюцинации выступала огромная фигура Стэрни с его неумолимо-спокойным лицом. Все остальное смешивалось и терялось в тяжелом, темном хаосе.

Как автомат, я вышел из библиотеки и сел в свою гондолу. Холодный ветер от быстрого полета заставил меня плотно закутаться в плащ, и это как будто внушило мне новую мысль, которая сразу застыла в сознании и сделалась несомненной: мне надо остаться одному. Когда я приехал домой, я немедленно привел ее в исполнение — все так же механично, как будто действовал не я, а кто-то другой.

Я написал руководящей фабричной коллегии, что на время уйду от работы. Энно я сказал, что нам надо пока расстаться. Она тревожно-пытливо взглянула на меня и побледнела, но не сказала ни слова. Только потом, в самую минуту отъезда, она спросила, не желаю ли я видеть Нэллу. Я ответил: «Нет» — и поцеловал Энно в последний раз.

Затем я погрузился в мертвое оцепенение. Была холодная боль, и были обрывки мыслей. От речей Нэтти и Мэнни осталось бледное, равнодушное воспоминание, как будто это все было неважно и неинтересно. Раз только промелькнуло соображение: «Да, вот почему уехала Нэтти: от экспедиции зависит все». Резко и отчетливо выступали отдельные выражения и целые фразы Стэрни: «Надо понять необходимость... несколько миллионов человеческих зародышей... полное истребление земного человечества... он болен тяжелой душевной болезнью...» Но не было ни связи, ни выводов. Иногда мне представлялось истребление человечества как совершившийся факт, но в смутной, отвлеченной форме. Боль в сердце усиливалась, и зарождалась мысль, что я виновен в этом истреблении. На короткое время пробивалось сознание, что ничего этого еще нет и, может быть, не будет. Боль, однако, не прекращалась, и мысль опять медленно констатировала: «Все умрут... и Анна Николаевна... и рабочий Ваня... и Нэтти, нет, Нэтти останется, она марсианка... а все умрут, и не будет жестокости, потому что не будет страданий... да, это говорил Стэрни... а все умрут оттого, что я был болен... значит, я виновен...» Обрывки тяжелых мыслей цепенели и застывали и оставались в сознании, холодные, неподвижные. И время как будто остановилось с ними.

Это был бред, мучительный, непрерывный, безысходный. Призраков не было вне меня. Был один черный призрак в моей душе, но он был — все. И конца ему быть не могло, потому что время остановилось.

Возникла мысль о самоубийстве и медленно тянулась, но не заполняла сознания. Самоубийство казалось бесполезным и скучным: разве могло оно прекратить эту черную боль, которая была все? Не было веры в самоубийство, потому что не было веры в свое существование. Существовала тоска, холод, ненавистное все, но мое «я» терялось в этом как что-то незаметное, ничтожное, бесконечно малое. «Меня» не было.

Минутами мое сознание становилось настолько невыносимым, что возникало непреодолимое желание бросаться на все окружающее, живое и мертвое, бить, разрушать, уничтожать без следа. Но я еще сознавал, что это было бессмысленно и по-детски; я стискивал зубы и удерживался.

Мысль о Стэрни постоянно возвращалась и неподвижно останавливалась в сознании. Она была тогда как будто центром всей тоски и боли. Мало-помалу, очень медленно, но непрерывно около этого центра стало формироваться намерение, которое перешло затем в ясное непреклонное решение: «Надо видеть Стэрни». Зачем, по каким мотивам видеть, я не мог бы сказать этого. Было только несомненно, что я это сделаю. И было в то же время мучительно трудно выйти из моей неподвижности, чтобы исполнить решение.

Наконец настал день, когда у меня хватило энергии, чтобы преодолеть это внутреннее сопротивление. Я сел в гондолу и поехал в ту обсерваторию, которой руководил Стэрни. По дороге я пытался обдумать, о чем буду с ним говорить; но холод в сердце и холод вокруг парализовали мысль. Через три часа я доехал.

Войдя в большую залу обсерватории, я сказал одному из работавших там товарищей: «Мне надо видеть Стэрни». Товарищ пошел за Стэрни и, возвратившись через минуту, сообщил, что Стэрни занят проверкой инструментов, через четверть часа будет свободен, а пока мне удобнее подождать в его кабинете.

Меня провели в кабинет, я сел в кресло перед письменным столом и стал ожидать. Кабинет был полон различных приборов и машин, частью уже знакомых мне, частью незнакомых. Направо от моего кресла стоял какой-то маленький инструмент на тяжелом металлическом штативе, оканчивавшемся тремя ножками, на столе лежала раскрытая книга о Земле и ее обитателях. Я машинально начал ее читать, но остановился на первых же фразах и впал в состояние, близкое к прежнему оцепенению. Только в груди вместе с обычной тоскою чувствовалось еще какое-то неопределенное судорожное волнение. Так прошло не знаю сколько времени.

В коридоре послышались тяжелые шаги, и в комнату вошел Стэрни со своим обычным спокойно-деловым видом; он опустился в кресло по другую сторону стола и вопросительно посмотрел на меня. Я молчал. Он подождал с минуту и обратился ко мне с прямым вопросом:

— Чем я могу быть полезен?

Я продолжал молчать и неподвижно смотрел на него, как на неодушевленный предмет. Он чуть заметно пожал плечами и выжидательно расположился в кресле.

— Муж Нэтти... — наконец произнес я с усилием и полусознательно, в сущности, не обращаясь к нему.

— Я *был* мужем Нэтти, — спокойно поправил он: — Мы разошлись уже давно.

— ... Истребление... не будет... жестокостью... — продолжал я, так же медленно и полусознательно повторяя ту мысль, которая окаменела в моем мозгу.

— А, вы вот о чем, — сказал он спокойно. — Но ведь теперь об этом нет и речи. Предварительное решение, как вы знаете, принято совершенно иное.

— Предварительное решение... — машинально повторил я.

— Что касается моего тогдашнего плана, — прибавил Стэрни, — то хотя я не вполне от него отказался, но должен сказать, что не мог бы теперь защищать его так уверенно.

— Не вполне... — повторил я.

— Ваше выздоровление и участие в нашей общей работе разрушили отчасти мою аргументацию...

— ... Истребление... отчасти, — перебил я, и, должно быть, вся тоска и мука слишком ясно отразилась в моей бессознательной иронии. Стэрни побледнел и тревожно взглянул на меня. Наступило молчание.

И вдруг холодное кольцо боли с небывалой, невыразимой силой сжало мое сердце. Я откинулся на спинку кресла, чтобы удержаться от безумного крика. Пальцы моей руки судорожно схватили что-то твердое и холодное. Я почувствовал холодное оружие в своей руке, и стихийно-непреодолимая боль стала бешеным отчаянием. Я вскочил с кресла, нанося страшный удар Стэрни. Одна из ножек треножника попала ему в висок, и он без крика, без стоны склонился набок, как инертное тело. Я отбросил свое оружие, оно зазвенело и загремело об машины. Все было кончено.

Я вышел в коридор и сказал первому товарищу, которого я встретил: «Я убил Стэрни». Тот побледнел и быстро прошел в кабинет, но там он, очевидно, сразу убедился, что помощь уже не нужна, и тотчас вернулся ко мне. Он отвел меня в свою комнату и, поручив другому находившемуся там товарищу вызвать по телефону врача, а самому идти к Стэрни, остался вдвоем со мною. Заговорить со мною он не решился. Я сам спросил его:

— Здесь ли Энно?

— Нет, — отвечал он, — она уехала на несколько дней к Нэлле.

Затем снова молчание, пока не явился доктор. Он попытался расспросить меня о происшедшем; я сказал, что мне не хочется разговаривать. Тогда он отвез меня в ближайшую лечебницу душевнобольных.

Там мне предоставили большое удобное помещение и долго не беспокоили меня. Это было все, чего я мог желать.

Положение казалось мне ясным. Я убил Стэрни и тем погубил все. Марсиане видят на деле, чего они могут ожидать от сближения с земными людьми. Они видят, что даже тот, кого они считали наиболее способным войти в их жизнь, не может дать им ничего, кроме насилия и смерти, Стэрни убит — его идея воскресает. Последняя надежда исчезает, земной мир обречен. И я виновен во всем.

Эти идеи быстро возникли в моей голове после убийства и неподвижно воцарились там вместе с воспоминанием о нем. Было сначала некоторое успокоение в их холодной несомненности. А потом тоска и боль стали вновь усиливаться, казалось, до бесконечности.

Сюда присоединилось глубокое отвращение к себе. Я чувствовал себя предателем всего человечества. Мелькала смутная надежда, что марсиане меня убьют, но тотчас являлась мысль, что я для них слишком противен и их презрение помешает им сделать это. Они, правда, скрывали свое отвращение ко мне, но я ясно видел его, несмотря на их усилия.

Сколько времени прошло таким образом, я не знаю. Наконец врач пришел ко мне и сказал, что мне нужна перемена обстановки, что я отправляюсь на Землю. Я думал, что за этим скрывается предстоящая мне смертная казнь, но не имел ничего против. Я только просил, чтобы мое тело выбросили как можно дальше от всех планет: оно могло осквернить их.

Впечатления обратного путешествия очень смутны в моих воспоминаниях. Знакомых лиц около меня не было; я ни с кем не разговаривал. Сознание не было спутано, но я почти не замечал ничего окружающего. Мне было все равно.

## Часть IV

### I. У Вернера

Не помню, каким образом я очнулся в лечебнице у доктора Вернера, моего старшего товарища. Это была земская больница одной из северных губерний, знакомая мне еще ранее из писем Вернера; она находилась в нескольких верстах от губернского города, была очень скверно устроена и всегда страшно переполнена, с необыкновенно ловким экономом и недостаточным, замученным работою медицинским персоналом. Доктор Вернер вел упорную войну с очень либеральной земской управой из-за эконома, из-за лишних барачков, которые она строила очень неохотно, из-за церкви, которую она достраивала во что бы то ни стало, из-за жалованья служащих и т. п. Больные благополучно переходили к окончательному слабоумию вместо выздоровления, а также умирали от туберкулеза вследствие недостатка воздуха и питания. Сам Вернер, конечно, давно ушел бы оттуда, если бы его не вынуждали оставаться совершенно особые обстоятельства, связанные с его революционным прошлым.

Но меня все прелести земской лечебницы нисколько не коснулись. Вернер был хороший товарищ и не задумался пожертвовать для меня своими удобствами. В своей

большой квартире, отведенной ему как старшему врачу, он предоставил мне две комнаты, в третьей рядом с ними поселил молодого фельдшера, в четвертой под видом служителя для ухода за больными — одного скрывавшегося товарища. У меня не было, конечно, прежнего комфорта, и надзор за мною при всей деликатности молодых товарищей был гораздо грубее и заметнее, чем у марсиан, но для меня все это было совершенно безразлично.

Доктор Вернер, как и марсианские врачи, почти не лечил меня, только давал иногда усыпляющие средства, а заботился главным образом о том, чтобы мне было удобно и спокойно. Каждое утро и каждый вечер он заходил ко мне после ванны, которую для меня устраивали заботливые товарищи; но заходил он только на минутку и ограничивался вопросом, не надо ли мне чего-нибудь. Я же за долгие месяцы болезни совершенно отвык разговаривать и отвечал ему только «нет» или не отвечал вовсе. Но его внимание трогало меня, а в то же время я считал, что совершенно не заслуживаю такого отношения и что должен сообщить ему об этом. Наконец мне удалось собраться с силами настолько, чтобы сказать ему, что я убийца и предатель и что из-за меня погибнет все человечество. Он ничего не возразил на это, только улыбнулся и после того стал заходить ко мне чаще.

Мало-помалу перемена обстановки оказала свое благотворное действие. Боль слабее сжимала сердце, тоска бледнела, мысли становились все более подвижными, их колорит делался светлее. Я стал выходить из комнат, гулял по саду и в роще. Кто-нибудь из товарищей постоянно был поблизости; это было неприятно, но я понимал, что нельзя же убийцу пустить одного гулять на свободе; иногда я даже сам разговаривал с ними, конечно, на безразличные темы.

Была ранняя весна, и возрождение жизни вокруг уже не обостряло моих мучительных воспоминаний; слушая чириканье птичек, я находил даже некоторое грустное успокоение в мысли о том, что они останутся и будут жить, а только люди обречены на гибель. Раз как-то возле рощи меня встретил слабоумный больной, который шел с заступом на работу в поле. Он поспешил отрекомендоваться мне, причем с необыкновенной гордостью — у него была мания величия, — выдавая себя за урядника, — очевидно, высшая власть, которую он знал во время жизни на свободе. В первый раз за всю мою болезнь я невольно засмеялся. Я чувствовал отечество вокруг себя и, как Антей, набирался, правда, очень медленно, новых сил от родной земли.

Письмо было написано на моем родном языке, который так хорошо изучила моя Нэтти. Вот что я там прочитал:

«Мой Лэнни! Я ни разу не говорила с тобой о моих прежних личных связях, но это было не потому, что я хотела скрывать от тебя что бы то ни было из моей жизни. Я глубоко доверяю твоей ясной голове и твоему благородному сердцу; я не сомневаюсь, что, как бы ни были чужды и непривычны для тебя некоторые из наших жизненных отношений, ты в конце концов всегда сумеешь верно понять и справедливо оценить их.

Но я боялась одного... После болезни ты быстро накапливал силы для работы, но то душевное равновесие, от которого зависит самообладание в словах и поступках во всякую минуту и при всяком впечатлении, еще не вполне к тебе вернулось. Если бы под влиянием момента и стихийных сил прошлого, всегда таящихся в глубине человеческой души, ты хоть на секунду обнаружил ко мне, как женщине, то нехорошее, возникшее из насилия и рабства отношение, которое господствует в старом мире, ты никогда не простил бы себе этого. Да, дорогой мой, я знаю, ты строг, часто даже жесток к самому себе, — ты вынес эту черту из вашей суровой школы вечной борьбы земного мира, и одна секунда дурного, болезненного порыва навсегда осталась бы для тебя темным пятном на нашей любви.

Мой Лэнни, я хочу и могу тебя успокоить. Пусть спит и никогда не просыпается в душе твоей злое чувство, которое с любовью к человеку связывает беспокойство за живую собственность. У меня не будет других личных связей. Я могу легко и уверенно обещать тебе это, потому что перед моей любовью к тебе, перед страстным желанием помочь тебе в твоей великой жизненной задаче все остальное становится так мелко и ничтожно. Я люблю тебя не только как жена, я люблю тебя как мать, которая ведет своего ребенка в новую и

чуждую ему жизнь, полную усилий и опасностей. Эта любовь сильнее и глубже всякой другой, какая может быть у человека к человеку. И потому в моем обещании нет жертвы.

До свидания, мое дорогое, любимое дитя.

Твоя Нэтти».

## II. Было — не было?

Когда я стал больше думать об окружающих, мне захотелось узнать, известно ли Вернеру и другим обоим товарищам, что со мной было и что я сделал. Я спросил Вернера, кто привез меня в лечебницу. Он отвечал, что я приехал с двумя незнакомыми ему молодыми людьми, которые не могли сообщить ему о моей болезни ничего интересного. Они говорили, что случайно встретили меня в столице совершенно больным, знали меня раньше, до революции, и тогда слышали от меня о докторе Вернере, а потому и решились обратиться к нему. Они уехали в тот же день. Вернеру они показались людьми надежными, которым нет основания не верить. Сам же он потерял меня из виду уже несколько лет перед тем и ни от кого не мог добиться никаких известий обо мне... [...]

## III. Жизнь родины

Вернер тщательно устранял от меня всякие впечатления, которые могли бы быть «неполезны» для моего здоровья. Он не позволял мне заходить к нему в самую лечебницу, и из всех душевнобольных, которые там находились, я мог наблюдать только тех неизлечимо-слабоумных и дегенератов, которые ходили на свободе и занимались разными работами в поле, в роще, в саду; а это, правду сказать, было для меня неинтересно: я очень не люблю всего безнадёжного, всего ненужного и обреченного. Мне хотелось видеть острых больных и именно тех, которые могут выздороветь, особенно меланхоликов и веселых маниакальных. Вернер обещал сам показать мне их, когда мое выздоровление достаточно продвинется вперед, но все откладывал и откладывал. Так дело до этого и не дошло.

Еще больше Вернер старался изолировать меня от всей политической жизни моей родины. По-видимому, он полагал, что самое заболевание возникло из тяжелых впечатлений революции; он не подозревал того, что все это время я был оторван от родины и даже не мог знать, что там делалось. Это полное незнание он считал просто забвением, обусловленным моей болезнью, и находил, что оно очень полезно для меня; и он не только сам ничего из этой области мне не рассказывал, но запретил и моим телохранителям; а во всей его квартире не было ни единой газеты, ни единой книжки, журнала последних лет: все это хранилось в его кабинете в лечебнице. Я должен был жить на политически необитаемом острове.

Вначале, когда мне хотелось только спокойствия и тишины, такое положение мне нравилось. Но потом, по мере накопления сил, мне стало делаться все теснее в этой раковине; я начал приставать с расспросами к моим спутникам, а они, верные приказу врача, отказывались мне отвечать. Было досадно и скучно. Я стал искать способов выбраться из моего политического карантина и попытался убедить Вернера, что я уже достаточно здоров, чтобы читать газеты. Но все было бесполезно: Вернер объяснил, что это еще преждевременно и что он сам решит, когда мне можно будет переменить мою умственную диету.

Оставалось прибегнуть к хитрости. Я должен был найти себе подобного сообщника из числа окружающих. Фельдшера склонить на свою сторону было бы очень трудно: он имел слишком высокое представление о своем профессиональном долге. Я направил усилия на другого телохранителя, товарища Владимира. Тут большого сопротивления не встретилось.

Владимир был раньше рабочим. Малообразованный и почти еще мальчик по возрасту, он был рядовым революции, но уже испытанным солдатом. Во время одного знаменитого погрома, где множество товарищей погибло от пуль и в пламени пожара, он пробил себе дорогу сквозь толпу погромщиков, застрелив несколько человек и не получив по какой-то

случайности ни одной раны. Затем он долго скитался нелегальным по разным городам и селам, выполняя скромную и опасную роль транспортера оружия и литературы. Наконец почва стала слишком горяча под его ногами, и он вынужден был на время скрыться у Вернера. Все это я, конечно, узнал позже. Но с самого начала я подметил, что юношу очень угнетает недостаток образования и трудность самостоятельных занятий при отсутствии предварительной научной дисциплины. Я начал заниматься с ним; дело пошло хорошо, и очень скоро я навсегда завоевал его сердце. А дальнейшее было уже легко; медицинские соображения были вообще мало понятны Владимиру, и у нас с ним составилась маленький заговор, парализовавший строгость Вернера. Рассказы Владимира, газеты, журналы, политические брошюры, которые он тайком приносил мне, быстро развернули передо мною жизнь родины за годы моего отсутствия.

Революция шла неровно и мучительно затягивалась. Рабочий класс, выступивший первым, сначала благодаря стремительности своего нападения одержал большие победы; но затем, не поддержанный в решительный момент крестьянскими массами, он потерпел жестокое поражение от соединенных сил реакции. Пока он набирался энергии для нового боя и ожидал крестьянского арьергарда революции, между старой помещичьей властью и буржуазией начались переговоры, попытки сторговаться и столкнуться для подавления революции. Попытки эти были облечены в форму парламентской комедии; они постоянно оканчивались неудачей вследствие непримиримости крепостников-реакционеров. Игрушечные парламенты созывались и грубо разгонялись один за другим. Буржуазия, утомленная бурями революции, запуганная самостоятельностью и энергией первых выступлений пролетариата, все время шла направо. Крестьянство, в своей массе вполне революционное по настроению, медленно усваивало политический опыт и пламенем бесчисленных поджогов освещало свой путь к высшим формам борьбы. Старая власть наряду с кровавым подавлением крестьянства попыталась часть его подкупить продажей земельных участков, но вела все дело в таких грошовых размерах и до такой степени бестолково, что из этого ничего не вышло. Повстанческие выступления отдельных партизан и групп учащались с каждым днем. В стране царил небывалый, невиданный нигде в мире двойной террор — сверху и снизу.

Страна, очевидно, шла к новым решительным битвам. Но так долог и полон колебаний был этот путь, что многие успели утомиться и даже отчаяться. Со стороны радикальной интеллигенции, которая участвовала в борьбе главным образом своим сочувствием, измена была почти поголовная. Об этом, конечно, жалеть было нечего. Но даже среди некоторых моих прежних товарищей успели свить себе гнездо уныние и безнадежность. По этому факту я мог судить, насколько тяжела и изнурительна была революционная жизнь за минувшее время. Сам я, свежий человек, помнивший предреволюционное время и начало борьбы, но не испытавший на себе всего гнета последующих поражений, видел ясно бессмысленность похорон революции; я видел, насколько все изменилось за эти годы, сколько новых элементов прибавилось для борьбы, насколько невозможна остановка на создавшемся мнимом равновесии. Новая волна революции была неизбежна и недалека.

Приходилось, однако ждать. Я понимал, как мучительно-тяжела работа товарищей в этой обстановке. Но сам я не спешил идти туда независимо даже от мнения Вернера. Я находил, что лучше запастись силами, чтобы их хватило тогда, когда они понадобятся полностью.

Во время долгих прогулок по роще мы с Владимиром обсуждали шансы и условия предстоящей борьбы. Меня глубоко трогали его наивно-героические планы и мечты; он казался мне благородным милым ребенком, которому суждена такая же простая непритязательно-красивая смерть бойца, какова была его юная жизнь. Славные жертвы намечает себе революция, и хорошею кровью окрашивает она свое пролетарское знамя!

Но не один Владимир казался мне ребенком. Много наивного и детского, чего я раньше как будто не замечал и не чувствовал, я находил и в Вернере, старом работнике революции, и в других товарищах, о которых вспоминал. Все люди, которых я знал на Земле,

представлялись мне полудетьми, подростками, смутно воспринимающими жизнь в себе и вокруг себя, полусознательно отдающимися внутренней и внешней стихийности. В этом чувстве не было ни капли снисходительности или презрения, а была глубокая симпатия и братский интерес к людям-зародышам, детям юного человечества.

#### IV. Конверт

Жаркое летнее солнце как будто растопило лед, окутывающий жизнь страны. Она пробуждалась, и зарницы новой грозы уже вспыхивали на горизонте, и снова глухие раскаты начинали доноситься с низов. И это солнце и это пробуждение согревали мою душу и поднимали мои силы, и я чувствовал, что скоро буду здоров, как не был никогда в жизни.

В этом смутно-жизнерадостном состоянии мне не хотелось думать о прошлом и приятно было сознавать, что я забыт всем миром, забыт всеми... Я рассчитывал воскреснуть для товарищей в такое время, когда никому и в голову не придет меня спрашивать о годах моего отсутствия, — когда всем будет слишком не до того и мое прошлое потонет надолго в бурных волнах нового прилива. А если мне случалось подмечать факты, вызывавшие сомнение в надежности этих расчетов, во мне зарождались тревога, и беспокойство, и неопределенная враждебность ко всем, кто мог еще обо мне помнить.

В одно летнее утро Вернер, вернувшись из лечебницы с обхода больных, не ушел в сад отдыхать, как он делал обыкновенно, потому что эти обходы страшно его утомляли, а пришел ко мне и стал очень подробно расспрашивать меня о моем самочувствии. Мне показалось, что он запоминал мои ответы. Все это было не вполне обычно, и сначала я подумал, что он как-нибудь случайно проник в тайну моего маленького заговора. Но из разговора я скоро увидел, что он ничего не подозревает. Потом он ушел — опять-таки не в сад, а к себе в кабинет, и только через полчаса я увидел его в окне гуляющим по его любимой темной аллее. Я не мог не думать об этих мелочах, потому что ничего более крупного вокруг меня вообще не было. После различных догадок я остановился на том наиболее правдоподобном предположении, что Вернер хотел написать кому-то — очевидно, по специальной просьбе — подробный отчет о состоянии моего здоровья. Почту к нему всегда приносили утром в его кабинет в лечебнице; в этот раз он, должно быть, получил письмо с запросом обо мне.

От кого письмо и зачем, узнать, и притом немедленно, было необходимо для моего успокоения. Спрашивать Вернера было бесполезно — он почему-нибудь, очевидно, не находил возможным сказать мне это, иначе сказал бы сам, без всяких вопросов. Не знал ли чего-нибудь Владимир? Нет, оказалось, что он не знал ничего. Я стал придумывать, каким бы способом добраться до истины.

Владимир был готов оказать мне всякую услугу. Мое любопытство он считал вполне законным, скрытность Вернера — неосновательной. Он, не задумываясь, произвел целый обыск в комнатах Вернера и в его медицинском кабинете, но не нашел ничего интересного.

— Надо полагать, — сказал Владимир, — что он либо носит это письмо при себе, либо изорвал его и бросил.

— А куда он бросает обыкновенно изорванные письма и бумаги? — спросил я.

— В корзину, которая стоит у него в кабинете под столом, — отвечал Владимир.

— Хорошо, в таком случае принесите мне все клочки, которые вы найдете в этой корзине.

Владимир ушел и скоро вернулся.

— Там нет никаких клочков, — сообщил он, — а вот что я нашел там: конверт письма, полученного, судя по штемпелю, сегодня.

Я взял конверт и взглянул на адрес. Земля поплыла у меня под ногами, и стены стали валиться на меня... Почерк Нэтти!

#### V. Итоги

Среди того хаоса воспоминаний и мыслей, который поднялся в моей душе, когда я увидел, что Нэтти была на Земле и не хотела встретиться со мной, для меня вначале был ясен только конечный вывод. Он возник как будто сам собой, без всякого заметного логического процесса и был вне всякого сомнения. Но я не мог ограничиться тем, чтобы просто осуществить его поскорее. Я хотел достаточно и отчетливо мотивировать его для себя и для других. Особенно не мог я примириться с тем, что меня не поняла бы и Нэтти и приняла бы за простой порыв чувства то, что было логической необходимостью, что неизбежно вытекало из всей моей истории.

Поэтому я должен был прежде всего последовательно рассказать свою историю, рассказать для товарищей, для себя, для Нэтти... Таково происхождение этой моей рукописи. Вернер, который прочитает ее первым, — на другой день после того, как мы с Владимиром исчезнем, — позаботится о том, чтобы она была напечатана, — конечно, со всеми необходимыми ради конспирации изменениями. Это мое единственное завещание ему. Очень жалею, что мне не придется пожать ему руку на прощанье.

По мере того как я писал эти воспоминания, прошлое прояснилось передо мной, хаос уступал место определенности, моя роль и мое положение точно обрисовывались перед сознанием. В здравом уме и твердой памяти я могу теперь подвести все итоги...

Совершенно бесспорно, что задача, которая была на меня возложена, оказалась выше моих сил. В чем заключалась причина неуспеха? И как объяснить ошибку проницательного, глубокого психолога Мэнни, сделавшего такой неудачный выбор?

Я припоминаю свой разговор с Мэнни об этом выборе, разговор, происходивший в то счастливое для меня время, когда любовь Нэтти внушала мне беспредельную веру в свои силы.

— Каким образом, — спросил я, — вы, Мэнни, пришли к тому, что из массы разнообразных людей нашей страны, которых вы встречали в своих поисках, вы признали меня наиболее подходящим для миссии представителя Земли?

— Выбор был не так уж обширен, — отвечал он. — Его сфера должна была с самого начала ограничиваться представителями научно-революционного социализма; все другие мировоззрения отстоят гораздо дальше от нашего мира.

— Пусть так. Но среди пролетариев, образующих основу и главную силу нашего направления, разве не среди них могли вы всего легче найти то, что вам было надо?

— Да, искать там было бы всего вернее. Но... у них обыкновенно не хватает одного условия, которое я считал необходимым: широкого, разностороннего образования, стоящего на всей высоте вашей культуры. Это отклонило линию моих поисков в другую сторону.

Так говорил Мэнни. Его расчеты не оправдались. Значило ли это, что ему вообще некого было взять, что различие обеих культур составляет необходимую пропасть для отдельной личности и преодолеть его может только общество? Думать так было бы, пожалуй, утешительно для меня лично, но у меня остается серьезное сомнение. Я полагаю, что Мэнни следовало бы еще проверить его последнее соображение — то, которое касалось товарищей-рабочих.

На чем именно я потерпел крушение?

В первый раз это произошло таким образом, что нахлынувшая на меня масса впечатлений чуждой жизни, ее грандиозное богатство затопили мое сознание и размыли линии его берегов. С помощью Нэтти я пережил кризис и справился с ним, но не был ли самый кризис усилен и преувеличен той повышенной чувствительностью, той утонченностью восприятия, которая свойственна людям социально-умственного труда? Быть может, для натуры, несколько более примитивной, несколько менее сложной, но зато органически более стойкой и прочной, все обошлось бы легче, переход был бы менее болезненным? Быть может, для малообразованного пролетария войти в новое, высшее существование было бы не так трудно, потому что хотя ему пришлось бы больше учиться вновь, но зато гораздо меньше надо было бы переучиваться, а именно это тяжелее всего...



Мне кажется, что да; и я думаю, что Мэнни тут впал в ошибку расчета, придавая уровню культурности больше значения, чем культурной силе развития.

Во второй раз то, обо что разбились мои душевные силы, это был самый *характер* той культуры, в которую я попытался войти всем моим существом: меня подавила ее высота, глубина ее социальной связи, чистота и прозрачность ее отношений между людьми. Речь Стэрни, грубо выразившая всю несоизмеримость двух типов жизни, была только поводом, только последним толчком, сбросившим меня в ту темную бездну, к которой тогда стихийно и неудержимо вело меня противоречие между моей внутренней жизнью и всей социальной средой, на фабрике, в семье, в общении с друзьями. И опять-таки не было ли это противоречие гораздо более сильным и острым именно для меня, революционера-интеллекта, всегда девять десятых своей работы выполнявшего либо просто в одиночку, либо в условиях одностороннего неравенства с товарищами-сотрудниками, в качестве их учителя и руководителя, — в обстановке обособления моей личности среди других? Не могло ли противоречие оказаться слабее и мягче для человека, девять десятых своей трудовой жизни переживающего хотя бы в примитивной и неразвитой, но все же в товарищеской среде, с ее, быть может, несколько грубым, но действительным равенством сотрудников? Мне кажется, что это так; и я полагаю, что Мэнни следовало бы возобновить его попытку, но уже в новом направлении...

А затем для меня остается то, что было между двумя крушениями, то, что дало мне энергию и мужество для долгой борьбы, то, что и теперь позволяет мне без чувства унижения подводить ее итоги. Это любовь Нэтти.

Бесспорно, любовь Нэтти была недоразумением, ошибкой ее благородного и пылкого воображения. Но такая ошибка оказалась возможной, этого никто не отнимет и ничто не изменит. В этом для меня ручательство за действительную близость двух миров, за их будущее слияние в один невиданно-прекрасный и стройный.

А сам я... но тут нет никакого итога. Новая жизнь мне недоступна, а старой я уже не хочу: я не принадлежу ей больше ни своей мыслью, ни своим чувством. Выход ясен.

Пора кончать. Мой сообщник дожидается меня в саду; вот его сигнал. Завтра мы оба будем далеко отсюда, на пути туда, где жизнь кипит и переливается через край, где так легко стереть ненавистную для меня границу между прошлым и будущим. Прощайте, Вернер, старый, хороший товарищ.

Да здравствует новая, лучшая жизнь, и привет тебе, ее светлый призрак, моя Нэтти!  
[...]

## **Инженер Мэнни**

(фантастический роман)15

### **Предисловие переводчика**

После событий, описанных мною в книге «Красная Звезда», я вновь живу среди своих друзей — марсиан, и работаю для дорогого мне дела — сближения двух миров.

Марсиане решили на ближайшее будущее отказаться от всякого прямого, активного вмешательства в дела Земли; они думают ограничиться пока ее изучением и постепенным ознакомлением земного человечества с более древней культурой Марса. И я вполне согласен с ними, что осторожность необходима в этом деле. Так, если бы открытия их науки о строении материи стали теперь известны на Земле, то у милитаризма враждебных друг другу наций оказались бы в руках истребительные орудия невиданной силы, и вся планета в несколько месяцев была бы опустошена.

При Колонизационном Обществе марсиан образовалась особая группа

Распространения Новой Культуры на Земле. Я в этой группе взял на себя наиболее подходящую мне роль — переводчика; для той же цели мы надеемся в близком будущем привлечь еще нескольких земных людей разных национальностей. Задача эта вовсе не так проста, как может показаться с первого взгляда. Трудности при переводе с единого марсианского языка на земные неизмеримо больше, чем при переводе с одного земного языка на другой; а полная и вполне точная передача мыслей подлинника часто даже невозможна.

Представьте себе, что вам пришлось бы современное научное произведение, психологический роман, политическую статью переводить на язык Гомера или церковнославянский... Я сознаю, насколько для нас, людей Земли, нелестно это сравнение, но, к сожалению, оно не преувеличено: разница двух культур приблизительно такая же. Не тот строй жизни, другие отношения, иной весь опыт людей. Множество понятий, там — вполне выработанных и привычных, здесь отсутствуют совершенно. Идеи, там настолько общепринятые, что их даже не высказывают, а постоянно подразумевают, здесь — нередко воспринимаются, как нечто непонятное, невероятное или даже чудовищное, — в роде того, как атеизм для благочестивого католика средних веков или свободная любовь для мещанина старых времен. Язык мыслей может различаться гораздо больше, чем язык слов; первый бывает иногда совершенно несходен даже там, где второй кажется одним и тем же.

Наибольшая трудность, какую встречает на своем пути новая идея, — это чаще всего именно трудность ее перевода на обычный язык. Когда Коперник, Бруно и Галилей говорили, что земля вращается, самые слова их были почти для всех тогда еще непонятны: «вращаться» означало, прежде всего, определенные живые ощущения, связанные с круговым движением человека или окружающих его предметов; но как раз таких ощущений в данном случае не было. Эта история повторялась и еще теперь повторяется на каждом шагу.

Теперь вы легко поймете, каковы препятствия при переводе с языка другой культуры, притом более сложной и высокой. Очевидно, что надо начинать с наиболее легкого. Этим объясняется выбор, который сделала для первого раза наша группа. Мы взяли исторический роман моего друга, писательницы Энно, роман из эпохи, приблизительно соответствующей нынешнему периоду земной цивилизации — последним фазам капитализма. Изображаются отношения и типы, родственные нашим, а потому и сравнительно понятные для земного читателя. Сама Энно бывала на Земле и знает некоторые из наших языков, так что могла отчасти помочь мне в работе, но только отчасти; ответственность за форму изложения в целом — если стоит говорить об ответственности — я должен принять на себя.

Марсианские меры, веса, счисление времени я повсюду, разумеется, заменял земными; название стран, морей, каналов, где возможно, — теми, которые приняты теперь на картах земных астрономов, т. е. греческими и латинскими обозначениями Скиапарелли. Но в романе речь идет нередко о подробностях, совершенно недоступных нашим телескопам, — о городах, горных цепях, мелких заливах; тогда я либо просто переводил марсианское название, либо старался передать его мысль подходящей греческой формой в духе тех же обозначений Скиапарелли.

Теперь мне надо ввести читателя в ту обстановку, среди которой разворачивается действие романа.

\* \* \*

Марс по астрономическому возрасту вдвое старше Земли; благодаря этому он маловоден. За долгие миллионы лет большая часть воды его океанов успела просочиться в глубину его коры; теперь все моря на Марсе составляют лишь половину его поверхности, и притом они гораздо менее глубоки, чем земные. Суша сплошным континентом занимает три четверти северного полушария и около четверти южного, охватывая несколько небольших внутренних морей; остальное пространство занимает Южный океан со множеством островов; из них некоторые довольно обширны. Материк прорезан по всем направлениям

знаменитыми каналами.

Такова картина в настоящее время; но не совсем такова была она триста лет тому назад. Если бы Галилей и Кеплер обладали современными телескопами, то все-таки на их картах Марса не оказалось бы ни огромного большинства нынешних каналов, ни даже некоторых внутренних морей и озер. В действительности «великих каналов» тогда вовсе и не было, а было несколько широких морских проливов, ошибочно относимых к числу каналов земными астрономами. Начало «великих работ» было положено инженером Мэнни всего 250 лет тому назад. Историческая необходимость породила это чудо труда и человеческой воли.

История марсиан в основных чертах похожа на историю земного человечества: такой же путь от родового быта через феодализм к господству капитала и через него — к объединению труда. Но более медленным темпом и в более мягких тонах шло это развитие. Природа Марса не так богата, — зато и жизнь его была не так расточительна, как земная. Огнем и кровью залита каждая страница истории на Земле, залита настолько, что летописцы и историки долго почти ничего другого не могли вычитать из нее. Конечно, и на Марсе насилие, разрушение, истребление сыграли свою роль; но там она никогда не была так чудовищно грандиозна. Медленнее шло марсианское человечество, но никогда оно не знало ни худших форм нашего рабства, ни гибели целых цивилизаций, ни таких глубоких и жестоких реакций, как наши. Даже бесчисленные войны феодализма, несколько тысячелетий там царившего, были сравнительно чужды того бессмысленно-зверского опьянения кровью, какое отличало феодальные войны у нас: за жестокими битвами там редко следовали массовое убийство и опустошительный грабеж мирного населения. Сквозь варварство эпохи пробивалось какое-то инстинктивное уважение к жизни и труду.

Почему это было так? Бедна и сурова была природа планеты, и опытом тысяч поколений накопилось смутное сознание того, как трудно восстанавливается разрушенное. Меньше было и разъединения между людьми: ближе были друг другу разные племена и народности, легче общение. Суша не разорвана широкими океанами и морями на самостоятельные материки, горные цепи не столь высоки и непроходимы, как на Земле; передвижение много легче, благодаря меньшей силе тяжести: вес всех предметов более чем в два с половиной раза меньше, чем у нас. Разные языки, выйдя из одного общего начала, никогда не удалялись до полного расхождения, и уже в феодальную эпоху, с учащением дальних походов и торговых сношений, вновь стали сближаться между собою; к ее концу это были скорее областные наречия, чем отдельные языки. Взаимного понимания между людьми было больше, единство их опыта глубже.

Около 1000 года после Р. Х., по нашему счету, феодализм в большинстве стран Марса уже доживал свое время. Денежное хозяйство за предыдущие пятьдесят веков успело проложить себе дорогу, и торговый капитал все решительнее оспаривал у старого землевладения власть над обществом. Повсюду шла культурная революция, но еще в религиозной оболочке — под видом реформации древних феодальных религий. Крупные князья и короли, «собиратели земель», пользовались положением, чтобы подорвать силу своего наиболее опасного соперника — жречества — и утвердить монархическую систему. Около 1000 года на месте прежних тысяч мелких удельных княжеств имелось уже только около двадцати бюрократических монархий, а большая часть гордых феодалов поступила на службу и ко двору королей.

Но за это время распространились мануфактуры, и капитал еще вырос. Ему стало тесно под опекой полицейского государства, и он начал свою освободительную борьбу. Приблизительно от 1200 до 1600 года идет, под его невидимым руководством, ряд политических революций в разных странах.

В конце XIV века началась промышленная революция, вызванная появлением машин, и ход развития стал ускоренным. К 1560 году не только повсюду, кроме немногих отсталых окраин континента, водворился демократический строй, но было достигнуто еще нечто большее — почти полное культурное и политическое объединение. Выработался общий литературный язык, поглотивший большинство прежних областных диалектов, и создалась,

путем частью войн, частью договоров, гигантская Федеральная республика, охватившая около трех четвертей планеты. Оставалось довершить дело завоеванием нескольких полуфеодальных государств, и это было систематически выполнено федеральным правительством за последующие полвека.

Около 1620 года было покорено последнее независимое государство, — страна, обозначаемая на наших картах, как «Таумазия Феликс» (Счастливая Страна Чудес), где властвовал древний дом герцогов Альдо. Таумазия представляет большой южный полуостров континента, от которого она теперь, впрочем, совсем отделена каналами с их озерами. В те времена обитаемой была только прибрежная полоса Таумазии, обращенная к Южному Океану; вся внутренняя часть, где теперь находится огромное «Озеро Солнца», представляла безводную пустыню. Население — несколько сот тысяч крестьян и рыбаков — отличалось суровыми, простыми нравами, консерватизмом и религиозностью; хозяйство было еще, главным образом, натуральное, отношения между феодалами и крестьянством вполне патриархальные. То была настоящая Вандея. Она и сыграла в истории Марса роль Вандеи.

Старый герцог Альдо не пережил крушения. Но остался его сын и наследник, молодой Ормэн. Когда Федеральная республика объявила войну Таумазии, он находился в Центрополисе, главном городе республики, куда приехал для переговоров. Там он и был задержан на все время войны. Республика не конфисковала поместий герцогского дома, и, не имея политической власти, Ормэн Альдо сохранил значительную долю земель Таумазии в качестве помещика. Внешним образом он вполне примирился со своим новым положением. Каждый год он на несколько месяцев приезжал в Центрополис и вел там жизнь миллионера из золотой молодежи, делая вид, что совершенно не интересуется политикой. На самом же деле он внимательно наблюдал отношения общественных сил и искал связей среди недовольных элементов — остатков духовенства и аристократии, а также разных сепаратистов, мечтавших о восстановлении независимости родных окраин. Остальное время он проводил у себя, в Таумазии, разъезжая по всему ее протяжению под предлогом охоты или хозяйственных расчетов с арендаторами.

Почва для его агитации была самая благоприятная. Его поддерживала не только сила заветов прошлого и все влияние духовенства на темную массу, но еще больше — мучительная экономическая эволюция страны: вторжение торгового и ростовщического капитала. Налоги, установленные центральным правительством, сами по себе не были бы тяжелы, но их надо было уплачивать деньгами, а деньги составляли редкость в Таумазии. Крестьяне исстари привыкли жить прямо продуктами своего труда, дополняя недостающее соседским обменом, для которого не требуется денег; натурой отбывались и повинности по отношению к помещикам; даже подати старому герцогскому правительству на девять десятых вносились продуктами и работами. Теперь же надо было в определенное время года платить сборщикам налогов огромные, по тогдашним крестьянским понятиям, суммы денег; надо было что-нибудь продавать для этого, продавать во что бы то ни стало. Так масса населения попадала во власть скупщиков и приезжих торговцев, которые пользовались обстоятельствами без пощады: покупали по ничтожным ценам, давали займы по неоплатно-ростовщическим процентам, навязывали свои товары, часто вовсе ненужные крестьянину — кулачскими договорами присваивали хлеб на корню и будущий улов рыбы и еще увеличивали свои барыши систематическим надувательством, против которого темное население было беззащитно. С торговлей новые соблазны и потребности проникали в крестьянскую среду, но для их удовлетворения опять-таки нужны были деньги, и это помогало хищникам усиливать свою эксплуатацию. Разорение быстро подвигалось вперед, а с ним росло в Таумазии народное недовольство.

После двадцати лет невидимой работы Ормэна Альдо с его друзьями все было подготовлено как нельзя лучше: десятки тысяч энергичных людей готовы были подняться по первому сигналу, и масса понемногу ввезенного оружия лежала в подвалах разбросанных по всей стране замков. Оставалось выжидать удобного момента. Тем временем Ормэн решил

позаботиться о продолжении своей династии. Он женился на юной дочери одного из крупных помещиков, горячего участника в заговоре. О любви в этом браке не было и речи: двадцать лет политики и дипломатии сделали из Ормэна мрачную, несимпатичную фигуру. Через несколько месяцев молодая женщина оказалась беременна; тогда Ормэн отослал ее в один из самых дальних замков, где она могла находиться в безопасности на случай восстания. Спустя еще несколько месяцев Ормэн получил два радостных известия: у него родился наследник; а над всей республикой разразился жестокий промышленный кризис. Лучшего случая нельзя было и желать, — Ормэн поднял старое знамя герцогов Альдо.

Борьба была упорная, но слишком неравная. Ормэн обнаружил большой талант полководца и одержал несколько блестящих побед; но республика вскоре мобилизовала громадную армию; а других серьезных восстаний, на которые рассчитывал герцог Альдо, нигде не произошло. И такова ироническая логика жизни, что как раз война с Таумазией помогла республике быстрее оправиться от экономического кризиса: вынужденные огромные покупки и заказы правительства сразу улучшили положение нескольких отраслей производства, а за ними последовали и другие. Через год все было кончено: герцог Ормэн погиб с оружием в руках, Таумазия была покорена навсегда. Феодалная идея больше не воскресала.

Вдова Альдо вместе с ребенком была, по распоряжению правительства, переселена в Центрополис — очевидно, для удобства надзора. Эта столица находится в нескольких тысячах километров от Таумазии, среди континента, на берегу внутреннего моря, называемого Нильским озером; она расположена при устье широкого и очень длинного пролива Инда, связывающего Нильское озеро с Жемчужным заливом Южного океана. Молодая женщина вскоре умерла от тоски по далекой родине. Мальчик вырос среди чужих людей; он был воспитан в республиканских идеях. Его звали, как и отца, Ормэн; но он впоследствии всегда подписывался «Мэнни»; это — то же самое имя, только в демократической форме, — наподобие того, как у нас коронованную особу называют «Иоанн», а обыкновенного человека — Иван.

Из Мэнни вышел первоклассный ученый — физик и инженер. Нуждаться ему никогда не приходилось, хотя все имущество отца было конфисковано: от родственников по матери ему осталось порядочное наследство. Это позволило ему в течение пяти лет, начиная с двадцатилетнего возраста, совершить ряд смелых и дальних путешествий по великим пустыням континента. В те времена меньше половины суши было заселено: системы каналов не существовало, и вся внутренность материка, около трех пятых его поверхности, была лишена воды. В этих путешествиях, очевидно, и зародился его план Великих Работ.

Первым полем инженерской работы Мэнни явилась Ливия. Эта страна, расположенная близ экватора, у обширного залива Большого Сырта, пользуется у земных астрономов незаслуженно плохой репутацией. Скиапарелли нашел, что большой западный полуостров Ливии скрылся под водой в несколько лет. На самом же деле это просто невольная ошибка наблюдения. У берегов Ливии находится огромная, длинная отмель; на ней марсиане долго разводили гигантские плантации одной водоросли, волокна которой применялись для производства тканей. Цвет ее, красный, как и у всех растений планеты, создавал иллюзию, будто там суша. Новая техника производства одежды сделала излишним разведение водоросли, и иллюзия исчезла. В небольшой залив к северу от этой отмели теперь впадает канал Нэпентес; идя к востоку, он в нескольких десятках километров от моря образует озеро Мёрис, вдвое больше нашего Ладожского; затем направляется дальше, загибаясь дугой несколько к северу, и через озеро Тритона сливается с целой системой других каналов. Мэнни прорыл первую часть канала Нэпентес, от моря до озера Мёрис. Озеро это тогда и образовалось среди пустыни, благодаря тому, что часть ее представляла впадину, дно которой было значительно ниже уровня моря.

В силу таких же условий проведенные инженером Мэнни через Таумазию каналы Нектар и Амброзия породили озеро Солнца — внутреннее море, размером в половину Каспийского.

При жизни самого Мэнни была закончена только небольшая часть нынешней сети каналов; но почти вся она была уже намечена в проектах, выработанных им и его продолжателем, инженером Нэтти.

Эти два человека — главные действующие лица романа.

*Леонид Н.*

## Пролог

### I. Мэнни

Официальное совещание по вопросу о канале через Западную Ливию было созвано зимой 1667 года, по земному счету, в министерстве Общественных Работ. Среди сотни участников находились представители главных банковских картелей, а также наиболее заинтересованных промышленных трестов и крупнейших частных предприятий, целый ряд знаменитых ученых и выдающихся инженеров, депутаты парламента и делегаты от правительства. Министр открыл собрание краткой речью, в которой выяснил его цель.

— Вы все, я полагаю, — сказал он, — уже знакомы в общих чертах с проектом инженера Мэнни Альдо по его замечательной книге «Будущее Ливийской пустыни». Общество и парламент отнеслись со вниманием к этому проекту; о том свидетельствует ваше присутствие здесь. По предложению Центрального Правительства сам автор сделает нам сегодня доклад, в котором конкретнее изложит техническую и финансовую сторону дела. Правительство обращается к вашей высокой компетентности, придавая важное значение вашим мнениям и советам. Было бы очень желательно, чтобы совещание в целом смогло прийти к определенному принципиальному выводу, за — или против проекта. Дело идет не только о мирном завоевании новой страны для человечества, но также о затратах, исчисляемых от одного до двух миллиардов.

Затем он дал слово докладчику.

Сначала Мэнни сжато и точно, с цифрами и чертежами, которые тут же воспроизводились фонарем на экране, описал рельеф местности.

— Я сам со своими помощниками, — сказал он, — произвел новый промер Ливийской котловины от юга к северу и от востока к западу, указания прежних путешественников были слишком приблизительны и неполны. Пространство несколько более шестисот тысяч квадратных километров заключено со всех сторон между горами, достаточно высокими, чтобы не пропускать дождевых облаков. С юга и с запада эти горы довольно близко подходят к океану, а на севере и на востоке за ними начинаются другие пустыни. Когда-то вся котловина была морским дном; но с тех пор уровень океана сильно понизился, она отделилась от него и высохла; однако ее центральная часть и теперь, как вы можете видеть по чертежам поперечных разрезов, остается ниже поверхности океана от 50 до 200, местами даже до 300 метров. Это пространство размером около 50 тысяч квадратных километров немедленно было бы вновь затоплено, если бы удалось привести его в сообщение с Океаном. Тогда весь климат страны резко изменился бы.

— В настоящее время это сплошная безводная пустыня, где поверхностный слой песку измельчился в пыль, губельную для легких и для глаз. Там нет оазисов, которые могли бы служить этапами отдыха для путешественников. За последние сто лет из восьми экспедиций, проникших в глубину пустыни, две не вернулись вовсе, остальные потеряли часть сотрудников. Наша экспедиция была оборудована лучше всех прежних, но зато, правда, и работала гораздо дольше, она возвратилась в половинном составе; кроме меня одного, все были серьезно больны. Особенно тяжелы нервные заболевания — от полного однообразия окружающей среды и совершенного отсутствия в ней звуков. Там настоящее царство молчания.

— Когда в Ливии удастся создать внутреннее море, то вся она станет иной. Влага,

испаряемая тропическим солнцем с поверхности этого моря, будет задерживаться горами, окружающими котловину, и сбегать с их склонов обратно в виде ручьев и речек, давая небогатое, но достаточное орошение. Почва пустыни, по нашему анализу, обладает в избытке солями, необходимыми для жизни растений, и вода сразу сделает ее плодородной. При научно-правильной постановке сельского хозяйства страна прокормит до 20 миллионов человек, — а все население нашей планеты сейчас — 300 миллионов.

— Конечно, для такой колонизации потребуются десятки лет. Но уже сразу после образования внутреннего моря получится легкий доступ к северным и восточным горам Ливии, в которых сосредоточены ее гигантские минеральные богатства. Там еще до нас были найдены целые скалы лучшей железной руды, магнитной, и широкие пласты каменного угля, выходящие наружу в трещинах и сдвигах геологических слоев. Мы привезли с собой образцы серебряно-свинцовой руды, по отзыву специалистов одной из лучших в мире, а также ртутной и даже урановой. Мы нашли район, где имеется самородная платина, драгоценный денежный металл... Но нет ни малейшего сомнения, что мы видели не все, а только незначительную долю, — слишком мало времени и сил было в нашем распоряжении.

Затем Мэнни перешел к вопросу о самом канале. Выбор места не представлял никаких трудностей, так как подходящий пункт имелся только один: там, где котловина всего больше приближается к восточному берегу и где горный массив суживается до нескольких километров.

— Здесь, — говорит Мэнни, — вся длина канала не превзойдет 70 километров. У нас уже есть каналы для судоходства вдвое и втрое длиннее этого. Но дело идет о том, чтобы наполнить и поддерживать внутреннее море. Обыкновенный канал просто затерялся бы в песках пустыни. Вычисления показывают, что тут его ширина должна быть в пять раз, а глубина втрое больше обычной. Затем, часть его, около трети, должна пройти по скалистому грунту, и главное — приходится прорезать горный перевал. Надо будет взорвать гигантскую массу известняков, а под ними даже гранитов, составляющих основание цепи. Потребуется около полумиллиона тонн динамита. Рабочей же силы, по предварительному расчету, понадобится двести тысяч человек, на четыре года, при условии применения лучших и дорогих машин.

Далее Мэнни изложил финансовый план дела. Общая сумма расходов, если всюду брать наибольшие величины, может достигнуть 1500 миллионов. Операция, очевидно, по силам только государству. В течение четырех лет оно выпускает специальный заем, так чтобы каждый год покрывать и издержки работ, и проценты по самому займу. Потом, когда станет возможна эксплуатация новой страны, и проценты, и заем будут постепенно оплачиваться продажей или сдачей в аренду рудных и плодородных участков. В руках государства окажется земельная собственность ценою в несколько десятков миллиардов.

Все крупные финансовые учреждения поддержат заем, для них это — целое поле новых операций. Множество отраслей промышленности заинтересовано в огромных заказах, которые будут порождены работами.

— Помимо всего этого, — сказал Мэнни, — я могу указать еще один важный для всех финансистов и предпринимателей мотив, чтобы поддерживать это дело. Вы знаете, что за последние полтора века время от времени, с разными промежутками, происходят жестокие финансово-промышленные кризисы, когда кредит сразу падает, и товары не находят сбыта, причем разоряются тысячи предприятий и остаются без работы миллионы рабочих. Знаменитый Ксарма, которому его социалистические взгляды не мешают быть самым ученым и глубоким экономистом нашего времени, заявляет, что новый такой кризис, сильнее всех прежних, последует через один-два года, если только не случится расширения рынка, чего теперь, — говорит он, — по-видимому, ожидать не приходится. Вы помните, что Ксарма точно предсказал предыдущий кризис и есть все основания ему верить. Но прорытие Ливийского канала как раз и создаст сильное расширение рынка, сначала благодаря самим работам, а затем благодаря включению в область производства целой новой страны. Это должно надолго замедлить наступление кризиса и всех его бедствий.

Мэнни закончил доклад указанием на то, что грандиозные размеры и огромная сложность поставленной задачи потребуют величайшего единства в ее выполнении.

После небольшого перерыва председатель открыл дебаты. Для вопроса докладчику первым взял слово Фели Рао, директор самого сильного банковского картеля «Железнодорожный Кредит». Это был седой, но очень моложавый старик с пронизательными холодными глазами.

— В вашем докладе вообще не было речи об административно-организационной стороне дела. Но я полагаю, что именно к ней относилась ваша последняя фраза — о необходимости единства в выполнении. Если я правильно вас понял, то, по вашему мнению, руководство работами должно находиться в руках одного лица, которое само выбирает себе сотрудников, сосредоточивая у себя все нити дела и на себе всю ответственность.

— Да, именно так, — ответил Мэнни.

— Но не находите ли вы, что здесь затрагивается слишком много и слишком сложных интересов, чтобы одному лицу было удобно брать на себя такое бремя? Не будет ли удобнее некоторая коллегиальность в руководстве, если не техническом, то административном? И не допустим ли некоторый контроль, например, со стороны организаций, оказывающих финансовое содействие?

— Я не думаю, чтобы так было лучше. Работы должны вестись по заранее установленному, утвержденному правительством плану; коллегиальность же бывает полезна для выработки и обсуждения плана, а не для выполнения. Контроль должен быть со стороны правительства, парламента, общественного мнения, основанный на непрерывной и публичной отчетности; в этом виде он будет достаточен. Замечу, что и контроль правительства я представляю себе не так, чтобы оно могло во всякий момент вмешиваться во все частности дела. Вмешательство мне кажется уместным лишь тогда, когда изменяется принятый план дела или нарушается смета.

— Я думаю, что мы можем говорить прямо, — сказал Фели Рао. — И справедливость, и целесообразность, как это ясно для всех, требуют, чтобы во главе работ стали вы. То, что вы сказали, выражает условия, на которых вы согласились бы взять на себя руководство делом?

— Да, на иных условиях я не мог бы принять никакого участия в нем: либо вся ответственность, либо никакой.

В собрании почувствовалась атмосфера неуверенности, колебания, почти недовольства. Рао продолжал:

— Но мне кажется, что в организации дела есть вещи очень сложные, способные отнять много внимания, в то же время едва ли даже непосредственно интересные для вас, человека науки... Например, число нанимаемых рабочих вы должны, конечно, устанавливать на основании своего технического плана. Но условия их найма...

— Я считаю это, напротив, очень важным именно с точки зрения успешности работ. Мне известно, какими путями во многих предприятиях пытаются достигнуть экономии на условиях труда. Рабочий, который плохо питается или переутомлен, не обладает полной рабочей силой. Рабочий, который недоволен, угрожает неожиданностями, нарушающими ход дела. Мне нужна полная рабочая сила, и мне не надо неожиданностей.

Фели Рао заявил, что у него других вопросов пока нет. На минуту водворилось тяжелое молчание. Затем выступил инженер Маро, представитель треста взрывчатых веществ, человек еще довольно молодой, но очень известный в своей отрасли.

— Мне хотелось бы направить обсуждение на технический и финансовый вопросы, — сказал он. — Вопрос административный я считаю хотя и важным, но не в такой мере. С своей стороны, должен сказать, что те гарантии, которые представляет для нас личность инженера Мэнни Альдо, а также его понимание контроля и отчетности, кажутся мне вполне достаточными. Решающее значение в этом случае, на мой взгляд, имеет отношение правительства; на него, в конце концов, ложится ответственность за всю организацию контроля: если оно посредством займа дает средства на дело, то оно тем самым и обеспечивает все частные финансовые интересы; оно стоит между заимодавцами и



управлением работ. Если бы оно находило возможным согласиться с условиями инженера Альдо, то для нас, я думаю, не было бы основания особенно настаивать на дальнейшем их обсуждении. В этом смысле я и позволю себе задать вопрос присутствующим здесь представителям Центрального и местного Ливийского правительства.

Министр общественных работ ответил:

— Мы предполагали изложить точку зрения правительства к концу дебатов, как обыкновенно делаем в таких совещаниях. Но на прямой вопрос, во избежание неясностей, приходится отвечать немедленно. Прежде всего напомним, что окончательное решение принадлежит Центральному Парламенту. Совет же Министров, предварительно обсудив дело, не нашел, с своей стороны, ничего неприемлемого в пожеланиях инженера Альдо, инициатора и автора проекта.

Ливийский губернатор заявил, что правительство штата Ливии вполне солидарно с Центральным.

Атмосфера собрания сразу изменилась. Маневром Маро была побита главная карта оппозиции. Обсуждение перешло к технике работ и к условиям займов. Победа Мэнни была вне сомнения.

Наступило обеденное время, и заседание было закрыто. Все члены совещания были приглашены на обед у министра. На пути в обеденную залу Фели Рао подошел к инженеру Маро.

— Я понимаю вашу позицию, — сказал он с видом добродушной откровенности. — Вы — один из администраторов динамитно-порохового треста, а заказы в полмиллиона тонн очень редки. Но скажите по совести, где вы нашли гарантию административных талантов Мэнни? Его технический план, по-видимому, неуязвим, финансовый, — я могу сказать, — очень хорош. Однако управление колоссальными работами и сотнями тысяч людей... Где и когда проявил он такие организационные способности? И ему двадцать шесть лет. Не решаетесь ли вы вместе с правительством на прыжок в неизвестное?

Загадочная улыбка скользнула по лицу Маро.

— Административные таланты?... Как можете вы в них сомневаться? Сын герцога Ормэна Альдо...

Рао пристально посмотрел на собеседника, глаза которого вновь стали непроницаемы.

— Я думаю, что мы столкнемся с вами, когда придет время, — сказал финансист.

За обедом он сидел рядом с министром. Когда разговоры оживились и стали громки, Рао обратился к соседу вполголоса.

— Правительству сейчас, конечно, спокойнее передать все Мэнни. Но осторожно ли оно поступает, выдвигая само этого талантливого честолюбца и давая в его руки огромные средства? Не явная ли это опасность в будущем?

— Нет, — ответил министр, — я знаю Мэнни, он для нас не соперник, именно потому, что его честолюбие чрезмерно. Можете быть уверены, что уже сейчас у него есть еще более грандиозные планы, которые он пока скрывает. Быть министром, президентом республики — это не интересно для него. Скажу более, — с улыбкой прибавил министр: — он не захотел бы даже быть финансовым властителем мира. Его книга о Ливии заканчивается словами: «Все пустыни мира имеют свое будущее». У него честолюбие богов.

## II. Нэлла

На южном берегу узкого залива, от которого теперь начинается канал Нэпентес, расположен террасами по склону прибрежных холмов город рыбаков Ихтиополь. В те времена это был скорее не город, а большое селение с несколькими тысячами жителей; больших домов там было очень немного, и то большей частью общественные здания, остальное — деревянные домики и глиняные хижины. В одной из таких хижин, недалеко от укрепленной насыпи, к которой приставали мелкие суда, жил много лет старый рыбак со своим сыном. Сына звали Арри; имени отца не сохранила история.

Лет за шесть до начала Ливийских работ, перевернувших всю жизнь Ихтиополя, старику случилось во время одного из его обычных плаваний на своей небольшой шхуне подобрать шлюпку с потерпевшего крушение корабля. В числе спасенных была красивая девочка двенадцати лет, которую звали Нэлла. Она рассказала рыбаку свою историю.

Отец ее работал механиком на одном из заводов столицы; он зарабатывал довольно много и ничего не жалел, чтобы дать хорошее воспитание дочери. Случился взрыв машины, которую подвергали испытанию; отец был убит на месте. Вскоре умерла от болезни и мать. Администрация выяснила, что у девочки был еще дядя, мелкий чиновник в главном городе штата Мероз, на севере Большого Сырта. К этому дяде и решили отправить девочку. Но она совсем его не знала. После крушения корабля их шлюпку несколько дней носило по морю. Матросы отдавали ей свою порцию воды.

Нэлла понравилась рыбаку; он находил, что она похожа на его умершую жену. Он предложил бы ей остаться у него, но не решался: она казалась ему барышней. Когда пришел мэр, чтобы спросить ее, куда она желает ехать, она сама обратилась к старому рыбаку и сказала:

— Я хотела бы жить с вами. Вы и ваш сын очень добры, а дядя мне чужой. Я не буду вам в тягость: я хорошо умею шить и буду помогать в хозяйстве.

Старик был очень рад. Нэлла внесла много света и жизни в его хижину. Когда рассеялась тень перенесенных несчастий, девочку за ее приветливую улыбку, серебристый смех и мягкие, иногда слишком тонкие для окружающих шутки прозвали «Веселой Нэллой». У нее был прекрасный голос, она знала много песен от своей матери и постоянно пела за работой. Впоследствии она сама складывала песни и находила для них красивые мотивы. Она также много читала — все, что могла найти в коммунальной библиотеке. Ради своей приемной дочери старик стал выписывать газету.

Так прошло пять лет. Девочка стала девушкой; Арри уже было двадцать два года. Старый рыбак на ловле нечаянно поранил себя грязной острогой; в ране оказалось заражение, и через неделю он скончался. Несколько месяцев Арри с Нэллой продолжали жить по-прежнему, как брат и сестра. Но вот Арри, вернувшись из необычно долгой поездки по морю, сказал:

— Нэлла, я много думал и вижу, что дальше так оставаться нельзя. Я слишком люблю тебя, Нэлла; и если твое сердце ничего не говорит тебе, то мне надо уйти.

Лицо девушки стало печальным.

— Я очень люблю тебя, Арри; никого на свете нет для меня дороже. Но потому я и не могу обманывать тебя; и сейчас мое сердце сжалось, а не забилося. Уйду я, а не ты; это твой дом, твоя страна. Ты можешь не бояться за меня.

— Я не боюсь за тебя, Нэлла, но отправиться должен я, потому что здесь все будет напоминать мне о том, что невозможно. Теперь мне одно спасение: новые люди и страны, новая жизнь; я буду искать даже другую работу. Если ты согласишься остаться тут, я буду, по крайней мере, знать, где ты, и мне легче будет узнавать, что с тобой, чтобы явиться, когда я буду нужен.

Арри исчез, а Нэлла одна жила в старом домике. Побледнела ее улыбка, и грустно стали звучать ее песни, когда в сумерки она склонялась у окна над своим шитьем.

Однообразно шли недели и месяцы. Миновал период ночных дождей, который заменяет зиму в тропических странах Марса. Соседи приходили к Нэлле с вопросами по поводу странных слухов: будто один бывший аристократ собирается высушить Ливийское море с его песчаной балкой, на которой ловится столько рыбы, и взамен того затопить пустыню; а правительство будто бы разрешило ему это. Нэлла, которая читала не только газеты, но и книгу Мэнни, подробно объясняла, в чем дело; мужчины успокаивались, женщины с сомнением качали головами. Потом неизвестное предстало воочию.

Ихтиопольский рейд и весь залив необыкновенно оживились. Ежедневно приходило с моря по несколько больших пароходов; некоторые останавливались перед Ихтиополем, другие нет, но все затем уходило к самому концу залива, — туда, где должен был начинаться

новый канал. С высоты прибрежных холмов, благодаря небольшому расстоянию — десяток километров — можно было видеть какое-то движение между кораблями и берегом; очевидно, они что-то выгружали, что именно — разглядеть было нельзя; но это что-то постепенно образовывало гигантский муравейник, который все дальше раскидывался и растягивался по направлению к горам, составляющим границу пустыни. С огромной быстротой на красновато-сером фоне размножались белые пятнышки палаток в две полосы с широким промежутком между ними; двигались и мелькали тысячи черных точек; можно было догадаться, что это — человеческие существа; возникали еще какие-то более крупные и неподвижные темные пятна, — вероятно, временные здания складов, а также большие машины. В самом Ихтиополе стало встречаться много новых лиц, и говор с чуждым акцентом часто слышался на улицах. Несколько сот молодых людей ушло из города на работы, где их принимали охотно и платили очень хорошо. Цены на все поднялись и продолжали подниматься, но мало кто огорчался этим. Платиновые монеты, с их глухим звоном, стали падать на прилавки чаще, чем прежде простые серебряные. Лица торговцев и даже большинства рыбаков стали гораздо оживленнее, но в то же время какая-то лихорадочная нервность примешалась к их движениям. Много товаров появилось в лавках. Женские наряды стали новее, ярче; женский смех звучал громче и резче.

Нэлла имела сколько угодно работы. Большую часть дня ее можно было видеть с шитьем у раскрытого окна. Ее выражение не сделалось веселее; но когда она поднимала голову от работы и смотрела на расстилавшуюся вдаль поверхность залива, тогда в зеленовато-синих ее глазах проходила словно далекая греза и какое-то ожидание. Песня, тихая днем, громче звучала в сумерки, когда жизнь с ее шумом от набережной удалялась в глубину города, и девушка чувствовала себя свободнее.

Иногда у берега неподалеку от домика Нэллы приставал быстроходный изящный катер, и несколько человек, сойдя с него, направлялись к ратуше или почте. Во главе их шел высокий, атлетического сложения мужчина с серыми, стальными глазами. Обыкновенно эти глаза как будто не замечали окружающего; взгляд их, устремленный вперед, к невидимой цели, был неподвижен. Но однажды нежные звуки песни поразили на пути внимание человека; он обернулся и увидел Нэллу. Их глаза встретились; она побледнела и опустила голову. С тех пор каждый раз, когда ему приходилось идти мимо, он пристально взглядывал на красивую работницу. Нэлла не всегда опускала глаза.

Был странный день. С утра над далекими горами, которые охраняли тайну пустыни, поднимались серые облака, медленно рассеивались и вновь возникали: доносился протяжный гул, за которым следовали глухие раскаты, подобные грому. Стекла дрожали в домах, и были моменты, когда казалось, что земля вздрагивает. Ветерок с востока приносил какую-то мелкую пыль и слабый, едкий запах. Наконец, — невиданное на Марсе явление, — среди дня над городом образовалась туча, и пошел дождь. Нэлла объяснила встревоженной соседке, что бояться нечего, — это взрываются гигантские мины в горах, чтобы проложить дорогу для канала. Но все-таки она и сама испытывала какое-то судорожное беспокойство.

К вечеру взрывы прекратились. Перед закатом солнца вновь причалил катер. На этот раз главный инженер сошел с него один. Проходя мимо окна Нэллы, он ей поклонился. В его лице было необычное нервное оживление; глаза светились лихорадочным блеском; походка не была такой ровной и уверенной, как всегда, — словно пары динамита немного опьянили его.

Наступила ночь, а Нэлла все сидела у открытого окна. Она смотрела на темное небо с ярко сиявшими звездами. Маленькое личико Фобоса скользило от запада им навстречу, капризно меняя на глазах свое очертание и порождая от предметов бледные, непрочные тени; ни на какой другой планете солнечного мира людям не приходится видеть такой удивительной луны. Крошечный серпик Деймоса словно застыл среди небесного свода; а недалеко от него опускалась к закату зеленоватая вечерняя звезда — Земля с своей неразлучной спутницей. Зеркало залива повторяло в более слабых тонах небесную картину. Песня лилась сама собою, связывая воедино небо и море и человеческую душу.

Когда песня замолкла, слышались тяжелые шаги. Высокая фигура остановилась перед окном, и мужской голос тихо, мягко произнес:

— Вы прекрасно поете, Нэлла.

Девушка даже не удивилась, что главный инженер знает ее имя. Она ответила:

— С песней легче жить.

— Если вы позволите, я зайду к вам, — сказал Мэнни.

— Да! — без колебания вырвалось у нее. Так решилась судьба Нэллы.

Когда затихли порывы ласки, она рассказала ему все о своей любви. Она давно знала его. Она видела его несколько лет тому назад, когда он проезжал там по дороге в пустыню, где другие навсегда оставались в объятиях песчаной смерти. Она была девочка, но не боялась, а гордилась за него; и потом ждала. Через несколько месяцев он вернулся бледный, похудевший, но победитель. Какая радость! В их лодке он ехал на свой пароход, а она стояла на берегу, и ее сердце билось очень сильно. Потом она читала его книгу; и она, конечно, поняла, что все это, — то, что он делает теперь, — только первый шаг, только самое начало, а дальше будет то, чего он еще не сказал, но давно думает и твердо знает...

В темноте ночи Нэлла не могла видеть, как сначала радостное удивление отразилось на лице Мэнни, и как тяжелая тень легла затем на него. Но она почувствовала странную неподвижность его тела и замолчала.

Долго и напряженно думал Мэнни. Наконец, он сказал:

— Прости меня, Нэлла. Я ошибся, я не знал тебя. Ты стоишь бесконечно большего, чем то, что я могу тебе дать. Если бы для меня было возможно связать свою жизнь с другой жизнью, я не захотел бы никого, кроме тебя, Нэлла. Но ты угадала. Я взял на себя задачи, превосходящие все, что когда-либо пытался осуществить человек. На пути к ним меня ожидают величайшие препятствия и жестокая борьба. Еще я не сделал первого шага, а уже ненависть начала оттачивать свое оружие. Чтобы все преодолеть, ни перед чем не остановиться, я должен быть вполне свободным, я должен быть неуязвимым... Нэлла! Неуязвим в борьбе только тот, кто одинок.

Его голос странно изменился, как бывает тогда, когда сдерживают боль. Нэлла ответила:

— Не бойся и ни о чем не жалея. Мне ничего не надо. Я ведь знала, что это так будет. И даже сейчас я чувствовала, что это — сон.

Вновь наступило молчание. Робкими, словно почтительно-нежными стали поцелуи Мэнни.

— Нэлла, спой мне песню.

Казалось, что сама ночь и вся природа прислушиваются к звукам. Слова песни говорили о девушке, которая никого не послушалась и все отдала своему милому; а старинная мелодия — о чувстве, глубоком и прозрачном, как небо, сильном, как судьба.

Перед рассветом ушел Мэнни и больше не возвращался.

Долго после этого не было видно, не было слышно Нэллы. А потом она опять появилась со своей работой у окна, немного бледная и с новым выражением в лице, с выражением спокойного, уверенного ожидания. В сумерки и ночью очень тихо звучали ее песни, — точно она не хотела, чтобы кто-нибудь расслышал их. Одна из песен была новая; Нэлла пела ее чаще других, но еще больше понижая голос. Вот смысл ее слов:

Чудную тайну ношу я с собою:  
Я и одна, и вдвоем;  
Счастье, убитое злою судьбою,  
В теле воскресло моем.

Звездочка, скрытая облаком темным,  
Нежный в бутоне цветок.  
Бабочка дивная в коконе скромном, —

Света и жизни залог...

Как я тебя ожидаю, малютка,  
И нетерпением горю!  
Как наблюдаю, любовно и чутко.  
Слабую жизни зарю!

Ты беспокоен сегодня, мой милый,  
Ножками бьешь свою мать.  
Что за предчувствие дух твой смутило,  
Не дало сладко дремать?

В силе порывистой этих движений  
Мальчика чувствую я...  
Будешь бойцом, мой невидимый гений,  
Ласка живая моя!

Будешь в отца ты, могучим и твердым,  
Верным идее бойцом,  
Но не холодным, не властным и гордым,  
В этом не сходен с отцом.

Все победит он упорною волей,  
Мощью ума своего;  
Но — над людскою тяжелою долей  
Сердце не дрогнет его.

Девушки душу разбив мимоходом,  
Даже не вспомнит ее...  
Так и для всех, обреченных невзгодам,  
Сердце закрыл он свое.

Силы стихий, как и он, побеждая,  
К людям ты будешь нежней.  
Спи же, дитя, моя тайна святая,  
В первой постельке своей!

Проходили ночи, и дни, и недели. Перед началом периода ночных дождей неожиданно приехал Арри. Он был одет, как одевались рабочие в столице, и казался много старше прежнего. Нэлла сказала ему:

— Ты явился вовремя, Арри. Теперь увези меня отсюда.

Он ответил:

— Я чувствовал, что я тебе нужен. Мы поедем в столицу.

Через несколько дней старый домик был продан. Арри с Нэллой сели на пароход и навсегда покинули родную Ливию.

## Часть первая

### I. План Великих Работ

Звезда Мэнни взошла высоко.

Чудо порождает веру; а чудо было совершено. Могучий поток вод Океана ринулся по пути, указанному рукой человека, по пути, на котором горная цепь была разорвана волею человека; затем гордые пароходы поплыли над песками древней пустыни. Тень облаков осенила, и дождь напоил раскаленную почву, сто тысяч лет не знавшую такого счастья. Детский говор ручейков ворвался в Царство Молчания; яркие травы вступили в борьбу с желто-серой пылью прошлого. Силе стихий было нанесено беспримерное поражение. Стало казаться, что все возможно для человеческого усилия. Пришло время, когда Мэнни мог высказать свою идею во всей полноте, с уверенностью, что его выслушают.

Тогда появился знаменитый «План работ», наметивший преобразование всей планеты. В нем была спроектирована та гигантская система каналов, которая была выполнена марсианами в последующее столетие, и на основе которой искусственное орошение более чем удвоило обитаемую территорию завоеванием всех пустынь. Опираясь на самое тщательное изучение географических и геологических условий, Мэнни выяснил и наилучшее направление каналов, и сумму человеческого труда, времени, капитала, в которую они должны были обойтись. Последующим поколениям пришлось лишь немного изменить и дополнить в его расчетах.

Вопрос был в том, откуда взять всю эту массу средств и труда. Мэнни показал, что вести дальше дело так, как с Ливийским каналом, т. е. путем займов, покрываемых потом доходами отнятых у пустыни земель, значило бы затянуть дело на несколько сот лет. Новый финансовый план, предложенный Мэнни, показывает, что этот человек умел быть революционером не только в своей специальной области. То был план «национализации» земли, с обращением всей прежней земельной ренты в источник средств на выполнение Великих Работ.

Нечего и говорить, что такой проект не мог бы осуществиться, если бы не было особенно благоприятных для него исторических условий. Но они имелись налицо. Мэнни не первый понял это, он только в подходящий момент сумел дать наилучший лозунг для сильного общественного движения, которое шло со стороны различных классов.

Самостоятельное крестьянство к тому времени почти исчезло с лица планеты. Больше девяти десятых всей земельной собственности находилось в руках нескольких тысяч чудовищно богатых владельцев. Это были главным образом потомки древней родовой аристократии, а частью потомки разных государственных деятелей, которые во время буржуазных революций и последних феодальных восстаний сумели воспользоваться своей властью, чтобы присвоить себе конфискованные поместья непокорных реакционеров. Разорить крестьян и прибрать к рукам их участки этим лендлордам было тем легче, что при сухом вообще климате планеты искусственное орошение давало огромные преимущества тем хозяйствам, которые могли его применять, а оно требовало капиталов и было не под силу мелким собственникам. Устраивались крестьянские ассоциации, но рано или поздно запутывались в долгах и погибали. За несколько столетий дело дошло до того, что мелкое землевладение сохранялось только в немногих отсталых уголках.

Между тем общее экономическое развитие вместе с ростом населения увеличивало спрос на землю и хлеб; быстро возрастала дороговизна жизни и с нею — земельная рента. От этого приходилось плохо всем, кроме лендлордов; не говоря уже о пролетарских и полупролетарских массах населения, даже огромное большинство капиталистов находило положение очень стеснительным: прибыль от предприятий урезывалась и высокой арендной платой за землю и высокой денежной платой за труд, на которую, однако, рабочий едва мог существовать. И чем сильнее росла вместе с рентой дороговизна жизни, тем напряженнее с разных сторон искали выхода. Но долгое время толку не получалось, потому что искали в разных, несовместимых направлениях.

Одни предлагали невыполнимые планы законодательного понижения хлебных цен и платы за аренду. Другие понимали, что без отнятия земли у лендлордов ничего поделаться нельзя, но расходились в том, как поступить с нею дальше: раздать ли ее мелкими участками во владение безземельным, желающим ее обрабатывать, или передать ее крупными

поместьями целым ассоциациям, или, наконец, просто сдавать ее от государства тем, кто будет больше предлагать за аренду, т. е., очевидно, капиталистам. Первый из этих планов, при всей своей опасности для сельского хозяйства, которому он угрожал гибелью искусственного орошения, насчитывал, однако, множество сторонников среди остатков мелкой буржуазии с родственными ей слоями интеллигенции, а также среди части рабочих, еще сохранивших идеалы крестьянства, из которого вышли их отцы. Второй план имел за себя большинство тогдашних социалистов из рабочих и интеллигентов; против него решительно высказался великий экономист Ксарма, который наглядно показал, что при больших капиталах, необходимых для ведения крупного хозяйства, крестьянские ассоциации скоро подпадут всецело под власть торгового и кредитного капитала, станут их подставными лицами, лишь номинальными владельцами. Но в те времена мало кто из социалистов шел за Ксармой. Третий план — чисто буржуазного «огосударствления» земли — выдвигали некоторые радикальные демократы; ему сочувствовала большая часть капиталистов. На деле только он и был осуществим, но к моменту выступления Мэнни далеко еще не собрал вокруг себя достаточных общественных сил.

На Земле, переживающей теперь аналогичную эпоху, такие же проекты «национализации» поддерживаются ничтожной горстью демократов, а почти вся буржуазия отвергает их как вредную утопию. Откуда это различие? Оно зависит от того, что на Земле гораздо острее и резче развивалось рабочее движение, которое на Марсе шло более медленным и менее бурным темпом. Среди рабочих-марсиан тогда царил дух умеренности и самой трезвой практичности; социализм почти повсюду сохранял мечтательно-филантропическую окраску, приданную ему теоретиками из интеллигенции; призрак социальной революции не стоял перед буржуазией осязательно-грозной возможностью. Напротив, буржуазия Земли увидела серьезную опасность со стороны пролетариата раньше, чем успела окончательно свести свои счета с феодалами; это изменило ее отношение к ним. Ее пугает мысль о том подрыве, какой нанесла бы национализация земель священному принципу частной собственности, основе нынешнего социального строя: реально показать массам, что собственность целого класса может быть экспроприрована во имя общего блага! Затем, мирная по самому характеру своих занятий, даже несколько трусливая с тех пор, как она стала господствующим, т. е. наиболее удовлетворенным классом, земная буржуазия не особенно полагается на свои собственные умирительные таланты, а потому высоко ценит остатки воинственности и свирепости, по наследству продолжающие сохраняться у аристократов; и она всегда готова на большие уступки, только бы иметь их союзниками в случае необходимости прямого подавления масс. Но при этом, разумеется, прежде всего пришлось отказаться от идеи национализации.

Впрочем, для большинства стран Земли эта идея и помимо того в самом деле утопична, именно там, где сохраняется еще многочисленное крестьянство; в нем инстинкт собственности не слабеет, а усиливается под гнетом разорения, побуждающего бешено цепляться за последний клочок земли; без истребительной борьбы оно не уступило бы государству права собственности на свои участки и не поддалось бы ни на какие обещания выгодной аренды.

Но на Марсе таких условий не было; положение было несравненно благоприятнее, и Мэнни сумел воспользоваться им. Во-первых, он связал идею национализации с великим делом, значение которого было ясно для всех. Во-вторых, он применил в своей книге очень простую и на вид убедительную аргументацию, которая присоединила к буржуазным национализаторам сторонников раздела на мелкие участки и сторонников крестьянских ассоциаций. Он указывал, что прежде всего надо сделать наиболее важное — устранить лендлордов. Затем, в виду невозможности быстро переделить землю или организовать ассоциации для ее коллективного возделывания, государство должно начать со сдачи земли в аренду обыкновенным путем — с торгов. Но ничто не мешает желающим добиваться путем парламентской борьбы перехода к иным формам эксплуатации национализованной земли: путь расчищен тогда для всяких новых проектов, потому что нет главного препятствия —

землевладельцев.

Мэнни сам, конечно, не создавал, насколько обманчивы эти аргументы: раз капитал через государство захватил в свои руки эксплуатацию земли, отнять ее у него было гораздо труднее, чем у прежних, не имевших твердой опоры в обществе лендлордов. Ксарма сразу уловил, в чем дело, но он был защитником плана Мэнни. А другие не смотрели так глубоко: все сторонники крестьянских и артельных идеалов с энтузиазмом примкнули к лозунгу немедленной национализации. Капиталисты тоже ковали железо, пока горячо.

Фели Рао созвал съезд промышленных и банковых синдикатов. Там была выработана программа действий и выбран Совет Синдикатов, который сразу выступил как решающая сила в борьбе. Аграрная революция была проведена через парламент.

Сохранившиеся кое-где остатки крестьянства бунтовали, защищая свою собственность, но были легко подавлены; это дало только повод экспроприировать их почти без выкупа. Лендлордам вместо выкупа были назначены пенсии, которые, однако, по закону не могли превосходить жалования высших чиновников Республики и были совершенно ничтожны по сравнению с прежними доходами землевладельцев. Синдикаты местами тоже владели землей; они сумели получить для себя наиболее выгодные условия — выкуп без убытка, не считая перспективы огромных прибылей в будущем.

Мэнни не принимал прямого участия в этой борьбе, завершившейся в течение двух-трех лет: он продолжал работать над своим техническим планом. Когда затем он представил Центральному Парламенту детальный проект первых десяти каналов, которые он предлагал начать одновременно, проект был немедленно принят, а он назначен ответственным руководителем работ с почти диктаторскими полномочиями.

Работы начались.

## II. Темные тучи

Из первой группы каналов, к прорытию которых приступил Мэнни, восемь предполагалось закончить через 20–30 лет; только два таумазийских — Нектар и Амброзия — должны были быть готовы через 10–12 лет: те два канала, которые первоначально образовали внутреннее море Таумазии — Озеро Солнца; третий — Эосфорос — был проведен гораздо позже.

Работы велись в самых различных пунктах планеты, и для Мэнни было невозможно самому руководить ими на местах, но он сумел подобрать себе талантливых сотрудников, постоянно получал от них отчеты по телеграфу и отдавал большую часть времени на контрольные поездки. Самым выдающимся из этих сотрудников был инженер Маро, который покинул службу в динамитно-пороховом тресте, чтобы предложить свои услуги для нового дела. Через год он уже был первым помощником Мэнни и директором работ в Таумазии, на самом важном пункте: там каналы требовалось закончить как можно скорее, потому что результаты предстояли немедленные и для всех очевидные, подобно тому как в Ливии, но в еще более грандиозных размерах. Маро показал себя прекрасным организатором; другие помощники тоже были на высоте своих задач; всех одушевлял энтузиазм великого дела, и первые годы оно шло так, как только можно было желать.

Для рабочих условия труда были очень сносные, но все же, разумеется, случались конфликты с инженерами: из-за штрафов, злоупотреблений властью, неточностей в расчете, из-за увольнений и т. д. До забастовок не доходило; когда директорам работ всего не удавалось уладить, то рабочие соглашались ожидать приезда Мэнни; они по опыту полагались на его беспристрастное, чисто деловое отношение к спорным вопросам и знали, что при всей своей холодной сухости он никогда не пожертвует хотя бы малейшей частицей справедливости, как сам ее понимает, ради сохранения престижа их начальников. Инженеры не всегда бывали этим довольны, но даже те, которые между собой называли его «диктатором», признавали, что он внимательно выслушивает их мнения и считается со всеми серьезно-практическими аргументами. К тому же инженеры высоко ценили и честь работать



под его руководством, и особенно возможность быстрой карьеры при действительных знаниях и энергии.

На третьем году работ в отношениях между Мэнни и рабочими выступил новый момент. К этому времени, под влиянием бывших городских пролетариев, принесших на новые места свои организационные привычки и запросы, там успели сложиться рабочие союзы; вначале они захватили, конечно, лишь меньшинство рабочих; неорганизованные шли за ними, и охотно предоставляли им руководящую роль во всяких переговорах с инженерами. Большинство инженеров с своей стороны не отказывались иметь дело с делегатами союзов. Во время одной из поездок Мэнни в Таумазию к нему официально явились представители союза землекопов, работавших на канале Нектар. Дело шло о том, что нескольким тысячам землекопов пришлось прорывать грунт особенно плотный и частью каменистый. Система расплаты была сдельная — с куба вынутой земли; для многих заработок стал получаться гораздо ниже нормального. Рабочий союз предлагал установить поденный минимум платы. Мэнни, по своему обыкновению, молча и внимательно выслушал посетителей, затем спросил, кем они избраны.

— Союзом землекопов, — отвечали они.

— Все ли заинтересованные в вопросе землекопы принадлежат к вашему союзу?

— Нет, не все.

— В таком случае я не могу обсуждать с вами этого дела. Договор о найме заключался не с союзом, а с каждым землекопом, поэтому и пересмотр условий не может выполняться при посредстве союза.

— Но невозможно же каждому землекопу вести за себя переговоры отдельно?

— Разумеется. Я и не отказываюсь беседовать с действительными представителями всех тех рабочих, которых дело касается. Но я не могу признать вас такими представителями. Вы выбраны не ими, а какой-то организацией, которая преследует свои, может быть, чуждые большинству из них задачи, и живет по своим нормам, не ими выработанным. То, что им нужно, они, если хотят, могут сами мне сообщить через своих непосредственно и свободно избранных делегатов.

— Но в настоящее время даже многие капиталисты считают возможным вести переговоры с рабочими через союзы; да и нас направил к вам инженер Маро.

— Капиталисты поступают, как им кажется правильным; для меня это не имеет значения. Инженер Маро с полным основанием предложил вам обратиться ко мне, не желая сам решать вопроса. Моя же точка зрения теперь вам известна.

Рабочие ушли, возмущенные формализмом Мэнни. Они передали его ответ товарищам. Землекопы все вместе выбрали делегатов, и относительно способа расплаты дело было улажено. Но с этого времени передовые рабочие стали агитировать против Мэнни, обвиняя его в стремлении отнять у рабочих свободу организации: несомненное, но довольно понятное преувеличение. Агитация влияла и на массу тех рабочих, которые сами не организовались, но от права на это не хотели отказываться. Недоверие разрасталось.

Часть буржуазной печати, — самые распространенные органы, находившиеся в руках Совета Синдикатов, — подхватила конфликт и стала усиленно раздувать его. Они осыпали двусмысленными похвалами «твердость» и «решительность» Мэнни, не упуская иногда прибавить, что, может быть, впрочем, его отношение к союзам несколько чересчур сурово и категорично; но — говорили они — не мешает иногда перегнуть палку в другую сторону; слишком дрябло и робко большая часть предпринимателей относится к этому насущному для них вопросу. При этом умело и кстати напоминалось о феодальном происхождении Мэнни, «железного рыцаря, сохранившего в себе лучшие черты своих предков, могучих герцогов Таумазии». Реакционная пресса бывших лендлордов, в свою очередь, вдруг начала говорить о Мэнни в совершенно новом тоне. «Республика украли его у старой аристократии, республика воспитала его в духе измены великим традициям, — писал один из их публицистов, — но священные принципы берут свой реванш. Всей своей фигурой, всем своим поведением инженер Ормэн Альдо разоблачает демократическую ложь, которая не

смогла развратить до конца древнюю кровь. С полной убедительностью он показал всему миру, что для выполнения истинно-грандиозных дел необходим авторитет, необходима сильная власть, по существу своему, как бы ее ни называли, власть монархическая. Разве его герой-отец, погибший в бою за честь и величие герцогского дома Альдо, мог даже мечтать для себя о таком могуществе, каким фактически обладает республиканец инженер Альдо?». Социалисты, с своей стороны, обличали «диктатора». Демократы в недоумении не знали, что сказать. Общественное мнение колебалось и понемногу поворачивало.

Вскоре у Мэнни прибавилось новое, очень серьезное затруднение. Канал Амброзия был доведен до того места, где он должен был пересекать на протяжении двухсот километров крайне нездоровую область, известную у таумазийцев под именем «Гнилых Болот». Там на обширном пространстве неглубоко лежавшая, непроницаемая для воды подпочва из глины образовала множество подъемов до самой поверхности, уничтожавших возможность оттока воды; в бесчисленных неглубоких котловинах, благодаря этому, застаивалась дождевая вода, и затеривались речки, сбегавшие с ближних гор, которые затем должен был прорезать канал Амброзия. Страна была почти необитаема, с ее богатой, но только болотной растительностью и жестокими лихорадками. Триста тысяч рабочих должны были около двух лет работать в такой местности, часто по пояс в воде. Заболеваний было масса; тысячи умирали каждый месяц. Среди рабочих шло глухое брожение. Рабочие союзы совещались, но вначале не могли прийти к общему решению.

Маро по мере возможности отсылал заболевавших поправляться на работы по линии канала Нектар, а взамен брал оттуда свежие силы. Но в результате недовольство и возбуждение перекинулись также туда. Положение делалось все более напряженным. Для возникшего движения не хватало пока еще ясного боевого лозунга; его искали, и можно было предвидеть, что если не случится новых событий, способных вызвать поворот, то лозунг скоро найдется.

Мэнни отчасти предвидел такие осложнения; в своем «Плане работ» он с особенной обстоятельностью мотивировал выбор направления для второго таумазийского канала. Он сам указал, что, по условиям рельефа, представлялось бы выгоднее перенести линию на несколько десятков километров к востоку, воспользовавшись углубленной долиной у подножия невысокой цепи холмов, идущей внутрь от морского берега; при этом область Гнилых Болот была бы вполне обойдена. Но тогда большая часть канала прошла бы по одной из «тектонических линий» коры планеты, т. е. в местах, где возможны самые сильные землетрясения. Правда, там уже около двухсот пятидесяти лет не было замечено сколько-нибудь крупных колебаний; но все равно риск недопустим: весь канал, с построенными на нем городами и системой искусственного орошения, из него исходящей, мог быть разрушен когда-нибудь в несколько минут, и сотни тысяч человеческих жизней погибли бы в расплату за чужую ошибку. Приходится поэтому выбрать сознательное пожертвование тысячами жизней ради целей человечества, как во время прежних войн заведомо приносились еще большие жертвы ради интересов отдельной нации.

Чтобы еще усилить свой вывод, Мэнни выяснял, что проведение канала через Гнилые Болота само по себе поведет к их быстрому осушению, давши сток их водам, и таким образом будет мирно завоевана для культуры почти мимоходом обширная провинция, которая даст пропитание двум-трем миллионам колонистов.

И вот среди возбужденных и озлобленных рабочих неизвестно откуда появилась и стала массами распространяться анонимная брошюра, где доказывалось, что рабочих «Амброзии» посылают на смерть без всякой необходимости. Автор пользовался тем, что рабочие не могли читать огромной, специальной книги Мэнни, и, не стесняясь, его же цифрами и данными доказывал, что технически выгоднее было вести канал по другому направлению, минуя «Болота». При этом в нескольких словах упоминалось о «явно несерьезной ссылке на опасность от землетрясений, которые, однако, уже сотни лет как прекратились»; и отсюда делалось заключение, что «у главного инженера, который не может не знать всего этого, есть какие-то свои мотивы и основания морить рабочих, союзы которых

ему так ненавистны; но интересы дела тут ни при чем». Брошюра была написана талантливо, ярко, популярно и производила очень сильное впечатление.

Лозунг для движения был готов.

Мэнни в это время находился в столице, в семи тысячах километров от поля действий. Еще задолго перед тем он через правительство внес в парламент законопроект о пенсиях семьям рабочих, погибших или потерявших здоровье от местных и от профессиональных болезней на Великих Работах; до сих пор законами были предусмотрены только «несчастные случаи». Для успокоения в Таумазии было необходимо, чтобы закон прошел как можно скорее; большинство парламента, казалось, сочувствовало ему; но в комиссиях возникали постоянно какие-то формальные затруднения и проволочки, то и дело требовались разные новые справки, оспаривались цифры вероятных расходов, и дело неопределенно затягивалось. Мэнни решил употребить все усилия, чтобы добиться толку. Прежде всего надо было сговориться с первым министром, на которого Мэнни мог вполне рассчитывать: это был прежний министр Общественных Работ, при котором Мэнни провел проект Ливийского канала.

За час до свидания с министром Мэнни получил от Маро спешно присланный доклад, при котором был приложен экземпляр анонимной брошюры.

Министр уже был осведомлен обо всем. Он встретил Мэнни с той же брошюрой в руках.

— Замечательно искусный ход! — сказал он.

— Чей? — спросил Мэнни.

— По существу, конечно, тут Фели Рао. Но, хотя он очень сильный делец на бирже и за кулисами парламента, все же эта идея, по-моему, не из его обычных ресурсов. Я подозреваю инженера Маро.

Мэнни вздрогнул, как от неожиданного удара, и немного побледнел.

— На чем вы основываете свое подозрение?

— Сообщал ли вам инженер Маро о своем тайном свидании с вождем таумазийской рабочей федерации, неким механиком Арри?

— Нет. Факт вам достоверно известен?

— Я на днях вместе с этой брошюрой получил сообщение от агента, специально мной туда посланного. Человек ловкий и надежный, лично мне преданный.

— А как обстоит дело с законом о пенсиях?

— Почти безнадежно. Им удастся оттянуть его еще на дватри месяца, а события пойдут теперь быстро. Они отнесли его обсуждение к общему бюджету на следующий год. А с бюджетом, вы знаете...

— Но как вы могли допустить это, имея большинство?

— Большинство мнимое. Мы уже обречены.

— Разве ваша партия сама по себе не составляет больше половины палаты?

— Составляла. Но у Совета Синдикатов много денег. Я не могу только формально доказать, а тем не менее с достоверностью знаю, что среди наших «радикалов» прибавляется пять — десять новых миллионеров.

— Как? Они настолько не жалеют денег?

— Вы стоите им дороже этих миллионов. Бюджет Великих Работ уже теперь приближается к четырем миллиардам в год. При хорошо поставленной системе хищения это может дать от одного до двух миллиардов.

— Что же, вы будете, с своей стороны, бороться за сохранение власти?

— Напротив, я буду добиваться того, чтобы они немедленно свергли наше министерство. Но это нелегко. Им слишком выгодно оставлять нас пока у власти в нынешнем безвыходном положении.

— Вы считаете его абсолютно безвыходным?

— Теперь — безусловно да. Рабочие возбуждены до крайности. Нам они вообще не доверяют; а эта история с законом о пенсиях — прямая улика против нас. Вам тоже ни в чем

не удастся их убедить: они не станут слушать. Ваше отношение к союзам подорвало в корне возможность взаимного понимания. Я никогда не считал этого отношения правильным, — вы знаете мои мнения о необходимости уступок для сохранения социального мира; но о принципах спорить бесполезно, а положение ясно. Рабочие потребуют во что бы то ни стало, чтобы работы на Гнилых Болотах были прекращены, а направление канала изменено. Согласитесь ли вы на это?

— Невозможно!

— Ия так думаю. Уступить — значило бы сознаться в несовершенном преступлении, и совершить действительное преступление; в результате же — ничтожная оттяжка тогда не менее неизбежного, но более позорного краха. Значит — забастовка рабочих, голод, затем восстание, военное усмирение...

— Если это будет необходимо...

— Бесполезно! Когда мы с вами выкупаемся в их крови, тогда-то наше дело и проиграно окончательно, даже без надежды в будущем. Популярности нашей конец, свергнуть непопулярное в массах министерство для Фели Рао будет как нельзя легче. От вас тогда отделаются еще вернее: нетрудно будет подготовить какого-нибудь наивного фанатика-рабочего, — ваши посещения работ дают сколько угодно подходящих случаев; не удастся один раз, — удастся в другой.

— Вы надеетесь скоро добиться отставки?

— Нужен предлог, надо получить меньшинство по важному вопросу. Сегодня вечером, — совет министров. Завтра я рассчитываю с согласия моих коллег предложить парламенту немедленно выделить из вопросов бюджета и экстренно вотировать закон о пенсиях. Это могло бы испортить всю их игру. Пятьдесят купленных будут голосовать с оппозицией, и дело будет улажено. А затем — остается ждать.

— Я никогда не думал, чтобы в жизни человечества существовали вполне безвыходные положения.

— Они бывают. Я могу сказать вам — есть вещи, которые я знаю лучше вас. Вы не любите истории, — это напрасно. А я изучал ее. И вот что, между прочим, я там увидел: общество — странное животное; время от времени ему необходима бессмысленная растрата его сил. Что могло быть нелепее войн? А сколько раз они были началом обновления народов! Теперь войн у нас нет; нашлись другие способы. Начинается эпопея финансового цезаризма Фели Рао. Человечеству она обойдется дороже хорошей войны. Значит, это нужно истории. Не знаю, всегда ли так будет, но не сомневаюсь, что теперь это будет так.

### III. Объяснение

Через неделю Мэнни был в Таумазии. По дороге он получил телеграмму о падении министерства. Работы на обоих таумазийских каналах уже остановились: бастовало больше шестисот тысяч человек. Инженер Маро выехал к нему навстречу. Свидание произошло в доме управления работ, в новом городе при устье канала Нектар. Главный инженер внимательно выслушал доклад своего помощника обо всем, что происходило за последние дни, и затем сразу спросил:

— Какую цель имели ваши переговоры с вождем рабочих Арри?

Лицо Маро чуть дрогнуло, но через секунду стало по-прежнему непроницаемо-спокойным.

— Я признаю, что был не вполне прав, не известив вас об этой примирительной попытке, предпринятой мною частным образом, на свой риск и страх. Зная ваше отношение к рабочим союзам, я не мог официально иметь дело с их представителями. Но для меня было несомненно, что в данном случае от них зависит очень многое, если не все. Исключительность положения заставила меня пойти не вполне обычным путем.

— Можно узнать содержание вашей беседы?

— Я выяснял ему, что по научно-техническим соображениям, в которых вы

компетентнее всякого другого, вы безусловно не можете изменить плана работ, и что упорство рабочих не приведет ни к чему, кроме тяжелых репрессий. Я убеждал его употребить свое огромное влияние на рабочих в интересах успокоения. Я указывал, что принятие парламентом закона о пенсиях могло бы быть только замедлено и затруднено всяким нарушением порядка, потому что власть, охраняя свое достоинство, должна избегать всего, что похоже на уступку незаконному давлению.

— Вы очень проницательны, инженер Маро, — с иронией заметил Мэнни: — вы говорили о невозможности изменения плана работ за несколько дней до появления анонимной брошюры, когда рабочие не пришли еще к такому требованию. Незачем продолжать эту комедию. Мы здесь одни. Чего хочет Совет Синдикатов, или, вернее, Фели Рао?

Маро немного побледнел и призадумался; затем, быстро решившись, сказал:

— Вы правы. Ход событий наметился, теперь мы с вами можем говорить прямо. Совет Синдикатов желает взять в свои руки административно-финансовую сторону работ. Техническую, без сомнения, наиболее для вас важную, он рад был бы видеть по-прежнему в ваших руках. Совет считает себя вправе получить компенсацию за тот огромный ущерб, который уже нанесли ему Великие Работы. Они страшно увеличили спрос на рабочие руки и повысили требовательность рабочих...

— И дали синдикатам колоссальные заказы по хорошим ценам и небывалые прибыли... Вообще, справедливость лучше оставить в покое: решается вопрос силы. В какой форме Совет Синдикатов предполагает осуществить свое желание?

— Если вы согласитесь, то все устроится как нельзя легче, и на вашу долю выпадет наиболее почетная роль. Стачка будет упорная, но вначале, конечно, мирная. Вы выскажетесь открыто против присылки войск; тем не менее новое правительство пришлет их. Вы демонстративно снимете с себя всякую ответственность за дальнейшее. После этого произойдет усмирение; кровопускание потребует довольно значительное; придется послать войска и на другие каналы, чтобы предупредить сочувственные забастовки и восстания. В виде протеста вы сложите с себя все обязанности администратора работ и заявите, что только желание довести до конца дело, важное для всего человечества, побуждает вас оставить за собой научно-техническое руководство. Будет назначен Исполнительный Совет для заведывания бюджетом и для поддержания порядка на работах; туда войдут представитель от министерства финансов — Фели Рао, от министерства общественных работ, — это буду я, — и еще один от центральной полиции. Затем, чтобы доставить вам еще более полное удовлетворение, парламент свергнет нынешнее правительство; оно нарочно составлено из безличностей, наиболее удобных для выполнения щекотливых дел.

Наступило молчание. Лицо Мэнни было спокойно, но глаза его странно потемнели, и голос звучал несколько глухо, когда он вновь заговорил.

— Прекрасно, все это вам очень просто выполнить, если я согласен подчиниться. Ну а если нет?

— Это было бы очень печально, и мы надеемся, что вы с вашим гениальным умом, беспристрастно и точно оценивающим силы, не захотите длить борьбы, совершенно безнадежной и бесполезной. Но я могу сказать вам, какова бы была наша тактика и в этом невероятном случае. Тогда об укрощении рабочих не было бы и речи, — самое заботливое, самое отеческое отношение к ним. В парламенте был бы поставлен вопрос, нельзя ли и в самом деле изменить направление канала; была бы назначена комиссия из ученых старых академиков, — вы знаете, как они вас ненавидят. Можно поручиться, что комиссия выскажется достаточно двусмысленно и неопределенно, чтобы парламент мог удовлетворить вопреки вам требование рабочих, а ваше положение тогда...

Маро остановился. В нем вызывал смутное беспокойство потемневший взгляд Мэнни, и он невольно отвел глаза. Благодаря этому он не видел, как на несколько мгновений этот взгляд неподвижно остановился на тусклой поверхности бронзового разрезного ножа,

лежавшего между бумагами сбоку от них обоих. Маро закончил:

— Вы видите, что этот исход был бы во всех отношениях худшим.

— И вы не задумались бы совершить преступление перед наукой и человечеством ради... бюджета?

Оттенок холодного презрения в произнесенных словах был сильнее пощечины. Маро выпрямился, глаза его засветились циническим блеском, деловая сдержанность сменилась наглой насмешкой.

— Преступление?! Какие фразы! И вам нечего больше возразить? Но мы будем действовать в самом законном порядке. А насчет землетрясения... оно, наверное, случится уже тогда, когда нас не будет!

— Да, вас тогда не будет!

Мэнни вскочил, и Маро не успел уклониться от его движения, быстрого, как молния. Бронзовый нож не был бы оружием в руках обыкновенного человека, но инженер Альдо был потомком древних рыцарей. Сонная артерия шеи и горло были разорваны ударом. Кровь брызнула фонтаном, и Маро упал. Несколько судорог, слабое хрипение... Затем тишина.

#### IV. Суд

Дело Мэнни было отложено на несколько месяцев, «до успокоения». Тем временем рабочие были усмирены военной силой, союзы разгромлены, вожди их арестованы. Газеты усиленно подготавливали общественное мнение к процессу Мэнни, изображая его человеком бешено деспотичного характера, способным на всякие крайности при малейшем противоречии. Были использованы с надлежащими украшениями и кровавые биографии некоторых его предков. В злорадном хоре потонули голоса немногих защитников.

На основании связи убийства с политическими событиями правительство предало Мэнни суду Верховного Трибунала, состоявшего из самых заслуженных, самых древних юристов. Публика на процесс была допущена по строгому выбору. В качестве прокурора выступил один из товарищей министра юстиции. Адвоката обвиняемый иметь не пожелал.

Мэнни в своем показании ограничился точным изложением своего разговора с Маро. Большинство свидетельских показаний сводилось к неблагоприятным отзывам о характере Мэнни. Публика с интересом ожидала двух свидетелей — бывшего министра-президента и арестованного рабочего вождя Арри. Но оба не явились: первый неожиданно тяжело заболел какой-то неопределенной болезнью, второй был ранен часовым в тюрьме при попытке побега. Фели Рао умел призвать случай себе на помощь. Суд, конечно, признал возможным продолжать дело без этих свидетелей.

Прокурор в своей речи заявил, что объяснения Мэнни суд просто не может принимать во внимание. «Как известно, во всех процессах, — говорил он, — показания обвиняемых бывают наиболее благоприятны для них самих; но перед нами передача разговора, происходившего наедине, т. е. нечто недоступное проверке; а юридически существуют только проверенные факты. Изображать такого человека, как почтенный Фели Рао, и с ним весь Совет Синдикатов в виде преступных заговорщиков — не явная ли это фантазия, навеянная желанием оправдаться? Остается определенный и установленный факт — самое убийство, которого и обвиняемый не отрицает». Несколько раз прокурор распространялся на тему о том затруднительном положении, в которое ставят суд высокое положение обвиняемого и его заслуги перед человечеством: «но надо помнить, что перед республиканским законом нет великих или ничтожных людей, — здесь все равны; и если допустимо какое различие, то разве лишь то, что кому больше дано, с того больше и спрашивается». Из этого прокурор делал вывод, что о смягчающих обстоятельствах не может быть речи: «не вполне выяснен только вопрос о предумышленности убийства, — и сомнение тут должно быть истолковано в пользу подсудимого».

В своем последнем слове Мэнни заметил, что прокурор вполне прав, отвергая мысль о смягчающих обстоятельствах: «совершенный мною акт справедливости не нуждается в них;

но и для тех, кто совершит здесь действительное преступление, суд будущего не найдет смягчающих обстоятельств, ибо если величие не есть оправдание, то и ничтожество — тоже».

Председатель призвал обвиняемого к порядку, с угрозой лишить его слова. «Мне осталось сказать немного, — закончил тогда Мэнни: — я только решительно протестую против предположения о непредумышленности; то, что я сделал, я сделал вполне сознательно и обдуманно».

Судьи были возмущены холодным высокомерием Мэнни; и хотя перед тем в частных переговорах они заявляли министрам, что не смогут приговорить Мэнни больше, чем на несколько лет тюрьмы, теперь они почувствовали, что это не удовлетворило бы их. Приговор был поставлен максимальный — пятнадцать лет одиночного заключения.

Во дворе здания верховного трибунала масса публики толпилась в ожидании приговора. Когда из уст в уста пронеслось известие о нем, все были поражены; воцарилось мертвое молчание. Оно стало как будто еще глубже, когда наверху каменной лестницы показалась между жандармами атлетическая спокойная фигура инженера Мэнни, которого вели к тюремной карете. Все расступались. Какая-то сила заставила отклониться неподвижно устремленный вперед взгляд Мэнни. Его глаза встретились с глазами высокой, красивой женщины, которая держала за руку мальчика лет двенадцати-тринадцати. Что-то знакомое...

Среди тишины раздался звучный женский голос:

— Дитя, взгляни на героя и... не забывай!

Воспоминание вспыхнуло в душе Мэнни:

— Нэлла!

## Часть вторая

### I. Нэтти

Прошло двенадцать лет.

На одной из пролетарских окраин Центрополиса, в тускло освещенной подвальной зале небольшого трактира собралось около тридцати человек. Худощавые фигуры, энергичные, интеллигентные лица, рабочие костюмы... Когда двери были заперты и водворилось молчание, старик-председатель поднялся и сказал:

— Братья!

(Таково было обычное в те времена обращение между членами рабочих организаций.)

— Я объявляю открытым Совет Федерации Великих Работ.

— Вы, секретари союзов, хорошо знаете то положение вещей, которое вынудило вас тайно здесь собраться, чтобы найти и обсудить общий план действий. Вы знаете, что условия труда становятся у нас все более невыносимыми. За годы, прошедшие со времени неудачной всеобщей забастовки и расстрела тысяч наших братьев, наглость эксплуататоров непрерывно возрастала. Заработная плата уменьшилась на треть, между тем как почти все стало дороже. Рабочий день повсюду шаг за шагом увеличили с десяти до двенадцати часов. Инженеры, подрядчики, даже десятники обращаются с нами, как с крепостными; нас штрафуют и рассчитывают по произволу. Наши организации преследуют систематически. Вы помните, чего нам стоило возобновить их после разгрома. Теперь активных работников увольняют с работ под первым попавшимся предлогом, а то и без всякого предлога: почти все вы испытали это на себе.

— Но растет и недовольство. Долго подавленный пролетарий поднимает наконец голову. Он осматривается вокруг и говорит: «Да что же это? Почему? На каком основании?» А затем он переходит и к другому, более важному, вопросу: «Что надо делать?» Этот вопрос мы тысячи и тысячи раз слышали от братьев на местах; к нему приводил нас каждый разговор с ними. Этот вопрос собрал нас сюда, заставил возобновить, после долгого

перерыва, нашу, запрещенную правительством, Общую Федерацию. Соединим весь наш опыт, все наши силы для общей работы, от которой будет зависеть судьба миллионов наших братьев, и не разойдемся, пока не решим этого вопроса!

— Итак, братья, расскажите, что знаете и предложите, что считаете лучшим!

Десять ораторов, все с разных каналов, один за другим брали слово.

Их речи были коротки: сжатая характеристика положения на месте, несколько типичных фактов относительно условий труда, несколько цифр относительно состояния организаций, затем выводы. Все сходилось на том, что надо немедленно сообща начинать борьбу, иначе она вспыхнет разрозненно и стихийно; все признавали, что единственное оружие — всеобщая забастовка, что ее лозунгом должно быть возвращение прежних условий труда, какие были до первой стачки. Некоторые предложили обратиться за поддержкой к железнодорожникам, механикам и углекопам, наилучше организованным из остальных рабочих: они также много потеряли за эти годы под ударами усилившихся синдикатов, и можно было надеяться, что они согласятся выступить одновременно со своими требованиями; тогда шансы победы были бы очень велики. Казалось, что план действий почти выяснен, когда слово взял немолодой сидевший рядом с председателем рабочих — Арри.

— Братья, — сказал он, — я предлагаю вам дать слово для доклада моему сыну, инженеру Нэтти. Он присутствует здесь пока без права голоса, не как представитель союза, а как один из организаторов съезда. Некоторые из вас его знают: он объехал с поручениями по этому делу половину организаций. Мы привыкли не доверять чужим, и это правильно: сколько нас обманывали, сколько нам изменяли в прошлом! Но он не чужой нам; он из рабочей семьи, да и сам еще мальчиком работал на заводе. Он много учился; если под конец он пошел и туда, где учатся наши враги, то сделал это для того, чтобы найти новое оружие для защиты нашего дела. Вы не потеряете времени, если выслушаете его.

Все единодушно выразили согласие. Тогда поднялся высокий молодой человек с ясными, зеленовато-синими глазами.

— Братья! К тому, что предыдущие ораторы сказали о положении рабочих на местах, об их настроении, надеждах и желаниях, я ничего не могу прибавить, в этом все вы компетентнее меня. Я буду говорить о другой стороне дела, сообщу вам такие вещи, о которых, наверное, многие из вас догадывались, но никто не нашел возможным упоминать, не имея точных данных и доказательств, — о том, как ведутся Великие Работы в техническом и финансовом отношении. Это — сплошное царство грубых ошибок и беспримечной недобросовестности, невиданного грабежа и хищения. Я утверждаю это и могу доказать: вот уже несколько лет, еще с того времени, как я был студентом, я изучаю это дело. У меня были не только все печатные отчеты и материалы, доступные специалистам; при помощи личных связей, которые мне удалось завести в инженерном мире, и особенно — среди служащих Центрального Управления работ, я получил доступ к документам, которые хранятся в глубине архивов и вдали от нескромных глаз; многое, кроме того, пришлось увидеть и разузнать на месте, во время организационных поездок по нашим общим делам. Когда я все собрал, сопоставил, раскрыл противоречия фальшивых цифр и подвел итоги, предо мной выступила картина чудовищная, подавляющая.

— Планы великого инженера были искажены, извращены новыми руководителями работ, частью по бездарности, а главным образом — из-за корыстных, мошеннических расчетов. Знаете, почему на Гнилых Болотах вместо предположенных двух лет работы продолжались почти четыре года? Во-первых, не были применены специальные машины, не только тогда уже изобретенные, но испытанные и одобренные инженерами Мэнни и Маро. Во-вторых, была отклонена линия канала вдоль края болот, под тем предлогом, чтобы избежать лежащего дальше каменистого грунта, которого — я убедился в этом своими глазами — там вовсе нет. Кому и зачем это было нужно? Дело в том, что рабочие умирали тысячами, но больше половины умерших по целому году, по полтора года продолжали числиться в списках как работающие или как больные; плата на них получалась. Кем? Про то



известно подрядчикам и инженерам. А потом — пенсии семьям погибших. Хотя на те места заботливо переводили бессемейных и холостых, — у всех умерших оказывались семьи; и вот уже сколько лет пенсии выплачиваются по меньшей мере двадцати тысячам несуществующих семей.

— Вы все замечали, конечно, как часто масса рабочих безо всякой видимой причины переводится с одних участков на другие, а с тех на эти. Причина есть, и очень простая. Бухгалтерия ведется таким образом, что до конца отчетного года переведенные рабочие числятся на прежнем месте, но также и на новом. Заработная плата ассигнуется двойная, — но вы знаете, что двойной платы они не получают. Этим способом и еще другими достигается то, что по официальным отчетам на рабочих идет больше, чем во времена инженера Мэнни, хотя число их остается почти прежнее, а заработок каждого — на треть меньше.

— Вы помните катастрофу на канале Ганга, когда при закладке мин от неожиданного их взрыва погибло две тысячи человек. Официальное следствие нашло небрежность и неосторожность, было отрешено от должности три инженера, посажен в тюрьму один, случайно оставшийся в живых, минный техник. Но вы не знаете того, что все три уволенных инженера сразу стали богатыми людьми. В опубликованном отчете следствия не напечатано также то, что они первоначально ответили на допросе. Они сказали, что взрыва нельзя было предвидеть, он произошел самопроизвольно, потому что динамит был негодный. Этот сильнейший и самый дорогой по цене вид динамита должен готовиться из абсолютно чистых химических материалов. Если взять материалы почти, но не абсолютно чистые, то его приготовление обходится втрое дешевле, и взрывная сила та же, но он тогда может взрываться сам собою. Нечего и говорить, что динамитно-пороховой трест поставляет его все это время по цене состава идеальной очистки, т. е. втрое дороже действительной, а жизнь рабочих, конечно, в счет не идет. Несколько мелких несчастных случаев прошли незамеченными; большая катастрофа подвергла опасности прибыль треста. Прибыль эта, благодаря гигантскому применению динамита на Великих Работах, измеряется сотнями миллионов в год. Неудивительно, что они бросили десяток миллионов, чтобы заткнуть рот следователям и обвиняемым.

Тут один из делегатов прервал оратора: «Вы можете доказать все это?»

— Да, могу, — ответил Нэтти. — Братья рабочие достали мне образцы динамита, и я сделал анализ. Через друзей инженеров на самом большом динамитном заводе я разузнал в точности способы приготовления. Через банковых служащих мне удалось хитростью выяснить время, когда у трех инженеров появились миллионные вклады. И я могу доказать еще больше, — что двенадцать лет тому назад девять десятых акций динамитно-порохового треста были скуплены Фели Рао, председателем Центрального Правления Великих Работ, могу доказать это и многое другое, о чем долго было бы вам рассказывать.

— Я скажу вам, к чему привели меня мои подсчеты. За двенадцать лет бюджет Великих Работ составил с небольшим пятьдесят миллиардов. Из них расхищено и раскрадено от шестнадцати до восемнадцати миллиардов. Один Фели Рао, состояние которого тогда равнялось «всего» пятистам миллионам, теперь «оценивается» в три с половиной миллиарда. А самые работы страшно замедлились. Нектар и Амброзия должны были быть закончены уже несколько лет тому назад; между тем они будут готовы только через полтора-два года. Так же и на других каналах. Великое дело обессилено хищниками, — его, как и кровь рабочих, они приносят в жертву своей безграничной жадности.

— Первый вывод ясен. В свои требования вы включите: прекращение грабежа, суд над преступниками, конфискацию похищенного. А я одновременно с вашим манифестом выпущу свою книгу разоблачений, с точными данными и документами. На этом пункте нас поддержат широкие слои буржуазии, задавленные синдикатами и полные ненависти к их дельцам — миллиардерам. Правда, борьба станет тем более ожесточенной, против нас будут пущены в ход не только все законные, но и все незаконные средства. Это не заставит нас отступить. Согласны ли вы с моим первым выводом?

— Да! Да! Конечно! — пронеслось по залу.

— Теперь подведем итоги нашим требованиям и посмотрим, что получается. Мы хотим такой заработной платы, такого рабочего дня и такого порядка на работах, какие были до первой забастовки, то есть, — при инженере Мэнни. Мы хотим положить конец грабежу, хищениям, неумелому и опасному для рабочих техническому ведению работ, — всему, что началось после инженера Мэнни. Надо ли говорить вам, какой второй вывод логически вытекает из этого? Мы должны требовать восстановления в правах инженера Мэнни.

Ропот неодобрения среди слушателей. Восклицания: «Никогда!», «Что он говорит?», «Невозможно!», «Это насмешка над нами!», «Так вот к чему все клонилось!» Возбуждение усиливается, некоторые порывисто вскакивают с мест. Арри кричит: «Дайте ему высказаться до конца!» Нэтти остается неподвижным в позе ожидания. Председатель призывает к спокойствию. Мало-помалу тишина восстанавливается. В атмосфере недоверия, недоумения Нэтти продолжает:

— Братья, для меня не новость, что вы ненавидите инженера Мэнни. Но дело идет не о наших чувствах, — дело идет о борьбе и победе. Поэтому обсудим беспристрастно. Что имеете вы против возвращения инженера Мэнни?

Снова ряд бурных восклицаний: «Он враг союзов!», «Он убийца наших братьев!», «Он виновник забастовки и пролитой крови!», «Разве вы не знаете?» Нэтти делает знак, что хочет говорить дальше. Водворяется снова беспокойное молчание.

— Вот вы сказали то, что думаете, и теперь я прошу вас не прерывая выслушать меня до конца: все равно, ведь решать будете вы, а не я. Разберем обвинения. Первое: Мэнни — враг союзов. Безусловно верно. Ну, а нынешнее Управление Работ — не враг союзов? А то, которое сменит его, не будет во всяком случае врагом союзов? Мы не дети, чтобы надеяться на иное. Мы не изменим этого, пока существует нынешний строй, пока держится эксплуатация, пока один класс господствует над другим и боится его. Но и враги бывают разные. Мэнни не признавал союзов, отказывался вступать в переговоры с ними. Однако преследовал ли он их? Разве тогда увольняли за участие в союзах? Разве нашей Федерации приходилось скрываться в подполье? Он — человек другого мировоззрения, но действовал честно и открыто, его вражда была идейной и принципиальной. Нынешние директора иногда говорят вам: «Пусть союз пришлет своих делегатов, мы обсудим с ними ваши требования». А что бывает потом с этими делегатами? Предпочтете вы такое отношение к союзам? Нет, братья, нам обыкновенно не приходится выбирать своих врагов, но когда это возможно, надо их различать.

— Разве это главное? — прервал один молодой делегат. — А кровь наших братьев?

— Да, в этом, действительно, главное. И тут я должен рассказать вам то, чего вы не знаете. Вы были введены в заблуждение с самого начала, а потом враги скрывали от вас истину; раскрыть же сами вы ее не могли; и не на то были направлены ваши заботы в эти тяжелые годы. Эта истина вот такая: инженер Мэнни невиновен ни в гибели тех, кого задушили лихорадки на работах, ни в крови тех, кто был убит при забастовке.

— А кто же отправил рабочих на Гнилые Болота?

— Братья, это сделал не инженер Мэнни. Это сделала необходимость. Вы поверили лживой, предательской брошюре, автор которой, скрывший свое имя, — инженер Маро — знал, что он вас обманывает, и знал, зачем делает это. Каналу Амброзия нельзя было дать другое направление; я сейчас объясню вам, почему.

— Наверное, всем вам известно, что наша планета представляет шар из расплавленной, огненно-жидкой массы, покрытой снаружи застывшей, твердой корой. Кора эта не такая неподвижная и не настолько сплошная, какой она кажется нашим глазам. Она состоит из тесно сложенных огромных глыб или плит, образующих как бы гигантскую мозаику. До сих пор не выяснено, по каким законам происходят движения в расплавленном океане внутри планеты; но они совершаются постоянно, — вероятно, вследствие постепенного охлаждения и стягивания всей этой жидкой массы, — и с неуловимой медленностью в ряду тысячелетий приподнимают кору в одних местах, опускают ее в других. Не всегда, однако, эти движения

протекают так спокойно, так ровно. Иногда из них рождаются страшные, разрушительные потрясения коры, при которых могут возникать или исчезать целые пропасти, возвышения, озера, острова, и всякая жизнь подвергается грозной, неотвратимой опасности. На нашей планете, внутреннее охлаждение которой зашло уже далеко, эти явления выступают редко, с долгими промежутками, но тем грознее. Понятно, где бываю центры таких катастроф, где они разражаются с наибольшей силой: по линиям сложения кусков исполинской планетной мозаики. И вот как раз на такой линии расположена та долина, по которой будто бы можно было вести канал Амброзию; эта долина и образовалась когда-то сразу в результате землетрясения, о котором у людей не сохранилось преданий, но еще около трехсот лет назад она сильно изменила свой вид от новых подземных ударов; погубило и несколько сот людей, — не больше потому, что мало их там жило. При других землетрясениях были примеры гибели целых городов с десятками и сотнями тысяч людей.

— Теперь представьте себе, что там был бы проведен канал, с целой системой орошения. Огромные города выросли бы на нем, миллионы людей возделывали бы поля и луга, оплодотворенные его водою. Прошло бы пятьдесят, сто, двести лет, — наука еще не достигла предвиденья в этом, — и все было бы разбито, быть может, уничтожено в несколько минут. Скажете ли вы, что тысячи жизней в настоящем дороже тех миллионов в будущем? Нет, вы никогда не думали так, вы — бойцы за свое дело, вы считаете правильным и разумным жертвовать тысячами жизней теперь, чтобы миллионам стало свободнее в будущем. Так же, как вы, люди труда, думал человек науки, инженер Мэнни.

— Вас обманули, вызвали на борьбу, подвели под выстрелы... Кто? Шайка бесчестных людей с Фели Рао и Маро во главе. Зачем? Чтобы свергнуть того, кто был неподкупен, кто стоял для них на пути к миллиардам. Им удалось, и они взяли свое.

— Я не говорю о справедливости, хотя и к врагам лучше быть справедливыми. Я говорю о победе, об успехе. Чем можете вы лучше расстроить ряды врагов, как не этим неожиданным и страшным для них требованием? Общественное мнение будет с нами: оно давно стало склоняться на сторону Мэнни, оно уже возмущается тем, что для великого человека не находится другого места, как в тюрьме; эта трусливая, лицемерная публика заявляет, что он «уже искупил свое преступление». Но мы чувствуем не так, мы способны понять, что он поступил, как человек убеждения, и что преступник был не он, а осудившие его лакеи капитала.

— И примите в расчет еще одно: если возвращается Мэнни, его руками восстанавливаются все старые условия. Если же его нет, то противники с нами торгуются, соглашаются на одно, отказывают в другом; и возможно, что масса поддастся на частичные уступки.

— Наконец, разве нам не дороги интересы самого дела, которое мы выполняем, самих Великих Работ? Ведь это — интересы человечества. И разве они не требуют, чтобы дело было передано тому, кто гениально его задумал, и кто лучше всех сумеет вести его?

— А в том, в чем он нам враждебен, мы сумеем бороться с ним тогда, когда он будет стоять против нас. И тогда, братья, мы постараемся показать себя достойными и такого врага!

После речи Нэтти несколько минут никто не брал слова. Пораженные, ошеломленные слушатели отдавались своим тяжелым мыслям. Видя такое положение, выступил Арри.

— Я подтверждаю вам истину того, что сказал Нэтти. Больше, чем кто-либо из вас, я ненавидел инженера Мэнни; и тогда я вначале горячо стоял за борьбу. Но некоторые факты скоро вызвали во мне сомнение. Когда Маро тайно пришел ко мне и, рассчитывая на мою наивность, под видом фальшивого призыва к спокойствию, старался разжечь меня на агитацию лично против Мэнни; когда затем неизвестно откуда явилась и сразу распространилась массами анонимная брошюра, толкавшая на забастовку, тогда я почувствовал, что тут что-то неладно. Я убеждал товарищей приостановиться и выяснить дело, я указывал, что кто-то хочет играть нами; и наш сегодняшний председатель поддерживает меня. К несчастью, стачка возникла стихийно, и мы не успели никого убедить;

а нас, как и весь Совет Федерации, немедленно вслед за тем арестовали, чтобы еще усилить ожесточение братьев. В тюрьме предательским способом мне устроили побег, при котором должны были убить меня, чтобы я не явился свидетелем на процесс Мэнни. Случайно рана оказалась не смертельной. После этого я решил употребить все усилия, чтобы узнать правду. Друзья доставили мне в тюрьму книги, я изучил нужные науки, увидел ясно обман и подлую измену, догадался, зачем и кому она была нужна. Но у меня были только догадки, — доказательства нашел Нэтти; ему долго пришлось искать их. Когда же, два года тому назад, я вышел из тюрьмы, то все заботы направил на восстановление нашей Федерации, а о том, что знал, не говорил никому, чтобы враги не были как-нибудь предупреждены и не помешали Нэтти довести его дело до конца. Но теперь все подготовлено, настало время действовать.

После Арри взял слово молодой делегат, который чаще всех перебивал речь Нэтти.

— Хорошо! — сказал он нервным, прерывающимся от волнения голосом. — Нэтти и Арри убедили меня, я буду голосовать за их план. Но посмотрите, братья, как ужасно наше положение. Вот мы сейчас узнаем много вещей, о которых не подозревали. Но ведь от них зависит наша судьба, наша жизнь, наша воля. Предатели говорили нашим братьям, что Мэнни напрасно послал их на болота, — те поверили. Арри был десять лет в тюрьме, он изучил геологию и говорит нам, что это — ложь; мы, конечно, верим ему. Нас заставили лишних два года работать на тех же болотах под предлогом какого-то каменистого грунта; и мы ничего не знали. Нэтти объяснил, что этого не было нужно, что инженеры лгали; мы верим Нэтти. Нас принуждают работать с негодным динамитом, который каждую минуту может взорвать нас, и мы теперь только, после гибели тысяч людей, в первый раз об этом услышали. Нэтти — инженер, он сделал анализ, мы имеем все основания верить ему. Но что же это такое: верить, верить и верить! И потом, — если бы Нэтти не ушел из рабочих в инженеры, если бы Арри не мучился десять лет в тюрьме, мы, может быть, ничего этого не узнали бы; наши решения были бы другие, наши силы были бы растрочены неразумно. Разве это не рабство, не самое худшее рабство? Нэтти, Арри, братья, где выход из него? Как сделать, чтобы мы могли сами знать и видеть, а не только верить? Или это невозможно, и всегда будет так, как теперь? А если это невозможно, то стоит ли жить и бороться, чтобы оставаться рабами?

Нэтти ответил ему:

— Брат, ты положил руку на больное место. Наука до сих пор — сила наших врагов: мы победим тогда, когда сделаем ее нашей силой. Тут перед нами великая и трудная задача. Мы будем, конечно, отвоевывать свободное время, чтобы учиться. Мы будем брать знание всюду, где возможно. Но этого мало. Обрывки и крошки знания — это не то, с чем можно сознательно решать самые важные и сложные вопросы жизни.

— Некоторым из нас удастся, как удалось мне, ближе подойти к чужой науке и овладеть как следует какой-нибудь ее частью. И этого мало. Для пролетария завоевано только то, что завоевано для всех. А нынешняя наука такова, что даже избранным, которые нашли доступ к ней, достается ее малая доля: одна специальность. На большее не хватает времени и сил. Но специальность не дает понимания трудовой жизни в целом.

— Мне пришлось изучать разные науки; я мог сделать это, потому что способности у меня больше, чем у многих других людей. Изучая, вот к чему я пришел. Нынешняя наука такова же, как общество, которое создало ее: она сильна, но разъединена и масса сил в ней растрачивается даром. В ее дроблении каждая часть развивалась отдельно и потеряла живую связь с другими. Оттого получилось много уродливостей, масса бесплодных ухищрений и путаницы. Одни и те же вещи, одни и те же мысли в разных отраслях имеют десятки разных выражений и в каждом из них изучаются, как нечто новое. Каждая отрасль имеет свой особый язык — привилегия посвященных, препятствие для всех остальных. Много трудностей порождается тем, что наука оторвалась от жизни и труда, забыла о своем происхождении, перестала сознавать свое назначение; отсюда мнимые задачи и часто окольные пути в простых вопросах.

— Все это заметил я в современной науке, и мнение мое таково. Такая, как теперь, она

не годится для рабочего класса, и потому, что слишком трудна, и потому, что недостаточна. Он должен ею овладеть, изменяя ее. В его руках должна стать и несравненно проще, и стройнее, и жизненнее. Надо преодолеть ее дробление, надо сблизить ее с трудом, ее первым источником. Это — огромная работа. Я начал ее; другие, кому удастся найти пути и средства, будут продолжать. Первые шаги, как всегда, будут делаться в одиночку; а потом силы объединятся. Одному поколению не выполнить дела, но каждый шаг его будет частичей освобождения.

— Задача поставлена, необходимая задача. Она потребует бесчисленных попыток, мучительных усилий; путь к ее решению пройдет через многие неудачи и крушения. Но такова и вся наша борьба. Она тяжела и не может быть иною, потому что высок наш идеал. А если бы она была легка, тогда, братья, стоило бы говорить о ней?

## II. Возвращение

Инженеру Мэнни в тюрьме была предоставлена возможность не только заниматься наукой, что разрешалось вообще заключенным, но также следить за всем ходом общественной жизни. Вероятно, тут был известный расчет со стороны его врагов: заставляя его присутствовать при разрушении созданной им организации, при удалении лучших его сотрудников, при измене остальных, хотели усилить для него нравственную пытку, чтобы тем вернее навсегда сломить его волю. Первые годы Фели Рао не терял надежды подчинить его, сделать союзником в своих планах и несколько раз тайно, через директора тюрьмы, предлагал ему, вместе с полным помилованием, все те условия, которые когда-то передал ему в последнем разговоре Маро. Мэнни не отвечал на эти предложения. Он все время продолжал разработку своего плана работ, пользуясь всеми новейшими исследованиями. Вместе с тем он успел сделать несколько важных изобретений, которые были потом применены на работах.

Фели Рао чувствовал себя беспокойно. Общественное мнение по разным поводам то и дело возвращалось к вопросу о Мэнни и с каждым разом высказывалось настойчивее в его пользу. В парламенте раздавались резкие речи; правительству и верным депутатам становилось все труднее удерживать прежнее положение. Рао решил, что надо во что бы то ни стало отделаться от опасного противника. Но в тюрьме это было невозможно. Центральный Дом Заключения отличался такой идеальной организацией контроля, что для убийства потребовалась бы целая масса подкупленных сообщников, и дело неминуемо обнаружилось бы. От имени Президента Республики Мэнни на десятом году тюрьмы было официально предложено помилование. Мэнни отказался: по закону он имел право на это. Он не знал, что это спасало его жизнь. Но общественное мнение было неприятно поражено непримиримостью Мэнни. Для Фели Рао это было хоть каким-нибудь выигрышем.

Но вдруг разразился удар грома. Одновременно вышел манифест Федерации Работ, манифесты ряда других союзов о солидарности с нею и книга Нэтти: «Великие Работы и великое преступление». Рабочие давали правительству и парламенту для ответа месячный срок, угрожая всеобщей забастовкой; книга Нэтти сразу нашла миллионы читателей. Его разоблачения вызвали массу подтверждений; немедленно явились и новые обличители. В столице и крупных центрах произошел ряд демонстраций. Министерство пало. Даже президент Республики вышел в отставку.

Новое правительство, не имея надежного большинства в парламенте, немедленно его распустило и назначило новые выборы. Оно заявило рабочим, что во всем существенном согласно с их требованиями, и организовало следствие по поводу разоблаченных преступлений. Было привлечено к суду множество финансовых и парламентских дельцов; министр юстиции распорядился арестовать самого Фели Рао. Но тот не допустил этого: видя, что партия проиграна, он застрелился.

Мэнни опять было предложено помилование. Он снова отказался. Правительство не знало, что с ним делать, и было вынуждено ждать, пока собрался парламент. К этому

времени следствие добыло уже массу материала; в том числе выяснилось многое относительно закулисной стороны процесса Мэнни.

Наконец выборы закончились, и депутаты съехались. Президентом Республики был избран прежний министр, поддерживавший Мэнни. На совещании правительства с лидерами его партии были выработаны новые предложения инженеру Мэнни.

Он ничем не выразил удивления, когда в его камеру неожиданно явились президент Республики с премьером и министром юстиции; он только с легкой иронией предложил им свой единственный стул, а сам отошел и прислонился возле окна. Президент официально заявил ему, что правительство, ввиду открывшихся новых фактов, думает предложить Верховному Трибуналу пересмотр его дела. При этом, до нового решения дела, он, Мэнни, мог бы быть предварительно освобожден и предварительно восстановлен в своих правах. Правительство желало бы заранее знать, будет ли он удовлетворен такой постановкой вопроса и согласится ли на этих условиях немедленно вступить в выполнение прежних обязанностей.

— На этих условиях — нет, — отвечал Мэнни. — Я не согласен на предварительное освобождение. Если будет назначен пересмотр, я не буду участвовать в процессе и ограничусь заявлением, что приговор этого трибунала для меня нравственно безразличен.

— Но почему же, наконец, — воскликнул министр юстиции, — почему вы так упорно отклоняете все самые почетные возможности, которые вам предлагаются? Если это протест против несправедливости, то она сделана вам лично, а вы сами совершаете несправедливость по отношению к интересам человечества! Рабочие вас требуют, все общество желает вашего возвращения, для дела оно необходимо, и вы все отвергаете! Чего же вы хотите?

Мэнни с улыбкой сказал:

— Вы меня не совсем поняли. Я отклоняю суд Верховного Трибунала, потому что считаю его первый приговор несправедливым; и, следовательно, с моей точки зрения, второй приговор также ничего не докажет, кроме готовности судей исполнять волю правительства, в чем я и не сомневаюсь. Я хочу пересмотра дела иным, высшим судом — судом Человечества. Чтобы сохранить во всей полноте и неприкосновенности право на эту апелляцию, я должен отказаться от всякого компромисса, от всякого явного или замаскированного помилования. Вот почему я останусь здесь до конца. Но я не отказываюсь работать. Я все время следил за делом, разрабатывал его планы и могу руководить им независимо от места, где буду находиться, — как вы, господа министры, руководите республикой, большей частью не покидая своих бюро. Тут есть неудобства и трудности, — я признаю это, — но если вы хотите, чтобы я взялся за дело, то вам надо примириться с ними.

— Вы представляете себе, насколько неловким будет все это время положение правительства? — с горечью сказал премьер.

— Вот уже больше двенадцати лет, как я нахожусь тоже в несколько неловком положении, — возразил Мэнни.

— Мы подчиняемся! — сказал президент.

### III. Отец!

Газеты некоторое время волновались по поводу отказа Мэнни от пересмотра дела, но в конце концов общественное мнение успокоилось на том, что он, очевидно, эксцентрик и, как великий человек, имеет право быть таковым; было написано несколько ученых статей о родстве гениальности с сумасшествием; они много читались и цитировались; а вывод был тот, что теперь общество сделало с своей стороны все возможное и ни в чем упрекнуть себя не может. «Великий человек» относился ко всему этому с великим равнодушием и энергично вел реформу организации Великих Работ.

Из своих старых сотрудников он выбрал десять опытных, надежных людей и разослал их ревизорами по местам. Им были даны полномочия отстранять недобросовестных служащих, не стесняясь их рангом, приостанавливать действие убыточных контрактов и

подрядов, разбирать требования рабочих, восстанавливать прежние условия труда и прежние порядки. Каждый ревизор сам должен был подобрать себе помощников и взять их с собою, чтобы в случае надобности заменять ими удаляемых крупных агентов. Ревизоры принялись за дело как нельзя энергичнее, были неподкупны и беспощадны. Газеты «либералов» — прежней партии Фели Рао — прозвали их «палачами герцога Мэнни».

Ревизовать и реформировать Центральное Управление работ было задачей особенно важной, но и очень сложной. Мэнни сначала сам думал выполнить ее, но оказалось, что тюрьма значительно стесняла его в этом; а между тем тут нужна была особенная быстрота. Тогда он письмом пригласил к себе автора книги разоблачений.

Когда Нэтти явился, Мэнни, предложив ему сесть, сразу спросил его:

— Вы — социалист?

— Да, — ответил Нэтти.

Мэнни посмотрел на него с большим вниманием. Впечатление получилось благоприятное: ясные лучистые глаза, открытое лицо, лоб мыслителя, стройная и сильная фигура... Мэнни пожал плечами и про себя, вполголоса — тюрьма развила в нем такую привычку — произнес:

— Впрочем, Ксарма, великий ученый, тоже был социалистом.

Потом, заметив свою невольную откровенность, он засмеялся и сказал:

— В сущности, это не касается меня. Я хотел, если это возможно, узнать от вас, какими путями вы собрали весь материал своих разоблачений.

Нэтти сжато рассказал о разных связях, которыми он воспользовался, о тех приемах, иногда рискованных и не вполне легальных, которые он применял, чтобы достать документы, о содействии рабочих и их организаций. Мэнни слушал с интересом, расспрашивал подробности. Несколько раз Нэтти приходилось затрагивать важные технические вопросы. Мэнни с удивлением убеждался в огромных специальных знаниях своего молодого собеседника. Особенно его поражало глубокое, отчетливое понимание руководящих идей всех основных планов системы работ. Мало-помалу разговор целиком перешел на эту почву.

Нэтти с большой смелостью предложил ряд крупных изменений в опубликованных раньше проектах. Мэнни принужден был констатировать, что некоторые из этих изменений уже были внесены им в последующей разработке планов и что остальные заслуживают, во всяком случае, обсуждения. Глаза Мэнни сияли; он с трудом скрывал свою радость: он нашел больше, чем искал.

Возвращаясь к прежнему сюжету разговора, он спросил:

— У вас есть, вероятно, еще материалы, кроме тех, которые вошли в вашу книгу?

— Да, — отвечал Нэтти, — и очень много: все то, что давало подозрения и вероятности, но не представлялось вполне доказательным. Если вы желаете, я предоставлю все это в ваше распоряжение.

— Очень хорошо, — сказал Мэнни. — А вы согласитесь взять на себя ревизию всех дел Центрального Управления под моим непосредственным руководством?

Так началась официальная карьера Нэтти.

Работа была колоссальная: приходилось разбираться за двенадцать лет, допрашивать сотни свидетелей, вести борьбу против хитрых и опытных дельцов. Но задача облегчалась энергичной поддержкой со стороны низших служащих: сочувствие их Нэтти быстро завоевал непреклонным противодействием всяким попыткам свалить вину на стрелочника. Благодаря этим союзникам, дело шло сравнительно быстро. Время от времени Нэтти являлся к Мэнни с отчетом. В большой тюремной камере с несколькими столами и полками, с массой книг и бумаг на них происходило короткое совещание. Два человека понимали друг друга с полуслова. В несколько минут подводились итоги, принимались ответственные решения.

Раз Нэтти пришлось делать подробный доклад о «рабочей политике» Центрального Управления; о способах расхищения заработной платы, о тайных циркулярах, которые

предписывали директорам на местах, ввиду усиления союзов, «усилить строгость, чтобы вызвать их на открытые выступления, дающие законный повод к решительным мерам».

Когда Нэтти говорил об этом, он весь как-то изменился от глубоко сдерживаемого негодования: голос его звучал глухо, выражение лица стало суровым, глаза потемнели, между бровей появилась резкая складка. Постороннего зрителя поразило бы в тот момент его сходство с Мэнни. Когда Нэтти кончил, Мэнни, ходивший из угла в угол, вдруг сказал:

— Странно! Вы мне очень сильно кого-то напоминаете. Но кого? Может быть, я встречал ваших родителей?

Нэтти удивленно взглянул на него.

— Не думаю... Впрочем, своего отца я и сам не знаю: мне никогда не хотели назвать его. Это был какой-то богатый человек с высоким положением; он бросил мою мать, даже не подозревая обо мне. А она — простая работница из Ливии; зовут ее Нэлла.

— Нэлла!..

Это имя, как стон, вырвалось у Мэнни. Он побледнел и прислонился к стене. Нэтти быстро спросил:

— Вы ее знаете?

— Я — ваш отец, Нэтти!

— Отец?!

В этом слове было только холодное изумление. Лицо молодого человека вновь стало суровым. Мэнни судорожно прижал руки к груди. С минуту продолжалось молчание.

— Отец...

На этот раз в голосе слышалась задумчивость, усилие понять что-то. Выражение Нэтти стало мягче, спокойнее.

— Я не знаю, что думать об этом. Я спрошу у моей матери, — медленно произнес он.

— Я не знаю, что скажет вам Нэлла. Но вот что я могу сказать вам. Когда мы с ней расставались, не было ни одного слова упрека с ее стороны. И когда я был осужден, то раздался один голос протеста, — это был ее голос, Нэтти.

Взгляд Нэтти сразу прояснился.

— Это правда. Я был там.

Вновь минута задумчивости. Потом молодой человек поднял голову и сделал шаг по направлению к Мэнни.

— Я знаю, что скажет мама.

Он протянул руку Мэнни, и уже сдержанной лаской прозвучало еще раз повторенное слово:

— Отец!

## Часть третья

### I. Две логики

Никакой внешней близости между двумя инженерами открытие родства не вызвало. Мэнни всегда был замкнут, а долгое одиночество еще усилило наружную его холодность; Нэтти был сдержан с ним из осторожности. Для всех посторонних, с которыми им приходилось работать, они оставались по-прежнему начальником и подчиненным. Новый оттенок взаимного интереса и заботливости, появившийся в их отношениях, был замечен только им самим. Их разговоры стали более продолжительными, но, как и раньше, имели деловой характер. Долгое время оба старательно избегали высказываться по вопросам, в которых чувствовали коренное расхождение своих взглядов.

Работа шла. Реформа Центрального Управления, вновь превращенного в простое передаточное и справочное бюро, была выполнена уже настолько, что дальнейшее участие Нэтти там не было необходимо, а главное — не давало достаточного поля для его знаний и



талантов. Мэнни хотел поручить ему объезды по местам в качестве полномочного высшего контролера. Но тут надо было о многом столкнуться. Это оказалось очень легким в пределах технических вопросов и даже общих административно-финансовых и совершенно иным, как только дело коснулось условий труда рабочих.

— Я предполагаю, — сказал Мэнни, — что вы захотите внести в эти условия ряд новых улучшений. Я по существу не против и соглашусь, вероятно, на многое, потому что, как показывает опыт, и энергия и качество труда повышаются до известного предела вместе с увеличением платы и сокращением рабочего времени. Но есть одно предварительное требование, которое я ставлю своему полномочному представителю: ни в каком случае он не должен вступать по этим вопросам в официальные сношения с рабочими союзами.

— На это я согласиться не могу, — спокойно ответил Нэтти.

Взгляд Мэнни омрачился.

— Я не совсем вас понимаю. Вы сочувствуете союзам, — это ваше бесспорное право. Они ставят себе целью улучшение условий труда; вы могли бы теперь сами многое для этого сделать. Но вы — должностное лицо и подчинены определенным инструкциям. Узнать потребности и желание рабочих для вас возможно и помимо союзов. Ни вы сами себя и никто другой вас не имел бы основания упрекнуть, что вы достигаете своей цели, не нарушая дисциплины. Ведь у вас нет никакого формального обязательства перед союзами.

— Обязательство — это слово вообще неподходящее там, где дело идет об убеждениях, — сказал Нэтти. — Я социалист и ученик Ксармы. Для меня, как и для него, рабочие организации — действительные представители рабочего класса, и только они одни. Я не просто сочувствую им, я идейно к ним принадлежу, и отречься от них, хотя бы под прикрытием дисциплины, для меня невыносимо.

— То, что вы говорите, кажется мне странным. Во всех наших деловых разговорах я привык встречать у вас очень совершенную логику, точную и строгую. Тут она вам как-то изменяет. Вы признаете союзы законными и даже единственными представителями рабочих. Но сама очевидность говорит, что это не так. Материально — союзы заключают не большинство, а меньшинство рабочих. Формально — в договор найма вступают не они, а каждый рабочий в отдельности. Откуда же тут привилегия союзов на представительство? Это — то же самое, как если бы в государстве избирательное право было дано только меньшинству населения, тогда как гражданские обязанности каждый в полной мере несет сам за себя. Разве вы признали бы такое меньшинство законным и единственным представительством народа? Разве вы, социалисты не демократы?

— Вы были бы правы, если бы рабочий класс был случайным и разношерстным собранием безразличных друг для друга людей, каким является современное государство в его законах. Но рабочий класс вовсе не то. В чем основа и сущность жизни работника? В его труде — не так ли? А в своем труде существует ли он отдельно, сам по себе? Отнюдь нет. Если бы его вырвать из великого сотрудничества миллионов людей и цепи поколений, он сразу превратился бы в ничто. Исчезла бы и самая задача труда и рабочая сила. Те цели, которые теперь ставятся усилиям человека, все таковы, что предполагают уже сотрудничество в гигантских размерах: проводить железную дорогу, канал, строить машину, производить массу пряжи или ткани, добывать горы угля — какой смысл имело бы все это, если бы дело шло об отдельном работнике без тех, с которыми сообща он выполняет такие колоссальные задачи, и без тех, для кого они выполняются? А его рабочая сила, — чего она стоит без орудий, без технического знания, без тех жизненных средств, которыми она поддерживается? Орудия сделаны другими работниками, это их прошлый труд, который входит в поток живого труда, бесконечно усиливая его могущество. Знания накоплены жизнью предыдущих поколений, это их трудовой опыт, который стал основным и необходимым орудием всякой работы. Пища, одежда, жилище создаются для работника другими, ему подобными, которых он даже не знает. Отнимите все это, — что от него останется? Как рабочий он существует, он реален только в сотрудничестве, в трудовом единении бесчисленных человеческих личностей, живых и мертвых.

— Очень хорошо. Разделение труда, обмен услуг — вещи несомненные, важные. Но они, как показывают факты, вполне возможны и без рабочих организаций. Каким же логическим путем получился ваш вывод?

— Путем различения того, что сознательно и что бессознательно. Назовете ли вы человеком, в действительном смысле этого слова, существо, не сознающее себя самого, своего отношения к другим людям, своего места в природе? Пусть у него есть человеческий образ; но к человечеству оно все-таки еще не будет принадлежать. Так и для меня еще не принадлежит к рабочему классу работник, который не сознает того, что есть его сущность, как работника: своей неразрывной связи с другими, ему подобными, своего места в системе труда, в обществе. Но если он понимает или хотя бы чувствует все это, — он неизбежно объединяется с другими работниками. Если он может и предпочитает жить только сам за себя, жизнью мнимо-отдельной, мнимо-самостоятельной единицы, то он, как работник, существо не сознательное, не член и не представитель своего класса, хотя бы таких, как он, было подавляющее большинство.

— А не софизм ли все это? Рабочий объединен с другими в труде. Прекрасно. Но рабочие союзы как раз таким объединением и не занимаются: оно устраивается помимо них. Занимаются же они, главным образом, условиями найма; а теперь еще начинают заниматься политическими вопросами. Между тем и в договоре найма и в своей роли гражданина рабочий остается сам по себе: для себя лично получает заработную плату, по своим личным убеждениям подает голос на выборах. Где же логическая связь между единством труда и тем значением, которое для вас имеют союзы?

— Эта связь лежит в логике жизни, в логике сознания, которое стремится сделать жизнь цельной и стройной. Единство труда, которое дается работникам извне, которое для них устраивается другими, есть еще только механическое, бессознательное единство, вроде того, которое связывает части сложной машины. С пластинками и винтиками машины не считаются, — их только считают. Таково отношение господствующих классов к рабочим; оно законно и справедливо, пока рабочий живет сам за себя и для себя; ибо тогда он бессилен. Сила человека — в его последовательности и верности себе, в соответствии всех сторон его жизни: его труда, его мысли, его отношений к другим людям. Если работник в труде составляет одно со всеми работниками, а в отношениях к нанимателям и государству, в остальной практике жизни и в мышлении отделяет себя от них, то у него нет единого принципа, нет сознания своей сущности, нет сознания самой действительности. Ибо вовсе неверно, будто он сам за себя имеет дело с нанимателем, сам себя определяет в политике. Условия труда, которые будут ему поставлены и которые он должен будет принять, зависят всецело от того, больше или меньше других работников конкурирует с ним и каковы они по своему уровню привычек, по интеллигентности и по энергии в борьбе за свои интересы. В политике, где борются коллективные силы, создавая сложнейшие соотношения, он не может разобраться индивидуально; и если он не сделает этого в единении с другими работниками, то он — игрушка случайной агитации, лживых обещаний, мелких и нередко враждебных его интересам влияний. Он материал для воздействий, орудие для чужих целей, а не сознательное существо.

— И все-таки из этого никак не получается, чтобы союзное меньшинство было законным представителем внесоюзного большинства!

— Я и не говорил этого. Сознательное меньшинство — представитель не бессознательного большинства, а целого, представитель класса. Так и человек вообще — не представитель остальных организмов нашей планеты, но он в полной мере представитель жизни на ней, потому что в нем эта жизнь пришла к сознанию себя.

— Я пробую сейчас применить ваши соображения к себе, — насмешливо заметил Мэнни, — и вывод получается для меня самый печальный. Я, несомненно, ничего не мог бы сделать без тех миллионов работников, руками которых выполняются мои планы. Но у меня нет ни малейшего желания объединяться с ними, скорее, наоборот, — я склонен противопоставлять себя им. Следовательно, я — как нельзя более бессознательное существо.

Это лестно!

Нэтти засмеялся.

— Вы обладаете иным сознанием, и в своем роде очень совершенным. Это — сознание того класса, который предшествовал пролетариату, который проложил ему путь и продолжает по-своему, правда, без особенной мягкости, воспитывать его. Тот класс шел вперед через борьбу человека с человеком, через войну всех против всех; и он не мог иначе: историческая задача состояла в том, чтобы создать человеческую личность, существо активное и полное веры в себя, чтобы выделить ее из человеческого стада феодальной эпохи. Но это сделано; и в рабочем классе воплощается уже другая задача. Дело идет о том, чтобы собрать эти активные атомы, связать их высшей связью, их стихийно-противоречивое сотрудничество сделать гармонически-стройным, слить их в едином разумном организме человечества. Таков смысл нового сознания, начало которого — в рабочих организациях.

— Берегитесь, вы впадаете в опасную метафизику. Для вас эти классы, это будущее человечество уже стали настоящими живыми существами, с особой, фантастической жизнью...

— Почему фантастической? Она реальна, она гораздо шире и сложнее, чем простая груда личных жизней, чем хаос разрозненных сознаний. А понятие о живом существе изменяется, оно различно в разные эпохи. Если бы нашим предкам, даже самым ученым, несколько сот лет назад сказали, что человек есть колония из 50 — 100 триллионов неуловимо-малых живых существ, разве это не показалось бы самой странной метафизикой?

— И в такие существа, подобные клеткам, вы хотите, по-видимому, превратить человеческие личности?

— Нет, этого мы не хотим. Клетки организма не сознают того целого, к которому принадлежат; скорее с ними сходен поэтому современный тип личности. Мы же стремимся именно к тому, чтобы человек вполне сознал себя как элемент великого трудового целого.

Мэнни встал и несколько минут молча ходил по комнате; затем остановился и сказал:

— Очевидно, что такое обсуждение ни к чему нас не приведет. Как же нам поступить? Согласитесь ли вы разделить полномочия с другим помощником так, чтобы вам принадлежал весь технический контроль, а ему административный?

Он несколько тревожно взглянул на собеседника.

— Очень охотно, — отвечал тот, — это всего удобнее.

— Благодарю вас, — произнес Мэнни. — Я опасался отказа.

— Напрасно, — возразил Нэтти. — Административные полномочия поставили бы меня в трудное, скользкое положение. Быть официальным представителем одной стороны и по всем симпатиям, по всем интересам принадлежать к другой стороне, это — такая двойственность, при которой нелегко, может быть, даже невозможно сохранить равновесие. Быть верным себе, удержать ясную цельность сознания — для этого надо избегать противоречивых ролей.

Мэнни задумался и после короткого молчания сказал:

— Вы последовательны в вашей своеобразной логике; этого за вами отрицать нельзя.

[...]

### III. Глубже и глубже

Поездка Нэтти вышла продолжительнее, чем предполагалась. Он уехал в начале осени, а вернулся уже весной — через год по земному счету. Ошибки и беспорядок, внесенные в технику работ за эпоху управления хищников, оказалось не так легко исправить, как думали сначала новые руководители. Хотя Нэтти за время путешествия присылал точные, сжатые доклады о том, что он нашел на местах и что предпринял, но ему пришлось дать еще подробный словесный отчет, который занял у них с Мэнни не один день. Эти долгие беседы часто отклонялись от чисто деловых вопросов, превращались в обмен мыслями, оценками, отдаленными планами. Разлука словно сблизила отца с сыном, ослабив их взаимную

сдержанность; так нередко бывает между натурами, обладающими действительным внутренним родством.

В конце своей поездки Нэтти присутствовал, как представитель Управления работ, на торжественном открытии только что оконченного канала Амброзия. Впечатления были еще ярки в памяти молодого инженера, когда он рассказывал об этом Мэнни.

— Мне хотелось бы быть поэтом, чтобы передать вам все, что я пережил в тот день. Я стоял вместе с другими инженерами, на высоте дуги моста, перекинутого через канал над его шлюзами. По одну сторону уходило в бесконечность стальное зеркало Южного Океана, по другую — темнело внизу, направляясь через равнину к горизонту, сначала широкой, потом все более узкой полосой уже готовое русло еще не рожденной гигантской реки. Сотни тысяч народа, в праздничных нарядах и с возбужденными лицами, волнами разливались по набережным; а дальше в обе стороны раскидывались красивые здания и сады города, которого не было пятнадцать лет тому назад; и еще дальше — лес кораблей в двух внутренних бассейнах, куда они скрылись от опасности погибнуть в первом порыве вод по новому пути. С золотыми лучами солнца среди прозрачного воздуха переплелись радость и ожидание, все окутывая и все соединяя невидимой эфирно-нежной тканью. На одно мгновение эта ткань как будто разорвалась: отряд войск серой лентой, с холодным блеском и резким звяканьем оружия, разделил пеструю толпу; кровавые и черные воспоминания нахлынули массой, угрожая затопить красоту минуты. Но серая змея была на этот раз безопасна, тяжелые призраки прошлого расплылись туманом и исчезли перед сияющей действительностью...

— Раздался сигнальный выстрел, и моя рука прижала рычаг электрического механизма шлюзов. Мне показалось, что все замерло в неподвижности... но это была, конечно, иллюзия. На спокойной поверхности моря вдруг образовалась долина, которая резко углублялась к мосту. Все прежние звуки сразу потонули в гуле и шуме оглушающего водопада. Затем шум понизился настолько, что среди него всплыли восторженные клики тысяч людей. Мутная масса воды, клубясь и пенясь, со страшной быстротой неслась к северу по руслу канала — Великое событие совершилось: начало новому расцвету жизни было положено. Какое торжество объединенных человеческих усилий, всепобеждающего труда!

— Странно! — задумчиво заметил Мэнни. — Как своеобразно все переводится в вашей голове... Там, где, мне кажется, сама очевидность говорит о торжестве идеи, вы видите торжество труда.

— Но это одно и то же, — сказал Нэтти.

— Не понимаю, — все с той же задумчивостью, как будто размышляя вслух, продолжал Мэнни. — Я думаю, что знаю, что такое идея, и что такое — усилие, труд. Я уже не говорю о том объединенном труде человеческой массы, который для вас каким-то образом заслоняет все, а для меня — просто механическая сила, с удобством и с пользой заменяемая работой машин. Но даже интеллектуальный труд сознательной личности... Я всегда служил идее и всегда господствовал над своим усилием. Оно — лишь средство, она — высшая цель. Идея больше, чем сами люди и все, что им принадлежит; она не зависит от них, они подчиняются ей. Для меня это несомненно, как то, что я в полной мере испытал. Несколько раз в моей жизни мне случалось овладеть идеей, раскрыть истину — ценою напряженной и долгой работы, мучительной борьбы с тайною... И когда наступал этот момент, все пережитое сразу исчезало перед сияющим величием найденного; и даже сам я как будто переставал существовать. За покрывалом, сорванным моей мыслью и волей, выступало то великое, необходимое, чего не в силах было бы изменить все человечество, хотя бы оно объединило для того всю свою энергию: разве оно может сделать так, чтобы эта идея перестала быть истиной? И если оно не захочет признать ее, если откажется следовать ей, она ли пострадает от того? Пусть даже исчезнет человечество — истина останется тем, что она есть. Нет, не надо унижать идею! Нужны усилия, чтобы отыскать путь к ней, нужен часто грубый труд, чтобы осуществить ее веление. Но эти средства бесконечно далеки от ее высшей природы.

— Я тоже вовсе не хочу унижать идею. Я только иначе понимаю ее природу, ее отношение к труду. Вы правы, что идея выше отдельного человека, что она ему не принадлежит, что она господствует над ним. Но посмотрите, вы не сказали, в чем же состоит ее высшее существо; а ведь тут и должно лежать решение вопроса.

— Не совсем понимаю, чего вы требуете. Высшая сущность идеи заключается в ее логической природе; разве это не ясно для всякого, кто живет идейной жизнью? Или вам этого недостаточно, и вы хотите чего-то другого, большего?

— Да, этого недостаточно, потому что это — мнимый ответ. Существо идеи — логическое, это все равно что сказать: идея есть нечто идеальное, — или просто: идея есть идея. Об ее природе после этого ответа человек знает ровно столько же, сколько и до него. В науке вы не удовлетворились бы этим; там для вас мало знать, что воздух есть воздух и вода есть вода; вы потребуете их анализа.

— Не думаю, чтобы ваше сравнение было правильно. Но, во всяком случае, если бы было возможно произвести физический и химический анализ природы идей, подобный исследованию воздуха или воды, я первый был бы рад этому. Но не мечта ли это?

— Не настолько, как вам должно казаться. Не химический, конечно, а жизненный анализ природы идей вполне возможен. Ксарма начал его, но не докончил, и остался непонятым... Я продолжал дело...

— И вам удалось?

— Я думаю, что да.

— Расскажите тогда ваши выводы... если надеетесь, что я пойму вас. Не примите эту оговорку за иронию; я просто убедился, что в некоторых вещах у нас как будто разная логика. Я не предпрещаю вопроса, которая правильна...

— Хорошо. Но тогда вам надо на время покинуть логическое царство отвлеченности и взять идею в самой жизни. Вот наши предки тысячу лет боролись за идею свободы. Это, без сомнения, одна из величайших идей человечества. Когда я читал историю и старался проникнуть в душу тех далеких поколений, для меня стало ясно, из чего возникла и выросла идея свободы. Миллионы людей жили в рамках, которые становились для них все более тесными. На каждом шагу их труд, их усилия, их стремление развернуться, зарождавшаяся в их головах творческая работа наталкивались на какую-то стену, встречали подавлявшее их сопротивление и замирали в бессилии; затем возобновлялись, чтобы испытать ту же судьбу. Так погибали бесплодно мириады человеческих усилий в их разрозненности; была боль, но не было идеи. Из боли рождались новые усилия, такие же смутные, но более напряженные и еще более многочисленные. Мало-помалу они начали соединяться и приобретать общее направление; сливаясь, они образовывали все более могучий поток, устремлявшийся против старых преград. Это и была идея свободы: единство человеческих усилий в жизненной борьбе. Было найдено слово «свобода»; само по себе оно было бы не лучше и не хуже других слов; но оно стало знаменем объединенных усилий; так в прежние времена для армий обыкновенные куски материи служили выражением единства боевых сил. Отнимите слово «свобода» — останется поток усилий, но не будет сознаваться его общее направление, его единство. Отнимите эти усилия — от идеи ничего не останется. И такова же всякая другая идея. Чем грандиознее поток объединенных усилий, тем величественнее, тем выше идея, — тем слабее и ничтожнее перед нею отдельный человек, тем для него естественнее служить, подчиняться ей. Пусть люди сами не сознавали, почему для них радостно было бороться и даже умирать за идею свободы; их чувство было яснее и глубже их мысли: для человека нет большего счастья, как быть живой частицей могучего, всепобеждающего порыва. Таким порывом человечества была идея свободы.

— Значит, если бы не было деспотизма, гнета, произвола, то не было бы идеи свободы, потому что не было бы объединения усилий, чтобы преодолеть их?

— Конечно, да. В ней не могло бы быть живого смысла; какая же это была бы идея?

— Я не стану спорить с вами, я хочу только полнее понять вас. Идея свободы в истории была боевой; возможно, что она выросла в массах. Но применим ли наш вывод к другим

идеям, которые не таковы? Мне кажется, что именно этот выбранный вами пример привел вас к вашему выводу; а если бы вы взяли не его, то получилось бы иное.

— Что же, возьмем другой. Вот самая близкая для вас идея — план Великих Работ. В ней заключено гораздо больше, чем это кажется без исследования вам самому, ее автору. Уже не раз в прошлом человечеству становилось тесно на поверхности нашей планеты, даже в те времена, когда оно было очень малочисленно, но не умело брать у природы всего того, что берется теперь; за последние века все труднее становилось преодолеть эту тесноту. Труд человечества, стремясь расширить свое поле, постоянно разбивался о границы великих пустынь. Там бесчисленные возникавшие усилия подавлялись суровой властью стихий, оставляя за собой неудовлетворенность и мечту; а мечта — это не что иное, как усилие, побежденное в действительности и ушедшее от нее в область фантазии. Но были и не бесплодные попытки: местами труду удавалось отвоевать клочки пустыни, проводя воду туда, где ее не было. Были и другие попытки: неудовлетворенное усилие не превращалось в простую мечту, а принимало, переходя от людей труда к людям знания, новую форму — стремления исследовать. Отважные путешественники проходили пустыни из конца в конец, измеряли и описывали их, без счета растрчивали свою энергию; возвращаясь, они приносили с собою то, что казалось практически бесполезным, чистым знанием о мертвых навеки песках и равнинах, но что было на самом деле кристаллизованным усилием пионеров-разведчиков для будущей войны с царством Безжизненного. Чем дальше, тем больше умножались попытки, напряженнее становились стремления, полнее и точнее исследования... Сдавленная активность веков искала выхода. И вот нашелся человек с душой достаточно широкой и глубокой, чтобы бессознательно объединить и слить в ней все эти различные элементы усилий человечества; со смелостью прежней мечты охватить трудовую задачу во всем ее гигантском объеме, внести в ее решение всю накопленную прошлыми исследованиями энергию знания, применить к ней все приемы, выработанные научной техникой эпохи машин. Тогда из разрозненных прежде элементов получилось живое, стройное целое и оно было — идея Великих Работ. Ее концентрированная сила смогла объединить вокруг нее новую массу труда, работу миллионов исполнителей. Так совершилось то, к чему ошупью стремились многие и многие поколения.

— Яркая, но странная картина, — задумчиво заметил Мэнни.

— Это верная картина, не сомневайтесь в этом, — продолжал Нэтти. — Вы, вероятно, не знаете, что триста лет тому назад один, давно забытый теперь, утопист во времена долгого и тяжелого кризиса земледелия изобразил в виде пророческой социальной мечты нечто очень близкое к вашему плану. Мне указал на эту книгу молодой историк, изучавший ту эпоху. Утопия выражает стремления, которые не могут реализоваться, усилия, которые ниже сопротивлений. Теперь они выросли и стали планомерным трудом, преодолевающим те сопротивления; для этого им надо было слиться в единстве идеи. Вот почему для меня торжество объединенного труда и торжество идеи — одно и то же... Я мог бы даже сказать — ваше торжество, и это не было бы неверно: вы не открыли, не нашли свою идею, как это вам кажется; вы создали ее из того, что еще не было идеей. Человек — творческое существо, Мэнни.

— Человек ли? Это, скорее, какой-то резервуар общих усилий, — шутливо возразил Мэнни, чтобы скрыть невольное волнение, которое в нем вызывала такая оценка в устах всегда сдержанного с ним Нэтти.

Тот понял это и не ответил на шутку. Наступило короткое молчание, которое вновь прервал Мэнни.

— То, что вы говорите, если бы и было верно, могло бы относиться только к практическим идеям. Но ведь есть и чисто теоретические, созерцательные идеи, хотя бы в математике, в логике. С ними ваш анализ вряд ли удался бы.

— Нет идей чисто теоретических. Те, которые ими кажутся, только общее и шире других. Разве не на математике построена вся организация работы в инженерном деле и даже вообще в машинном производстве? Разве ваши планы и их осуществление были бы

возможны без сотен тысяч математических вычислений? А что касается логики, то весь ее жизненный смысл именно в том, чтобы дать людям возможность сталкиваться между собою, то есть объединять с успехом свои усилия в труде или в исследовании.

— Затем, если всякая идея сводится в объединению усилий, то где же разница между истиной и заблуждением?

— Эта разница в их результатах. Объединение усилий может быть таким, что оно ведет к достижению их цели, тогда оно — истина, и оно может быть таким, что ведет к их растрате, крушению; тогда оно — заблуждение. Идея свободы была истиной потому, что вела человечество к победе, к расцвету жизни, которая есть конечная цель всякого труда. Математические формулы — истины потому, что дают надежное орудие успеха в борьбе со стихиями. Заблуждение само себя опровергает, приводя усилия к неудаче.

— Ну а если цель вполне достигнута, что же тогда дальше с истиной? Усилиям, которые ею объединялись, приходит конец...

— И ей тоже. Человечество идет дальше, ставит новые цели; а она умирает. Когда окончательно исчезнут преступления, умрет идея правосудия. Когда жизнь и развитие людей совершенно не будут стеснены никаким гнетом, тогда отживет идея свободы. Они рождаются и борются за свою жизнь и погибают. Часто одна убивает другую, как свобода убивает авторитет, научная мысль — религиозную, новая теория — старую.

— Триста лет тому назад великий ученый установил вечность материи. Это была истина и одна из величайших. Человеческая активность, чтобы овладеть веществом, подчинить его себе, отыскивает его всюду, где оно исчезает из глаз, прослеживает его во всех превращениях: таков смысл этой идеи, давшей бесчисленные плоды во всех областях труда и познания. А теперь, вы знаете, выступает все настойчивее новая идея, — что материя разрушается и, значит, когда-нибудь возникла или возникает. Когда эта истина созреет, она будет выражать высшую ступень власти труда над веществом, господство над самой внутренней жизнью материи. Тогда умрет старая идея, сделавши свое дело. И то же будет со всякой другой, потому что человечество не остановится на своем пути.

Мэнни с закрытыми глазами откинулся на спинку стула. Несколько минут он думал так. Затем он сказал:

— Я знаю, что вы больше меня изучали то, о чем говорите, и для меня несомненно, что у вас хорошая, светлая голова. Все ваши слова просты, ясны; но все-таки ваши мысли мне странны и непонятны. Меня словно отделяет от них какая-то темная завеса... Моментами — только моментами — эта завеса как будто разрывается, и мне кажется, что я вижу через нее отблеск далекой истины. Но затем все погружается снова в тот же мрак. Бывают другие мгновения, когда во мне вспыхивает враждебное чувство, точно вы хотите разрушить что-то священное для меня, самое дорогое; но быстро является сознание несправедливости этого чувства. В общем, ваши взгляды представляются мне какой-то поэзией труда, которой вы хотите дополнить или, может быть, даже заменить строгую науку. На это я, конечно, никогда согласиться не могу. Но у меня нет желания спорить; я понимаю, что это было бы бесплодно. У вас на все будет ответ, но неубедительный для меня, потому что основанный на чуждой мне логике. И в то же время мне глубоко интересно все, что касается ваших мыслей и вашей жизни... Расскажите мне о своем детстве, Нэтти.

#### IV. Враги и союзники

Некоторое время позиция Мэнни казалась недоступною никакой атаке. После разоблачения врагов и гибели их, по-своему гениального, руководителя призванный ко власти по требованию самих рабочих и общественного мнения, утвержденных в своих правах единогласным постановлением парламента, он, при поддержке старых сотрудников и Нэтти, в короткое время достиг необыкновенных успехов. Гигантское дело, приходившее в упадок, было восстановлено и шло, как по рельсам; часть расхищенного, при Фели Рао — несколько миллиардов — была уже возвращена путем судебных конфискации;

продолжавшийся ряд расследований и судебных процессов должен был вернуть еще значительную долю остального; создавался, таким образом, колоссальный фонд для расширения и развития работ. Но, несмотря на все это, в общественной атмосфере было что-то странное, неопределенно гнетущее. Это было особенно заметно на широкой, демократической прессе. Когда-то раньше, в эпоху первых успехов Мэнни, она восторженно приветствовала и горячо комментировала каждую его победу; теперь в ней господствовал словно общий заговор молчания. Газеты сообщали — и то лишь в пределах необходимого — о событиях, касавшихся Великих Работ и их организации, но систематически воздерживались от оценок и даже от пояснений; они предпочитали заниматься другими вещами. И это отнюдь не было результатом только подкупа со стороны старых финансистов и вообще их влияния: нет, «общественное мнение» было на самом деле недовольно. Оно не имело поводов порицать новый ход вещей, но не чувствовало ни малейшей склонности одобрять его виновников и руководителей. Были тому серьезные причины.

Во-первых, «общество» — это слово обозначало тогда высшие и средние классы, вместе взятые — не могло примириться с ролью рабочих в происшедшем перевороте. Не только они взяли на себя его инициативу, — это можно еще допустить, когда дело идет о достаточно опасной борьбе, угрожающей при случае перейти в кровопролитие; — но и потом, когда опасность уже миновала, ни на минуту они не захотели подчиниться руководству старых, серьезных партий, а, наоборот, навязали им свои требования и заставили выполнить их в полном объеме. Это было нечто новое в развитии рабочего класса, который до тех пор экономически еще иногда умел отстаивать себя, но политически был все время самым удобным и покорным объектом эксплуатации.

Во-вторых, было нечто непонятное, тревожное как в упорном отказе Мэнни от пересмотра его процесса или амнистии, так и в его союзе с заведомо крайним революционером Нэтти. Первое имело вид нравственной пощечины всеми уважаемым учреждениям, второе представлялось угрозой для будущего. Какие еще неожиданности могли возникнуть из этой загадочной комбинации — трудно было вообразить; но тем сильнее беспокоила она общественное мнение.

Затем, настойчивое беспощадное преследование всех тех, кто участвовал в бюджетных операциях Фели Рао и компании, ряд конфискаций их имущества производили неблагоприятное впечатление на серьезную публику; она находила, что это чрезмерно. Наиболее виновные уже пострадали; можно было бы тем и удовлетвориться, не обрушивая всей тяжести репрессий на менее виновных. Большинство их были люди уважаемые, солидные деятели промышленности и торговли: в коммерческих делах не всегда так легко и просто уловить рамки формальной законности. В таких суждениях сказывалось и влияние бесчисленных мелких связей, которые соединяют членов «общества» в их обыденной жизни, и естественная снисходительность к проступкам, мотив которых — жажда присвоения — так всем им близок и понятен. Кроме того, крушение прежних тузов каждый раз затрагивало интересы очень многих, имевших с ними дела; самоубийство Фели Рао вызвало даже чуть не целый кризис на бирже. «Общество», как и его законная представительница — биржа, — ценит спокойствие, уверенность в завтрашнем дне выше таких отвлеченностей, как правосудие или интересы общего дела. В Мэнни и во всем его окружавшем видели нечто протестующее, беспокойное, нечто неизвестное и грозное по своей силе. В сравнении с этим все преступления другой стороны стусевывались.

Однако старые, заведомые враги Мэнни не решались начать нападения: в их игре руководящие интересы были бы чересчур грубо-очевидны, их репутация была слишком попорчена, им приходилось молчать, чтобы не повредить делу. Подать сигнал к атаке мог только кто-нибудь авторитетный и незапятнанный, стоящий выше подозрений. Долго такого не находилось...

Мэнни, поглощенный работой, новыми впечатлениями, воспоминаниями, не замечал, как атмосфера становилась все напряженнее. Однако не он один, а очень многие были поражены, когда с боевой статьей против него в самом распространенном органе выступил



Тэо. Старый демократ, всеми уважаемый публицист, Тэо в свое время был одним из немногих, решавшихся бороться против Совета Синдикатов после его победы и даже открыто называть «делом лакеев» приговор в процессе Мэнни. Тем больше сенсации произвел его новый шаг. Статья была озаглавлена «Пора подумать!» и имела форму предостережения, обращенного к обществу и партиям.

«Все ли благополучно в нашей Республике? — спрашивал он и отвечал, что нет: — демократия мало-помалу изменяет себе, ее принципы открыто подкапываются, и она терпит это; готовится худшая реакция. Допустима ли в демократии диктаторская власть одного человека над миллионами людей и над миллиардами общественных денег? Двадцать лет тому назад, при утверждении плана Великих Работ, такие полномочия были созданы для их инициатора. Это была огромная ошибка. Она была простительна вначале, пока не обнаружились ее последствия. Но с тех пор мы пережили эпопею Фели Рао. Что, в сущности, сделал Рао? Он перехватил власть у Мэнни и воспользовался ею по-своему. Все знают, что из этого получилось... Демократия низвергла Фели Рао. А затем? Та же диктатура во всей неприкосновенности возвращена в руки Мэнни. Значит, ничему не научились?»

«Нам скажут: Мэнни — не финансист и не политикан, а честный инженер; на него можно положиться, для себя ему ничего не надо, он служит только делу. Так ли это? Демократия не должна, не имеет права полагаться на отдельного человека; ее принцип — большинство. Если бы даже Мэнни был действительно таков, каким его представляют наивные люди, ослепленные величиим его заслуг, которых мы вовсе не желаем умалить, — и тогда нарушение принципа демократии оставалось бы угрозой ее будущему. На самом деле опасность гораздо ближе».

«Инженеру Мэнни для себя лично ничего не надо. А зачем же ему, в таком случае, диктатура? Или он взял ее не себе лично?»

«Скажут: надо судить о людях, об их намерениях по их действиям. Прекрасно. Рассмотрим действия инженера Мэнни по отношению к демократии».

«Общество, народ требовали пересмотра его процесса. Он отвергает пересмотр. Разве это — не презрение к народной воле и к республиканским учреждениям? Он имел право не уважать своих прежних судей, которые были орудием финансовой камарильи. Но не уважать самое правосудие республики — кто дал ему право на это? И что хочет он такой демонстрацией внушить народным массам? Без серьезной практической цели человек дела не откажется от нескольких лет свободы. Для какой цели нужен ему во что бы ни стало ореол мученика?»

«Всем известно прежнее отношение Мэнни к рабочим организациям: оно было не демократично. Внешним образом он даже и теперь еще не отказался от него. Но посмотрите, какое противоречие! Возле инженера Мэнни в роли его ближайшего помощника мы находим — кого же? Если не явного вождя рабочих союзов, то, несомненно, их политического вдохновителя, социалиста Нэтти. Как вы думаете, что это значит?»

«Заметьте: рабочие союзы за последнее время обнаруживают какое-то непонятное, беспричинное недоверие к нашей демократической партии, которая всегда защищала их интересы. Рабочие федерации не желают ограничиваться своими профессиональными интересами и создают свои особые политические комитеты. На наших глазах от демократии откалывается новая рабочая партия. Это опасное, может быть гибельное, для демократии распадение массовых ее сил происходит под прямым влиянием, вернее — под руководством целой школы революционных политиков, во главе которой стоят — Нэтти и его отец, механик Арри».

«Все это — непреложные факты. Зная их, неужели трудно догадаться, для чего нужен противоестественный союз инженера-диктатора с социалистами? Фели Рао опирался на синдикаты; Мэнни хочет опереться на рабочие организации. Фели Рао довольствовался финансовым господством и наживою; он не покушался и не мог покушаться на республиканские формы: у него была сила денег, но не было силы масс. Будет ли так же скромнен Мэнни, имея за собою рабочие массы? Он равнодушен к деньгам, это несомненно.

*Значит, ему нужно другое».*

«Хотите знать, зачем инженер Мэнни скрывается теперь за стенами тюрьмы? Чтобы отвести от себя всякие подозрения до тех пор, пока его друзья на свободе достаточно подготовят политическую мобилизацию гигантской армии рабочих».

«Я утверждаю: союз инженерской диктатуры с социализмом рабочих может быть направлен только *против демократии, против республики* и никакого иного смысла иметь не может».

Статья оканчивалась горячим призывом к парламенту, правительству и всем верным республиканцам немедленно начать борьбу против угрожающей опасности, иначе она станет неотвратимой.

Статья появилась за несколько дней до начала очередной сессии парламента. Как всегда, сессия была открыта посланием президента республики. Кроме обычных официальных фраз и перечисления заранее намеченных правительством законопроектов послание на этот раз заключало в себе нечто неожиданное.

«... Хотя, — говорилось в нем, — пережитые не так давно Республикою потрясения окончились победою благомыслящих элементов и восстановлением согласной народной воле порядка, но следы их не вполне изгладились до сих пор. За эти два года меч правосудия неустанно разил виновных в нарушении интересов государства, и нанесенный ими ущерб до значительной степени был восполнен многими конфискациями. Теперь на рассмотрение парламента, мы полагаем, мог бы быть поставлен вопрос, не достаточно ли удовлетворены общественная совесть и государственный интерес, — не ощущается ли усиленной потребности в полном успокоении, в окончательном восстановлении временно поколебленного социального мира. Если бы парламента признал, что это так, то наступило бы время для мер снисходительности и забвения...»

Дальше следовали оговорки о том, что президент и правительство не связывают себя в данном вопросе никакой предрешенной программой, что одному парламента принадлежит право дать оценку положения и т. д.; но по существу послание предлагало амнистию и прекращение конфискаций.

Это был первый удар, направленный против Мэнни со стороны официально-политических кругов, но удар очень серьезный.

Нэтти в то время не было в столице: он находился в поездке как раз по делам следствия в связи с раскрытием новых важных фактов. Мэнни, который уже привык не предпринимать ничего важного без совета с ним, экстренно вызвал его обратно.

План действий был установлен быстро. Мэнни должен был ответить на послание президента печатным докладом парламента о ходе расследований и судебных процессов по делу Великих Работ. Для доклада Нэтти дал цифровые расчеты, из которых было очевидно, что пока удалось возратить меньше половины расхищенного, — и ряд очень важных разоблачений. Новые факты, добытые Нэтти и другими ревизорами, касались не только старых преступлений, но еще больше — последующей борьбы преступников за сохранение позиций и добычи. Был совершен ряд подлогов, чтобы скрыть имущества от конфискации: крупные финансовые тузы вдруг оказывались бедными людьми. Миллионные подкупы следственных и судебных властей повели к уничтожению важных обвинительных документов. Еще шире применялся подкуп свидетелей; но были и случаи убийства несговорчивых. В общем, доклад неминуемо должен был испортить примирительное настроение парламента и надолго замедлить амнистию. До освобождения Мэнни оставалось всего несколько месяцев; было особенно важно выиграть это время.

На атаку Тэо, которую тем временем уже подхватили и поддержали несколько крупных газет, Мэнни отвечать не мог: оправдываться против таких обвинений было ему не к лицу. Но крупные союзы столицы уже ответили негодующими заявлениями; Нэтти не сомневался, что провинциальные организации, особенно Федерация Великих Работ, ответят в свою очередь. Рабочие протестовали против того, что демократическая партия, под предлогом невозможного монархистско-пролетарского заговора, покушается, в сущности, на их

зарождающееся политическое объединение. Рабочие указывали, что если официальные демократы и «защищали» их интересы, то делали это слишком плохо и unsuccessfully. «Разве они избавили рабочий класс от жестокой диктатуры Совета Синдикатов?» — спрашивала столичная Федерация Механиков, — и отвечала: «Нет, это было как раз наоборот; и в старые времена — разве не ценою крови рабочих больше всего была создана Республика? Поэтому бросьте всякие выдумки о заговорах против Республики, бросьте бесплодное возмущение против нашего недоверия к вашей партии, примиритесь с тем, что впредь мы сами будем политически защищать наши интересы, а иногда, может быть, и ваши, когда между теми и другими окажется совпадение».

Нэтти находил, что момент как нельзя более благоприятен, чтобы оформить политическую федерацию всех союзов в виде настоящей рабочей партии. Он решил и сам употребить для этого все усилия и был уверен, что единомышленники его поддержат. Вместе с тем конфликт, разумеется, неизбежно обострялся; но и соотношение сил существенно изменялось.

Мэнни, слушая эти планы, невольно ловил себя на сочувствии к ним. Это тревожило его идейную совесть и вызывало смутное недоверие к себе. Ему хотелось оправдаться перед собой, и он сказал:

— Я совершенно не разделяю основ той программы, которую вы намечаете для вашей новой партии. Но я всегда полагал, что рабочие — свободные граждане — могут объединяться в союзы или партии, как им угодно; если они делают это, значит, у них есть свои основания. Я отказывался принимать требования союзов, но никогда не отвергал их права на существование. Не знаю, что принесет ваша партия в будущем; теперь же не могу отрицать ее необходимости для вас. Может быть, она будет той угрозой, которая остановит явно идущее вырождение старых партий; за это я готов был бы сочувствовать ей.

#### V. Легенда о вампирах

Деловое обсуждение было окончено, и Мэнни заговорил о том, что особенно изумляло и беспокоило его в новых событиях:

— Я должен сознаться, что совершенно не могу понять этой измены со стороны таких людей, как президент и Тэо. Я хорошо знаю их обоих: они неподкупны. И однако... Думаете ли вы, что они искренни?

— Наверное, да, — отвечал Нэтти. — Вглядитесь в их аргументацию: разве она у каждого из них не основана в общем именно на том, что он всегда говорил раньше? Тэо ревностно охраняет демократию и республику; президент настаивает на социальном мире...

— Не хотите же вы сказать, что они остались верны себе?

— Нет, конечно, этого я не говорю. Схемы те же, но их отношение к жизни изменилось; оно стало противоположно прежнему. Припомните, что когда-то писал Тэо по поводу инсинуаций умеренной печати относительно вашей «диктатуры». Демократия, находил он, слишком сильна, чтобы ее могли запугать подобными призраками. Как бы ни были широки полномочия, если они даны народной волей и подчинены ее постоянному контролю, в них нет ничего диктаторского. При этих условиях могущество установленной демократией власти есть только выражение могущества самой демократии: она выбирает наилучшие средства для общественного блага, и нельзя ограничивать ее в их выборе. А в данном случае, прибавлял Тэо, уже сама по себе злоба ее врагов свидетельствует о том, что выбран правильный путь. Тогда Тэо был полон смелости и призывал вперед, к новым завоеваниям: теперь он полон страха и призывает к сохранению того, что есть. А наш президент в своей знаменитой книге писал: Надо уступить рабочим то, чего они требуют законно; этим будет прекращена растущая вражда классов. Если же мы встретим неразумно-упорное сопротивление тех, которые без усилий и заслуг получили от судьбы все и не хотят ничего дать другим, тогда мы не должны отступать перед серьезной борьбой и решительными мерами; интересы социального мира важнее эгоизма привилегированных. И

вот в своем нынешнем послании он предлагает, тоже в интересах социального мира, сделать уступки как раз этим привилегированным...

— Это верно, — сказал Мэнни, — у вас очень точная память. Но как же вы допускаете тут искренность, когда из одних и тех же посылок делаются противоположные выводы? Не прямое ли это доказательство лицемерия?

— Нет, это не то, — отвечал Нэтти. — Прежде у них была логика живых людей, им хотелось, чтобы жизнь шла дальше, становилась лучше, и это подсказывало им тогдашние выводы. Теперь у них логика мертвецов, им хочется спокойствия и неподвижности, остановки жизни вокруг. С ними случилось то, что на каждом шагу бывает с людьми и с целыми классами, с идеями и с учреждениями: они просто умерли и стали вампирами.

— Бог знает, что вы говорите, — удивился Мэнни, — я совсем не понимаю вас.

Нэтти засмеялся.

— Вы знаете народное предание о вампирах? — спросил он вместо ответа.

— Конечно, знаю. Нелепая сказка о мертвецах, которые выходят из могил, чтобы пить кровь живых людей.

— Взятое буквально, это, разумеется, нелепая сказка. Но у народной поэзии способы выражать истину иные, чем у точной науки. На самом деле в легенде о вампирах воплощена одна из величайших, хотя, правда, и самых мрачных истин о жизни и смерти. Мертвая жизнь существует, ею полна история, она окружает нас со всех сторон и пьет кровь живой жизни...

— Мне известно, что ваши рабочие часто называют капиталистов вампирами; но ведь это просто брань или, в крайнем случае, агитационный прием.

— Я говорю вовсе не о том. Представьте себе человека — работника в какой бы то ни было области труда и мысли. Он живет для себя, как физиологический организм; он живет для общества, как деятель. Его энергия входит в общий поток жизни и усиливает его, помогает побеждать то, что ей враждебно в мире. Он в то же время, без сомнения, чего-нибудь стоит обществу, живет за счет труда других людей, нечто отнимает у окружающей его жизни. Но пока он дает ей больше того, что берет, он увеличивает сумму жизни, он в ней плюс, положительная величина. Бывает, что до самого конца, до физической смерти он и остается таким плюсом: ослабели уже руки, но еще хорошо работает мозг, старик думает, учит, воспитывает других, передавая им свой опыт; затем устают мозг, слабеет память, но не изменяет сердце, полное нежности и участия к молодой жизни, самой своей чистотой и благородством вносящее в нее гармонию, дух единства, который делает ее сильнее. Однако так случается редко. Гораздо чаще человек, который слишком долго живет, рано или поздно переживает сам себя. Наступает момент, когда он начинает брать у жизни больше, чем дает ей, когда он своим существованием уже уменьшает ее величину. Возникает вражда между ним и ею; она отталкивает его, он впивается в нее, усиливается вернуть ее назад, к тому прошлому, в котором ощущал свою связь с нею. Он не только паразит жизни, он ее активный ненавистник; он пьет ее соки, чтобы жить, и не хочет, чтобы она жила, чтобы она продолжала свое движение. Это — не человек, потому что существо человеческое, социально-творческое, уже умерло в нем; это — труп такого существа. Вреден и обыкновенный, физиологический труп: его надо удалять или уничтожать, иначе он заражает воздух и приносит болезни. Но вампир, живой мертвец, много вреднее и опаснее, если при жизни он был сильным человеком.

— Именно таким образом вы понимаете президента и Тэо?

— Да; и тут есть нечто еще худшее: в трупах людей заключены трупы идей. Идеи умирают, как люди, но еще упорнее они впиваются в жизнь после своей смерти. Вспомните идею религиозного авторитета: когда она отжила и стала неспособна вести человечество вперед, сколько веков она еще боролась за господство, сколько взяла крови, слез и загубленных сил, пока удалось окончательно похоронить ее. Что касается демократии, то эта идея, как я думаю, еще не завершила всего, что может дать; но чтобы оставаться живой, она должна изменяться и развиваться с самим обществом; а для Тэо она застыла, замерла на том прошлом, в котором он действительно жил. Рабочей партии тогда не было; она — начало

чего-то нового, чуждого ему, и во имя своей мертвой идеи он не хочет допустить ее. Лозунг же «социального мира», если и мог быть прежде сколько-нибудь полезен как протест против бешеной войны всех против всех и беспощадного эгоизма победителей, то теперь, когда борьба классов приобрела новый смысл и несет в себе великое будущее, он безнадежно исчерпан и не заключает в себе ни капли жизни.

— Как странно представлять себе вампирами людей, которых знаешь! — задумчиво сказал Мэнни.

— И странно, и тяжело, если видел их благородными и мужественными бойцами, — прибавил Нэтти.

Мэнни сделал головой движение, как будто хотел стряхнуть с себя что-то.

— Я и сам не замечаю, как поддаюсь вашим поэтическим образам, — заметил он с улыбкой. — Но вот еще вопрос. Если я верно вас понял, то вампирами люди и другие существа могут быть не только в старости?

— Конечно, нет, — сказал Нэтти. — По народному поверью вампирами становятся и мертворожденные дети. Когда отживают целые классы общества, то мертвецы рождают мертвецов. То же бывает и в мире идей: ведь до сих пор возникают еще даже новые религиозные секты.

— Да, а вот, пожалуй, самое слабое место вашей теории. Как определить момент, когда живое существо делается вампиром?

— Это в самом деле очень трудно, — ответил Нэтти. — Большей частью превращение обнаруживается гораздо позже, когда принесенный вред уже очевиден, когда вампир успел много выпить крови. Уж, конечно, не в последние дни Тэо стал впервые врагом будущего. Прежде меня мучила тайна этого момента. Я был очень молод, когда впервые проникся смыслом легенды; мои выводы были тогда резки, ощущения остры. Иногда я думал: вот, я встречаю разных людей, живу с ними, верю им, даже люблю их; а всегда ли я знаю, кто они в действительности? Может быть, именно в эту минуту человек, который дружески беседует со мною, невидимо для меня и для себя переходит роковую границу: что-то разрушается, что-то меняется в нем, — только что он бы живым, а теперь... И меня охватывал почти страх. Ребяческое настроение, разумеется.

— Нет, не совсем ребяческое, если верить в вашу теорию, — возразил Мэнни. — И для меня удивительно, как вы, с вашим светлым, радостным взглядом на жизнь, могли создать такую мрачную фантазию.

— Создал ее не я, а истолкование подсказала мне история, — улыбаясь, возразил Нэтти. — Притом для меня она не только мрачная. В детстве я очень любил сказки о героях, которые сражаются со страшными чудовищами...

— И вы мечтали сами быть таким героем, победителем вампиров? Что ж, ваша мечта исполнилась; и я понимаю, что теперь вы можете не бояться никаких мертвецов.

— Они — враги, а врагов чего же бояться? И кроме того, живая жизнь рано или поздно всегда победит мертвую.

## VI. Вампир

Борьба продолжалась, все более ожесточенная со стороны врагов Мэнни. Но при всем желании правительство не могло принять против него сколько-нибудь решительных шагов, благодаря тактике Нэтти, который умело воспользовался раскрытыми фактами подкупа должностных лиц. Ему удалось по старым бумагам Фели Рао восстановить историю тех пятидесяти депутатов, которые стали сразу миллионерами и сторонниками Рао; оказалось, что некоторые из них и теперь продолжали заседать в парламенте, в числе ярых противников Мэнни. После такого скандала и парламентское большинство было надолго парализовано в своих враждебных намерениях. Правительству оставалось только вести булавочную войну против Правления Работ, устраивая ему разные мелкие затруднения и придирки.

Мэнни странным образом мало интересовался всей этой борьбой. Он выслушивал

доклады Нэтти и других сотрудников, большею частью одобрял их действия и проекты, иногда, если требовалось, сам делал то, что они советовали; но почти постоянно чувствовалось, что мысль его занята чем-то другим. Он становился все более рассеян, даже неровен в отношениях к окружающим, старался до минимума сокращать деловые свидания и беседы, точно они сильно утомляли его. Казалось, что и его физическое здоровье, которое столько лет противостояло влиянию тюрьмы, теперь начало поддаваться: на лице его стали часто замечаться следы бессонных ночей, в глазах появился лихорадочный блеск. Когда ему говорили об этом, он раздражался и сухо обрывал собеседника.

Однако с Нэтти он никогда не позволял себе ни малейшей резкости, только временами начинал немного избегать его; но гораздо чаще проявлял к нему необычно ласковое внимание, почти нежность. Настоящих разговоров о предметах разногласия он с ним не вел, — но иногда неожиданно задавал ему вопрос по поводу какого-нибудь из крайних выводов его миропонимания, словно хотел измерить всю глубину расхождений; а затем он немедленно переходил к другим темам. Всего охотнее он его расспрашивал о годах детства, о близких ему людях, обо всем, что прямо или косвенно соприкасалось с Нэллой.

Нэтти замечал все это и даже рассказывал своей матери, но, поглощенный борьбой и планами, не раздумывал особенно и успокаивался на самом легком объяснении: он полагал, что это — вполне естественная нервность человека, для которого после долгих лет тюрьмы приближается момент освобождения. Нэлла, с ее более чутким сердцем, сомневалась, чтобы все было так просто, однако не высказывала своих опасений, потому что ни к чему ясному и определенному не приходила. Она думала даже сама пойти и повидаться с Мэнни, но не могла найти предлога; отчасти ее удерживало воспоминание о старом разговоре с Арри, который увидел бы теперь в ее поступке особый смысл, неприятный для нее.

Каждый вечер, после ухода своих посетителей, Мэнни подолгу оставался в огромной камере, служившей ему рабочим кабинетом. Он сидел неподвижно, прислонившись к спинке кресла, и отдавался своим размышлениям. Но ход их становился чем дальше, тем более смутным, и часто уже сам Мэнни не мог бы точно сказать, о чем он думал. Два момента, однако, выступали ярче остального в этом хаосе и как будто господствовали над ним: во-первых, мысли и образы, связанные с теорией Нэтти о вампирах, и, во-вторых, не прекращавшееся чувство необходимости скоро принять какое-то очень важное решение.

Время шло. За два дня до освобождения, поздно вечером, Мэнни, как обыкновенно, был один в своем мрачном кабинете. За день он много работал, но не ощущал никакого утомления; напротив, его самочувствие было лучше обычного. Голова была ясная, хотя до странности пустая: Мэнни казалось, что он ровно ни о чем не думает, и это было почти приятно. Слабый свет, разливавшийся от электрической лампочки, прикрытой абажуром, был недостаточен для большой комнаты, и в углах царил полумрак.

Вдруг у Мэнни явилось впечатление, что сзади на него устремлен чей-то взгляд. Он повернул голову. В самом дальнем от него углу мрак сгустился и принял, сначала неопределенно, очертания человеческой фигуры; но уже резко выделялись горящие глаза. Фигура, скользя, стала приближаться и сделалась отчетливее. Когда она перешла в освещенное пространство, Мэнни узнал ее — без удивления, хотя с отвлеченным сознанием несообразности факта: это был инженер Маро.

Призрак с насмешливым поклоном остановился в нескольких шагах от Мэнни и сел на свободный стул напротив. Он был таков, как во время последнего объяснения, с той же циничной улыбкой; только лицо было гораздо бледнее, глаза ярче, губы краснее, чем тогда, и на шее видна была неправильная кровавая полоса разорванных тканей.

— Мой привет! — сказал он. — Мне нет надобности представляться, вы меня хорошо знаете. Вы не удивлены, потому что, в сущности, давно ожидаете меня. Да, я — Вампир; не специально ваш друг Маро, а Вампир вообще, властитель мертвой жизни. Я принял сегодня этот образ, как наиболее подходящий для нашей беседы и, пожалуй, один из лучших. Но у меня есть и сколько угодно других; а очень скоро я приобрету еще один, много лучше...

Призрак остановился и засмеялся тихим, самодовольным смехом. Затем он продолжал:

— Нам надо поговорить о серьезных вещах. О, мы столкнемся! Будем беседовать по порядку и сначала выясним положение. Оно довольно просто, но совершенно нелепо; вы по совести должны согласиться, что это так. Вот уже три года Мэнни Альдо, великий инженер, играет странную роль, чрезвычайно не подходящую для него: роль орудия в чужих руках. Такова прискорбная истина. Вы всегда признавали, что истина не зависит от того, кто высказывает ее. Если вам неприятно, что приходится выслушивать ее от меня, то тем хуже для вас; а она от этого не перестанет быть истиной. Припомните ход событий и взгляните на него беспристрастно.

— Ваше возвращение к власти — по чьей воле оно произошло? Увы! по воле ваших старых врагов, с которыми вы прежде так мало церемонились: рабочих союзов. Да! будьте искренни; вы не можете отрицать этого. Сами вы тогда не имели возможности ничего предпринять; все явилось извне. Разоблачения Нэтти были, конечно, очень важны, но для кого он старался? Для рабочих союзов. Самый план тайного расследования, вы знаете, был дан ему не кем иным, как Арри, который за десять лет размышления в тюрьме успел догадаться о многом. И потом, Фели Рао был мастер тушить всякие дела: что вышло бы из разоблачений никому не известного юноши, если бы манифест рабочей федерации не придавал им настоящей силы? Союзы потребовали себе вас, как они требуют прибавки заработной платы на пять копеек. Может быть, это лестно. Они получили вас, как получили бы соответственное число копеек. Но вы, никогда не желавший уступить им, ни даже вести переговоров с ними, — вы в роли уступаемого им объекта.

Тут Мэнни, слегка раздраженный издевательством, прервал своего собеседника.

— Что же вы полагаете, я должен был отказаться? — холодно спросил он. — У меня не было иных прав руководить делом? Оно не было моим созданием?

— Я не говорю ничего подобного, — с прежней усмешкой ответил Вампир. — Разумеется, было бы глупо отказаться от власти; но вопрос права был тогда ни при чем; решался вопрос силы, и он был решен за вас другими. Однако с этим можно бы еще примириться, если бы вы только воспользовались грубой силой масс, чтобы взять свое. Но вышло вовсе не то. Были ли вы с того момента действительным хозяином дела? Нет и нет! Около вас появилась симпатичная фигура бывшего рабочего, инженера Нэтти. Я не позволю себе говорить о нем непочтительно: он ваш сын. Но я позволю себе говорить о нем правду: для того, кто служит идее, как вы, родство не имеет голоса в серьезных делах, не так ли? Он достойный молодой человек, и у него, как у вас, тяжелая рука, это мне хорошо известно.

Мэнни улыбнулся и утвердительно кивнул головой. Он почти перестал уже сознавать фантастичность происходящего и внимательно следил за мыслью собеседника, точно в объяснении с реальным врагом. Тот продолжал:

— Это не мешает ему быть безнадежным утопистом. По крайней мере, вы сами очень недавно были такого мнения. Он утопист вредный, потому что извращает самые принципы строгой науки, заменяя их, как вы справедливо выразились однажды, какой-то «поэзией труда». Чистую, вечную истину он отрицает; он хочет бросить ее под ноги массам. И это тем опаснее, что делается в привлекательной и по-своему логичной форме, которая, конечно, не может иметь влияния на нас с вами, но соблазнит многих и многих. Таков инженер Нэтти. И что же? Он считается вашим первым помощником, а на самом деле, хотя и это было бы очень немало, он представляет нечто гораздо большее. Его фигура заслонила от вас все: вы видите его глазами, думаете его головой; он — истинный руководитель и хозяин.

— Вы станете отрицать это. Вы скажете, что не уступили Нэтти в вопросе о союзах, что даже ограничили его права, назначивши второго помощника. Жалкие, недостойные вас отговорки. Самая мысль о назначении другого помощника была подсказана вам тем же Нэтти. Да, он сам не захотел требовать слишком многого сразу; он умеет ждать: «все придет в свое время». А главное, он умеет ценить практический результат выше пустой формы и хорошо рассчитал выгоды великодушного отступления; припомните, какие инструкции об уступках рабочим вы дали потом своему второму помощнику; сам Нэтти, пожалуй, затруднился бы превзойти их. И теперь, когда ваши директора ведут переговоры с рабочими,

то о ком они думают, с кем считаются? Как вы полагаете, с вами или с Нэтти? Наконец, что может быть характернее нынешней кампании! Совершается нападение на вас и на ваше дело; а кто организует защиту? Кто руководит контратакой? Вы едва даете себе труд утверждать предложения Нэтти. Наивный Тэо! Он представил все дело как раз навыворот. Правда, не его ума дело судить о таких людях, как вы и Нэтти. Но и не одному Тэо трудно было бы догадаться, что великий Мэнни, не довольствуясь тюрьмой, находится еще в плену у социалистов. Мэнни пожал плечами.

— На все это достаточно простого ответа. Верно или неверно то, что вы говорите, для меня безразлично; не входите же мне в разбор ваших насквозь мелких соображений. Дело не пострадало, оно идет хорошо, защита его надежна. Для меня интересно только это.

— Но в таком случае зачем же называть его своим делом? Надо тогда открыто признать то, что есть, и сказать: «Это дело перестало быть моим». И притом, пострадало оно или нет, это вопрос еще нерешенный: надо подождать результатов создавшегося положения. Пока что вы уже обязаны Нэтти конфликтом с демократами. Посмотрим, что будет, когда Нэтти со своими союзами пойдет дальше. Но главное то, что исчезает всякая гарантия для будущего. Эта гарантия была в вас, в вашей силе и верности себе. А вы мало-помалу перестаете быть самим собою. Вот где опасность, и вот на что я указывал своими «мелкими соображениями». Еще хуже то, что вы ее не замечаете, не хотите замечать ее. Да, вы умышленно закрываете глаза, иначе вас самого поразило бы, насколько вы не тот, что прежде. Когда-то величайшие триумфы, восторженное прославление ваших побед миллионами людей оставляли вас спокойным и холодным, как вечные снега высоких гор. Теперь же самое осторожное, сдержанное одобрение со стороны Нэтти заставляет ваше сердце биться, как у школьника, получившего похвалу от учителей. Хуже того: когда Совет рабочих союзов, отвечая демократам, недавно заявил, что если буржуазия умеет только преследовать своих великих людей и клеветать на них, то пролетариат сумеет защищать их, как и дело человечества, которому они служат, тогда — припомните... Да, стены тюрьмы могут гордиться, они видели слезы на глазах великого Мэнни!

Инженер Мэнни гневно вскочил с места, но через секунду овладел собою и снова сел с презрительным замечанием:

— Лучше не говорите о том, чего вы никогда не поймете... Вампир.

— Да? — засмеялся тот с циничным благодушием. — Вы правы: есть вещи, которые понять нелегко. Например, когда Мэнни с сочувствием выслушивает революционные планы Нэтти, теоретически отвергая их и признавая вредными утопиями... Или когда он проводит целые часы в созерцании женского портрета, он, который некогда гордым усилием победил и отбросил любовь, как помеху на пути к великим целям... Нет, бесполезно уклоняться от фактов; они ясны: вы изменяете себе, вы опутаны сетями, из которых не решается вырваться.

Вампир на минуту остановился, усмешка исчезла с его лица; он устремил на Мэнни пристальный взгляд своих горящих глаз и, совершенно меняя тон, заговорил серьезно, почти торжественно:

— Вы знаете, что надо сделать. Надо вновь стать самим собою. Это необходимо, этого требует ваше достоинство, ваша честь. И это трудно, быть может, труднее всего, что вы сделали в своей жизни. Нужен героизм, чтобы победить сразу все, что толкает вас на измену себе: любовь, дружбу, отцовское чувство, симпатию, благодарность... Никто в мире не смог бы этого, но вы сможете: вам не первый раз совершать невозможное. Момент настанет скоро: сама жизнь потребует от вас решительного ответа. Идиллия с союзами протянется недолго. Сейчас они не поднимают еще знамени борьбы за официальное их признание, потому что слишком заняты другим: своей новой политической организацией, ее устройством и защитой. Но она сделает их еще сильнее, а для них сила есть право. После освобождения из тюрьмы первая же ваша поездка на места работ поведет к тому, что старый вопрос поднимется вновь. А тогда? Подчинит ли инженер Мэнни свое убеждение внешней силе и личным чувствам? А если нет, то, ведь, это разрыв с Нэтти и Нэллой, тяжелая борьба,



великая жертва... Да, но и великая победа! Я не хочу оскорблять инженера Мэнни сомнением в том, что он выберет...

— Вы так уверены, что я последую вашему совету? — иронически подчеркивая личность собеседника, возразил Мэнни.

— Это очень слабый аргумент против правды, — ответил Вампир. — К таким аргументам прибегают, когда больше нечего сказать. Я ждал его от вас, чтобы спросить, где ваша вера в чистую истину, если для того, чтобы скомпрометировать ее в ваших глазах, достаточно несимпатичной оболочки? Я говорю противоположное тому, что когда-то говорил вам Маро. Он предлагал: «измените себе». Я же напоминаю: «будьте верны себе!».

— Как Тэо и президент, — насмешливо дополнил Мэнни.

— Нет, не так, как они. Будьте верны себе не как слабые, а как сильные; не как те, которые путаются, стараясь вернуть прошлое, а как те, которые до конца идут по одному пути. Вы подчинились теории Нэтти, вы обмануты ею. Я — не смерть и не возвращение назад. Я — жизнь, которая хочет жить, оставаясь самой собою. Только такая жизнь истина. Та, которая меняется, тем самым доказывает, что она — ложь, ибо истина всегда одна. Если ты вчера был одним, а сегодня — уже другой, значит, ты умер между вчерашним и сегодняшним днем, и народился некто новый, жизнь которого будет также эфемерна. Все умрет: ты, человечество, мир. Все потонет в вечности. Останется только истина, потому что она вечна, и вечна она потому, что неизменна. Докажи, что ты причастен к истине и вечности: будь неизменным, как они!

Мэнни поднялся, глаза его сверкали.

— Ты лжешь, Вампир, и не меня ты обманешь наивными софизмами. Ты, как всегда, призываешь к измене. Я знаю путь, по которому шел. Каждый шаг его был ударом прошлому. И ты мечтаешь сделать меня врагом будущего! Я знаю свой путь. Моя борьба со стихиями... один Нэтти способен продолжать ее достойно меня. Моя борьба с тобой, Фели Рао и вам подобными... Нэтти с его друзьями лучшие, самые верные союзники в ней. Я не знаю, правы ли они в своей вере в социализм, и думаю, что нет; но я убежден, что, если они неправы, они сумеют скорее, чем кто-либо, понять это вовремя. Истина победит; но она победит не против того, что полно силы и чистоты и благородства, а вместе с ним!

Вампир тоже выпрямился во весь рост; его красные губы искривились выражением злобной уверенности в торжестве.

— А, ты не хочешь слушать дружеского совета, — произнес он с шипением в голосе. — Хорошо же, ты услышишь голос повелителя! — и он протянул к Мэнни руку с судорожно сведенными в виде когтей пальцами, точно хотел схватить добычу. — Знай же, твоя судьба решена, ты не можешь уйти от меня! Пятнадцать лет ты живешь в моем царстве, пятнадцать лет я пью понемногу твою кровь. Еще осталось несколько капель живой крови, и оттого ты бунтуешь... Но это пройдет, пройдет! Я — необходимость, и потому я — истина. Ты мой, ты мой, ты мой!

Глаза Мэнни потемнели, он гордо откинул голову.

— Ты — ложь, мертвая ложь! — сказал он с холодным презрением. — Во всяком случае, благодарю тебя, что ты сбросил маску и прекратил мои колебания. Твое торжество — заблуждение. Не ты возьмешь последние капли моей живой крови! Тон победителя тебе не к лицу, со мной же меньше всего. Я убил тебя, когда ты стал на моей дороге, — и теперь так же убью!

Он повернулся и пошел к двери, соединявшей рабочий кабинет с его камерой-спальней. На пороге он взглянул назад, закрывая дверь. Вампира не было.

## Часть четвертая

### I. Сердце Нэллы

На другой день утром Мэнни экстренно пригласил к себе одного старого товарища, знаменитого химика. Они редко виделись, но их отношения были таковы, что химик никогда и ни в чем не мог бы отказать Мэнни. Они вместе совершили когда-то ряд экспедиций через пустыни, вместе пережили так много опасностей; Мэнни, далеко превосходивший своего друга физической силой и выносливостью, несколько раз спасал его от верной смерти. Когда химик явился, Мэнни заперся с ним наедине, и они беседовали больше часу. Уходя, химик казался очень взволнованным; на его глазах были слезы. Мэнни провожал его по коридору с ласковой улыбкой и, прощаясь, крепко сжал его руки со словами благодарности. Через два часа из лаборатории старого химика принесли для Мэнни небольшой запечатанный сверток.

Большую часть этого дня Мэнни занимался разборкой и приведением в порядок своих бумаг. Вечером пришел Нэтти. Он был удивлен значительной переменой в манерах отца и как будто даже в его внешности. Нервное состояние последних месяцев, рассеянность, лихорадочный блеск в глазах, резкость движений исчезли без следа. Со спокойным вниманием и величайшей ясностью мысли он обсуждал дела, причем наметил несколько важных технических и административных улучшений. Когда эти вопросы были покончены, он сказал:

— Да, кстати, я хочу попросить вас о большой услуге. Я думаю сейчас взять отпуск на... — он немного остановился и закончил: — на некоторое время. Полагаю, что это законное желание. Не согласитесь ли вы пока заменить меня и завтра же принять все дела? Я все приготовил для этого.

— Конечно, я с удовольствием сделаю это, — отвечал Нэтти. — Мне давно казалось, что отдых вам необходим. Ваше здоровье за последнее время внушало мне опасения.

— Ну, теперь-то все прошло, — с улыбкой возразил Мэнни. — Вы видите, сегодня я совершенно здоров, не правда ли?

Затем он начал с Нэтти разговор о его научно-революционных идеях и планах, многое заставлял подробно себе объяснять, не делая ни возражений, ни иронических замечаний, ни даже обычных прежде оговорок о своем несогласии. Напротив, моментами он как будто совсем входил в мысли Нэтти, делал замечания и дополнения в духе более полного их развития. Нэтти был совершенно очарован, и в живой беседе оба не заметили, как наступила поздняя ночь. Прощаясь, Мэнни сказал:

— И все-таки только с одной из ваших теорий я согласен безусловно. Зато ее, должно быть, я усвоил хорошо...

— Какая же это? — быстро спросил Нэтти.

— Теория вампиров, — ответил Мэнни.

Молодой инженер возвращался домой в глубокой задумчивости. Там он застал Нэллу, которая не спала, дожидаясь его. Он подробно рассказал ей о всей беседе и о своих впечатлениях. По поводу последнего замечания Мэнни Нэлла заставила сына точно воспроизвести весь тот старый разговор, на который она указывала. Затем она взяла с него обещание прийти к ней на следующий день немедленно после свидания с Мэнни.

Всю эту ночь Нэлла думала...

С утра Нэтти отправился принимать дела. Мэнни заявил ему:

— Официально я слагаю обязанности на месяц; но имейте в виду, что мое отсутствие, может быть, продолжится больше. Я хочу серьезно отдохнуть.

Работа заняла несколько часов. Когда Нэтти уходил, Мэнни на минуту задержал его у себя и сказал:

— Завтра мы с вами, вероятно, не увидимся. По закону преступников, отбывших свой срок, освобождают в час солнечного восхода; а я решил немедленно же отправиться в путешествие. Итак, всего лучшего.

Он обнял и поцеловал Нэтти: это было в первый раз. Затем он прибавил:

— Передайте мой привет Нэлле.

Нэлла с нетерпением ожидала сына. Когда он точно передал ей все, она сильно побледнела. Резюмируя затем свои впечатления, Нэтти сказал:

— В нем все-таки есть что-то странное, чего я не могу определить. Я боюсь, что он не настолько здоров, как это по внешности кажется. Как ты думаешь, не будет ли навязчивостью, если я еще раз зайду к нему вечером, хотя он не приглашал меня?

— Не надо, Нэтти, — ответила она. — Я сама пойду к нему.

— Это, конечно, гораздо лучше. Я очень рад такому решению.

Наступал вечер, когда Нэлла вошла в здание тюрьмы. По записке Нэтти ее пропустили без замедления. Мэнни писал у себя в камере. Когда Нэлла постучалась, он предположил, что это какой-нибудь курьер, и, не поднимая головы, сказал: «войдите», а сам доканчивал начатую фразу.

Нэлла тихо затворила за собой дверь и остановилась. Неподвижная и бледная, в слабом освещении, она казалась призрачным существом. Он в этот момент писал письмо ей, и она, как живая, представлялась его воображению. Когда под ее пристальным взглядом он обернулся, то первая мысль была: «Это — галлюцинация». Он встал и медленно, осторожно приблизился к ней, боясь, что она исчезнет. Еще с этим страхом он обнял ее, и только тогда, когда она ответила на его поцелуй, понял, что перед ним не призрак. Он не в силах был произнести ни одного слова. Почти машинально он подвел ее к своему креслу и посадил. Взгляд его упал на начатое письмо; быстрым движением он отбросил его в сторону далеко от Нэллы.

— Бесполезно, Мэнни! — сказала она. — Я знаю, что вы хотите сделать.

Он молчал. Ему не пришло в голову ни отрицать, ни удивляться тому, что она угадала его тайну.

— Этого не надо, мой Мэнни! — произнесла она.

Всю силу своей любви и нежной ласки она вложила в эту мольбу.

— Необходимо, Нэлла! — тихо ответил он.

Она знала, что значат решения этого человека. Чувство бессилия, безнадежности стало овладевать ею. Она хотела сказать ему многое, очень многое, а теперь мысли разметались, и она не умела, не могла.

Наступило молчание. Он опустился перед нею на колени и прижал ее руки к своему лицу. Она не отнимала их и не замечала, как ее слезы падали на его волосы.

— Ничто не может изменить этого, Мэнни?

— Ничто в мире, Нэлла.

Тогда у нее нашлось слово упрека:

— А моя любовь имеет для вас какую-нибудь цену?

— Бесконечную, Нэлла! И я хочу быть достоин ее.

Ее сердце подсказало ей лучшее, что было возможно:

— Расскажите мне все! Все, чтобы я поняла...

Он рассказал все. Он говорил спокойно, ясно, с той силой глубокого, непреложного убеждения, которая дается одному из миллионов. И для Нэллы становилось очевидным, что всякая борьба не нужна и бесплодна и что она была бы только лишним мучением для великой души. Когда он кончил, Нэлла сказала:

— Я была бы счастлива уйти с вами, Мэнни. Но вы знаете, мне еще нельзя оставить его, нашего Нэтти.

— Ах, Нэлла, если бы вы знали, сколько счастья вы дали мне даже этими одними словами, вы ни о чем бы не жалели и не грустили. Вы не слышите, как бьется мое сердце? Я удивляюсь, что оно не разорвалось. Да, у меня есть еще несколько капель живой крови... Они для вас, моя Нэлла!

Она отдалась ему, как в ту далекую минувшую ночь.

## II. Образы смерти

Прошло несколько часов. Мэнни заснул в объятиях Нэллы.

Она осторожно освободилась из его рук и села возле него на постели, чтобы смотреть

на его лицо. Может быть, он почувствовал сквозь сон ее удаление. Тяжелые грезы овладели им.

.....

Холод внутри; темнота вокруг; сплошной камень под ногами, с боков, над головою. Утомительно идти по узкому, душному коридору. Но идти надо. Как долго!

А! вот слабый, точно фосфорический свет мелькает впереди... Ближе, яснее... Стены и свод начинают тускло выделяться из мрака. Все теснее путь.

Конечно! дальше некуда. Та же глухая стена замыкает коридор. Белая фигура неподвижно прислонилась к ней. Непонятная тревога охватывает душу. Надо, необходимо видеть...

Полотно скользит и падает. Лицо трупа... странно знакомые черты. Неподвижны мутные глаза; но с серых губ слетает беззвучный шепот: «это — ты!» Мэнни узнает себя.

Зеленоватые пятна выступают на мертвом лице, увеличиваются, сливаются. Западают и грязной жидкостью вытекают глаза, ключьями сходит гниющее мясо с костей... Вот его уже нет больше: одна костяная маска с ее стереотипной улыбкой.

Фосфорические огоньки носятся вокруг, вспыхивают ярче, погасают... В колеблющемся свете изменяется пустая улыбка; оживляются пыльно-желтые черты. Мэнни кажется, что он ясно читает их странную, немую речь.

«Это — ты, и это — все», говорит насмешливая маска. «И даже это — еще слишком много. Человек думает: тоскливо и скучно разрушаться в черной яме среди блуждающих огоньков. Так нет же! на деле гораздо хуже. Даже не то печально, что скоро исчезнут и эти пузырьки фальшивого света, порожденные разложением остатков твоего собственного тела. Пускай был бы мрак. Но — нет и его!»

«Да, если бы были мрак, скука, тоска... Мрак, который ты когда-то видел; скука, которую чувствовал; тоска, которую проклинал. Ты любил яркое солнце и бесчисленные формы, которые купаются в его лучах; глухая, беспросветная тьма, конечно, не то, — но она все же нечто вроде воспоминания о них. И это здесь отнято у тебя. Смена впечатлений напряженной жизни была твоей радостью; но и самая безнадежная скука заключает в себе смутный их отблеск, неопределенную веру в них. Здесь нет и следа этого. Борьба и победа были для тебя смыслом существования; когда их не хватало, ядовитый голос тоски говорил тебе о них. Теперь и он умолкает навеки... В последних судорогах твоей мысли пойми этот итог, пойми — и прими его!»

«Я — это ты. Даже моя внешность и эта моя речь — еще проблески твоей жизни, той, которая уходит. Значит, это все-таки что-нибудь, и оно бесконечно лучше того, что остается в дальнейшем, той непостижимой вещи, которая называется — ничто».

Мучительным усилием Мэнни преодолевает боль, которая сжимает его сердце.

— Я не верю тебе, — говорит он. — Я узнал тебя, бесполезно переодеваться. Ты весь — ложь, и ничего, кроме лжи, исходить от тебя не может.

Но улыбка черепа становится грустной. «Попробуй опровергнуть!» — читает в ней Мэнни, — «увы! — это невозможно»...

Гаснут огоньки, пропадают контуры. Тьма сгущается вокруг, холод — в душе...

Но откуда это? Мягкий ветерок, точно чье-то нежное дыхание, коснулся лица. Как странно! в нем какой-то неясный луч надежды, согревающий сердце. Вот и мрак начинает редеть. Смутный, рассеянный свет зарождается в воздухе. Глаза с жадностью впивают его... Где же стены?

Бесконечная, каменная равнина. Темно-свинцовый свод неба над нею. Никаких признаков жизни. Одна серая даль впереди.

Мэнни оборачивается и вздрагивает. Перед ним неподвижная черная фигура, закутанная с головы до ног; не видно даже лица. Сумеречный свет словно собирается вокруг нее, и в этом ореоле строгие линии силуэта выделяются резко, как на гравюре. Мэнни чувствует в них что-то знакомое... близкое... дорогое... Он старается вспомнить и не может. Он осторожно протягивает руки и снова вздрагивает от прикосновения к холодной, очень

холодной ткани. С тревожным ожиданием он откидывает ее... Нэлла.

Она — и не она... Что так странно в ней изменилось? Да — ее глаза стали не те. Они такие же огромные; но теперь не зеленовато-синие, как волны южных морей, а черные, совсем черные и бездонно-глубокие. Торжественно и мягко выражение матово-бледного лица; дыхание не колеблет грудь под неподвижными складками одежды. Все в ней проникнуто спокойствием, недоступным человеку.

Она заговорила тихо, так тихо, что Мэнни кажется, будто он слышит мысли, а не звуки:

«Это я, Мэнни, та, которая всегда была твоей судьбою. Ты знаешь — в моей ласке все кончится для тебя. Ты — человек, и тебе больно. Не надо этой боли».

«Что ты теряешь? Сияние солнца, радость борьбы, любовь Нэллы?.. Ошибаешься, друг мой: не ты их, а они тебя потеряют. Разве может потерять что-нибудь тот, кого нет? А тебя не будет, они же останутся. Еще миллионы лет будет сиять солнце; вечно будет продолжаться борьба жизни; бесконечное число раз повторится в женщинах будущего, становясь все более прекрасной и гармоничной, душа Нэллы».

«Да, тебя не будет. Исчезнет имя, и тело, и цепь воспоминаний. Но посмотри. Если бы тебе предложили вечность, и в ней свет, радость, любовь, лишь с тем, чтобы они существовали для тебя одного и ни для кого больше, чтобы они были яркой и осязаемой, как реальность, но — только твоею мечтой? С каким презрением отверг бы ты это лживое счастье, эту ничтожную вечность! Ты сказал бы: лучше самая короткая и самая тяжелая, но действительная жизнь... И вот теперь вся действительная жизнь остается и идет дальше. Умирает только тот ее отблеск и та частица, которые были тобою».

«В беспредельности живого могучего бытия сохранится то, что ты любил сильнее себя, — твое дело. Оно тебя потеряет, и в этом утрата. Но мысль идет дальше того, что исчезает, и ты сумел понять главное: творчество, которое в тебе нашло одно из своих воплощений, не имеет конца».

Она замолчала, и неподвижна была ее стройная фигура среди неподвижности пустыни, неподвижны спокойные черты матово-бледного лица.

Мэнни сделал шаг и в сильном объятии прижал свои губы к ее холодным губам. Его взгляд потонул в ее бездонно-темных глазах; радостная боль пронизала его сердце, — и все смешалось.

.....  
— Это ты, Нэлла?.. другая или прежняя? — произнес Мэнни, еще не освободившийся от влияния бреда. — Ах да! ты, может быть, не знаешь... Я сейчас видел смерть, Нэлла... их было две. Одна отвратительная и пустая; о ней не стоит даже говорить... Другая — прекрасная, милая; это была ты, Нэлла... Я поцеловал ее, вот так...

### III. Завещание

Новые ласки среди ночи... и вновь действительность, расплываясь, уходит от сознания... и новые грезы овладевают душою Мэнни.

.....  
Кроваво-красный шар высоко на темном небе. Это не солнце: на него не больно смотреть, и его блеск не в силах заглушить ясные, спокойно-мерцающие звезды. Новая луна? Нет, это слишком ярко для нее. Что же это? Такой вид имело бы гаснущее солнце... Да, так оно и есть: солнце, которое умирает. Невозможно! миллионы лет должны были пройти для этого. — Впрочем, что же? Для кого время не существует, для того миллионы лет становятся мгновением.

Но тогда — конец всему: человечеству, жизни, борьбе! Всему, что рождено солнцем, что воплотило в себе его лучистую силу. Конец сиянию мысли, усилиям воли, конец радости и любви! Вот оно, то неизбежное неотвратимое, после которого уже ничего, ничего не останется...

Холод в душе и холод снаружи. Мэнни осматривается вокруг. Ровная и гладкая дорога

пересекает пустынную равнину, которая прежде была, может быть, полем или лугом. Вдали видны странные, красивые здания. Неподвижен воздух и неподвижна природа. Ни человека, ни зверя, ни растения. Тишина глубокая, бездонная, в которой тонут бессильные лучи догорающего светила.

Неужели все завершилось и царство вечного молчания уже вступило в свои права? Впрочем, не все ли равно? Если где-нибудь и тлеют остатки жизни, в тех зданиях или под землей, то агония не жизнь...

Здесь последний суд и окончательный приговор, на который нет апелляции. Подводится итог всему, что было целью и что было средством, всему, что имело смысл и значение. Скелет был прав: этот итог ничто. Миллионы лет стремления, познания... Мириады жизней, жалких и прекрасных, ничтожных и могучих... Но какая разница, дольше или короче, лучше или хуже, — когда их уже нет, и нет им наследника, кроме немого, вечного эфира, которому все равно.

Они были, они взяли у жизни свое. — Иллюзия! «Они были»; теперь это только и значит одно — что их нет. А то, что они брали у жизни, исчезло, как и они сами.

Но ведь жизнь не прекращается во вселенной: угасая в одних мирах, она расцветает в других и зарождается еще в иных. Обман, прикрывающий суровую истину утешительными словами! Что за дело этой жизни до той, которая ничего о ней не знает и ничего у нее не возьмет? И если каждая из них одинаково исчерпывается в бесплодном цикле, что прибавляют они порознь или вместе в той же неизбежной сумме? Бессвязные грезы вселенной, рассеянные в пространстве и времени, — к чему они? Зачем сплетало солнце фальшивую ткань жизни из своих призрачных лучей? Какое издевательство!

Что это? Ярко осветилось одно из зданий, исполинское, стройное, похожее на храмы феодальных времен. Надо посмотреть. Путь недалекий и легкий по ровной дороге. Вот открывается дверь.

Огромная высокая зала, залитая светом; тысячи людей. Но люди ли это? Как свободны их позы, как спокойны и ясны их лица, какой силой дышат их тела. И это — обреченные?..

Что собрало их сюда? Какая мысль, какое чувство объединили их в этом общем молчании?.. Входит новое лицо и поднимается на возвышение в глубине зала. Очевидно, он тот, кого ждали: взоры всех направляются на него. Это — Нэтти? Да, Нэтти, но иной, подобный божеству, в ореоле сверхчеловеческой красоты. Среди торжественно-глубокой тишины он говорит:

«Братья, от имени тех, кто взял на себя разрешение последней задачи, я возвещаю, что мы выполнили свое дело.

Вы знаете, что судьба нашего мира вполне выяснилась уже много тысяч лет тому назад. Ослабевшее солнце давно не в силах питать своими лучами развитие нашей жизни, наш великий общий труд. Мы поддерживали солнечное пламя, пока было возможно. Мы взорвали и обрушили на солнце поочередно все наши планеты, кроме одной, на которой теперь находимся. Энергия этих столкновений дала нам лишнюю сотню тысяч лет. Большую часть их мы потратили на исследование способов переселения в другие солнечные миры. Тут нас постигла полная неудача.

Мы не могли победить окончательно пространства и времени. Гигантские межзвездные расстояния требуют от нас десятков тысячелетий пути среди враждебного эфира. Ни одно живое существо сохранить при этом нельзя. Задачу пришлось поставить иначе.

Мы имеем несомненные доказательства того, что и в других звездных системах живут разумные существа. На этом мы построили наш новый план.

То, что мы хотим сохранить при неминуемой гибели нашего мира, вовсе не есть наша собственная жизнь, не жизнь нашего человечества. Смерть последнего поколения сама по себе значила бы не больше, чем смерть предыдущих, — лишь бы после нас осталось и продолжилось наше дело. То, что в тысячах веков достигли наши объединенные усилия, наши способы властвовать над стихиями, наше понимание природы, созданная нами красота

жизни, — вот что дорого для нас; и это мы должны сохранить для вселенной во что бы то ни стало, это передать другим разумным существам, как наше наследство. Тогда наша жизнь воплотится снова в их работе и наше творчество преобразует иные миры.

Как выполнить эту передачу? Вопрос был труден, но уже разрешим для нас. Холод и пустота эфирных пространств, убийственные для жизни, бессильны против мертвой материи. Ей можно доверить образы и символы, выражающие смысл и содержание нашей истории, нашего труда, всей борьбы и побед нашего мира. Брошенная с достаточной силою, она пассивно и послушно перенесет на неизмеримые расстояния нашу дорогую идею, нашу последнюю волю.

Что могло быть естественнее этой мысли? Разве сам эфир не создал нашей первой связи с теми мирами, принося к нам лучи их солнц, как смутную весть о далекой жизни?

Я возвещаю вам успех наших усилий. Из самого прочного вещества, какое могла дать нам природа, мы приготовили миллионы гигантских снарядов: каждый есть верная копия нашего завещания. Они составлены из тонких свернутых пластинок, покрытых художественными изображениями и простыми знаками, которые без труда будут разгаданы всяким разумным существом. Снаряды эти уложены на точно определенных местах нашей планеты, и для каждого вычислены направление и скорость, которые он получит от начального толчка. Вычисления строги и проверены сотни раз: цель будет неизбежно достигнута.

А начальный толчок, братья, произойдет через несколько минут. Внутри нашей планеты мы собрали огромную массу той неустойчивой материи, атомы которой, взрываясь, разрушаются в одно мгновение и порождают самую могучую из всех стихийных сил. Через несколько минут наша планета перестанет существовать и ее осколки разлетятся в бесконечное пространство, унося наши мертвые тела и наше живое дело.

Встретим же радостно, братья, это мгновенье, в котором величие смерти сольется с величайшим актом творчества, это мгновенье, которое завершит нашу жизнь, чтобы передать ее душу нашим неведомым братьям!»

И как эхо пронеслись по зале, воплощая одну мысль и одно чувство людей, слова:

«неведомым братьям!»

А когда вслед за тем видение поглотил налетевший ураган света и огня, то последнее, что в нем потонуло, была у Мэнни та же мысль:

«неведомым братьям!»

.....

#### IV. К восходу солнца

Когда Мэнни очнулся, оставалось меньше часа до солнечного восхода.

— Ты ни минуты не спала, Нэлла? Теперь мне надо одеться и написать еще несколько слов президенту и правительству...

Заря загоралась в небе, и лучи ее проникали через решетку окна. Мэнни, одетый, снова лежал на постели, и Нэлла сидела возле него. Она внимательно, жадно смотрела на него: ей так мало пришлось его видеть.

— Спой мне песню, моя Нэлла.

— Это будет песня только для тебя и о тебе, Мэнни.

Стены тюрьмы слышали на своем веку много песен тоски, надежды; но едва ли когда-нибудь там раздавался такой чистый, прекрасный голос, полный такого чувства...

В расцвете молодости страстной

Любовь ты отдал за борьбу,  
Чтоб волей непреклонно властной  
Идее покорить судьбу.

Творец и вождь, великий в жизни,  
В ее трудах, ее боях,  
Ты новый мир открыл отчизне  
На неизведанных путях.

Побед и славы в искупленье  
Свободу отдал ты свою.  
Ты долгих лет узнал томленье,  
Тоски холодную змею.

Ты ждал, спокойный и суровый.  
Твой враг пред скованным дрожал.  
И ты дождался: жизни новой  
Могучий голос прозвучал.

Ты в ней любовь и ласку встретил,  
Союзом с нею победил,  
И сердцем гордым ей ответил —  
Ее безмерно полюбил.

Но мыслью строгою своею,  
Но волей, твердой как алмаз,  
Не в силах был ты слиться с нею;  
И — наступил решенья час.

Навек уходишь ты из строя,  
Чтоб ей открыть свободный путь.  
Булат, что закален для боя,  
Разбить лишь можно, не согнуть.

О прежних жертвах не жалея,  
Ты большую приносишь вновь.  
Сильна, как жизнь, твоя идея,  
Сильней, чем смерть — твоя любовь!

Последние слова оборвались в рыдании, слезы градом хлынули из глаз Нэллы, и она не могла видеть одного быстрого движения Мэнни...

К восходу солнца он заснул, тихо, радостно, среди поцелуев любимой женщины, со словами:

— Нэлла... Нэтти... победа!..

## Эпилог

Смерть Мэнни развязала много узлов. Она нанесла жестокий удар его врагам, опровергнув их крики о его монархических планах и сразу поставив этих людей в положение обличенных фактами клеветников. В то же время отпал и вопрос о «диктатуре работ», так как Нэтти вовсе не желал ее для себя. Из старых сотрудников Мэнни была образована центральная коллегия работ; Нэтти, ее председатель, сохранил за собой всецело руководство



техникой. Его влияние было очень велико; благодаря ему в течение почти десяти лет отношения центральной коллегии с рабочими союзами оставались мирными. Но сам Нэтти прекрасно понимал, что такое положение лишь временное, и употребил эти годы на подробную дальнейшую разработку плана Великих Работ, чтобы они могли успешно продолжаться и тогда, когда ему самому придется уйти. Мало-помалу состав правления менялся: одни умирали, другие уходили на отдых, третьи изменяли свою позицию. Наконец Нэтти остался в меньшинстве. Наступил промышленный кризис, и по внушению правительственной партии правление решило им воспользоваться, чтобы ухудшить условия труда. Нэтти тотчас же вышел в отставку и принял энергичное участие в организации борьбы против этого покушения. Гигантская забастовка, приостановившая Великие Работы, энергичная атака рабочей партии против правительства и несколько восстаний в разных местах вызвали жестокое обострение кризиса; правящие круги ввиду такой массы трудностей решили пока уступить. Но с этого момента исчезли последние неясности в классовых тенденциях, и разрыв пролетариата со всем старым общественным строем был закреплен.

Около того же времени умерла Нэлла. Она словно нарочно для этого дождалась, пока около Нэтти появилась другая женщина, прекрасная и молодая, с ясными, лучистыми глазами. Рабочие любили Нэллу и называли ее просто «матерью»; сотни тысяч провожали ее гроб и засыпали ее могилу цветами. Вечером в день похорон умер и Арри.

Покончив с инженерством, Нэтти всю свою научную работу направил на выполнение старого плана: преобразовать науку так, чтобы сделать ее доступной рабочему классу. Вокруг Нэтти создалась целая культурно-революционная школа: ряд его учеников, частью выдвинувшихся из рабочей среды, частью пришедших из другого лагеря молодых ученых, работали вместе с ним над созданием знаменитой «Рабочей Энциклопедии», которая послужила затем опорой и знаменем идейного единства пролетариата.

На этом пути Нэтти пришел к своему величайшему открытию, — положил начало всеобщей организационной науке.

Он искал упрощения и объединения научных методов, а для этого изучал и сопоставлял самые различные приемы, применяемые человечеством в его познании и в труде; оказалось, что те и другие находятся в самом тесном родстве, что методы теоретические возникли всецело из практических, и что все их можно свести к немногим простым схемам. Когда же Нэтти сравнил эти схемы с различными жизненными сочетаниями в природе, с теми способами, посредством которых она стихийно образует устойчивые и развивающиеся системы, то его опять поразил ряд сходств и совпадений. В конце концов у него получился такой вывод: как ни различны элементы вселенной, — электроны, атомы, вещи, люди, идеи, планеты, звезды, — и как ни различны по внешности их комбинации, но возможно установить небольшое число общих методов, по которым эти какие угодно элементы соединяются между собою, как в стихийном процессе природы, так и в человеческой деятельности. Нэтти удалось отчетливо определить три основные из этих «универсальных организационных методов»; его ученики пошли дальше, развили и точнее исследовали полученные выводы. Так возникла всеобщая наука, быстро охватившая весь организационный опыт человечества. Прежняя философия была не чем иным, как смутным предчувствием этой науки; а законы природы, общественной жизни и мышления, найденные разными специальными науками, оказались частичными выражениями ее принципов в отдельных областях.

С того времени решение самых сложных организационных задач стало делом не индивидуального таланта или гения, а научного анализа, вроде математического вычисления в задачах практической механики. Благодаря этому, когда настала эпоха коренного реформирования всего общественного строя, величайшие трудности новой организации сравнительно легко и вполне планомерно удалось преодолеть: как еще раньше естествознание стало орудием научной техники, так теперь универсальная наука явилась орудием научного построения социальной жизни в ее целом. А еще раньше та же наука

нашла широкое применение в развитии организаций рабочего класса и их подготовке к последней, решающей борьбе.

Сам Нэтти, хотя и дожил до старости, мог видеть только первые битвы этой борьбы, которая продолжалась полвека. Его дети не были выдающимися людьми, но и не унизили памяти великих предков: они так же честно и мужественно сражались за дело человечества.

## **Современные идеалы<sup>16</sup>**

Слово «идеал» имеет много значений. Наиболее важное из них есть то, которое относится к *устройству жизни* человека, группы, коллектива. Человек говорит: «мой идеал личной, семейной, общественной жизни — такой-то». Это значит, что он стремится к такому-то мыслимому устройству своей личной, семейной, общественной жизни, считая его наиболее совершенной формой организации. Другими словами, *идеал есть предварительное, выполняемое в стремлениях и мыслях, разрешение жизненной тектологической задачи*.

Для истории человечества существенны, разумеется, не идеалы отдельных личностей, а идеалы коллективов, которые намечаются в идеологиях коллективов и проводятся в их труде, в их борьбе. Эти идеалы представляют решения тектологических задач, поставленных жизнью общества, в их целом. Решения могут быть удачны или неудачны, в смысле их осуществимости или неосуществимости, организационного прогресса или регресса. Здесь слово принадлежит тектологическому анализу, который должен и при достаточных данных может подвергнуть такие идеалы вполне объективной критике.

Организационный характер идеалов удобно иллюстрировать на том же переходе от сословно-феодального строя жизни к современному, капиталистическому. В ряду веков феодальное общество, разделенное на сословия и закрепленное в своей структуре сложную религиозной идеологией, накапливало новые и новые расхождения между своей идеологической оболочкой и развивавшимся внутри ее твердых рамок социально-трудовым содержанием. Эти расхождения выросли в глубокие жизненные противоречия. Таким образом, перед обществом выступила жизненная тектологическая задача. Она была реально разрешена трудом и борьбой различных коллективов, сословных, групповых, классовых. Но при этом у каждого коллектива предварительно вырабатывалось свое особое решение задачи, свой «социальный идеал», к осуществлению которого коллектив и направлял свои усилия.

Основных идеалов тогда было два: «консервативный» и «либеральный». Духовные и светские феодалы стремились восстановить прежнюю гармонию сословной системы путем устранения всего нарождавшегося в жизни нового, что ей противоречило: идей и людей, не вмещавшихся в ее рамки. Буржуазия ставила своей задачей уничтожить границы сословий; разрушить все правовые препятствия к экономической деятельности индивидуума и его организационной инициативе, экономической, правовой и идейной; заменить религиозно-феодальную идеологию, закреплявшую эти границы и эти препятствия, своей новой идеологией, исключавшей их и дававшей опору индивидууму в его творчестве и борьбе за свои интересы.

Очевидно, что каждый из двух коллективов решал социально-тектологическую задачу эпохи при помощи своих привычных организационных приемов, стараясь сохранить и расширить на все общество основные условия и формы своего социального существования. Феодалы хотели упрочить свою авторитарную организацию и ввести в ее рамки все, что успело вырасти за ее пределы; а в основу ее полагали свои старые всегдашние методы: «светский» — метод насильственного принуждения; «духовный» — метод идеологического связывания людей, по существу также принудительного и ограничительного, — сужения их опыта, стирания их индивидуальности, обуздания их воли страхом наказания и надеждой на награду. Буржуазия, напротив, стремилась перестроить все общество по своему типу («стать

всем», по выражению Сийеса<sup>17</sup>). Внутри ее, несмотря на значительную экономическую дифференциацию, огромные различия богатства и бедности, эксплуататорской силы и материальной зависимости, — сословных рамок не было, и она хотела, чтобы их не было во всем обществе. Ее методом, посредством которого она устраивала свою жизнь и завоевала свое экономическое положение, была индивидуальная инициатива и борьба за личные интересы; этот же метод она желала положить в основу организации всего общества. Такова была сущность ее освободительно-индивидуалистического, «либерального» идеала, в противоположность авторитарному, «консервативному». Обе стороны не выдумывали своих идеалов, а брали их из своей жизни, создавали из нее путем простой «генерализации» тектологических ее форм и методов.

Иначе и быть не могло. Человек не творит из ничего, а великое творится из великого: идеал, который способен стать жизнью — из самой жизни, социальный идеал — из бытия коллектива. Все социальные идеалы «субъективны» по своему происхождению; только «субъектом» их является не индивидуум, а сословие, группа, класс; в них каждый такой коллектив «идеализирует» свою жизненную тектологию; и самый идеал есть идеологическое закрепление форм и методов этой тектологии.

В разбираемом случае историческая задача была поставлена противоречиями, возникшими из расхождения частей феодальной системы. Что означало бы при таких условиях торжество консервативного идеала? Противоречия были бы устранены путем подавления и уничтожения значительной доли живых сил общества; и восстановилась бы первоначальная, не осложненная этими противоречиями, дифференциация. Но очевидно, что она опять повела бы к прогрессивному расхождению, развитию и накоплению противоречий, и затем снова к постановке той же задачи, которая, казалось, была разрешена. Следовательно, самое решение было тектологически *мнимое*.

Торжество буржуазного идеала на практике означало *сословно-правовую контрдифференциацию*. Этим, понятно, устранялся исходный пункт противоречий, которыми определялась задача, то есть давалось *действительное* решение задачи. После него могли возникнуть, и возникли, новые задачи того же или даже большего масштаба; но прежняя повториться не могла.

Перейдем теперь к условиям, из которых произошли современные идеалы.

Преобразованное буржуазией общество на месте бывшей сословно-правовой дифференциации развило новую, классовую.

Классовая система во многом аналогична сословной, тектологически «параллельна» ей: так же основана на специализации, лишь несравненно более широкой и глубокой, — так же построена на разделении классов господствующих и подчиненных, высших и низших, — так же закреплена посредством определенных идей — религиозных, философских, научных — определенных принципов и учреждений, моральных, юридических, политических. Но эта система отличается гораздо большей гибкостью и пластичностью связей, гораздо большей подвижностью элементов; конъюгационные процессы в ней совершаются неизмеримо интенсивнее. Стоит представить себе, сколько времени — иногда десятилетия, столетия — требовалось в феодальную эпоху, чтобы успело распространиться какое-нибудь новое приобретение человеческого опыта, например техническое усовершенствование, научное открытие, и какие препятствия оно встречало в этом движении; между тем как теперь оно иногда в несколько часов становится известным во всем культурном мире.

Но, как во всяких дифференцированных системах, конъюгационные процессы и здесь идут весьма неравномерно по разным направлениям: гораздо слабее между отдельными специализированными группами, а тем более — между разными классами, чем *внутри* этих групп и классов. С другой стороны, именно благодаря пластичности системы, процессы ее частных изменений и их подбора, то есть то, что называют ее развитием, идут во много раз быстрее, чем в прежних организациях. А развитие это направлено, по общему закону, в сторону расхождения частей, накопления и возрастания внутренних противоречий, дезорганизационного момента.

Экономисты резюмируют противоречия капиталистически-классовой системы в двух понятиях: анархия производства и борьба классов. В чем заключается тектологический смысл этих понятий?

Анархия производства сводится к разобщению внутренней жизни предприятий. Подобно тому как организм строится из специализированных элементов — клеток, капиталистическое общество состоит из специализированных элементарных группировок — предприятий. Экономическая связь их воплощается в обмене товаров, в «рынке»; это — внешняя сторона жизни предприятий. Но в ней они выступают как борющиеся единицы: усилия покупателя и продавца направлены противоположно, так же и усилия, например, двух конкурирующих продавцов или покупателей. Этим путем образуются бесчисленные дезингрессии — «война всех против всех»; а дезингрессия в области соприкосновения двух комплексов является, как было выяснено, моментом, их *разъединяющим*, разрывом их связи.

Получается кажущееся противоречие: рынок есть экономическая связь предприятий, и он же есть их разобщение. Но тут надо вспомнить, что разрыв связи никогда не бывает абсолютным, а всегда только относительным; именно он относится к *тем специальным активностям, которые образуют пограничную дезингрессию* 18, то есть которые направлены противоположно со стороны одного и другого комплекса. В данном случае какие это активности?

На рынке враждебно сталкиваются не физические силы людей, а их *воли*. Продавцы и покупатели выступают там как полновластные организаторы или распорядители каждый своего хозяйства и в качестве таковых проявляют взаимно противоположные стремления. В сфере этих организаторско-волевых активностей и развертываются дезингрессии рынка. Следовательно, и разрыв связи хозяйств, и их взаимная изоляция относятся к области организаторско-волевой; только в этом смысле «организация каждого хозяйства независима и обособлена». Нет прямой конъюгации<sup>19</sup> хозяйственно-руководящих волей, — нет результирующей из такой конъюгации — общей руководящей воли. Это и означает «анархию производства», со всеми вытекающими из нее противоречиями, развивающимися в экономической системе.

Древние коммунистические общества, например патриархальные общины, были устроены иначе, и в них конъюгация хозяйственных волей существовала. Она выражалась частью и в коллективном обсуждении трудовых задач, частью — в постоянном общении руководящей воли организатора патриарха с подчиненными волями его родичей при самых актах распоряжения, когда он, в интересах дела, должен был считаться с их силами, способностями, склонностями, состоянием духа, и т. п. Воля патриарха в его распоряжениях отнюдь не была просто его личной волей, то есть индивидуальным произволом, — но *результатирующей* из этой постоянной волевой конъюгации. Такое же соотношение сохранилось еще теперь в *пределах* отдельного хозяйства — волевое общение между его членами руководящими и руководимыми, например отцом и детьми или мастером-ремесленником и его работниками.

Но если современные предприятия взаимно обособлены дезингрессиями в смысле организаторско-волевых активностей, то они вовсе не изолированы друг от друга в смысле *трудовых активностей*, из которых непосредственно слагается производство и которые направлены на изменение внешних комплексов, предметов природы.

Во всяком продукте заключены атомы труда миллионов людей, соединенные вместе, как бы слившиеся в один кристалл. В куске бумажной ткани заключен труд не только тех работников, которые ткали его на станке, но и тех, которые пряли для него пряжу, тех, которые возделывали хлопок для производства пряжи, тех, которые делали станки, и тех, которые добывали металлы для приготовления станков и других машин, и тех, которые делали машины, послужившие орудиями приготовления этих станков; далее, всех транспортных рабочих, перемещавших эти орудия и материалы, и всех рабочих, строивших пути сообщения для этого транспорта; затем рабочих, производивших и доставлявших жизненные средства для всех этих участников производства ткани, и т. д., без конца. И все

эти атомы труда не сталкиваются в дезингрессиях, а сплавляются в одно организованное целое.

К этой, так сказать, элементарной, трудовой конъюгации присоединяется и, по мере развития современной системы, непрерывно возрастает иная высшего порядка: текучее непосредственное общение рабочих сил, основанное на их подвижности, на их постоянных перемещениях. Капиталистические предприятия отличаются изменчивым составом работников, выбрасывают их и вновь притягивают с рабочего рынка сообразно колебаниям конъюнктуры; а параллельно с этим работники и сами меняют места в поисках лучших условий. Этими путями развивается общность трудового опыта в рабочем классе, расширяется и углубляется жизненная связь его элементов.

Трудовые активности, таким образом, представляют по *преимуществу конъюгационную* сферу жизни в современной социальной системе; и не в этой сфере, а в области организаторско-волевых активностей лежат дезорганизующие силы «анархии производства», которые проявляются в бедствиях обостряющейся конкуренции, в экономических кризисах, мировых и частных, в войнах за рынки и т. п.

Организаторско-волевые активности в начале капиталистической системы концентрировались в господствующих классах, а в низших классах они существовали тогда лишь в рассеянном состоянии и в малых количествах; непосредственно-трудовые активности были распределены в обратных этому соотношениях. Такова первоначальная структура системы, подобная прежнему разделению высших и низших сословий при феодализме. Естественно, что и системное расхождение шло в направлениях, аналогичных прежним, только несравненно быстрее, соответственно новому темпу развития. Организующие функции господствующих классов — буржуазных — все более сосредоточивались и продолжают сосредоточиваться на их собственной жизни и поддержании ее условий, то есть на эксплуатации, распределении и потреблении продуктов, а классы подчиненные, по закону дополнительных связей, накапливают и концентрируют новые организаторско-волевые активности в сфере своего трудового существования. Столкновение старых и новых организующих активностей воплощается в *борьбе классов* — втором из основных противоречий классовой системы.

Здесь — другая группа дезингрессий, резко разграничивающая две части общества. Ею исключается взаимопроникновение обеих частей, их конъюгационное сближение, — а вместе с тем ускоряется дальнейшее их расхождение и дальнейший рост противоречий между ними: разграничивающие дезингрессии усиливаются и умножаются, граница между классовыми комплексами становится все более практически, непереходимой. В наше время расстояние между пролетариатом и капиталистом несравненно больше, чем 50, а тем более — 100 лет назад, и оно продолжает увеличиваться, а маскирующие его остатки промежуточных групп, так называемых полубуржуазных, уцелевших от прежнего строя, в котором буржуазия с зародышами пролетариата была одним сословием, тают, расплываясь в двух главных обособляющихся комплексах по мере их расхождения. Ибо всякое системное расхождение подразумевает, конечно, исчезновение промежуточных группировок: подбор, благоприятный для крайних расходящихся тенденций, естественно, неблагоприятен для средних группировок и либо разрушает, либо «поляризует» их, то есть поддерживает и усиливает внутри них эти же тенденции, вследствие чего элементы их распределяются между крайними группировками.

Наконец, та сеть идей, норм, учреждений, которая закрепляет строение системы, неизбежно отстает от быстро развивающейся живой ее ткани. Так как эта сеть первоначально вырабатывалась и затем поддерживается именно господствующими классами в их организаторских функциях, то при их расхождении с классами подчиненными она оказывается в противоречии с жизненными условиями этих последних, а тем самым превращается в культурную форму для господствующих только классов; классы же подчиненные вырабатывают, по принципу дополнительных связей, новые закрепляющие формы для своей собственной жизни и опыта: особую классовую идеологию, особые

классовые учреждения. Получается расхождение идеологических систем с еще целым рядом специфических противоречий: идейная и политическая борьба между классами.

Таким образом, во всех сферах жизни социального целого дезорганизационный момент нарастает, принося, в своих бесчисленных проявлениях, колоссальную и постоянно прогрессирующую растрату социальной энергии. Этим ставится *тектологическая задача нашей эпохи*. И коллективное творчество различных классов дает ее предварительные решения в современных социальных идеалах.

Так как расхождение классов пока еще не закончилось и промежуточные группировки еще не исчезли, не распределились между двумя крайними, то нам придется рассматривать не два только, а несколько таких идеалов. Но все их можно разделить на два типа. Задача эпохи поставлена расхождением частей общественной системы на основе классовой ее дифференциации. В одном типе идеалов вопрос решается с *сохранением этой дифференциации*, в другом самую суть решения составляет ее уничтожение, *социальная контрдифференциация*.

Наиболее законченные в своем развитии типы класса капиталистов — это, с одной стороны, финансово-промышленные дельцы крупных акционерных обществ, синдикатов, трестов, банков, биржи, с другой — рентьеры, живущие процентами с капиталов и дивидендами с акций, окончательно утратившие организаторские и вообще производительные функции. С этими двумя группами тесно связана избранная часть наемно-технической интеллигенции — крупнейшие и наилучше оплачиваемые организаторы из числа директоров, инженеров и проч. Для всех этих групп идеал, соответствующий и их методам организации, и упрочению основных условий их классовой жизни, таков: гигантский трест или система трестов, охватывающая все производство и распределение. Она устраняет анархию производства и рынка планомерным их нормированием, а классовую борьбу — окончательным подавлением боевой активности рабочего класса, планомерной концентрацией умиротворяющих сил, механических и экономических, на всяком пункте, где возникла бы попытка борьбы. Под контролем той же системы трестов должна находиться и вся идейная жизнь общества, — как уже теперь в передовых странах под контролем крупной финансово-промышленной буржуазии находится большая часть прессы. — Таков идеал «промышленного феодализма», представляющий, на самом деле, большое организационное сходство с идеалом старого феодализма, при совершенно ином, разумеется, социальном содержании.

Другой полюс в ряду идеалов — то решение задачи, которое намечается передовыми, наиболее определившимися и организованными, слоями рабочего пролетариата. Это — полное уничтожение классов и коллективная организация производства; переход организующих функций и, как внешнего их выражения, собственности на средства производства, в руки всего общества в его целом; при этом каждая трудоспособная личность, без различия специальности, является работником наряду с другими; если же выполняет руководящую роль, то лишь по поручению коллектива и под его контролем; в распределении неравномерность допускается только в соответствии с повышением затрат энергии при более сложном и напряженном труде. Это — распространение на все общество организационных форм и методов трудового пролетариата. Его работа коллективна, и господствующее отношение между работниками — товарищеское равенство; в его собственных организациях руководители должны действовать сообразно воле коллектива; на тех же основах он стремится организовать производство в целом. Средства к жизни пролетарий получает в зависимости от выполняемого труда, его сложности и напряженности; и по такому же принципу он намеревается устроить все распределение. Средствами производства пролетарий не владеет, как собственностью, — и никто не должен владеть ими индивидуально. Дело сводится к тому, чтобы были разрушены рамки, извне стесняющие жизнь пролетариата, и он из части общества стал бы его целым.

Между двумя главными идеалами располагается ряд промежуточных построений.

Научно-техническая интеллигенция, в своей наибольшей пока еще массе, а именно —

за исключением высших своих слоев, перешедших к буржуазному делячеству, и низших, уже тяготеющих к рабочему пролетариату, — выдвигает такой идеал: планомерная организация труда и распределения под руководством ученых экономистов, инженеров, врачей, юристов, вообще — самой этой интеллигенции; при этом она создаст привилегированные, разумеется, условия для себя, но также условия жизненно-удовлетворительные для рабочего класса; тем самым устраняются основания для классовой борьбы и получается гармония интересов. Для такой системы требуется и государственно-политическая форма, чаще всего представляемая в виде централизованной республики. Странники этого взгляда — например большинство французских радикал-социалистов — обозначают поэтому свой идеал как «государственный социализм». Но тот же термин имеет и другое значение.

От старого, сословного строя до сих пор сохраняются еще довольно многочисленные и влиятельные остатки; в Европе наиболее типичные их представители — католическое духовенство и отсталая часть помещиков. Эти элементы частью продолжают держаться прежних, сословных идеалов, частью модернизируют их. В странах, где значительная часть чиновничьей интеллигенции связана с помещичьим сословием или тяготеет к нему, одну из таких модернизаций часто называют «государственным социализмом». Впрочем, правильнее было бы назвать ее «бюрократическим социализмом»: производство и распределение, организованное иерархией чиновников, с патриархально-моральной монархической властью во главе, — нечто среднее между идеалом технической интеллигенции и феодально-сословным.

Далее, от докапиталистической эпохи удержались до сих пор остатки мелких независимых предприятий, ремесленных и торговых, гибнущие в непосильной борьбе с капиталом; к ним культурно близка часть пролетариата, вышедшая из них и еще не успевшая идейно оформиться в своем новом социальном положении. В этой среде зародились идеалы ограниченного коллективизма или «анархистские». Сущность их такова: уничтожение классовой системы путем разрушения общей организации господства высших классов — государственной; переход средств производства в руки независимых трудовых общин, образуемых свободным объединением личностей, и поддерживающих связь производства дружественным обменом своих продуктов. — Мелкие производители и торговцы в тяжелых условиях конкуренции, естественно, стремятся к объединению для взаимной поддержки; но, не участвуя в широких системах сотрудничества, ограниченные узким кругозором мелкого индивидуального хозяйства, они мало способны к объединению за пределами лично-доступных индивидууму связей. Отсюда идеал общины, образуемой непосредственным личным объединением. Враждебность их к государству зависит и от того, что оно в современных своих формах обслуживает интересы капитала, подавляющего мелких производителей, и от того, что при их мелкохозяйственных организационных навыках оно — слишком широкая для них организационная форма, которой они не в силах для себя создать или по-своему пересоздать. Тем более, разумеется, чужда им идея централизованного коллективизма, организации несравненно более широкой по своим функциям, чем современное государство, ибо она должна охватить всю экономическую жизнь человечества.

Как видим, большинство указанных построений предполагает *устойчивую системную дифференциацию* экономики общества. А нам уже известен тектологический закон развития при такой дифференциации: *возрастающее расхождение частей системы и прогрессивное накопление дезорганизационного момента*. Это — результат совершенно неизбежный, если только не гарантирована полная остановка общественного развития; а такой гарантии в природе и в жизни быть не может, да и сами сторонники подобных идеалов отнюдь не думают ее давать.

Положение тектологически однородно с тем, какое было перед крушением сословно-правового строя. Там задача эпохи была поставлена развитием противоречий на основе сословно-правовой дифференциации; здесь она ставится дезорганизационным расхождением на основе дифференциации экономически-классовой. Там задача была решена и могла быть решена только соответственной, то есть сословно-правовой контрдифференциацией; здесь

она, очевидно, тоже может быть действительно разрешена только контрдифференциацией, но экономически-классовой. Как в том, так и в другом случае решения, основанные на сохранении дифференциации, являются *тектологически-мнимыми* : они сводятся к возобновлению, к повторению задачи. Нет надобности отдельно исследовать каждое из них и конкретно выяснять, какие противоречия и путем какого расхождения должны из него развиваться: вопрос по существу предрешен тектологическим законом.

Впрочем, одно из таких построений нуждается в некотором анализе, именно потому, что оно может быть ошибочно понято; это — анархический идеал. По внешнему характеру он даже как будто не относится к числу идеалов, построенных на принципе сохранения дифференциации. Но это лишь по-видимому так, при ближайшем рассмотрении оказывается иное.

Независимые, свободно образованные и только свободной федерацией связанные общины, которые по мере надобности обмениваются своими продуктами, означают прежде всего сохранение *анархии производства* . Обмен — выражение этой анархии; а сущность ее заключается в обособленности организаторско-волевых активностей и в их столкновениях, дезингрессиях. В пределах каждой общины эти активности организованы, объединены в целое, которое можно назвать волею общины; но в акте обмена общинные воли выступают не только как независимые, но неизбежным образом — как направленные противоположно: каждая община желает получить больше, отдать меньше, и не может относиться к интересам другой общины, как к своим собственным. Тут уже имеется и дезорганизационный момент, и разъединение частей системы, ведущее к их прогрессивному расхождению, а значит — дальнейшему накоплению противоречий. Обособленность внутренней жизни общин должна возрастать, необходимость расширять обмен и иметь всегда для него достаточно излишков должна усиливать специализацию производства между ними, а вместе с тем дальше ослаблять их живую связь интересов, их непосредственное общение и взаимное понимание. Обмен в этих условиях должен все более принимать обычный характер, свойственный рыночным отношениям, то есть характер экономической борьбы. А где есть борьба, там есть победители и побежденные и затем зависимость побежденных от победителей, то есть возрождение классов. Таким образом и анархистский идеал сводится к повторению, через некоторые промежуточные фазы, той же поставленной задачи.

Причина та, что анархистский идеал сохраняет производственно-организационную обособленность общин и тем самым допускает контрдифференциацию только в узком масштабе — отдельной общины и непосредственно доступных ей сношений с другими общинами; между тем нынешняя классовая дифференциация с ее противоречиями — явление мирового масштаба.

В таком масштабе решает задачу один коллективистский идеал. Он не суживает, а напротив, расширяет дальше ту конъюгацию трудовых активностей, которую развил капитализм и в силу которой уже теперь в трудовой стоимости любого продукта слиты атомы труда миллионов и миллионов людей. Но к ней он присоединяет конъюгацию организаторско-волевых активностей, централистически охватывающую мировой коллектив. Этим он уничтожает анархию производства — исходный пункт дезингрессий классовой системы; а выражение этой анархии — обмен товаров — заменяет централизованным планомерным распределением продуктов, соответствующим организации производства. Вместе с разъединяющими дезингрессиями анархии устраняются препятствия для прогрессивного расширения и углубления социально-конъюгационных процессов; и в то же время оно вынуждается самими функциями коллектива, действующего через отдельные, подвижные группировки своих членов, как через свои органы.

Это — действительная социальная контрдифференциация, а значит, *тектологически-действительное решение поставленной эпохой задачи* .

Было бы, однако, наивно и ненаучно считать это решение окончательным, последним. Коллективистское общество тоже — высокодифференцированная система, и между его частями или разными сторонами его жизни должны возникать новые и новые расхождения.



Какие именно — мы этого сейчас научно предусматривать еще не можем; можем только сказать, что не сословно-правовые и не экономически-классовые, так как эти исключены выясненными решениями. Для новых задач найдутся и новые методы; а наше дело — овладеть теми, которые выработаны, оформить тектологию настоящего, которая все еще остается наукой будущего.

(1917)

## **Вопросы социализма<sup>20</sup>**

### **Коллективистический строй**

История капитализма охватывает несколько столетий, период очень значительный с точки зрения отдельной личности, но почти ничтожный с точки зрения человечества. Для социальной науки, предмет которой не личность, а коллектив, весь капитализм, с его бесчисленными противоречиями, непрерывной борьбой, неустойчивыми равновесиями, движением от одних кризисов и революций к другим, есть не более как переходная фаза между двумя органическими общественными системами, длительная революция методов производства и форм сотрудничества. Предел, к которому тяготеет эта революция, есть коллективистический строй.

Так как строй этот до сих пор нигде не был осуществлен, то может показаться научно-неправильным ставить его в один ряд с исторически известными социальными формациями, рассматривать его, как объект научного исследования: не значит ли это выходить из рамок опыта? Но такая мысль была бы крайне ошибочна. Самый смысл науки вообще заключается в *объективном предвиденье*. Будущее для нее заключается в тенденциях настоящего и прошлого, которые могут быть объективно установлены и сопоставлены. Предвиденье получается тут, конечно, лишь относительное, условное, но таковы и все выводы науки.

Методы, на которые в данном случае опирается исследование, суть абстрактный анализ и дедукция. Среди социальной действительности надо отчетливо выделить основные тенденции развития; затем скомбинировать их, мысленно продолжая их до того жизненного предела, до которого они остаются взаимно совместимы. Это — те же самые приемы, которые приходится применять — но в обратном направлении — тогда, когда требуется восстановить картину доисторических социальных формаций. И здесь, и там руководящим принципом служит приспособление общества к условиям его трудовой борьбы за существование.

Конечно, мы можем таким путем выяснить лишь самые общие, но зато и главные черты социальной системы доступного нашему предвиденью будущего.

Надо иметь в виду, что все этим методом полученные выводы относительно нового общественного строя предполагают одну необходимую жизненную предпосылку, а именно — прогрессивное развитие общества. История знает примеры перехода обширных социальных систем к застою и деградации. Понятно, что в этом случае все расчеты, основанные на мысленном продолжении наблюдавшихся тенденций развития, оказались бы в корне ошибочными.

Поэтому предвиденьям относительно будущей организации общества следует придать условную форму: «если прогресс производительных сил будет продолжаться и человечество будет способно решить стоящие перед ним исторические задачи, то вот какие экономические отношения выработаются на место нынешних...» Следовательно, остается еще вопрос о прогрессе или деградации.

Мы будем исходить из благоприятного предположения. Хотя мировая война у многих и вызвала опасения за судьбу всей современной цивилизации, но все же это пока только опасения, не более.

С тех пор как возникло машинное производство, весь ход истории говорит о гигантской будущности его методов. Его прогресс идет с возрастающей быстротой и делается все более планомерным, все менее зависящим от случайности изобретательского гения.

Ясно, что основой коллективизма должно явиться машинное производство в более высокой, чем нынешняя, фазе его развития. Чем же эта фаза характеризуется?

Марксовский анализ машины показал, что она слагается из трех частей: генератора (источника) силы, передаточного механизма, рабочего инструмента. Для каждой из частей можно констатировать в настоящее время особые тенденции прогресса.

В современной индустрии основной источник энергии — каменный уголь, сжигаемый в паровых машинах. Потребление угля быстро и непрерывно возрастает, а запасы его в земной коре ограничены и не возобновляются, и к тому же сконцентрированы в немногих местностях. Еще меньше и реже запасы способной заменять уголь нефти. Целые обширные страны, как Италия и, до конца мировой войны, Франция, были стеснены в развитии своего промышленного капитализма благодаря недостатку минерального топлива. Другие страны, как Англия, Соединенные Штаты, Германия, опираясь на богатство этого материала, жили интенсивнейшей экономической жизнью. Но и они должны переходить ко все более глубоким пластам, и при нынешней скорости расширения производства угольное будущее этих стран также становится все более темным.

Естественно, что машинная техника направляет величайшие усилия к отысканию новых источников энергии. На первой очереди стоит электричество. Оно представляет по сравнению с силой пара огромные преимущества. Оно легко превращается во все другие формы энергии и так же легко из них получается. При помощи новейших трансформаторов его энергия со сравнительно малыми потерями передается по проволокам на большие расстояния. Кроме того, она поддается точному делению на произвольно малые части, детальному распределению, учету и контролю. Вообще — это наиболее гибкая из известных нам сил природы. Электротехническими методами удастся уже теперь широко утилизировать энергию многих водопадов, силу падения рек; в будущем сюда присоединятся такие грозные силы, как морские приливы; удастся, конечно, также использовать путем аккумуляирования непосредственную энергию ветров и бурь и т. п. Уже теперь местами, напр., в некоторых областях бедной топливом Италии, преобразованная в электричество водная сила становится базисом индустриального развития, замещая уголь, ее называют «белым углем»<sup>139</sup>.

Все это вместе образует огромное поле для трудового завоевания стихий — поле, которого хватило бы человечеству при нынешнем темпе его развития, вероятно, на сотни лет. Но работа над электричеством и производными от него явлениями открыла еще иные, несравненно более грандиозные перспективы: внутриатомную энергию.

Оказалось, что все донныне известные человечеству формы энергии — лишь результат частичного освобождения тех ее запасов, которые накоплены в атомах материи, запасов неизмеримых, превосходящих всякое воображение. Оказалось, что под метафизически-неподвижною оболочкою «неразруσιμο-вечных» химических элементов скрывается самое напряженное движение и вечное разрушение. В поле труда, но пока вне его власти,

---

<sup>139</sup> Экономисты, идеализирующие мелкое производство, возлагали большие надежды на электричество, ввиду делимости и легкой передачи его энергии, как фактор воскрешения ремесла: им предоставлялись самостоятельные мастерские, рассеянные в городах и деревнях, с мелкими моторами, питающимися от центральных станций. Нечего и говорить, что самостоятельного мелкого производства таким способом не получилось бы: оно оказалось бы в кабале у крупных электрических предприятий. В настоящее же время гибкость электрической энергии всего лучше эксплуатируется именно крупным производством для того, чтобы избавиться от сложных, дорогих и занимающих много места передаточных приспособлений, распределяющих энергию генератора между станками. Так, текстильная промышленность переходит к системе отдельных маленьких электромоторов для каждого станка.

находятся количества сил, в тысячи миллионов раз превышающие те, которые были найдены раньше. Перед научной техникой выступает новая задача, наиболее революционная из всех, какие когда либо ею ставились.

Можно с уверенностью сказать, что сколь-нибудь полного разрешения этой задачи не достигнуть нынешнему, анархически раздробленному человечеству. Но даже очень частичное разрешение само по себе повело бы к преобразованию всей социальной организации: оно должно дать в руки людям такие гигантские и грозные силы, которые необходимо требуют контроля общечеловеческого коллектива, иначе они могут оказаться губельны для всей жизни на земле.

Так или иначе, есть все основания думать, что *техническую основу коллективизма составит использование неограниченно широких, по сравнению с доступными теперь человечеству, запасов энергии, приводимых к максимально гибким формам* .

Эволюция другой стороны машинного производства — передаточных механизмов — намечается не менее достоверно и ясно. Это — дальнейшее развитие принципа *автоматизма* .

Автоматический механизм представляет пока высшую форму машины. Но уже теперь в целом ряде частных приспособлений и усовершенствований обнаруживается стремление к новой, еще более высокой ступени — *механизму, автоматически регулирующемуся* . Многие функции надзора за машинами от работника переходят к различным контрольным аппаратам, причем не только сводится ко все меньшей величине вмешательство работника в движение машины, но и самые эти функции выполняются, конечно, гораздо точнее и быстрее. Наиболее простые приспособления такого типа, различные «регуляторы» силы пара в котлах, силы тока, скорости машины и т. п., существуют уже давно. Сюда же относятся автоматические сигнальные приборы, извещающие работника о необходимости его вмешательства, а также такие, которые останавливают машину при определенных нарушениях ее хода и т. д.

Но при капитализме стремление техники к выработке регулирующих аппаратов поставлено экономическими условиями в сравнительно узкие рамки. Капиталист покупает рабочую силу, как всякий другой товар, и вводит усовершенствования, замещающие рабочую силу, только тогда, когда этим путем получает на ней достаточно серьезную экономию. Для него автоматически регулируемые механизмы вообще *невыгодны* . Если у него уже имеются весьма совершенные машины нынешних типов и при них сравнительно небольшое число работников, то какой ему расчет переходить к еще гораздо более совершенным машинам? На их оборудование или приобретение лишний расход потребует очень большой, а сбережение на рабочей силе может быть только небольшое, потому что и весь расход на нее уже относительно невелик. Здесь коммерческая точка зрения капитала останавливает техническую революцию. И потому теперь единственная область, где можно найти саморегулирующиеся механизмы, — это военное дело, сфера не производства, а разрушения. Там техническая задача господствует над коммерческой, и там уже существуют автоматически регулируемые подводные торпеды, воздушные мины и т. п. аппараты.

Лишь при коллективизме все коммерческие расчеты неизбежно отпадают, интересы рабочей силы становятся руководящим принципом, поднятие человеческого труда на высшую ступень, с устранением из него всяких функций низшего порядка, выступает как основная задача. Тогда *автоматически регулируемые механизмы приобретают значение основного типа техники* .

Рабочий инструмент есть последняя и простейшая часть машины. Здесь прогресс должен сводиться к дальнейшему развитию точности и целесообразности формы инструмента; качественных тенденций пока не намечается.

Есть одна техническая область, которая должна сыграть существенно важную роль в подготовке новой социальной организации. Это — способы сообщения, транспорта и сношений. Тут происходит на наших глазах грандиозная революция: воздушные сообщения и беспроволочный телеграф, очевидно, призваны преодолеть последние перегородки,

последние материальные препятствия к общению людей на поверхности земли. Важнейшая *техническая* трудность в деле образования общечеловеческого коллектива отпадает.

## 2. Рабочая сила

Изменения в средствах производства определяют изменения в рабочей силе. Еще при капитализме ее глубоко преобразовывает машинное производство. Шаг за шагом специализированная физическая ловкость утрачивает свое значение, а на первый план выступает развитие интеллекта и воли — *культурный* уровень работника. Работа при машинах требует прежде всего внимания и понимания, той технической сознательности, которая дает исходную точку и опору также для поразительного идеологического развития пролетариата. Это зависит от того, что в работе с машинами все в большей степени совмещаются функции типа «организаторского» и типа «исполнительского», прежде находившиеся в резком разделении: *управление* машиною и *контроль* над нею, с одной стороны, непосредственное физическое воздействие на нее — с другой.

Но все же в нынешней фазе машинного производства совмещение обоих типов далеко еще от своего завершения. О том свидетельствуют наличность и важная роль в производстве специализированного интеллигентского труда в виде разных ученых техников, инженеров. Даже и при автоматических механизмах наряду с технически сознательными работниками необходим техник-интеллигент, как руководитель работы. Рабочая сила остается принципиально дифференцированной на два рода — простую и научно усложненную.

Поднятие техники на ступень автоматически регулируемых механизмов должно обусловить новый шаг в развитии рабочей силы. Уровень «простой» рабочей силы должен оказаться еще значительно выше. От рабочего будет требоваться не только техническая сознательность — общее понимание механизма, толковость, дисциплинированное внимание, но и оформленное, точное *техническое знание*. Он должен будет время от времени производить оценку и сопоставление данных, доставляемых различными регулирующими аппаратами машины, и каждый раз сообразовывать свое вмешательство с выводами, вытекающими из совокупности этих данных. Словом, это будет по необходимости настолько же инженер, насколько рабочий: тип синтетический, сливающий в себе раньше разделенные функции.

Если при этом и будет еще сохраняться роль инженера-руководителя над группой работников, то она не будет *качественно* отличаться от роли этих работников: «организатор» будет оперировать тем же методом, только над более широким материалом технических данных. Налицо будут иметься различные *степени* развития рабочей силы, но не различные типы.

Разумеется, на ранних стадиях коллективизма саморегулирующиеся машины еще не будут количественно преобладать в технике производства. Но раз сложится культурный тип соответствующей им рабочей силы, к нему неизбежно будет тяготеть развитие всей рабочей силы общества. *Высшая* форма техники в этом смысле вообще является *определяющей*, раз между нею и формами низшими в системе производства нет резкого отграничения. Так и в современном строе развитие пролетариата тяготеет к тому культурному типу, который создается более совершенными формами машинной техники, хотя они еще не самые распространенные: культура коллектива вырабатывается в его передовых слоях и усваивается остальными. Эту тенденцию усиливает *текучесть* рабочей силы, свойственная уже капитализму, частые, вынужденные или добровольные, переходы от одних видов работы к другим, из одних предприятий и даже отраслей в другие, в нашу эпоху порождаемые колебаниями рабочего рынка, в будущем строе, как увидим, другими причинами.

Развитие машинного производства еще при капитализме начинает преодолевать и другую форму трудовой ограниченности — техническую специализацию работников. Психологическое содержание различных трудовых процессов становится все более однородным: специализация переносится на машину, на рабочий инструмент, а что касается

различий в опыте и в переживаниях самих работников, имеющих дело с разными машинами, то эти различия все более уменьшаются, а при высшей технике делаются ничтожными, по сравнению с той суммой сходного опыта, одинаковых переживаний, которые входят в содержание труда, — наблюдения, контроля, управления машиною. Специализация при этом, собственно, не уничтожается — отрасли производства фактически не смешиваются между собою, каждая имеет свою технику, — а именно *преодолевается*, теряет свои вредные стороны, перестает быть сетью перегородок между людьми, перестает суживать их кругозор и ограничивать их общение, их взаимное понимание.

На заре жизни человечества все рабочие силы родовой группы были принципиально однородны, различаясь лишь количественно, всякий труд был простым; труда квалифицированного не было вследствие технической слабости общества, низкого уровня культуры. Система коллективизма вновь должна уничтожить разграничение простого и квалифицированного труда, но уже на основе высшей культуры, сливающей их воедино.

### 3. Сотрудничество

Капитализм расширил систему сотрудничества до мировых размеров, но только в неорганизованной, анархической форме, воплощением которой служит связь рынка. Что касается сотрудничества организованного, господствующего внутри самостоятельных предприятий, то и его капитализм непрерывно развивает путем накопления капиталов и их централизации: оно теперь уже достигает невиданных размеров, объединяя в гигантских предприятиях десятки, иногда сотни тысяч рабочих.

Коллективизм доводит организованное сотрудничество до предельной величины, по всей линии замещая им анархическую форму связи: все общество становится одним предприятием.

Это, однако, не означает обязательно *пространственной* централизации производства, напр., такой, какую притягательная сила рынка при капитализме порождает в громадных промышленных городах с миллионами жителей. Эта сила перестает действовать с переходом к системе коллективизма, а территориальное распределение работников определяется всецело интересами самого производства и производителей, интересами, которые тогда вполне совпадают. Совершенство путей сообщения и легкость передачи движущей энергии должны облегчить целесообразное рассеяние производства и освободить человечество от чрезмерных скоплений людского материала; скопления эти сыграли свою необходимую роль в сближении, развитии связей и взаимного понимания людей; но затем они становятся объективно ненужными, а между тем они противоречат гигиене и ослабляют единение человека с природою — великий источник живого опыта и культуры.

Та подвижность рабочей силы, та текучесть человеческих группировок в производстве, которая непрерывно прогрессирует еще в современном строе, должна при коллективизме возрасти во много раз. Причина не только в том, что переход от одних работ к другим представляет все меньше трудностей с развитием автоматически-машинной техники и, значит, теряется всякий смысл прикрепления производителя к той или иной специальности. Учащение подобных переходов становится прямо *потребностью* производства. Новая техника требует такой гибкости ума и воли, такой разносторонности опыта, для достижения и поддержания которых работнику необходимо время от времени менять работу: сосредоточение на специальности порождает только психический консерватизм и узость опыта.

К тому же ускоренный технический прогресс, постоянно новые и новые усовершенствования, не позволяя производителям духовно застыть в рамках специальности, вместе с тем вынуждают частые перемещения рабочей силы, делают в высшей степени подвижными и текучими самые группировки рабочих сил в отдельные

производства и их «предприятия»<sup>140</sup>.

В своем целом система сотрудничества при коллективизме представляется *вполне централизованной*, но не в том бюрократически авторитарном смысле, который обычно придается теперь этому слову. Сознательная и планомерная организация производства не может быть иной, как централистической; но при однородном, товарищеском сотрудничестве центральное объединение не основывается на власти.

В царстве капитала, конкуренции, классовой борьбы, постоянных конфликтов между интересами личностей и коллективов трудно и представить себе иной способ централизации, кроме подчинения, опирающегося на реальное или возможное насилие; живой пример — современное государство. Однако уже классовая организация пролетариата начинает выработку иного способа: создание центров, выясняющих и осуществляющих волю коллектива, но не управляющих им. Здесь эта тенденция поставлена объективными условиями в сравнительно тесные рамки: противоречия личных интересов с коллективными и в самом рабочем классе далеко не уничтожены, но только ослабляются товарищеским сотрудничеством и возрастающим преобладанием интересов коллективных; а потребности классовой борьбы, необходимость порою быстрых решений и стремительных действий вынуждают сохранять за центрами для известных случаев авторитарно руководящую функцию, придают дисциплине организаций окраску власти — повиновения. С устранением классовой борьбы и экономической конкуренции условия, стесняющие развитие товарищеской формы централизации, отпадают, иерархически бюрократический оттенок в ней неизбежно отмирает, и она выступает в своем чистом виде.

Для товарищеского коллектива вопрос центральной организации производства есть вопрос о наиболее целесообразном распределении наличных рабочих сил и средств производства, т. е. задача *научно-статистическая* — и только такая. Этим определяется характер объединяющего аппарата всей системы производства: статистическое учреждение, в котором непрерывно сходятся и обрабатываются все сведения о количестве рабочих сил и производимых продуктов в различных «предприятиях» и целых отраслях труда.

При общем избытке рабочих сил и величайшей их подвижности, при отсутствии всякой социальной градации видов труда как «высших», более почетных, так и «низших», или менее почетных, при объективной, т. е. социально необходимой и социально признанной равноценности всякого рода полезного обществу труда, вполне достаточно простого опубликования сведений об излишке или недостатке работников в том или ином пункте экономического механизма, чтобы направлять и регулировать распределение производителей согласно потребности коллектива.

То, что при капитализме достигается стихийно спросом со стороны рынка, здесь достигается сознательно спросом со стороны общества. Из числа сотен миллионов работников, которые время от времени меняют свои занятия, всегда найдутся необходимые десятки тысяч, чтобы пополнить дефицит рабочей силы, обнаруженный в той или иной отрасли, и наоборот, если в какой-нибудь из них оказался излишек, то работники других отраслей не будут переходить в нее без особых — случайных и редких — мотивов; отлив рабочих сил из нее не будет покрываться, пока не восстановится равновесие.

Такой механизм был бы несовершенным и недостаточным на низком уровне развития производства, когда общество располагает лишь необходимым числом работников для удовлетворения текущих потребностей. Но на высших ступенях научной техники, при огромной сумме прибавочного труда, т. е. свободной общественной энергии, всякий риск и всякие неудобства метода отпадают.

---

<sup>140</sup> Включая главу «Коллективистский строй» в «Курс политической экономии» (совм. с И. Степановым, 1924, 3е изд., т. 2, в. 4, с. 290), Богданов здесь добавил: «Особенно важным для человечества будет преодоление современной границы между индустрией и сельским хозяйством на основе научной техники в земледелии, рассеяния промышленности в пространстве и совершеннейших методов транспорта».

Вопрос о длине обязательного рабочего дня в системе коллективизма имеет значение только для первых ее стадий, когда пролетариат, завладев классовым господством, вынужден будет дисциплинировать для труда остатки паразитических классов. В этой фазе, как переходной, будут необходимы и известные ограничения свободы в выборе занятий, в общем, гораздо меньше, конечно, чем те, которые теперь диктуются материальными условиями жизни подавляющему большинству людей. Все подобные вопросы будут разрешаться объективным учетом потребностей производства, опирающимся на весь накопленный опыт.

В развитии же коллективистическом строе длина рабочего дня, подобно выбору занятий, из области принуждения переходит в область свободы. Труд есть потребность человеческого организма, паразитическое вырождение немыслимо в трудящемся коллективе; указания гигиены, с одной стороны, индивидуальные силы и склонности, с другой, вполне достаточны, чтобы целесообразно определить продолжительность той или иной работы для каждого производителя. Центральному производственному аппарату остается тогда в этой области учитывать факты, но не предписывать нормы.

Подводя итоги, мы можем характеризовать сотрудничество при коллективизме как *научно организованную систему товарищеских связей, централистический коллектив, основанный на величайшей подвижности его элементов и их группировок, при высокой психической однородности трудящихся, как всесторонне развитых сознательных работников.*

#### 4. Распределение

Распределение подчиняется условиям и потребностям производства. Его абстрактный закон состоит в том, что каждый элемент общества — группа или отдельный член — должен получить все необходимое для выполнения их производственной функции. Закон этот, действующий до сих пор лишь как стихийная тенденция, с постоянными колебаниями и нарушениями, в эпоху коллективизма становится принципом научно-сознательной организации общества. Формы же распределения, из него вытекающие, должны оказаться различными на разных стадиях этой социальной системы.

Так, в переходную эпоху, когда новый строй только складывается, когда его производительные силы еще ограничены и принудительная дисциплина труда еще не может быть устранена, распределение должно основываться на пропорциональности между трудом и вознаграждением. Обществу нельзя выйти из этих рамок потому, что иначе в его распоряжении оказалась бы недостаточная сумма труда. Оно должно еще завершить трудовое воспитание своих членов, особенно тех, которые вышли из семей, принадлежащих прежде к господствующим классам; а кроме того, оно вынуждено быть экономным в потреблении, чтобы гарантировать всем достаток, и в то же время быстро расширить и укрепить свою техническую основу, от которой зависят прочность и устойчивость нового строя.

На следующей ступени, когда производительные силы общества доведены до высоты, делающей экономию излишней, когда его организация вполне установилась, а пережитки индивидуализма и паразитизма исчезли, тогда ограничительные мотивы отпадают, и в области распределения воцаряется та же свобода, как в области производства: «от каждого по силам, каждому по его потребностям».

В первой фазе труд «вознаграждается» обществом, и, следовательно, хотя частное присвоение средств производства уничтожено, но остается индивидуальная собственность на предметы потребления. Во второй фазе понятие «собственности» одинаково неприменимо ни к средствам производства, ни к предметам потребления: история этой экономической категории тогда завершена, содержание изжито.

Новый аппарат распределения, заменяющий собою стихийный механизм рынка, должен с самого начала отличаться громадной сложностью; его основу должна составлять

точнейшая, непрерывно текущая статистика производимых продуктов и их потребления. Уже современный рынок создает разные подсобные аппараты, являющиеся смутными прообразами будущих методов распределения: осведомительные организации бирж, агентуры и комитеты экспертов при крупных кредитных предприятиях, выясняющие положение рынков, и пр. Еще больше для подготовки новых форм распределения должны дать рабочие организации типа кооперативов.

Война и военно-государственный капитализм создали новые, более сложные и широкие распределительные аппараты. Но, будучи вообще приспособлены к нынешней, капиталистической системе, все эти зародыши не могут послужить даже непосредственным материалом для новой организации распределения, а в лучшем случае, как рабочие кооперативы, представляют подготовительную школу для воспитания организаторов, на которых история в переходный момент возложит дело строительства в этой области.

## Завтра ли?

В левом, интернационалистском крыле нашей социал-демократии теперь господствуют взгляды так наз. «максимализма», кажется, значительно менее распространенные среди наших европейских товарищей. Сущность этих взглядов сводится к той мысли, что осуществление социализма является исторически уже вопросом завтрашнего дня, что переживаемый человечеством теперь кризис *есть именно кризис перехода от капитализма к социализму* и в своем последовательном развитии завершится социалистической революцией. Предполагается, что основные условия для такого перехода в передовых странах уже назрели и что там борьба пролетариата за мир разовьется в борьбу против основ нынешнего строя. Одержав в ней победу, пролетариат Европы и Америки выполнит дело социализма сначала у себя; потом поможет рабочим отсталых стран, как наша Россия, сделать то же самое; и мировая организационная задача коллективизма будет разрешена.

Естественно поставить вопрос, *как* она будет разрешена. Я имею в виду сейчас не боевую сторону этого решения, не ход борьбы за него, а сторону положительно-практическую, самое создание нового строя.

Едва ли кто станет отрицать, что для задачи столь грандиозной и столь сложной необходима *строгая научная постановка*. Но что означает здесь слово «научность»? К *какой* науке обратиться за помощью и руководством в решении мировой организационной задачи? — Кажется бы, логически неизбежно — к *организационной* науке. Но где она? В знакомом нам цикле дисциплин ее до сих пор не имеется.

На это скажут, что она существует, только под другим именем. Социализм есть задача «хозяйственная», задача планомерной хозяйственной организации; она решается посредством «хозяйственного плана». Следовательно, выработать его должна «хозяйственная» или *экономическая* наука.

Но тут обнаруживается большое и досадное недоразумение, которое зависит от неточного употребления слов. «Хозяйственный» и «экономический» считаются точными синонимами в обывательском сознании, равно как и в буржуазной науке, но весьма несправедливо. На деле «хозяйство» включает в себе не только «экономику», т. е. взаимоотношения людей в производстве и присвоении, но также «технику», т. е. отношения людей к природе, всю сумму методов борьбы с нею или ее эксплуатации. Мы даже знаем, что экономика *определяется* техникой. Значит, «хозяйственный план» имеет экономическую и техническую стороны, причем именно вторая есть основная. Ясно, что выработать «хозяйственный план» с помощью одной экономической науки — все равно что решать без хозяина.

Вот пример. Различные источники технической энергии — солнечное тепло, водяная сила, уголь — распределены на земле весьма неравномерно; человеческая рабочая сила размещена также без соответствия с ними, — а в значительной мере и пути сообщений. Вопрос о том, как планомерно перераспределить все это, гораздо более технический, чем



экономический. Таковы же вопросы о жилищах, как они будут становиться с точки зрения освобожденного человечества, о сохранении или расселении миллионных городских центров и пр. Теперь такие вопросы могут, конечно, решаться в порядке общественной стихийности, вызывая расточение сил и много лишних страданий; но тогда это будет невозможно — требование планомерности есть самая сущность социализма.

Итак, к делу должна быть привлечена еще «техническая» наука или, вернее, совокупность таких наук, потому что их очень много. Вдобавок, это науки *прикладные*, т. е. не самостоятельные по своим методам; научно решать свои вопросы они могут, только опираясь на естественные науки и математику. Очевидно, этим последним должно принадлежать огромное руководящее участие в выработке социалистического хозяйственного плана.

Затем у него есть еще одна очень важная сторона. Осуществлять его, исходя из современного общества, приходится *политическим* путем, а именно в государственных, и вообще *правовых*, формах, хотя в дальнейшем развитии они, по всей вероятности, и должны отпасть. Так или иначе, политическая сторона имеется; а отсюда вытекает необходимость привлечения государственных или вообще юридических наук.

Однако и это не все. Мировая планомерная организация может проводиться в жизнь только коллективными силами, и притом соответственного ей — мирового масштаба: международным пролетарским коллективом. А всякий коллектив слагается из людей определенного типа и уровня духовной культуры, т. е. с определенным пониманием жизни, с определенным отношением к ней. Безразлична ли эта общая идеология для решения задачи? Очевидно, нет, потому что через нее преломляются и при ее посредстве оформляются все политические и экономические интересы. Эта общая идеология или «способы мышления» — *самая консервативная* сторона человеческой природы: она в наибольшей мере способна удерживаться как пережиток прошлого среди новых жизненных условий и отношений и может являться сильнейшим тормозом на пути к будущему. Яркий пример налицо: группировка классовых сил в мировой войне.

Почему пролетарии всех стран, вступивших в войну, а особенно их идеологи, так легко и быстро «сознали» свою солидарность с капиталистами своего лагеря и кровавое противоречие интересов с пролетариями чужого лагеря? Оставляя в стороне наивные пошлости, сводящие все дело к тому, что германские или иные рабочие «были обмануты», и добросовестно рассматривая факты, нетрудно убедиться, что причина именно в культурном состоянии пролетариата, в господстве над ним старых, не им выработанных, но с детства им воспринимаемых способов мышления. Новые, коллективистические, его собственные, уже складывались, но пока еще только частично, в ограниченной сфере привычных условий сотрудничества и привычных проявлений классовой борьбы; эти способы мышления еще не упрочились, не обобщились, не систематизировались так, чтобы охватить жизнь в целом, овладеть вполне классовой психикой, стать настоящим классовым сознанием, с твердой и неуклонной логичностью действующим во всех, даже самых неожиданных комбинациях, при всяком, даже мировом масштабе жизненных вопросов. Этого не было; и когда разразилась катастрофа небывало новая и небывало грандиозная, то новое мышление, зародышевое и разрозненное, оказалось бессильным перед нею и было парализовано, как ребенок перед невиданным и грозным зрелищем. На сцену выступили более глубокие слои массовой психики, где сохранялось культурное наследие прошлого, — мещанско-крестьянское мышление, с его примитивным национализмом. Оно было не зародышем, а оформленным, даже окаменелым пережитком; оно автоматически отвечало на запросы момента, и его ответы были вполне согласны со внушениями окружающей, буржуазной и националистической среды. Преломившись в этих способах мышления, «интересы класса» предстали в совершенно ином свете, чем прежде, и во имя этих интересов, не за страх, а за совесть пошли умирать и убивать германские, английские и иные пролетарии, пошли проповедовать национальные «законы права и справедливости» их идеологии. Позиция пролетариата в решении организационного вопроса войны определилась уровнем его *идейно-*

культурного развития.

Если уже здесь это было так, то в решении несравненно более сложного и трудного — мирового организационного вопроса — идейно-культурная его сторона тем более должна представлять огромную важность. В «хозяйственном плане» необходимой частью оказывается «план идеологический». Да и может ли быть иначе, если «хозяйственный», как и всякий вообще, «план» есть сам по себе *идеологическое построение*, продукт тех или иных *методов мышления* и если путь к реализации плана идет всецело через развитие классового сознания, т. е. оформленной *классовой идеологии*.

Итак, очевидно, что к научному решению задачи должны быть привлечены и науки, изучающие духовную культуру человечества во всех ее проявлениях. Это — целый ряд исторических и так называемых «философских» дисциплин...

В конечном же результате требуемое решение должно явиться *всенаучным*, а не просто экономическим или политическим, как привыкли наивно думать люди, более узко, чем следует, специализировавшиеся на этих двух отраслях знания.

Такова сложность задачи. Однако перед сложностью опускать руки не приходится. Ей надо, конечно, противопоставить общность усилий, разделение труда, исключительное напряжение сил, соответственное важности дела. Но затем обнаруживается еще другая трудность, едва ли не более значительная.

Дело в том, что огромное большинство наук развивалось до сих пор без малейшей связи с вопросом о мировом хозяйственном плане; только дветри из числа социальных наук вообще ставили этот вопрос, и из них только экономическая занималась им серьезно, хотя и далеко не систематично. Положение вполне понятное, если принять в расчет, чьими руками велась разработка наук и каким потребностям она удовлетворяла.

Людьми науки являлись до последнего времени в огромном большинстве представители классов либо прямо господствующих, либо к ним социально примыкающих — элементы, для которых социализм не только не составляет насущной жизненной задачи, но даже совершенно нежелателен. И обслуживала наука потребности организаций двух основных типов: частного хозяйства и государства. Первое построено на индивидуализме, второе, главным образом, на авторитарной связи; оба типа, следовательно, противоположны и враждебны товарищескому коллективизму.

Итак, наука, взятая, как она есть, в своем целом *принципиально* не подготовлена к решению задачи, потому что шла в иных направлениях. Она «буржуазна» — не в смысле простой защиты интересов буржуазии, что встречается только в некоторых отраслях социальных наук, а по своему *миропониманию* и *мироотношению*, по своему *способу мышления*, который есть ее душа, ее сущность; а это гораздо важнее, чем защита буржуазных интересов, потому что лежит гораздо глубже.

Можно ли считать случайностью тот факт, что люди исключительной энергии, выходящие из пролетариата, которым удается пробить себе дорогу до источников современной науки и действительно овладеть некоторыми из ее наиболее точных, наиболее, по-видимому, объективных отраслей, в большинстве либо просто покидают точку зрения своего прежнего класса, либо — что, может быть, еще вреднее — превращаются в людей социального компромисса, в успокоителей-оппортунистов? Если сводить этот факт к эгоизму и своекорыстию, то какое получается у нас понятие о характере класса, из которого они пришли? Если к действию на них новой обстановки, то каким мягким воском надо представлять эти, выделившиеся именно упорством и энергией, натуры? «Объективная истина чистой науки» должна, казалось бы, поддерживать их на высоте идеала; почему она не делает этого?

Люди, сшитые из клочков, ухитряются одновременно признавать учение о зависимости идеологии от классового строения общества и самодовольно издеваться над мыслью о буржуазности математики или физики. Правда, они обыкновенно и не знают ни той, ни другой. Но если бы они их и знали, они, вероятно, не поняли бы, насколько нынешний вид этих наук — мир голых абстракций — не соответствует их социально-трудовому

содержанию: это ведь науки, практически руководящие машинным производством. Люди, сшитые из клочков, в *основах* своего мышления всегда принадлежат прошлому; допуская буржуазность старой политической экономии, они верят во внеклассовую истину вообще, которая на деле всегда оказывается истиной господствующих классов; когда приходит маленькая война, они обвиняют в ней буржуазные интересы; а когда разражается война мировая, они объявляют ее не буржуазной, а национальной и моральной, войной за культуру, законы права и справедливости и т. д.

Как видим, использовать современную науку для прямого воплощения социализма в жизни не так легко. Требуется огромная предварительная работа: ее преобразование во всех отраслях, аналогичное тому, которое Маркс выполнил для политической экономии и отчасти для истории: преобразование в духе и смысле трудового коллективизма. Пока этого нет, наука остается не только, вообще говоря, *орудием* в руках господствующих классов, но, по мере надобности, и их *оружием* против класса, тяготеющего к социалистическому строю. А специализированная, недоступно-цеховая форма современной науки играет роль мощного оборонительного сооружения, за которым укрывается организаторская власть буржуазии с примыкающей к ней буржуазной интеллигенцией: эта форма делает науку *фактической привилегией* классов «образованных», имеющих большой досуг за счет прибавочной стоимости.

Допустим — как это ни мало вероятно, — что идеологам пролетариата, таким, какие они есть, удалось немедленно, теперь же преодолеть эти трудности: в их среде нашлось достаточно талантов, творческой энергии, знаний, критического уменья, чтобы преобразовать все отдельные науки сообразно новому способу мышления и новой задаче. Все науки поступают на службу мирового коллективизма и разрабатывают разные стороны его плана, каждая в своей области. Все ли тогда благополучно, и можно ли надеяться на «немедленное», успешное решение вопроса? Далеко еще нет: выступает на сцену трудность иного характера и порядка.

Предположим, что требуется построить огромный дом, пригодный и удобный для помещения тысяч людей. Все материалы имеются; работников масса: каменщики, плотники, слесаря, печники, стекольщики и т. д.; каждый прекрасно знает свою отрасль практически и теоретически; каждая специальная группа при этом *автономна* в выработке своей части строительного плана, как *автономны* отдельные науки в их нынешней специализации. Будет ли действительно *планомерным* дело постройки в его целом?

Вряд ли надо особо доказывать, что нет. Отдельные стороны плана неизбежно разойдутся между собою, и тем в большей степени, чем обширнее, чем сложнее задача постройки. Получится нечто вроде вавилонского столпотворения, мало похожего на научный хозяйственный план.

Чтобы избегнуть этого, необходимо над специальным знанием и уменьем каменщиков, плотников и т. д. поставить применение *синтетической* науки — инженерно-строительной. Каменщик умеет комбинировать в строительных целях элементы одного рода, плотник — другого рода, слесарь — третьего; но задача состоит в том, чтобы планомерно скомбинировать все эти *разнородные* элементы в стройную, целостную связь. Это и делает, опираясь на все данные специальности, техническая наука высшего порядка; и ее руководство тем необходимее, чем более значительную сумму разнородных материалов требуется целесообразно связать.

Мировая организационная задача, надо полагать, несколько сложнее постройки дома, хотя бы и очень большого. Элементы, которые она должна сорганизовать в научно-планомерное дело, также и многочисленнее, и разнороднее, чем строительные материалы: совокупность средств производства, рабочих сил человечества, его понятий и идей. Что же должно получиться, если выработку решения этой задачи будут автономно вести различнейшие специальные науки — технические, общественные, науки о духовной культуре? Очевидно, столпотворение в квадрате и в кубе, не более. И не сведется ли дело к бесполезной порче материала — в мировом масштабе, хуже той, свидетелями которой судьба

нас сделала за эти годы?

Итак, для решения задачи необходима *мировая строительная наука*, которая для всех специальных наук была бы тем, чем является инженер-архитектор для каменщиков, плотников и прочих специальных исполнителей. Эта наука должна быть учением о планомерных комбинациях всех возможных элементов мировой практики и познания: *всеобщая организационная наука*. Она — такая же необходимая руководительница в целостном и планомерном построении техники, экономики, идеологии единой системы коллективно организованного производства на Земле, как технические и естественные науки — в устройстве научной техники организованных частных предприятий нынешней анархической системы.

Каждая наука представляет собранный, оформленный и обобществленный, словом — социально организованный опыт человечества в определенной области явлений. Следовательно, наш вывод может быть выражен так: для решения мировой организационной задачи необходимо собрать, оформить и обобществить организационный опыт человечества. Как ни странно доказывать такую, казалось бы, само собой разумеющуюся истину, однако нельзя не считаться с тем, что она до крайности непривычна для огромного большинства нашей публики. Кто способен *понять* эту истину, для того она *уже* доказана. Но господствующие способы мышления заключают в себе величайшие препятствия к ее пониманию.

В обывательском сознании дело организации вообще не является вопросом науки, а только вопросом «искусства», в случаях же более сложных — вопросом «таланта» или «гения». Организации, в которых обыватель живет, — семья, хозяйство, государство — имеют *традиционный* характер, веками выработанное строение. Они сложились в стихийном историческом процессе, оформлены стихийным подбором; научная планомерность не участвовала в их созидании. Здесь также воплощен организационный опыт человечества, но в форме *донаучной и некритической*, в форме *обычая*, т. е. передающегося от поколений поколениям привычного хода действий и мыслей. Если обыватель, положим, хочет или, вернее, должен организовать семью, то самостоятельная работа его сознания сводится к выбору подходящего лица другого пола; в остальном почти все его действия предрешены традицией, полусознательной или бессознательно усвоенной из социальной среды: предрешены способы сближения с избранным объектом, формы и границы предварительного ухаживания, формальности последующих стадий и т. д. Предопределены прошлым в той же мере и методы и рамки его последующего ведения хозяйства, и отношения к ближайшему кругу соседей и знакомых, к государству, к церкви... Тут нет места организационному творчеству, или, вернее, роль его выражается бесконечно малою величиной: все решается «само собою». Здесь и складывается его точка зрения на организационные вопросы жизни: они просто не существуют для него, как вопросы, требующие исследования, обобщения, научной разработки.

Бывают, конечно, случаи, когда традиционные методы и формы недостаточны для автоматического решения поставленной жизнью задачи, и обыватель оказывается в организационном затруднении; напр., разлагается механизм его семьи, его хозяйства, возникают противоречия и конфликты в его мирке общественных связей; или давление внешних условий вынуждает устраивать непредусмотренные прошлым комбинации: изменять приемы и средства хозяйствования, объединяться для отстаивания групповых интересов, подвергающихся новым опасностям, и т. под. Тут выступает на сцену вынужденное организационное творчество; способа мышления такие отдельные случаи, конечно, не изменяют, и характер творчества определяется прежнею точкою зрения. Пока возможно и насколько возможно, оно все-таки держится за традицию: пользуется старыми приемами, изменяя их лишь в пределах самого необходимого, часто к большому ущербу для целесообразности; ищет в прошлом примеров и образцов, нередко весьма искусственно их подгоняя, на основании поверхностного сходства; и только по мере банкротства этих путей переходит ошупью к новым, постоянно оглядываясь и опять сбиваясь на старые.

В этом отношении очень характерные картины представляют революции последних веков. В XV–XVII веках реформаторы, которым приходилось вырабатывать организационные формы торгово-капиталистического общества, искали опоры в библейской традиции, старались воскрешать первоначальное христианство или ветхозаветно-патриархальный быт. Решение задач, в конце концов, оказывалось, разумеется, отнюдь не примитивно-христианским и не древнеизраильским; новое содержание, которое вкладывалось в старые организационные схемы, стихийно, шаг за шагом, изменяло их с самого начала; достижение результата, благодаря им, в сущности только осложнялось и замедлялось. Но идти иными путями тогдашнее организационное мышление не могло; для него они были не просто более легкими, а единственно возможными; и самые странные на вид аксессуары прошлого, напр., какое-нибудь многоженство пророка-реформатора или разрушение красивых «идолов» в католических храмах, были нужны ему, по крайней мере, временно, чтобы чувствовать себя в атмосфере прошлого, заветного, чтобы «старина слышалась» в «новизне» создаваемого.

Великая французская революция, вырабатывая формы уже для более высокой, мануфактурно-промышленной ступени капитализма, начала с того, что воскресила старинные, забытые учреждения — собрание нотаблей, потом Генеральные штаты. Затем, придя в процессе борьбы к разрушению монархии, она стала копировать республиканский Рим, социальная структура которого имела весьма мало общего с новой Францией. Копировались имена, костюмы, титулы, лозунги, добродетели, пороки, философское отношение к жизни стоиков и эпикурейцев и т. д. Насколько все это мало требовалось существом исторической организационной задачи, видно из того, что все это не удержалось в ее окончательном решении; но тут была та же самая потребность, в силу которой великой английской революции были необходимы ее псалмы и все ханжество борцов за различные буржуазные интересы. А позднейшие революции, особенно 48-го года, копируя великую французскую, уже обходились вполне или почти без ее античной оболочки, заимствуя другие ее стороны.

Новые классы, создавая организации для борьбы за свои новые интересы, подражают формам старых, по существу чуждых им организаций и лишь постепенно отделяются от этих форм. Так, масонство XVIII века, культурная организация поднимавшейся буржуазии, одевалось в оболочку цехового братства; рабочие союзы в начальных стадиях копировали те же цеховые братства или, особенно в Америке, брали образец с масонства. Политические партии Нового времени не только зародились в виде сект, но и сейчас, даже крайние левые, сохраняют немало пережитков религиозно-сектантского типа в своей практике; таков, напр., метод доказательства истины текстами из писаний авторитетных учителей.

Все явления этого рода, примеры которых можно было бы приводить в неограниченном числе, вытекают из основной черты обывательского организационного мышления: потребности в новом идти старыми путями, потребности чувствовать себя не творцами жизни, а лояльными исполнителями непреложных заветов. Для этого мышления творчество вообще есть преступление, которое может быть оправдано только тем, что истолковывается как возвращение к чему-нибудь прежнему, давно бывшему, как применение издревле указанных методов; творчество же самых методов есть преступление без оправдания, или, вернее, просто безумие, нечто немислимое, невозможное.

Такой способ мышления до сих пор царит почти безраздельно в сфере *организации людей* и преобладает в сфере *организации идей*; из этих областей и взяты все предыдущие примеры. В сфере *организации вещей*, т. е. «техники», дело обстоит уже иначе. Там уже ослабело это тяготение к прошлому, нет потребности сводить все новое к традиции; там творческая работа не боится себя самой, не ищет руководства в «заветах», а планомерно пользуется оформленным опытом прошлого как своим орудием и сознательно ставит *целесообразность* своим единственным критерием. Словом, там организационное мышление приняло вообще *научный* характер.

Однако в докапиталистические времена мышление также в области техники было

вполне подчинено традиции и там держалось за освященные временем заветы; а когда вынуждалось жизнью к преобразованиям, то старалось и в них сохранять формы и методы прошлого, обычно — к ущербу для целесообразности. Но экономическая конкуренция — стихийный двигатель капитализма — сделала технический прогресс необходимым средством борьбы предприятий за существование, необходимым условием их сохранения и победы в ней; в ряду столетий человеческое мышление приспособилось к этой необходимости и стало, по отношению к технике, научным, т. е. критическим и сознательно-прогрессивным. Это не помешало ему остаться в общем донаучным, — т. е. некритическим и традиционным, — во всех других областях.

Таково организационное мышление старых, социально-консервативных классов; и вполне естественно, что оно иным быть и не может. Но рабочий класс, в котором воплощается основная линия социального прогресса, класс — носитель высшего типа сотрудничества, находится в ином положении: он *вынужден* искать для своей жизни, для собирания своих сил, новых организационных методов, потому что только они могут дать ему историческую победу; в пределах же старых методов он обрекается на роль живого материала промышленности и пушечного материала милитаризма, о чем сурово напоминали ему учащающиеся поражения, понесенные от могучих хозяйских союзов, и еще суровее напомнила мировая война. И несомненно, он *ищет* новых методов, хотя пока еще только стихийно, ощупью; несомненно, он *находит* их, хотя пока еще лишь частично. Об этом свидетельствует своеобразие и гибкость его организаций, их колоссальный рост, несмотря на все препятствия, противопоставляемые старой системой; наконец, самостоятельная научная его идеология, уже захватившая области двух важнейших социальных наук, и зарождение в его среде нового классового искусства. Но все это — эмбрионы, а не зрелая жизнь, части, а не целое. В *целом* же до сих пор господствует прежний, от прошлого унаследованный и воспринятый тип организационного мышления. И с особенной силой держится он как раз у *идеологов* класса, еще в большей степени воспитанников старой культуры, чем те широкие массы, делу которых они служат.

От этого и зависит ошибочная постановка мировой организационной задачи, утопия завтрашнего перехода к социализму в том виде, как ее намечает радикальное крыло наших соц. демократов.

Логика ее такова. Планомерная организация мирового хозяйства есть «дело житейское», того же, в сущности, порядка, как устройство личной семьи, предприятия, политической партии, — только, разумеется много крупнее по масштабу. Требуется «планомерность»? Ну что же, выработаем «план» и будем его выполнять; это ли не «планомерность»? Необходима научность решения? И это готово: у нас есть наука, политическая экономия; а план «хозяйственный» — к ней же и относится. Задача сложна, трудна? Не беда: у нас найдутся люди опыта, искушенные в парламентской, профессиональной, кооперативной работе; найдутся организаторские таланты, наконец, организаторские гении: ведь задача выдвинута историей, значит, должны быть и подходящие люди, ибо в писании сказано, что история не ставит иных задач, кроме тех, для решения которых условия назрели. Против решения будет весь мир старой культуры, тот, который только что показал свою власть над телом и духом пролетариата? Не страшно: стоит лишь собрать вокруг плана многомиллионный политический кулак, — а для этого достаточно сознания классовых интересов. Конечно, не того сознания, которое проявили пролетарии в нынешней войне; но они увидят свою ошибку, и классовое сознание станет правильным.

Так обывательское организационное мышление ставит и принципиально решает мировую организационную задачу.

Чем бы это могло оказаться на деле? В лучшем случае — мечтой, которая не встретит отклика в массах. В худшем — правда, очень маловероятном — программой авантюры, самой мрачной в истории пролетариата, самой тяжелой по последствиям. Ее исход был бы с самого начала предрешен неравенством как материальных, так и культурных сил двух сторон, глубокой неподготовленностью одной из них к поставленной задаче. Естественным

концом авантюры явилось бы длительное царство Железной Пяты.

\* \* \*

Планомерная организация человечества предполагает обобщение и обобществление организационного опыта, его кристаллизацию в научной форме. Если этого нет, значит, еще не назрели исторические условия для решения задачи. Оно невозможно, как невозможна была бы система машинного производства без естественных и технических наук, обобщающих и обобществляющих технический опыт.

Нетрудно заранее указать главные возражения, которые встретит эта постановка вопроса.

Нам скажут: «Все, что вы говорите, это только отвлеченно-теоретические, доктринерские усложнения дела, без сомнения, очень трудного, но в своей основе несравненно более простого, чем вы его стараетесь представить. „Интеллигентские выверты“, которыми вы для этого оперируете, не требуют даже особого критического разбора — они опровергаются самой жизнью. Сама жизнь именно теперь наглядно, практически показала, что в деле планомерной организации общественного хозяйства не боги горшки обжигают. В Германии эта планомерная организация за годы войны фактически уже осуществлена государством, хотя, конечно, не в интересах народных масс, а в интересах господствующих классов. Там без всякой новой организационной науки сумели выработать и выполнить хозяйственный план, устранивший анархию производства. Для этого оказалось достаточно опыта прежних чиновников, инженеров, профессоров, политиков и других организаторов, буржуазных и, к сожалению, также пролетарских, оказавших им большое и важное содействие. Почему же нельзя было бы другой стороне выработать и выполнить *свой* хозяйственный план, но в интересах тех масс, от силы которых, в сущности, все зависит? А что касается действительно необходимого участия инженеров, хозяйственных администраторов, ученых и пр., то и оно будет гарантировано этой другой стороне, если за нею будет сила; разве им не все равно, кому служить, лишь бы условия были для них достаточно выгодны? а уж мы за этим не постоим. Тут не утопия, а самый трезвый расчет, основанный на простом здравом смысле, который не испугается того, что вы его называете обывательским организационным мышлением. Никакие соображения не могут опровергнуть явных фактов; а они говорят за нас. И никому, кроме врагов пролетариата, не могут быть выгодны попытки подорвать его веру в близкую осуществимость его идеалов».

Таково первое возражение. Оно обладает некоторой видимой убедительностью, которой я старался не ослабить своим изложением. Но все же оно сводится к большой ошибке, и эта ошибка лежит в самом его корне — в том «факте», который оно делает своим центром тяжести.

Этот «факт» — планомерная организация производства буржуазно-юнкерским государством — поразил воображение многих и внес большую смуту в умы, подорвав прежние оценки трудностей задачи и возбудив чрезмерно пылкие мечты. Но как у лошади Ариостовского Роланда<sup>21</sup> был один только недостаток, тот, что она была мертвая, так и в этом факте есть один, не менее важный недостаток: тот, что *его не было*. Организационная задача, которую решало и решило германское правительство при содействии всех общественных сил, была *вовсе не та*, которая выражается словами: «планомерная организация производства в его целом».

Несомненно, для очень многих это понятие сводится на самом деле только к тому, что какая-нибудь организованная воля, личная или коллективная, систематически вмешивается в производство, определяет его рамки и контролирует его ход. Но такой взгляд наивен и в высшей степени ошибочен. Вопрос заключается не в голой форме, не в осуществлении внешнеорганизационной схемы, а в практическом достижении практической цели. Предположим, что явился новый Аракчеев, в более широком масштабе, что ему удалось захватить достаточную власть и, посадив во всех предприятиях чиновников, подчинить всю

хозяйственную жизнь руководству надлежащего числа департаментов и что в результате, как и естественно ожидать, получилось быстрое расточение производительных сил, а затем крах всей этой системы. Можно ли тогда сказать, что вот была устроена планомерная организация производства, но затем она снова расстроилась? Очевидно, нет; ибо хотя у предположенного Аракчеева с его департаментами и был план, по которому они действовали, но все произошло не соответственно этому плану, в который, конечно, не входил ни общий упадок производства, ни революция со всеми ее неприятными для них же самих последствиями.

Что же в таком случае следует понимать под «планомерной организацией производства в целом»? Каким условиям должна она удовлетворять?

Мировая организационная задача не выдумана людьми, а поставлена всей живой действительностью. Практические противоречия капитализма: расточение общественных сил, материальных и культурных, в его борьбе, рыночной и классовой, господство в нем общественной стихийности над сознательными усилиями людей, сурово проявляющееся в его кризисах, мирных и военных, — таков исходный пункт задачи, реальные мотивы ее постановки. Все это — различные моменты *общей организационной неустойчивости* современного строя; и так как они коренятся в его анархичности, то решение должно оказаться в своей основе противоположно ей, что и выражается словами «планомерная организация». Но при этом, очевидно, подразумевается устранение всех существенных условий организационной неустойчивости, какие найдены и определены в подлежащей преобразованию системе. А если те или иные из этих условий остаются, то нельзя говорить о «планомерности»: их накапливающееся действие будет неизбежно нарушать расчеты организаторов, не допуская надежного предвидения; и дело пойдет *не* «по плану».

Ту ли «планомерность» осуществляла во время войны Германия, а в меньшей степени — и другие воюющие страны?

Прежде всего, «планомерность» на военном положении есть, очевидно, именно такая, при которой меньше всего гарантий, что дело пойдет по плану: внешние удары, падающие на страну, систематически направляются к нарушению и разрушению «плана». Да и вообще, теперь ясно, что в государственно-национальном масштабе, при обмене, конкуренции, возможности разрыва и войны между странами, действительная планомерность недостижима. У той же, напр., Германии нет своего хлопка, недостаточно меди, марганца, платины и других необходимых элементов производства; в этом она зависит от других стран — своих потенциальных врагов, которые, следовательно, могут, выбрав подходящий момент и условия, нарушить или разрушить планомерность ее производства.

С другой стороны, Германия в полной мере сохранила разделение общества на классы — и не только сохранила, но даже углубила его. Для рабочего класса созданы новые ограничения, частью и формально не относящиеся к высшим классам, частью же фактически их не затрагивающие. Если, благодаря войне, классовая борьба там временно замерла, то вряд ли можно сомневаться в неизбежности тем большего ее обострения после войны. Но классовая борьба, и еще обостряющаяся, принципиально исключает *организационную устойчивость* общественного механизма. А тем самым она исключает и действительную планомерность.

Итак, то, что делается в Германии, вовсе не есть решение вопроса о планомерной организации производства в целом. — И «планомерность» и «организация» там есть; но они относятся к *иной задаче*. Какой именно? Ответить легко, если строго держаться фактов.

Современная война автоматически устраняет большую часть обычных противоречий экономики капитализма — заменяя их, конечно, одним новым, далеко их все вместе превосходящим. Война создает колоссальный дополнительный рынок для товаров и такой же спрос на рабочую силу; этим приостанавливается действие всех тех отрицательных условий, которые порождаются ограниченностью рынка в обеих его областях, его анархическими, стихийными расширениями и сужениями. Капитал, в худшем случае — ценой перемещения в отрасли, нужные для войны, — перестает страдать от конкуренции других капиталов, от недостаточности спроса и от понижения цен; работник же — от



конкуренции других рабочих и от безработицы. Временно устраняются как раз те моменты, на которых главным образом и основывается необходимость перехода к общей планомерной организации производства; и тем глубже ошибка тех, кто полагает, что именно эта задача тут была поставлена и практически решалась.

Германия переживает мировую войну — истекает кровью и разоряется, как и все другие участвующие в войне страны. Вот в этот процесс расточения народных сил и народного богатства германское государство, в союзе или в компромиссном соглашении с различными классовыми организациями, старается внести «планомерность» и «организованность». Регулируется, в пределах возможного, идущее *разрушение социального организма*, а не вырабатывается социальный аппарат *сознательного трудового творчества*.

Регулировать приходится два параллельных процесса, порождаемые войною: с одной стороны, прямую растрату сил и средств на борьбу; с другой стороны, ограбление крупным капиталом, промышленным и аграрным, всех прочих классов общества, среднебуржуазных, полубуржуазных и небуржуазных. Если бы расточение сил и средств недостаточно равномерно распространялось на разные отрасли общественного хозяйства, то некоторые из них пришли бы к преждевременному крушению, которое сделало бы невозможным успешный ход войны. Если бы рост цен и военные прибыли не были поставлены в известные рамки, то крупные капиталисты и аграрии в своем буржуазном патриотизме разорили бы большую часть своих соотечественников, что опять-таки обессилило бы государство, как это в значительной мере и наблюдалось у нас в России. Государство, как *общая* организация капиталистических классов, принуждено было, в их *общих* интересах, обуздывать аппетиты групп, оказавшихся в наиболее выгодном положении, что и выполняло, по мере возможности, при помощи муниципальных, политических, профессиональных и всяких иных наличных организаций.

Государство *нормировало* массовое потребление, размеры производства, цены продуктов. Но от нормировки до планомерной организации в настоящем смысле этого слова расстояние огромное. Нормировка есть только одна сторона организующего процесса, и притом сторона *ограничительная*. Все *положительное*, все инициативное и творческое содержание организующего процесса лежит вне этого понятия. Нормировка сама по себе нового не создает, а только берет то, что уже есть или делается, и разными способами это ограничивает, ставит в рамки, чтобы устранить какие-нибудь нарушения или расстройства; а планомерная организация, кроме того, сама ставит свои задачи и в зависимости от них создает новое и перестраивает старое. Напр., нормировка потребления сокращает его, давая каждому не более фунта хлеба в день и двух фунтов сахара в месяц, что неравномерно, ввиду различия потребностей, и многих не удовлетворяет; а если производство хлеба и сахара еще уменьшается, то производится новое сокращение порций; если же оно невозможно или опасно, то сокращают производство менее важных отраслей, чтобы за счет их поддержать рабочими силами более важные. А планомерная организация потребления должна еще выяснить и различия потребностей, и насколько эти различия соответствуют целям общества, полезны для его развития; а затем, сообразно этому, если надо, расширить те или иные отрасли производства, переделать и заново приспособить их взаимные отношения.

Центральный нервный аппарат человека есть приспособление для «планомерной организации» его жизненных функций, если употребить слово «планомерный» в смысле объективной биологической целесообразности. В таком случае роль нормировки будут играть задерживающие функции специальных и общих нервных центров: это в точности то же самое организационное соотношение.

Следовательно, нормировка есть только часть того, что выражается словами «планомерная организация», и притом наиболее легкая часть задачи, наиболее доступная и для старых, до-научных организационных методов.

Но в данном случае было еще одно облегчающее условие: нормировать приходилось не прогрессирующее, а падающее производство, не накопление, а расточение производительных сил. То, что растет, объективно усложняется; то, что падает, объективно

*упрощается*. Объективно упрощаются, очевидно, и организационные задачи, относящиеся к такого рода процессам.

Ввиду всех этих обстоятельств нет ничего удивительного, что старому обществу удалось приблизительно решить задачу при старых способах организационного мышления и при содействии некоторых специальных наук. Но самая-то задача, как видим, состояла в том, чтобы *планомерно нормировать, на несколько лет войны и в национально-государственном масштабе, процесс расточения производительных сил общества*. А следует ли отсюда вывод, что на основе тех же средств и методов возможно решить задачу — *планомерно организовать, на неопределенное будущее и в мировом масштабе, процесс производства в прогрессивном развитии его сил*?

Ясно, что две задачи различны не только с количественной, но и с качественной стороны; и вся аргументация, основанная на их смешении, должна быть отвергнута.

Есть еще одна частная, но немаловажная ошибка в оптимистических расчетах: это надежда на готовность технической интеллигенции за хорошую плату осуществлять какой угодно хозяйственный план. Когда эта интеллигенция «планомерно организует» для капитала и бюрократии, нет ничего удивительного, что она делает свою работу и за страх, и за совесть, и, конечно, за вознаграждение: она — не господствующий, а подчиненный класс, и, устраивая «планомерность», не ослабляет, а укрепляет свое положение в обществе. Совершенно иное, если бы ей пришлось, хотя бы за еще повышенную плату, «организовать производство» для пролетариата: тут она сама, своими руками, работала бы над разрушением основ своей временной привилегии; ибо очевидно, что, наладив производственную машину и подготовив тем самым пролетариат к самостоятельному ведению всего дела, она лишилась бы выгод своего положения, потеряла бы свою «прибавочную стоимость» и растворилась бы в трудовых массах. Примеров такой самоотверженности в истории пока не встречалось.

Остается еще один аргумент у оптимистов завтрашнего дня — аргумент на вид фактического характера. Он таков:

Организация общества определяется в конечном счете уровнем развития производительных сил. На известном их уровне, коллективизм становится возможным и наилучшим выходом из накопившихся и обострившихся социальных противоречий. Разумеется, это должен быть очень высокий уровень; но разве теперь он не таков? Разве капитализм в своем стремительном движении не достиг грандиознейшего развития производительных сил, которое уже не вмещается в его рамки и, проявляя себя в невиданно жестоких кризисах, как нынешняя мировая война, ищет выхода в новую хозяйственную систему? Чего же еще ждать?

В подтверждение указывают на гигантский рост именно тех отраслей, которые производят средства производства: согласно теории, в «производстве ради производства» и выражается «тенденция капитализма к абсолютному развитию производительных сил». Приводятся подавляющие цифры в таком роде: среднее мировое производство чугуна за каждый час достигает 500 тысяч пудов; угля, в четырех только европейских странах, также за час — 4 миллиона пудов... В таких цифрах видят достаточно ясные «показатели достигнутой ступени обобществления трудового процесса»<sup>141</sup>.

Тут прежде всего приходится заметить, что никаких точных и вообще научных критериев, позволяющих на основании таких цифр делать вывод о «достигнутой ступени», к сожалению, еще не имеется, так что пока это только — дело субъективного впечатления. Грандиозность же цифр, — а значит, отчасти и сила впечатления, — зависит, между прочим, от выбора единиц меры. Если вместо «500 тысяч пудов чугуна в час» мы скажем:

---

<sup>141</sup> См. попытку комментария к резолюции циммервальдских максималистов в ст. «Социальное содержание империализма», «Летопись», 1916, 9, стр. 166–167 [Статья «Социальное содержание империализма» (Летопись. 1916. № 9) написана Л. Б. Каменевым. — *Ред.*].

«20 миллионов фунтов в час», цифра покажется еще грандиознее; напротив, «8 тысяч тонн в час» произведут значительно более слабый эффект; «120 кубических сажен чугуна» — еще слабее и т. д.

Сколько-нибудь осветить вопрос можно при такой его постановке: насколько разрослось, в общей системе труда человеческого, производство средств производства, которое, действительно, более всех других отраслей должно выражать «достигнутую ступень». Другими словами, какую долю трудовых сил человечества занимает это производство? И вот, если взять мировое производство тех же двух основных материалов всей промышленности — чугуна и угля — и, основываясь на их цене, оплате рабочей силы и приблизительной норме ее эксплуатации, вычислить, какая доля всей трудовой энергии, находящейся в распоряжении человечества, кристаллизуется в огромной годовой массе этих продуктов, то окажется: около 2–2½ и отнюдь не более 3 процентов. Результат, в котором как будто нет ничего подавляющего...<sup>142</sup>

\* \* \*

Как видим, основы оптимизма «завтрашнего дня», среди черного пессимизма сегодняшней действительности, более чем шатки. Они сводятся к отсутствию научного организационного мышления, ложному пониманию государственно-экономических форм, порождаемых войною, и субъективности в оценке достигнутого уровня производительных сил.

Следует ли из этого, что все остается по-прежнему? И тот практический минимализм, который господствовал до сих пор повсюду в социал-демократии, должен ли удерживаться также впредь, на неопределенные времена?

Конечно нет.

Дезорганизационный процесс, идущий теперь в мировом масштабе, несомненно и очевидно ставит перед человечеством организационную задачу в мировом масштабе.

## Программа культуры

Программа социал-демократии распадается на две части: минимум и максимум. Первая обращена к будущему строю, вторая — к нынешнему; первая намечает схему задач пролетариата в ту эпоху, когда он станет реальным хозяином общества; вторая выражает сумму требований, предъявляемых им хозяевам нынешнего общества и проводимых в борьбе и в компромиссах с ними. Где связь этих двух частей программы?

Является ли программа-минимум непосредственной подготовкой к выполнению программы-максимум? Очевидно, нет: если пролетариат создает себе сносные условия жизни *в рамках* старого строя, если он *приспосабливается* к нему и *приспосабливает* его к себе, каким образом это может непосредственно готовить пролетариат к делу *разрушения* старого строя и *творческой замены* его иным, принципиально новым?

В изложении программы-минимум, как ее основа, всегда указываются объективные линии развития капитализма, те его тенденции, которые, развертываясь в своем противоречивом движении, должны привести общество к постановке задачи — ликвидации капитализма, перехода к социалистическому строю: концентрация капитала, численный рост пролетариата и углубление пропасти между ним и господствующими классами, кризисы и проч. Но все это не дает ответа на вопрос о реальной подготовке пролетариата к роли сознательного строителя нового общества, его «планомерного организатора».

---

<sup>142</sup> Рамки статьи не позволяют мне привести самых расчетов. Но всякий, знакомый с экономическо-статистическими приемами и с общеизвестными данными мировой статистики о размерах производства и ценах, может легко их проверить.

Ответ до сих пор дается всегда иной, причем и старые минималисты и новые максималисты соц. демократии в этом пункте вполне согласны между собою: воспитание рабочего класса для роли мирового хозяина заключается, с одной стороны, в развитии его классового сознания своего положения и своих интересов, с другой — в его самоорганизации профессиональной, кооперативной и особенно партийной. Но так ли это на деле?

Классовое сознание своего положения и интересов в *рамках капиталистического общества*, как бы ни было ясно, полно и научно, не может готовить к роли организатора общества *принципиально иного* по строению и направлению жизни. Для этого нужно другое: *знание своих особых, новых методов организации* во всех областях жизни и во всех взаимоотношениях этих областей. Но ничего такого не предполагается в старых взглядах на классовое сознание.

Великий экзамен — мировая война — блестяще показала ограниченную силу и значение классового сознания в старом смысле. Какой пролетариат обладал им в наибольшей мере? Бесспорно, германский. Ну и что же?

Это — *минималистское* классовое сознание. Оно приспособляет пролетариат к условиям его существования в *капиталистической системе*. Правда, в составе классового сознания постоянно включают признание исторической миссии — осуществить идеал. Но от *признания* миссии до *уменья* ее выполнить... провал остается незаполненным.

Но, может быть, его заполняет самоорганизация, профессиональная, партийная, кооперативная? Ведь она на деле приучает класс к роли самостоятельного хозяина? Да, самостоятельного, но опять-таки — увы! — в *рамках условий капитализма*. Это значит в рамках его экономических и культурных законов — его денежного фетишизма, его формы собственности, всех его юридических и иных норм. А задача как раз в том, чтобы преодолеть эти условия. А если вся организация приспособляется, и не может не приспособляться к ним, то каким образом даст она методы обойтись без них? Например, в кооперативной работе обычно наибольшая доля трудностей, а значит, и главное содержание усилий заключается в том, чтобы приспособить дело к условиям рынка и конкуренции, в политической — к государственно-правовым формам, прежде всего — к данной конституции и т. под. Где же тут материал опыта для *принципиального преодоления* их?

Как мало все это готовит само по себе к конечной цели, показывают специальные виды оппортунизма, эпидемически развивающиеся среди деятелей-специалистов всех трех видов организаций: цеховой тред-юнионизм, торгашеский кооператизм, парламентский кретинизм.

Вообще же вряд ли кто станет отрицать, что воспитательная роль тех или иных организаций зависит в наибольшей мере от их культурного типа. Стоит только вспомнить католические и протестантские рабочие союзы или каких-нибудь американских «Рыцарей труда», не говоря уже о «желтых союзах». И несомненно, что в настоящее время культурный тип даже наиболее передовых организаций *минималистский*: все их задачи, все их интересы лежат в пределах существующего строя, социалистический идеал, пока лишь украшение их фасада.

Конечно, там накапливается организационный опыт. Но он так же мало научно оформливается и обобществляется в них, как в старых буржуазных и феодальных организациях — государственных, религиозных и иных; а следовательно, и не является, в этом виде, непосредственной подготовкой к научно-планомерной организации общества.

Итак, между программами минимум и максимум остается глубокий провал. Чем же он может и должен быть заполнен?

Детскому возрасту общественных течений, как и детскому возрасту отдельных людей, свойственны «наивные» противоречия мысли. Одно из таких противоречий мне неоднократно приходилось указывать в официальной теории наших соц. демократов. Это — ее отношение к «идеологии».

Исходя из положения Маркса, что идеология есть «надстройка», нечто «производное»,

«вторичное», эта теория относится к ней с явным, если можно так выразиться, пренебрежением. Всякое указание на серьезную, в каком бы то ни было смысле реально руководящую роль идеологии в социальной жизни она считает недопустимой ересью, вполне достаточной для отлучения, преступно-буржуазным «идеализмом».

И к той же идеологии у нее отношение *диаметрально противоположное*, лишь только это понятие выражается *другим словом*.

Что такое классовое сознание и «классовое самосознание» пролетариата? Нет никакого сомнения, что это — его *идеология*; по крайней мере я не знаю ни одного теоретика, который утверждал бы иное, напр., относил бы классовое сознание к материальной стороне производства.

Итак, классовое сознание есть надстройка, нечто производное, вторичное. Однако ему официальная теория придает, как всем известно, первостепенное, *основное* значение в жизни пролетариата, — значение определяющее, — *практически-руководящее*. Развивать классовое сознание пролетариата — именно такова, по официальной же формуле, первая и главная задача социал-демократии.

Отрицание за «идеологией» руководящей функции на словах, ее признание за «классовым сознанием» на поле практики — вот, выражаясь мягко, антиномия нашего марксизма, выдающая его теоретическую юность.

Эта антиномия находится в самой тесной связи с поставленным нами вопросом программы, и потому мы должны будем разрешить ее.

Что такое идеология? В официальной теории вы тщетно стали бы искать определения: она очень строга, но не стремится к чрезмерной точности. С понятием «идеологии» она оперирует, как с вещью вполне известной. Во всяком случае, она ее противопоставляет «экономике» и «технике», характеризуя эти последние вместе, как «материальную сторону» общественной жизни. К «идеологии», следовательно, должна быть отнесена вся «идеальная» сторона: мир понятий, мир художественных образов, мир норм. Другими словами, это — речь, познание, искусство, обычаи, право, приличия, нравственность.

Перечислением этим, однако, удовлетвориться нельзя. Дело идет о *жизненном* явлении или, вернее, о некотором цикле жизненных явлений. А они для нас определены только тогда, когда установлено их происхождение и значение в системе жизни, иначе говоря — их место и функции в ней. С такой точки зрения и должен быть решен вопрос — что такое идеология.

Решение, в сущности, весьма просто и элементарно.

Первичная форма идеологии — речь, элементами которой являются «слова-понятия». Научная теория происхождения речи, созданная гениальным филологом Нуаре, такова. Речь возникла из *коллективного труда* первобытной общины, а именно из «трудовых криков». Это звуки, произвольно вырывающиеся при физических условиях в силу связи дыхательного и голосового аппарата с остальным нервно-мышечным механизмом, вроде звука «ухх», вырывающегося при поднимании большой тяжести, «га» при ударе топором и т. под. Каждый такой звук был для членов общины естественным и понятным обозначением того трудового акта, к которому относился. Из немногих таких «первичных корней», путем медленных, бесчисленных вариаций в ряду веков, развилось все богатство человеческой речи. Что же касается мышления, оно есть «речь минус звук», те же слова-понятия, только произносимые вслух.

Какова была функция трудовых криков? Они служили средством объединения коллективных усилий, внесения в них ритмической правильности, затем средством призыва к труду, собирания работников для него. Все это — функции *организующие*. И во всем своем дальнейшем развитии, во всех своих последующих разветвлениях идеология сохраняет тот же характер и значение; это система *организующих форм* производства, иначе говоря — *организационных орудий* общественного бытия людей.

Так разве не очевидно, что и теперь все производство организуется посредством речи? Путем словесных обозначений устанавливается место каждого работника в производстве,

время его работы, его трудовая задача и способы ее выполнения — вся координация трудовых усилий.

Не менее ясно, что технические науки руководят техническим процессом, служат орудием его организации. А вместе с ними, как следующая ступень идеологического обобщения, науки естественные и математические. Аналитическое вычисление, геометрический чертеж, формулы механики и физики решают вопросы размеров и связи частей дома, моста, машины, а следовательно, и вопросы направления и распределения трудовых усилий в работе. — Для наук социальных — экономических, политических и пр. — доказывать их организационный смысл и значение, я думаю, нет надобности. Науки «логические» нормируют человеческое мышление, всякое обсуждение, всякое комбинирование слов-понятий; а так как оно служит орудием организации общественного бытия, то и эти науки оказываются таким же орудием высшего порядка.

Обычай, право, нравственность, приличия регулируют и контролируют всю практическую жизнь общества: самое понятие «норма» есть явно организационное. Весь капитализм практически организуется при посредстве *права* частной собственности и *морали* индивидуализма.

Вопрос кажется менее простым по отношению к искусству. Не только все эстеты буржуазного и феодального мира, но и все наши официальные теоретики упорно сводят роль искусства к «украшению жизни». С этой точки зрения долго рассматривался и решался ортодоксальным Старовером-Потресовым и другими вопрос о том, насколько нужно особое пролетарское искусство.

Начало искусства то же, что и начало речи: трудовые крики были зародышем трудовой песни. Ее применение для регулирования и координации трудовых актов можно наблюдать и теперь. То же можно сказать о боевой песне. Музыка, танцы с самого возникновения реально служили определенной цели: создавать *единство настроения* в коллективе, важное или даже необходимое для выполнения какого-нибудь общего дела. Так, перед выступлением в поход применялась боевая, возбуждающая музыка и специальные танцы, изображающие войну; перед коллективным обсуждением дел — серьезная, побуждающая углубляться в мысли музыка и размеренно-плавный «танец Совета». — А затем вряд ли кто станет отрицать, что искусство, во всех его видах, являлось и является средством *воспитания* людей. Но в чем заключается социальная сущность воспитания? В том, что человека, путем систематической обработки, делают пригодным к его жизненной роли — в обществе, в среде его класса, его группы. Другими словами, воспитание вводит человека в его общество, его класс, группу, приспособляет его к ним, как нормального их члена. Но это, очевидно, *организационная* функция; воспитание *организует* коллектив из человеческих единиц, служащих его материалом. А если так, то искусство, как воспитательное средство, есть также орудие *организации* коллектива.

Нет надобности особо выяснять сущность классового сознания. Оно объединяет, направляет, координирует, регулирует усилия и стремления людей, составляющих класс, — организует их жизнь в коллективную.

Теперь для нас ясно, что марксисты, признавая *на практике* организующую роль идеологий, в этом не ошибаются. Дальнейшее исследование вопроса дало бы нам массу подавляюще-доказательного материала в том же смысле. Война принесла невиданно яркие иллюстрации этого рода. Что может быть поразительнее сплочения враждовавших только что классов передовой страны — буржуазных, полубуржуазных и пролетарских — в один реакционный, истребительный блок посредством националистической идеологии, как это было в начале войны? Или вот пример более невинный: распоряжением правительства переведена часовая стрелка на час вперед — административная поправка к астрономической формуле, — и изменяются условия производства, потребление топлива, осветительного материала и пр.

Конечно, в иных случаях организующая функция идеологии может изменяться или даже извращаться. Бывает бессмысленная болтовня, которая ничего не организует, ложь,

которая дезорганизует, и т. д. Но это ничего не меняет в происхождении и социальном значении идеологии как типа форм, — ничего не меняет в том, что она не может быть жизненно понята с иной точки зрения. Ружье нередко за все время своего существования не успеет истребить ни одного живого существа; оно иногда служит средством сигнализации, иногда просто развлечения невинной стрельбой в цель. Но понять его устройство, техническое развитие и связь его частей сумеет только тот, кто будет рассматривать его как орудие истребления. Половой аппарат человека нередко всю его жизнь остается без применения; иногда же он получает применения экономические (проституция, брак по расчету), политические (браки, устраиваемые дипломатией) и иные, при разных извращениях даже самые неожиданные; однако научно понять его строение, эволюцию, болезни и расстройства, а также успешно поддерживать его гигиену и лечить его возможно, только исходя из той точки зрения, что это, собственно, аппарат размножения. Точно так же никогда не поймет строения и развития идеологического механизма и не сможет планомерно вмешиваться в него тот, кто не знает, что механизм этот есть организационное орудие коллектива<sup>143</sup>.

Как же все-таки примирить это значение идеологии с ее пониманием как «надстройки», которая «отражает» или «выражает» производственные отношения, и т. под.? Примирить весьма нетрудно, потому что и противоречия в действительности тут никакого нет.

Возьмем конкретный пример: железнодорожное расписание. Оно, несомненно, вещь идеологическая, и, несомненно, «надстройка» над реальной железнодорожной жизнью, «отражает» и «выражает» ее. Но почему-то здесь эти термины кажутся смешными. Почему именно? Да просто потому, что слишком бросается в глаза прямая практическая, организационная, а не «отражательная» функция: расписание *управляет* движением поездов; перемените в нем пару цифр — ничтожная идеологическая перемена, — и все движение дезорганизуется, наступает хаос и катастрофа.

Однако что было раньше — движение поездов или их расписание? Всем известно, что степенсоновские модели, первые паровозы, ходили без расписания; и всякому ясно, что именно развитие железнодорожного движения *определило* собою развитие расписаний. Это, как говорится в науке, *генетическая* связь двух явлений. Разве она помешает тому, что расписание, раз оно уже создано, управляет поездами, что оно, в свою очередь, *определяет* выход такого-то поезда в такой-то час? Да ведь оно для того и выработано: это последующая, *телеологическая* или *результативная* связь.

Дело в том, что организационное орудие неизбежно определяется именно тем, что оно организует. Так, развитие мозга биологически определилось развитием органов движения, у человека в особенности — его рук; но мозг и управляет руками. Или, напр., давно выясненное соотношение «толпы» и ее «героя», который ведет ее: генетически — герой есть «отражение» толпы, ее порождение; он впитывает в себя ее массовые смутные настроения и стремления, которые только оформляются в нем; но раз герой создан, уже он руководит толпой, она идет, куда он укажет. Ибо герой — организационное орудие жизни толпы, как мозг — жизни организма, идеология — коллектива.

Все это истины азбучно-элементарные; человеку следующего поколения будет непонятно, что их еще надо было доказывать. Однако факт налицо: в настоящее время их не понимает ни один из официальных теоретиков нашего марксизма и, разумеется, не знают

---

<sup>143</sup> Я вынужден здесь ограничиться этими краткими указаниями. Подробное изложение дела дано за 15 лет не один раз в целом ряде моих работ, из которых особенно укажу: «Наука об общественном сознании», 1917 г., и «Культурные задачи нашего времени» (цензурный заголовок, вместо «Культурной программы пролетариата»), 1910 г. Прибавлю, что сколько-нибудь членораздельной критики со стороны ортодоксов моя теория до сих пор не встретила, если не считать ее голого обозначения словом «идеализм». [ «Наука об общественном сознании. Краткий курс идеологической науки» — одна из главных работ А. А. Богданова, написана в 1914 г. для задуманной А. М. Горьким «Энциклопедии по изучению России» для рабочих. Освещает историческую эволюцию типов мировоззрений и явлений духовной культуры. — *Ред.* ]

пролетарские массы. При этом разница та, что теоретик, встречаясь с этой азбукой, ограничивается обычно замечанием, что она противоречит Священному Писанию Маркса и Энгельса; а толковый рабочий быстро и легко воспринимает ее как нечто весьма простое: для него, по своему трудовому опыту знающего, как орудие определяется материалом, который оно обрабатывает, тут нет ничего непонятного.

В чем же дело? В том, что *формы мышления* людей бывают различны, и это делает людей во многих случаях «взаимно идиотами», как выражался Лассаль. Исследование фактов жизни и природы с *организационной точки зрения* означает особый, новый способ мышления. Он чужд буржуазии, классу — творцу анархического, принципиально неорганизованного общественного строя, классу, веками воспитавшемуся на нем. Но для рабочего класса, организующего мир внешних, мертвых вещей в своем труде, себя самого — в своей социальной жизни и борьбе, этот способ мышления — необходимое приспособление, которое мало-помалу вырабатывается и, рано или поздно, должно сложиться вполне. — Что же касается наших теоретиков, то как бы ни было искренно их сочувствие *интересам* пролетариата, но по *способу мышления* они всецело — воспитанники буржуазии, буржуазного строя. Организационная точка зрения для них — нечто непривычное и неестественное; они органически не могут понять ее и потому не могут не бороться против нее, мешая своим влиянием ее развитию в головах пролетариев.

Хорошо, скажет читатель, пусть азбука, пусть важный и интересный, но все же это — чисто теоретический вопрос. Какое отношение имеет он к занимающей нас теме — социалистической программе, ее пробелу между максимум и минимум, ее осуществимости «завтра» или позже?

Отношение самое прямое; но для того, чтобы ясно его оформить, нужна еще одна «азбучная истина».

Человек не всегда владеет своим орудием: иногда орудие господствует над ним. Это бывает тогда, когда он не знает или не понимает своего орудия, его природы, строения, свойств. Напр., работник при машине, об устройстве которой не имеет ясного понятия, может быть только ее рабом, а не господином. Он служит при ней, а не управляет ею. В таком положении часто оказывается русский крестьянин, батрак при какой-нибудь «хитрой» сельскохозяйственной машине. Неожиданно для него она отказывается служить или ломается по неуловимым для него причинам, нередко и калечит его самого. Ее стихийная, недоступная ему закономерность легко разрушает всю «планомерность» его усилий.

В том положении находится и *коллектив по отношению к своим организационным орудиям, если он не знает их природы, не понимает их*. Тогда не он планомерно пользуется ими, а они стихийно господствуют над ним.

Знает ли, понимает ли рабочий класс природу, строение, свойства своих организационных орудий? Владеет ли он своей идеологией, или она владеет им? До сих пор возможен только один ответ — самый неблагоприятный.

Пролетариат не знает и не понимает даже самой *природы* своей идеологии — того основного факта, что она есть организационное орудие. А раз это так, невозможно ни планомерное обращение с этим орудием, ни тем более планомерное развитие его. Тут царствует стихийность, искание ощупью, тут масса уклонений и блужданий, лишней растраты сил.

Иллюстрации можно было бы приводить без конца. Ограничусь немногими.

Как известно, среди пролетариата даже наиболее передовых стран еще весьма распространено, — удерживается по традиции, — *религиозное* мировоззрение. Если бы рабочий знал и понимал, что всякая идеология есть организационная форма, и с этой точки зрения смотрел на религию, то, во-1х, ясно, что религиозные фетиши сразу теряли бы всю власть над ним; во-2х, он без особых усилий увидел бы, что ее организационный смысл относится к «авторитарной связи» людей, т. е. власти — подчинению; к этому сводятся и религиозные чувства: преклонение, покорность, слепая вера, — и религиозные схемы: отношение Бога и мира, духа и тела, жизни высшей и жизни низшей, опыта священно-



таинственного и обыденного. И так как рабочий по природе своей враждебен авторитарной связи, стремится выйти из нее и преодолеть ее, потому что в ней обречен всегда на страдательную роль, то отказ от религиозного мировоззрения получался бы легко и просто, сам собою. А вместо того критика религии ведется в рабочей среде либо мучительно-окольным путем буржуазных просветителей, путем схоластического анализа религиозных символов, их отвлеченно-научного опровержения, либо путем вульгарной, опошляющей вопрос агитации на тему о поповских выдумках и т. п.

А фетиши национально-патриотические, которые внушаются рабочему классу буржуазным миром как высшие самоценности... Все знают их роковую роль в нынешней войне, все знают, каким непроницаемым туманом окутали они головы пролетарских масс в передовых странах. Какой путь к их преодолению мог бы быть прямее и легче, чем выяснение того, какие общественные силы, в каких рамках и для каких задач они организовали раньше и организуют теперь? И какими способами, какой ценой, с какой медленностью преодолеваются они в настоящее время?

А кроме того, насколько, чисто практически, было бы менее трудно пролетариям разобраться во всяких «правах языка», «правах малых наций», «культурных и политических самоопределениях», если бы все это являлось к ним не в виде отвлеченно-юридических схем, часто даже выводимых из «простых законов справедливости», а в виде реально-организационных форм, классовых или межклассовых?

Другая область. Факты показывают, что те из рабочих, которым удается, благодаря исключительной энергии, пробиться до высот современной науки, обыкновенно в той или иной степени утрачиваются для рабочего класса: либо просто переходят в буржуазную интеллигенцию, либо, в лучшем (а может быть, и худшем) случае, становятся представителями оппортунизма, классового компромисса. Чистая наука «обуржуазивает» их, пропитывая буржуазными способами мышления, лежащими в основе ее построения, и в то же время отрывая их от мира «материального» труда, основы жизни пролетарского коллектива. Можно себе представить, насколько полезна для рабочего класса эта хроническая утрата его выдающихся элементов. А между тем разве это непреложная необходимость? Если бы тот же рабочий, идущий в науку, знал и понимал, что она не голая «сама по себе истина», а система форм и методов организации коллективных человеческих усилий, если бы он воспринимал и в свою очередь исследовал ее в этом смысле и с этой точки зрения, она не отрывала бы его от трудового мира и скрытый в ней фетишизм старых способов мышления не имел бы власти над ним. Сколько лучших научно-организаторских сил сохранилось бы тогда для пролетариата!

Пролетарское искусство находится до сих пор в зародыше. Конечно, это зависит прежде всего от исторической молодости класса, от недостатка досуга, образования и пр. Однако глубокое непонимание жизненной роли искусства должно служить немалым дополнительным препятствием. Представьте себе пролетария с призванием поэта, чуткую, остро реагирующую, творческую натуру, с жадной ритма и гармонии. Вокруг кипит борьба. Может ли он всей силой своего юного чувства и порыва отдать свое художественному инстинкту? «Искусство — только украшение жизни», — вдолбила ему буржуазная культура и продолжают долбить Потресовы и другие компетентные товарищи-ортодоксы. «Значит, я буду заниматься забавой, игрой, когда товарищи делают огромную, трудовую работу», — думает он; и радость творчества отравлена; и вот, вопреки себе, он идет на улицу, где оказывается, чаще всего, средним, истеричным агитатором. Насколько иначе и лучше относился бы он к своему призванию, если бы понимал, что, внимательно, зорко вглядываясь в жизнь и природу глазами, он во много раз успешнее мог бы работать для организации своего класса, чем повторяя на площадях обычные агитационные формулы.

А это вечное зло — оппортунизм парламентариев, профессионалистов, кооператоров, — он-то всего больше поддерживается культурной несамостоятельностью пролетариата, отсутствием у этих деятелей коллективистически-организационной точки зрения на свою работу. Они погрязают в цеховой ограниченности своих специальных

отраслей.

На отношения классов, на весь общественный процесс они смотрят через очки своей специальности, вместо того чтобы ее рассматривать с точки зрения общественного процесса в его целом и своего класса, как развивающейся всеорганизующей его силы. Измельчание идей и методов при этом неизбежно.

Политика, профессиональное движение, кооперация, взятые оторванно, сами по себе, дают картину непрерывной цепи *компромиссов*. Для того, кто понимает организационную сущность каждой из этих функций, практический компромисс, достигнутый в борьбе с врагами или с массовой инертностью и выражающий максимум достижимого в данный момент, отнюдь не есть «измена принципу», хотя бы частичная, а просто необходимый организационный акт в их общей цепи, очередной этап единого организационного процесса, форма которого выражается «принципом». Но для нашего специалиста, которому чуждо такое понимание, «принцип» и «компромисс» оказываются противоположностями; реализуется же на практике только компромисс; принцип «подчиняется» ему; а человек, который привыкает «подчинять» принцип компромиссу, есть несомненный и безнадежный оппортунист.

Но и это не все. Деятельность нашего парламентария протекает в мире норм, созданных буржуазным миром: парламентарий вынужден на каждом шагу приспособляться к наличной конституции, исходить в своих предложениях из прежних законов, считаться в своих политических шагах с имеющимися прецедентами и пр. Профессионалист, кооператор принуждены постоянно учитывать в своей работе всю суть законодательных и административных установлений, касающихся сферы их деятельности, проводить свои задачи сквозь различные, часто весьма сложные и запутанные петли этой сети. И так как у него нет единого и цельного взгляда на все это, нет ясного непрерывно критического отношения ко всем этим нормам, как организационным приспособлениям буржуазного мира, то он, привыкая иметь дело с ними, бессознательно подпадает под их власть, начинает видеть в них самостоятельные силы и самодовлеющие ценности; а это значит — подчиняется фетишизму норм, тяготеющему над буржуазным сознанием, способу мышления буржуазных классов. И соответственно ослабляется власть зарождающегося пролетарского способа мышления, власть пролетарского идеала.

Так идеологические орудия разными путями господствуют над современным социалистом, не понимающим их природы. А в результате — масса лишних сопротивлений в творческой работе пролетариата, мучительное искание во мраке ошупью своих собственных организационных методов, полная стихийность культурного развития.

Отсюда — ненадежное подчинение культуре старого мира, т. е. его организационным формам и методам, во всех тех случаях, какие не встречались или не являлись достаточно обычными в предыдущих стихийных исканиях пролетариата. Страшный пример налицо: поведение рабочего класса в мировой войне. Смешно и вредно затемнять смысл этого урока ссылками на развращающее влияние буржуазных и мелкобуржуазных «Mitläuter'ов» и пролетариата, его «попутчиков» из всякой демократической интеллигенции. Если они «попутчики», то почему же не они пошли за рабочим классом на революционный путь, а он пошел за ними на путь глубокой националистической реакции?

Культурная несамостоятельность пролетариата в настоящее время есть факт основной и несомненный, который надо честно признать и из которого следует исходить в программе ближайшего будущего. Культура класса — это вся совокупность его организационных форм и методов. Если так, то какой злой иронией — или каким детским неразумием — представляются проекты немедленно навязать пролетариату дело самого радикального, невиданно сложного и трудного во всей истории организационного переустройства в мировом масштабе? И это тогда, когда так часто на наших глазах распадаются и рассыпаются — нередко даже не от внешних ударов — его собственные организации...

Итак, пока рабочий класс не владеет своими организационными орудиями, а, напротив, они владеют им, до тех пор он, очевидно, не может и *не должен* предпринимать попытки

непосредственного решения мировой организационной задачи, попытки осуществить социализм. Это было бы авантюрой без малейшего шанса на успех, попыткой построить мировой дворец без знания законов архитектуры. Это был бы новый кровавый урок, вероятно, более жестокий, чем тот, который мы теперь переживаем.

А между тем мировая организационная задача *поставлена* ходом вещей, который, под угрозой полного крушения цивилизации, требует, чтобы эта задача была разрешена насколько возможно быстрее. И мы знаем, что классы буржуазные разрешить ее не в силах, ибо они, по всему воспитанию, по всей культуре, непригодны для этого.

Если так, то что же может и должен делать немедленно рабочий класс для решения задачи?

Дело ясное: направить свои усилия к *овладению своими организационными орудиями и к планомерной их выработке в полном масштабе задачи*. Это — его *программа культуры*.

Здесь заполняется провал между программой минимум и максимум. Если первая сводится ко взаимному приспособлению пролетариата и капиталистического строя, в котором он живет, а вторая — к созданию принципиально иного строя, то программа культуры означает прямую подготовку, в условиях старого строя, класса-организатора, творца нового строя. Это — *необходимая динамика* решения мировой задачи.

Та *самоорганизация рабочего класса*, которая совершается пока еще стихийно, ощупью отыскивая свои формы и методы, в его объединениях, профессиональных, политических, кооперативных, просветительных, составляет *естественную основу* культурной программы.

Дело идет о *продолжении и развитии* этой самоорганизации, но с переходом в *новую фазу* — *сознательно-планомерного искания, выработки, усвоения, распространения организационных форм и методов*.

Потребуется немалая работа: *полный пересмотр всего наличного культурного наследия*, полученного пролетариатом от старых классов, — пересмотр *с новой, коллективно-трудовой точки зрения*, которая есть вместе с тем *научно-организационная*; и одновременно с пересмотром — *необходимое дополнение* этого наследия всюду, где оно недостаточно для новых задач, *собственным идеологическим творчеством рабочего класса, научным, художественным, практически-нормативным*.

По мере того как это будет делаться, новый смысл и новую силу будет приобретать вся предыдущая работа: организационный опыт человечества будет обобщаться и концентрироваться в растущем рабочем коллективе.

В настоящее же время не только этого нет, но и собственный организационный опыт рабочего класса лишен всякой связности, всякого научного оформления, в значительной мере — лишен даже непрерывности. Большая часть его не накапливается, а бесплодно рассеивается и теряется. Он в смутной традиционной форме хранится в отдельных организациях, усваиваясь каждым лишь в мере его участия в общей работе. А опыт отдельных крупных организаторов, талантов и гениев своего дела, или просто старых работников, за десятки лет накопивших массу организационных приемов и навыков, которых они не умеют обобщать и передавать другим, исчезает вместе с ними, когда они умирают или уходят. Отсюда несоразмерная роль таких организаторов, «вождей», в рабочих организациях, унижающая пролетариат и поддерживающая в нем авторитарный дух повиновения и слепой веры.

Прибавьте к этому непрерывное, разъедающее и подтачивающее действие окружающей старой культуры, ее организационных форм и методов, выражаемых всей буржуазной наукой, искусством, нормами морали и права. Она незаметно подрывает новые методы дела и мысли при самом их зарождении, отесняя их или придавая им оппортунистический, двойственный характер. Там, где в мироотношении человека складывается «мы, коллектив», она упорно подсказывает «я, самодовлеющая личность»; где он начинает улавливать «организованный социальный опыт», она вдальблывает ему «чистую, абсолютную истину»; где он начинает становиться на точку зрения «развития коллективной силы», она

подсовывает ему «чистый моральный идеал»; когда он прислушивается к пульсу жизни своего класса, растущего для превращения во все человеческое общество, она внушает ему «общенациональные интересы» или «простые законы права и справедливости» и т. п. И он бессилен против этого нашептыванья, развращающего его практику и мышление, пока не знает природы идеологических сил, пока не видит путей овладеть ими.

Посмотрите. До сих пор большинство английских и американских тред-юнионистов и немалая часть синдикалистов других стран понимают организацию как «союз отдельных личностей, совместными действиями осуществляющих свои личные интересы». Это — понятие *чисто индивидуалистическое*, выработанное в различных группировках мелкой, а затем и крупной буржуазии (цехи, товарищества, синдикаты хозяев и пр.). Попробуйте строить социалистическую организацию на основе *такого* отношения к ней. С этой точки зрения каждая рабочая профессия неизбежно предъявила бы к организуемому новому обществу свои максимальные требования. Оно не в силах было бы удовлетворить их совокупности, но и не имело бы способов безобидно их ограничить, предотвратить жестокие столкновения интересов между отдельными специальностями. При капитализме эти столкновения устраняются внешним давлением капитала: каждая профессия предъявляет свои максимальные требования *капиталу*, а не совокупности других профессий и не вступает в противоречие с ними. При социализме сдерживающие рамки внешней классовой силы отпадают, и если каждая профессия рассматривает, как теперь, свои интересы сепаратно — освобождаются и вспыхивают также противоречия всех этих групп.

Надо понять. Социализм не есть дело выигранной битвы или настроения, порыва, массового устремления воли. Конечно, все это есть в нем; но настроения и порывы не кристаллизованные прочной идеологией, стремления, не организованные в устойчивую классовую волю — в твердо сознанный идеал и ясно установленный путь к нему, никогда не могут решить задачи: классовая стихийность не может создать всеобщей плановности. *Социализм — дело метода*.

Идеологическое развитие пролетариата, как и буржуазных классов, до сих пор совершается стихийно. У них зато имеется огромное количество идеологических сил; у пролетариата же — очень мало. И вот результаты: в пролетарской науке уже 30–40 лет застой, какому не найти подобного, вероятно, ни в одной отрасли науки официальной, буржуазной; пролетарское искусство — в пленках; а о степени массового проникновения пролетариата революционно-классовым сознанием достаточно ясно говорят уроки войны. Поворот необходим.

На практике за эти десятилетия повсюду господствовал *минимализм*. Следовательно, пережитое крушение социал-демократии есть именно *его* крушение, культурное и политическое. И если теперь минимализм ведет себя так, как будто ничего не случилось, если он не признает необходимости глубокого изменения задач и методов работы и борьбы, то это — второе крушение, окончательное свидетельство бессилия.

Максимализм явился реакцией против застойности минимализма; он понял, что в области *задач* пролетариата выступила необходимость глубокого изменения. Но в понимании *методов* он стоит, по существу, на прежней позиции, не понимая того, что старые революционные методы недостаточны для революции *принципиально нового* типа. Это делает его утопией.

Необходим поворот к *программе культуры*. Социализм осуществится тогда, когда старому культурному миру, с его опытом тысячелетий и вполне сложившимися методами, будут противопоставлены не только политическая сила и «хозяйственный план», а новый мир культуры, с новыми, высшими методами. Чтобы победить общественную стихийность, рабочий класс должен преодолеть стихийность собственного развития. Он не может дать миру того, чего сам не имеет.

Вопрос о максимализме не есть просто вопрос о том, скоро или не скоро, завтра или послезавтра. Теоретик максимализма Лурье полагает, что целые десятилетия потребуются, чтобы «освоиться с окончательностью своего пролетарского положения» массам

неустойчивых или недавно вступивших элементов германского рабочего класса. Но при нынешнем темпе развития, как показывает опыт, несколько десятилетий достаточно и для глубокого культурного переворота. Вопрос заключается в том, способен ли пролетариат, *такой, как он есть*, не проходя существенно нового этапа в своем организационном и культурном развитии, выполнить дело социализма. Максималисты полагают, что да, способен, его воспитание в *основном* достаточно и закончено; требуется только боевое сплочение сил. Мы видели, что нет, что такой, как он есть, он еще не может достигнуть своей великой цели.

Кто хочет цели, тот хочет и необходимых средств. И они будут в руках пролетариата не в таком уже далеком будущем, если он твердо и сознательно пойдет к овладению ими.

Новый культурный мир рабочего класса — это и есть *действительное* зарождение социализма в настоящем, максимализм развития и творчества, а не мечты и авантюры.

А «материальные условия»? Почему о них нет речи? Да просто потому, что *если* созданы условия культурные, то, *значит*, материальные уже налицо. Организующие формы не могут возникнуть раньше того содержания, для организации которого они послужат.

Из царства необходимости в царство свободы ведет не скачок, а трудный путь. Но каждый шаг этого пути есть уже завоеванная частица самого царства свободы.

## Военный коммунизм и государственный капитализм

Исследователям происходящего на наших глазах переворота в социальной жизни чужда до сих пор научно-организационная точка зрения. Только вследствие этого они игнорируют факт огромного масштаба, имеющий сильнейшее влияние на ход экономического и идейного кризиса — на врезающуюся в систему капитализма *военно-коммунистическую организацию*, на ее рост и распространение с фронта на тыл.

Армия вообще, и в мирное и в военное время, представляет обширную *потребительскую коммуну* строения строго *авторитарного*. Массы людей живут на содержании у государства, планомерно распределяя в своей среде доставляемые из производственного аппарата продукты и довольно равномерно их потребляя, не будучи, однако, участниками производства. Коммунизм этот простирается, главным образом, на низы армии, на собственно «солдат», которые живут в общих казармах, получают общий стол, казенную одежду и снаряжение. Несколько процентов ее состава — иерархические верхи, офицерство — более или менее изъятые из коммунизма, но и те не вполне: часто они могут получать солдатский паек, обмундирование, большей частью — казенное вооружение. В мирное время вся коммуна настолько мала по сравнению с обществом в целом, что ни в структурном, ни в культурном смысле отнюдь не может оказывать решающего влияния на его жизнь: несколько сот тысяч человек, объективно-бесполезных для общества, среди нескольких десятков миллионов экономически активного населения. Но теперь это соотношение существенно изменилось.

Оно изменилось, во-первых, количественно: армия составляет уже 10–15 процентов населения вообще и гораздо более значительную долю трудоспособных его элементов. Во-вторых, качественно: армия перестала быть бесполезной, она сделалась необходимейшим органом защиты и спасения целого. Естественно, что влияние армии, структурное и культурное, на весь общественный процесс колоссально возросло.

Характер этого влияния определяется двумя отличительными чертами военного аппарата, которые уже указаны нами: авторитарное строение, потребительный коммунизм. То и другое вносит глубокие преобразования в социальный ход вещей.

Я не имею в виду особо рассматривать развитие авторитарности на основе войны. Главные факты общеизвестны: рост подчиненности трудовых масс, тяготеющий к полному их закреплению; переход от свободно гражданского порядка в передовых демократиях к правительственной диктатуре, которая в то же время является на деле олигархией социальных верхов; рост религиозности, т. е. авторитарного миропонимания и

мирочувствования, в широких общественных слоях, где раньше укреплялись свободные и научные формы сознания. Все это важно в высшей степени; но теперь нас занимает другая сторона дела.

Потребительный коммунизм армии проводится на войне по необходимости глубже и последовательнее, чем в мирных условиях. На фронте почти все прежние изъятия из него исчезают; в тыловых частях они тоже уменьшаются, и даже в офицерском хозяйстве роль государственного снабжения возрастает. Но гораздо важнее новый процесс, развивающийся под действием войны: *постепенное распространение потребительного коммунизма с армии на остальное общество*.

Первый этап в этом направлении — пособия семьям призванных. Денежная обычно форма пайка солдатских жен и детей не меняет смысла того основного факта, что на содержании у государства, если не вполне, то в значительной мере, оказываются еще многие миллионы людей, совершенно независимо от какой-либо их собственной функции в производстве, не по принципу найма, а по принципу права на удовлетворение потребностей. Это — прямое продолжение солдатской коммуны в стране.

Затем, разрушительный для общественного хозяйства ход войны, приносит потребительному коммунизму новые завоевания. Начинается общий недостаток в продуктах. Система их частного присвоения, с ее специфической неравномерностью в распределении, резко обостряет этот недостаток. Вводится карточное регулирование. Потребляемый продукт уже не является в полной мере индивидуальной и меновой собственностью: каждый имеет право на 200 грамм хлеба; но никто не может купить для себя больше этих 200 гр., и никто не может свыше их продать отдельному покупателю; а также никто не имеет права оставить у себя излишек произведенного или раньше купленного хлеба до благоприятной рыночной конъюнктуры.

Однако анархия рыночного распределения еще дает себя чувствовать. Можно иметь право на 200 грамм, но не обладать средствами для их покупки, если цена остается свободною. Может и просто не быть этих 200 грамм на местном рынке, тогда как на других местных рынках есть излишек сверх карточного спроса; и эта неравномерность, конечно, поддерживается продавцами ради повышения цен. Необходимо регулирование цен и всего сбыта — новый крупный шаг потребительного коммунизма, новое ограничение частной собственности на продукты.

При продолжающемся экономическом упадке регулирование сбыта оказывается бессильным без регулирования самого производства: капитал частью теряет охоту к производству нормируемых и потому не дающих истинно военной прибыли предметов необходимости, частью переходит на более выгодные, хотя бы и менее насущные производства, частью укрывает готовые продукты от учета, чтобы вынудить повышение такс и твердых цен или чтобы нелегально спекулировать продуктами, идя на некоторый риск ради огромных барышей. Становится необходимостью контроль и над направлением, и над размерами производства, а следовательно — над распределением материалов, орудий труда, рабочей силы. Если государственный контроль над сбытом уже ведет к принудительному объединению целых отраслей в синдикаты, то регулирование производства во многих случаях приходит к еще более радикальному приему — принудительному трестированию, слиянию целых отраслей в акционерные организации, с утратой остатков независимости отдельных предприятий.

В неразрывной связи с регулированием производства находится государственная трудовая повинность. С организационной стороны она сводится до сих пор обычно к авторитарному закреплению рабочих и представляет явное распространение принципов военной организации на трудовые классы общества.

Так возникает современный «государственный капитализм», организация общества и по происхождению, и по объективному смыслу вполне подобная организации, создающейся в осажденных городах. Ее исходный пункт и основа развиваемых ею форм — военный потребительный коммунизм; ее движущая сила — прогрессивное разрушение

общественного хозяйства; ее организационный метод — нормировка, ограничение, осуществляемое авторитарно-принудительным путем.

В высшей степени характерно и важно для понимания этой системы то обстоятельство, что в ней преобразование форм идет *из области потребления*, переходя через область сбыта в сферу производства. Это порядок совершенно противоположный нормальному — там развитием *производства* определяются изменения форм распределения и потребления. Ничего загадочного, однако, теперешний извращенный порядок не представляет: там дело идет о процессах роста, усложнения, вообще о *прогрессивных* изменениях социального организма; тут о процессах упадка, разрушения, упрощения, т. е. о *регрессивных* явлениях. Толкающее действие прогресса производительных сил обнаруживается прежде всего именно там, где они накапливаются; давление регресса выступает непосредственно в области потребления и истребления того, что произведено предыдущим трудом.

Это, конечно, не означает, что самые преобразования, вызванные регрессом сил общества, не нужны или вредны; напротив, регулируя процесс упадка, они замедляют и смягчают его ход; они — необходимые в данных условиях приспособления. Но характер и вероятная судьба этих приспособлений не могут быть правильно поняты, если упустить из виду их генезис. И особенно не может быть тогда правильно понято их отношение к социализму.

Как решается вопрос о дальнейшем развитии государственного капитализма? Для одних — очень просто: кончится война — и он отпадет. Это, конечно, вульгарная точка зрения. Всякое жизненное приспособление, а особенно такого огромного масштаба, раз оно создано, имеет тенденцию сохраняться и после исчезновения породивших его условий, а устраняется или даже только видоизменяется не иначе, как действием каких-нибудь определенных достаточных сил. Другие решают иначе, в таком роде:

«Не подлежит никакому сомнению, что эта „военная“ организация производства отнюдь не исчезнет по окончании войны, а, наоборот, будет развиваться вширь и вглубь, захватывая все новые отрасли труда, подчиняя своему господству все новые страны, — ибо нет другого способа покончить с ужасным финансовым наследием войны, залечить нанесенные ею раны и справиться с труднейшей проблемой демобилизации мирового хозяйства»<sup>144</sup>.

Возможно, что ход вещей окажется именно таков. Но утверждать, что это «не подлежит никакому сомнению», было бы научно только в том случае, если бы заранее были установлены необходимые предпосылки и вполне выяснено, что они должны оказаться налицо. Ибо для *дальнейшего развития* новой организации, а не простого ее сохранения необходимо, *чтобы дальше развивались* те условия и движущие силы, которыми она порождена.

В чем состоят эти предпосылки, мы уже знаем: рост потребительного коммунизма; прогрессивный упадок производства. Что же по отношению к ним можно предвидеть?

Сам по себе потребительный коммунизм с окончанием войны и началом демобилизации должен был бы пойти на убыль: уменьшение военной коммуны до обычных

---

<sup>144</sup> Базаров В. Русская революция и социализм // Новая жизнь. 1917. № 39. [Базаров (Руднев) В. А. (1874–1939) — социал-демократ, философ, экономист, публицист, друг А. А. Богданова, в 1903–1909 гг. — большевик. Вместе с И. И. Скворцовым-Степановым перевел на русский язык три тома «Капитала» К. Маркса. Автор этюдов о философии Э. Маха, Р. Авенариуса и А. Бергсона. Подвергнут критике В. И. Лениным в книге «Материализм и эмпириокритицизм». В 1917 г. — член редакций «Летописи», «Известий» Петроградского Совета и газеты «Новая жизнь», один из организаторов общества «Культура и свобода». Рассматривал Февральскую революцию как начало социалистической революции при условии «внутреннего перевоспитания пролетариата». Один из учредителей партии РСДРП-интернационалистов, член ее ЦК и докладчик на съездах в январе и мае 1918 г. В 1919–1921 гг. — член редакции меньшевистского журнала «Мысль» (Харьков). С 1922 г. заведовал отделом Госплана СССР, внес большой вклад в разработку методологии народнохозяйственного баланса. Был членом Комакадемии. В последние годы жизни занимался переводами («Разговоры с Гете» Й. П. Эккермана. М., 1934, и др.). — *Ред.*.]

размеров, прекращение казенного пайка семьям солдат. Но тогда начинается заключительная, как можно по всем основаниям предвидеть, чрезвычайно тяжелая фаза военного кризиса: экономическая демобилизация. В этой фазе количество продуктов, доставляемых системой производства, временно еще уменьшится, ее упадок еще обострится; а следовательно, государственный капитализм на самом деле должен еще усилиться. Но, если человечество окажется вообще способно преодолеть этот кризис, настанет момент, когда производство начнет успешно поддерживать себя и покрывать потребление, затем понемногу расширяться. С этого момента прекращается действие сил, движущих развитие по пути государственного капитализма; и раньше подавленное действие других сил выступает на сцену.

В значительной мере оно может быть аналитически намечено заранее; но при этом государственный капитализм надо рассматривать не как одно сплошное целое, а как сложную сумму организационных фактов: к различным его сторонам классовые силы общества будут относиться различно.

Нормировка *потребления*, с ее карточной системой и проч., для буржуазии вообще, разумеется, вещь в высшей степени неудобная и неприятная, которую она будет стараться уничтожить при первой возможности. Рабочий класс и часть остальной демократии будут противодействовать этому; но, разумеется, по мере фактического роста потребления, государство эту нормировку будет отменять: поскольку оно останется организацией господства буржуазных классов, — а оно ею остается при государственном капитализме, — оно только в рамках безусловной необходимости будет поддерживать стеснительные для них ограничения.

Государственные *монополии сбыта* тех или иных продуктов, подобные нашей прежней винной монополии, будучи стеснительны для отдельных только групп капиталистов, имеют все шансы удерживаться в качестве *финансового источника* для государства. Но в этой роли они представляют не что иное, как разновидность косвенных налогов, т. е. налогов, по существу, регрессивных, удорожающих жизнь и маскирующих истинное распределение финансового бремени. Против них поэтому должен будет вести борьбу пролетариат и передовые слои демократии вообще, стремясь заменить их налогами явными и прогрессивными. Результаты борьбы, надо полагать, будут различные, в зависимости от соотношения сил.

Государственное *регулирование сбыта*, в виде нормировки цен, распределение продуктов по рыночным районам и проч., связано с *принудительным объединением в синдикаты* целых отраслей производства. Здесь вопрос будет идти, во-первых, о характере регулирования, во-вторых, о судьбе синдикатов. Синдикаты будут, естественно, стремиться к освобождению от опеки: им гораздо интереснее регулировать сбыт для собственных, а не общегосударственных целей. Каждый государственный центр отрасли они будут стараться или упразднить, или превратить в фикцию, добившись для себя постоянного перевеса против тех участников центра, которые могут не идти с ними, — представителей самоуправления, профессиональных союзов и проч. Эта цель будет в общем достигаться тем легче, что чиновники государства, а частью и муниципалитетов по своему классовому положению и настроению будут весьма склонны к обращению в верных союзников капитала и даже — верных его слуг: это весьма обычно и теперь; а тем более станет обычным, когда исчезнет страшное давление войны и голода, которое мешает бюрократическим элементам полностью проявлять свою классовую природу.

Тут, следовательно, выступит тенденция к распадению государственного капитализма на свободные части — синдикаты отраслей.

Вероятно, рабочий класс и близкая к нему часть демократии будут бороться против нее. Но пока государство останется в общем буржуазным, они не смогут вполне парализовать эту тенденцию; а отнимать каждое достигнутое ею завоевание будет до крайности трудно при отсутствии тех сил военного коммунизма и упадка производства, которые теперь мешают ей выступить.



С другой стороны, поскольку синдикаты будут освобождаться из государственной сети, в них самих должны выступить разлагающие стремления. Дело в том, что синдикат по своей природе есть союз *крупных предприятий*, и соответственно малого их числа. Между тем многие из принудительных синдикатов заключают в себе массу мелких и средних предприятий наряду с небольшим количеством крупных. Неизбежна борьба между теми и другими; со стороны крупных — за господство над мелкими и их поглощение, мелких — за сохранение их жизни и независимости. В иных случаях эта борьба будет приводить к распадению синдикатов, в большинстве же синдикатов результаты ее выразятся в переходе к типической их форме — союзу крупных капиталов, еще возросших за счет поглощения мелких.

Государственное *регулирование производства* связано не только с принудительным синдицированием, но часто вынуждается идти дальше и прибегать к *принудительному трестированию*. Здесь, очевидно, тоже следует ожидать борьбы со стороны трестов за освобождение от общегосударственной опеки и также в общем с успехом. — Что касается тенденции к распадению, то она сколько-нибудь значительно проявиться в трестах не может: их предприятия, вполне потерявшие свою независимость, практически уже неотделимы от целого.

Надо заметить, стремление синдикатов и трестов отделаться от общегосударственного руководства должно тогда иметь тем больше шансов на успех, что оно в общем окажется и экономически прогрессивной тенденцией. Бюрократическое регулирование, в силу своего *авторитарного характера*, склонно к застойности методов. Авторитарной принудительности всегда присущ дух консерватизма, стихийное тяготение к традиции, к шаблону; власть, авторитет враждебны «новшества» и всяким переменам, потому что они усложняют организационную задачу; в связи всякого экономического целого переделка или перестройка одной части неизбежно вызывают соответственные изменения в других частях, причем трудно учесть все результаты; возникает и элемент риска, угрожающего колебанием самого авторитета. В условиях настоящего времени этот внутренний консерватизм бюрократических органов преодолевается сильнейшим внешним давлением, острой необходимостью идти вперед. Но когда это жестокое давление исчезнет, дух авторитарной рутины должен вступить в свои права. Допустим, что в регулирующем центре отрасли, кроме правления акционеров треста, участвуют представители общественных и рабочих организаций; тогда это будет, в большинстве случаев, две борющиеся стороны, причем решающий голос окажется за третьей стороной — представителями бюрократии, с ее успокоительно-тормозящей тенденцией.

Далее, высвобождение синдикатов и трестов должно явиться моментом прогрессивным и в том смысле, что оно откроет путь к международным объединениям этого типа, какие широко развивались уже до войны. Государственный же капитализм, закрепляя синдикаты и тресты в рамках страны или группы стран, образующих современное сверхгосударство, стесняет международное развитие организации капитала, как и организации труда. С этой стороны он вполне реакционен.

Наконец, *государственная трудовая повинность*, в условиях мира и начинающегося экономического оживления, вряд ли удержится; весьма даже вероятно, что уже возвращение армии с фронта, создавая временный избыток работников, будет толчком к ее отмене. Если же она будет сохраняться, то, разумеется, с такими изъятиями в пользу верхних классов общества, что практически сведется к голому закреплению низов; и вся демократическая масса направит усилия к ее отмене; а так как объективная основа этого «нового крепостничества», именно — военный коммунизм и прогрессивное падение производства — устранился из жизни, то и борьба против него должна увенчаться успехом.

Подведем итог этому анализу:

*Государственный капитализм есть система приспособлений новейшего капитализма к двум специальным условиям эпохи: военно-потребительному коммунизму и процессу разрушения производительных сил*. Из этих приспособлений одни соответствуют общей

*линии развития капитализма* ; таково в особенности развитие синдикатной и трестовой организации предприятий; *другие лежат вне этой общей линии либо даже в противоречии с ней* ; таковы: ограничение потребления, монополизация продуктов государством, государственно-чиновниче регулирование сбыта и производства. Когда военный коммунизм сведется к размерам мирного времени, а разрушение производительных сил остановится, тогда, в дальнейшем ходе вещей можно ожидать, что *приспособления первого рода будут вообще сохраняться и развиваться, второго рода — устраняться из жизни или сохраняться лишь частично* , в зависимости от конкретных условий — классовых интересов и соотношения классовых сил.

Теперь не так трудно решить и вопрос об *исторической оценке* государственного капитализма. Оценка, даваемая нашими максималистами, такова:

«Таким образом перед нами — не предусмотренная классической теорией социализма система хозяйства, при которой исчезает частнохозяйственная база капитализма, но отнюдь не исчезает, а на первых порах как будто бы даже усиливается капиталистическая эксплуатация как в непосредственной экономической, так и в политической области. Совершенно ясно, что не может быть устойчивым такой тип социального устройства, такое кричащее противоречие между общественно-организованными производительными силами и пережитками частной собственности на них. Это явно переходный тип хозяйственного строя, убудочная, промежуточная форма между капитализмом и социализмом» (В. Базаров, там же — «Н. Ж.» № 39).

Теперь нам ясно, почему эта система «непредусмотренная» и «ублюдочная»; но также ясно и то, что родители этого убудка — не совсем те, которым его подкидывают. Один из родителей — капитализм, — правда, не подлежит сомнению; но другой — вовсе не социализм, а весьма мрачный его прообраз, военный потребительный коммунизм.

Разница немалая. Социализм есть *прежде всего* новый тип *сотрудничества* — товарищеская организация производства; военный коммунизм есть *прежде всего особая форма общественного потребления* — авторитарно-регулируемая организация массового паразитизма и истребления. Смешивать не следует.

Максималисты не замечают одного «кричащего противоречия» между их построением и действительностью: если бы государственный капитализм был «первым этапом» социалистической революции, то он должен был явиться результатом *прогрессивных движущих сил* капитализма, т. е. ближайшим образом — развития *классовой борьбы пролетариев* . Мы же знаем, что у его колыбели стояла не обостренная классовая борьба, а «обостренное» *сотрудничество классов* в их национальном единении для истребительных целей.

Укажу еще на другое, менее кричащее, но, пожалуй, не менее глубокое противоречие. Максималисты утверждают, что Германия, создав «планомерную организацию производства», доказала на деле свою «материальную зрелость» для социализма. Но «зрелой» оказалась не только высококапиталистическая индустрия Германии — зрелым оказалось и ее сельское хозяйство с его организационной отсталостью, с его миллионами мелких предприятий: Германия осуществила в нем «централизованное управление и руководство». Как это понять? Несколько смущенный чрезмерной убедительностью фактов, теоретик максимализма М. Лурье<sup>22</sup> объясняет, что само по себе, *изнутри* , сельское хозяйство Германии, собственно, не созрело; но остальная часть экономического организма страны настолько, можно сказать, перезрела, что у нее оказался достаточный излишек материальных и общественных организационных сил, чтобы «сверху и *извне* » планомерно организовать сельское хозяйство. Чтобы подкрепить это объяснение, Лурье ссылается на следующее, в общем верное, соображение:

«... материальную зрелость страны надо рассматривать не с точки зрения необходимости довести предварительно до технической-организационной зрелости *каждую отрасль* хозяйства в ее изолированном виде, — а как производную *общего* состояния всех

ее производительных сил в среднем итоге»<sup>145</sup>.

Это верно. Но вот в чем вопрос. В Австрии «планомерное регулирование» немногим уступает германскому, а в некоторых отношениях едва ли не зашло еще дальше, чем в Германии. Значит, Австрия тоже созрела и перезрела? Но разве возможно сколько-нибудь приравнять уровень капиталистического развития Австрии к уровню Германии? Не слишком ли легко выдается аттестат зрелости?

И наконец, пусть Австрия... Но ведь наши максималисты требуют — и вполне справедливо — решительного проведения системы государственного капитализма в *России*, причем надеются, что формы его у нас могут даже оказаться демократичнее, прогрессивнее, чем в Германии. Что же, и Россия «в среднем итоге производительных сил» уже «созрела» для социализма? Боюсь, что нужна слишком большая вера, чтобы признать это. Но, может быть, в России государственный капитализм невозможен? Это ничем не доказано, и есть, напротив, много фактов в пользу возможности его достаточного развития и в нашей отсталой стране. Но если так, то какой же это «полусоциализм»?

Социалистической революции в Европе, как и в России, теперь не будет. Но едва ли можно сомневаться, что ряд *иных* революций там произойдет. Они должны будут именно ликвидировать наследство войны и, в большинстве стран, также довоенную отсталость. А это значит:

1) Установить демократический строй повсюду, где его раньше не было; восстановить там, где он был, но фактически устранен, оттесненный громадным развитием авторитарности: диктатурой властей и стоящей за нею олигархией финансистов.

2) Уничтожить одну из главных задержек развития — национальный гнет довоенный и вновь созданный войною.

3) Восстановить мировые связи, экономические и культурные, разрыв которых, порожденный войною, закрепляется системой государственного капитализма.

4) Ликвидировать, путем налоговых переворотов или государственных банкротств, огромную задолженность, возлагающую на массы бремя непосильной дани разросшемуся паразитическому рантьееству.

Задачи серьезные и трудные. Справиться с ними — это наибольшее, на что *теперь* способна европейская демократия.

Вера и оптимизм хороши для боя, но нехороши для исследования. Вступать же в бой надо лишь на хорошо исследованной почве. В этом отношении наш максимализм очень опасен; он может послужить идейной основой для авантюры и жестоких поражений.

Откуда он? На какой социальной основе он вырос? Это необходимые вопросы, потому что теперь он — не увлечение отдельных теоретиков или даже агитаторов, как максимализм Троцкого в прошлую революцию, а течение сравнительно широкое и влиятельное.

Психология веры вообще свойственна временам упадка. Оптимизм мечты есть весьма естественная реакция на чересчур мучительные картины реальности. Так христианство с его верой и мечтой возникло из упадка античного мира. А социалистическое содержание нынешней веры и мечты максималистов имеет, кроме того, определенные корни в самой жизни. Это — идеологическое отражение колоссально развившегося *военного коммунизма*. Военный коммунизм есть все же коммунизм; и его резкое противоречие с обычными формами индивидуального присвоения создает ту атмосферу миража, в которой смутные прообразы социализма принимаются за его осуществление.

Но задача научной мысли — разоблачить и объяснить миражи, отвлекающие от правильного пути к идеалу. Этот путь есть наиболее короткий; его она должна и может указать.

## Государство-коммуна

<sup>145</sup> Утописты минимализма и действительность С. 18.

Типичное максималистское построение представляет ленинская теория о «государстве-коммуне» как *политической* переходной форме от буржуазного строя к социализму. Образцом для Ленина служит Парижская коммуна 1871 года.

По словам Ленина, это — «не обычное парламентско-буржуазное государство, а государство *без* постоянной армии, *без* противостоящей народу полиции, *без* постановленного над народом чиновничества». Далее он поясняет: это — «республика Советов Рабочих, Батрацких и Крестьянских Депутатов по всей стране, снизу доверху» («Письма о тактике», письмо 1, стр. 12 и 20)<sup>146</sup>.

Надо заметить, что такая «коммуна» значительно отличается от Парижской. В той было выборное представительство, не отдельно от рабочих, от солдат, крестьян и т. д., а прямо от населения, вроде того, как при демократических выборах в думы. Делает ли это план Ленина более правильным?

На основании всего опыта прошлой, да и нынешней революции мы до сих пор полагали, что Советы Рабочих и иных Депутатов представляют *органы революционной борьбы*, орудие движения революции, выполняемого ею разрушения и строительства; следовательно — учреждение революционно-правовое, а не государственно-правовое. Теперь нам предлагают создать из них «новый тип государства».

Мы знаем громадное значение Советов, их великую творческую силу в деле революции. Но попробуем рассматривать их как постоянные и основные государственные учреждения: что тогда получится?

Советы являются выборным представительством общественных классов и групп, взятых по отдельности, с их особыми интересами. При этом выборная система характеризуется неопределенностью и многостепенностью. В одном городе рабочие выбирают одного от пятидесяти, в другом — от ста, в третьем — от двухсот человек; в одном селе крестьяне выбирают одного от десяти, в другом — от двадцати домохозяев. Делегаты от городских рабочих Советов образуют губернские, от губернских — областные, от областных — всероссийский; у крестьян же число ступеней еще больше. Без сомнения, рабочие и крестьяне — элемент демократический; но система выборов оказывается не особенно демократичная, и даже несколько беспорядочная. Для революции это не важно, годится и так: надо спешно разрушать и строить, надо ковать, пока горячо железо; недочеты формы потонут в порыве жизни, сила обострившихся классовых интересов прорвется через сколько угодно избирательных ступеней и вынесет подходящих людей на надлежащее дело. Но как *постоянный государственный порядок* эта система, очевидно, гораздо менее совершенна, чем парламентарная демократическая республика, и, в сущности, прямо непригодна.

Еще хуже обстоит дело с другой стороны. Представительство классов отдельное, как говорится, «куриальное». Рабочая, крестьянская, батрацкая курии не только обособленно выбирают, но сверх того и обособленно организуются, снизу доверху, не объединяясь в общем представительном учреждении. Связь между ними подобна международному праву: они договариваются, вступают в сношения как независимые стороны; для каждой обязательны только те решения, которые она сама приняла. Но такая связь — не государственно-правовая.

И опять-таки, при революции, пока ее волна поднимается, это особого вреда или опасности не представляет: слишком много общих задач, слишком серьезны общие интересы, слишком настоятельны общие потребности классов, ведущих революцию: противоречия отступают на второй план, и соглашения достигаются легко. Совершенно иное получается тогда, когда революция уже миновала или даже когда она близка к завершению, когда она выполнила большую часть своих задач и они перестают так тесно объединять

---

<sup>146</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 138, 115. — Ред .

демократические классы.

Было бы ошибочно, а для человека, стоящего на классовой точке зрения, просто нелепо думать, что полное согласие интересов между двумя главными частями демократии — рабочими пролетариями и мелкими хозяевами крестьянами — может неограниченно продолжаться. Это согласие существует только в ходе демократической революции, да и то не безусловное. Ведь уже слышится, например, среди крестьян негодующие протесты по поводу провозглашенного, хотя на деле еще не проведенного до конца 8часового рабочего дня: «Мы работаем по 17 часов, наши дети и братья круглые сутки сидят в окопах, а они не хотят больше 8 часов!» И хотя это, конечно, недоразумение, но есть условия и для действительного расхождения интересов.

Так, увеличение заработной платы удорожает для крестьян их орудия производства, одежду и проч. Затем, империалистические захватнические стремления при известной обстановке могут найти почву в крестьянских интересах: расширение земельной площади, из-за которого японское крестьянство сочувствует захватам в Китае. Кроме того, сама революция для рабочего — почти родная стихия, тогда как природе крестьянина, с его привычкой к устойчивым отношениям жизни, с его тяготением к заветам прошлого, она глубоко чужда; он может только временно, по необходимости мириться с нею; и конечно, он гораздо раньше, чем рабочий, почувствует жажду успокоения, прочного порядка. Наконец, крестьянин все же собственник; и чем резче в ходе революции будут выдвигаться социалистические стремления пролетариата, тем сильнее будет становиться его внутреннее расхождение с крестьянством.

Все это, положим, еще не близко, и общий путь лежит впереди еще немалый; но речь идет о государственном строе, т. е. о постоянной организации, которая должна пережить всю революцию и удержаться на некоторый период развития после нее. И вот посмотрите, что должно выйти из первых же столкновений классовых интересов между пролетарскими и непролетарскими элементами демократии.

Никакого высшего органа над общенациональными Советами Рабочих Депутатов и Крестьянских Депутатов нет и обращаться для разрешения споров им некуда. Никакого обязательного способа выработки соглашения также нет: каждый Совет решает сам и решает для себя. Даже для точного сравнения и учета сил той и другой стороны надежных приемов не имеется; одна сторона, положим, превосходит заведомо числом, другая — организованностью и культурностью. Как две державы, они договариваются; как две державы, они в случае коренного расхождения упираются в «ультиматум», требование уступить во что бы то ни стало. И что тогда? Вещь очевидная: гражданская война, подавление одной стороны грубо-механическим путем.

В малых размерах нечто подобное произошло не так давно в Екатеринбурге. Там Совет Рабочих Депутатов не сошелся во взглядах с Советом Солдатских Депутатов: первый был большевистский, во втором преобладали другие фракции. Тогда Совет Солдатских Депутатов потребовал переизбрания рабочих депутатов. Дело потом каким-то образом уладилось — сила общих интересов пока еще перевешивает все противоречия. Но ясно, что при несколько иных обстоятельствах положение было бы безвыходным и дело кончилось бы плохо.

Это вполне естественно. Если Советы по природе своей — органы революционной борьбы, то их последние способы решения, в случае столкновений, неизбежно революционные. Но какое же это «государственное устройство», при котором решающее голосование по самой конституции производится с оружием в руках?

Надо помнить: *государство есть организация классового господства*. По мысли Ленина, его всероссийская коммуна должна быть совместным господством пролетариата, мелкого крестьянства и промежуточных между ними групп. Но Ленин не видит, что совместное господство *разнородных и отдельно организованных классов* не может быть устойчивым порядком.

Дело обстоит бы лучше для него, если бы он предполагал, что наша революция,

непрерывно развиваясь и не останавливаясь, должна перейти в социалистическую, как думал в прошлую революцию Троцкий. Тогда как будто можно допустить, что все время действуют только Советы как учреждения не государственно-правовые, а революционно-правовые. Но Ленин это предложение отвергает и даже «предостерегает» против него<sup>147</sup>.

И в этом он, конечно, прав: до социализма нам еще далеко — революция наша демократическая. В частности, крестьянство отнюдь не захочет жить неопределенно долго в кипящем котле; получив землю, сколько найдется, — податную реформу и организованный кредит для поправления хозяйства, оно потребует «успокоения», а в случае надобности само осуществит его. При государстве же «коммуне» это успокоение могло бы быть только кровавым. И судьба русской коммуны оказалась бы такая же, как и Парижской.

Некоторые, однако, полагают, что революция у нас на самом деле пойдет непрерывно, вплоть до социализма: сами бы мы до него скоро не дошли; но рабочие Западной Европы в ближайшее время осуществят его, перейдя от борьбы за мир к свержению капитала; тогда они помогут и нам ускоренно перейти к социализму. Конечно, нужна сильная вера, чтобы не сомневаться, что европейские рабочие, которые это время в большинстве так покорно шли за капиталистами и еще теперь после трех лет войны так усердно и искренне режут за них, которые растратили притом такую массу накопленных до войны сил, завтра захотят и смогут заново перестроить общество в самых основах. Но допустим, что все это случится. Все же пройдут годы и годы раньше, чем наша революция из демократической перейдет в социалистическую. Возможно ли, чтобы все это время шел непрерывный подъем революции, чтобы она ни разу не отступала, не сменялась временным упадком, реакцией? Это совершенно невероятно. А при такой реакции на первый план неизбежно выступают противоречия интересов. При демократической республике возможен парламентский способ их улаживания и подсчета сил, выяснение необходимых уступок, мирное подчинение той стороны, которая оказалась слабее, но рассчитывает стать сильнее в дальнейшем. При республике Советов этот выход закрыт, и реакция имеет все шансы перейти в гражданскую войну с громадным расточением лучших сил народа.

Таким образом, ленинский проект совершенно несовместим с научным пониманием государства и классовых отношений.

Разрыв с наукой и научностью идет у Ленина и дальше. Вот что он говорит о должностных лицах в государстве-коммуне: «Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости их в любое время, не выше средней платы хорошего рабочего».

Установить однообразную плату, «не выше средней платы хорошего рабочего», за самые различные по качеству, количеству и напряженности виды организаторского труда — это с экономической точки зрения ошибка против азбуки. Труд большей продолжительности, большей напряженности, большей сложности есть более значительная затрата энергии человеческого организма. Повышенной затрате должно соответствовать повышенное усвоение энергии, т. е. более обильное и более сложное потребление. Если комиссар — министр, выполняя работу, которая изнуряет мозг и нервы и нередко в несколько месяцев истощает человека на несколько лет, будет получать те же 200–300 рублей, что и средний хороший токарь, то какой токарь пойдет в министры?<sup>148</sup> За среднюю плату хорошего рабочего только и можно делать среднюю работу хорошего рабочего. Получается нечто вроде донаучного, ребяческого коммунизма: «Всем поровну». А на практике это означало бы вот что: все наиболее трудные и ответственные должности сделались бы привилегией либо

---

<sup>147</sup> Так писал Ленин в апреле 1917 г. Теперь, в ноябре, он, как известно, став во главе правительства, провозглашает «социалистическую» революцию и пытается на деле провести военно-коммунистическую. Конечно, это делает позицию несравненно более утопичною.

<sup>148</sup> Теперь народные комиссары получают по 500 рублей. Но 500 рублей в декабре 1917 г. меньше, чем 300 в апреле.

детей буржуазии, у которых есть личные средства, либо политиканов, которые сумеют и «прирабатывать», не стесняясь способами.

Хороша, между прочим, и «сменяемость в любое время» выборных чиновников. Сидит в районе большинство, скажем, большевиков — и все должности заняты большевиками. Перетянули меньшевики несколько сот голосов, получили перевес — и всех большевиков долой; хорошо ли, плохо ли делали дело — не важно, «сменяемы в любое время». Что, кроме господства голой демагогии, может получиться из такой сменяемости? Кто, кроме отчаянных политиканов, пойдет на такую службу?

Многое можно было бы сказать еще по поводу ленинского плана, но думаю — достаточно.

Те же — пожалуй, доведенные до крайности — черты максималистского мышления, которые мы видели и раньше: отсутствие организационного анализа, вера в желаемое, своеобразный «оптимизм разрухи», ожидание от него необыкновенно революционных результатов...

Не на таких путях приходится мысль к истине, борьба — к победе.

## Идеал и путь

Идеал пролетарского социализма, с тех пор как он — 70 лет тому назад — был провозглашен, не оставался неизменным. Он вырос, расширялся, углублялся по мере роста и культурного подъема самого пролетариата. В те давно минувшие дни первые учителя пролетарского социализма представляли свой идеал осуществимым немедленно, в ближайшие годы. Во сколько раз жизнь даже наиболее передовых стран была тогда беднее нынешней, материально и культурно! Ясно, что во столько же раз образ идеала, каким он рисовался тогдашним максималистам, был беднее материальным и культурным содержанием, чем он выступает в сознании нынешних максималистов. Мыслимое «социалистическое общество 50х годов» далеко уступало бы нашей действительности и в господстве над стихиями природы, и в богатстве, разнообразии жизненных возможностей, элементов развития.

Рост жизни, рост класса и его сознания — рост идеала. Теперь на поворотном пункте истории, когда рабочий класс проходит новый, невиданный и страшный этап своего пути, понимание идеала не может остаться прежним, оно должно подняться на высшую ступень.

Что видели в социализме до сих пор? Революцию собственности, смену хозяина в обществе — дело классового интереса и материальной силы масс. Что следует видеть в нем? Творческую революцию мировой культуры, смену стихийного образования и борьбы социальных форм их сознательным созиданием — дело новой классовой логики, новых методов соединения сил, новых способов мыслить.

Правильное понимание идеала дает объективно кратчайший путь к нему. Правда, если идеал выше, то путь к нему кажется дальше для нетерпеливых, которые предпочитают верить в то, во что им хочется. Но кто вдумается, тот увидит, что путь только кажется дальше.

И не по тому одному, что это путь все равно неизбежный, стать на него теперь или позже, после мучительных блужданий и тяжких поражений. Да, поэтому, но и потому, что идеал тут воплощается не только по окончании пути, а на всем его протяжении.

По старым понятиям, социализм сначала побеждает, а затем осуществляется; до победы он — не действительность, его нет, он лишь «конечная цель». Для нас это не так.

Социализм есть мировое товарищеское сотрудничество людей, не разъединенных частной собственностью, конкуренцией, эксплуатацией, классовой борьбой, властвующих над природой, сознательно и планомерно творящих свои взаимные отношения и свое царство идей, свою организацию жизни и опыта.

Посмотрите на пролетариат. Это класс, который в своем развитии шаг за шагом становится международным товарищеским коллективом людей-сотрудников, не

разъединяемых ни частной собственностью, которой у них нет, ни конкуренцией, которую они устраняют в своей среде, ни эксплуатацией, потому что они не эксплуатируют, ни классовой борьбой, потому что она ведется ими не внутри, а вне и связывает их, а не разъединяет. Это коллектив, своими руками реализующий достигнутую власть человечества над природой...

Мы видим: это социализм на деле, как развивающийся классовый строй. Но — картина неполна.

Творит ли пролетариат сознательно и планомерно свои внутренние отношения и свои организационные орудия — идеи? Нет, до сих пор, в общем, этого не было. Традиция и стихийное искание господствовали в его творчестве, организационном и культурном. Не ставилась задача подчинить это творчество науке и целесообразности, не выработывались методы для решения такой задачи.

Налетела мировая гроза и страшной ценой показала, что дальше так нельзя. Обнаружилось, что вопрос культуры есть вопрос силы, что стихийность и традиция тут означают бессилие и рабство. Пролетариат должен твердо стать на новую почву в своей организационной и идейной работе. Когда и поскольку он это сделает, тогда и постольку исчезнет зияющая пропасть между его идеалом и его классовой деятельностью. Тогда все его движение вперед будет непрерывно развивающейся реализацией социализма как нового мира культуры.

Творческое осуществление социалистического классового строя приведет пролетариат к той победе, которая превратит этот строй в общечеловеческий. Социалистическое развитие завершится социалистической революцией.

Конечно, растущий социализм классовой жизни не избавляет массы от необеспеченности, страданий и бедствий капитализма: это даст лишь социализм победивший, в этом их глубокая разница. Но и первый сведет к возможному минимуму растрату сил за всю эпоху борьбы.

Нам предлагают теперь «узнавать» грядущий социализм в отвратительной карикатуре на него, порожденной войною и старым строем. Мы не согласны на это. К счастью для нас, наш социализм прекрасен во всех стадиях своего исторического воплощения. Он не скрывается под маской вампира, и не надо особых усилий, чтобы узнавать его в его углубляющемся разрыве со старым миром, среди трагической обстановки эпохи.

Таково наше понимание идеала. Из него вытекает задача:

продолжая прежнюю борьбу и организацию, сознательно и планомерно собирать, развивать, стройно систематизировать возникающие зародыши новой культуры — элементы социализма в настоящем.

Без сомнения, социалистическая культура пролетариата не вполне то, что культура социалистического общества. Еще бы: юноша не то, что зрелый человек; одна стадия процесса отличается от другой. Но различие не в принципах, не в качестве — различие в степени. Сравните буржуазную культуру до победоносных революций и после них, и это станет ясно.

Некоторые из наших максималистов усиленно подчеркивают: пролетарская культура не то, что социалистическая. Для чего им это нужно? Для того, чтобы избежать слишком больших требований, отдаляющих, очевидно, их утопию. Они признают пролетарскую культуру только как вспомогательное средство для формирования «ударного кулака», по выражению одного из них. Ошибаются: она нечто неизмеримо большее.

Другие — большей частью минималисты — полагают, что задача создания пролетарской культуры вообще слишком трудна, даже непосильна для класса подчиненного, занятого физической работой. Что она трудна — бесспорно; иначе о ней нечего было бы и говорить. Что она непосильна — ничем не доказано. Главное значение программы-минимум в том и заключается, чтобы дать свободное время и силы для решения этой задачи. А если бы она была непосильна, рабочий класс ни на что не мог бы рассчитывать, кроме перехода от одного порабощения к другому — из-под ига капиталистов под иго инженеров и ученых.



Третьи — не знаю, упоминать ли — возражали против самой идеи о социалистической культуре пролетариата обвинением в оппортунизме. Это, говорили они, старое бернштейнианское учение о вращении социализма в капитализм. Критика по очень обычному методу «опошляющего обобщения». На самом же деле и ортодоксы, и ревизионисты одинаково стоят в вопросе культуры на почве компромисса и умеренности: они признают, что пролетариат может и должен довольствоваться, в общем, культурой буржуазной. На деле это означает культурное рабство; и война показала, во что оно обходится рабочему классу.

Я, впрочем, не имею в виду убеждать теоретиков того или другого лагеря. Большинство их вполне забронировано против этого отсутствием научно-организационного способа мышления, да и вообще своей непогрешимостью. Я обращаюсь к тем, кто может и хочет учиться.

Великие задачи стоят перед нашей эпохой. Путь к идеалу труден, но ясен. На этом пути могут быть поражения, но не может быть разочарования, ибо он есть сам идеал в его последовательном жизненном осуществлении.

### **Письмо Луначарскому 19 ноября (2 декабря) 1917 г. 23**

Дорогой Анатолий.

Письмо твое спокойно пролежало в Совете Р. Д. неделю, и только теперь доставлено мне «с оказией». Отвечаю немедленно. В июне — августе писал тебе, но, видимо, не дошло.

Я не стою, конечно, на позиции саботажа или бойкота. Не вижу ничего смешного в том часто нелепом, но почти всегда *вынужденном*, что у вас делается. Трагизм вашего положения не только вижу, но думаю, что вы-то видите его далеко не вполне, попробую даже выяснить его — по-своему.

Корень всему — война. Она породила два основных факта: 1) экономический и культурный упадок; 2) гигантское развитие *военного коммунизма*.

Военный коммунизм, развиваясь от фронта к тылу, временно перестроил общество: многомиллионная коммуна армии, паек солдатских семей, регулирование потребления; *применительно к нему*, нормировка сбыта, производства. Вся система государственного капитализма есть не что иное, как уклон капитализма и потребительного военного коммунизма, — чего не понимают нынешние экономисты, не имеющие понятия об организационном анализе. Атмосфера военного коммунизма породила *максимализм*: ваш, практический, и «Новой Жизни», академический. Который лучше, не знаю. Ваш открыто противонаучен; тот псевдонаучен. Ваш лезет напролом, наступая, как Собакевич, на ноги марксизму, истории, логике, культуре; тот бесплодно мечтает о социал-революции в Европе, которая поможет и нам, — Манилов.

В России максимализм развился больше, чем в Европе, п. ч. капитализм у нас слабее, и влияние военного коммунизма, как организационной формы, относительно сильнее. Социалистической рабочей партией была раньше большевистская. Но революция под знаком военщины возложила на нее задачи, глубоко исказившие ее природу. Ей пришлось организовать псевдосоциалистические солдатские массы (крестьянство, оторвавшееся от производства и живущее на содержании государства в казарменных коммунах). Почему именно ей? Кажется, просто потому, что она была партией *мира*, идеала солдатских масс в данное время. Партия стала рабоче-солдатской. Но что это значит? Существует такой тектологический закон: если система состоит из частей высшей и низшей организованности, то ее отношение к среде определяется низшей организованностью. Например, прочность цепи определяется наиболее слабым звеном, скорость эскадры — наиболее тихоходным кораблем, и пр. Позиция партии, составленной из разнородных классовых отрядов, определяется ее отсталым крылом. Партия рабоче-солдатская есть *объективно* просто солдатская. И поразительно, до какой степени преобразовался большевизм в этом смысле.

Он усвоил всю логику казармы, все ее методы, всю ее специфическую культуру и ее идеал.

Логика казармы, в противоположность логике фабрики, характеризуется тем, что она понимает всякую задачу как вопрос ударной силы, а не как вопрос организационного опыта и труда. Разбить буржуазию — вот и социализм. Захватить власть — тогда все можем. Соглашения? это зачем? — делиться добычей? как бы не так; что? иначе нельзя? ну, ладно, поделимся... А, стой! мы опять сильнее! не надо... и т. д.

С соответственной точки зрения решаются все программные и тактические вопросы. Голосование 18летних: они дети! Жизнь сложна, дайте им подражаться... вздор! винтовку держать могут; а главное — они за нас; чего толковать Выборы строевого начальства — агитаторов в стратеги и в организаторы сложнейшего ротного, и полкового хозяйства. Сознательный рабочий вряд ли требовал бы выборности инженеров.

Вот маленький, но наглядный пример. Если бы я *хотел* принять твое предложение — я *не мог бы* этого сделать по материальным причинам. Время и силы надо отдать целиком; а жалованье — «не выше обученного рабочего». Как бы это я смог содержать две семьи<sup>24</sup>, да издавать на свой счет вторую часть «Тектологии», которую печатаю сам<sup>25</sup>, потому что никакой издатель не возьмет такого коммерчески нелепого, но идейно, как я полагаю, необходимого дела. Уж конечно, рабочий-социалист не потребует, чтобы инженерам плата была не выше, чем ему: интересы дела. А казарма этого вопроса не ставит — ибо дела производительного нет; она знает только *паек*. Разве Ленин и Троцкий не читали Маркса, не знают, что стоимость рабочей силы определяется нормальным уровнем потребностей, связанных с выполнением данной функции. Конечно, знают, но они сознательно рвут с логикой социализма для логики военного коммунизма... А впрочем, может быть, и несознательно.

Кстати, как бы ты содержал себя здесь и семью в Швейцарии на этом пайке, если бы не случайное наследство. Прирабатывал бы литературой. Много бы выиграла дела революционного министерства...

А культура... Ваши отношения ко всем другим социалистам: вы все время только рвали мосты между ними и собой, делали невозможными всякие разговоры и соглашения; ваш политический стиль пропитался казарменной трехэтажностью, ваши редакции помещают стихи о выдавливании кишок у буржуазии<sup>26</sup>...

Ваши товарищеские отношения... на другой день после того как ты закричал «не могу!»<sup>27</sup>; один из твоих ближайших товарищей, Емельян Ярославский, печатает в «СоциалДем.» статью об «истерических интеллигентах, которые жалеют камни и не жалеют людей», которые «верещат „не могу!“», ломая холеные барские... руки», и пр. (цитирую приблизительно, но стиль не искажаю). Таково товарищеское уважение. Это пролетарий? Нет, это грубый солдат, который целуется с товарищем по казарме, пока пьют вместе денатурат, а чуть несогласие — матерщина и штык в живот. Я в такой атмосфере жить и работать не мог бы. Для меня товарищеские отношения — это принцип новой культуры. Чтобы не нарушить их по отношению к далеким кавказским дикарям, раз вошедшим на товарищеских правах в мою революционную жизнь, я порвал почти со всеми мне близкими, с группой «Вперед» — ты помнишь. И я не так-то легко меняю свою природу. Тут нет ничьей вины: все это было неизбежно. Ваша безудержная демагогия — необходимое приспособление к задаче собирания солдатских масс; ваше культурное принижение — необходимый результат этого общения с солдатчиной при культурной слабости пролетариата. Черные годы реакции огрубили его, затемнили его сознание; еще два года назад рабочие Москвы — Москвы, и даже Пресни! — приняли искреннее участие в черносотенном немецком погроме<sup>28</sup>... И в экономическое положение рабочих въелась фальшь, искажение: и они на 3/4 на содержании у государства, все их прибавки идут из казначейства, чего не станет отрицать ни один экономист.

А идеал социализма? ясно, что тот, кто считает солдатское восстание началом его реализации, тот с рабочим социализмом объективно порвал, тот ошибочно считает себя социалистом — он идет по пути военно-потребительного коммунизма, принимает

карикатуру упадочного кризиса за идеал жизни и красоты. — Он может выполнять объективно-необходимую задачу, как нынешний большевизм; но в то же время он обречен на крушение, политическое и идейное. Он отдал свою веру солдатским штыкам, — и недалек день, когда эти же штыки растерзают его веру, если не его тело. Здесь действительно трагизм.

Я ничего не имею против того, что эту сдачу социализма солдатчине выполняют грубый шахматист Ленин, самовлюбленный актер Троцкий. Мне грустно, что в это дело ввязался ты, во1), потому что для тебя разочарование будет много хуже, чем для тех; во2), потому что ты мог бы делать другое, не менее необходимое, но более прочное, хотя в данный момент менее заметное дело, — делать его, не изменяя себе. Я же останусь при этом другом деле, как ни утомительно одиночество зрячего среди слепых.

Социалистической революции в Европе теперь не будет — не на том уровне культуры и организованности стоит ее рабочий класс; возраст его ясно засвидетельствован историей войны. Там будет ряд революций характера ликвидационного, уничтожающих наследство войны: авторитарность (олигархию, диктатуру властей), задолженность (следовательно, гипертрофию рентьерства), остатки национального угнетения, вновь созданную войною и фиксированную госуд. капитализмом обособленность нации и пр. — работы много.

В России же солдатско-коммунистическая революция есть нечто, скорее противоположное социалистической, чем ее приближающее. Демагогически-военная диктатура принципиально неустойчива: «сидеть на штыках» нельзя. Рабоче-солдатская партия должна распасться, едва ли мирно. Тогда новой рабочей партии — или тому, что от нее оставят солдатские пули и штыки, — потребуется *своя* идеология, *свои* идеологи (прежние, если и уцелеют, не будут годиться, пройдя школу демагогии — диктатуры). Для этого будущего я и работаю.

Надо, чтобы пролетарская культура перестала быть *вопросом*, о котором рассуждают *словом*, в котором нет ясного содержания. Надо выяснять ее принципы, установить ее критерии, оформить ее логику, чтобы всегда можно было решить: вот это — она, а это нет.

Такова моя задача, ее я не брошу до конца.

Я послал тебе брошюры, надеюсь, ты получил (через «Жизнь»). Пошлю и П ч. «Тектологии» и «Вопросы социализма», которые еще не напечатали вот уже 3 месяца. Был бы рад, если бы ты вернулся к рабочему социализму. Боюсь, случай упущен. Положение часто сильнее логики.

Привет, твой Александр .

## **Рабочая кооперация и социализм<sup>29</sup>**

Среди левых течений социал-демократии разных стран долго держалось, да и теперь еще не вполне исчезло, предубеждение против кооперации. Многие думали и думают, что кооперативная работа имеет слишком узкопрактический характер и что вследствие этого она способна суживать кругозор работника, подрывать его боевой идеализм, впутывая его в мелкие коммерческие расчеты и разные деловые компромиссы, воспитывать в нем своеобразный «торгашеский оппортунизм».

Такой взгляд находит себе кажущуюся опору в целом ряде общественных фактов. Несомненно, что значительное большинство выдающихся кооператоров Запада принадлежат к оппортунистам и что в их среде узкий практицизм, вялое, а то и совсем равнодушное отношение к общим задачам и высшим идеалам рабочего движения очень распространены; то же явление, может быть, в меньшей степени, но наблюдалось и у нас в России. Некоторые деятели кооперации сами усиленно подчеркивали мысль о различии между «положительными», «реальными» задачами кооперативного движения и активно-боевыми задачами социалистической борьбы. На Копенгагенском конгрессе<sup>30</sup>, при обсуждении вопроса о рабочей кооперации, разыгралась характерная сцена, которую мне рассказывал наш делегат Луначарский. Когда патриарх бельгийской кооперации Ансееле<sup>31</sup> в горячей

речи проводил идею о кооперации, как об одном из видов оружия в социалистической борьбе, о ее воспитательном значении для подготовки социализма, один из немецких вождей воскликнул: «Я слышу социалиста Ансееле; но где же кооператор Ансееле!» А у нас нередко и теперь еще ведутся споры о том, следует ли в кооперативной работе особенно развивать классовое сознание, или же сосредоточивать внимание на практической стороне дела.

Во всем этом сказывается одно глубокое и вредное недоразумение. При правильном, т. е. ясном и полном, понимании рабочей кооперации никакого не только противоречия, но хотя бы расхождения между ее практическими задачами и общеклассовым сознанием с его социалистическими целями нет и быть не может. В рабочей кооперации, несомненно, распространен, и пока еще широко, своеобразный оппортунизм; но он вовсе не вытекает из ее существа, а зависит от общего уровня классового пролетарского сознания. Он неизбежно исчезнет с повышением этого уровня.

Было время, когда рабочие смотрели на машины, как на своих жестоких врагов, и при случае, восставая, разрушали их. Этот взгляд вполне естественен, *пока* кругозор рабочего не простирается за пределы его фабрики и настоящего момента: новая машина на фабрике, большей частью, на самом деле лишает заработка многих рабочих. Но когда сознание пролетария расширилось настолько, что он стал видеть связь жизненных условий всего рабочего класса и зависимость его развития от общего развития производства, тогда его отношение к машинам оказалось противоположным прежнему. Обнаружилось, что машина не только орудие производства вообще и орудие эксплуатации в руках капитала, но также орудие экономического и культурного возвышения пролетариата. Рост машинной техники сделался для пролетарского сознания силой, движущей не в сторону стихийного бунтарства, а в сторону классовой организации, борьбы за классовый идеал.

Так и всякое общественное явление весьма различно отражается в сознании людей и столь же неодинаково направляет это сознание в ту или иную сторону, смотря по тому, какова исходная точка зрения, насколько широк кругозор, с какой степенью полноты охватывается общая связь вещей. То же относится и к рабочей кооперации.

Предположим, что поле зрения практика-кооператора всецело ограничивается тем кооперативом, в котором он участвует. Тогда его интересы сводятся к вопросам закупки-продажи разных продуктов, расчета паев и дивидендов, мелких хозяйственных соображений, коммерческих ухищрений и пр. Даже затраты кооператива на культурные цели он склонен расценивать прежде всего как средство привлечения новых пайщиков, закрепления симпатий покупателей, вроде того, как у капиталистов затраты на рекламу; а поскольку они не окупаются результатами в этом смысле, он готов урезывать их, как отвлечение средств от основного дела, как непрактичное разбрасывание сил. Ясно, что тут развивается даже не оппортунистический дух, а просто мелкокоммерческий.

Но почему это так? Именно потому и всецело потому, что здесь еще нет классовой точки зрения, нет классового сознания. Чем при таком понимании рабочая кооперация отличается от крестьянской или от кооперации мелких чиновников, обывателей-интеллигентов? Только личным составом, но не жизненным характером, не своим общественным значением.

Предположим теперь, что кругозор нашего работника стал шире, выходит из рамок данного кооператива, что он хорошо знает и постоянно помнит о борьбе рабочего класса за его коллективные интересы, за улучшение его позиции в обществе, за подъем экономической и культурной его силы. Тогда работа в кооперативе получает для него иной, новый смысл и значение, не мелочно-коммерческое, а серьезно-общественное. За деловым обсуждением организационных и хозяйственных вопросов на собраниях, за сухими записями и цифрами отчетов, за прозаической обстановкой лавок и контор — для его умственного взора открываются процессы роста классовой жизни, постепенного перехода пролетариев ко все более достойным и сносным, более человеческим формам существования, процессы роста культурных потребностей и живого общения в рабочей среде, расширения хозяйственных навыков, прогресса самостоятельности и самодеятельности пролетариата. Все это заполняет

его сознание — и увлекает его. И все это начинает ему казаться благом, совершенно независимым от каких-либо дальнейших задач и целей пролетариата, более важным и ценным само по себе, чем все такие задачи и цели.

У французов есть поговорка: «лучшее враг хорошего». В таком духе начинает рассуждать и кооператор. Он признает социалистический идеал; но ему кажется, что усиленное стремление к этому идеалу отнимает энергию и отвлекает внимание от практически достижимых теперь же целей кооперации. Всякое обострение классовой борьбы он невольно рассматривает с точки зрения этих же целей, и оно предоставляется ему нежелательным, опасным: когда, например, большие забастовки захватывают членов кооператива, то иные из них вынуждены брать из него свои паи, покупки и весь его оборот сокращаются, культурную работу приходится суживать, а иногда и вся его организация может захиреть. Поэтому такой кооператор стоит за примирительную тактику в отношениях с капиталом, против поддержки кооперативами политических и профессиональных организаций в их выступлениях и т. д. Успехи кооперации превращаются у него в средство примирения пролетариата с капиталистическим строем, в средство приглушения классовой борьбы. Это типичный оппортунист.

В чем же дело? В том, что и у него кругозор еще недостаточно широк, и его классовое сознание неполно, не охватывает жизни и судьбы рабочего класса в их целом, в их развитии. Он видит рабочую кооперацию, видит ее силу и те прямые улучшения, которые она вносит в существование рабочих, но не видит ее связи со всем историческим ходом вещей и с той ролью, которую пролетариат выполняет теперь и должен выполнить позже в этом ходе вещей.

Близка или еще далека победа социализма, но *борьба за социализм* для пролетариата вовсе не есть *борьба за далекий* идеал. Нет, это идеал, лежащий в самой его жизни. Социализм — это просто товарищеская трудовая организация всего общества. Пролетариат — класс трудовой, и товарищеские отношения составляют основу его классовой природы. Значит, для него задача социализма заключается в том, чтобы перестроить все общество *по своему* основному типу, *по своему* образу и подобию. Путь к этой задаче загорожен частной собственностью на средства производства и вытекающим из нее господством классов-собственников. Отсюда рождается и развивается *боевое* социалистическое сознание пролетариата. Но это только одна сторона этого сознания. Дело вовсе не только в том, чтобы победить врага, стоящего на пути к перестройке мира, дело еще в том, чтобы выполнить ее. Это гигантская, сложнейшая организационно-творческая задача, которой никогда еще раньше не ставило человечество. На громадной поверхности земли всю многомиллиардную массу орудий и материалов труда надо стройно и планомерно распределять между сотнями миллионов рабочих сил, надо с научной точностью и согласованностью организовать их труд и повсюду своевременно, в достаточном количестве доставлять им средства к удовлетворению потребностей, все более развивающихся. Для этого дела необходима колоссальная сумма хозяйственного опыта и умения, научного знания, культурно-организаторских сил: все это должен приобрести, накопить рабочий класс. Отсюда другая, еще более значительная и важная сторона его социалистического сознания — *культурно-творческая*. Она-то и освещает во всей полноте жизненное значение, смысл рабочей кооперации.

Пролетариату надо стать мировым хозяином, стать в гораздо большей степени, чем когда-либо был или будет класс капиталистов, который вовсе не должен и не способен планомерно организовать мировое производство в его целом. Очевидно, что для этого пролетариат должен научиться быть *хозяином* вообще, и притом в постоянно расширяющемся масштабе. Эту подготовку он и получает, нужные для этого силы и накапливает во всех отраслях своей организации, а особенно — в профессиональном и в *кооперативном* движении.

Когда достигнута эта ступень классового сознания, тогда вся, даже самая будничная, практическая работа кооперации преобразуется, приобретает новую, более широкую и

глубокую ценность; тогда раскрывается и становится понятной ее революционная, социалистическая природа. Кооперация, рядом с политической, профессиональной, культурной организацией пролетариата, — особый род оружия великой трудовой армии, которая идет к завоеванию мира не только как сила боевая, но еще больше как сила строительная, творческая. Каждый шаг ее пути, каждое мелкое или крупное практическое усилие, которое на нем делается, как бы ни были скромны его формы, становится частицей великого социалистического дела.

Когда кооператор *так* понимает свою работу, тогда она дает ему не только удовлетворение достигаемых успехов и улучшений, но и радость революционного творчества, сознательного движения к высшему мировому идеалу. Тогда эта работа не суживает, не ослабляет его в мелочи, а напротив, расширяет и очищает его чувством глубокой, неразрывной связи с жизнью и борьбой великого, растущего коллектива.

(1918)

## Социализм науки<sup>32</sup>

### Наука и рабочий класс

#### I

Что такое наука?

Исследуем этот вопрос на живом примере. Берем одну из самых чистых, самых «возвышенных», т. е. наименее доступных трудовым массам, наук — астрономию.

Ее зародыши возникли на ранней заре человеческой мысли. Первобытный дикарь по опыту знал о небесных светилах больше, чем девять десятых нынешних горожан и крестьян. Дневной путь солнца он знал настолько, что мог и зимой и летом по его положению с достаточной точностью рассчитывать время. Ему было хорошо известно, что зимой дуга этого пути короче и ниже, летом длиннее и выше, что движение солнца очень ровное и высшая точка дневной дуги находится всегда в одном направлении от его жилища и от всех других окружающих предметов. Он твердо помнил ту яркую звезду, которая всю ночь неподвижно висит на небесном своде в направлении, прямо противоположном солнечно-полуденному, запоминал расположение и движение других ярких звезд вокруг этой неподвижной. Он знал и сроки таинственных превращений луны, и ее изменчивый путь на небе. Весь этот опыт он передавал своим детям, те — своим. В ряду поколений незаметно прибавлялись частицы нового знания. Так шло первоначальное *собрание* астрономического опыта — росла первобытная астрономия.

С началом первых цивилизаций это собрание вступило в новую фазу. В долинах Евфрата, Нила, Янцзы-Кианга жрецы халдейские, египетские, китайские, стремясь к точному разделению времени и к точному знанию направлений в пространстве, сознательно *приводили в порядок* переданные от предков астрономические сведения, *систематически проверяли и дополняли* их новыми наблюдениями, *оформляли их* с помощью постепенно выработанных способов измерения и исчисления, *закрепляли* посредством записей. Позже, главным образом трудами ученых древней Греции, Рима и Александрии, астрономия была выделена и обособлена из общей массы других знаний и приведена к стройному единству: превратилась в научную *систему*.

Прошло еще тысячелетие. В начале Нового времени были собраны новые данные, и ряд астрономов, начиная с Коперника, нашли в старой системе *противоречия*, несогласия с опытом. Чтобы устранить эти противоречия, *согласовать* все данные, они *перестроили* всю систему. Были и после того частичные перестройки, вызванные дальнейшим собранием материала. Так она продолжает развиваться до сих пор.

Итак, люди собирали опыт, приводили его в порядок, оформляли, закрепляли,

устраняли в нем противоречия, согласовывали, группировали в стройное единство. Подобные действия могут выполняться и над людьми, и над вещами. Если люди собирают, если их взаимные отношения приводят в порядок, оформляют, закрепляют, устраняют противоречия, связывают людей в стройное целое, то это целое называется «организацией», а вся работа — *организующей*. Ясно, что наука есть не что иное, как *организованный опыт человеческого общества*.

Далее, каким путем получается этот опыт? Путем *трудовым*. В труде своей тяжелой борьбы за существование первобытный человек усваивал связь перемен на небе и смены условий на земле, положений небесных тел и земных направлений; распределение труда и отдыха — первоначальный смысл расчета времени по небесным явлениям. И вся дальнейшая, сознательная работа созидания, усвоения, распространения науки была, конечно, трудом — более напряженным, более сложным, более утомительным, чем все другие виды труда. Развиваясь, эта работа потребовала и особых орудий, которые опять-таки все более усложнялись. Теперь она ведется на особых фабриках — обсерваториях — с огромными и тонкими машинами, со строгим разделением труда между работниками, учеными и неучеными. И драгоценные продукты этого труда складываются в гигантскую, стройную систему научного знания.

Таким образом, характеристика будет точнее, если мы скажем: *наука есть организованный общественно-трудо­вой опыт*.

Далее, что заставляло первобытного дикаря замечать и запоминать движения столь далеких от него небесных светил? Суровая необходимость жизненной борьбы. Ему, бродячему охотнику лесов и степей, необходимы были надежные способы узнавать направления, определять время, а по времени и расстояния, чтобы не затеряться в угрожающих отовсюду гибелью дебрях первобытной природы, чтобы рассчитывать встречи членов общины и их возвращения домой, чтобы согласовать вообще их трудовые усилия, словом — чтобы *организовать труд*. Ибо организация труда означает прежде всего его распределение в пространстве и времени, следовательно, основывается на их точном распознавании, на «ориентировке». Небесные тела дают возможность такой ориентировки: они громадны и находятся на громадных расстояниях друг от друга; поэтому соотношения их наиболее устойчивы, движения их не подвержены случайным влияниям и строго правильны, точно периодичны. Они и дают вполне надежную опору для всех расчетов пространства и времени в деле организации труда.

Так это было с самого начала, так это и оставалось всегда потом. Не из простого любопытства халдейские маги и египетские жрецы изучали таинственную жизнь неба, наблюдали, измеряли и записывали пути светил. В долинах великих рек все хозяйство зависело от периодических разливов, оплодотворявших почву и в то же время угрожавших гибелью людям и их имуществу. Тут научный расчет времени для земледельческих работ, с одной стороны, научное определение направлений, углов, расстояний для регулирующих уровень воды инженерных работ, с другой, являются вопросом экономической жизни и смерти народов. В руках жрецов — тогдашней интеллигенции — астрономия и, тогда еще нераздельная с нею, геометрия были могучим орудием организации народного труда.

Четыре-пять веков тому назад толчок к перевороту в астрономии, к новому ее расцвету был дан потребностями океанического мореплавания, искавшего новых стран для труда и эксплуатации, новых путей для мировой торговли. Для деревянных скорлупок, носившихся по бесконечной водной пустыне, только постоянная, точная ориентировка в направлениях, во времени и расстояниях могла быть опорой против стихийных капризов ветра, волн и течений. Такую ориентировку дала новая астрономия — астрономия таблиц кастильских астрономов<sup>33</sup>, потом Коперника и Галилея. Затмения открытых Галилеем спутников Юпитера — незаменимое средство проверки хронометров на море, определения долготы места.

Основной астрономический инструмент — это часы, машина, подражательно воспроизводящая движение солнца по небосводу. Этот инструмент регулирует решительно

всю современную организацию производства. Часы управляют сотрудничеством рабочих, собирая их в одно время на фабрику, указывая время перерывов труда и его окончания; они же дают основу для расчета заработной платы, при повременной плате прямо, при сдельной — косвенно; на часах основан также расчет действия машин, измерение их силы и работы. Часами регулируется движение поездов и пароходов; им подчиняется всякое собрание, всякое объединение и общение людей.

Астрономия руководит человеческим трудом и посредством всеобщей системы мер, метрической, господствующей в производстве, транспорте и торговле передовых стран. Рабочий, делающий нарезку в миллиметр, еще не знает того, что астрономия направляет движение его руки: а между тем это так, потому что миллиметром называется одна сорокамиллиардная часть земного меридиана, промеренного с помощью звезд и солнца.

Посмотрите, до какой степени нелепо обычное понимание астрономии, как «науки о небесных телах». Оно даже логически заключает в себе противоречие: ведь «небесное» есть именно противоположность «земного» по самому понятию; а между тем в числе изучаемых астрономией тел имеется планета — Земля. Итак, для нас должно быть вполне ясно: *наука есть орудие организации общественного труда*.

В этом ее действительное, «объективное» значение для жизни. Оно для нее постоянно и неизменно.

Но *иногда* наука может приобретать еще иное значение. Если общество состоит из разных классов, если организация труда в нем основана на господстве одних классов над другими, то наука превращается и в *орудие этого господства*. Так бывало и с астрономией — так оно есть даже и теперь.

В Древнем Египте и Вавилоне во главе организации производства, как уже было сказано, стояли жрецы, тогдашние интеллигенты. С помощью своих астрономических и других научных знаний они руководили земледельческими работами, оросительными, инженерными по регулированию рек, строительными, проведением дорог, и если не прямо, то косвенно — всеми прочими. Массы народа им подчинялись, ибо сами необходимых знаний не имели. И жрецы тщательно сохраняли в тайне от народа свою науку, строго следили за тем, чтобы священные знания не проникали в головы низшего класса. Этим господство жрецов прочно закреплялось.

Теперь господствующие классы — буржуазия и примыкающая к ней часть интеллигенции — в передовых странах не ставят как будто препятствий распространению знаний в массах, частью даже «популяризуют» науку. И все же высшее, точное знание, которое в самом широком масштабе руководит организацией производства, *это* знание остается привилегией немногих, избранных, — тоже своего рода «священной тайной». Но достигается это не запрещениями и карами, а другими путями. Во-первых, тем, что знание продается, как товар, и высшее знание, в университетах и научных институтах, продается дорого, так что платить за него, вообще говоря, посильно только детям буржуазии. Во-вторых, к тому же результату ведут господствующие *способы изложения и преподавания* точных наук. Оно до крайности усложнено и затруднено целым рядом особенностей, делающих его недоступным для огромного большинства из трудовых масс: отвлеченной, непривычной для простого человека формой, излишеством особых «специальных» выражений и обозначений, множеством хитросплетенных, ненужных, по существу, доказательств, чрезмерным нагромождением материала, через которое труднее улавливаются основные идеи и приемы науки. Все это признают, против этого протестуют и борются передовые, демократически настроенные ученые, которые и работают над тем, чтобы упростить форму науки, сделать ее доступной широким трудовым кругам. Напр., та же астрономия, как и целый ряд других наук, всецело построена на математическом анализе. Этот анализ уже теперь преподается много проще и легче, чем лет 30–40 тому назад; но все-таки проф. Джон Перри вполне убедительно показал, в своих лекциях по «Практической математике»<sup>34</sup>, что еще и сейчас в изучении математики наибольшая доля времени и сил тратится на вещи совершенно ненужные и бесполезные, одно и то же под разными



обозначениями изучается по несколько раз и проч. Все это, конечно, происходит не от злого умысла буржуазии, а от недостаточной организованности ее собственного мышления, воспитанного в анархических противоречивых отношениях капитализма. Но суть дела от этого не меняется; так или иначе, оказывается, что серьезно овладеть той или другой точной наукой, а не жалкими и бессильными ее «популярными» крошками можно только при большом досуге и обеспеченном существовании в целом ряде лет, т. е. при условиях, недоступных трудовым массам. Для них тайна остается тайной.

Однако из рабочей среды выделяется немало энергичных, жаждущих знания людей, которые пробивают себе путь к этой тайне. Тогда господствующие классы охотно принимают их к себе как «образованных» людей, предлагают им хорошие места, с большой платой и досугом. Большинство выходцев поддается соблазнам нового, буржуазного существования, потому что уже утомлены побежденными трудностями, растратили лучшую долю своих сил на борьбу за обладание наукою. Они забывают о своей прежней трудовой жизни, об ее интересах, об оставшихся там, внизу, товарищах и переходят на сторону новых друзей; а если и не переходят совсем, то стараются как-нибудь согласовать свое прошлое и настоящее, перекинуть мосты между рабочими идеалами и буржуазным пониманием жизни — словом, превращаются в половинчатых людей, «оппортунистов».

Но и сама наука, которую они овладели, которой служат и в которой живут, настраивает и воспитывает их так, чтобы оторвать от задач и стремлений рабочего класса, духовно сблизить с господами положения. Вот вы видели, что такое астрономия: вам ясно, что это — наука труда, сотрудничества, организации человеческих условий в борьбе с природою. Но разве таково ее нынешнее официальное понимание? Нет. Ее разрабатывают и ей учат ученые-специалисты, всем своим воспитанием и строем своей жизни оторванные от труда народных масс, от его мировой связи, — люди, уходящие в свои кабинеты и обсерватории, как некогда монахи в свои кельи. Там они забывают о живой практике человечества, об его непрерывной борьбе с природою по всему фронту труда; и их научные знания кажутся им чистыми, ни в чем не зависящими от этой трудовой борьбы истинами о небесных телах и о силах, которые приводят их в движение. Обладание такими возвышенными, наджизненными истинами, недоступными и чуждыми темным массам, они, естественно, считают великим преимуществом; и им представляется, что они — избранники, отмеченные печатью умственного благородства, не заинтересованные в мелочах житейской суеты; а там, внизу, копошатся низшие существа, прикованные к грубому труду, к заботе о пропитании; разве не должны эти существа гордиться тем, что они работают на людей чистой мысли, высшего знания, не должны быть благодарны за те частицы этой мысли и знания, которые им бросают сверху?

Такие настроения создаются оторванностью науки от труда, непониманием трудовой природы знания; и ясно, что астрономия, а также всякая другая наука в ее нынешней, буржуазно-интеллигентской разработке, должна незаметно пропитывать людей убеждением в законности и необходимости работы масс на высшую культуру, на те классы, которые в ней живут.

Вы видите, товарищи, что не так уж смешна идея о буржуазности современной математики, астрономии и пр., как это кажется старым представителям русского марксизма.

Итак, в классовом обществе наука, оставаясь орудием организации труда, может превращаться также в орудие господства. Но она может играть и иную роль в борьбе общественных сил.

Толчок к развитию новой астрономии в XIV–XVII веках был дан, как мы указали, развитием торгового мореплавания, т. е. потребностями торгового капитала. А торговый капитал был представителем буржуазного строя, зарождавшегося среди феодальной средневековой организации. Буржуазия начинала борьбу за господство против землевладельческого дворянства и духовенства — властителей жизни в те времена.

Новая астрономия соответствовала потребностям торговли, капитала, нового класса, с ними связанного; но она не была согласна со взглядами старого мира, с учением

духовенства. Тем самым она подрывала его авторитет, ослабляла его организационную силу. Оно скоро поняло это и повело ожесточенную борьбу против революционной науки: один из первых ее провозвестников, Джордано Бруно, был сожжен на костре, Галилей — замучен нравственно.

Но тем прочнее и теснее она сплачивала передовую буржуазию для наступления на господствовавшие сословия. Она стала, конечно, не единственным, но драгоценным боевым знаменем самого прогрессивного тогда класса, и много способствовала его победе.

Как видим, наука может являться и *орудием организации сил для победы в социальной борьбе*.

То, что мы показали относительно астрономии, так же легко или даже еще легче показать соответственным исследованием относительно всякой иной науки, а для всех общественных наук было выяснено еще раньше. И к философии, которая считается завершением и объединением наук, эти характеристики вполне применимы. Она старается организовать в стройное целое весь человеческий опыт, она стремится руководить всей жизнью людей, т. е. быть всеобщим средством ее организации: философия господствующих классов, как это выяснялось многими марксистами, есть орудие их господства; и, конечно, пролетарская философия должна явиться орудием организации сил рабочего класса для его борьбы и победы.

## II

Задачи рабочего класса по отношению к науке прямо вытекают из его общих жизненных задач.

Если рабочему классу предстоит преобразовать весь строй социальной жизни и явиться наследником всего классового общества, то он, конечно, должен оказаться и наследником полного научного знания, т. е. трудового опыта общества в его целом. Но *когда* следует получить это наследство, теперь же или только после захвата рабочим классом в свои руки наследства материального — всех средств труда?

Если старая наука служит для высших классов орудием господства, то уже ясно, что для пролетариата необходимо противопоставить ей свою науку, достаточно могущественную, как орудие организации сил революционной борьбы.

Но дело идет не только о победе над прежними властителями, а о создании, на месте подлежащего низвержению строя, иного, нового, коренным образом отличающегося от него. Наука есть орудие организации производства. Если дело идет об организации планомерной, построенной на сознательном расчете, — а такова именно социалистическая, — то вполне бесспорно, что наука тут необходима еще в большей мере, и более совершенная по своим методам, чем для строя анархичного, в своем целом неорганизованного, каков капитализм. И эту науку рабочий класс должен уже иметь в своих руках, чтобы сознательно, целесообразно, успешно производить перестройку.

Итак, овладеть наукой пролетариату приходится не после социалистической революции, а *до нее и для* нее. Мы знаем, что он шаг за шагом делает это, что он жадно ищет знания и, несмотря на все препятствия со стороны суровых условий жизни, приобретает его. Но в этих усилиях не хватает классовой планомерности, знание приобретает часто не то, которое действительно нужно; в целой массе случаев оно оказывает обуржуазивающее влияние; и почти всегда оно достается ценой чрезмерных затрат времени и труда, благодаря чуждым пролетарскому строю мысли способам выражения и загроможденному частностями, затемненному трудным учено-цеховым языком изложению.

Рабочему классу нужна наука *пролетарская*. А это значит: наука, воспринятая, понятая и изложенная с *его* жизненных задач, наука, организующая *его* с классовой точки зрения, способная руководить выполнением *его* силы для борьбы, победы и осуществления социального идеала.

Что такое наука, понятая с пролетарской точки зрения, это впервые показал Маркс по

отношению к политической экономии, по отношению к истории — наукам общественным.

Как произвел Маркс перемену точки зрения для этих наук, это мне пришлось раз пояснить с помощью сравнения из области астрономии:

«За три с половиной века до Маркса жил скромный астроном — Николай Коперник. Он также преобразовал свою науку...

Древние астрономы добросовестно наблюдали небо, изучали движения светил, видели, что есть в них глубокая, стройная, непреложная закономерность, старались выразить и передать ее. Но — тут получалась какая-то странная запутанность. Планеты идут среди звезд то быстрее, то медленнее; порой как будто останавливаются, поворачивают назад и опять переходят к прежнему направлению; а через определенное число месяцев и дней они снова на старом месте и начинают тот же путь. Приходилось придумывать сложные теории, отдельное небо для каждой планеты, предначертанные каждой круги, вращающиеся в свою очередь по другим кругам, и т. д. Неясность не исчезала, расчеты были страшно трудны.

У Коперника возникла мысль: не потому ли все это так сложно и запутанно, что мы смотрим с *Земли*? А что, если переменить *точку зрения* и попробовать — конечно, лишь мысленно — посмотреть с *Солнца*? И когда он сделал так, то оказалось, что все стало просто и ясно: планеты, и Земля в числе их, движутся по круговым, а не извилистым путям и Солнце — их центр; но раньше этого не понимали, потому что Землю считали неподвижной, и ее движение смешивалось с путями планет. Так родилась новая астрономия, которая объяснила людям жизнь неба.

До Маркса жизнь общества исследовали буржуазные ученые и смотрели на нее, естественно, *с точки зрения своего собственного положения в обществе*, с точки зрения класса, который не производит, а подчиняет себе труд других людей и пользуется им. Но с того места не все видно, и многое представляется в искаженном виде, и многие движения жизни запутываются так, что их нельзя понять.

Что сделал Маркс? Он *переменил точку зрения*. Он взглянул на общество с точки зрения тех, кто производит, — рабочего класса, и все оказалось иначе. Обнаружилось, что именно там центр жизни и развития общества, то Солнце, от которого зависят пути и движение людей, групп, классов.

Маркс не был рабочим; но силою мысли он сумел вполне перенестись на позицию рабочего. И он нашел, что с этим переходом все тотчас меняет очертания и формы: раскрываются для глаз силы вещей и причины явлений, незаметных оттуда, со старой позиции; действительность, истина, даже сама очевидность становятся иными, часто противоположными прежним.

Да и сама очевидность. Что может быть очевиднее для капиталиста, чем то, что он кормит рабочего? Разве не он дает рабочему занятие и заработок? Но для работников не менее очевидно то, что они своим трудом кормят капиталистов. И Маркс учением о прибавочной стоимости показал, что первая очевидность — иллюзия, видимость, подобно ежедневному движению Солнца вокруг Земли, а вторая — истина.

Маркс нашел, что все мысли и чувства людей получают разное направление, складываются несходно, смотря по тому, к какому классу эти люди принадлежат, то есть какое положение в производстве или около производства они занимают. Различны интересы, привычки, опыт, различны и выводы из них. То, что для одного класса разумно, для другого — нелепо, и наоборот, что для одного справедливо, законно, нормально, для другого — несправедливость, злоупотребление силою; что кажется свободою тем — рабством кажется этим; идеал этих вызывает ужас и отвращение тех.

Маркс подвел итоги и сказал: „общественным бытием людей определяется их сознание“; или, другими словами: экономическим положением определяются мысли, стремления, идеалы. Это была та идея, посредством которой он преобразовал всю общественную науку... На ней основал он великое учение о классовой борьбе, через которую идет развитие общества. И он исследовал путь этого развития и показал, куда он ведет, какому классу предстоит создать новую организацию производства, какая будет эта

организация и как она покончит с разделением на классы, с их вековой борьбой.

Маркс не был рабочим. Но в рабочем классе великий ученый нашел точку опоры для своей мысли, точку зрения, которая позволила ему проникнуть в глубину действительности и породила его идею. Сущность этой идеи — самосознание трудового пролетариата...»<sup>149</sup>

Маркс указал задачу, наметил путь; но сам, разумеется, мог только отчасти выполнить преобразование тех наук, над которыми работал. Другие продолжали и продолжают: научное творчество — дело коллективного труда; силы личности, время жизни, которым она располагает, ограничены, как бы ни была она гениальна. Да и опыт постоянно накапливается новый: в наше время стало известно много таких фактов, каких во времена Маркса не было или о каких не имели понятия.

Но это дело преобразования наук ведется до сих пор совершенно неорганизованно, без всякой планомерности: оно предоставлено всецело личной инициативе и, следовательно, случаю. Выступает какой-нибудь теоретик со статьей или книгой, в которой предлагает какую-нибудь новую теорию, новое освещение фактов; другие теоретики промолчат или выскажутся, кто за, кто против, по своему вкусу; все это делается «по-ученому», пишется специальным языком и остается в книжной области, — рабочие массы тут ни при чем; иногда, только с большим запозданием, дойдут до них отзвуки научной полемики, и тоже в случайном виде, через обычные искажения фракционной борьбы. У буржуазного мира есть свои научные учреждения — университеты, академии, общества ученых специалистов, — которые коллективными средствами поддерживают и развивают буржуазную науку. У пролетариата еще нет ничего подобного. И всякий добросовестный наблюдатель должен признать: развитие науки пролетарской за последние десятилетия шло *медленнее*, чем развитие большинства наук, разрабатываемых буржуазными учеными. А между тем сами по себе методы, приемы пролетарской науки не могут не быть совершеннее, глубже, могущественнее тех, которыми пользуется буржуазная мысль.

Приведу яркий пример. В сравнительной филологии, т. е. общей науке об языках, о человеческой речи, долго оставался неразрешенный вопрос — о первоначальном происхождении слов. Решить его и нельзя было с буржуазной точки зрения, которой недоступна мысль о том, что речь есть *орудие организации общественного труда людей* и что поэтому в нем должно лежать ее происхождение. Немецкий ученый Нуаре, не имевший с рабочим классом ничего общего, силою гения поднялся над старой, буржуазной наукой и решил вопрос. Он показал, что слово произошло из *трудовых криков*, т. е. тех звуков, которые непроизвольно вырываются у людей при различных усилиях в коллективном труде и сами собою «обозначают» эти усилия. Очевидно, что такая «трудовая» точка зрения, если применять ее дальше, должна была преобразовать все учение о развитии речи. Но продолжать дело Нуаре в этом смысле буржуазные ученые вообще не могли, а марксисты лет тридцать просто как бы не замечали его теории. До сих пор, насколько я знаю, между ними, хотя уже есть ее последователи, нет продолжателей.

Но филология есть все же одна из общественных наук. Мы говорили об астрономии, одной из чистейших естественных наук, и убедились, что ее сущность — организационно-трудовая. Но, разумеется, она такова лишь с рабоче-пролетарской точки зрения, а не буржуазной. Ясно, что при таком понимании должно быть изменено все освещение и расположение материала астрономии, все ее изложение и способ преподавания.

Существенно новый материал, какие-либо специальные открытия пролетарские методы вряд ли могут внести в астрономию: у рабочего класса, до его полной победы, своих обсерваторий, надо полагать, не будет. И все же эта наука станет иною по своему облику, по жизненному значению, по своей роли в общественной борьбе. Она перестанет быть орудием возвышения классов господствующих над трудящимися, средством незаметного обуржуазивания тех жаждущих знания выходцев из пролетариата, которые отдаются ее

---

<sup>149</sup> См.: Богданов А. Памяти великого учителя (брошюра). Тифлис, 1914.

изучению. Она делается частью углубленного пролетарского сознания, одним из орудий сплочения, организации лучших сил рабочего класса и привлечения к нему тех наиболее научно мыслящих элементов другой среды, которых не удовлетворяет оторванная от жизни «наука для науки».

И опять-таки то же относится ко всем прочим естественным и математическим наукам, организационно-трудовую сущность которых предстоит выяснить и развернуть во всем их изложении.

Наименьшие преобразования потребуются в науках прикладных, технических, как технология, агрономия и пр. Их организационно-трудовое содержание само по себе ясно. Однако и в этих, теперь чисто «инженерских», науках пролетарская мысль не может остаться бесплодной. Ученый-техник рассматривает рабочую силу извне, а не изнутри, с некоторого отдаления, а не в полной близости. Поэтому от него могут, и даже должны, ускользать некоторые соотношения между рабочей силой и орудиями труда, между живыми и мертвыми элементами производства. Напр., очень важный в наше время вопрос о переходе целых предприятий от одного производства к другому или о переходе работников от одной работы к другой будет рассматриваться пролетарским ученым во многом иначе и на более широкой технической основе, чем цеховым интеллигентом-инженером. — А затем, разумеется, в пролетарской обработке все изложение должно подвергнуться значительным упрощениям и облегчениям, о которых нет надобности заботиться специалистам-интеллигентам.

Так по всему фронту науки должна развернуться преобразующая деятельность классовой пролетарской мысли.

### III

И это не все. Рабочему классу предстоит не только получить и преобразовать для себя все научное наследство буржуазного мира. Его историческая задача, его социальный идеал требует, чтобы он создал в царстве науки нечто новое, чего буржуазный мир не только не мог создать, но о чем не был способен даже поставить вопроса.

Осуществление социализма означает организационную работу такой широты и глубины, какой не приходилось еще выполнять ни одному классу в истории человечества.

Работа, выполненная буржуазией с ее интеллигенцией, не может идти ни в какое сравнение с этим. Капиталистический мир организован только в малых частях и не организован в целом. Независимо и разрозненно устраиваются отдельные отрасли производства и внутри их отдельные предприятия. За пределами стройной, планомерной организации предприятий, в их взаимных отношениях, в их рыночной связи, во всем мировом хозяйстве царствует анархия, стихийность, борьба.

И современная наука, которая служит этому мировому хозяйству, тоже разрознена, не организована в своем целом. Все ее отрасли, «специальные науки», имеют организационно-трудовой характер, но каждая лишь частично, для какой-нибудь отдельной области или отдельной стороны производства. Технические науки так и распределяются по отраслям производства: руководящая роль математики относится к расчетной или количественной стороне трудовых процессов, астрономии — к их ориентировке в пространстве и времени, механики, физики — к учету материальных сопротивлений, противостоящих трудовым усилиям, и т. д. Так же ограничена роль каждой из общественных наук. Политическую экономию обычно считают какой-то всеобщей наукой о хозяйстве; это совершенно неверно: она есть только наука о взаимных отношениях между людьми в сотрудничестве и в присвоении; вне ее остается вся техника производства и вся область идеологии, т. е. общественного сознания, вносящего планомерность и порядок в хозяйственную жизнь.

Все специальные науки живут самостоятельно, развиваются каждая сама по себе — в этом заключается их разрозненность, общая анархия царства науки. Если бы рабочий класс ограничился только тем, что овладел бы ими, хотя и преобразовав их для себя, достаточно ли

было бы этого для решения его мировой задачи — организации социалистического общества?

Мы теперь знаем — особенно наглядно показала это война, — что социализм не может осуществиться в какой-нибудь отдельной стране; он должен охватить все страны или, по крайней мере, такой обширный союз стран, который мог бы обходиться во всем производстве самостоятельно, не зависел бы от ввоза материалов из отсталых государств и не находился бы в опасности от их военной силы. Таков гигантский масштаб планомерной организации, которую придется создавать рабочему классу.

Потребуется на пространстве во много миллионов квадратных верст между сотнями миллионов разнообразнейших рабочих сил целесообразно распределить миллиарды разнородных орудий и сотни миллиардов пудов всевозможных материалов, а также и жизненных средств, так чтобы все потребности производства и работников полностью удовлетворялись, а продукты каждой отрасли своевременно доставлялись всюду, где они должны быть применены в труде или потреблении.

Но это еще не все. Новое общество должно стоять в культурном отношении на уровне беспримерных задач и быть достаточно однородным по идеологии. Если различные части его будут по своим мыслям и стремлениям так несходны, как, напр., в наше время рабочий, интеллигент и крестьянин, то планомерно строить свою общую организацию они не смогут, как неспособны планомерно строить здание работники, говорящие на разных языках.

Техническую сторону общественного хозяйства с полной точностью можно обозначить как организацию вещей, экономическую — как организацию людей; идеология же класса или общества есть организация его идей. Следовательно, задача в ее целом представляется как планомерная мировая организация вещей, людей и идей в единую, стройную систему.

Разумеется, только научным путем мыслимо осуществить все это. Но достаточна ли тут современная наука в ее разрозненности, наука, раздробленная на специальные отрасли, работающие самостоятельно?

Если каждая из них будет сама по себе организовывать ту или иную область, ту или иную сторону производства, то ясно, что общей научно-стройной организации от этого не получится. Это то же самое, как если бы при постройке дома плотники свою долю работы выполняли по своим расчетам и соображениям, каменщики — по своим, печники, кровельщики — тоже и т. д. Там все отдельные работы подчинены общему руководству инженера-архитектора, представителя объединяющей их строительной науки; только при этом условии достигается планомерность постройки, соответствие всех ее частей и сторон, деловая организованность.

Очевидно, и работа отдельных научных отраслей в организации планомерного мирового хозяйства должна быть подчинена такой объединяющей науке. Какой же именно? Если дело идет сразу и совместно об организации людей, вещей и идей, то ясно, что это наука *всеобщая организационная*.

Это — наука, охватывающая и закрепляющая весь организационный опыт человечества. Она должна вывести из него законы, по которым группируются в целостное единство или разобщаются между собою какие угодно элементы бытия — предметы и силы, природы мертвой, или живой, или идеальной.

Буржуазный мир неспособен создать такой науки: она чужда его сущности. Он весь пропитан анархией, весь разрознен, разъединен перегородками; его силы враждебно сталкиваются, стремясь дезорганизовать друг друга; ему ли собрать вместе и гармонично слить организационную волю и мысль, рассеянную в его среде, дышащей противоречиями?

Пролетариат организует вещи в своем труде, себя самого — в своей борьбе, свой опыт — в том и другом; это класс-организатор по самой природе. Он призван разрушить все перегородки человечества, положить конец всякой его анархии. Он — наследник всех классов, выступавших на арене истории: их организационный опыт — его законное наследство. Это наследство он и призван свести к стройному порядку — к форме всеобъемлющей науки. Она будет для него основным, необходимым орудием воплощения в

жизнь его идеала.

#### IV

Преобразовать для себя и дополнить научное наследство старого мира — это далеко еще не вся задача рабочего класса по отношению к науке, это еще не значит для него — *овладеть* .

Он действительно владеет только тем, что вошло в его массы, что в них прочно укоренилось. Здесь перед нами выступают вопросы о «популяризации» знаний и об образовательных учреждениях.

Слово «популяризация» выражает, в сущности, только тот тип распространения знаний, который выработан буржуазией и соответствует ее интересам. Капиталу, при современных способах производства, необходимо, чтобы рабочие были толковы, культурны, до известной степени интеллигентны; но невыгодно, чтобы они имели глубокие и серьезные знания, потому что такие знания — сила в классовой борьбе. «Популярное» изложение какой-нибудь науки должно быть, конечно, легким и понятным, но поверхностным; оно берет верхушки знания, но не дает овладеть *методом* его выработки, не создает опоры для углубленного труда над ним и не располагает к такому труду. Популяризация должна быть интересна; для этого в ней, как бриллианты в витрине магазина, бывают собраны поражающие ум сведения, напр., о гигантских звездных расстояниях, о кольцах Сатурна, о каналах на Марсе и т. под., все это как готовые результаты. Но тем труднее переход к действительному изучению. А «серьезные изложения», словно в противоположность популяризации, даются в усиленно сухой и тяжелой форме, написанные часто до варварства доходящим специальным языком, усложненные балластом схоластических рассуждений и доказательств. Они обычно так утомительны, скучны, непривлекательны, что сами дети буржуазии, в ее средних, высших и специальных учебных заведениях, справляются с ними только при подстегивании довольно суровой дисциплины, искренно рассматривая ученье как особого рода чистилище. Тем не менее они справляются; а для масс остается грамотность низших школ и, сверх нее, легкая, неопасная «популяризация», часто вдобавок переходящая в пошлую, неточную и грубую «вульгаризацию».

За последние десятилетия выступил более высокий тип распространения знаний. Его вырабатывала демократическая часть интеллигенции, во главе которой идут наиболее прогрессивные люди науки. Они стремятся внести действительное знание в народные массы, устраивают народные университеты и практические курсы подходящего к ним уровня; соответственно своей задаче они перерабатывают и способы изложения наук. Удалось выяснить, что возможно уже теперь в очень большой мере упростить и сократить по объему курс почти каждой науки, без малейшего ущерба для глубины и точности, и обыкновенно еще с выигрышем для ясности изложения. При этом основной задачей ставится — научить методу науки и методам ее применения, так чтобы человек мог и сам учиться, и практически пользоваться знанием. Интерес к знанию усиливается и углубляется, оно проводится в массы как действительное знание, а не как поверхностные «сведения». Это — *демократизация* науки.

Не то ли это самое, что нужно рабочему классу? Без сомнения, да; но и это далеко еще не достаточно для него.

Вот, положим, «Практическая математика для ремесленников» проф. Джона Перри. Она рассчитана, главным образом, на рабочих-механиков, дает в простой и сжатой форме методы математического вычисления и анализа вместе с их практическими приложениями. Но эти методы и приложения, эта сила науки дается как орудие труда для изучающего работника, взятого в отдельности, как орудие *личной* его работы и *личного* успеха. Ученые-демократизаторы сами так понимают дело и других могут учить только в том же смысле. Но какое самосознание при этом развивают они в работнике, личное или классовое, социальное? Усиливается ли связь работника с его коллективом, с трудовой массой, или, напротив, он

выделяется из нее своим приобретенным знанием, обособляется от нее, поднимаясь в своих глазах на более высокую ступень? Очевидно, должно получаться скорее второе. Мы видели, что современная наука способна обуржуазивать тех энергичных одиночек, которые из рабочего класса поднимаются до ее высот. Здесь же это действие только слабее, но должно существовать: а слабее оно потому, что демократизация знаний захватывает все же не одиночек, а более широкие круги и до вершин науки их пока еще не доводит.

Итак, простая демократизация знаний недостаточна для рабочего класса. Она, конечно, повышает его культурность, но не возвышает его как класс, потому что дает науку не как силу класса, а как силу его единиц, хотя бы и многочисленных.

Что же еще требуется? Посмотрите, в таком ли виде и значении распространяется среди рабочих масс экономическая и историческая теория марксизма, т. е. наука, уже преобразованная с пролетарской точки зрения. Пролетарий ее воспринимает жадно и глубоко; но является ли она для него личным орудием успеха? Видит ли он в ней средство выдвинуться из своей рабочей среды и подняться над нею? Если это и бывает с отдельными честолюбцами, то все же это исключение, потому что общий смысл ее не таков.

Ее метод — классовый; он заключается в том, чтобы рассматривать жизнь человечества с позиции пролетариата, его глазами, т. е. основываясь на его коллективном опыте. Ее применение — тоже классовое: оно заключается в сплочении рабочего класса, в строительстве его организации, в коллективной борьбе за его идеал. Такое знание — сила не личности, а коллектива: оно не разрознивает пролетариат, выделяя посвященных из среды непосвященных, а теснее связывает его.

Тут распространение науки в массах оказывается не простой ее демократизацией, а настоящей *социализацией*. Вопрос о том, как пролетариату овладеть наукою, привел нас к уже знакомой задаче, слился с вопросом о преобразовании науки. И мы знаем, что не только политическая экономия или история способны к такому преобразованию и подлежат ему, а всякая наука. Всякая наука, воспринимаемая с точки зрения рабочего класса, есть собранный трудовой опыт человечества, орудие организации общественного труда, средство социальной борьбы и строительства, сила не личная, а коллективная.

Условием распространения знаний является отнюдь не одна простота и понятность изложения, но прежде всего — интерес к ним в массах. Пока, напр., астрономию или высшую математику они считают чем-то вроде тонкой забавы праздных людей, до тех пор стремление изучать ее будет для человека массы случаем редким и исключительным, своего рода странностью, капризом. Когда становится известно, что такие науки, при серьезном, стоящем немало труда изучении, могут стать орудием личного успеха и карьеры, тогда они привлекают наиболее честолюбивых и способных представителей массы. Насколько живее интерес к науке, насколько она ближе и роднее для всякого рабочего, для человека массы, когда он знает и чувствует ее присутствие во всем своем труде, ее невидимое руководство во всем сотрудничестве, в каждом усилии общей работы!

Только социализация науки может глубоко укоренить ее в пролетарских массах, только она позволит рабочему классу овладеть наукою. А овладеть ею необходимо ему в полном масштабе научного знания, во всей широте различных его отраслей. Ибо все науки участвуют в организации мирового производства — а рабочему классу предстоит научно организовать все мировое производство.

## v

Задачу — овладеть наукою, т. е. преобразовать ее для себя и распространить в своих массах, — пролетариат должен выполнить посредством своей классовой научно-пропагандистской организации — *Рабочего Университета*.

Слово «университет» первоначально означало не то, что теперь обычно называется этим именем, а — *совокупность*, систему взаимно связанных учебных и учено-учебных заведений. В подобном же смысле говорим мы о Рабочем Университете.



Он должен явиться системою культурно-просветительных учреждений, тяготеющих к одному центру, объединяющему и формирующему научные силы вроде того, как это делают нынешние университеты и академии. Ступенями к этому центру должны служить высшего и низшего типа общеобразовательные курсы. Общеобразовательные, конечно, не по обычным нынешним программам государственных школ, а по программам, настолько широким и энциклопедическим, насколько это возможно и нужно для выработки сознательного рабочего коллективиста. С каждой ступенью общеобразовательных курсов должны связываться дополняющие ее ряды курсов специальных, с более частными практическими целями, как, положим, по профессиональному движению, по политической агитации, различные профессионально-технические курсы и проч. Единство программ в этой системе должно ставиться задачей, но на деле оно создается лишь в работе и развитии всей организации. Оно не может и не должно быть навязано ее частям вначале, потому что надо много искать и испытывать, чтобы найти лучшее.

Постановка работы в учреждениях Рабочего Университета необходимо должна соответствовать общему типу и духу пролетарской организации; а это значит — она должна быть основана на *товарищеском сотрудничестве* учащихся и учащихся. Не таковы обычные современные отношения, при которых учитель или профессор является непреложным авторитетом, умственной властью для слушателей. Однако и в рабочей среде товарищеские отношения легко извращаются там, где есть большое неравенство знаний и опыта, — легко переходят тогда в духовное подчинение одних другим, в слепое доверие, мешающее развиваться и критике и творчеству. Вся просветительная пролетарская организация должна быть и школой товарищеских отношений, где необходимое руководство знающих не подавляло бы умственной самостоятельности мысли изучающих, не вело бы к явному или скрытому порабощению.

В этих условиях совместная работа будет естественно проникаться коллективно-трудовой точкой зрения, которая и есть точка зрения рабочего класса; и преобразование науки, ее понятий и их изложения, будет совершаться не только личными усилиями передовых теоретиков, но в гораздо большей мере той общей, самоорганизующейся активностью всех участников, в которой нельзя отличить, что принадлежит одному, что — другому. И именно потому, что сущность преобразования лежит в классовой точке зрения, в новой логике, иначе освещающей старый опыт, очень часто может оказаться, что в общем обсуждении научного вопроса, научной теории, учащийся даст правильное и полезное указание, которое не приходило в голову его руководителю просто потому, что у него сильнее интеллигентские привычки мышления. В моем личном опыте пропагандиста это случалось не раз.

Из коллективной жизни Рабочего Университета, путем выработки наилучшего курса изложения каждой науки и приведения таких курсов в стройную связь, возникнет Рабочая Энциклопедия<sup>35</sup>. Она объединит в наиболее совершенной форме и в наименьшем возможном объеме основную сумму всенаучного знания, необходимую рабочему, чтобы ясно понимать свое место и роль в природе и в обществе, чтобы сознательно и выдержанно идти по своему классовому пути. Феодалное общество вырабатывало свои религиозные энциклопедии, буржуазия накануне Великой революции создала свою просветительную энциклопедию. Пролетариат, класс, которому предстоит организовать жизнь несравненно шире по масштабу и глубже по захвату, тем более не может обойтись без создания своей энциклопедии. Она послужит для него могучим средством идейной самоорганизации, могучим оружием борьбы и орудием строительства в выполнении мировой его задачи — в завоевании царства социалистического идеала.

(1918)

## Методы труда и методы познания

Одна из основных задач нашей новой культуры — восстановить по всей линии связь

труда и науки, связь, разорванную веками предшествующего развития.

Решение задачи лежит в новом понимании науки, в новой точке зрения на нее:

наука есть организованный коллективно-трудо­вой опыт и орудие организации коллективного труда.

Эту идею надо последовательно провести во всем изучении, во всем изложении науки, преобразуя то и другое насколько потребуется. Тогда царство науки будет завоевано для пролетариата.

Душа науки, основа ее творчества — ее методы, т. е. способы, которыми она вырабатывает истину.

В свете нашей новой точки зрения мы теперь и рассмотрим, откуда первоначально эти методы произошли, какими силами определяется дальнейшее их развитие.

## I

Все методы познания группируются в два ряда: индуктивный и дедуктивный, или ряд «наведения» и ряд «выведения». Они дополняют друг друга, идя в противоположных направлениях. Индукция организует опыт, переходя от частного к общему и получая таким образом все более широкие «обобщения»: понятия, идеи, «законы». Дедукция берет эти обобщения и пользуется ими как орудиями дальнейшей организации опыта, прилагая их к более частным фактам и группировкам фактов, получая этим и тем различные «выводы», в числе их — «предвидения». В этих формах протекает всякая познавательная работа. Мышление обыденное применяет их бессознательно, научное — сознательно и планомерно.

Эта сознательность и планомерность повышались с каждым шагом развития науки. Но все же старая наука не была в силах исследовать свои методы настолько, чтобы выяснить их действительное начало; а оно есть ключ к их объективному, жизненному смыслу. Все это — вне поля зрения старой науки, потому что все это лежит в сфере коллективного труда, от которого оторвалось ее мышление.

## II

Путем индукции достигается познавательное обобщение. Ему предшествует в развитии жизни, как индивидуальной, так и коллективной, обобщение практическое.

Грудной младенец не занимается индукцией, он еще не есть существо мыслящее. Но он — уже существо действующее, он так или иначе реагирует, активно отвечает на события. Прикоснитесь к его ручке чем-нибудь очень холодным — он отдернет ее. Если холодный предмет замените горячим — он также отдернет ручку. Острие иголки вызовет то же движение. Это самый обыкновенный «рефлекс», т. е. произвольное, стихийное действие живого организма. Оно является одинаковым ответом на различные раздражения. Но такой ответ жизненно целесообразен. Почему? Потому что при всем различии данных раздражений в них есть нечто общее: все они могут иметь вредное, разрушительное действие на организм. Движение ребенка есть реакция на это именно общее их свойство. Другими словами, оно практически обобщается в рефлексе.

Огромное большинство человеческих действий — рефлекторные, инстинктивные, автоматические, привычные — представляют такие практические обобщения. Человек идет по тропинке, ее прерывает яма, большой камень, ствол упавшего дерева, лужа; все эти различные вещи он лишь несколько тысяч лет тому назад сумел обобщить познаватель­но в понятии «препятствия»; но, конечно, задолго до того, наглядно для всякого наблюдателя обобщал практически, в акте перепрыгивания, в одинаковом движении, относящемся к общему для человека свойству всех этих столь различных предметов.

Такова жизненная необходимость. Воздействия и сопротивления среды, с которыми сталкивается всякий организм, сами по себе бесконечно разнообразны и никогда в точности не повторяются. Если бы организму надо было так же разнообразно реагировать на них, то

он никогда не мог бы ничему «научиться» в том смысле, что не имел бы возможности выработать никаких действительных приспособлений: когда и каким путем выработаются целесообразные реакции, если каждая годится только на один раз? Именно в обобщающем их характере заключается основная экономия сил активного существа.

### III

Все-таки очевидно, что практическое обобщение в этих стихийных формах отстоит еще весьма далеко от познавательного. Где лежит промежуточный этап?

Чем сильнее то раздражение, которое действует на ручку ребенка, тем энергичнее рефлекс отдергивания. При этом легко заметить, что сокращаются и другие мускулы тела, особенно лица, а также учащается и усиливается дыхание. Это — распространение в нервных центрах возникшего возбуждения с одних двигательных областей на другие, так называемая «иррадиация» его; она — неизбежный результат единства организма, связи его частей; в сущности, он весь принимает участие во всякой реакции, только со стороны большинства органов участие так слабо, что незаметно.

Если раздражение очень сильно, то рефлекс осложняется криком: иррадиация дает резкое сокращение грудобрюшной преграды, голосовых связок, мускулов полостей глотки и рта и мускулов лица. И вместе с тем на сцену выступает новый момент, огромной важности.

Мать слышит крик ребенка и приходит ему на помощь: она узнала, что случилось, потому что крик есть выражение боли. Если бы ребенок был один в мире, крик его являлся бы только лишней и вредной растратой энергии; но в зародышевой социальной системе «мать — ребенок» и эта часть рефлекса превращается в очень полезное приспособление. Крик боли «понятен» и матери, и даже всякому другому человеку, потому что у всех них он одинаково является частью рефлекса, вызываемого сильным и вредным раздражением.

Рефлекс есть практическое обобщение. Здесь оно, как видим, уже не только существует, но и выражено и понято. Выраженное и понятое практическое обобщение не может ли рассматриваться как познавательное? Пока еще нет; оно не соответствует общепризнанному типу таких обобщений. Но оно является их прообразом.

### IV

В борьбе с природой человек приспособляется к ее условиям не только путем стихийных рефлексов, но также путем сознательно-целесообразных усилий, активно изменяющих эти условия; другими словами, он есть существо трудовое.

Трудовые усилия отличаются двумя чертами: социальностью и пластичностью. В труде человек связан с другими людьми, является членом коллектива; только в коллективе он обладает достаточной силой, чтобы изменять условия внешней среды; взятый отдельно, он был бы бессилён перед стихиями и если бы даже мог жить, то только пассивно к ним приспособляясь, как любое животное, но не мог бы развиваться до трудовой сознательности. А она неразрывно связана с изменчивостью самих усилий, с их «пластичностью»: как только труд несколько изменил условия, так дальнейшие усилия уже должны «считаться» с этим изменением, напр., если дерево подрублено уже настолько, что может упасть, надо не рубить дальше, а толкать его в надлежащую сторону и т. под.

Труд порождает новый этап в развитии обобщения.

Трудовой акт, подобно рефлексу, из которого он произошел, сопровождается, благодаря той же иррадиации, соответственным звуком, трудовым междометием. Таков, напр., звук «ухх», вырывающийся при поднятии тяжести, «га» — при ударе топора для раскалывания полена, «гопля» — у матросов при натягивании каната, «гогой» — у них же при вращении спиц кабестана, «ффы» — у человека, раздувающего огонь для костра, и пр. Эти звуки часто и практически связаны с необходимым приспособлением органов грудной клетки к движению стана и конечностей. У человека первобытного, стихийно-

непосредственного, такие звуки вырывались, конечно, гораздо легче, чем у современного нам работника.

Трудовые междометия — это первичные корни человеческой речи. Каждое из них представляет естественное, для всех членов коллектива понятное обозначение того трудового акта, к которому относится. Здесь — разгадка происхождения языка, данная гениальным Нуаре<sup>37</sup>, марксистом сравнительной филологии, не имевшим понятия о марксизме. Слово-понятие выделилось из труда, возникло из производства.

Пластичность труда обусловила пластичность слова и тем самым — развитие речи, начиная от немногих первичных корней и до того неизмеримого ее богатства, которым характеризуются теперь языки цивилизованных народов.

Так как первобытное слово обозначает действие, то уже ряд таких слов может составить техническое правило. Напр., технику разведения костра взрослый член родовой первобытной общины мог сообщать ребенку путем цепи трудовых междометий, выражающих наши понятия: рубить (конечно, дерево), ломать, собирать (сухие ветки, хворост), нести, складывать, тереть (способ добыть огонь), раздувать. Способ обучения, по невыработанности языка, несовершенный, но с помощью указания на подходящие предметы достигавший, надо полагать, своей цели.

Трудовое междометие вырывалось у человека не только в связи с представлением о своем действии или таком же действии другого человека. Если ему случалось видеть аналогичное по характеру или результатам стихийное действие сил природы, это, естественно, порождало в дикаре яркое двигательное представление, а с ним — то же самое высказыванье. Напр., когда он наблюдал, как падающий с горы камень острым краем срезывает деревцо на своем пути, это произвольно порождало у него звук, выражавший акт срубания. А тем самым первичное слово становилось уже обозначением не только человеческого усилия, но и явления природы. Так сделалось возможным описание вообще.

Нет надобности сейчас проследивать дальнейшее развитие языка от неопределенного значения слов к определенному, от трудовых междометий к расчленению частей речи. Для нас важно следующее. Слово-понятие есть уже познавательное обобщение; техническое правило и описание событий — познавательные обобщения более сложные, образованные из первичных, элементарных обобщений — слов.

Это — начало *индукции*. Первой и основной ее формой признается «*обобщающее описание*». Словесное обозначение само по себе и представляет «описание» обозначаемого — в самом общем смысле термина; и описание, конечно, обобщающее: оно охватывает в своей символической действия, или события, или вещи, различные в частности, но обладающие некоторым общим содержанием, которое и позволяет связывать их как однородные комплексы в потоке живого опыта.

## V

От низших, первого порядка обобщений происходят высшие — второго, третьего порядка и т. д., как в цепи слов-понятий, так и в цепи технических правил и описания фактов. Метод все тот же. В данном ряде низших познавательных комплексов имеется общее и жизненно важное, в каком бы то ни было смысле, содержание; отношение людей к этому содержанию «выражается» в одинаковой словесной реакции.

Дикарь «знает» всех членов своей общины, т. е. к каждому из них находится в определенном практическом отношении; оно выражается для дикаря в индивидуальном имени. Это имя само по себе символизирует сложное и широкое обобщение, ибо каждый человек в опыте другого выступает отнюдь не тождественно, а целой цепью довольно разнообразных переживаний.

Но и ко всем своим родичам у дикаря существует некоторое общее практическое отношение. Оно особенно резко обнаруживается тогда, когда община встречается с людьми чуждой организации, напр., другой подобной общины. Тогда он жметя к своим, ищет их

поддержки и сам поддерживает их, а чужих, напротив, остерегается, избегает, при возможности нападает на них. То и другое отношение охватывает два ряда довольно сложных практических реакций, имеющих большое жизненное значение. Эти два ряда и обобщаются в понятия высшего порядка — «свой» и «чужак».

Развитие более мирных отношений и связи между общинами, племенами ведет к образованию понятия еще высшего порядка — «человек» — и т. п.

Таков путь индукции. В обыденном и в научном мышлении он, по существу, одинаков: научное мышление, как известно, отличается только большей организованностью — шире и полнее охватывает коллективный опыт людей, строже и методичнее связывает его, планомерно устраняя все противоречивое в нем. А методы научного мышления — те же, потому что оно и выработалось из обыденного. И теперь мы проследили корни основного из этих методов в области *труда*, где лежит начало всей культуры.

#### IV

Обобщение, обобщающее описание — простейший тип индукции. Более сложную и высокую форму ее представляет метод *статистический*, метод количественного учета и подсчета фактов.

Известны дикари, для которых арифметические операции даже в пределах числа пальцев на руках и ногах представляют непреодолимые трудности. У первобытных людей приходится предполагать еще меньшее развитие. Но труд вообще и всегда имеет, конечно, свою количественную сторону, а ее значение в его организации столь же велико на самых ранних стадиях, как и на позднейших.

Элементы производства — его материалы, орудия, рабочая сила. Их соразмерное распределение, а значит, их «соизмерение» — основная организационно-трудовая задача. В настоящее время она в каждом крупном предприятии решается научно-статистическим путем, и на этом же методе основываются нынешние попытки ее решения в более широком, государственном масштабе. Первоначально же она решалась чисто практически.

Так, напр., даже самое примитивное земледелие требовало хотя бы приблизительного учета семян, необходимых для посева на определенной площади, и такого же учета фактической урожайности, определяющего расширение или сужение обрабатываемых общиной участков. Этой первобытной статистике приходилось принимать во внимание и наличность рабочих сил, считаясь притом с количественным различием силы взрослого мужчины, женщины и подростка. С усложнением производства надо было рассчитывать и необходимые размеры пастбища для наличного скота, и величину запасов сена для него на зиму; а число, например, овец сообразовать и с потребностью в мясе для питания, и с потребностью в шерсти для выделки тканей, основываясь на среднем весе животных разного возраста и на среднем количестве получаемой от них шерсти и т. под.

Все выкладки делались первоначально, разумеется, не путем настоящих арифметических и алгебраических операций, а тем элементарным методом, который живо и довольно точно выражается нашим народным термином — «прикидывать на глаз». Например, чтобы соразмерить количество семян с пространством подлежащего засеву участка, руководитель работ общины исходил из прежнего трудового опыта, согласно которому, положим, горсти зерен хватало на такую-то маленькую площадь, хорошо фиксированную в его воспоминании. Обходя затем пахотное поле, он как бы отмеривал по этому зрительному образу («на глазомер») куски площади такой же величины и на каждый откладывал по горсти семян из полного взятого с собою мешка в специально назначенный для них пустой. Так первобытная статистика на деле реализовала и среднюю величину, и общую сумму.

Большим и весьма нелегким шагом к отвлеченно-статистическому расчету была примитивная символика в таком роде: вместо того, чтобы таскать с собой и на месте откладывать семена, организатор, отмеривая на глаз площадь, делал знаки, в виде, например,

черточек на палке и потом, уже дома, по этим знакам откладывал горсть за горстью. Это было начало собственно «численной», или цифровой, статистики.

До какой степени труден переход даже к такой символизации, о том ярко свидетельствует приводимый Дж. Леббоком<sup>38</sup> (в книге «Начала цивилизации») рассказ одного африканского путешественника. Он был свидетелем меновой торговли между европейским купцом и вождем туземного племени. Выменивались овцы на табак: купец давал по две пачки табаку и отводил в свою сторону овцу. Ему надоело без конца повторять эти передвижения, он дал вождю сразу четыре пачки и хотел отвести две овцы. Вождь остановил его. Купец стал доказывать, что это — одно и то же. Туземец никак не мог понять суть дела, и на лице его отразилось мучительное напряжение мысли. Наконец вдохновение осенило его: он схватил четыре пачки поднес их к своим глазам и через одну пару стал смотреть на одну овцу, через другую — на другую. Так вопрос был решен, и под влиянием европейской цивилизации был сразу сделан значительный шаг по пути познания, который без этого влияния потребовал бы гораздо больше времени.

Практически осуществлялись в первобытной статистике для тех же целей соизмерения и группировки с точки зрения количественных различий по отношению к какому-либо признаку: скота по его весу, бревен и досок для стройки по величине, работников по размеру их трудоспособности и т. под. Без этой группировки невозможен был бы даже и тот приблизительный учет условий общинного производства, который выполнялся непосредственно, «глазомерным» путем, и без которого организация труда не достигла бы необходимой элементарной планомерности.

Таким образом, все основные моменты статистического метода возникали сначала в организационно-трудовой практике, в ее конкретной жизненной связи. Затем они подвергались *символизации*, которая состоит в замещении реальных фактов и вещей знаками, словесными или иными. На одном из примеров мы отметили зародыш «цифровой» символизации; проследить же все ее развитие не требуется нашей задачей. Она именно придала статистическому методу сначала вообще *познавательный*, а затем когда достигла большей строгости и точности, то и собственно *научный* характер.

## VII

Высшую и самую сложную форму индуктивного метода представляет *абстрактно-аналитический*, или метод упрощающего разложения фактов. Однако и он отнюдь не «выдуман» учеными.

Слова «абстрагировать» и «анализировать» первоначально обозначали вполне физические действия: первое, по-латыни, значило «отдирать», «оттаскивать в сторону», второе, по-гречески, «разрывать» какие-нибудь связи, путы, или «развязывать» их. Вообще действия, практически разлагающие тот или иной материальный комплекс, производящие реальное обособление составных его частей. В производстве это один из основных технических методов.

Для постройки дома нужны бревна определенных размеров, ровные и гладкие. Они добываются из строевого леса. Как это делается? Срубают или спиливают дерево — отделяют от его корней; удаляют его ветви, сучья, снимают кору, срезают и счищают всякие неровности ствола. Получается то, что надо, то, с чем строитель может оперировать в своей работе. В чем смысл процесса? От реального, сложного комплекса «дерево» *технически отвлекают* целую массу его элементов, так чтобы осталось то, что является *существенным* с точки зрения поставленной задачи. Это процесс как нельзя более типичный.

С точки зрения производства хлеба существенным содержанием колоса являются зерна, с точки зрения производства одежды существенным содержанием растения «лен» — волокна его стебля и т. под. Во всех таких случаях оно и выделяется из целого разными способами технического отвлечения «несущественных» частей или элементов. Это —

материальная, практическая «абстракция», материальный «анализ» предметов.

За реально-трудовым действием, отделившись от него, следует его символ — слово-понятие, идеологически его замещающее. Так и за реально-трудовым отвлечением следует его идеологический образ — «словесное» и «мысленное» отвлечение. Строитель смотрит на растущие деревья и, мысленно абстрагируя их кроны, кору и пр., определяет, какие бревна из них выйдут. Это — «познавательное», но еще не собственно «научное» применение абстрагирующего аналитического метода, потому что задача его обыденно-практическая, а не научная, возможное использование, а не исследование.

С переходом к научному мышлению и постановке научных целей существо метода не меняется. Дело также сводится к тому, чтобы из сложного комплекса выделить «существенное» или «основное» с точки зрения намеченной задачи и чтобы дальше с этим и оперировать. Выполняется абстрагирование также реально, технически, если это возможно. Тогда оно обозначается как «эксперимент», или научный опыт.

Так, например, если требуется выяснить основную правильность падения тел, то стараются экспериментально отвлечься от таких осложняющих условий, как сопротивление воздуха, случайные толчки, действие ветра. Для этого тела, которые взяты для исследования, помещают в замкнутую трубку, чем устраняются случайные воздействия, и из нее выкачивают воздух, чем устраняется его сопротивление. Если надо установить основную форму свободных жидкостей в пространстве, то стараются абстрагировать силу тяжести, которая заставляет их растекаться по поверхностям или принимать форму сосудов. Для этого действие тяжести уничтожают, «парализуют» другим, ему равным и противоположным: давлением другой жидкости одинакового с первой удельного веса, внутри которой ее помещают, выбирая, конечно, такую, которая с ней не смешивается, или избегая смешения с помощью тонкой эластичной пленки; при этом жидкость, как известно, принимает форму шара.

На обоих примерах видно, что «абстрагирование» получается не совершенное, лишь приблизительное: осложняющие моменты сводятся только к минимальной величине; напр., в трубке для падения тел остается хотя бы очень немного воздуха; удельный вес двух разных жидкостей не абсолютно совпадает, как ни стараться об этом, и т. под. Этими остатками осложняющих моментов, если они очень малы, просто «пренебрегают», т. е. уже *мысленно* от них отвлекаются.

В массе случаев такого реального, технического абстрагирования выполнить не удастся даже и приблизительно; тогда оно заменяется всецело мысленным отвлечением. Таким почти всегда является абстрактный метод в общественных науках: над людьми и их отношениями эксперименты возможны лишь весьма редко, и постановка их, при громадной сложности явлений, слишком трудна.

Адам Смит и Давид Рикардо исследовали экономические процессы капитализма с помощью основной абстракции «экономического человека»: они мысленно отнимали у человека все иные мотивы — нравственные, политические, идейные, лично-эмоциональные — кроме «экономической выгоды», — как бы обрубали и обрезывали человеческую личность, оставляя только «существенное» для их задачи; а затем оперировали уже с этим упрощенным комплексом. — Маркс, изучая развитие капитализма, берет за основу «чисто капиталистическое общество»; эта абстракция получается путем мысленного очищения современной Марксу капиталистической организации от всех заключающихся в ней остатков и пережитков прежних экономических систем и от зародышей будущих. Такие упрощения позволяют проследить главные закономерности бесконечно сложной экономической жизни.

Абстрактный анализ есть самый тонкий, самый совершенный и самый трудный метод индуктивного исследования. Однако он произошел в конечном счете из элементарно-грубых технических приемов, с которыми его связывает непрерывный ряд развития.

Сущность дедукции заключается в применении результатов, добытых индукцией, т. е. обобщений. Начало того и другого метода совершенно сливается, оно до такой степени общее, что в нем различать тот и другой еще нельзя.

Это начало — слово-понятие, первичное обобщение. Оно обозначает ряд однородных действий, или событий, или предметов, выступавших в прошлом, пережитом опыте, и прилагается к действиям, событиям, предметам, в опыте *новым*, появляющимся впервые. Такое новое приложение, без которого слова были бы вполне бесполезны, и есть уже элементарная *дедукция*.

Пусть, например, первичный арийский корень «ку» связан с актом копания. Если допотопный дикарь, встретив на пути яму, произвольно произносил «ку», то междометие это есть не что иное, как вывод из обобщенного прежнего опыта, примененный к новому опыту, дедуктивное объяснение конкретного факта: принимается, что тут были люди, которые, преследуя некоторую техническую цель, совершили ряд определенных действий. Объяснение может быть и ошибочным: всякая дедукция гипотетична, т. е. только вероятна, хотя эта вероятность в иных случаях достигает почти полной достоверности. Но по своему познавательному характеру объяснение первобытного дикаря не отличается от тех, например, дедукций, которыми астрономы пытаются объяснить происхождение «каналов», усмотренных в телескопы на Марсе. В самом обозначении «каналы», происходящем, кстати сказать, от того же корня, заключалась, в сущности, та же гипотеза-дедукция.

Аналогичным образом, если современный человек, увидевший в воде некоторое существо, называет его словом «рыба», то этим самым он делает целый ряд сложных дедуктивных выводов: и относительно наличности разных органов определенного строения, и относительно их взаимного расположения, и относительно их жизненных функций, связи с водной средой и т. п. Дедукция того же рода, и также может быть ошибочная, — если, например, существо окажется дельфином, т. е. млекопитающим, или куском дерева подходящей формы. Установить ее верность или ошибочность можно только «практически»: поймавши предполагаемую рыбу и подвергнув ее вскрытию или иным путем в таком же роде.

Когда работник в своем труде следует усвоенному техническому правилу, это — *практическая* дедукция: обобщение прежнего труда, примененное к новому материалу, с новыми (т. е. хотя бы несколько изменившимися за истекшее время) орудиями, в новой (хотя бы до некоторой степени) обстановке. Практическая дедукция тоже гипотетична; но она отличается тем, что ее истинность или ошибочность тут же обнаруживается на деле: если, например, материал окажется недостаточно одинаков по свойствам с прежним, то получится продукт, не предусмотренный примененным техническим правилом.

Техническое изобретение, когда оно не случайно, а научно, есть не что иное, как сложная, комбинированная практическая дедукция. Простейший пример — способ, по которому Архимед во время осады Сиракуз поджигал римские корабли. По своему или чужому прежнему опыту Архимед владел техническим правилом, согласно которому можно произвести некоторое нагревание предмета, направив на него металлическим зеркалом отражение солнечных лучей. Другое, гораздо более общее техническое правило говорит, что, повторяя трудовые акты, можно получить умноженное количество их продукта или вообще их результатов. Третье, опять довольно частное, но весьма известное, утверждает, что, увеличивая нагревание деревянных предметов, можно достигнуть их возгорания. Связывая первое и третье правила посредством второго, Архимед заключил, что, направив отражения многих зеркал на один пункт деревянной стенки римского корабля, он его зажжет.

С помощью 150–200 зеркал дедукция была реализована и оказалась правильной.

Сложные теоретические дедукции отличаются только исходным материалом, — имеют дело с познавательными обобщениями вместо технических правил, — а в общем идут тем же путем. Напр., объяснение орбиты планет могло быть получено Ньютоном посредством такой дедуктивной комбинации. 1е обобщение: свободные тела падают на землю вертикально. 2е: боковой толчок отклоняет падающие тела от вертикали, придавая их пути кривизну. 3е,



широко организующее обобщение: умноженное действие дает умноженный результат. Ближайший вывод: чем сильнее боковой толчок, тем более значительно отклонение от вертикали, тем более отлогая кривая линия падения. 4е обобщение: земная окружность — весьма отлогая кривая линия. Вывод из соединения этой идеи с предыдущим: достаточно сильный толчок может дать падающему телу линию пути такой же отлогой кривизны, как земная окружность, или еще более отлогой, причем тело, очевидно, облетит кругом Земли, не попадая на ее поверхность. 5е обобщение: Луна движется так, вокруг Земли. Вывод из него и предыдущего: Луна движется как тело, свободно падающее на Землю при достаточно сильном боковом толчке.

И здесь, в области дедукции, обнаруживается непрерывная и неразрывная цепь развития от элементарно-трудовых организационных приемов до вершин научных методов.

## IX

Таково происхождение двух основных, всеобщих методов познания. В их рамках лежит множество методов более частных, специальных, которые применяются в отдельных, более или менее обширных областях науки. Что верно по отношению к общему, то справедливо и по отношению к частному; происхождение этих методов не может быть иным, чем происхождение тех. Проследить его по всем наукам здесь нет возможности, ограничусь несколькими типичными иллюстрациями, взятыми из моей прежней работы («Культурные задачи нашего времени», стр. 61–64).

Основу аналитической геометрии составляет, как известно, отнесение пространственных элементов к заранее определенным «системам координат», или взаимно связанных линий, принимаемых неподвижными. В громадном большинстве случаев употребляются либо прямоугольные, либо полярные координаты; т. е. берутся три прямые, сходящиеся в одном центре под прямыми углами между собою; между ними лежат три также взаимно перпендикулярные плоскости, и положение изучаемой точки определяют либо ее расстояниями от каждой из этих плоскостей, либо ее расстоянием по прямой линии от центра и величиною углов, которые эта прямая образует с теми же самыми плоскостями.

Легко заметить, что в трудовой технике система трех прямоугольных координат тысячи миллионов раз осуществлялась раньше того, как ее сделали схемой геометрического исследования. Она в точности воспроизводится каждым углом каждого четырехугольного здания и ящика, следовательно, является прежде всего элементарной схемой построек. А метод полярных координат применялся практически еще первобытным охотником, когда он искал себе дорогу в девственных лесах или степях, ориентируясь по солнцу и звездам. Он инстинктивно определял направления, основываясь на величине углов между своими лучами зрения, обращенными к солнцу, к горизонту, к знакомым звездам, к далеким горам и т. под.; а эти углы геометрически представляют не что иное, как элементы полярных координат.

Аналитическая алгебра основана на исчислении бесконечно малых величин. Понятие о бесконечно малых возникло еще в классической древности; и, однако, античный мир, давший немало гениальных математиков, не создал дифференциального и интегрального исчисления. Почему так случилось? Ближайшую причину отыскать легко: по различным замечаниям древних философов с несомненностью можно видеть, что бесконечно малые, равно как и бесконечно большие, внушали им своеобразное отвращение. Авторитарно-аристократическому миру присуще консервативное направление мысли, тяготеющее к устойчивому, неизменному, неподвижному; а символы «бесконечных» выражают непрерывное движение в ту или иную сторону неограниченный прогресс возрастания величин или углубления в них; чувство противоречия тут являлось вполне естественно. Веке же в XVI, XVII, хотя уважение ученых к древней философии было очень велико, не только исчезло это отвращение, что можно объяснить подрывом феодально-авторитарного строя, а с ним консерватизма жизни и мысли, но оно сменилось величайшим интересом к бесконечно малым и породило новую математику. Откуда же взялся такой интерес?

Идея бесконечно малой имеет своим содержанием, как известно, лишь стремление неограниченно уменьшать какую-либо данную величину. И вот именно с XV–XVI веков такое стремление возникло в самой технической практике и стало чрезвычайно важным для нее. То была эпоха зарождения мировой торговли, опирающейся на океаническое мореплавание, и эпоха первого распространения мануфактур. Для мореплавания огромное значение приобрела точность ориентировки, для промышленности — точность производства инструментов. Минимальная ошибка в линии курса при путешествиях на тысячи верст по великим водным пустыням угрожала не только усложнением и замедлением трудного пути, но зачастую даже гибелью всей «транспортной мануфактуры» — корабля с его экипажем. Стремление уменьшить эту ошибку до практически ничтожной стало жизненно насущным. В мануфактуре также минимальные ошибки и неточности в инструментах приобрели большое реальное значение благодаря доведенному до высокой степени техническому разделению труда. Если в ремесленной мастерской работнику, выполняющему свое дело при помощи целого ряда различных орудий, приходилось каждым из них делать несколько десятков движений в час, а то и меньше, то в мануфактуре, оперируя все одним и тем же инструментом, рабочий производит с ним тысячи однообразных движений за такое же время. Неуловимая для глаза погрешность в устройстве орудия, оказывая свое влияние тысячи и тысячи раз, производит весьма заметное ухудшение в результатах работы — в количестве продукта, в степени утомления работника и т. д. Всякую неровность и асимметрию инструмента требуется уменьшить настолько это возможно, не удовлетворяясь окончательно никакой достигнутой степенью, т. е. именно требуется сводить к бесконечно малой величине. Понятно, что античное презрительное отношение к бесконечно малым должно было исчезнуть и смениться живым интересом: новые мотивы, чуждые древнему миру, были порождены новой социально-трудовой практикой.

Насколько интенсивен был этот интерес, показывают те огромные усилия, которые тогда делались для созидания мощных увеличивающих инструментов. Приготавливались неуклюжие астрономические трубы футов во 100 и более длины; а одна из луп Левенгука<sup>39</sup> увеличивала в 2000 раз. Видеть в нее, конечно, нельзя было почти ничего, благодаря темноте поля зрения; и весь тяжелый труд, на нее потраченный, имел, в сущности, лишь символический смысл — выражал стремление, так сказать, глазами уловить бесконечно малые.

Когда бесконечно малые заняли свое настоящее место — как действительные элементы практических, конечных величин, тогда стал возможен анализ величин в их изменениях и в их связи. А вся техника производства, которая стала прогрессивной и изменялась с возрастающей скоростью, настойчиво ставила эту задачу.

## х

В других научных областях то же самое.

Физика, химия, теория строения материи — вся эта группа наук за последнее время все теснее сливается в одно целое и по своему социальному существу представляет общее учение о тех сопротивлениях — активностях внешней природы, с которыми встречается коллективный труд человечества. Учение это проникнуто одним принципом, опирается на один универсальный метод, называемый *энергетикой*. Сущность ее, закон энергии — энтропии есть не что иное, как непосредственно перенесенный в познание принцип и метод машинного производства. Превращение энергии из одних форм в другие — это и есть прямо то, что делают машины в практике производства; закон сохранения энергии, согласно которому она не создается в опыте, а всегда берется из того или иного наличного источника, есть выражение того факта, что, пользуясь работою сил природы, трудовой коллектив всегда должен черпать их из каких-либо данных запасов. Закон же энтропии говорит о невозможности полного превращения сил природы в те формы, которые могут быть использованы человечеством, — о постоянном частичном рассеянии энергии в виде теплоты:

прямое выражение объективных пределов, на которые необходимо наталкивается машинное производство.

В областях наук о жизни огромную роль играет методологический принцип *естественного подбора*. С его точки зрения объясняются бесчисленные факты целесообразности жизненных форм. Он говорит о выживании и размножении форм, приспособленных к своей среде, вымирании неприспособленных. Прошло каких-нибудь 60 лет с тех пор, как этот принцип был сформулирован Дарвином и Уоллесом<sup>40</sup> в науке. Но еще за целые тысячелетия до того в скотоводстве, разведении хлебных злаков, огородничестве, садоводстве практиковался «искусственный подбор»; он позволял выживать для размножения тем формам домашних животных и полезных растений, которые были наиболее приспособлены к условиям и потребностям хозяйства, устраняя от размножения неприспособленные. И здесь, как видим, технический метод предшествовал научному, который был создан по его образу и подобию.

Выводы ясны. В мире мысли, как и во всей жизни, человечество не творит из ничего. Царство познания выросло из царства труда, глубоко в нем коренится, питается его соками, строится из его элементов. Оттуда исходит реальное содержание науки — коллективно-трудовой опыт; там зарождается душа науки — ее методы.

Старая наука не знала, не понимала этого; и это во многом ослабляло, обессиливало ее; отсюда рождались в ней фетиши, мнимые вопросы, ненужные отклонения и усложнения, от которых она понемногу и с трудом освобождается за последние десятилетия. Первый, основной фетиш старой науки — чистое, абсолютное знание, заключающее вечные истины. Он отрывал людей науки от трудовых классов; веря в него и считая себя его жрецами, ученые не могли не чувствовать себя аристократами духа, высшими существами по сравнению с теми народными массами, которым недоступно служение чистой истине, которые живут физическим трудом и практическими заботами. Мнимыми были вопросы о «сущностях» тех или иных явлений, о «силах», скрытых под ними; эти вопросы занимали умы ученых и вызвали затрату больших усилий, отвлекая от действительного, всеобщего вопроса — как овладеть явлениями. Бесплодные ухищрения и тонкости порождались стремлением заменять «грубые» трудовые методы измерения, взвешивания, эксперимента «идеальными», чисто логическими способами доказательства истин посредством других истин, признаваемых бесспорными и безусловными, каких на деле нет и быть не может в изменчивом потоке растущего коллективного опыта. Старая наука не сознавала природы своих методов, поэтому неэкономно их применяла и развивать их могла только ощупью, а не планомерно.

Новая наука все это изменит. Она знает, откуда идет, и знает, что делает в общей организации работы человечества. Она будет сознательно и неуклонно служить делу коллективного труда и развития, видя в нем свой источник и свое назначение. Она станет близка и понятна трудовым массам, будет глубже проникать в них и будет не отрывать от них, а все теснее связывать с ними своих работников — ученых до полного слияния тех и других. Она будет наукой не избранных, но всего человечества, могучим орудием его стройного и гармоничного объединения.

## Тайна науки<sup>41</sup>

I

Одну за другую человечество вырывает у природы ее тайны: от победы к победе идет наука — объединенный, организованный опыт человечества. Но в самых ее победах скрыта новая тайна, и, может быть, более грандиозная. Мы не замечаем ее: наше мышление слишком привыкло к ней, постоянно ею окруженное, как воздухом окружено наше тело. Требуется огромное усилие, чтобы отрешиться от этой привычки. Надо «наивными глазами»

взглянуть на чудеса науки — как будто мы еще не видали их, и тогда мы заметим, что они гораздо больше, чем мы думали.

Вот астроном делает вычисление и находит, что в такой-то день и час в таких-то местностях будет наблюдаться полное солнечное затмение. Снаряжаются научные экспедиции... Предсказание исполняется. — Что в этом особенного? Делались вещи гораздо более замечательные в той же астрономии, как и в других областях науки. Но постараемся представить себе отчетливо смысл и объем факта.

В бесконечном, безжизненном пространстве эфира движутся исполинские тела. Их размеры, расстояния, скорости превосходят всякое человеческое воображение. Вся жизнь, которую мы знаем, тончайший слой плесени на поверхности одного из таких тел — планеты «Земля», — из числа наименьших между ними. Силы, несоизмеримые с нашими силами; периоды развития, несоизмеримые с временем нашего опыта... Это — один ряд событий.

Мысли проходят, ассоциативно сцепляясь, в сознании астронома, недоступные ничьему объективному наблюдению, никакому постороннему контролю, как если бы они были вне пространства и вне действия физических сил... Это другой ряд событий.

Движение руки при посредстве пишущего орудия обуславливают на листе бумаги, лежащей перед астрономом, цепь комбинаций из черточек и точек. Третий ряд.

Что общего между тремя рядами явлений? Их элементы настолько различны, насколько возможно различие во вселенной, количественное и качественное: астрономические тела, образы сознания, черные значки. Их связи разнородны также в наибольшей возможной степени: там — ньютоновское тяготение, тут — психическая ассоциация, здесь — соседство и последовательность расположения на поверхности бумаги. Как может что-либо получиться из сочетания этих трех рядов, несоизмеримых и несравнимых? Мы засмеялись бы над человеком, который соединил бы вместе булыжник, мечту и телеграфный сигнал. Но перед нами комбинация того же типа и характера; а в ее результате — одно из обыкновеннейших чудес науки и точное предвидение факта в близком или далеком будущем.

Тайна природы побеждена; но на сцену выступает тайна самой победы — тайна науки...

## II

Это не тот вопрос, который ставят и глубокомысленно разрешают гносеологи-специалисты: «Как возможно познание?» Дело идет вовсе не только о познании: тайна науки была еще раньше тайною всей человеческой практики. Всякий «труд», т. е. сознательно-целесообразная деятельность, необходимо включает в себе момент предвидения; а всякое предвидение, даже самое обыденное, элементарное, как и самое сложное, научное основано на соотношении между рядами событий, наиболее разнородными, какие только доступны опыту.

В почве происходят бесчисленные химические и органические процессы: растворения, окисления, разложения, брожения, размножения живых клеток и т. д.: ряд стихийно-физический. — В сознании крестьянина проходят ассоциации восприятий образов, воспоминаний, эмоций: ряд психический. В организме крестьянина протекают последовательные цепи мускульных сокращений, образующих его «работу»: ряд физиологический... И вот все эти «несоизмеримые» образуют вместе одно живое, разумное целое, одну из величайших побед человечества над природою: земледелие.

Философия подошла к загадке, но не охватила ее объема, поняла ее лишь частично, как задачу «теории познания». Этим была исключена возможность действительного, принципиального разрешения вопроса: все попытки были обречены остаться в области спорного, ненадежного; той объективной убедительности, которая свойственна выводам наук, здесь нет и быть не может.

Около 75 лет тому назад Маркс, в критических замечаниях по поводу Фейербаха, написал:

«Философы хотели так или иначе объяснить мир; но суть дела в том, чтобы изменить его»<sup>42</sup>.

Эти слова заключают в себе не только критику всей домарксовской философии, и притом приложимую также почти ко всей философии позднейшей: они, кроме того, намечают программу, указывают направление работы, которая должна сделать то, что непосильно для философии. Но ни критика, ни программа обычно не понимаются до сих пор: пророческая идея не получила развития и осуществления.

Правда, в своей сжатой форме она была выражена не вполне ясно. Нелепо было бы, разумеется, понимать мысль Маркса так, что он приглашал не познавать, не исследовать мир, а прямо практически воздействовать на него: вся деятельность великого мыслителя была бы опровержением этого. Другие примечания о Фейербахе несколько поясняют мысль; например, в первом из них Маркс упрекал материализм за «созерцательную» точку зрения на действительность и противопоставлял ей точку зрения «конкретно-практическую». Следовательно, он требовал, чтобы миропонимание было активным, чтобы в своей основе оно было теорией практики, а не «теорией познания» и вообще не «миросозерцанием».

Сам Маркс выполнил эту задачу в одной важнейшей области нашего опыта: в его руках социальная наука стала на самом деле теорией трудовой и социально-боевой практики; и вместе с тем она впервые сделалась наукою, а не только «философией» общественной жизни. Такое же преобразование надо было выполнить по всей линии опыта. Этого нет и до сих пор.

Тайна науки может быть раскрыта лишь на том же самом пути, ибо она существовала и до самой науки, как тайна человеческой практики.

### III

Нам приходится поставить вопрос о человеческой практике в общем и целом. Чтобы исследовать ее в таком масштабе, надо всю ее чему-нибудь противопоставить, всю ее с чем-нибудь сравнить. Чему же она реально противостоит? Мы знаем это: процессам природы. Одна сторона представляет активности сознательно-целесообразные, другая — стихийные; так обе они взаимно определяются и ограничиваются.

Но недостаточно установить различие: исследование достигает своих целей только в обобщении, в выяснении сходств; а без этого и пределы различий, и их значение остаются неизвестными. Существуют ли сходства между человеческой практикой и стихийными процессами? Несомненно, да.

Человек, в своей сознательности, часто воспроизводит то, что делает природа в своей стихийности: пользуется методами, подобными ее методам, создает комбинации, сходные с ее формами. Чаще всего такие совпадения объясняются подражанием человека природе; в историях культуры приводится масса примеров этого подражания.

Однако если мы оставим в стороне попытки искусства воспроизводить внешние формы некоторых объектов и процессов природы, а будем иметь в виду самые приемы и способы человеческой деятельности, то вопрос о «подражании» оказывается неожиданно сложным. Рассмотрим несколько примеров.

Метод паруса уже несколько тысячелетий применяется людьми для передвижения. Еще гораздо раньше он служил для перемещения и распространения семян некоторых растений; а также он играл роль в устройстве двигательного аппарата таких животных, как, например, белка-летяга, и затем, в более развитой форме, всех летающих животных, птиц, насекомых и пр. Было ли тут со стороны человека «подражание»? Если и да, то совершенно иного рода, чем то прямое, более или менее сознательное подражание, которое обычно подразумевается под этим термином. Надо предположить огромную способность сравнения, обобщения и отвлечения у древних дикарей, чтобы допустить, что они начали устраивать паруса на своих плотах и лодках, руководствуясь образцами паруса в природе; внешнее сходство здесь и там слишком малое. Но мы знаем, что первобытное мышление непосредственно конкретно, чуждо отвлечения; его подражательность стихийна и примитивна; она исходит лишь из

очевидного внешнего в явлениях.

Природа для защиты пластичных живых тканей, жидких и полужидких, пользуется методом «наружного скелета»: раковина улиток, хитинная оболочка насекомых, кожа у позвоночных, череп для их нежного мозга и т. п. Тот же, по существу, метод применяют люди, когда делают разные сосуды, посуду, ящики и проч. Но опять-таки принять здесь наивное, непосредственное подражание слишком трудно.

Взятые примеры еще могут оставлять сомнение. Есть другие случаи, где для него уже нет места. Таков хотя бы «принцип рычага». В нашей технике его применение колоссально: вся практическая механика, от элементарной до сложнейшей машинной, пользуется им буквально на каждом шагу. Однако его применение в природе еще более широко; он лежит в основе анатомии органов движения у человека и у других животных: скелет, внутренний или наружный, с его отдельными частями и их сочленениями. С уверенностью можно признать, что эта анатомия не была моделью для подражания людей, когда они впервые начали пользоваться принципом рычага: в те времена они вовсе не настолько ее знали и понимали.

Искусственный подбор в технике разведения домашних животных и культурных растений является способом получения новых пород и разновидностей. Подражание ли это естественному подбору, образующему виды в природе? Конечно нет: естественный подбор действует так медленно, что люди не могли наблюдать его роли в развитии жизни; и он был открыт теоретически.

Итак, несомненно, что в иных случаях — и, разумеется, их гораздо больше, чем здесь приведено, — приемы человеческой практики совпадают с методами творчества природы помимо всякого подражания: люди «самостоятельно» приходили к этим приемам. Сознательность, идя своими путями, повторяет стихийность.

Старая философия дает готовое объяснение таким фактам: человек сам — часть природы, и потому нет ничего удивительного, что он повторяет ее. Объяснение вполне допустимое. Но в нем скрыто принимается та предпосылка, что самой природе свойственно повторять себя, даже на столь далеких один от другого ее полюсах, как сознательное и стихийное. Это приводит нас к более общему вопросу — о совпадениях в природе.

#### IV

Нас несколько не удивляет повторение форм, когда они происходят одна от другой или от определенного общего начала. Сходство родителей и детей, сходство человека и орангутана, общий тип строения млекопитающих и т. д. понятны нам, потому что в этих случаях повторение сводится для нас к простому продолжению того, что уже имелось раньше. Но есть иного рода совпадения, которые далеко не так просты, а становятся тем более загадочны, чем более в них вдумываться, — совпадения независимо возникших форм.

Сравним общества людей и общества муравьев. Общие предки тех и других были, несомненно, животные весьма низкого типа, вроде каких-нибудь из нынешних червей, существа не социальные, лишенные всякой техники и всякой экономики. Между тем в технике у людей и у муравьев мы встречаем скотоводство, притом в чрезвычайно сходных формах: муравьи содержат и эксплуатируют определенные породы травяных тлей, выделяющих сладкий сок, наподобие того, как люди разводят молочный скот; у других муравьев есть и зародыши земледелия. Устройство муравейника в целом централистическое, аналогичное многим социальным системам у людей. — Предполагать какое-либо «подражание» между людьми и муравьями, разумеется, невозможно.

Способы размножения у растений и у животных развивались по одним и тем же линиям, от бесполого к гермафродитному и отдельно-половому. В своих высших формах они представляют здесь и там огромные аналогии, простирающиеся даже на сложную архитектуру аппаратов для полового размножения: так, план строения женских половых органов представляет величайший параллелизм с планом строения цветка. Но у общих предков животного и растительного царства, простейших одноклеточных далекой

геологической эпохи, ничего подобного этим сложным методам и формам не могло быть. Там могла существовать лишь примитивная «копуляция», какая теперь наблюдается у одноклеточных организмов: простое слияние пары недифференцированных или минимально дифференцированных клеток. — Природа пользуется половым размножением как способом выработки новых сочетаний жизненных свойств; и, развивая его независимо в двух царствах жизни, она приходит к повторению одних и тех же схем.

Пример сравнительно частный из той же области: строение зерна и яйца. В основе оно одинаково: зародыш, окруженный питательными слоями, затем — защитительная оболочка. Сами питательные слои большей частью аналогичны по составу: один с преобладанием азотистых, другой — безазотистых веществ, разумеется, различных в том и другом случае, различно бывает и расположение этих слоев.

Крыло птицы и крыло насекомого не имеют ничего общего по своему происхождению, но совпадают по своей механике. Подобных совпадений сравнительная анатомия знает массу. Они объясняются тем, что «сходные функции создают сходные органы». Но для занимающего нас вопроса из этого следует только то, что природа повторяет себя и в функциях и в органах.

Наиболее поразительное из таких повторений — это устройство глаза у высших моллюсков и высших позвоночных, например у спрута и у человека. Этот орган состоит из массы частей с различнейшими функциями, неизмеримой сложности и тонкости. Его устройство у человека и спрута сходно почти до малейших деталей; но об единстве происхождения не может быть и речи: общие предки позвоночных и моллюсков ничего подобного этому аппарату не имели, самое большее у них были местные скопления пигмента в наружных слоях тела для простого поглощения лучистой энергии; а глаз, не говоря уже об его физиологии, даже с чисто оптической стороны представляет сочетание камеры-обскуры, угломерных и дальномерных приборов огромной чувствительности.

Область жизни дает самые сложные и самые яркие примеры подобных совпадений, но они продолжают и за ее пределами. Кристаллы среди раствора обнаруживают процессы обмена веществ, роста, восстанавливают свои повреждения, при известных условиях «размножаются», как живые клетки, ткани и организмы, хотя строение кристаллов неизмеримо проще. — Централистический тип устройства, обычный для различных обществ у людей и животных, а также для высших организмов, характеризует в то же время солнечную систему и вообще, насколько можно судить, звездно-планетные системы; а на другом полюсе бытия нынешние теории приписывают его атомам в их внутреннем строении.

Бесконечно повторяется во вселенной, на всех ее ступенях, тип волн или периодических колебаний. Волны электричества или света в эфире, волны звука в воздухе и других телах, морские волны и т. д.; даже астрономические движения светил представляют периодические сложные вибрации около общих центров тяжести. В жизни организма не только пульс и дыхание, но почти все органические процессы подчинены колебательному ритму: сон и бодрствование, работа и отдых, волны внимания и пр. Смена поколений может рассматриваться как ряд накладывающихся одна на другую волн роста и упадка жизни. Хорошо известна роль ритма в коллективном труде, в музыке, поэзии, во всех видах человеческого творчества...43

Все подобные совпадения, поистине бесчисленные, приводят к одному общему вопросу. От этого вопроса невозможно отделаться фразой: «Случайные аналогии!» Никакая теория вероятностей не была бы мыслима, если бы «случайность» забавлялась таким систематическим повторением методов и форм во вселенной. Здесь необходимо научное объяснение.

## v

Если самые различные виды человеческой деятельности, с одной стороны, стихийной работы сил природы — с другой, могут приводить к схематически совпадающим

результатам, то, очевидно, во всех этих разнородных активностях должно найтись нечто общее, способное дать основу для всех таких совпадений. В чем оно может заключаться?

Чтобы идти последовательно, попробуем найти самый общий характер, присущий человеческой практике, и в то же время встречающийся в стихийных процессах. Он состоит в *объективном смысле* нашей практики. Активность человека что-либо *организует* или *дезорганизует*, как мы это наблюдаем на каждом шагу; и те же определения мы часто относим к активности природы. Исследуем эти характеристики: что они означают и насколько широко применимы?

Употребление слова «организовать» в обычной речи довольно прихотливо и неопределенно. Чаще всего оно относится к людям и их труду, их усилиям: «организовать» предприятие, армию, нападение, защиту, научную экспедицию, изучение вопроса и т. д. Затем «организационными» называют стихийные процессы, посредством которых образуются живые тела, их группы и их части: «это растение организовано так-то»; — «виды животных и растений организуются в природе действием естественного подбора и наследственности»; — «организация данных тканей, их функций такая-то» и т. п. Для нашей цели необходимо установить точное и строгое, научно-пригодное значение слова.

Прежде всего следует ли относить понятие «организация» только к *живым* объектам или активностям, как делается в обыденной речи? Берем самый типичный пример: «организовать предприятие». В чем сущность этого процесса? Организатор комбинирует рабочие силы, соединяет трудовые акты людей в целесообразную систему. Но это — не все элементы, с которыми имеет дело его организующая функция. С силами людей он сочетает энергию *вещей*: с рабочими руками — орудия, машины, вообще — средства производства. Мысль организатора оперирует и с теми и с другими элементами одинаково, так что даже те и другие взаимно замещаются: недостаточность или порча орудий заставляет увеличивать количество труда; напротив, новая машина вытесняет часть рабочих рук, исполняя за них некоторые операции. Очевидно, что с точки зрения техники предприятие является *организацией людей и вещей* одновременно: то и другое — производительные силы, организуемые в целесообразное единство.

Следовательно, здесь понятие организации прилагается и к «мертвым вещам». В самом деле, если понимать организованность, согласно обычным представлениям, как «целесообразное единство» элементов, то странно было бы не признавать, напр., машину за организованную систему; и не только машину, а всякое орудие, всякое техническое приспособление.

Далее. Стихийные процессы выработки жизненных форм считаются также «организующими»; однако понятие «целесообразности» тут может применяться лишь как *метафора*: создавая клетку или организм, природа не ставит себе «целей», как их ставит человек, устраивающий предприятие или строящий машину. Значит, обычное понимание организации не обладает научной точностью. А в то же время сравнение живой и мертвой природы приводит к мысли, что нельзя ограничивать область «организованного» только живыми телами, исключая из нее все «мертвое». Если кристаллы, подобно клеткам или организмам, способны к подвижному равновесию обмена вещества со своею средой, к росту, к размножению, к восстановлению нарушенной повреждением формы, то как считать их совершенно неорганизованными? Ясно, что и по этой линии границы обычного понятия неизбежно расплываются.

Чтобы выбраться из этих неопределенностей, анализируем организующую деятельность как в человеческой практике, так и в природе.

## VI

Организирующая деятельность всегда направлена к образованию каких-нибудь *систем* из каких-нибудь частей, или *элементов*.

Какие же вообще эти элементы? Что именно организует человек своими усилиями? Что



организует природа своими эволюционными процессами? При всем разнообразии случаев одна характеристика остается повсюду применимой: организуются те или иные *активности*, те или иные *сопротивления*. Исследуем, и мы убедимся, что это, во-первых, на самом деле одна, а не две характеристики и, во-вторых, что она универсальна, не имеет исключений.

Система труда представляет организацию человеческих активностей и сопротивлений, направленных против сил внешней природы, т. е. опять-таки ее сопротивлений и активностей. Всякий жизненный процесс является организованным именно как сочетание активностей и сопротивлений, противостоящих его среде. — Но что такое «сопротивление»?

Когда две активности сталкиваются, то каждая из них — сопротивление для другой. Если вы боретесь с врагом, то его усилия для вас — сопротивление, которое надо преодолеть; но также и обратно: все зависит от выбора точки зрения. Активность и сопротивление — не два разных типа явлений, а два соотносительных обозначения для одного типа. Исключений нет.

Прежде думали, что существуют сопротивления, вполне лишённые характера активностей, чисто пассивные, и называли их «инерцией». Инерцию приписывали веществу, именно атомам: полагали, что материя, не будучи сама «силою», оказывает действию сил сопротивление, пропорциональное массе своих атомов. Но теперь представление о чистой инерции разбито; атом оказался не пассивной субстанцией, а, напротив, системой наиболее быстрых и концентрированных движений, какие только известны во вселенной; материя свелась к «энергии», т. е. к действию, к активности.

Мы сказали: *все*, что организуется, есть не что иное, как активности-сопротивления. Легко убедиться, что это так. Все, доступное нашему опыту, нашему усилию и познанию, представляет необходимо активности-сопротивления. Если бы существовало нечто иное, не имеющее этого характера, оно не производило бы действия на наши чувства, не проявляло бы противодействия нашим движениям: оно не могло бы войти в наш опыт и навсегда осталось бы для нас неизвестным, недоступным. Значит, «оно» нас и не касалось бы, о нем не приходится ни говорить, ни думать, если наши слова и мысли должны иметь какой-нибудь смысл.

Итак, организация есть некоторое сочетание активностей-сопротивлений. Исследуем, какое.

## VII

Предположим, что человек в своем сознательном или природа в своем стихийном творчестве соединяет некоторые однородные активности. Соединение может быть выполнено различным способом; и, в зависимости от этого, результаты получаются весьма неодинаковые.

Мы привыкли считать «дважды два — четыре» образцом непреложной истины. Эта истина на каждом шагу опровергается различными сочетаниями активностей.

Мы комбинируем для работы две пары средних человеческих сил. Будет ли коллективная рабочая сила равна учетверенной индивидуальной? Общее правило на практике таково, что не будет равна, а окажется больше или меньше. Если эти силы сгруппированы так, что они мешают друг другу, стесняют одна другую, то коллективная сила *меньше* их суммы, как это очевидно само собою. Если они сорганизованы в планомерное сотрудничество, то коллективная сила *больше* их суммы, как учит, на основании опыта, политическая экономия.

Расположим эти четыре силы так, чтобы они были сопротивлениями одна для других: с двух концов веревки по два человека тянут в противоположные стороны. Коллективная сила равна нулю, ребенок может толкнуть всю компанию в ту или другую сторону. Это — система вполне *дезорганизованная* по отношению к данной, специальной активности. При менее полной дезорганизации коллективная сила — больше нуля, но меньше четырех.

Предположим, что работники должны поднять тяжесть в 15 пудов. Один рабочий

ничего с ней не поделает: его активность по отношению к этому сопротивлению объективно равна нулю. Два работника вместе, может быть, с величайшими усилиями приподнимут тяжесть на сантиметр. Четыре, координируя свои усилия, поднимут ее уже не на два сантиметра, а на метр или больше. Это — *организованная* система сил.

Но существует ли средний случай, где целое как раз равно сумме своих частей? Да. Но если четыре работника сгруппированы так, что их общая трудовая активность точно равна учетверенной индивидуальной, то это означает, что организационное влияние сотрудничества *уравновешено* дезорганизующим влиянием взаимных помех. Иначе какая-нибудь разница в ту или другую сторону имела бы налицо, малая или большая, это принципиально неважно. Следовательно, формула «дважды два — четыре» выражает лишь *предельный* случай, а именно полное равновесие тенденций организующих и дезорганизующих. Такую систему можно назвать «нейтральной».

Естественно, что это — случай наиболее редкий в действительности. Если бы мы могли с абсолютной точностью измерять результаты соединения активностей, то систем строго нейтральных, истинно верных математической абстракции вовсе не нашлось бы.

## VIII

Те же соотношения наблюдаются на всех ступенях лестницы бытия.

Так, живой организм уже давно определяли как «целое, которое больше суммы своих частей». Действительно, сумма активностей-сопротивлений, которые организм проявляет по отношению к своей среде с ее враждебными силами, гораздо больше, чем простой результат сложения тех элементарных активностей-сопротивлений, какими обладают по отдельности, например, клетки нашего тела: отделенные от целого, они беззащитны перед средой и немедленно разрушаются. Но если бы даже они могли жить самостоятельно, как амёбы, то разве 60-100 триллионов амёб составили бы по отношению к природе такую силу, какую представляет человек?

Естественный магнит в оправе из мягкого железа обнаруживает значительно больше свободного магнетизма, чем без оправы, хотя если взять ее в отдельности, то ее свободный магнетизм очень мал, почти не отличается от нуля. Но можно сложить две магнитные полосы таким образом, что их общее магнитное действие почти уничтожится.

Кристалл обладает неизмеримо большим сопротивлением механическим деформирующим воздействиям, чем такое же количество того же вещества в виде мелкого порошка. В жидком состоянии тел частицы менее тесно связаны между собою, чем в твердом, и сопротивление деформации сравнительно ничтожно; в газообразном — оно становится отрицательным, форма нарушается, если нет препятствий, сама собою; это можно назвать механически дезорганизованным состоянием.

Интерференция волн, например световых, дает хорошую и весьма простую иллюстрацию всех трех типов сочетаний. Когда две одинаковые волны сливаются так, что их подъемы вполне совпадают между собою и понижения, конечно, тоже, то сила света в этом пункте не вдвое больше, чем от одной волны, а вчетверо: целое превосходит сумму частей, сочетание «организованное». Когда же подъем одной волны точно накладывается на понижение другой и обратно, то соединение света и света дает темноту: комбинация наиболее «дезорганизованная». Промежуточные соотношения волн образуют все ступени между крайними пределами «организованности» и «дезорганизации». Средняя из этих ступеней, где сложение волн дает двойную силу света, соответствует «нейтральным сочетаниям».

Мы нашли формально-строгое, пригодное для научного исследования определение «организации». Оно, как видим, одинаково прилагается и к сложнейшим, и к простейшим явлениям, и к живой природе, и к «неорганической». Оно показывает, что организация — факт универсальный, что все существующее можно рассматривать с организационной точки зрения.

Но, по-видимому, до сих пор наши поиски ведут нас только от загадки к загадке. Вот и теперь у нас получился парадокс, мы принуждены отрицать священную основу здравого смысла, формулу «дважды два — четыре»: оказывается, что в действительности если она и бывает верна, то скорее по исключению: по правилу же целое бывает или больше или меньше суммы своих частей, и математическая аксиома «целое равно сумме своих частей» — лишь предельная абстракция. Каким образом возможно все это?

Всего проще было бы ответить так: это — факты, а значит, и толковать нечего. — Но из уважения к мудрости вещей постараемся если не оправдать, то объяснить наше посягательство на священную основу.

Та же самая математика знает множество случаев, где целое не равно простой арифметической сумме своих частей, а меньше ее; таков, в алгебре, результат сложения положительных и отрицательных величин: там два со знаком плюс и два со знаком минус дает не 4, а 0; такова, в теории векторов и кватерионов, «векториальная» сумма; примером ее может служить положение, что сумма двух сторон треугольника равна третьей его стороне. В механике, в физике выясняется реальный смысл этих формул: противоположно направленные перемещения тел, силы скорости, соединяясь, уменьшают друг друга; вообще же при различных направлениях подобные величины складываются по закону векториальной суммы, так наз. «параллелограмм» перемещений, сил, скоростей и т. п. Все это, в сущности, вещи очень обычные, всем знакомые из опыта: если активности соединяются так, что становятся друг для друга сопротивлениями вполне или отчасти, то их практическая сумма соответственно уменьшается. Если направления сил противоположны, то они всецело «дезорганизованы»; если совпадают, то вполне координированы или «организованы» против общих им сопротивлений; в промежуточных комбинациях, например, силы, действующие под углом, они отчасти взаимно ослабляются, отчасти же взаимно усиливаются. Тут и для здравого смысла загадки нет.

Но другой случай — «целое больше суммы частей»? Он легко объясняется через предыдущий, если мы примем во внимание, что активности существуют и измеряются не сами по себе, а по отношению к каким-либо сопротивлениям, как и сопротивления — лишь по отношению к активностям. Возьмем самую простую иллюстрацию.

Два работника убирают камни с поля. Физическая сила каждого из них выражается предельной величиною, допустим 8 пудов. Но там есть камни и по 10, 12, 14 пудов. По отношению к ним работник индивидуально бессилён: т. е. измеренная объективно, по ее реальному эффекту, его активность, примененная к ним, определяется величиной нуля. — Но вот оба работника соединяют свои силы. Соединение получится, конечно, несовершенное: они будут не только помогать, но отчасти и мешать друг другу. Реальная сумма их усилий в пределе окажется, например, 15 пудов. Но измеренная по эффекту ее приложения к самым большим камням, она больше единицы, тогда как то и другое слагаемое равнялись нулю. Целое больше суммы частей; созданся новый фактор действия, тот, который Маркс называл «механической силой масс».

Активности работников, хотя и несовершенно, сложились, а сопротивления не складывались вовсе. Это, очевидно, самая приятная комбинация. Большей частью соотношение бывает менее благоприятным: складываются и активности и сопротивления. Так, если в лодку сели вместо одного два гребца, то не только больше прилагаемая сила, но больше и сопротивление: прибавляется вес лишнего тела, лодка садится глубже, трение с водой значительнее и т. д. Достаточно, чтобы первая сумма была образована совершеннее, чем вторая, с меньшей потерей; и тогда при наблюдении объективных результатов окажется, что целое больше суммы частей, т. е. сочетание сил организованное.

Чрезвычайно наглядные подтверждения той же мысли дает опыт военного дела. Войны французов с арабами и другими туземцами Сев. Африки показали, что при равном

вооружении превосходство европейского солдата над противником в столкновениях один на один ничтожно и даже вообще сомнительно; но отряд в двести французских солдат уже с успехом мог бороться против 300–400 арабов; а армия в 10 000 французов — против 30–40 тысяч туземцев. Цифры, конечно, более чем приблизительные; но общий характер соотношения, несомненно, таков, как они выражают: чем больше численность отрядов обеих сторон, тем больше относительная сила европейского войска. Почему? Потому что комбинировать боевые активности становится тем труднее, чем значительнее число боевых элементов; и эту сложную задачу европейская тактика разрешает лучше: благодаря ей «складывание» военных сил происходит совершеннее, полнее, с меньшими «потерями суммирования», чем для другой стороны.

Аналогично объяснение, которое приходится дать нашему примеру с магнитом и его оправой. По теории магнетизма, все частицы мягкого железа магнитные, все обладают «круговыми электрическими токами», обуславливающими магнитное действие. Но при обычных условиях все такие элементарные магниты-частицы расположены беспорядочно, их магнитные действия скрещиваются по всем направлениям и взаимно уничтожаются. В магните, природном или искусственном, имеется частичная «поляризация», т. е. элементарные магниты повернуты, в более значительной части, в одну сторону одинаковыми полюсами; и магнитные действия, соответственно этому, складываются. В мягком железе магнит, в свою очередь, вызывает такую же поляризацию, поворот магнитных молекул или круговых токов к однородному направлению; часть активностей складывается, переставая быть друг для друга сопротивлениями; получается организационный эффект — увеличение суммы действия.

Так объясняется организационный парадокс. Мы живем в мире *разностей* : мы ощущаем только разности напряжений энергии между внешней средой и нашими органами чувств; мы наблюдаем, мы измеряем только разности между активностями и сопротивлениями. Если, с одной стороны, ряд активностей, а с другой, ряд сопротивлений складываются не одинаково совершенно, то находимая в опыте разность между обоими рядами окажется больше, чем результат сложения прежних отдельных разностей: целое больше суммы частей.

## х

Точное определение организованности таково, что это понятие оказывается применимым универсально, на всех ступенях бытия, а не только в области жизни: всюду, где могут комбинироваться те или иные активности, те или иные сопротивления. Из определения следует, что абсолютно неорганизованное *невозможно в опыте* ; если бы оно и существовало, то мы ничего о нем не могли бы знать. В самом деле, представим себе, чем оно должно быть: это такое сочетание активностей, в котором они направлены вполне беспорядочно, вплоть до малейших, до бесконечно малых своих элементов. Следовательно, все эти элементы между собою сталкиваются, являются друг для друга сопротивлениями и во всем своем бесконечно большом числе взаимно парализуются, взаимно уничтожаются. Но тогда они не могут оказать никакого сопротивления нашим усилиям: тут нечего ощущать и воспринимать; с точки зрения *нашего опыта* это — чистейшее «ничто».

Даже когда мы наблюдаем «деорганизованные» сочетания, то они всегда получаются из *организованных* частей; иначе эти части не были бы доступны опыту. И весь мировой процесс необходимо является для нас процессом организационным. Это — бесконечно развертывающийся ряд комплексов разных форм и степеней организованности в их взаимодействии, в их борьбе или объединении.

## xi

Мы хотели объяснить себе поражающие «схематические совпадения» различных

методов и продуктов как человеческой деятельности, так и природы. Для этого мы искали *общего характера* всех этих процессов, сознательных и стихийных, и нашли его, а именно — характер организационный. Тем самым определилась и основа исследуемых совпадений: пути и способы организации, которые, как видим, для самых несходных элементов могут оказываться сходными.

Это чрезвычайно важный для нас вывод. Если человек, опираясь на свое сознание, а природа помимо всякого сознания вынуждены в своей организационной работе идти одними и теми же путями; если централистический способ организации приложим для людей в обществе, для муравьев в их родовой коммуне, для светил в звездных системах, для электронов в атомах; если ритм и периодичность служат организующим моментом едва ли не для всех явлений мира и т. д. и т. д., то в нашем опыте возможно установить гораздо больше единства, чем до сих пор допускалось обыденным и даже научным мышлением. Вдумаемся в этот вывод:

*Все, самые разнообразные, самые далекие одни от других, качественно и количественно, элементы вселенной могут быть подчинены одним и тем же организационным методам, организационным формам .*

В чем состоит тайна науки? В том, что несоизмеримо различные ряды явлений наука связывает так, что результатом являются предвиденье и целесообразность. Мы видели, что в ее корне лежит тайна труда, практики. В поисках за решением мы еще расширили вопрос: человеческую практику мы сопоставили со всей жизнью, со всем движением природы. Все это обобщилось для нас одной — организационной концепцией. И вот оказалось, что обобщение наше не только формальное, не голая отвлеченность: оказалось, что за ним скрываются какие-то еще глубокие, универсальные закономерности, применимые ко всем и всяким организационным процессам, каков бы ни был их деятель, каковы бы ни были элементы.

Не ясно ли, что мы уже нашли ключ к тайне? Еще не самое решение, а принцип решения, прямой путь к нему. В самом деле, если самые различные способы организации связываются закономерной общностью и если ей не препятствует самое крайнее несходство элементов, то в организационном объединении того, что казалось несоизмеримым, нет *принципиальной* загадки.

Что касается конкретного и полного решения вопроса, то оно, очевидно, должно получиться в результате выяснения законов организации, законов, которые охватили бы все области опыта, все сочетания всяких элементов. Словом, это решение — *дело всеобщей организационной науки* .

## XII

Всеобщей организационной науки до сих пор не было. Между тем она, очевидно, возможна, раз возможны закономерности методов и форм организации. Но она, кроме того, *необходима* , потому что ее требует сама жизнь.

Наше время характеризуется беспрецедентным ростом и усложнением организационных задач, которые человечеству приходится разрешать. Это относится ко всем областям его жизни. Колоссальное развитие техники машинного производства привело к созданию предприятий, в которых тысячи и десятки тысяч разнообразных рабочих сил соединяются с массой специальных орудий, материалов, машин, всяких приспособлений, простых, сложных и сложнейших. В науке накопление опыта дошло до того, что из ее сотен отраслей большинство страдает от чрезмерного количества фактических данных, от нагромождения сырого материала, подавляющего самих специалистов. Экономическая жизнь, с ее анархией производства, с ее столкновениями и сплетением интересов, представляет такой хаос противоречий, в котором человек большей частью не в силах даже ориентироваться. Все это надо систематизировать, координировать, *организовать* и притом не по частям, а *в целом* , в масштабе всего общественного процесса...

Такова *мировая организационная задача социализма*, задача триединой, целостной организации людей, вещей, идей.

Ясно, что она не может быть построена иначе, как *научным* путем. Чудеса нынешней техники основаны на комбинациях несравненно менее сложных и трудных: однако они возможны только благодаря методам и формулам математических, естественных, вообще специальных наук, концентрировавших, каждая в своей области, опыт человечества. Для разрешения всеобъемлющей организационной задачи эти специальные науки, очевидно, недостаточны, в силу своего частичного характера, своей раздробленности. Тут необходима наука столь же всеобъемлющая, которая охватила бы в его целом организационный опыт человечества. Без такого собирания, без такой систематизации этого опыта преобразование общества, устраняющее коренную анархию в его строении, было бы утопией столь же наивной, как мечта о воздушных кораблях до развития механики и физики.

### XIII

До сих пор история ставила перед человечеством новые задачи только тогда, когда они были уже разрешимы для него. Но «разрешимая» еще не значит легкая. Развитие новой, универсальной науки встретят, особенно при первых своих шагах, огромные препятствия. Их главным источником будет *специализация*...

Специализация оказала и продолжает оказывать человечеству величайшие услуги в борьбе с силами и тайнами природы. Но создала она также некоторые привычки мышления, консервативные и прочные, способные в данном случае сыграть роль вредных предрассудков.

Специализация дробит поле труда и мысли, чтобы лучше им овладеть. Но дробление означает *сужение* этого поля для работников-специалистов, а вместе с тем и ограничение их кругозора. Лучшие представители науки давно поняли это и не раз указывали на отрицательную сторону специализации. В занимающем нас вопросе к несчастью именно эта сторона неизбежно выступит на первый план.

Чем больше дробились и расходились между собою специальности, чем более обособленно они жили и развивались, тем сильнее укоренялась в специалистах привычка рассматривать каждую отрасль опыта как особый мир с особыми законами, а вместе, с тем стремление охранять границы этого мира, склонность заранее считать всякую попытку перейти их или нарушить за ненаучную и вредную фантазию. Как известно, именно со стороны специалистов наибольшее сопротивление, часто ожесточенную борьбу, встречали те открытия, которые основывались на перенесении методов из одной специальной отрасли в другую, которые вели к сближению или слиянию.

Специализация теперь господствующий тип развития: если в науке она достигает, может быть, крайней степени, то ведь и в обыденной практике — кто не «специализирован» в том или ином смысле и степени? Оттого указанные нами привычки-предрассудки распространены повсюду. Они и мешали до сих пор часто даже заметить и особенно исследовать многочисленные, поразительные совпадения организационных форм и методов в самых отдаленных одна от другой областях жизни и опыта.

«Истинный», закоренелый специалист, если ему скажут, что возможно и следует установить общие законы сочетаний, равно применимые ко всяким без различия элементам, будем ли мы брать за такие элементы звездные миры или электроны, людей или камни, представления или вещи, вероятно, не станет даже возражать на столь явную нелепость, а только пожмет плечами. Но он будет не прав, этот почтенный «филистер специальности» (так их назвал Эрнст Мах, знаменитый физик, физиолог и философ). Столь явная нелепость на деле возможна, и доказательства искать недалеко — в той же, хотя и специализированной, науке.

Существует наука — и как раз самая точная, — которая дает законы и формулы сочетаний для каких угодно элементов вселенной. Это — математика. В ее схемах

численные символы могут относиться ко всяким безразлично объектам — звездным мирам или электронам, людям или вещам, поверхностям или точкам, — и законы счетных комбинаций остаются одни и те же. Для математики все объекты сравнимы, все подчинены одним и тем же формулам как *величины*: ал я новой всеобщей науки все они сравнимы, все подчинены одним формулам как организационные элементы.

#### XIV

Специализация порождает еще одно, и очень крупное, затруднение на пути новой науки — это особый *технический язык* каждой отрасли. Когда одни и те же соотношения выражаются разными символами, то мы неизбежно принимаем их за разные соотношения и не можем их обобщить. Но в разных отраслях чрезвычайно часто одно и то же обозначается разными словами, и наоборот, одни и те же слова получают разный смысл. Примеров можно указать сколько угодно.

Все содержание политической экономии сводится, по существу, к исследованию того, как люди *приспосабливаются* к объективным условиям труда. Но «приспособление» — термин биологии, а в экономических произведениях его редко даже встретишь; там вместо «человек экономически приспособляется» говорят: «человек действует сообразно хозяйственной выгоде». — Коренное единство феодальных форм у всех народов долго скрадывалось от историков благодаря тому, что феодалы в одних странах назывались сеньорами, в других — удельными князьями, в третьих — кшатриями и т. д. Мелкие боги католицизма называются святыми, и потому католицизм, вопреки своему объективному характеру, до сих пор многими причисляется к религиям единобожия: специалисты по католической теологии редко знали сколько-нибудь серьезно теологии «языческие». — Но особенно яркую иллюстрацию нашей мысли дает как раз понятие «организовать». Оно чуть не в каждой отрасли труда и познания выражается иначе.

О людях, о коллективе обыкновенно говорится «организовать», об усилиях, о движениях чаще — «координировать», о знаниях, фактах — «систематизировать». Когда труд организует элементы, взятые из внешней природы, в планомерное целое, это называют в одних случаях «произвести» продукт, в других — просто «сделать» его; если продуктом является здание, машина, то — «построить». Организовать разные элементы жизни, мысли, чувства в эстетическое целое обозначается: «создать» художественное произведение, «сочинить» роман. Во многих специальностях то же общее понятие находит выражение в терминах частичных операций: «написать» книгу (подразумевается вся работа мысли и воли, а отнюдь не только движения писца), «нарисовать» картину, «сшить» костюм (план, моделирование костюма, кройка, примерка и пр. — большая организационная работа, а отнюдь не одно сшивание ткани) и т. под.

Нам показались бы, конечно, смешными сочетания слов: «организовать» машину, здание, книгу, картину, костюм. Но это — дело привычки, а привычка — не доказательство. Нам не смешны выражения: «построить теорию», «построить партийную организацию», «произвести реформу» и т. под. В каждом из специальных выражений «координировать», «построить», «сочинить» и т. д., без сомнения, есть особый оттенок, указывающий на ту или иную специальную технику организационного процесса. Но этот оттенок вполне определяется в указании на организуемый объект: понятно, что строить дом, строить теорию и строить партию приходится технически разными приемами, а также разными создавать поэму, картину, статую, костюм: незачем еще другой раз указывать то же самое в глаголе: это плеоназм, и плеоназм вредный, мешающий обобщению.

Множественность специальных словесных обозначений — одно из важнейших условий, препятствовавших обобщению организационного опыта, его объединению в форму универсальной науки.

#### XV

Насколько в действительности будет нова эта наука? Ее материалом будет весь организационный опыт, и прежде всего, конечно, старый опыт, накопленный человечеством, но только существующий в разрозненном виде, не собранный, не разработанный. Ее методы будут те же методы старых наук: индуктивное обобщение, основанное на сводке наблюдений и, где возможно, на точных экспериментах; отвлеченная символизация; дедукция. Новой окажется лишь точка зрения, воплощающаяся в самой постановке задачи, и планомерная работа над этой задачей.

Но так ли нова и точка зрения? К счастью, она тоже имеет свое прошлое, свои многочисленные зародыши и прообразы. Первый из них заключается в самой человеческой речи, точнее — в том ее принципе, который Макс Мюллер<sup>44</sup> назвал «основной метафорой». Речь возникла из «трудовых междометий», произвольных звуков, сопровождавших разные акты труда; и первые слова были обозначением только *человеческих* трудовых действий. Универсальным выражением опыта речь могла сделаться лишь благодаря тому, что те же слова стали применяться для обозначения аналогичных *стихийных* действий, происходивших в природе. Например, слово, выражающее акт разбивания, дробления предметов в производстве, охоте, войне, стало относиться и к действию лавины разбивающей, дробящей разные предметы в своем падении; или слово, означающее акт копания, рытья, — к действию потока, прорывающего себе новое русло, и т. под. Через величайшее различие, какое имеется в опыте, — различие человека и внешней природы, сознательности и стихийности, — язык уловил и признал принципиальное единство соотношений. Не ясно ли, что здесь, в скрытом виде, уже есть начало новой, всеобъединяющей точки зрения?

Далее, она же выступает еще определеннее в «народной мудрости», с ее пословицами, притчами, баснями и пр. Какая-нибудь пословица «в единении сила» или соответствующая ей притча о венике и прутиках объединяет огромную массу организационного опыта, относящегося к комбинированию активностей и сопротивлений во всех, самых различных областях опыта: в жизни человеческих коллективов, в сфере технических сочетаний разных материалов и энергий, в группировке знаний и мыслей и т. д. Почти такую же массу и столь же разнообразного опыта дезорганизационного охватывает, в своей наивно-образной форме, пословица «где тонко, там и рвется»: всякая система начинает дезорганизовываться с пункта наименьшего сопротивления, будет ли это организация людей, или живое тело, или орудие, или ткань, или теория и т. д. — Нет надобности продолжать примеры. Здесь перед нами действительное, — но донаучное и потому ненаучное выполнение той задачи, которую ставит наша новая наука.

## XVI

В большей мере прообразом, чем зародышем новой науки, является старая философия. Отыскивая единство мира, она не понимала, что оно может быть установлено только как единство организационных методов и форм; она представляла единство фетишистически-отвлеченно. Но в свои построения она старалась вносить научную широту и методичность; поэтому она подготовила не мало материала для новой науки.

Одно из философских построений стоит особенно близко к новой точке зрения. Это — диалектика Гегеля. Гегель хотел установить универсальный метод «развития» для вселенной в ее целом и в ее частях. Под «развитием» он, в сущности, понимал метод или путь *организации* всевозможных систем. Но гегелевская диалектика не была на деле универсальной, потому что взята из ограниченной сферы — отвлеченного мышления. Не была универсальной и позднейшая вариация диалектики — материалистическая. Но глубина и широта замысла обусловила огромное историческое влияние диалектики на развитие научной мысли.



Новая наука должна родиться из *нынешней* науки. Весь ее материал, все ее методы должны быть исследованы с новой точки зрения<sup>150</sup>.

И самой нынешней науке эта точка зрения не так чужда. С разной степенью определенности, она выступает во многих теориях, связывающих наиболее отдаленные одна от другой области бытия, наиболее разнообразные формы явлений. Таковы особенно теории общей физики. И не только теории. Даже среди отдельных экспериментов есть настолько проникнутые этой точкою зрения, что их скорее можно отнести ко всеобщей организационной, чем к какой-либо из специальных наук.

Вот примеры. Канто-лапласовская теория происхождения миров находит опору в формах планетных туманностей, кольцах Сатурна и также в известном опыте Плато<sup>45</sup> — Жидкий масляный шар в смеси двух других жидкостей, имеющей одинаковый с ним удельный вес, будучи приведен во вращение, воспроизводит форму кольца Сатурна. По методу — опыт физический; по цели — космологический. Куда его отнести? И по составу, и по условиям среды что общего между гигантской туманностью из разреженного газа в пустом эфире и масляным шариком в жидкости? Но есть общая закономерность в процессах строительных, т. е. *организационных*.

Бюкли<sup>46</sup> приготовил «искусственные клетки» из пенистой или эмульсионной смеси, не имеющей по химическому составу ничего общего с живой протоплазмой. Эти клетки воспроизводили переливающиеся движения живых амеб; этим решается вопрос о физическом строении протоплазмы. Что это за опыт? Отнести его к молекулярной физике? Но вопрос, о котором идет дело, биологический. К биологии? Но объект опыта — вовсе не живые тела. Это, несомненно, эксперимент из области законов организации вообще.

Чтобы выяснить возможное расположение электронов в атоме, современные физики строят модели с электромагнитом или наэлектризованным кондуктором и плавающими маленькими магнитами или токами. Ясно, насколько несоизмеримы такие модели с тем, что они изображают. Значит ли это, что опыты нелепы? Нет, потому что смысл их в принципах строения, в принципах мировой организации.

Нынешняя наука полна элементов науки будущего, как нынешнее общество заключает в себе массу элементов будущего строя...

Наука есть коллективизм опыта.

История поставила перед нашим поколением необходимую задачу: обобщить и обобществить организационный опыт человечества. Задача трудная, материал ее подавляюще-громоздкий, самые прочные традиции прошлого ей враждебны.

Что же! Значит, эта задача не для робких и слабых и не для людей прошлого...

Растущий великий коллектив разрешит ее на своем пути к решению той задачи, для которой она является средством, — мировой организационной задачи социализма.

(1913)

## ***Искусство и рабочий класс***

### **Возможно ли пролетарское искусство?<sup>47</sup>**

Для большинства марксистов — и на этот раз, надо признать, не только истинно

<sup>150</sup> Такому исследованию посвящена «Всеобщая организационная наука» в трех частях (1913–1922).

русских — вопрос о пролетарском искусстве до сих пор решался просто:

1) Что такое искусство? Это *украшение* жизни.

2) Такова ли жизнь рабочего класса, чтобы ему заниматься украшением своей жизни? Нет, не такова.

Следовательно, мысль о пролетарском искусстве — утопия. И не просто утопия, а при внимательном исследовании — очень вредная.

В самом деле, жизнь пролетариата протекает в труде и борьбе. Чтобы отдаваться занятию искусством, нужны обеспеченность и *досуг*. У рабочего класса нет обеспеченности и очень мало досуга. Если он упорной, напряженной борьбой отвоевывает себе частицы того и другого, то на что ему приходится их употреблять? На развитие своих сил для дальнейших завоеваний, на выработку своего классового сознания и своей организации. Он не может и не должен иначе: это — требование суровой действительности, это — классовая необходимость.

«Для организации же подлинного „безделья“, говорит в меньшевистском журнале один из представителей этого взгляда, А. Потресов-Старовер<sup>48</sup>, для культуры того важного и, скажем более, необходимого человеческого „безделья“, которое называется искусством, остается не только бесконечно мало простора во времени, но и бесконечно мало внимания. Это — что-то сверхсметное и сверхурочное, чем можно заниматься только между настоящим делом, принимаемым всерьез, ибо вытекающим из первичных, самых насущных потребностей пролетарского „товарищества“»<sup>151</sup>.

Безделье, хотя бы «необходимое», все же только безделье. И поэтому тот, кто призывает пролетариат к работе в области искусства, помимо того что заблуждается, не понимая объективных условий пролетарской жизни, но и приносит вред, отвлекая к «безделью», к украшению жизни силы и внимание, которые в полной мере должны быть направлены на основные, насущные задачи класса.

В сущности, это даже оппортунизм, это — шаг к примирению с капитализмом, к притуплению его противоречий. Ведь если пролетариат может при нынешних общественных отношениях не только сплотиться в великую армию, как думал некогда Маркс, но и «развернуть во всем ее объеме свою пролетарскую культуру», включая и область искусства, то, «очевидно, эти общественные отношения совсем не так дурны»... Они, значит, дают рабочему классу простор для всестороннего развития; и тогда можно ожидать «незаметного постепенного преобразования капиталистического общества в социалистическое», такого преобразования, о котором проповедовал Эдуард Бернштейн<sup>152</sup>. А жизнь уже успела показать, как вредны иллюзии оппортунизма.

Так... Все это очень убедительно, если... если верна первая, основная мысль, на которой все построено: «искусство есть украшение», «искусство есть безделье». А что, если она неверна? И вдруг окажется, что само это понимание искусства — продукт «подлинного безделья», т. е., попросту говоря, барства?

Искусство — одна из идеологий класса, элемент его классового сознания; следовательно, организационная форма классовой жизни, способ объединения и сплочения классовых сил. Таким оно было и раньше; но не так оно понималось. Рабовладельческая аристократия, к которой принадлежала главная часть «интеллигенции» у древних греков, смотрела на искусство всецело с своей паразитической точки зрения, а именно как на средство утонченного наслаждения, возвышенное безделье, вообще — украшение жизни. Но заметьте: она смотрела так не только на искусство, а и на науку; в науке видели и ценили тоже лишь источник умственных наслаждений, приятную гимнастику души. Эти барские взгляды сохранила и позднейшая помещичья аристократия; но только, будучи гораздо грубее

---

<sup>151</sup> Наша Заря. 1913. № 6. С. 70 (А. Потресов — «Критич. наброски»).

<sup>152</sup> Наша Заря. 1913. № 10–11. С. 45 (А. Потресов — «Критические наброски»).

и вульгарнее своей античной предшественницы, она ниже ценила эти «украшения» и весьма мало способна была сама творить их.

Интеллигенция буржуазная изменила эти взгляды в том, что касалось *науки*, но не в том, что касалось искусства. Применяя науку, систематически и планомерно, для целей техники производства, буржуазия уже не могла видеть в ней простой источник тонких духовных наслаждений, не могла не понять, что наука — *дело*, а не «безделье», и дело серьезное. Только истинный характер этого дела — организационный — остался для буржуазии все-таки недоступным.

Но искусство не играет такой роли, как наука, ни на фабрике, ни в экспортной торговле, ни в постройке железных дорог, пароходов и гигантских домов, ни в артиллерии, ни во флоте... Поэтому старый барский взгляд на искусство не был пересмотрен буржуазией; для ее классовой практичности оно по-прежнему «безделье». И так как Маркс не успел исследовать этого вопроса<sup>49</sup>, то «истинные марксисты» могли только усвоить старую барскую традицию.

Ни помещичья, ни буржуазная, ни «истинно-марксистская» интеллигенция не оказалась способна раскрыть организующую силу искусства. Для этого не годятся старые способы мышления, которые обыватель именует «здравым смыслом».

И в самом деле, не странно ли?.. Ну, кого и что могут организовать какие-нибудь фетовские

Шепот, робкое дыханье,  
Трели соловья...

А могут и организуют. И не случайно у критика-демократа сорвется выражение — «барская поэзия». Не случайно даже она достигает такого совершенства у помещика-крепостника, ненавидевшего крестьян не меньше, чем нынешние «зубры». Она, конечно, укрепляет общее самосознание, связь мысли и настроения классов паразитических, живущих в сфере более или менее утонченного безделья и презирающих грязную прозу жизни, — ее суровую трудовую сторону. Эта поэзия говорит: «вот какие *мы* эстетичные, возвышенные существа, как нежны и чутки *наши* души, как благородна *наша* культура». А вместе с тем само собой подразумевается: «Разве можно сравнивать с нами те низменные существа, которые обречены на заботу и работу, у которых интересы вращаются вокруг скота и удобрения? Разве не справедливо, не естественно и нормально, чтобы *они* были орудием и средством для выполнения нами нашего высшего назначения?»

Заметьте, читатель: я отнюдь не хочу сказать, что «барская поэзия» плоха. Напротив, я думаю, что и из нее многое может быть впоследствии воспринято растущими классами: искусство, как и наука, и вообще организационные орудия, подобно материальным орудиям, часто находят применения, далекие от первоначального. Я только объясняю, каким образом и самая далекая от «экономики» и «политики» поэзия бывает моментом, и важным моментом, классового или сословного самосознания, а следовательно — элементом *общественной силы* класса или сословия.

Надо понять это, и тогда уже сознательно, а не подчиняясь барским шаблонам мысли, принимать или отвергать необходимость, возможность, полезность пролетарского искусства.

В его отрицании у наших «истинных марксистов» есть два оттенка. Одни (представитель — Г. Алексинский)<sup>50</sup> говорят: *не должно, недопустимо* отвлекать внимание класса от насущных задач в сторону искусства. Другие (представитель — А. Потресов) скорее огорчаются: увы! внимание пролетариата поневоле, неизбежно отвлечено в другую сторону, и для художественного творчества нет места.

Первый оттенок основан на такой мысли. У рабочего класса имеется определенное, ограниченное количество сил, на котором и должен основываться бюджет его деятельности, — как в кошельке обывателя есть определенное количество денег, которым ограничивается бюджет одного обывателя. И как этот последний не должен тратить свои

средства на роскошь, иначе впадет в дефицит, так и пролетариат не должен тратить своих сил на искусство.

Как видим, применение бухгалтерии мелкого мещанского хозяйства к творчеству великого класса.

Спорить против этого мне не хочется; а вот две бытовые картинки, которые приходят мне в голову.

Полотно железной дороги. Толпа рабочих огромными рычагами поднимают сошедший с рельсов вагон. Колеса врезались в балласт глубоко, и тяжесть страшная.

— Что-то, братцы, не идет дело... Давайте «Дубинушку»<sup>51</sup>, — предлагает кто-то.

Раздается дружная песня. Вдруг некто в красной фуражке.

— Это еще что за безобразие. Отвлекать внимание... тратить силы на дранье глоток... Замолчать сию минуту. И направить всю силу на одну цель.

А затем в сторону:

— Я вам покажу пролетарское искусство... еретики.

Другая сцена. Степи далекой Манчжурии. Колонна на походе.

Еле бредут измученные солдатики. Грянула музыка. Все оживилось; тверже, увереннее походка.

Вдруг наезжает новый генерал, на смену Куропаткину<sup>52</sup> прислан «истинный марксист».

— Как, музыка? Растрата сил, внимания? Сейчас же прекратить. Нам тут не до искусства.

Вот уж кто победил бы японцев.

Взгляды А. Потресова и большинства высказывавшихся на ту же тему меньшевиков много сложнее. Выводы у них, в общем, те же; но они понимают некоторые вещи, недоступные строгому генералу.

Во-первых, для них ясно, что буржуазное искусство — реальная и огромная сила, действующая на пролетариат воспитательно в неблагоприятном направлении. Как и почему — это они представляют, разумеется, смутно, потому что организующей роли искусства не постигают. Но они чувствуют, что искусство, хотя и «безделие» и «украшение», однако почему-то очень важное для жизни. Поэтому в отсутствии пролетарской «культуры художеств» они видят «трагедию», а не простой результат классового благоразумия и бережливости в жизненном бюджете.

Отсюда у них получается такая позиция: жаль, что пролетарское искусство не может развиваться, — хорошо было бы, если бы могло; надо «беречь и лелеять его ростки»; но если кто признает, что тут возможно нечто большее, чем слабые ростки, тот «ревизионист» и притупитель противоречий и да будет, конечно, отлучен. Словом: с одной стороны, нельзя не сознаться; однако, с другой, надо признать; от себя же к щедриной формуле они прибавляют: и притом надо признать очень строго, с повреждением несогласных...

Как же обосновывается это стройное, умеренное и вместе с тем радикальное решение вопроса?

Тут к нашему «во-1х» присоединяется еще «во-2х», которое опять-таки мешает им прямо стать под знамя маньчжурского генерал-марксиста. Они понимают, что недостаток досуга и обеспеченности — основание весьма слабое, ненадежное.

В самом деле, этот аргумент пора бросить. Насчет «обеспеченности» слишком плохой пример являют голодающие по чердакам поэты, музыканты, артисты буржуазной культуры, которые среди ее творцов составляют, пожалуй, большинство. А насчет «досуга»... Мало его — это бесспорно; но все-таки... Когда многомиллионный класс отвоевывает себе полчаса из прежнего рабочего дня, он этим создает себе, в общей сумме, больше досуга, чем все нерабочее время барского сословия. Прибавьте к этому вынужденный «досуг» безработицы, стачек, локаутов...

Ведь могли же другие угнетенные классы вырабатывать свое искусство. Существовала, напр., поэзия крестьян, ремесленников... Сам А. Потресов приводит очень трогательный

пример:

«... миннезингер Ганс Сакс, который пел песни и одновременно тачал сапоги»<sup>153</sup>.

Счастливый Ганс Сакс! Ему без всякого отлучения за «ревизионизм» позволялось одновременно работать и заниматься поэзией... Да еще после смерти Потресов произвел его в рыцари. Ибо «миннезингер» («певец любви» или даже «любовной мечты») — это был поэт-феодал, а Ганс Сакс принадлежал лишь к «мейстерзингерам» («певцам-мастерам») <sup>53</sup>, совершенно другой породе. — Но почему же, однако, столь значительные преимущества крестьянину или сапожнику перед современным пролетарием крупного производства?

А дело именно в том, что этот пролетарий создал «культуру другого порядка, культуру, которой нет равной ни в прошлом, ни в настоящем общественной жизни, культуру практического действия, классовой, экономической и политической борьбы»<sup>154</sup>.

Ну что же, и очень хорошо: значит, класс могучий, способный к грандиозному творчеству.

Да, но если он *уже* сделал так много, то мыслимо ли ему *создать еще* пролетарское искусство? «Надо помнить, что пролетариат до сих пор не имеет даже 8-часового рабочего дня, т. е. элементарных предпосылок культурного существования». Чего же вы от него хотите?

Вот мы и вернулись благополучно к аргументу маньчжурского генерал-марксиста.

«Чем дальше идет история, тем напряженнее становится борьба, тем больше задач у пролетарского „товарищества“ и обременения этими задачами. И это „товарищество“ поглощает человека, и нет у него ни времени, ни внимания для истинно художественного творчества».

«Товарищество» здесь означает то же, что в предыдущем — «культура практического действия». И предполагается, что оно — вещь страшно сухая, настолько прозаически-деловая, что где оно поглотит человека, там нечего толковать о искусстве. А поглощает оно всех беспощадно — ничего не остается: берет все копейки из кошелька жизни.

Две тут есть неправды. Первая — преувеличение. Не настолько уж полно и глубоко поглощает «товарищество» сознательных пролетариев, *к сожалению*, далеко не настолько. Неужели Потресов серьезно думает, что миллион членов германской партии или чуть не три миллиона членов немецких профессиональных союзов так-таки весь досуг, все внимание, все свободные средства отдадут общему делу? Люди, целиком посвящающие себя «товариществу», до сих пор — единицы из десятков, часто из сотен. Огромное большинство ограничивается членскими взносами да посещением, и не слишком аккуратным, общих собраний, митингов. И, конечно, необходимо направить все усилия к тому, чтобы это изменилось, чтобы «товарищество» сильнее и сильнее проникало всю жизнь, весь быт рабочего класса. И для этого пролетарское искусство, по мере своего развития, будет становиться все более могущественным средством. *Теперь* эстетические потребности пролетария *отвлекают* его от «товарищества», потому что удовлетворяются чуждым ему искусством. *Тогда* они будут *вовлекать* его в живую *связь* коллектива все глубже и прочнее.

Другая неправда: будто «товарищество» — сухая проза, враждебная искусству, и кто им «поглощен», в том отмирает артистически творческая способность. Вот маленькое произведение поэта-рабочего, пишущего под именем «Самобытника»<sup>155</sup>.

#### Новому товарищу

---

<sup>153</sup> Наша Заря. 1914. № 2. С. 91. — «Еще о пролетарской культуре».

<sup>154</sup> Наша Заря. 1913. № 5 — «Критич. наброски», стр. 68 и 75.

<sup>155</sup> Путь Правды. 1914. янв. (номер от 16 или 17).

Вихрь крутящихся колес,  
Пляска бешеных ремней...  
Эй, товарищ, не робей!  
Пусть гудит стальной хаос,  
Пусть им взято море слез,  
Много сгублено огней —  
Не робей!

Ты пришел от мирных рос,  
Светлых речек и полей...  
Эй, товарищ, не робей!  
Здесь безбрежное — слилось,  
Невозможное — сбылось...  
На заре грядущих дней —  
Не робей!

Наше счастье поднялось  
По верхам седых гребней...  
В царстве скорби и теней  
Солнце мощное зажглось,  
И горит оно сильнее —  
Не робей!

Словно каменный колосс,  
Стань у бешеных ремней...  
Пусть сильнее шум колес,  
В цепь еще звено вплелось...  
Рать сомкнулася плотней —  
Не робей!

Вдумайтесь в это: можно ли себе представить более полное «поглощение товариществом»?

На завод нанялся новый рабочий — прямо из деревни, вчерашний крестьянин. Что он для старого, исконного рабочего? Конкурент, и притом наиболее неудобный: он сбивает плату, благодаря низкому уровню потребностей и неумению даже постоять за себя, не только уж отстаивать общие интересы; о них он еще и понятия не имеет. Тяжела его мысль, узки чувства, ограничена воля, жалок его кругозор... И нечего рассчитывать на него, если сегодня-завтра потребуются дружные товарищеские действия. — Но посмотрите, как отнесся к нему, случайному, еще чуждому пришельцу, его товарищ-поэт.

С каким рыцарским вниманием, с какой нежной заботливостью он ободряет робкого новичка и вводит в незнакомый, непонятный, странный, даже страшный для него круг жизни! С какой простотой и силой в удивительно сжатых словах и поразительно ярких образах поэт рассказывает ему все, что ему надо узнать и почувствовать, чтобы стать товарищем среди товарищей: и грандиозную картину титанических сил «стального хаоса» нынешней техники, и горькую правду «о море слез», которого стоила она человечеству, и радостную весть о «мощном солнце» великого идеала, о гордом счастье общей борьбы. Трогательно звучит воспоминание о чудной, далекой природе — «мирных росах, светлых речках, полях»; как тоскует по ней сердце пролетария среди камня и железа, и как редко доступна ему радость свидания с нею! Но всего достигнет в своем растущем, неуклонном, неотвратимом усилии коллективно-творческая и боевая воля... С несравненной энергией, с победоносной уверенностью раздастся заключительный аккорд:

В цепь еще звено вплелось,  
Рать сомкнулася плотней —  
Не робей!

Свершилось! Новый член вступил в многомиллионное братство; словом поэта он посвящен в рыцари мир преобразующей Идеи...

И они думают, что искусство — «украшение»! Да, конечно, все, что прекрасно, украшает жизнь: героизм, гениальность, любовь, поэзия. Но неужели все это — просто «украшения»? И вот крошечная жемчужина пролетарского искусства... Неужели они не поймут, что это — *организационный акт*, спаивающий прочнее звенья живой цепи, закрепляющий единство трудовой рати?

Самобытник — поэт молодой, неопытный; большинство его стихов еще страдает недостатком не только отделки, — она не очень тонка и в приведенном стихотворении, — а прямо-таки художественной грамотности; Самобытнику — как и другим — надо еще много жить, учиться, работать, думать, пока он выполнит все обещания своей несомненно богатой и серьезной, но мало культивированной природы. Откуда же у него *на первых шагах* могла взяться эта сжатая, концентрированная сила выражения, охватывающая в таком малом объеме такое колоссально широкое и глубокое содержание? Ответ ясен для всякого, кто способен почувствовать в полной мере его настроение: ее дало «поглотившее» его товарищество. Оно, а не что-либо иное породило эту внутреннюю цельность поэтического порыва, которая называется «вдохновением» и которая сливает массу жизни в стройной неразрывности гибкой формы.

А нам говорят, что оно — сухая, деловая проза, враждебная духу поэзии! «Культура практического действия» — ведь это борьба за пятак прибавки, не правда ли? Был в этом роде «миннезингер» и эстет Н. Бердяев; он так и определял рабочее движение. Но неужели «истинный марксизм» не ушел дальше этого понимания?

Красота художественного произведения — это единство творческого усилия, которым оно создано. Что же, в трудовом и боевом товариществе нет условий такого единства?

«Товарищество» не конкурент и не враг зарождающегося пролетарского искусства, а напротив — его *душа*, его организующее начало, его принцип, его движущая сила.

Итак, пролетарское искусство возможно? Нет, оно не только возможно. Оно необходимо, и — оно *существует*. Вот я привел маленькое стихотворение рабочего поэта. Найдите мне в старой мировой литературе его художественную идею, мотив, его проникающий. Уверю вас — не найдете. Этот мотив и есть — товарищество, он пролетарски-классовый, он незнаком старой культуре. А по масштабу, по жизненному значению он более грандиозен, способен к более широкому и глубокому развитию, чем вечный мотив старой поэзии — индивидуальная любовь мужчины и женщины. Но если в жизни рабочей массы уже сложился и ищет художественного выражения мотив *такой* силы и *такого* захвата, тогда смешно говорить, что нового искусства нет, потому что исписано еще мало страниц бумаги, и не очень грамотно: новое искусство *уже живет в коллективе* и, конечно, найдет орудия для своего воплощения в виде чутких и гибких личностей, способных гармонично передать то, что растет и зреет в сердце великого класса.

Ну а как же все-таки быть со страшным «аргументом отлучения»: если в современном строе возможно пролетарское искусство, значит, «он уже не так плох», значит, мы уже отчасти «примеряемся» с ним, «притупляем» противоречия и т. д. и т. п.

Аргумент этот ужасен своей всеразрушающей силой. Если в современном строе пролетариат может создавать «невиданно» грандиозную культуру практического действия, что он уже сделал, по правильному замечанию самого А. Потресова, то, «значит, этот строй не так уж плох», значит, мы «примиряемся» с ним, «притупляем» противоречия, признаем «врастание» капитализма в социализм и пр.

Более того. Если рабочий класс вообще может и в современном строе что бы то ни

было создавать, чего бы то ни было достигать, делать какие бы то ни было завоевания, «значит, этот строй не так уж плох» и т. д. и т. п.

Куда же мы таким способом придем? Где дно той бездны анархизма, в которую обрушивает нас своей логикой мягкий, кадето-любивый Потресов?

А нельзя ли все-таки рассудить немного иначе? Например, так. Противоречие между рабочим классом и современным строем оказывается *глубже*, чем раньше полагали. Оказывается, что даже в области искусства пролетариат не может удовлетворяться старой культурой и принужден вырабатывать свою, новую, как орудие своего сплочения, своего воспитания в духе товарищества и борьбы. Примирения нет *даже здесь*, в той сфере, которую так долго считали царством чистой красоты...

Задачи шире и труднее, чем думали. Что из этого следует? Что историческая миссия пролетариата на деле выше и сложнее обычных представлений о ней.

Но ведь вот и в Германии, с ее огромным — не чета нашему — развитием рабочего движения, не создано до сих пор настоящего пролетарского искусства? Да, по-видимому, не создано. А Россия — страна отсталая по сравнению с Германией, и русскому движению далеко до германского? Да, и это пока верно. В таком случае, не явная ли утопия надеяться на развитие пролетарского искусства у нас, в России, не бесполезно ли направлять внимание рабочих и в эту сторону?

Странно как-то встречать подобные аргументы в *нашей* печати. Ибо это — не что иное, как старый, вечный «резон» наших реакционеров против любой реформы. «Вот вы хотите отмены телесного наказания в тюрьмах. А как же в Англии — стране самой передовой, куда нам до нее — оно и сейчас практикуется. — Вы стоите за подоходный налог, а его нет еще и во Франции»... и т. д. Это, как известно, особенность русского патриотизма — желание сделать свою страну складом всего *худшего*, что имеется в мире, и к созданию того хорошего, чего у других еще нет?

Представьте себе Потресова и его единомышленников в той же Германии, но в 60е годы, когда Лассаль агитировал там за устройство самостоятельной рабочей партии. Германии тогда экономически было далеко до Англии, а немецкое рабочее движение было в зародыше, тогда как в Англии давно сложились могучие «профессиональные союзы, значительные кооперативы...» Не ясно ли, что Потресовы отвергли бы идею Лассалья как утопическую: «раз уж и в Англии нет рабочей партии, то куда нам, отсталым немцам, толковать об этом!» Но утопистами — и не в хорошую сторону — оказались бы Потресовы-политики, а не Лассаль.

До сих пор не вполне выяснено, почему в истории мирового рабочего движения одна страна берет на себя инициативу в развитии одной стороны его организации, а также его идеологии, другая — другой стороны, третья — третьей; но это на деле так было до сих пор. Англия дала первую одно, Франция — другое, Германия — третье, Бельгия — четвертое, и это на весьма различных ступенях движения. Почему русский пролетариат, с его чрезвычайно своеобразными условиями жизни и историческими судьбами, один из всех не способен сыграть такой роли ни в какой области — этого я постигнуть не могу и думаю, что Потресов с его сторонниками должны тут предъявить иные, положительные доказательства, кроме «истинно патриотических», сводящихся к формуле: «да где уж нам»...

Но «пока солнышко взойдет», перед нами все же только зародыши искусства пролетарского и огромная художественная культура старых классов. Как же быть-то? Воспитываться на том, что есть, учиться у старого мира? Конечно да. Начинать всегда приходится с этого. Но учиться надо *сознательно*, не забывая, с кем и с чем мы имеем дело: *не подчиняться, а овладеть*. К буржуазному искусству надо относиться так же, как и к буржуазной науке: взять у них можно и следует много, очень много, но не продать им за это незаметно для себя свою классовую душу.

Новая логика все это должна преобразовать, всему старому придать иной лад... Но эту новую логику надо иметь, т. е. *выработать*. Чтобы иметь ее в сфере искусства, пролетариат должен создать свое искусство и на его основе — свою критику. Тут дело не в количестве, не



в тысячах томов, а в силе, цельности, глубине, последовательности того, может быть, немногого, что будет создано. Тогда место ненадежного, наивного, стихийного «чутья» займет ясно-сознательное отношение к артистическому творчеству и его продуктам... Тогда, опираясь на свое настоящее, мы вполне овладеем для себя и искусством прошлого — а не оно будет владеть нами.

(1914 г.) 156

## Пролетариат и искусство

Для буржуазного мира искусство было «украшением» жизни. Так ли это для нас? Самые ранние зародыши искусства — это песни любовные у многих животных и у человека и песня трудовая у человека. Первая — средство организации семьи, брака, вторая — орудие организации труда. Позже возникла песня боевая. Она была средством, чтобы спаять боевой коллектив в единстве настроения. Танец брачный существует не только у людей, но и у птиц; до сих пор танцы служат средством сближения молодежи, первых шагов в деле организации семьи, брака. Танцы военные, воспроизводившие в идеализированном виде жизнь войны, вполне подобны по своему значению и смыслу боевым песням. Танец «совета» у индейцев — размеренный, важный, плавный, приводит членов общины или иного коллектива в одинаковое серьезное, вдумчивое настроение, нужное для процесса обсуждения — организует для него коллективные силы духа. Вот перед вами рисунки первобытных художников, пещерных людей, живших 20 000 лет тому назад<sup>157</sup>. Разве не ясно воспитательное значение этих рисунков, изображающих вид, движения, характер диких животных той далекой эпохи? Ясно, что такое искусство являлось средством воспитания для общины охотников. Воспитание же есть организаторская деятельность. Оно вводит новых членов в общество или общину, делая их пригодными к выполнению их социально-жизненной роли.

Но мы знаем, что искусство есть вообще воспитательное средство. Значит, вообще *орудие социальной организации людей*.

Каким же путем искусство организует людей? — Тем, что организует их опыт.

Это делает опять-таки всякое искусство, всегда. Разве предложенные мною вам рисунки — не организованный опыт охотничьей жизни первобытной общины? И современный рассказ, роман — это, конечно, не что иное, как собранный и приведенный автором в известный порядок жизненный опыт, это наука жизни в образах. Древний миф был даже одновременно воплощением и науки и поэзии: он давал людям в живых образах слова то, что теперь наука дает в отвлеченных понятиях. Например, мифы книги Бытия были одновременно космогонией и историей еврейского народа, вводили еврея в организацию мира, как она тогда понималась, в организацию общины и в живую связь с предками.

Наука тоже организация опыта, средство организации людей, как и искусство. В чем же разница между наукой и искусством?

В том, что искусство организует опыт в живых образах, а не в отвлеченных понятиях. Благодаря этому область его шире: оно может организовать не только представления людей, их знания и мысли, но также и их чувства, их настроения. Музыка, напр., есть звуковой язык чувства, лирика — словесно-образный, ландшафт красочный, архитектура — язык камня,

---

<sup>156</sup> Эта статья входила в сборник, который не мог выйти в свет из-за резкого ухудшения цензурных условий с началом мировой войны.

<sup>157</sup> Делегатам передан снимок с рисунков первобытных людей из Альтамирской пещеры в Сев. Испании. [Альтамирская пещера — замечательный памятник первобытного искусства. Расположена в Кантабрийских горах (Испания). В 1875 г. археолог-любитель Марселино Саутула открыл в пещере выразительные наскальные изображения животных, относящиеся к эпохе палеолита. — *Ред.*].

дерева и железа. Разные искусства разными путями связывают людей в единство настроения, воспитывают и социально формируют их отношения к миру и к другим людям. Приведу примеры: воспринимая весенний или осенний ландшафт, мы связаны одним чувством, одним настроением; римский Колизей мы все ощущаем как каменное воплощение гордости и жестокости властителей мира; в формах готического храма, например Кельнского собора, мы видим вековой порыв от мрачной земли средних веков к небу.

Искусство не только шире науки, оно было до сих пор сильнее науки, как орудие организации масс, потому что язык живых образов был массам ближе и понятнее.

Ясно, что искусство прошлого само по себе не может организовать и воспитывать пролетариат как особый класс, имеющий свои задачи и свой идеал. Искусство религиозно-феодалное, авторитарное, вводит людей в мир власти, подчинения, воспитывает в массах покорность, смирение и слепую веру. Искусство буржуазное, имея своим постоянным героем личность, ведущую борьбу за себя и свое, воспитывает индивидуалиста. Это опять не то, что надо нам.

Пролетариату необходимо искусство коллективистическое, которое воспитывало бы людей в духе глубокой солидарности, товарищеского сотрудничества, тесного братства борцов и строителей, связанных общим идеалом.

И такое искусство зарождается. Мы имеем его в России в виде молодой пролетарской поэзии. Это преимущественно поэзия боевого коллективизма; но уже пробивается и струя коллективизма строительского, например, в поэзии Самобытника, Кириллова, Гастева. Я не стану приводить образцов этой поэзии: вы их знаете. Ограничусь одним стихотворением Самобытника, из старых и не самых талантливых, но характерных и по форме и по содержанию.

#### Моим братьям

Мы — звезды в сумраке глубоком:  
Едва мерцаем и горим,  
И на посту своем высоком  
Мы, как умеем, сторожим.  
Над угнетенными полями  
Мы в час уныния зажглись —  
Сверкать свободными огнями  
И озарять родную высь.  
Порой алмазным дружным хором  
Свой черный полог уберем,  
То с первой песней — метеором  
В глухую бездну упадем.  
И песня вольная прервется,  
Но не исчезнет без следа:  
Ей вслед другая запоется —  
И вспыхнет новая звезда.  
Опьянены любовью света,  
Мы грезим радостями дня,  
И до грядущего рассвета  
Не гасим дружного огня.  
И день придет. Над нашим краем  
Светило мощное взойдет,  
И мы, свободные, растаем  
Средь голубых своих высот.

Здесь коллективистично не только понимание задачи поэта, но и само восприятие

природы: звезды — коллектив неба, борющийся с ночью. Конечно, это наивно, ненаучно. Но и будущий поэт-коллективист, который не сможет применять такие образы, потому что будет слишком проникнут знанием мира и природы, все же будет чувствовать и сознавать связь миров, которые разделены безднами, но подобны друг другу, как дети одной матери-природы, связанные общением своих лучей, вечным обменом своей космической жизни.

Товарищи! Поэт-коллективист, как и всякий художник-коллективист, будет говорить не только о пролетарской жизни и не только о человеческом коллективе борьбы или труда. Нет, вся жизнь и весь мир будут содержанием его поэзии; на все он будет смотреть глазами коллективиста, видеть связь общения там, где не может ее видеть индивидуалист, будет ощущать всю вселенную как поле труда, борьбы сил жизни с силами стихий, сил стремящегося к единству сознания с черными силами разрушения и дезорганизации.

Но как относиться к старому искусству, которое не стояло и не могло стоять на нашей точке зрения, которое не видело коллектива в жизни и не вносило духа коллективизма в понимание мира?

Попробую объяснить на примерах.

«Фауст» — гениальное произведение тайного советника В. Гете, буржуазного аристократа. Казалось бы, что для пролетариата в нем нет ничего ценного, но вы знаете, что наши мыслители цитируют часто из «Фауста». В чем же внутренний смысл этого произведения, какова его «художественная идея», т. е., с нашей точки зрения, его организационные задачи? В нем отыскиваются пути для такого устройства, такой организации человеческой души, чтобы была достигнута полная гармония между всеми ее силами и способностями. Фауст — представитель человеческой души, вечно ищущей, вечно мятущейся, жаждущей гармонии. Переходя от одной страсти к другой, от одного увлечения к другому, Фауст всю жизнь ищет этой гармонии. Сопровождаемый темным призраком, Мефистофелем, духом разложения, скепсиса, разрушающей критики, на каждом шагу его пути вновь и вновь раскрывающим противоречия человеческого бытия, он находит наконец разрешение задачи. В чем он находит его? В труде на пользу обществу. Фауст занимается осушением и возделыванием бесплодной прибрежной полосы, отвоевывает у природы узкую полоску земли, чтобы на ней могла процветать людская жизнь. Именно тогда, только тогда ему хочется сказать: «мгновение, остановись». В блуждающей душе, конечно, еще не наше решение жизненной задачи: это — индивидуалистическое решение. Фауст выступает как герой, как благодетель человечества. Но все же это — первый шаг, и «Фауст» для нас драгоценен, так как он пролагает путь к нашему решению. А главное — мы узнаем, чего в том решении не хватает.

Более 2000 лет тому назад была создана статуя богини, собиравшая в храме массу народа, объединявшая ее в одном, пусть чуждом нам, настроении. Эта была Венера Урания — небесная Венера, представительница чистой любви, как ее понимали древние — гармонической любви духовной и телесной. Храм был центром общения, богиня — центром храма. Следовательно, она была центром организации коллектива. Она отразила чуждый нам мир в спокойной, величественной, далекой от усилии, напряжения и порыва, но в настоящей, божественной красоте.

Храм был разрушен, богиня была, вероятно, зарыта в землю. Прошли века, новый мир появился в Европе — мир зарождающегося капитализма. Боги умерли. Богиня перестала организовывать свой прежний коллектив, но люди почувствовали великую организующую силу статуи, они почувствовали прекрасное. И с того момента, как люди увидят ее, они всегда связаны чем-то общим. В Лувре одна наивная молодая девушка спросила меня: что прекрасного в этой статуе? Я ответил: «А посмотрите на ваших соседок-англичанок». Прекрасные мисс превратились в обезьянок перед красотой Венеры Милосской. Наука разгадала тайну «божественности» этой красоты. У статуи сверхчеловеческий (т. е. больше человеческого) лицевой угол, что выражает преобладание высших центров сознания над низшими. Таким образом, у обезьян лицевой угол меньше, чем у человека, у человека меньше, чем у Венеры Милосской. В этом основная «божественность» ее красоты. Такого

лицевого угла не было, наверное, ни у одного живого грека. Следовательно, тот коллектив творчески уловил линию развития, и таким путем создал свой идеал жизни. То был идеал жизни гармоничной, но в которой нет порыва, нет движения. Эта жизнь чужда усилий, это — паразитическая красота, это — прекрасный цветок, выросший на почве рабства. Но ведь и будущее общество будет построено на рабстве, только рабы будут мертвые — железо, машины. Значит, есть в статуе Венеры доля и близкой нам красоты. Все вы знаете рассказ об этом Глеба Успенского<sup>56</sup>. Он описывает, что сделала с ним Венера Милосская, как она очистила его душу от всего мелочного, как перед сияющей красотой ее отошло от него и исчезло все низменно-земное в возвышающем душу созерцании.

А народная поэзия?.. Возьмите былины об Илье Муромце. Это — воплощение в одном герое коллективной силы крестьянства феодальной Руси, истинного строителя и защитника нашей земли. Пусть это образ индивидуалистический — иначе крестьянство не умело и сейчас не умеет выражать свою душу: в одном лице оно выразило свою коллективную силу. Но если вы поняли скрытый коллективный смысл образа, разве вы не глубже чувствуете его величественную красоту, разве не веет над вами дух борьбы веков и не чувствуете вы, что недаром пропали труд и страдания темных строителей прошлого, проложивших через беспросветную мглу веков дорогу истории до того места, с которого уже видна цель и с которого мы начинаем свой путь? Разве сознание этого не организует вашу душу, не собирает ваши силы для дальнейшей работы и борьбы?

И вот хотя бы эти рисунки первобытного художника... Вы чувствуете их красоту, их могучую выразительность: они переносят вас в другой мир и дают такое знание этого мира, какого не даст никакое научное изложение. И вы чувствуете свое кровное родство с этими дикими косматыми людьми, которые еще не имели мировоззрения, даже хотя бы религиозного, и обладали лишь несколькими десятками зародышевых слов — трудовых криков, но которые так хорошо умеют говорить вам через десятки десятилетий.

Товарищи, надо понять: мы живем не только в коллективе настоящего, мы живем *в сотрудничестве поколений*. Это — не сотрудничество классов, оно ему противоположно. Все работники, все передовые борцы прошлого — наши товарищи, к каким бы классам они ни принадлежали<sup>57</sup>. Почему мы боремся с буржуазными классами настоящего? Потому что они мешают продолжать дело истории, которое мы приняли от революционной буржуазии прошлого. Они изменяют этим своим предкам: те шли вперед, геройски борясь со стихиями истории, а эти говорят: стой, не хотим идти дальше, лучше отступим. Мы же продолжаем наступление тех исчезнувших полков и говорим буржуазии: вы одеты в их форму, но вы не те борцы, вы передались врагу, силам темного царства истории, — и мы боремся против вас. А те — наши, хотя оружие у нас иное и идем мы другим строем, но дело наше — общее с ними, борьба с мертвым за живое.

Итак, товарищи, искусство прошлого нам нужно, но так, как и наука прошлого, в новом понимании, в критическом истолковании новой пролетарской мысли.

Это дело нашей критики. Она должна идти рядом с развитием самого пролетарского искусства, помогая ему советом и истолкованием и руководя им в использовании художественных сокровищ прошлого. Эти сокровища она должна передать пролетариату, объяснив ему все, что в них для него полезно и нужно и чего в них для него недостает.

Художественный талант индивидуален, но творчество социально: из коллектива исходит и к нему возвращается, для него жизненно служит. И организация нашего искусства должна быть построена на товарищеском сотрудничестве, так же как и организация нашей науки.

Тогда это искусство будет по духу верно своему идеалу и сделается настоящим могучим орудием борьбы за него; оно будет стройно объединять классовые силы в единстве живого сознания общей цели, живого чувства ее бесконечного величия.

История показывает, товарищи, что эпохи бурь и гроз благоприятны для развития искусства, давая ему богатое содержание и внушая жажду новых форм. Такую грозную эпоху мы теперь переживаем — эпоху, какой еще не видал мир. И она, несомненно, принесет

расцвет нашего нового искусства. Товарищи, мое изучение переживаемой действительности убеждает меня в том, что это еще не последние бури и грозы борьбы за новый мир. В этом я, наверное, разойдусь с большинством из вас. Но я убежден в одном, что это — последний урок истории, урок, из которого пролетариат выйдет зрелым для строго планомерной и уже вполне победоносной борьбы за социализм. Расцвет пролетарского искусства будет одним из лучших, прекраснейших выражений этой зрелости.

Оно украсит пролетарскую жизнь и борьбу, организуя душу пролетариата. Ибо красота, товарищи, это — организованность. И она же называется в науке истиной, в жизненной борьбе и труде — силою. Где есть она, там необходимо и неизбежно будет и победа. А тогда

Кровью вспоенная, станет земля плодороднее;  
Будет цветов полевых красота благороднее,  
Речи и ласки таить перестанут обман, —  
Жизни потоки сольются в один океан.

### **О художественном наследстве**

Две грандиозные задачи стоят перед рабочим классом в сфере искусства. Первая — самостоятельное творчество: сознать себя и мир в стройных живых образах, организовать свои духовные силы в художественной форме. Вторая — получение наследства: овладеть сокровищами искусства, которые созданы прошлым, сделать своим все великое и прекрасное в них, не подчиняясь отразившемуся в них духу буржуазного и феодального общества. Эта вторая задача не менее трудна, чем первая. Исследуем общие способы ее решения.

!

Верующий человек, серьезно и внимательно изучающий чужую религию, подвергается опасности совратиться в нее или усвоить из нее что-нибудь еретическое с точки зрения его собственной веры. Так, ученые христиане, исследователи буддизма, случалось не раз, делались сами буддистами вполне или последователями нравственного учения буддизма; но бывало и обратное. А допустим, те же религиозные системы изучает свободный мыслитель, который во всех религиях видит проявление поэтического творчества народов; это — не полная истина, но часть ее. Угрожает ли ему такая опасность как верующему ученому? Конечно нет. Он может с величайшим восторгом воспринимать красоты и глубины учений, покоровших себе сотни миллионов людей; но он воспринимает их не с религиозной, а с иной, высшей точки зрения. Огромное богатство мысли и чувства, организованное в буддизме, даст его сердцу и уму, наверное, больше, чем уму и сердцу ученого христианина, который, изучая, не может отделаться от скрытого сопротивления собственной веры, борющейся против «соблазна» чужой; но именно соблазна стать верующим буддистом для свободного мыслителя тут не существует, потому что не таков механизм его сознания, по своему перерабатывающий религиозный материал.

И христианин, и свободный мыслитель воспринимают буддизм «критически». Коренная же разница заключается в самом типе их критики, в ее основах — «критериях». Верующий не стоит выше предмета своего изучения, а приблизительно на одном уровне с ним. Он критикует с точки зрения своей догмы и своего чувства, ищет противоречий в чужих мифах, культе, моральных откровениях и, находя эти противоречия, неспособен оценить часто скрытую за ними поэтическую или жизненную правду; а если проникнет в нее, то поплатится противоречием с самим собой — «впадет в соблазн». Для него буддизм не может явиться культурным наследством чуждого мира; а если он сочувственно воспримет эту веру, она подчинит его и заставит отказаться от прежней.

Немногим лучше обстоит дело для свирепого атеиста, представителя прогрессивного,

но не вполне развившегося буржуазного сознания, который во всякой религии видит только суеверие и обман. Это — «верующий навыворот»; он лишь настолько выше религии, чтобы отвергнуть ее, но не настолько, чтобы понять ее. Для него она тоже — не наследство, а в худшем случае и соблазн — если он почувствует, что она не только обман и суеверие, но не поймет, что же именно.

В ином положении наш свободный мыслитель, представитель высшей ступени, какой способно достигнуть буржуазное сознание. Его понимание религиозного творчества как народнопоэтического позволяет ему, в пределах этой точки зрения, вполне свободно и беспристрастно оценивать свой предмет. Для него не будет тяжелым внутренним противоречием увидеть, что, напр., по глубине идей законы Ману древних арийцев стоят во многом выше и древнего и новейшего христианства, а их отношение к смерти, выраженное в погребальных обрядах, по благородству, величию и красоте превосходит христианское вне сравнений. Он, свободный от религиозного сознания вообще и ведущий борьбу против него всюду, где оно затемняет мысль и извращает волю людей, он в то же время в силах сделать для себя и для других все религии ценным культурным наследством.

Отношение пролетария ко всей культуре прошлого, культуре мира буржуазного и мира феодального, проходит подобные же ступени. Вначале она для него — просто культура, культура вообще; иной по существу он себе и не представляет. В ее науке и философии могут быть заблуждения, в ее искусстве — неверные мотивы, в ее морали и праве — несправедливости; но все это для него не связано с ее существом, это ее ошибки, уклонения, несовершенства, который прогресс ее должен исправить. Если затем он и замечает в ней «буржуазность» и «аристократизм», то он понимает то и другое лишь в смысле защиты интересов господствующих классов, защиты, фальсифицирующей культуру; самые методы и точка зрения этой культуры — ее сущность — не подвергаются для него сомнению. Он всецело стоит на ее почве и, стараясь усвоить «то, что в ней есть хорошего», не защищен против нее даже настолько, насколько защищен от соблазнов христианства буддист или брахманист, его изучающий, и обратно. Он и пропитывается старыми способами мыслить и чувствовать, всем основанным на них отношением к миру. Своя, пролетарски-классовая точка зрения удерживается у него лишь там и постольку, где и поскольку достаточно ясно и достаточно властно говорит голос классового интереса. Когда нет такой ясности и убедительности, а жизненный вопрос труден и сложен, особенно если он еще нов, тогда он решается не самостоятельно: либо просто берется готовое чужое решение из окружающей социальной среды, либо даже классовый пролетарский интерес освещается и понимается с чужой точки зрения. То и другое ярко обнаружилось в отношении рабочей интеллигенции европейских стран к мировой войне, когда она разразилась: одни, почти не рассуждая, отдались волне патриотизма<sup>59</sup>, другие сумели «сознать», что высшие интересы рабочего класса требуют единения с буржуазией для защиты и спасения отечества и отечественного производства; ибо «крушение того и другого отбросило бы рабочий класс и всю цивилизацию далеко назад».

На этом грандиозно жестоком опыте вполне выясняется, что при невыработанности своего мироотношения, своих способов мышления, своей всеобъемлющей точки зрения не пролетарий овладевает культурой прошлого как своим наследством, а она овладевает им как человеческим материалом для своих задач.

Если пролетарий, убедившись в этом, придет к голому, анархическому отрицанию старой культуры, т. е. откажется от наследства, то он занимает позицию наивного атеиста по отношению к религиозному наследству, но опять-таки в еще ухудшенном смысле; ибо обойтись без понимания религий буржуазному атеисту все же практически возможно, у него уже есть иные культурные опоры, пострадает только широта его мысли и размах творчества. Рабочий же тогда оказывается не в силах противопоставить богатой, выработанной культуре враждебного стана ничего сколько-нибудь равносильного; ибо создать всецело заново нечто подобное по масштабу он не может. Она остается превосходным орудием и оружием в руках его врагов — против него.

Вывод ясен. Рабочему классу необходимо найти, выработать и провести до конца точку зрения, высшую по отношению ко всей культуре прошлого, как точка зрения свободного мыслителя по отношению к миру религий. Тогда станет возможно овладеть этой культурой, не подчиняясь ей, — сделать ее орудием строительства новой жизни и оружием борьбы против самого же старого общества.

## II

Начало такому овладению духовными силами старого мира положил Карл Маркс. Переворот, произведенный им в области общественных наук и социальной философии, заключался в том, что он пересмотрел их основные методы и добытые результаты с новой, высшей точки зрения, которая и была пролетарски-классовой. Девять десятых, если не больше, не только материалов для своего титанического здания, но и приемов их разработки Маркс взял из буржуазных источников: буржуазная классическая экономия, отчеты английской фабричной инспекции, мелкобуржуазная критика капитала у Сисмонди и Прудона, да, в сущности, и почти весь интеллигентский социализм утопистов, диалектика немецкого идеализма, материализм французских просветителей и Фейербаха, социально-классовые построения французских историков и гениальные описания классовой психологии у Бальзака и т. д. и т. д. Все это выступило в ином виде и сложилось в новую связь, преобразилось в орудие строительства пролетарской организации, в оружие борьбы против господства капитала.

Как могло произойти такое чудо?

Маркс установил, что общество прежде всего есть организация производства, что в этом основа всех законов его жизни, всего развития его форм. Это — точка зрения социально-производящего класса, точка зрения трудового коллектива. Исходя из нее, Маркс подверг критике науку прошлого и, очистив ее материал, переплавив его в огне своей идеи, создал из него пролетарское знание — научный социализм.

Итак, вот способ, которым результаты культурного творчества прошлого были превращены в действительное наследство рабочего класса: критическая переработка с коллективно-трудоуемой точки зрения. Так понимал дело и сам Маркс; недаром свою главную работу, «Капитал», он назвал «Критикой политической экономии».

И это относится отнюдь не только к общественным наукам. Во всех других областях точно так же методом получения и усвоения культурного наследства является наша критика, пролетарски-классовая.

## III

Раскроем полнее основу нашей критики — смысл и сущность коллективно-трудоуемой точки зрения.

Общественный процесс разлагается на три момента или, пожалуй, точнее, имеет три стороны: техническую, экономическую, идеологическую. В технической общество борется с природой и подчиняет ее, т. е. организует внешний мир в интересах своей жизни и развития. В экономической — отношениях сотрудничества и распределения между людьми — оно само организуется для этой борьбы с природой. В идеологической оно организует свой опыт, свои переживания, создавая из этого организационные орудия для всей своей жизни и развития. Следовательно, всякая задача в технике, в экономике, в сфере духовной культуры есть задача организационная, и притом социальная<sup>60</sup>.

Исключений тут нет и быть не может. Пусть армия ставит своей целью разрушение, истребление, дезорганизацию. Но тогда это не есть конечная цель, а средство; для чего? для того, чтобы реорганизовать мир в интересах коллектива, которому армия принадлежит. Пусть индивидуалист-художник воображает, что он творит для себя и из себя; но если бы он творил действительно только для себя, а не организовал переживания некоторого

коллектива, то его творчество никому, кроме него, и не было бы нужно, оно так же не относилось бы к духовной культуре, как не относятся к ней ускользающие, непередаваемые, хотя бы и красивые грезы сновидений; и если бы он творил только из себя, не пользуясь материалом, способами его обработки, воплощения и выражения, полученными из социальной среды, то он ровно ничего и не создал бы.

Итак, коллективно-трудова́я точка зрения есть все-организационная. Иной и не может быть точка зрения рабочего класса, который организует внешнюю материю в продукт — в своем труде, себя самого в творческий и боевой коллектив — в своем сотрудничестве и классовой борьбе, свой опыт в классовое сознание — во всем своем быту и творчестве и которому история поручает миссию — стройно и целостно организовать всю жизнь всего человечества.

#### IV

Вернемся к нашей первой иллюстрации. Может ли, должен ли весь мир религиозного творчества стать культурным наследием для рабочего класса, против которого всякая религия до сих пор явно служит орудием порабощения? Какая ему польза в таком наследстве, что ему с ним делать?

Наша критика дает ясный и исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Религия есть решение идеологической задачи для определенного типа коллектива, именно — авторитарного. Это — коллектив, построенный на авторитарном сотрудничестве, на руководящей роли одних, исполнительской роли других, на власти-подчинении. Такова была патриархальная родовая община, таково феодальное общество, такова крепостная и рабовладельческая организация, полицейско-бюрократическое государство; такой же характер имеет современная армия, а в малом масштабе — и мещанская семья; и наконец, на власти-подчинении строит и капитал свои предприятия.

В чем заключается организационная задача идеологии? Стройно и целостно организовать опыт коллектива, в таком соответствии с его устройством, чтобы полученные культурные продукты сами служили, в свою очередь, организационными орудиями для него, т. е. сохраняли, оформляли, закрепляли, развивали дальше данный тип организации коллектива. И легко понять, как все это складывается в авторитарном строе жизни.

Этот строй просто переносится в область опыта и мысли. Всякое действие, стихийное или человеческое, всякое явление представляется как сочетание двух звеньев: организаторской, активной воли и пассивного исполнения. Весь мир мыслится по образу и подобию авторитарного общества с верховным авторитетом, «божеством» над ним, и при усложнении авторитарной связи, с целью подчиненных ему авторитетов, одних за другими, низших богов, «полубогов», «святых» и т. д., руководящих разными областями или сторонами жизни. И все эти представления пропитываются авторитарными чувствами, настроениями: преклонением, покорностью, почтительным страхом. Таково религиозное мироотношение: это просто авторитарная идеология.

Вполне понятно, какое это совершенное организационное орудие для авторитарного строя жизни. Религия прямо вводит человека в этот строй, ставит на определенное место в его системе и дисциплинирует его для выполнения той роли, какая ему в этой системе преуказана. В единстве чувства, мысли и практики личность органически сливается со своим социальным целым. Оно приобретает неразрушимо прочную спайку.

Форма религиозного творчества по преимуществу поэтическая, как это правильно заметил наш свободный мыслитель, не уловивший, однако, главного — социального содержания религии. На тех ступенях развития, когда религии складываются, поэзия еще не обособилась от практического и теоретического знания, еще охватывает их своей оболочкой. А религия тогда заключает в себе все и всякое знание, организует весь опыт людей: познание вообще понимается тогда как откровение, прямо или через посредников исходящее от божества.



Каким же, в конце концов, наследством является религиозная культура для рабочего класса? Очень важным и ценным. Пройдя через его критику, она становится для него орудием не поддержания, а *понимания* всего авторитарного в жизни. Авторитарный мир отжил, но не умер; его пережитки окружают нас со всех сторон то открыто, а то — все чаще и чаще — скрываясь во всевозможных, иногда самых неожиданных защитных переодеваниях. Чтобы победить такого врага, надо его знать глубоко и серьезно.

Дело не только в том, чтобы опровергать религиозные учения; хотя и в этом располагающий новой критикой рабочий окажется вооружен неизмеримо лучше свирепого, но наивного атеиста, который опровергает чужую веру логическими выкладками или детскими утверждениями, что религию выдумали попы для обирания народа. Еще важнее то, что обладание этим наследством дает возможность правильно оценить значение авторитарных элементов нынешнего общества, их взаимную связь и отношение к социальному развитию.

Если религия есть орудие сохранения авторитарной организации, то ясно, что, например, в отношениях классов религиозность рабочих есть средство закрепления их подчиненности, средство поддержания в них той стороны дисциплины, которая нужна господствующим для обеспеченной эксплуатации, — что бы ни говорили об этом разные верующие социалисты. Ясно, что принятая во многих рабочих партиях формула — «религия есть частное дело» — не более как временный политический компромисс, на котором нельзя остановиться. Понятным становится постоянный союз сабли и рясы, военщины и церкви: тут и там строго авторитарные организации. Объясняется и привязанность мещанской или крестьянской патриархальной семьи к религии, к «закону божию», а вместе с тем обнаруживается и огромная опасность этой сохраняющейся авторитарной ячейки для социального прогресса. В новом свете выступает роль партийных вождей — авторитетов — и *значение коллективного контроля над ними* и т. д. и т. д.

А затем еще — все художественное богатство народного опыта, кристаллизованного во всевозможных священных преданиях и писаниях, — картины чуждой, своеобразной, по-своему стройной жизни, расширяющие горизонт человека, глубоко вводящие в мировое движение человечества, толкающие к новому, самостоятельному, не связанному привычной обстановкой и привычками мысли творчеству...

Стоит ли рабочему классу брать религиозное наследство?

## V

Я нарочно начал с более спорного и трудного. Так легче справиться с нашей главной задачей — вопросом о художественном наследии прошлого. Ясно, что орудие, посредством которого рабочий класс может и должен овладеть им, есть та же наша критика с ее новой, все-организационной, коллективно-трудовой точкой зрения.

Как подходит она здесь к своему предмету?

Душой художественного произведения является то, что называют его «художественной идеей». Это — его замысел и сущность его выполнения или задача и принцип ее решения. Какого же рода эта задача? Теперь мы знаем: как бы ни смотрел на нее сам художник, но в действительности она есть всегда задача организационная. И притом в двух смыслах: во1х, дело идет о том, чтобы стройно и целостно организовать некоторую сумму элементов жизни, опыта; во2х, о том, чтобы созданное таким образом целое само служило орудием организации для некоторого коллектива. Если налицо нет первого, то перед нами не искусство, а нескладница; если нет второго, то произведение никому, кроме автора, не интересно и ни для чего не нужно.

Иллюстрацией мы возьмем одно из величайших произведений мировой литературы, прекраснейший бриллиант старого культурного наследия — «Гамлет» Шекспира.

В чем состоит его художественная идея? Это — постановка и решение организационной задачи о человеческой душе, которая раздваивается тяжелым жизненным

противоречием между стремлением к счастью, любви, к гармонической жизни и между необходимостью вести мучительную, суровую, беспощадную борьбу. Как выйти из этого противоречия, как примирить его? Каким способом достигнуть того, чтобы жажда гармонии не расслабляла человека в неизбежных боях жизни, не отнимала нужных для этого сил, твердости, хладнокровия и чтобы в то же время вынужденная жестокость ударов, кровь и грязь наносимых ран не разрушали всю радость, всю красоту бытия? Как восстановить связь и цельность души, разрываемой надвое резким столкновением между ее глубочайшей, высшей потребностью и властным требованием, которое диктуется враждебностью окружающей среды?

И мы сразу видим, как грандиозно широк масштаб этой организационной задачи, как огромно ее общечеловеческое значение. Она относится, конечно, вовсе не только к датскому принцу Гамлету и не к многочисленным «гамлетам» и «гамлетикам» нашей обывательщины и нашей литературы. Эта задача — неизбежный момент в развитии каждого человека; у кого есть силы решить ее, того она поднимает на более высокую ступень самосознания; у кого их не хватает, для того она становится источником духовного крушения, иногда и гибели. Быть может, всего острее этот трагизм проникает в душу идеалиста-пролетария, и даже более — в коллективную психику рабочего класса. Братство — его идеал; гармония жизни всего человечества — его высшая цель; но как далека от этого окружающая среда, какую тяжелую, иногда мрачно-жестокую борьбу она ему навязывает под угрозой потери всего, достигнутого прежними несчетными усилиями, потери его социального достоинства и самого смысла жизни. Мало радостей дано ему, и велика жажда их; но и то небольшое, что есть, постоянно угрожает отнять или отравить неотвратимая стихийность социальной вражды и анархии; в ожесточении борьбы, в отчаянии поражений и бешенстве ответных ударов не подрывается ли в корне самая способность любить и радоваться?

Трагедия Гамлета разворачивается на такой основе. Он — человек богато одаренный, с тонкой артистической натурой и в то же время избалованный жизнью. Воспитание принца — наследника трона, несколько лет студенческих странствований по Германии, наслаждений всем, что дают занятия науками и искусством, с одной стороны, жизнерадостная товарищеская среда — с другой; наконец, к моменту завязки, светлая, поэтичная любовь к Офелии... Редко кому на свете достается существование, настолько полное счастья и гармонии. Гамлет к нему привык, иного не испытал и представить себе не может. Но приходит время — ужас и гнусность жизни подкрадываются к нему — сначала глухое предчувствие, потом мучительная очевидность.

Разрушена его семья, потрясен в основах законный порядок его отечества. Предатель-братоубийца завладел тронem его отца, соблазнил его мать; лицемерие, интриги, разврат царят при дворе; упадок старых добрых нравов расплзается по стране, зарождавая смуту. Необходимо восстановить право, пресечь преступления, отомстить за смерть отца и позор семьи. Таков для Гамлета непреложный долг, определяемый всем строем его феодального сознания.

Есть ли у него силы для этого? Да, в его богатой натуре они имеются; он ведь не только артист и любимец судьбы, не только «пассивный эстет», которому, как воздух, нужна для жизни гармоничная обстановка. Он, кроме того, сын короля-воина и потомок грозных викингов, получивших превосходное военное воспитание. Боец в нем есть, но не развернувшийся, не испытавший себя до тех пор и еще хуже — связанный в одном лице с пассивным эстетом.

Вот и сущность трагедии. Борьба требует от Гамлета хитрости, обмана, насилия, жестокости; они сами по себе противны его мягкой и нежной душе, а между тем их приходится еще направлять против самых близких, самых дорогих ему людей: в стане врагов оказывается горячо любимая им мать, и он видит, как орудием интриги против него делается Офелия. Враги выдвигают их вперед, как опытные стратеги, умело пользуются слабыми местами его души. Занесенная для удара рука останавливается, внутренняя борьба парализует волю, минутная решимость сменяется колебанием и бездействием, время уходит

в бесплодных спорах с самим собой — получается глубокое раздвоение личности, и временно даже настоящее крушение: все смешивается в хаосе безысходных противоречий, Гамлет «сходит с ума».

Обыкновенный человек так бы и погиб, не успев ничего сделать. Но Гамлет — фигура необычная, героическая. Через муки отчаяния, через тяжелую болезнь души он все-таки шаг за шагом идет к действительному решению. Элементы распадающихся двух личностей в одной — эстета и воина — проникают друг друга и сливаются в новом единстве: активный эстет, боец за гармонию жизни. Исчезает коренное противоречие: жажда гармонии выливается в боевое усилие, кровь и грязь борьбы непосредственно искупаются сознаваемым очищением жизни и поднятием ее на высшую ступень. Организационная задача решена, художественная идея оформилась.

Гамлет, правда, погибает; и в этом великий поэт объективно-правдив, как всегда. У врагов Гамлета было преимущество; пока он собирал силы своей души, они действовали и подготавливали все для его гибели. Но он умирает победителем: преступление наказано, законный порядок восстановлен, судьбы Дании передаются в надежные руки: молодому герою Фортинбрасу, человеку менее крупному, чем Гамлет, но вполне цельному и насквозь проникнутому принципами того феодального мира, идеалы которого одушевляли и Гамлета.

Тут выступает другой момент нашей критики. Организационная задача поставлена и решена; но какой коллектив дал автору жизненный материал для ее воплощения? Конечно, не пролетарский, которого тогда и не было. Автор «Гамлета», кто бы им в действительности ни оказался, — как известно, это вопрос спорный<sup>1</sup>, — либо сам был аристократом, либо принадлежал к горячим приверженцам аристократии: из этого мира черпает он большую часть содержания драм, феодально-монархический идеал налагает на них свою печать. Там основы общественного строя — власть и подчинение, вера в управляющую миром волю божества, в святость и непреложность издревле установленного порядка, признание одних людей существами высшими, по самому рождению предназначенными руководить, управлять, других — низшими, подлежащими руководству, неспособными к иной роли, кроме подчинения. Не уничтожает ли все это ценность произведения для рабочего класса?

Отвечу вопросом: надо ли рабочему классу знать иные организационные типы, кроме своего собственного? Может ли он даже вообще выработать и оформить этот собственный тип иначе, как путем сравнения и сопоставления с другими, их критики, их переработки, использования их элементов? И кто лучше великого мастера-художника мог бы ввести его в самую глубину чуждой организации жизни и мысли? Дело нашей критики — показать ее историческое значение, связь с низшим уровнем развития, противоречия с жизненными условиями и задачами пролетариата. Раз это сделано, нет опасности поддаться влиянию чуждого типа организации; знание о нем превращается в одно из драгоценных орудий для созидания своего.

И здесь объективность великого художника дает лучшую опору критике. Сами собой обрисовываются у него и весь консерватизм авторитарного мира, и его коренная ограниченность, и слабость в нем человеческого сознания. Стоит вспомнить первое появление в «Гамлете» героя Фортинбраса — толчок к повороту в душе самого Гамлета на путь решения его задачи. Фортинбрас с гордым убеждением в своей правоте, без всяких сомнений и колебаний, ведет армию завоевывать какой-то клочок земли, не стоящий, может быть, крови последнего из солдат, который в этой войне погибнет...

Наконец, громадное значение имеет тот факт, что организационная задача в произведении ставится и решается на основе жизни чуждого общества, а решение все-таки, в своем общем виде, сохраняет силу и для нынешней жизни, и для пролетариата как класса — всюду, где жажда гармонии встречается с суровостью требований борьбы. Тут искусство учит рабочий класс всеобъемлющей постановке и всеобобщающему решению организационных задач, — что ему необходимо для осуществления мирового организационного идеала.

## VI

Бельгийский художник Константин Менье<sup>62</sup> в своих скульптурах изображал жизнь и быт рабочих. Его статуя «Философ» дает образ рабочего-мыслителя, углубленного в решение какого-то важного философского вопроса. Нагая фигура производит цельное и сильное впечатление напряженной мысли, сосредоточенной на одном, преодолевающей великое невидимое сопротивление.

В чем заключается художественная идея статуи? Организационная задача такова: как совместить, связать воедино тяжелый физический труд с работой мысли, с идейным творчеством? Решение задачи... Кто взглянет в фигуру «философа», которая вся проникнута сдержанным усилием, в которой каждый видимый мускул охвачен напряжением, остановленным и не переходящим во внешнее действие, как бы уходящим вглубь, для того с огромной наглядностью и полной, непосредственной убедительностью выступает это решение: «мысль сама есть физическое усилие; ее природа одинакова с природой труда, противоречия между ними нет, их разделение искусственное и преходящее». Выводы точной науки, физиологической психологии, вполне подтверждают эту идею; но гораздо ближе и понятнее она в художественном воплощении. А ее громадное значение для пролетариата не нуждается в доказательствах.

Но наша критика должна поставить вопрос: на точке зрения какого класса или социальной группы художник стоит в своем творчестве? И окажется: хотя он изображает рабочих, но не как идеолог рабочего класса; точка зрения трудовая, но не коллективно-трудовая. Рабочий-мыслитель взят индивидуально; не чувствуются или только очень смутно, почти неуловимо намечаются те связи, которые сливают усилие его мысли с физическими и духовными усилиями миллионов, которые делают ее звеном в мировой цепи труда. Художник — интеллигент по социальному положению; он привык сам работать индивидуально, не замечая, насколько его труд и по происхождению, и по методу, и по задачам исходит из всего коллективного труда человечества. В этом точка зрения трудовой интеллигенции мало отличается от буржуазной — так же индивидуалистична. И здесь наша критика должна дополнить то, чего не мог дать художник.

## VII

Так определяются сами собой задачи пролетарской критики по отношению к искусству прошлого. Выполняя их, она даст рабочему классу возможность прочно овладеть и самостоятельно пользоваться организационным опытом тысячелетий, кристаллизованным в художественных формах.

Обычное понимание роли и смысла пролетарской критики не таково. Оно чаще всего сбивается на позицию «гражданского искусства», на вопрос об его агитационно-пропагандистском значении для защиты классовых интересов. Несколько лет тому назад рабочий Ив. Кубиков<sup>63</sup>, призывая пролетариев изучать лучшие произведения литературы старого мира, рассматривал ее воспитательное влияние следующим образом. Без сомнения, в ней есть «не только чистое золото, но и элементы вредной для пролетариата лигатуры», а именно «консервативно-умеряющие силы». Однако это не страшно, потому что у рабочего есть классовое чутье, позволяющее ему успешно отделять золото от лигатуры: «Если мы внимательно присмотримся к тем впечатлениям, которые получаются от искусства, то увидим, что действует золото, а лигатура проходит мимо сознания рабочего... Мне лично, путем наблюдений, приходилось поражаться, как оппозиционно настроенный рабочий иногда из самого невинного произведения ухитряется делать революционные выводы» (Наша Заря. 1914. № 3. С. 48–49). Это точка зрения наивная, в самой основе ошибочная.

Мало хорошего в таком чутье, которое из действительно невинного произведения «ухитряется» делать революционные выводы. Искажение есть искажение. О чем оно свидетельствует? О большой силе непосредственного чувства и о недостатке объективности,

о том, что мысль ниже этого чувства и подчиняется ему. Разве таково должно быть сознание класса, которому предстоит решить мировую организационную задачу?

Примером соотношения «золота и лигатуры» Кубиков берет шиллеровского «Дон-Карлоса», причем полагает: обличение тирании, пламенные речи маркиза Позы это — золото; а вот то, что он мечтает об абсолютной же монархии, только просвещенной и гуманной, это — лигатура. Неверно. На «пламенных словах», при смутности и слабости мысли, читатель может прекрасно воспитываться в направлении революционной фразы. Наоборот, живое, художественно-глубокое выражение идеала просвещенного абсолютизма вовсе не «лигатура» для читателя исторически сознательного, стоящего на точке зрения пролетарской критики. Идеал — умственная модель организации; знать и понимать такие модели, вырабатывавшиеся прошлым, необходимо для класса — организатора будущего. В борьбе героев-личностей, выведенных художником, надо уловить борьбу социальных сил, определявших сознание, и волю людей той эпохи, необходимость тех или иных идеалов, вытекавшую из природы этих сил. Художественное проникновение в душу исчезнувших или уходящих из истории классов, как и классов, занимающих ее арену, есть один из лучших способов овладеть накопленным культурно-организационным опытом — драгоценнейшим наследством для класса-строителя.

А поскольку искусство прошлого способно воспитывать чувство и настроение пролетариата, оно должно служить средством их углубления и просветления и расширения их поля на всю жизнь человечества, на весь его трудовой путь, но не средством возбуждения, не агитационным орудием.

\* \* \*

Критик, который сумеет передать пролетариату великое произведение старой культуры, напр., в театре после представления гениальной пьесы истолковать зрителям ее смысл и ценность с организационной коллективно-трудовой точки зрения, или дать для них такое истолкование в короткой и доступной объяснительной программке, или, напр., осветить в статье рабочей газеты, рабочего журнала поэму, роман великого мастера, — этот критик делает дело серьезное и нужное для рабочего класса.

### **Критика пролетарского искусства**

Всякое творчество, творчество природы или человека, стихийное или планомерное, приводит к организованным, стройным, жизнеспособным формам только через регулирование. Это две неразрывно связанные, взаимно необходимые стороны какого бы то ни было организационного процесса. Так, в стихийном развитии жизни творчеством является «изменчивость»; она создает новые и новые сочетания элементов — новые и новые отклонения от прежних форм; их регулированием служит «естественный подбор»: он из числа их устраняет все неприспособленные к среде, сохраняет и закрепляет приспособленные. В производстве творческий момент представляет трудовое усилие, изменяющее связи вещей; регулятор — планомерный контроль сознания, которое постоянно следит за результатами усилия, останавливает его, когда непосредственная его цель достигнута, изменяет его направление, когда оно отклоняется от этой цели, и т. д.

В работе художника те же соотношения: создаются новые и новые комбинации живых образов и тут же регулируются сознательным, планомерным отбором, механизмом «самокритики», отмечающим все нестройное, не соответствующее задаче, закрепляющим все, что идет в ее направлении. Когда и поскольку самокритика недостаточна, в результате получаются противоречия, несвязность, нагромождение образов, нехудожественность.

Развитие искусства в общественном масштабе стихийно регулируется всей социальной средой, которая принимает или отбрасывает вступающие в нее произведения, поддерживает или глушит новые течения в искусстве. Но есть и регулирование планомерное: оно

выполняется критикою. Ее действительной основой, конечно, является также социальная среда: работа критики ведется с точки зрения какого-нибудь коллектива, в обществе классовом — с точки зрения того или иного класса.

Теперь мы и рассмотрим, какими путями, в каких направлениях критика пролетарская может и должна регулировать развитие пролетарского искусства.

## I

Первая задача нашей критики по отношению к пролетарскому искусству — это установить его границы, ясно определить его рамки, чтобы оно не расплывалось в окружающей культурной среде, не смешивалось с искусством старого мира. Задача не такая простая, как может казаться с первого взгляда; тут до сих пор постоянно наблюдаются ошибки и смешения.

Во-первых, пролетарское искусство обычно не отличают от крестьянского. Без сомнения, рабочий класс, особенно наш, русский, вышел из крестьянства, и точек соприкосновения немало: крестьяне, в своей массе, тоже трудовой и тоже эксплуатируемый элемент общества; недаром у нас мог создаться довольно длительный политический союз тех и других. Но в сотрудничестве и в идеологии, в основных способах действовать и мыслить различия имеются глубокие, принципиальные. Душа пролетариата, его организационное начало — это коллективизм, товарищеское сотрудничество; постольку он и становится самим собою, как социальный класс, поскольку это начало развивается в его жизни, проникает и пропитывает ее. Крестьяне, мелкие хозяева в своей массе тяготеют к индивидуализму, к духу личного интереса и частной собственности; это — «мелкая буржуазия», название шаблонное и неточное, потому что «буржуа» означает собственно горожанина, но верно выражающее основной характер жизненных стремлений крестьянства. Кроме того, патриархальный строй семейного хозяйства поддерживает в крестьянах дух авторитарности и религиозности; тому же способствует и вообще неизбежная узость кругозора, свойственная деревне, и зависимость отсталого земледелия от таинственных для крестьянина стихийных сил, посылающих урожай или неурожай.

Посмотрите на крестьянскую поэзию, — уже не говорю про дореволюционную, — а на самую современную, левозсеровскую<sup>65</sup>, хотя бы «Красный Звон», сборник талантливых поэтов Клюева, Есенина и других. Тут всюду фетишизм «землицы», основы *своего* хозяйства: тут и весь Олимп крестьянских богов — и Троица, и Богородица, и Егорий Храбрый, и Никола Милостивый; а затем — постоянное тяготение к прошлому, возвеличение таких вождей неорганизованной, стихийной силы народа, как Стенька Разин... Все это как нельзя более чуждо сознанию социалистического пролетариата.

Между тем такие произведения печатаются в рабочих газетах и сборниках, как пролетарские, и разбираются критикой под этим же обозначением. Правда, немало поэтов-рабочих начинало с крестьянской поэзии — потому ли, что вышли недавно из деревни и сохранили связь с нею, или просто в силу подражания. Интересны в этом смысле первые сборники рабочих-поэтов, вышедшие в Москве пять лет тому назад и уничтоженные цензурой, — «Наши песни», выпуск I и II. Там немалая доля стихотворений, в сущности, чисто крестьянских; еще больше — переходного типа. Стоит сопоставить дватри стихотворения одного автора в их меняющихся оттенках. Вот В. Торский<sup>66</sup>, совсем начинающий поэт.

### Село

Вот в родимом краю на холме я стою  
И родное село подо мною легло.  
Дорогих мужиков избы вставшие в ряд  
Из зеленых кустов на дорогу глядят

И на фоне небес крест церковный горит,  
И березовый лес возле церкви шумит.  
Полевые цветки запестрели вокруг,  
Синей лентой реки подпоясанный луг...  
Облаков хоровод затянул небосвод,  
И одел их закат в переливный наряд.

Конечно, это и подражательно, и слабо; но, главное, тут нет ни одного штриха, который хотя бы мог быть намеком на поэта-пролетария; между тем автор из этой среды, а не хозяйственный мужичок, как можно подумать по стихотворению.

Его же —

#### Утро

Рассветает. Позолотой  
Покрывается восток.  
Сонным рощам шепчет что-то  
Прилетевший ветерок.  
И в своем плаще зеленом,  
Чуя утреннюю дрожь,  
Вместе с ясным небосклоном  
Оживает молодежь.  
Только старый бор сосновый  
Недоверчиво вздохнул,  
И опять к реке багровой  
Кудри хмурые нагнул.

Тоже несамостоятельно. Но есть уже намек на новое восприятие мира, лес для автора — коллектив с разными течениями в нем, разно реагирующими на события природы, а не отдельная героическая личность, как у Кольцова.

#### Осень

Уж шумят вершины сосен:  
«Осень близко».  
И березы загрустили,  
Опустили ветки низко,  
И с тревогой затаенной,  
Шевеля ветвями сонно,  
Как в былые дни не спорят,  
Уж не спорят, только вторят  
Без надежды, без укора:  
«Так скоро».  
Перед ними, как виденья,  
Тихо гаснут в отдаленьи  
Пережитые мгновенья  
Ярко-красочной весны:  
Солнца ласки, ветра сказки,  
Ароматные уборы  
Из цветов и трав душистых,  
Голосистых птичек хоры,  
Опьяняющие сны.

И роняют с веток слезы  
Белоствольные березы  
С затаенной в сердце грезой,  
Не целуясь меж собою,  
Не целуясь, не любуясь  
Позолоченной листвою,  
Умирающей мечтою  
Улетают в золотое  
Промелькнувшее былое.

Настроение эпохи реакции; но природа воспринимается глазами коллективиста; его символы — общие переживания леса, а не индивидуальные переживания какой-нибудь березки или сосенки, как в обычной лирике. Правдивые символы говорят об ослаблении связей коллектива в подавляющей его обстановке, о том, как его живые звенья, отдаваясь мечтам-воспоминаниям, уходя в себя, отдаляются друг от друга: вещи, которые не занимают поэта-индивидуалиста, не входят в поле его зрения. Конечно, и коллективизм в способе воспринимать и понимать природу, такой, как здесь, у Торского, есть только одна часть, одна сторона полного, настоящего активно-трудового коллективизма.

Другой источник смещения — это солдатские влияния, которым за время войны и революции подвергался пролетариат. По основному составу солдаты — те же крестьяне, но оторванные от производства, живущие массами в условиях потребительного коммунизма и обучаемые делу разрушения или уже его выполняющие. Борьба за мир, вражда к богатым, гораздо менее сознательная и менее бескорыстная, чем у рабочих, временно связывали солдат в политический блок с пролетариями и вызвали тесное общение тех и других, хотя, как общественные типы, они друг другу мало родственны. Боевое товарищество привело к тому, что солдатская струя влилась в рабочие газеты и даже окрасила сознание менее устойчивых пролетарских поэтов. Отсюда часто в воинственно-революционные мотивы проникала специфически солдатская окраска, и тем нарушался благородный тон, обязательный для высшего по своим идеалам класса; и внесение в поэзию понятного в жизни, но недопустимого в искусстве духа узкой, лично направленной ненависти к отдельным представителям буржуазии, чувства, извращающего идею борьбы великого класса; и прямые эксцессы, в роде злорадного издевательства над побежденными врагами, восхваления самосудов, вплоть до садистических восторгов на тему о выдавливаньи кишок из буржуев, — было, к сожалению, даже это. Разумеется, такие вещи не имеют ничего общего с идеологией рабочего класса. Ей свойственны боевые, но не грубо-солдатские мотивы, непреклонная вражда к капиталу как социальной силе, но не мелкая злоба против отдельных его представителей — необходимых продуктов своей общественной среды. Пролетариат должен, конечно, браться за оружие, когда этого требуют интересы его свободы, его развития, его идеала; но недаром он борется против той социальной стихийности, которая порождает всякую вооруженную борьбу. То зверское, что вызывает эта борьба в человеческой душе, может, конечно, временно овладевать психикой борцов, но чуждо и враждебно пролетарской культуре, которая допускает только вынужденную суровость<sup>67</sup>. Дух истинной силы есть благородство, а трудовой коллектив есть истинная сила. Он должен стать новой аристократией культуры — последней в истории человечества, первой вполне достойной этого имени.

Еще одну пограничную линию для пролетарского искусства наша критика должна провести со стороны интеллигентского социализма. Здесь смещение происходит очень естественно и особенно легко, благодаря близости идеалов. Но все же различия глубоки и важны.

Трудовая интеллигенция вышла из буржуазной культуры, над ней и для нее работала, на ней воспиталась. Ее принцип — индивидуализм. И самый характер интеллигентского труда поддерживает эту тенденцию: в работе ученого, артиста, писателя сотрудничество не



ощущается непосредственно, роль коллектива остается вне поля зрения, преобладает внешний вид обособленности, иллюзия вполне самостоятельной личной деятельности. Когда же налицо очевидное сотрудничество, тогда интеллигент обыкновенно занимает авторитарное положение руководителя, организатора работы: инженер на фабрике, врач в больнице и т. п. Отсюда и элемент авторитарности, который вообще неизбежно сохраняется в буржуазном мире и его культуре, как организационное дополнение к их основной анархичности.

Благодаря всему этому, большей частью даже тогда, когда трудовой интеллигент возвышается до искреннего и глубокого сочувствия рабочему классу, до веры в социалистический идеал, прошлое сохраняет свою силу в его способе мыслить, в его восприятии жизни, в понимании сил и путей ее развития.

Пример — драма Верхарна «Зори», которую не только всегда называют первую при вопросе о репертуаре пролетарского театра, но считают возможным ставить в нем без всяких истолкований и комментариев, как вполне «свою». Это — ошибка. Пьеса прекрасна и является драгоценным наследством для нас, но все же — наследством от старого мира. В ней дух социализма одет в авторитарно-индивидуалистическую оболочку, которую надо понять, а нельзя просто принять. Все построено на героической личности народного трибуна, ведущего за собою массы; она — душа борьбы и победы, без нее массы темны и слепы, не способны найти свой путь; ее трагедия для самого автора составляет главный интерес всей пьесы. Так понимает значение личности старый мир; коллективизм иначе строит жизнь, иначе освещает ее. Он, конечно, признает героев, и более того — он создает их, но как воплощение его силы, как выразителей его общей воли, как истолкователей его идеала.

А поскольку отношение к вождям иное, постольку коллектив, значит, не созрел до ясного сознания самого себя.

Великий бельгийский скульптор К. Менье в своих статуях, изображающих жизнь и быт рабочих, дал настоящий культ труда; но при всей глубокой любви художника к изображаемому, при всем его сочувственном понимании это еще не есть культ коллектива. Заслуга остается огромной; однако художник-пролетарий должен знать: это не готовое руководство для него, его задача лежит дальше.

Художественное самосознание рабочего класса должно быть чистым и ясным, свободным от чуждых примесей<sup>68</sup>: это — первая забота нашей критики.

## II

Наша критика пролетарского искусства должна направляться на его содержание прежде всего.

Зарождающемуся искусству класса молодого, и притом живущего в тяжелых условиях, неизбежно свойственна известная узость содержания, вытекающая из недостатка опыта, из вынужденной ограниченности поля наблюдений. Так, беллетристика сначала здесь поневоле берет все свои темы и материал из быта самих рабочих, да еще интеллигенто-революционеров, связанных с ними; только мало-помалу, до сих пор весьма незначительно, расширяет она свою область. Между тем несомненно, что пролетарское искусство должно захватить в поле своего опыта все общество и природу, всю жизнь вселенной.

Что может в этом отношении сделать наша критика? Конечно, она не в силах непосредственно дать юному искусству то, чего ему не хватает. Но она может и должна постоянно ставить перед ним задачу расширения его области, может и должна отмечать каждый успех в этом смысле и указывать новые связанные с ним возможности. А косвенную, но очень действенную помощь таким успехам она окажет путем сопоставления, всюду, где для того представится случай, произведений пролетарского искусства с однородными по «художественной идее», т. е. по разрешаемой организационной задаче, произведениями старого искусства. Там и материал, и поле зрения, и часто самый принцип решения задачи окажутся иными.

Особенно это относится к излюбленным вопросам классической литературы — об устройении семьи, о борьбе «низших» и «высших» мотивов в человеческой душе, о господствующей страсти, увлекающей человека, о воспитании характера и т. под.

Нередко те же или однородные задачи уже ставились и так или иначе разрешены наукою, философией. Критика должна указывать и сопоставлять эти решения с художественными: великий коллективизм всечеловеческого опыта, скрытый под оболочкою мира науки, во многих случаях явится драгоценным руководителем для молодого, ищущего и колеблющегося творчества.

Узость художественного содержания может заключаться не только в ограниченном захвате организуемого опыта, но и в суженном, одностороннем восприятии, в ограниченности основного отношения к материалу опыта. Тут особенно типично чрезмерное сосредоточение на точке зрения социальной борьбы, сведение искусства к организующе-боевой роли. Оно как нельзя более естественно для класса юного и борющегося, притом в самой тяжелой обстановке; оно даже необходимо на первых шагах развития класса, когда он еще только самоопределяется через сознание своей противоположности другому классу общества и вырабатывает боевую сторону своей идеологии. Но затем, так же неизбежно, эта точка зрения становится недостаточной.

К своему идеалу рабочий класс идет через борьбу, но идеал этот — не разрушение, а новая организация жизни. И притом невиданно новая, неизмеримо сложная и небывало стройная. Следовательно, культура боевого сознания сама по себе не дает главного средства решения задачи; необходима выработка идеологии социально-строительной. В этом направлении уже идет пролетарская наука, в этом же направлении должно развиваться пролетарское искусство тем с большей энергией и скоростью, чем больше рабочий класс будет приближаться к осуществлению своего идеала.

В современной пролетарской поэзии у нас резко преобладает агитационное содержание. Среди тысяч стихотворений, призывающих к классовой борьбе и прославляющих победы в ней, среди сотен рассказов с обличением капитала него прислужников тонет все остальное. Это надо изменить. Часть не должна быть целым. Всестороннее углубление в жизнь, правда много труднее атаки для прорыва неприятельской линии; но в деле социализма оно еще необходимее, потому что только всестороннее понимание жизни, ее конкретных сил и ее путей даст опору для всеобъемлющего практического творчества в ней.

Граждански-агитационное сужение поэзии неблагоприятно отражается на самой ее художественности, которая, по существу, и есть ее организующая сила. Развивается господство шаблона, — как удержаться оригинальности в тысячах повторений? — и притупляется сочувственное восприятие, сливающее массу с поэтом...

Агитационное сужение художественных идей сказывается также в том, что капиталистов и примыкающих к ним буржуазных интеллигентов изображают в таких тонах, словно эти люди лично злые, жестокие, бесчестные и т. д.<sup>69</sup> Такое понимание наивно и противоречит коллективистическому методу мышления. Дело вовсе не в личных свойствах того или иного буржуа, и не против отдельных лиц должно направляться революционное чувство, революционное усилие. Дело — в позициях классов, и борьба ведется против социальной системы, против коллективов, с ней связанных и ее защищающих. Капиталист лично может быть даже и благороднейшим человеком; но, поскольку он представитель своего класса, его действия и мысли будут необходимо определяться его социальной позицией. Для сознательного пролетария даже в момент боевого столкновения он — враг не как личность, а как слепое звено в цепи, которую сковала история. Для победы над старым миром полезнее понять его в лучших его представителях и в высших его проявлениях, чем воображать, что там все злые люди и дурные мотивы...

В близком родстве с тем же агитационным сужением творчества находится одна недавно возникшая теория, по которой пролетарское искусство непременно должно быть «жизнерадостным» и восторженным. К сожалению, она имеет несомненный успех, особенно

среди наиболее молодых и неопытных пролетарских поэтов, хотя иначе как детской назвать ее нельзя. Гамма коллективно-классового чувства не может и не должна быть так ограничена. Без сомнения, трудовому коллективу свойственно живое и яркое ощущение своей силы, но не надо забывать, что и сила иногда терпит поражения. Искусство должно быть прежде всего до конца искренним и правдивым, именно как организатор жизни: кого и что может организовать тот, кому не верят?

В мае нынешнего года вы читаете в рабочей газете такие стихи:

Иду я в сияньи солнца и весны...  
Цветами алыми горит простор.  
Сбылись несбыточные сны,  
И души ввысь вознесены,  
Как мощные вершины гор.  
Какие дни, какой простор  
В полях, в змеящихся ручьях,  
В хрустальных зорях, в думах вечеров.  
В крикливо-гулких поездах,  
В улыбках лиц, в гирляндах слов —  
Как бисер в алых лепестках цветов,  
Сверкает радость в наших днях,  
До дна, до недр своих глубин  
Я алой радостью и солнцем напоен...

и т. д.

Это — те дни, когда в нашей стране действительно «сбылись несбыточные сны», и притом весьма «злые» сны — немецких империалистов, чему пролетариат не имел силы помешать. Это дни тяжелых испытаний и бедствий нашей революции, дни свирепого надругательства над нашими братьями на Украине, Кавказе, Финляндии, Прибалтике, дни мучительного утомления от огромных, подавляющих задач в нашем краю, дни разрухи и голода, дни полного расцвета всего проклятого наследия войны. Да, отчаянье недостойно борцов; но фальшь розовых очков еще более их недостойна: она — отрыв, бегство от действительности, лживая маска того же отчаяния...

Это низводит пролетарскую поэзию до уровня той, которая ставила своим девизом:

Тьмы низких истин мне дороже  
Нас возвышающий обман...

Нет, не сладкие славословия, а непреклонная воля и стоическая гордость — вот что нужно окруженному врагами со всех сторон пролетариату:

*Si fractus illabatur orbis,  
Impavidum ferient ruinae.*

«Пусть рушится мир, он бестрепетно встретит удары обломков». Древний поэт-индивидуалист знал, что есть истинное мужество. Тем более должен знать это поэт нового коллектива.

Во всей своей регулирующей работе наша критика пролетарского творчества должна постоянно иметь в виду одно: дух трудового коллективизма есть прежде всего объективность.

Критика пролетарского искусства со стороны его формы должна преследовать одну вполне определенную и ясную задачу: полное соответствие этой формы с содержанием.

Художественной технике пролетариат должен, конечно, прежде всего учиться у своих предшественников. При этом, естественно, является соблазн — брать за образец самое последнее, что выработано старым искусством. Тут легко впасть в ошибки.

В искусстве форма неразрывно связана с содержанием, и именно потому «последнее» не всегда бывает наиболее совершенным. Когда общественный класс выполнил свою прогрессивную роль в историческом процессе и склоняется к упадку, тогда неизбежно упадочным становится содержание его искусства, а за содержанием следует, приспособляясь к нему, и форма. Вырождение господствующего класса обыкновенно совершается на основе перехода к паразитизму. Следом за ним идет пресыщение, притупление чувства жизни. Из нее выпадает главный источник нового, развивающегося содержания — социально-творческая деятельность; жизнь пустеет, теряет «разумный», т. е. именно социальный, смысл. Пустоту стараются заполнить исканием новых и новых наслаждений, новых и новых ощущений. Искусство организует эти искания: с одной стороны, по пути возбуждения угасающей чувственности уходит в декадентские извращения; с другой стороны, по пути утончения и изошрения эстетических восприятий начинает до крайности усложнять и массой мелочных ухищрений стремится изукрасить свои формы. Все это не раз наблюдалось в истории, при упадке разных культур — восточных, античной, феодальной; наблюдалось и за последние десятилетия, на почве разложения буржуазной культуры: большинство направлений декадентствующего «модернизма» и «футуризма». Русское буржуазное искусство плелось за европейским, как и сама наша буржуазия, худосочная и дряблая, умеющая отцветать без настоящего расцвета.

Учиться художественной технике в общем и основном следует не у этих организаторов жизненного распада, но у великих работников искусства, порожденного подъемом и расцветом ныне отживающих классов, — у революционных романтиков и у классиков различных времен. А у «последних» можно учиться только мелочам, в которых они, правда, нередко большие мастера, — но и то с осторожностью, с оглядкой, чтобы, соприкасаясь с ними, не набраться зародышей гниения.

Печально видеть поэта-пролетария, который ищет лучших художественных форм и думает найти их у какого-нибудь кривляющегося интеллигента-рекламиста Маяковского<sup>158</sup> или еще хуже — у Игоря Северянина, идеолога альфонсов и кокоток, талантливого воплощения лакированной пошлости. У нас были великие мастера, которые достойны быть первыми учителями форм искусства для великого класса.

Простота, ясность, чистота формы этих великих мастеров — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Толстого — всего больше соответствуют задачам нарождающегося искусства. Конечно, новое содержание выработает неизбежно и новые формы; но исходить надо из лучшего, что было. Из новейших же надо изучать близких по духу и художественно-устойчивых, как Горький, а не далеких и изменчивых, которые то приходят к пролетариату, то уходят, как Андреевы, Бальмонты, Блоки и пр.

Наша рабочая поэзия на первых шагах обнаруживала пристрастие к правильно-ритмическому стиху с простыми рифмами. Теперь она проявляет все больше склонности к свободным ритмам и сложно переплетающимся, новым, часто неожиданным рифмам. Тут явно сказывается влияние новейшей интеллигентской поэзии; вряд ли его можно приветствовать. Новые формы труднее; борьба с ними — лишняя затрата сил, отвлекающая от главного, от выработки и развития художественного содержания.

Пусть будет даже некоторое однообразие в правильности. У него есть основания в самой жизни. Рабочий на заводе живет в царстве строгих ритмов и простой, элементарной

---

<sup>158</sup> Несомненные сила и талант Маяковского, конечно, не в этих специфических особенностях его формы. — Прим. 1924 г.

рифмы. Среди «стального хаоса» станков и движущих машин переплетаются волны разных, но в общем механически-точных ритмов; при этом непрерывность более мелких и частых пересекается более редкими и тяжелыми, как цезурой или рифмой в стихе. Эти звуки своими бесконечно повторяющимися ударами выковывают по своей мере словесные образы, в которых работник с артистической натурой стремится вылить свои переживания.

Впоследствии, когда работнику станут более доступны ритмы живой природы, где меньше механической повторяемости и правильности, это однообразие сгладится само собою. Но преодолевать его путем подражания поэтам чуждой среды и обстановки — задача лишняя, увеличивающая трудности там, где их и без того много. Не случайно лучший до сих пор поэт-рабочий, Самобытник, не пошел по этому пути.

Самая трудная для молодой поэзии форма — это стихотворение в прозе. Отказываясь от рифмы и от явного ритма звуков, оно требует зато тем более строгого ритма образов, а в то же время и достаточной стройности звуковых сочетаний. Эти требования далеко не вполне выдерживаются в работе А. Гастева «Поэзия рабочего удара», где преобладают как раз стихотворения в прозе. Тут сказалась неопытность молодого творчества, увлекающегося на слишком трудные пока еще для него пути, может быть, просто по незнанию их действительных трудностей. Наша критика может дать большое сбережение художественных усилий, выясняя скрытые трудности разных форм, вопрос, которым мало интересуется старая теория искусства.

Насколько вообще необходимо новым работникам искусства знание его теории, тому живой пример — издательское недоразумение с произведением Бессалько «Катастрофа»<sup>70</sup>. Книжка названа «романом», тогда как на деле это — большой рассказ. Различие этих форм, довольно смутное в обычных теориях словесности, наша критика может выяснить сравнительно легко и точно. Постановка и решение организационной задачи в рассказе имеет эпизодический характер; в данном случае автор хотел показать, как дезорганизуется разнородный по составу революционный коллектив в обстановке крайнего угнетения и невозможности действовать. Если бы автор ставил и решал задачу в систематической форме — выяснял бы происхождение и развитие разных элементов революционного коллектива, условия, временно связавшие их воедино, объективную необходимость разложения и распада, и притом именно по таким, а не иным направлениям, то это был бы роман. Дело, разумеется, не в объеме: маленький роман может быть меньше большого рассказа.

Наша критика на своем живом деле создаст шаг за шагом новую теорию искусства, в которой найдет себе место и все богатство опыта старой критики, пересмотренное и заново систематизированное на основе высшей точки зрения все-организационной.

Надо заметить, что в иных случаях критика формы совершенно неотделима от критики содержания, фактически переходит в нее. Это особенно относится к вопросу о художественных символах. Такой символ есть живой образ, который служит особого рода знаком для целого ряда других связанных с ним образов, средством одновременно и организовано ввести их в сознание. Так, Тень отца Гамлета есть символ глухих отзвуков преступного дела, постепенно распространяющихся в социальной среде и раскрывающих его тайну. Великий Город в «Зорях» Верхарна есть символ всей организации капиталистического общества и т. под. Но, как живой образ, а не голый знак, такой символ имеет и свое собственное содержание, которое воспринимается притом в первую очередь: Тень есть призрак, Великий Город — какая-то столица. Это содержание само подлежит всем законам искусства и соответственной критике. Если бы, например, Тень отца Гамлета вела себя не так, как в народной фантазии полагается вести себя призракам, то получилась бы грубая нехудожественность. «Синяя птица» Метерлинка, при всей глубине своей идеи, не была бы великим произведением, если бы ее символы сами по себе не составляли красивой, стройной сказки, которая так нравится детям.

Наша критика, разумеется, должна касаться символов и с этой стороны, начиная с самого выбора символов.

Наше жестокое, грубое время — эпоха мирового милитаризма в действии —

подсказывает художникам часто жестокие и грубые символы. Напр., положим, рабочий-беллетрист, чтобы особенно резко и строго выразить идею отказа от всего личного во имя великого коллективного дела, символизирует ее в убийстве героем любимой и сочувствующей ему женщины. Критика должна сказать, что такой символ недопустим: он противоречит самой идее коллективизма, женщина для коллективиста — не просто источник личного счастья, а действительный или возможный член того же коллектива. Или, напр., увлекшийся поэт<sup>159</sup>, желая выразить готовность бороться со старым миром до конца, не останавливаясь ни перед какими самыми страшными и тяжкими жертвами, угрожает:

Во имя нашего Завтра — сожжем Рафаэля,  
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы<sup>71</sup>.

Наш рецензент правильно, но слишком мягко по этому поводу заметил, что тут — «психология, а не идеология»; т. е., что поэт, отдаваясь потоку своего чувства, забыл о социальной организующей роли искусства. Это — символ в духе солдата, а не рабочего. Солдат может и должен бомбардировать Реймский собор, если там находится или предполагается неприятельский наблюдательный пункт, но что заставляет поэта выбрать этот гинденбургский образ? Поэт мог бы только сожалеть о столь жестокой необходимости, но не воспевать ее. Когда само творчество настолько плывет по течению, это не возвышает его. Пролетарий никогда не должен забывать о сотрудничестве поколений, которое противоположно сотрудничеству классов в настоящем, — он не имеет права забывать об уважении к великим мертвецам, которые проложили нам дорогу и завещали нам свою душу, которые из могилы протягивают нам руку помощи в нашем стремлении к идеалу.

В вопросах формы искусства, как и в вопросах его содержания, наша критика должна постоянно напоминать художнику об его ответственной роли как организатора живых сил великого коллектива.

#### IV

Критика является регулятором жизни искусства не только со стороны его творчества, но и со стороны восприятия: она — истолковательница искусства для широких масс, она указывает людям, что и как они могут взять из искусства для устроения своей жизни, и внутренней и внешней.

По отношению к искусству старого мира наша критика принуждена даже и ограничиться этой задачей: регулировать его развитие она не может. Но по отношению к новому, нашему искусству та и другая задача одинаково насущны и огромны.

Тут дело вовсе не только в том, чтобы раскрыть символы, когда они могут быть непонятны, объяснить то скрытое в образах, чего, может быть, и сам художник не сумел бы для себя точно формулировать, сделать все выводы, до которых сам он, может быть, не успел прийти. Критика должна также указать и те новые вопросы, которые выступают на основе результатов, достигнутых произведением, и те новые возможности, которые из него исходят. Но самое важное — критика должна ввести для массы новое произведение в систему классово-культурной культуры, в общую связь пролетарского мироотношения, в живых образах, конкретных и потому частных, найти и показать мировой смысл, раскрываемый все-организационно-точкой зрения.

Здесь лежит путь, на котором наша критика сама превращается в творчество.

### Простота или утонченность?

---

<sup>159</sup> В. Кириллов. — *Ред.*

Художественное творчество свободно. Предписывать, навязывать ему простоту формы или требовать утонченности было бы нелепо. Но если мы знаем, из какого жизненного содержания художник исходит, для какого материала он ищет формы, то, опираясь на научную теорию, вполне возможно заранее определить, какая из двух тенденций является естественной в данном случае, а следовательно, и наиболее соответствующей задаче; а отсюда получатся выводы о вероятности успеха и неуспеха работы, идущей в том или другом направлении. Таким способом научная критика может облегчить искания художника.

Пролетарская поэзия только нарождается; в своем развитии она неизбежно должна выработать новые, свои собственные формы; они еще не определились, они — предмет исканий. Но уже известно, по крайней мере в своей общей характеристике, ее основное содержание. Оно — вся жизнь рабочего класса: его миро-чувствование, миропонимание, практическое мироотношение, стремления, идеалы. Это именно то, что новый художник должен выражать, организованно воплощать в образах, создавая из их ткани новую живую связь для своего классового коллектива, связь, способную дальше расти и расширяться до общечеловеческой. Таково содержание, для которого требуются формы.

Исходить в выработке своих форм пролетарскому художнику приходится во всяком случае из чужих, из тех, которые даны старой культурой; иначе нельзя, потому что других нет: каждый класс учится у своих предшественников, чтобы, пользуясь их средствами, развить свою силу, свои новые средства труда и творчества — и тогда, конечно, отбросить прежние. Но старое многообразно: где учиться, чего искать? И здесь выступает, в ряду других, вопрос о простоте и утонченности: та и другая широко представлены в художественных формах прошлого и настоящего. Практически решить в пользу простоты, значит, учиться, главным образом, у великих мастеров прошлого, отделенных от нас рядом десятилетий, иногда целыми столетиями, таких, как, положим, Пушкин, Лермонтов, Байрон, Шиллер, Гете, и у тех, кто из позднейших ближе к ним в этом. Новейшие же школы старой культуры, сосредоточиваясь особенно на разработке формы, довели ее до такой сложности и утонченности, о каких и не помышляли их великие предшественники; стоит только сравнить хотя бы русских модернистов — Бальмонта, Брюсова, Блока, Белого и других — с их общим учителем — Пушкиным.

Итак, вот новое содержание, входящее в жизнь; оно огромно по масштабу, исходя из миллионных масс; оно грандиозно по значению, заключая в себе невиданно революционную тенденцию в труде и борьбе всего человечества: оно ново, неразработано, намечается грубо, проявляется сурово, стихийно. Как бы громадными глыбами обрушивается оно на старую жизнь, потрясая ее в самих основаниях. Что же, возможно вместить его в утонченные, филигранные формы, до которых довели свое искусство художники отживающего, внутренне пустеющего, мельчающего мира? Достаточно отчетливо поставить вопрос, чтобы ответ был ясен? Конечно нет. Только в могучей простоте форм найдет новый художник решение своей задачи; он не ювелир, он кузнец в мастерской титанов.

Валерий Брюсов издал, под названием «Опыты», сборник образцов поэтической техники. Первый же из этих образцов начинается так:

Моря вязкий шум,  
Вторя пляске дум,  
Злится — где-то, там...  
Мнится: это к нам  
Давний, дальний год  
В ставни спальни бьет...

и т. д. — рифмы в каждом слове. А дальше — стихи с рифмами в середине, в начале, трехсложными, пятисложными, семисложными, с меняющимся ударением и т. д.; самые необыкновенные размеры, стихотворения в виде треугольника и такие, которые можно

одинаково читать от начала к концу или обратно и пр. и пр. Мыслимо ли с подобными ухищрениями совместить не то что великое, а сколько-нибудь значительное, даже хоть просто разумное содержание? И если даже не идти до таких крайностей, но вообще стремиться к усложнениям и тонкостям формы, то не будет ли это неизбежно лишней растратой сил, ослабляющей дух работы и тем самым принижающей ее смысл? Разве не придется поэту, ради каких-нибудь трудных звуковых соотношений, жертвовать внутренней жизнью образов и идей, подбирая слова к словам? Форма художественная, как и всякая иная, имеет организационное значение. Это не что иное, как способ стройно сочетать элементы содержания, т. е. организовать его материал. Всегда и всюду способ организации зависит от подлежащего ей материала; форма не может не зависеть от содержания. И если усложненность формы соответствует содержанию уже развитому, но мельчающему, упадочному, то простота, характеризующая великих мастеров, связана именно с содержанием грандиозным и развивающимся или высоко развившимся, но еще не приходящим в упадок. Гете и Шиллер, а у нас Пушкин, Лермонтов отразили нарождение и рост новых сил жизни, подъем буржуазной культуры, оттеснявшей и подчинявшей себе старую, феодально-аристократическую. И с этой стороны они, конечно, более родственны работникам нарождающейся пролетарской культуры, которая, в свою очередь, должна сменить всю прежнюю, растворивши в себе ее лучшие элементы.

Как развитие капитализма заключало в себе нарождение и рост не только капитала, но и пролетариата, так и буржуазная культура в своей восходящей фазе скрывала в себе, хотя еще тогда и неуловимые, зародыши и возможности иной, высшей культуры. Капитализм развивал связь мирового сотрудничества; и как ни маскировалось оно его анархической борьбой от сознания людей, но великие организаторы чувства и мысли силою своего гения разрывали иногда эту завесу и поднимались до предчувствия, до смутного понимания коллективистического идеала. Поразительнее всех Гете. Он изобразил в «Фаусте» скитания человеческой души, которая ищет гармонии с миром, стройно-целостного существования. В чем же оно его, после долгих усилий и многих попыток, наконец находит? В труде, и труде не для себя, а на пользу коллектива, человечества. Тут еще нет, разумеется, завершенной формы коллективизма, нет идеала товарищеской связи, но есть такое приближение к нему, которое выходит далеко из рамок буржуазного сознания. Более того, Гете способен был возвыситься до коллективистического понимания труда вообще, и даже там, где для индивидуалиста оно всего более недоступно и неприемлемо, — по отношению ко всему делу своей собственной жизни. Вот что говорил он о себе за два месяца до смерти:

«Что такое я сам? что я сделал? Я собрал и использовал все, что я видел, слышал, подмечал. Мои труды вскормлены тысячами различных людей, невеждами и мудрецами, умными и глупыми; детство, зрелый возраст, старость — все приносило мне свои мысли, свои способности, свои надежды, свой жизненный строй; часто я снимал жатву, посеянную другими. Мое дело — труд коллективного существа, и он носит имя Гете»<sup>160</sup>.

Много ли даже теперь найдется социалистов, которые умели бы так объективно понимать роль своей личности в процессе труда и развития общества? И не ясно ли, что для нас, коллективистов, такие гении прошлого являются лучшими учителями, несравненно более близкими и родными, чем их вырождающиеся эпигоны?

Есть и новейшие великие поэты, близкие пролетариату, хотя и не являющиеся пролетарскими поэтами, — поэты трудовой демократии, социалисты-интеллигенты: бельгиец Верхарн<sup>73</sup>, латыш Райнис<sup>74</sup>. Их связывает с рабочим классом общий идеал; но стать прямыми выразителями и организаторами пролетарского художественного сознания они не могли, потому что воспитались и выросли в ином мире. И они, конечно, для наших

---

<sup>160</sup> Приведено в печатающейся теперь работе тов. Лихтенштадта (Мазина), убитого в прошлом году на северо-западном фронте Заглавие: «Гете Борьба за реалистическое мировоззрение». Работа во весь рост рисует фигуру Гете, как великого натуралиста и передового мыслителя своего времени.



молодых пролетарских поэтов учителя гораздо лучшие, чем все наши новейшие декаденты, модернисты, футуристы и пр., хотя бы и перешедшие со вчерашнего дня на сторону революции<sup>161</sup>.

Посмотрите, каковы даже крупнейшие из этих эпигонов, до чего они неустойчивы и ненадежны в своем содержании. Во времена спокойно-реакционные они заняты всецело индивидуальными переживаниями — эстетическими, эротическими, мистическими и т. д. Вспыхивает война, и они уже кровавые патриоты; приходит революция — и они охвачены пылом борьбы за высшие идеалы; затем злая реакция — и снова эротика, вплоть до всевозможных извращений, мистика, теософия и пр. и пр. Зинаида Гиппиус, лучше чем кто-либо их знающая, потому что сама принадлежит к их поколению, так характеризовала их поведение во время войны:

Хотелось нам тогда, чтоб помолчали  
Поэты о войне.  
Чтоб пережить хоть первые печали  
Могли мы в тишине...  
Куда тебе! поделались зверями:  
Война, войне, войны!..  
И крик, и клич, и хлопанье дверями, —  
Не стало тишины...  
А после вдруг — таков уж их обычай —  
Военный жар исчез:  
Изнемогли они от грозных кличей,  
От собственных словес.  
И юное довременно состарив,  
Идут, бегут назад,  
Чтоб снова петь в тумане прежних марев  
На прежний лад...

Вопрос о «тишине», интересующий утомленную поэтессу, сам по себе, конечно, маловажный, помог ей хорошо оттенить постоянное стремление этих поэтов идти «по линии наибольшего шума». А когда линия оканчивается, они поворачивают туда, где, в сущности, и лежат источники их поэзии, к «туману прежних марев», к смутным переживаниям разлагающейся интеллигентской души. Так было с их зоологическим «военным жаром», будет и с революционным пылом, потому что это не случайность: таков уж их обычай, вернее, их социальная природа. И все юное быстро старится в их устах, всякое, даже великое содержание становится мелким и эфемерным в их ювелирно-отделанных формах... И у них-то учиться пролетарским поэтам?

И, однако, это бывает. Что же тогда получается? Вот маленькая брошюра, издание Московского Пролеткульта, — поэма М. Герасимова<sup>75</sup> «Мона Лиза». Герасимов по своему прошлому настоящий индустриальный пролетарий, металлист. Дарование поэтическое у него, несомненно, есть; это видно по его прежним произведениям, да и в той же «Моне Лизе» немало ярких и живых образов, стройных и звучных сочетаний слов. Но это —

---

<sup>161</sup> Верхарна у нас еще более или менее знают по переводам Вал. Брюсова и других; Райнис же совсем мало известен — есть немногие переводы в «Латышском сборнике», изд. Горького. Но теперь печатается большая монография о нем тов. П. Г. Дауге, которая ближе с ним познакомит нашу публику. [Дауге П. Г. (1869–1946) — один из основателей Латвийской социал-демократической партии, историк, публицист, доктор медицины. После II съезда РСДРП — большевик. Переводчик и издатель трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, И. Дицгена. После Октябрьской революции — нарком просвещения Латвии, затем на руководящей работе в органах советского здравоохранения. Имеется в виду его книга «Райнис — певец борьбы, солнца и любви» (М., 1920). — Ред.].

типичный продукт ученического подчинения тем поэтам, которые, хотя учились у великих мастеров, выражавших великое жизненное содержание, сами, за недостатком такого содержания, посвятили себя всецело на служение форме. Вл. Ходасевич<sup>76</sup>, разбирая стихотворную технику Герасимова (в журнале «Горн», № 2–3), указывает, как на его прямых учителей, на Бальмонта, Брюсова, Белого, отмечая, что только через них слышатся у него косвенные звуки наших классиков; Львов-Рогачевский<sup>77</sup> отмечает еще А. Блока, «под очевидным влиянием которого написана Мона Лиза» (особенно по отношению к замыслу и построению поэмы).

Первое, что поражает при чтении, это крайняя неясность, туманность формы. Трудно уловить не только общую художественную идею, но даже непосредственное содержание поэмы. Сразу очевидно, что поэма написана не только не для рабочих вообще, а даже и не для передовых пролетариев: они не станут ломать головы над метафорами и намеками автора, а пройдут мимо как занятые люди. Приведу целую маленькую главу (пятую) — что в ней хотел сказать автор?

На гулких улицах столицы  
Дрожали зябко фонари,  
Скользят от них в асфальтах птицы  
И перья утренней зари.  
Долбили многозвенным эхом  
Копыта огненный гранит.  
А Мона Лиза тайным смехом  
Спалила синеву ланит.  
На вздрагивающие плечи,  
На розовеющий гранит  
От фонарей упали свечи  
В окладах золотистых плит.  
Лицом к заплеванной панели  
Поник в гранит моей тюрьмы  
Заводские гудки пропели  
Проникновенные псалмы.  
Как ток, призыв сирены ранний  
Пронзил неласковые дни,  
А в корпусах фабричных зданий  
Зажглись железные огни.  
Электропламенные токи  
Ее пылающей руки  
Свевают снова с труб высоких  
Мимоз венчальные венки.

И приблизительно так написана вся поэма. Читается вроде ребуса: есть образы, иные даже яркие, но связь их непонятна, а частью они непонятны и сами по себе, дешифрируй, кто хочет. Может быть, специалисты по новейшим школам «туманов» и «марев» сразу поймут; но много ли таких специалистов, и стоит ли для них писать? А если нет, то для кого? Или только для себя, чтобы «вылить свою душу», «свое настроение»? Но тогда зачем печатать? И главное, пролетарский поэт, не изменяя себе, не может стать на эту точку зрения; она противоречит его классовой природе — духу коллективизма.

Поэт прежнего типа, по существу, также идеолог некоторого коллектива — класса или группы. Но как он относится к этому коллективу, своей «публике»? Сознает ли он свою связь с ним, отдает ли ему свою душу, понимает ли себя как его выразителя и работника-организатора? Нет, потому что те классы и группы, построенные из обособленных личностей, чуждых друг другу, частью равнодушных, а частью и ожесточенно борющихся

между собою за мелкие интересы, не могут порождать в своем идеологе чувства живого единства с коллективом. Там «публика» для поэта либо просто неизвестная величина, либо отчасти известная, но входящая в его расчеты лишь как орудие его карьеры, нередко даже — «чернь», неспособная вполне понять и оценить его творчество. Гете в посвящении к «Фаусту» говорит:

Неведомой толпе пою я гимн священный.  
Чья самая хвала чужда мне и страшна.

**(Перевод Холодковского)**

А вспомните, как Лермонтов характеризовал ту ближайшую публику, которая окружала Пушкина и его самого, через головы которой они говорили к неизвестному читателю? «Презренные потомки известной подлостью прославленных отцов». Понятно, что о такой публике желательно как можно меньше думать, в процессе творчества ее необходимо вполне забывать, «творить» всецело из себя и для себя; и если поэт чувствует, что его дело шире и выше его маленького «я», то приписывает его «вдохновению», «Музе» — фетишам, под которыми скрывается голос коллектива, его опыт, его стремления, идеалы.

Иное — поэт пролетарский. Он воспринимает свой класс через ближайшую товарищескую среду — своей фабрики, союза, партии; для него это не просто чужие люди и не досадные конкуренты, среди которых надо пробиться, а сотрудники в деле жизни; и так как он поэт, то он чувствует это непосредственнее и сильнее других. Если же этого нет, то он сколько угодно может быть и пролетарием и поэтом, но пролетарским поэтом он не будет. Пролетарский поэт, следовательно, носит в себе свой коллектив, сливается с ним душой, с ним работает в поэтическом творчестве, как во всяком другом труде и борьбе. Стремление быть ясным для него неизбежно; ибо ясность — это доступность коллективу, это элемент коллективизма.

«Мона Лиза» не есть произведение пролетарской поэзии, хотя она и написана пролетарием, хотя в ней есть и картины завода, и прославление рабочего восстания, все это официально полагается. Всего этого мало. Внутренним сотрудником автора, регулятором его работы не был живой образ его коллектива. Этот образ был замещен представлением о тех немногих знатоках-ценителях, которые сами умеют говорить разукрашенными стихотворными ребусами, а среди пролетариев таких нет, да едва ли и будут... [...]

Как отнесутся «великие мастера» и близкие к ним критики к произведениям вроде «Моны Лизы»? Надо полагать, весьма снисходительно. Это для них приятное разочарование. Они с тревогой смотрели на идущих в литературу таинственных незнакомцев, у которых есть какая-то новая, чуждая точка зрения, какое-то новое, непривычное содержание. И что же? Оказывается, не так страшно. Приручаются и выходят совсем милые, скромные ученики-подражатели. Мечтают конкурировать, но не серьезные же это конкуренты, когда еще и грамотой не вполне овладели, а увлекаясь тонкостями, может быть, так и не овладеют. Чего же лучше! Надо только поощрять их на этом пути. И, кажется, поощряют. Но торжествовать не придется. Единицы, может быть, и совсем сойдутся с толку, это не исключено, хотя ничего непоправимого еще нет. Не в единицах дело, хотя бы и талантливых. А для нового, пролетарского художника вообще смешна будет и самая мысль состязаться в утонченностях с ювелирами формы, поставщиками самых лучших брильянтов из самого лучшего стекла. Конечно, сравняться с ними он никогда не мог бы. Но подняться бесконечно выше их — дело другое, это для него возможно, и это будет.

Итак, простота формы наиболее естественна и нормальна для пролетарского художника, наиболее соответствует его социальной природе на современной ступени развития.

В одной статье о пролетарской поэзии я пытался ближе определить, исходя из условий труда, самый тип этой простоты и высказаться в том смысле, что она в общем должна характеризоваться правильностью ритма.

...Эти мысли вызвали полемику со стороны В. Львова-Рогачевского в книге «Поэзия новой России». Он их решительно опровергает, апеллируя к поистине подавляющим авторитетам.

Первый — это Леон Базальжет, «один из лучших биографов Верхарна», как его рекомендует критик. Базальжет пишет о Верхарне: «Тайна искусства его мне открылась, когда я пребывал среди гулов, ударов молотов, пыхтенья машинного отделения, когда я вслушивался, как задыхается локомотив, и когда заатлантическая сирена разрывала воздух своим ревом»<sup>162</sup>.

И критик восклицает:

«В то время как Леон Базальжет<sup>78</sup> свободный стих Верхарна с разнообразием ритмов почувствовал среди машин и гудков города, в это самое время А. Богданов основания „однообразия и правильности“ находит в тех же самых условиях. У него по-другому слышат уши, по-иному смотрят глаза».

Прежде всего, я спрошу, где фактически взял Верхарн свой «свободный стих». На заводе? «в машинном отделении»? Так, по-видимому, думает критик и, может быть, — по цитате не вполне ясно, — Леон Базальжет. Но это совершенно противоречит именно биографии Верхарна. На заводе он, как и всякий интеллигент, был только «гостем случайным», не там жил, не там воспитывался. И, наконец, почему не спросить его самого, ведь он-то, наверное, знает, откуда его стих. А как он отвечает? Увы! в неожиданном, но полном согласии с «совершенно чуждым вопросам искусства А. Богдановым» он говорит: из ритмов живой природы. В своей поэме «Эско» (книга «Вся Фландрия. Герои») он с такими словами обращается к родной реке, Шельде Эско, «прекрасной и дикой»:

Ты телу мощь дала, душе дала горенье.  
Движенье волн твоих — размер моим стихам...

*(Перевод В. Брюсова)*

Как же это так вышло? Недоразумение двух критиков легко будет разьяснить, но сначала надо остановиться на двух других авторитетных опровержениях.

Цитируется пролетарский поэт Илья Садофьев<sup>79</sup>. «У врат грядущего», из сборника «Динамо-стихи».

Слепцы! помните, что все то, что замкнуто вами  
В условную, беззубую, мертвую догму,  
В размерную, ритмичную форму,  
Уже не живет.  
И что создается по старым законам,  
Тотчас умирает.  
Мы, восставшие, разбившие рабства оковы,  
Призваны разрушить и старые догмы  
И формы,  
Ибо созданная нами поэма  
Сама — Жизнь...

«Этот отрывок, — говорит российский критик, — своего рода манифест пролетарских поэтов о характере их поэтики». И опять впадает в скандальное недоразумение. В отрывке нет ни слова о «поэтике». Критик просто не понял стихотворения и его метафоры принял буквально. Там дело идет о реальной «Поэме из Поэм». Так называет Садофьев не что иное, как Советскую Республику. Эта Поэма, «вписанная в историю кровью и железом», сменяет

<sup>162</sup> Цит. по книге Львова-Рогачевского, ст. 160.

старые «поэмы о покорности Року, Медным Всадникам», т. е. старый порядок жизни и душевный строй масс. Эту Поэму представители прошлого, — в образе «учителя словесности», «поэта любвей», «жирного монаха», «Литературных Знаменитостей» — возмущенно и злобно критиковали:

Это не Поэма, а Повесть!  
Скверная, грубая, неряшливая!  
Безграмотная и бесформенная!  
Авторы не знают законов стихосложения,  
Размера и ритма... 163

Всякий толковый человек, несмотря на метафоры, поймет, что тут дело идет о строе реальных человеческих отношений, об экономике и политике, а вовсе не о «поэтике». И даже «не чуждый вопросам искусства» критик мог бы догадаться, что это не «манифест поэтики», если бы заметил, что в том же сборнике «Динамо-стихи» Садофьев пользуется больше правильными ритмами, чем свободным стихом.

Третья авторитетная цитата из А. Гастева, стихотворение в прозе «Звоны» (книга «Поэзия рабочего удара»), сопоставляющее весенние звоны природы со звонами машин на заводе. Не привожу его ради краткости; но все, что в нем относится к вопросу, может быть резюмировано так: в жизни завода есть много разнообразных звуков; большинство их, конечно, правильно-ритмичны (скрип проводов, вой моторов, скрежет подъемных цепей, «дробь» шестерен и т. д.); иногда эти ритмы растриваются — именно когда «не ладится завод» в самой работе. Все это, может быть, ново для критика, «не чуждого вопросам искусства», но не для «почтенного экономиста», как он меня язвительно величает, подчеркивая мою некомпетентность. Ну а вывод какой?

Поставим предварительный вопрос: образуют ли разные, но в общем правильные ритмы, переплетаясь между собою, что-либо вроде «свободного ритма»? Отнюдь нет.

Свободный ритм есть один непрерывный ряд с изменяющейся закономерностью, а не несколько сплетенных одновременных рядов. Если вам станут читать одновременно и параллельно несколько стихотворений различных правильных размеров, разве это образует музыку, подобную той, какую дает чтение одного стихотворения со свободным размером? Русский критик, а может быть, и его французский авторитет, смешали «хаос звуков» со свободным ритмом; а это вещи совсем разные.

Но и «хаос звуков» завода является хаосом только для случайно зашедшего туда интеллигента, который ничего не понимает в происходящем. Рабочий завода необходимо воспринимает каждый ритм отдельно: для него нет хаоса, все анализировано, все знакомо. И те ритмы, которые правильны, так и ощущаются, как правильные; а таких, несомненно, большинство, ибо машина — да будет это ведомо почтенному критику — есть не что иное, как механизм; и ее движения механичны, а не «свободны».

Далее. Физиологическая психология говорит, что формирующее влияние на нервную систему имеет то, что воспринимается активно, что связывается с ее собственными ответными усилиями. Поэтому наибольшее такое влияние на каждого рабочего имеет именно та машина, на которой он работает, ритмы движения разных ее частей, к которым он прикован вниманием и волей. Правильность этих ритмов определяет гармонию его движений, вибраций его нервного аппарата; а неправильность означает врывающееся нарушение хода работы и есть сигнал для ряда усилий, направленных к восстановлению правильности.

Итак, вот научные основания, по которым правильные ритмы естественнее и ближе для индустриально-пролетарского поэта при нынешней организации производства, чем ритмы

---

163 Динамо-стихи. Изд. Петерб. Пролеткульта. С. 13–15.

свободные. Но это отнюдь не означает, что первые обязательны. Если поэт чувствует, что содержание требует иного, — как это и есть в цитированном стихотворении Садофьева, где дело идет о революции, отменяющей все обычные ритмы жизни, — то он и станет писать иначе, будет ли это легче или труднее. Я высказывался только против искания трудностей, вытекающего из чрезмерного увлечения формой, которое вредит выработке нового содержания. И здесь критик с сознанием своего превосходства издевается над моими «допотопными» взглядами, над «наивным прописыванием более легкой формы». Конечно, «новые формы труднее», говорит он, но революция в содержании связана с революцией формы. Кто же этого не знает? Но если бы г. Львов-Рогачевский был «не чужд» хотя бы вопросам о законах исторического развития, он знал бы, что революция содержания необходимо идет впереди революции форм, а не параллельно с нею.

Критик весьма одобряет борьбу с трудностью формы у Герасимова. Он в восторге от «Моны Лизы» и говорит об этой поэме так:

«Поэт с редкой оригинальностью воспеваает красоту залитого светом завода; эта красота воплощается у него в образе той Моны Лизы, или Джиоконды, которую увековечил на своем полотне Леонардо да Винчи» (с. 147).

Вот яркая иллюстрация того, к чему ведет чрезмерная «трудность» формы. Воображаю, что должен был чувствовать бедный поэт, читая такую похвалу!

Воплотить красоту завода в Моне Лизе — это примерно то же, что воплотить величие американских небоскребов в Мадонне Сикстинской. От такого истолкования, как говорит пословица, у слона подкосятся задние ноги! А поэта, если он слабый, то и совсем убить можно.

Что угодно, только не это! Очень туманно написана поэма, но смысл ее не столь чудовищен. Я не берусь точно формулировать ее художественную идею. По-видимому, в Моне Лизе поэт символизировал именно ту красоту, которой нет у завода самого по себе, которой ему не хватает, которая приходит к нему извне, должна дополнить его: красоту женственности, природы... Поэт, по-видимому, хотел именно повенчать очарование могучей техники с иными, более тонкими очарованиями... Но теперь, я думаю, он сам видит, что это надо было сделать как-то яснее и проще. А «почтенный критик» также должен убедиться, что «трудная форма» поэзии даже для него имеет свои неудобства.

Но довольно о гг. Львовых-Рогачевских. Пролетарская поэзия — вещь более серьезная...

К сожалению, погоня за утонченностью — не индивидуальное только уклонение одного-двух пролетарских поэтов. Создалась почти школа. Вот № 1 «Кузницы»<sup>80</sup>, органа пролетарских писателей (май, 1920). Кузница пролетарской поэзии... Группа ее устроителей в редакционном заявлении так характеризует свою задачу. Создать оригинальную пролетарскую поэзию в настоящее время она считает невозможным или непосильным для себя. Но она надеется «набить руку в высших организационных технических приемах и методах поэтического мастерства» и уже тогда — но только тогда, не ранее — пролетарские мысли и чувства «вковать в оригинальные поэтические формы, создать оригинальную пролетарскую поэзию» (с. 2).

План наивный и глубоко ошибочный!

Задача, поставленная редакцией сборника, хотя и не очень возвышенная, тем не менее весьма нелегка именно для пролетарских поэтов; настолько же нелегка, насколько бесплодна. И мы имеем основания думать, что она, отвлекая и поглощая силы молодых авторов, плохо отозвалась на содержании их работы. Содержание бедное. Прославление революции, гимны коллективному труду, картины завода — все это вещи, конечно, хорошие, и все это есть в полутора десятках стихотворений сборника; но, если не считать явных отклонений в сторону народничества, все это держится в прежних формах, в давно наметившихся рамках. Не видно расширения кругозора, не чувствуется развития.

И уже есть признаки зарождения кружковщины. Один начинающий поэт пишет, под видом критической статьи, панегирик другому, третий — четвертому: прямой путь к

самообольщению, сужению опыта, к остановке.

Товарищи, не тем надо заниматься! Никто не требует от пролетарских поэтов «высшей буржуазной техники»; она вам и не к лицу — как манеры и костюм лондонского дэнди (тоже ведь «высшая техника» буржуазного быта) не пристали рабочему-социалисту.

Вы говорите, что еще нет оригинальной пролетарской поэзии, вы ставите ее в зависимость от усвоения «высшей» буржуазно-поэтической техники. Вы слишком низко ее цените, товарищи, и плохо знаете, где ее искать. Ее мало пока в форме стихов и прозы; но ею полна жизнь пролетариата, полна мысль революционного социализма. Ищите больше и лучше. Вы думаете, мало ее в чистоте и ясности товарищеских отношений, в стройности и сплоченности рабочих организаций, в революционно-научной критике Маркса и в его социально-философском творчестве? И если вы сами — живые частицы растущей коллективной души пролетариата, если умеете видеть его глазами, чувствовать его сердцем, то через *творческое восприятие* вы найдете эту поэзию во всей природе и во всем великом, что создано усилиями человечества, трудом и научным познанием и художественным отображением мира. Тогда у вас будет что сказать и само собою найдется как сказать.

Надо по-настоящему учиться, учиться широко и глубоко, а не «набивать руку» в хитрых рифмах и аллитерациях<sup>164</sup>.

Чему должен учиться пролетарский поэт? Всему важному и значительному в природе и в обществе. Где учиться? У науки, организующей опыт прошлого и настоящего в понятиях, у искусства, делающего то же в образах. Кого брать в учителя? Тех, кому можно верить: в настоящем — свой коллектив с его революционной идеологией, в прошлом — тех, кто широко прокладывал ему пути своей великой творческой силой. Тогда нет опасности заблудиться.

### **Памяти К.А. Тимирязева**

28-го апреля 1920 г. умер Климентий Аркадьевич Тимирязев, член Социалистической Академии и сотрудник нашего журнала. На его гроб Центральный Комитет Всероссийского Совета Пролеткульта возложил из живых цветов венок с надписью «Великому ученому и сотруднику „Пролетарской Культуры“».

Тов. А. Богданов над его могилой от имени Социалистической Академии и Всероссийского Пролеткульта произнес речь.

*Пролетарская культура, 1920, № 15–16, с. 1–3*

Прощальный привет дорогому товарищу... Уже многое сказано — и еще столько хочется сказать, так много... и так бессильны слова... Но главное ясно. Умер большой человек. Человек науки, человек труда, человек идеала.

Человек науки... не здесь входить в оценку его работы; но его дело известно всему свету. Он исследовал и раскрыл одну из величайших тайн жизни: точно показал, как из мертвых материалов воздуха и воды растение, силою солнечных лучей, строит живое вещество. Это была великая победа науки. И старый ученый мир признал ее — тот мир, из которого вышел Климентий Тимирязев и от которого он так далеко отошел душою... Он — один из тех немногих, кому выпала на долю честь читать почетную лекцию в Лондонском ученом обществе, высшем научном учреждении Европы.

Он был не только неутомимым работником в своей обширной специальности, но и неутомимым борцом за научное мировоззрение. Никто в России не сделал столько для торжества идей дарвинизма и научного материализма. Никто лучше не понимал, никто ярче

---

<sup>164</sup> Герасимов и некоторые из его товарищей теперь более или менее отделались от этой погони за тонченностью. Но еще далеко не все. (Прим. 1924 г.)

и нагляднее не выяснял силу науки и научного мышления, как орудия реального творчества, строительства жизни, победы над природою.

Товарищи! мир науки имеет свою левую сторону, где бьется его живое сердце, и правую, где окаменевшее прошлое отстаивает себя против будущего. Тимирязев всегда стоял на крайней левой, всегда занимал самую прогрессивную позицию и неуклонно шел вперед, до конца сохраняя юношескую свежесть и гибкость мысли. Поразительна в этом отношении статья его «Дарвин и Маркс», написанная за год до смерти. Он только в последний период своей жизни подошел ближе к общественным наукам; но никто глубже его не сумел понять и ярче выразить внутреннее родство дарвинизма и исторического материализма, этих титанических созданий двух величайших творцов науки XIX века. Статья эта была напечатана в журнале «Пролетарская Культура». Да, товарищи, ему близка была и идея пролетарской культуры, эта идея, многих даже революционных социалистов отталкивающая своей непривычною Новизной. Социалистическая Академия недаром написала на своем венке «Благородному представителю союза пролетариата и науки». Он принимал пролетариат в его жизненном целом, во всем масштабе его движения — и как культурную силу.

«Благородному»... это слово первым приходит в голову, когда хочется характеризовать его личность. Основа его культуры была непреклонная совесть человека мысли и гражданина; та и другая составляли в нем одно. Еще и тогда, когда он не выступал на поле общественной деятельности, когда жил всецело научными интересами, эта совесть гражданина ярко сказывалась и имела сильное влияние на всю его судьбу. Старый академический мир, товарищи, служил старому порядку; а старый порядок часто требовал от ученых, от профессоров того, с чем не могла мириться совесть истинного гражданина. В этих случаях, — а их было немало, — Климентий Тимирязев не знал уступок, не допускал колебаний... Вспоминаю один случай, не очень значительный, но лично мне близкий. 26 лет тому назад в Московском Университете был разгромлен Союз Землячеств<sup>82</sup>, организация, собственно, просто взаимопомощи студентов, но по тогдашним условиям нелегальная и потому — «революционная». Правление университета предложило всем профессорам подписать заявление, что они осуждают эту организацию. Только пять профессоров отказалось — и среди них первый был Тимирязев. Из-за малоизвестной ему студенческой организации он рисковал всей своей ученой карьерой... Но его совесть не знала колебаний. И так он поступал всегда. Понятно, что при этом старом порядке он, несмотря на все заслуги, не мог сделать «высокой академической карьеры».

Та же непреклонная совесть гражданина определила два его поражающе ярких и исторически важных выступления на закате его жизни: выступление против войны в то время, когда еще большинство даже социалистов, увлеченные волною, блуждали в кровавом тумане патриотизма; и выступление за полное принятие, полное признание Октябрьской революции — в то время, когда даже часть оставшихся до тех пор верными международному социализму колебалась и отходила от работы на поле Советской республики. Оба раза ему приходилось идти на разрыв многих прежних связей, жертвовать массой прежних симпатий... Но его совесть не знала колебаний.

Социалистическая Академия может с полным правом гордиться не только тем, что она избрала Климентия Тимирязева одним из первых в свои члены, но также и тем, что он сам открыто подчеркивал это свое звание. Он был бесконечно равнодушен ко всяким титулам; но это звание было важно для него потому, что оно выражало его отношение к социалистической науке.

Странная вещь, товарищи! Утрата огромная, невознаградимая; но, взглядываясь в этот чудный образ ученого и гражданина, охватывая взором гигантскую выполненную работу, как-то не можешь остановиться на чувстве грусти. Словно что-то главное не умерло... Да так оно и есть! Ведь этот образ останется в истории, он врежется в памяти поколений; это дело продолжается и продолжается.

Спи же спокойно, учитель истинный! Спи, рыцарь без страха и упрека, до конца



чистый, до конца светлый, до конца верный себе и своему идеалу! Спи, счастливец, один из немногих, кому дана душа бессмертная в жизни человечества! Ибо твоей душой было твое дело; а оно живет, над ним — смерть бессильна.

Слово победы, товарищи, только оно — достойно прозвучать как прощальное слово над могилой Климентия Тимирязева.

### **Предисловие к книге В.О. Лихтенштадта «Гете»83**

Эта работа написана в Шлиссельбургской каторжной тюрьме, той, которой удостоились при старом порядке самые важные преступники против него; написана в годы злейшей предрассветной реакции: рисовать обстановку, думаю, нет надобности. Автора привело туда крушение первой российской революции. Юному «смертнику» из максималистов казнь была заменена «бессрочной» — этой квалифицированной могилой. Но молодость упорно хотела жить: он думал, учился, работал — усвоил марксистское мировоззрение, знакомился с новейшей философией, переводил, писал. Так возникло это произведение.

Прошли долгие годы. Страшный суд разразился над старым порядком; радостно было возвращение к живой жизни. Но и для новой России суровой воспитательницей явилась эта революция, вместе с великими задачами принесла она мучительную кару за нашу историческую отсталость. Кара воплотилась в потоках крови, в гибельном разорении, а может быть, еще злее для уцелевших работников — в подавляющей тяжести огромного дела, которое было возложено на их плечи. Это определило судьбу автора и в значительной мере — его произведения.

Он был еще молод, глубоко сознавал необходимость учиться, чтобы вполне развернуть свои силы — для того же великого дела; чувство, призвание влекло его к работе мысли, к научному и литературному труду. Ему было предложено вступить в сотрудники Социалистической Академии. Он ответил так: «Это было бы исполнением моей заветной мечты; но *теперь* это для меня невозможно: жизнь мобилизовала меня, и я должен отдать свои силы советской и партийной работе». Ему почти не удавалось даже урывать минут, чтобы отделять и заканчивать это свое произведение, которым он очень дорожил и имел полное основание дорожить. Революция дала ему свободу — он отдал свою свободу революции.

Так прошли в надрывающе-напряженном труде не для себя два с половиной года. А затем — смерть на поле битвы...

Задача этой книги — обрисовать научное и философское мировоззрение Гете в его развитии. Гете, один из величайших творцов старой культуры, Гете, олимпиец, счастливый из счастливых мира сего... какое значение имеет он, его духовное развитие для нашей эпохи, ценою жестоких мук сознавшей необходимость иной, новой культуры, эпохи, безумно мятущейся в невиданных противоречиях жизни? Значение большое, глубокое, сложное, которое надо понять.

Новая культура рождается из старой, учится у нее. И всего важнее — учиться *творчеству* во всех областях жизни и мысли. Выступает самая революционная в истории задача: перейти от стихийного творчества к сознательному, от индивидуального к коллективному. Для решения необходимо исчерпать старые пути творчества; а исчерпать их возможно, только овладев ими до конца. Гете — величайший учитель творчества из всех, какие дает нам прошлое. И не только потому, что он создал так много драгоценного на разных полях своей беспримерно широкой деятельности, но еще больше потому, что пути его подходили всех ближе к новейшей задаче. Возрастающей сознательностью в смысле цели и методов характеризуется его «борьба за реалистическое мировоззрение» и возрастающим пониманием того, что под индивидуальным творчеством скрывается коллективная энергия. Да, он принадлежал к индивидуалистическому миру; но тем выше он поднимается в наших глазах, когда силой гения разрывает оболочки этого мира, когда

признает, что для личности невозможна гармония жизни иначе, как в труде для коллективного блага; а еще более, когда свое собственное дело рассматривает, как плод воедино собранных коллективных усилий.

Если первым истинным организатором идей нового мира справедливо считается Маркс, то надо не забывать, что одной существенной, важнейшей чертой своего мировоззрения он обязан Гете. Это та черта, которую автор работы обозначает словом «прагматизм» — термин, испорченный его применением в новейших реакционных школах философии. Знаменитую формулу — «критерий истины есть практика» — Маркс почти прямо взял у Гете, который не раз ее давал и в поэтическом, и в точном философском выражении.

Новая культура стремится к выработке нового человеческого типа, стройно-целостного, свободного от прежней узости, порожденной «дроблением» человека в специализации, свободного от индивидуальной замкнутости воли и чувства, порожденной экономической разрозненностью и борьбой. Гете — один из прекрасных *прообразов* этого типа будущего, человек наибольшей широты и гармонии духа, какие были достижимы — только для гения — на основе старой культуры. Великий художник, ученый, творчески работавший в самых различных отраслях знания, серьезный и глубокий мыслитель, практик-организатор самого широкого размаха, опять-таки не в одной, а во многих областях жизни — яркое свидетельство о том, до чего может подняться человеческая природа. В нашей борьбе за новый тип оно нужно и дорого нам.

Работа покойного товарища рисует Гете с той стороны, которая дает основу для ясного понимания Гете в целом, — со стороны *сознательного оформления* человеческой природы. Что касается изложения, то есть, пожалуй, некоторая незаконченность, недостаточность отделки... да, конечно; мы видели, сколько для этого было объективных оснований. И, правду сказать, не до отделки теперь; да и не так уже она важна.

Дать живой и верный образ гиганта-творца в его борьбе за целостное мировоззрение — это не просто трудная задача; чтобы ее хорошо выполнить, мало самого внимательного изучения, необходимо еще нечто иное, особенное, выражаемое словом «конгениальность». Надо, чтобы все струны великой души находили консонирующий, не искаженный отзвук в том, кто берется изобразить ее. Недаром у нашего автора прорывается иногда ироническое отношение к ученым авторитетам, которых он цитирует, к какому-нибудь консервативно мыслящему английскому джентльмену или немецкому профессору в кантианско-гносеологических очках... Вечно юная, всеобъемлющая, непрерывно созидаящая и разрушающая природа Гете действительно гораздо ближе и понятнее пылко стремящейся, полной разносторонних интересов, практически боевой и в то же время глубоко интеллектуальной революционной душе покойного товарища. Отражение Гете, которое дает эта книга, верно не только голый истиной факта, но и той, я бы сказал, художественной правдой, которая вытекает из органически созвучного понимания.

Прекрасна, поучительна в своем ореоле гениальности и счастья фигура любимейшего сына жизни... Но в вынужденном сопоставлении с нею, право же, ничего для нас не теряет и образ ее скромного истолкователя, одного из представителей иной красоты, тех пасынков жизни и все-таки ее избранных, тех рыцарей идеала, о которых наивными словами далекой эпохи сказано:

«Больше сея любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя».

(1920)

### **Комментарии**

(1) Впервые опубликовано отдельным изданием в 1905 г.

(2) Эпиграфы, взятые Богдановым к статье «Собирание человека», символизируют три выделенные формы общественного сознания: цитата из книги Бытия воплощает авторитарное мышление; тезис К. Маркса является ключевым для материалистического понимания истории, на основе которого Богданов пытается обосновать идеал пролетарского коллективизма; высказывание Ф. Ницше — апофеоз индивидуализма — иллюстрирует мысль А. А. Богданова о том, что борьба индивидуализма против авторитарного прошлого все более отстывает перед его борьбой против социалистического будущего.

Свое отношение к философии Ф. Ницше Богданов сформулировал следующим образом: «Ницше — мыслитель крайне сложный, и авторитарные элементы в его мировоззрении выражены не менее резко, чем индивидуалистические... самая „душа“ человека для него распадается на господина и раба» (Богданов А. А. Падение великого фетишизма. М., 1910. С. 60).

(3) Берне Л. (1786–1837) — немецкий публицист и художественный критик, идейный вдохновитель литературного движения «Молодая Германия». Прославился статьями и памфлетами, с позиций мелкобуржуазного радикализма обличающими монархически-полицейский режим, национализм и политический индифферентизм; в конце жизни увлекся идеями христианского социализма и «католической демократии».

(4) Витализм — восходящее к Аристотелю учение о наличии в живых организмах качественно особых факторов, отсутствующих в неорганической природе. Возрождено в конце XIX в. немецким биологом Г. Дришем (1867–1941), обосновывавшим существование в организме автономной, присущей только живым телам целесообразно действующей силы — энтелехии, или фактора Е.

(5) А. А. Богданов излагает здесь распространенное в большевистской среде понимание этики революционера. Сравните: «...стократ заслуживает название героя тот, кто предпочитает лучше умереть в прямой борьбе с защитниками и оберегателями этого гнусного порядка, чем умирать медленной смертью забитой, надорванной и покорной клячи» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 14). «... Работа в ряду и шеренге убедит в истине марксизма все жизнеспособные элементы...» (там же. Т. 12. С. 65). «Социалисты-революционеры создают Гершуни, Каляевых, мы создаем тоже бесстрашных борцов, но рядовых, но в коллективе, в полку, в войске. Мы воспитываем иные добродетели, чем уважение к общим гражданским правам, к тому, что нельзя красть носовых платков, что личность священна согласно кантовским императивам» (Воронский А. К. Избранная проза. За живой и мертвой водой. М., 1987. С. 547). Под влиянием коллизий революции, гражданской войны и начала социалистического строительства в СССР отдельные большевики мучительно осознавали односторонность этики революционной борьбы.

А. А. Богданов в статье «Законы новой совести» (1924) писал: «Надо помнить, что всякое объективно-лишнее истребление и разрушение, всякая ненужная жестокость преступны по отношению к человечеству, деморализуют коллектив и уменьшают энергию, которой он может располагать в дальнейшей борьбе и в труде. Сколько обманутых, сражавшихся за реакцию, стали потом драгоценными солдатами революции, сколько техников и ученых, сначала враждебных ей, стали потом незаменимо полезными работниками в ее строительстве! И насколько лучше овладевать дворцами для народа, чем их разорять. Член великого коллектива не должен уподобляться жалким дикарям-погромщикам, опустошающим завоеванную страну — свое достояние. Но слишком легко сладкая месть за свои пережитые страдания одевается в костюм „необходимой жестокости“, — нужно большое внимание к своим целям и мотивам, даже для крупных и высокосознательных работников, чтобы избежать преступных ошибок этого типа» (Богданов А. О пролетарской культуре. Л.; М., 1924. С. 341).

(6) «Грядущее рабство» (рус. пер. — СПб., 1884) — сочинение английского философа — позитивиста и социолога Г. Спенсера (1820–1903), направленное против социализма.

(7) Глава из 7-го издания «Краткого курса экономической науки» (1906 г. — первое легальное издание). В 1–6 м изданиях по цензурным обстоятельствам глава о социализме

отсутствовала.

(8) Впервые опубликовано в 1908 г.

Утопический роман Богданова синтезировал черты его многогранной личности: революционные устремления, разработка социалистического идеала, обобщение тенденций развития науки и техники, увлечение астрономией и проблемой продления человеческой жизни путем переливания крови.

Роман с интересом был воспринят в большевистской среде, увидевшей «добросовестное изложение социалистической программы пролетариата в том виде, как она понималась революционным крылом социал-демократии» (*Б. Легран* : Предисловие к кн.: Богданов А. Красная звезда. Л., 1929. С. 4). По свидетельству рабочего С. Долныкова, в романе, вышедшем в эпоху реакции, увидели ласточку на скорое возрождение революции (*Пролетарская культура*. 1918. № 3. С. 31). Н. И. Бухарин вспоминал, что революционная молодежь с «трепетом и восторгом» читала страницы «прекрасной „Красной звезды“» (*На новом поле*. М., 1928. С. X.) А. М. Горький, читавший роман в рукописи, отметил: «И нравится, и нет, но — вещь умная» (*Архив А. М. Горького*. Т. XIV. С. 20). Восторженной рецензией откликнулся на появление «Красной звезды» А. В. Луначарский, подчеркнувший, однако, что от «кристальной атмосферы разумности» социалистического Марса «веет холодком» Луначарский тонко подметил самокритику автора, противопоставившего «Марсову культуру с ее рационализмом и позитивизмом — буйной, юношеской земной культуре, которой гораздо труднее достигнуть гармонии, но которая обещает нечто гораздо более богатое, чем схематичная и сухая, при всей ее величавой стройности, культура марсиан» (*Образование*. 1908. № 5. С. 119–120).

После переиздания романа в 1918 г. в нем выделяли способность изображением «идеального, но вполне осуществимого будущего вдохнуть бодрость в людей, утомленных жестокой международной и социальной войной» (*Вестник жизни*. 1918. № 1. С. 119) и антитезу представлениям о «карточном социализме», сложившимся под влиянием «военного коммунизма» (*Пролетарская культура*. 1918. № 3. С. 31). Даже в 1929 г. Б. В. Легран (член партии с 1901 г.) писал о «необыкновенной полноте художественной правды», с которой Богданов обрисовал организацию производства и уклад общественных отношений в обществе, где завершился процесс отмирания государства с его аппаратом принуждения «Красная звезда» рассматривалась в ряду классических социалистических утопий.

В 60 — 80е гг. историки научной фантастики акцентировали внимание на богатстве научно-технических прогнозов Богданова, предсказавшего космические корабли с атомными двигателями, роль автоматизации, вычислительных машин, синтетических материалов, стереокино и др. (см.: *Рюриков Ю. Б.* Через 100 и 1000 лет М., 1961. С. 86; *Бритиков А. Ф.* Русский советский научно-фантастический роман. Л., 1970. С. 49–55; *Парнов Е. И.* Зеркало Урании. М., 1982. С. 54). Одновременно отмечалась конкретизация Богдановым идей великих утопистов прошлого (см.: *Брандис Е., Дмитревский В.* Через горы времени М.; Л., 1963. С. 138), талантливое соединение технической утопии с идеей социальной революции и научными представлениями о коммунизме (А. Ф. Бритиков). Ю. М. Медведев (*Русская фантастическая проза XIX — начала XX в.* М., 1986. С. 692) рассматривает кульминационные сцены романа как переосмысление Богдановым призыва Ф. М. Достоевского «Главное — люби других, как себя» применительно к глобальным кризисным ситуациям современности. Ранее Е. Брандис и В. Дмитревский выделили гуманистическую идею «союза миров», родственную Великому Кольцу в «Туманности Андромеды» И. А. Ефремова.

Издание художественных произведений Богданова в США (1984) снабжено весьма содержательными статьями историка литературы Р. Стайтса и науковедом Л. Грэхэма (отметившего, в частности, что Богданов блестяще предвосхитил многие проблемы «постиндустриального общества»: опасность атомной энергии, загрязнение окружающей среды, недостаток естественных ресурсов и пищи).

Р. Стайте подчеркивает, что Богданов рассматривал социализм как результат не только

социальной, но и научно-технической революции. Оба автора выделяют в уста математика Стэрни предупреждения Богданова о возможных деформациях «социализма в одной стране». Подробный анализ литературы о Богданове-фантасте дан в обзоре Г. Гловели в сборнике ИНИОН «Социокультурные утопии XX в.» (Вып. 6. М., 1988).

Печатается с сокращениями.

(9) *Кюри, Мария* (Склодовская, 1867–1934) и *Пьер* (1859–1906) — французские физики, пионеры изучения радиоактивности.

(10) *Рамзай У.* (1852–1916) — английский химик и физик.

(11) *Теллурические планеты* — т. е. планеты земного типа (лат. «tellus» — «земля»), к которым в астрономии относят Марс, Венеру и Меркурий, в отличие от так называемых планет-гигантов — Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

(12) *Способ «пушечного выстрела»* — имеется в виду знаменитая диалогия Ж. Верна «Из пушки на Луну» (1865–1869).

(13) Описание устройства этеронефа А. А. Богдановым показывает, как внимательно он следил за развитием научно-технической мысли. Один из пионеров космонавтики Н. А. Рынин подчеркивал, что Богданов впервые высказал идею использования атомной энергии для двигателей космических кораблей (см.: В бой за технику. 1934. № 8), опередив в этом даже самого К. Э. Циолковского. Рынин разобрал устройство этеронефа в специальном разделе своей книги «Меж планетные сообщения» (Кн. I. Вып. 2. 1928). Выдающийся русский летчик и изобретатель Л. М. Мацеевич (1877–1910), по свидетельству современников, «самым серьезным образом входил в обсуждение технической стороны предположений А. Богданова, выясняя конструкцию того аппарата, на котором должны были лететь марсиане» (Сборник памяти Л. М. Мацеевича. СПб., 1910. С. 17). К сожалению, в последнее время приходится читать нелепые утверждения о том, что Богданов отправил своего героя на коммунистический Марс «с божьей помощью» (*Лебедев А.* Последняя религия // Вопросы философии 1989. № 1. С. 51.)

(14) *Скиапарелли Дж. В.* (1835–1910) — итальянский астроном, в 1877 г. от крившии на поверхности Марса сеть тонких линий, названных им «каналами».

(15) Впервые опубликован в 1912 г. (хотя на титульном листе стоит 1913 г.).

Роман, по словам самого Богданова, посвящен «столкновению пролетарской и буржуазной культуры» (Деятели СССР и революционного движения России. М., 1989. Стлб. 33). Имеется в виду столкновение буржуазно индивидуалистического и пролетарски-коллективистского миропонимания в дебатах между Мэнни и Нэтти. Однако «коллективист» Нэтти, по существу, выражает эмпириомонистическую философию автора, что обусловило отрицательное отношение к роману В. И. Ленина, указавшего на глубоко «спрятанный» махизм (см.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 48. С. 161).

«Инженер Мэнни» не вызвал такого интереса, как «Красная звезда». Критика не без оснований отмечала его сухость и схематичность. Возражения вызвала и ориентация Богданова на переход к социализму при помощи «всеобщей организационной науки».

Время позволяет по-новому взглянуть на роман: увидеть в нем первое в мировой литературе предупреждение об опасности ядерного омницида, заострение вопроса о необходимости широкого общественного контроля над техническими специалистами и «экспертами» и др.

(16) Раздел одной из глав основной работы А. А. Богданова «Всеобщая организационная наука: тектология» (кн. 2, 1917). Статья интересна тем, что поднимает вопрос об альтернативных вариантах развития общества в зависимости от идеала наиболее влиятельного класса или социальной группы. Видна также несостоятельность упрека А. А. Богданову в технократических иллюзиях (см.: *Ильенков Э. В.* Ленинская диалектика и метафизика позитивизма. М., 1980. С. 88): технократическая модель (идеал научно-технической интеллигенции) рассматривается Богдановым как одно из «тектологически мнимых» разрешений противоречий капиталистического общества. Чрезвычайно важен его вывод о том, что коллективистское общество — высокодифференцированная система, в

которой будут возникать новые «расхождения» и противоречия; к сожалению, этот вывод не получил развития в экономических учебниках Богданова, где социализм упрощенно трактуется как общество без противоречий.

(17) *Сийес Э. Ж.* (1748–1836) — аббат, деятель Великой французской революции, позднее бонапартист, в 1809 г. получил от Наполеона титул графа.

(18) *Дезингрессия* — тектологическое понятие, обозначающее разрыв связей между комплексами.

(19) *Конъюгация* — тектологическое понятие, обозначающее соединение комплексов.

(20) Главы из книги, вышедшей в 1918 г. Первая вошла затем во 2 том (вып. 4) «Курса политической экономии» А. Богданова и И. Степанова.

(21) *Ариосто Лудовико* (1474–1533) — итальянский поэт эпохи Возрождения, создатель поэмы «Неистовый Роланд» (1516).

(22) *Лурье М. А. (Ю. Ларин)* (1882–1932) — экономист и журналист. Член РСДРП с 1900 г., меньшевик. В августе 1917 г. на VI съезде РСДРП (б) в составе «межрайонцев» принят в большевистскую партию. После Октябрьской революции — один из руководителей ВСНХ, председатель Комитета хозяйственной политики, с 1921 г. — член Президиума Госплана. В экономических работах Ларина ощутимо влияние идеологии «военного коммунизма», его левые перегибы неоднократно критиковал В. И. Ленин.

(23) Письмо является ответом на предложение А. А. Богданову занять пост в Наркомате просвещения.

(24) Богданов был женат на Наталье Богдановне Малиновской (урожд. Корсак, 1865–1945). Вторая семья — сын Богданова и Анфусы Ивановны Смирновой (1873–1914) Александр Малиновский (р. 1909) и воспитывавшая его после смерти матери Лидия Павловна Павлова (1881–1952).

(25) II том «Тектологии» издан на средства автора в 1917 г. Том завершался разделом «Современные идеалы» (наст. изд., с. 283–294).

(26) См. также наст. изд., с. 441.

(27) 3 (16) ноябр. 1917 г. газ. «Новая жизнь» под заголовком «Отставка А. В. Луначарского» опубликовала заявление А. В. Луначарского в Совнарком. Луначарский писал, что услышал от очевидцев о бомбардировке Кремля, в котором собраны все главнейшие художественные сокровища Москвы и Петрограда, и разрушении собора Василия Блаженного и Успенского собора. Признавая свое бессилие перед ужасом борьбы, ожесточившейся до звериной злобы, Луначарский писал, что не может этого вынести и за явил о своем выходе из состава Совнаркома. 7 (20) ноября орган МК РСДРП (б) «Социал-демократ» поместил статью военного комиссара Кремля Ем. Ярославского «Жалеете камни, а не жалеете людей». В жесткой форме упрекая Луначарского в том, что он не потрудился выяснить истинные обстоятельства вынужденного артобстрела Кремля, в котором засели юнкера, Ярославский писал: «Мы знаем цену таким людям: они покидают нас каждый раз, когда особенно нужны силы... Они революцию хотели бы видеть разодетой в светлые ризы, в перчатках хотели бы совершить ее, не запачкав свои холеные руки». Ответом на заявление Луначарского стало и стихотворение В. Кириллова «Мы» (см. наст. изд., с. 449).

(28) 27–28 мая 1915 г. под воздействием слухов о «немецких и австрийских шпионах» в Москве произошел крупный погром. Расследование, проведенное по экстренному постановлению городской думы, выяснило, что во время погрома «пострадало в пределах городской черты 475 торгово-промышленных предприятий и 217 квартир и домов, размер убытков... 38 1/2 млн рублей, в числе пострадавших было 113 германских и австрийских подданных, 489 русских с иностранными фамилиями и 90 лиц с чисто русскими фамилиями» («Журнал Московской городской думы», 1915. № 13. Стлб. 11).

(29) Статья опубликована в 1918 г. в № 1 журнала «Рабочий мир» — органа московских кооперативных организаций. Интересно, что в том же номере была опубликована статья крупнейшего теоретика сельскохозяйственной кооперации А. В. Чаянова «Кооперация и художественная культура».

(30) Международный социалистический конгресс в Копенгагене (VIII конгресс II Интернационала) проходил с 28 августа по 3 сентября 1910 г. На конгрессе развернулась борьба по вопросу о роли и задачах кооперативов в революционной борьбе пролетариата. В. И. Ленин, входивший в кооперативную комиссию конгресса, написал в связи с этим статью «Вопрос о кооперативах на международном социалистическом конгрессе в Копенгагене» (см.: Полн. собр. соч. Т. 19. С. 345–354).

(31) *Анселе (Ансель) Э.* (1856–1938) — один из лидеров Рабочей партии Бельгии, член Исполкома Международного социалистического бюро II Интернационала.

(32) Брошюра, объединяющая 3 статьи, издана в 1918 г., в концентрированной форме излагает взгляды А. А. Богданова на социальную роль науки и необходимость всестороннего научно-технического просвещения трудящихся масс. Убедительно показывая практически-трудовую основу науки, Богданов вместе с тем неправомерно сводит роль науки исключительно к орудию организации общественного труда, недооценивая ее значение как духовно-ценностной формы освоения мира. В работе есть элементы вульгарного социологизма, послужившие основой ряда упрощенных пролеткультовских концепций. Надо отметить, что на I Всероссийской конференции пролеткультов один из делегатов, Б. А. Донченко, показал ограниченность сугубо инструменталистского толкования А. А. Богдановым науки и вообще культуры, отметив: «В каждой науке следует различать три элемента: 1) утилитарный, как организующий нашу жизнь, 2) идеологический, формирующий наше мировоззрение, и 3) облагораживающий, поднимающий общество на высшую ступень культуры. Эти три элемента должны проникнуть в пролетарскую культуру» (Протоколы первой Всероссийской конференции пролетарских культурно-просветительных организаций. М., 1918. С. 38).

Ограниченность инструменталистского понимания культуры обусловила и не вполне правильную оценку Богдановым научной популяризации, выполняющей не только просветительские задачи, но я в лучших своих образцах дающей «радость, озарение, сознание гармоничности мира» (*Разгон Л. Э.* Живой голос науки. М., 1986. С. 5).

(33) *Кастильские астрономы* — придворные астрономы короля Леона и Кастилии Альфонса X Мудрого (1221–1284), составившие по его поручению новые таблицы движений планет.

(34) *Перри Дж.* (1850–1920) — английский математик и физик.

(35) Идеи Рабочего Университета и Рабочей Энциклопедии впервые были подробно обоснованы Богдановым в брошюре «Культурные задачи нашего времени» (1911). Позднее развернутая программа организации Пролетарского университета была изложена в статье «Пролетарский университет» (*Пролетарская культура.* 1918. № 5. С. 9 — 20) и в докладе на московской конференции пролеткультов (*Вестник жизни.* 1919. № 6/7. С. 133). Предполагалось, что созданный в 1918 г. в Москве Пролетарский университет, в котором А. А. Богданов читал курс «всеобщей организационной науки», будет работать в тесной связи с Социалистической академией и партийными организациями. Университет ставил задачей апробировать новые формы обучения, основанные на равноправии преподавателей и слушателей, и подготовить кадры «рабочих вождей» из среды самих рабочих. В июле 1919 г. он был закрыт ввиду тяжелой обстановки на фронтах гражданской войны.

(36) Опубликовано в 1918 г. в № 4 журнала «Пролетарская культура».

(37) *Нуаре Л.* (1827–1897) — немецкий филолог и философ. В работе «Происхождение языка» (1877) выдвинул теорию возникновения речи из «трудовых криков», высоко оцененную А. А. Богдановым.

(38) *Леббок Дж.* (1834–1913) — английский этнограф и археолог, последовательный сторонник естественноисторического сравнительного метода в исследовании человеческой культуры.

(39) *Левенгук А., ван* (1632–1723) — нидерландский натуралист, один из основоположников научной микроскопии.

(40) *Уоллес А. Р.* (1823–1913) — английский натуралист, независимо от Ч. Дарвина

разработавший теорию естественного отбора; основоположник зоогеографии.

(41) Написано в 1913 г.

(42) Неточная цитата: «Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 43. С. 4).

(43) А. А. Богданов подразумевает исследование немецкого экономиста К. Бюхера (1847–1930) «Работа и ритм» (рус. пер. СПб., 1899; М., 1923).

(44) *Мюллер М.* (1823–1900) — английский востоковед, филолог, языковед и историк религии, основоположник натуралистической (солярно-метеорологической) школы мифологов.

(45) *Плато Ж. А. Ф.* (1801–1883) — бельгийский физик. Опыт Плато описан в книге Я. И. Перельмана «Занимательная физика» (21е изд. Кн. I. М., 1983. С. 79–80).

(46) *Бючли О.* (1848–1920) — немецкий зоолог.

(47) Впервые опубликовано в сб.: *Богданов А.* О пролетарской культуре. Л.; М., 1924.

(48) *Потресов А. И. (Старовер)* (1869–1934) — социал-демократ, входил в Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», редакцию газеты «Искра» (1900–1903). После II съезда РСДРП — один из лидеров меньшевизма, после революции 1905–1907 гг. — ликвидатор. Играл руководящую роль в меньшевистском органе «Наша заря», где в 1912 г. опубликовал статью о «трагедии пролетарской культуры». Считал, что, поскольку энергия пролетариата уходит на борьбу с капитализмом, нет возможностей для развития пролетарской культуры. Во время первой мировой войны — шовинист, после Октябрьской революции эмигрировал.

(49) Данное утверждение Богданова объясняется тем, что высказывания К. Маркса об искусстве в то время не были собраны и систематизированы. Изучение эстетических взглядов Маркса началось лишь в 20е гг.

(50) *Алексинский Г. А.* (1879–1967) — политический ренегат. В 1905–1908 гг. примыкал к большевикам. В 1909 г. — один из организаторов группы «Вперед» и лектор школы на о. Капри. С 1910 г. начал «разлагать группу своим дегенеративным честолюбием» (*Луначарский А. В.* Воспоминания и впечатления. М., 1968. С. 236), резко выступил против богдановской идеи пролетарской культуры, что повлекло разрыв Богданова с группой. В 1912 г. примкнул к Августовскому блоку. Во время первой мировой войны — ярый социал-шовинист. В июле 1917 г., сфабриковав совместно с военной контрразведкой фальшивые документы, оклеветал В. И. Ленина и большевиков. В апреле 1918 г. выехал за границу. В 1920 г. заочно осужден ревтрибуналом ВЦИК по делу контрреволюционной организации «Тактический центр».

(51) «*Дубинушка*» — собирательное название русских народных песен, происходящих от трудовых припевок рабочих артелей. В 70е гг. XIX в. песня «Дубинушка» на стихи В. Богданова приобрела революционное звучание в обработке поэта-народника А. А. Ольхина, получила общенародное распространение в период революции 1905–1907 гг., когда ее пропагандировали А. М. Горький и Ф. И. Шаляпин — непревзойденный исполнитель песни.

(52) *Куропаткин А. Н.* (1848–1925) — генерал-адъютант, главнокомандующий вооруженными силами на Дальнем Востоке в период русско-японской войны 1904–1905 гг., отстранен после поражения русской армии в сражении под Мукденом.

(53) *Мейстерзингеры* — певцы ремесленных цехов эпохи подъема немецких городов и складывающейся бюргерской культуры (XIV–XVI вв.), в отличие от миннезингеров — средневековых рыцарей-лириков. Одним из выдающихся мейстерзингеров был поэт-башмачник Г. Сакс (1494–1576).

(54) *Самобытник (Маширов) А. И.* (1884–1943) — пролетарский поэт. С 12 лет работал на металлической фабрике с 1900 г. — участник революционного движения, с 1905 г. — член РСДРП (б). Один из организаторов кружка рабочих поэтов при «Правде». Участник Октябрьской революции в Петрограде. В 1918–1920 гг. товарищ председателя ЦК Пролеткульта. В дальнейшем — на редакторской работе.



(55) Впервые опубликовано в 1920 г.

Первая Всероссийская конференция пролетарских культурно-просветительных организаций состоялась в Москве 15–20 сентября 1918 г. С докладами выступили П. И. Лебедев-Полянский, А. А. Богданов, В. В. Игнатов, Н. К. Крупская, Е. П. Херсонская.

В. И. Ленин обратился к делегатам конференции с приветствием, в котором призывал пролетарские культурно-просветительные организации помочь «в деле выдвигания рабочих для управления государством» (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 37. С. 87). Однако этой задаче не соответствовало принятое конференцией решение о самостоятельном месте культурно-просветительного движения пролетариата наряду с политическим и экономическим движением, повлекшее в дальнейшем требование об «автономии» Пролеткульта от Наркомпроса, что стало одной из причин его критики.

В резолюции, принятой конференцией, говорилось, что «пролетариат должен постичь все достижения предыдущей культуры, усвоить из нее все то, что носит на себе печать общечеловеческого» (Протоколы первой Всероссийской конференции пролетарских культурно-просветительных организаций. М., 1918. С. 29). На заявление одного из делегатов: «... отбросим целиком буржуазную культуру как старый хлам», — один из руководителей Пролеткульта Ф. И. Калинин возразил: «Предыдущий оратор выразил анархистско-интеллигентскую точку зрения (возгласы: „Правильно“). Без знакомства с прошлой культурой мы не сможем сделать ни шагу... Надо понять прошлое, для того чтобы идти вперед» (там же. С. 30).

(56) *Успенский Г. И.* (1843–1902) — русский писатель-народник. Имеется в виду его знаменитый художественный очерк «Выпрямила» (1885), рассказывающий о животворном катарсическом воздействии возвышенной красоты Венеры Милосской на человека, угнетенного «горьким, страшным и подлым».

(57) Это положение А. А. Богданова имело важное значение для творческой практики пролетарских поэтов. Например, в 1921 г. Яков Бердников писал в газете «Петроградская правда» (6 декабря):

Для вольных трудящихся классов,  
Кто творчеством жизни томим.  
Дворянское имя Некрасов  
Останется вечно родным.

Несостоятельно утверждение критика З. С. Паперного о том, что эти стихи якобы недопустимы «с точки зрения беспощадной пролеткультовской ортодоксии» (Пролетарские поэты первых лет советской эпохи. Л., 1959. С. 39).

В 1922 г. идею «сотрудничества поколений» блестяще развил в своих статьях «Искусство в стихии революции» и «В борьбе за новое искусство» (Сибирские огни. 1922. № 1, 5) критик-публицист Валериан Правдухин (1891–1939).

(58) Впервые опубликовано в 1918 г. в № 2 журнала «Пролетарская культура».

(59) Следует иметь в виду, что в период первой мировой войны лозунги патриотизма носили ярко выраженный шовинистический характер и противопоставлялись интернационалистической позиции, занимаемой большевиками и частью левой демократической интеллигенции (например, А. А. Богдановым, В. В. Вересаевым, А. М. Горьким, В. В. Маяковским, К. А. Тимирязевым и др.).

(60) Изложенная здесь Богдановым своеобразная «трехчленная формула» общественного процесса совпадает с подходом основоположника современной культурологии американского философа Лесли А. Уайта (1900–1975), выделявшего три подсистемы культуры: технологическую, социальную и идеологическую (White L. A. *The Sciens of Culture*. N. Y., 1949).

(61) Имеется в виду так называемый «шекспировский вопрос», широко дебатировавшийся в научно-литературных кругах XIX–XX вв. в связи с попытками

поставить под сомнение авторство У. Шекспира (см.: *Е. Б. Черняк* . Пять столетий тайной войны. М., 1985. С. 88 — 116).

(62) *Менье К* . (1831–1905) — бельгийский скульптор; изображая типичных представителей рабочих профессий, стремился реалистически показать тяжесть капиталистического гнета, придать теме труда героическое звучание.

(63) *Кубиков (Дементьев) И. Н.* (1877–1944) — литературовед. Из рабочих. Член РСДРП с 1902 г., меньшевик. С 1912 г. регулярно печатал статьи по вопросам литературы в марксистских газетах и журналах. Основную задачу пролетарской критики видел в популяризации художественных ценностей прошлого среди широких рабочих слоев. После Октябрьской революции преподавал в советских вузах. Автор книги «Рабочий класс в русской литературе» (1924).

(64) Впервые опубликовано в 1918 г. в № 3 журнала «Пролетарская культура».

(65) Имеется в виду, что так называемые «новокрестьянские поэты» (С. Есенин, Н. Клюев, С. Клычков и другие) в 1917–1918 гг. находились под сильным воздействием левоэсеровского критика Р. Иванова-Разумника, активно печатались на страницах левоэсеровских изданий В стихах крестьянских поэтов восторженное воспевание революции как «вселенского обновления» (объединявшее их с поэтами Пролеткульта, например, «Кантата», созданная совместно М. Герасимовым, С. Есениным и С. Клычковым) сочеталось с религиозно-архаической символикой, сельским колоритом, противопоставлением Земли и Деревни Городу и Машине, «мужицкого рая» — социалистическому идеалу промышленного пролетариата. Характерна дарственная надпись, сделанная С. Есениным на книге «Преображение»: «А. Богданову. Без любви, но с уважением. С ненавистью, но с восхищением. Без приемлемости индустрии. С. Есенин». В архиве А. А. Богданова сохранились также сборники стихов с дарственными надписями крестьянских поэтов С. Клычкова («Дубравна», 1918), Н. Клюева («Медный кит», 1918) и А. Ганина («Былинное поле», 1924).

(66) *Торский В. (Царев М. Д.)* (1893–1952) — пролетарский поэт. Наиболее крупное произведение — поэма «Парижская коммуна» (1921).

(67) Показательно, что Литературная энциклопедия (М., 1929. Т. 1. С. 529) упрекала Богданова в том, что он «упорно выдвигал мотивы коллективизма и товарищеского сотрудничества за счет мотивов борьбы... в разгар гражданской войны он всячески затушевывал разрушительные и боевые задачи пролетариата, протестовал против чрезмерного сосредоточения на точке зрения социальной борьбы, против сведения искусства к организующей боевой роли, предостерегал пролетарских поэтов от увлечения „солдатской“ психологией, ратовал против „жестоких и грубых символов“».

(68) Нетрудно видеть, что эта формулировка противоречит собственным положениям А. А. Богданова о способности искусства прошлого служить средством просветления и воспитания пролетариата. Лозунг «чистой» пролетарской культуры на практике, как правило, вырождался в цеховщину и непонимание союза рабочего класса с непролетарскими трудящимися слоями.

(69) Сравните с этими мыслями А. А. Богданова характерное признание известного критика А. Тарасенкова в статье «Война за социализм» (1933): «Врагов в начале мы изображать еще как следует не научились. Они были звероподобны, пьяны, они проходили по литературе, часто только матерясь и бляя, насилуя и вешая. Конечно, все эти черты у них были — нелицеприятное тому свидетельство, хотя бы в „20 м годе“ белогвардейца Шульгина. Пожалуй, как следует, полнокровно и художественно, только Шолохову удалось показать умного врага» (*Тарасенков А* . Статьи о литературе. М., 1958. Т. 1. С. 20). Однако именно за «объективизм» и отсутствие «пролетарской классовой ненависти» в изображении белогвардейских генералов рапповская критика 1929–1930 гг. готова была признать «порочным» весь «Тихий Дон» М. А. Шолохова.

(70) *Бессалько П. К* . (1887–1920) — один из первых рабочих-писателей. В 1911 г. вместе с А. В. Луначарским, Ф. И. Калининым, А. К. Гастевым и М. П. Герасимовым основал

в Париже Лигу пролетарской культуры. После Октябрьской революции работал вместе с известным актером и режиссером А. А. Мгебровым над созданием пролетарского театра. Опубликовал несколько автобиографических произведений (наиболее крупное — «Катастрофа», по отзыву А. К. Воронского, «с потрясающей правдой» рассказывающее о «гнусном и темном времени реакции 07–08 годов») и сборник стилизованных легенд «Алмазы Востока». «Фанатик культурного самоутверждения пролетариата» (Литературная энциклопедия. М., 1929. Т. 1.), Бессалько придерживался крайних левацких взглядов, не разделявшихся большинством деятелей Пролеткульта: рассматривал крестьянство как сплошную реакционную массу, враждебно относился к интеллигенции, отрицал преимущество культуры.

(71) *Кириллов В. Т.* (1890–1943) — один из пролетарских поэтов. Трудовую жизнь начал с 9 лет, юношей активно участвовал в революционных волнениях на Черноморском флоте (1905–1906), был подвергнут ссылке, где начал писать. Впоследствии зарабатывал на жизнь игрой на мандолине, в составе оркестра народных инструментов ездил в Америку (1911). В 1912 г. сблизился с кружком поэтов-правдивов. Активный участник Октябрьской революции в Петрограде, в своих стихах 1917–1918 гг. сумел ярко запечатлеть атмосферу незабываемых дней, когда «каждый был выше на голову, и было новое даже в походке». Вместе с тем допускал идеологические срывы, к числу которых относится нигилистический призыв в стихотворении «Мы». Эти «громкие, но пустые строки» (С. Есенин) воспринимались и, как правило, позднее выдавались за лозунг Пролеткульта. О неверности такого взгляда свидетельствует не только принципиальное осуждение «гинденбургского образа» А. А. Богдановым, но и написанное в ответ Кириллову одноименное стихотворение его друга М. П. Герасимова, в котором воплощена идея «сотрудничества поколений» и преимущества пролетариата с творцами и идеалами прошлых эпох:

В кристаллах мрамора Анжело  
И все, чем дивен был Парнас,  
Не то ли творческое пело,  
Что током пробегает в нас?  
Мы клали камни Парфенона  
И исполинских пирамид,  
Всех сфинксов, храмов, пантеонов  
Звонящий высекли гранит.

(Герасимов М. Стихотворения. М., 1959. С. 69–70).

Сам В. Кириллов в 1919 г. уже писал, что «с нами лучезарный Пушкин и Ломоносов, и Кольцов» (Стихотворения и поэмы. М., 1970. С. 57). В 1921 г. он пережил идейный и художественный кризис, не приняв нэпа и выйдя из РКП (б). В дальнейшем сблизился с крестьянскими поэтами — Н. Клюевым, С. Клычковым, от имени Всероссийского союза писателей произносил речь на похоронах С. Есенина. Сборники стихов «Вечерние ритмы» (1927) и «Голубая страна» (1928) показывают, как далеко ушел поэт от пролеткультовских деклараций. В 30-е гг. он объездил многие новые стройки и промышленные районы страны, писал по преимуществу на историко-революционные темы. В 1937 г. незаконно репрессирован. Реабилитирован посмертно.

(72) Впервые опубликовано в 1920 г. в № 13/14 и 15/16 журнала «Пролетарская культура».

(73) *Верхарн Э.* (1855–1916) — бельгийский поэт, драматург и художественный критик, основоположник урбанистического искусства. Ввел в поэзию образ капиталистического города как грандиозного узла социальных противоречий, стремительно развертывающегося в ходе устремленного в будущее исторического потока. Новаторство, филигранность и разнообразие формы, умение воплотить в чеканных стихах всю полноту созидательной человеческой деятельности, глубокий лиризм и философичность, пафос

творчества, научных исканий, дерзания мысли и революционного порыва, по словам В. Я. Брюсова и А. А. Блока, снискали Верхарну славу «Данте современности». Его произведения высоко ценили В. И. Ленин, Н. И. Бухарин, А. В. Луначарский, русские рабочие поэты, считая Верхарна художником, наиболее близким пролетариату, посвятили ему свой первый сборник «Наши песни» (1913).

(74) *Райнис Я.* (1865–1929) — национальный поэт и один из пионеров социалистической мысли Латвии. В 90е гг. был в числе идейных руководителей прогрессивной латышской интеллигенции, пропагандировал марксистские идеи. Циклом стихов «Посевы бури» (1905) выступил как «буревестник» революции 1905 г. в латышской литературе. В 1909–1913 гг. обратился к драматургии. Лирика и пьесы Райниса раскрывают идеи освободительной борьбы пролетариата.

(75) *Герасимов М. П.* (1889–1939) — крупнейший поэт Пролеткульта, большевик. Активный участник революции 1905 г. После ареста и тюремного заключения в 1907 г. уехал за границу, вошел в основанную в 1911 г. в Париже А. В. Луначарским Лигу пролетарской культуры, занялся поэтическим творчеством. Сотрудничал в «Правде» и большевистском журнале «Просвещение», участвовал в 1 м и 2 м сборниках пролетарских писателей (1914, 1917). А. М. Горький писал Герасимову летом 1914 г.: «Вами и подобными Вам зачинается на Руси новая, истинно демократическая, настоящая народная литература!» (Литературное наследство. М., 1988. Т. 95. С. 641) Герасимов ввел в поэзию новые темы и образы, отражающие жизнь и борьбу заводского рабочего, на первую мировую войну откликнулся яркими антимилитаристскими стихами, проникнутыми духом пролетарского интернационализма. За антивоенную пропаганду в иностранном легионе французской армии был выслан в Россию. Неоднократно подвергался арестам. В 1917–1918 гг. — один из руководителей борьбы за Советскую власть в Самаре: председатель Совета солдатских депутатов, губвоенком, командир отрядов Красной гвардии, организатор Самарского пролеткульта и журнала «Зарево заводов». Член ВЦИК 1го созыва. С 1920 г. целиком отдался литературному творчеству.

Показав себя как «настоящий поэт и настоящий мастер» (В. Я. Брюсов), Герасимов, однако, встал на ложный путь соединения рабочей тематики с формальными приемами, заимствованными у символистов, ученическое подражание которым (подвергнутое критике А. А. Богдановым и другими пролеткультовскими критиками) привело поэта к творческому тупику, усугубившемуся идейным кризисом, вызванным неприятием нэпа и выходом из РКП (б) в 1921 г. В дальнейшем стихи Герасимова не достигали большой художественной силы. В 1937 г. был незаконно репрессирован. Реабилитирован посмертно.

(76) *Ходасевич В. Ф.* (1886–1939) — русский поэт и литературовед. В 1918–1921 гг. читал лекции по художественной технике для студийцев Пролеткульта. С 1922 г. — в эмиграции. В 1937 г. в парижской газете «Возрождение» были опубликованы его воспоминания «Пролеткульт», перепечатанные в 1988 г. журналом «Молодой коммунист» (№ 7. С. 59–61) с редакционным примечанием, что «это живое свидетельство современника даст нашему читателю зримое представление о Пролеткульте». С подобной характеристикой категорически нельзя согласиться. Мемуарный очерк Ходасевича описывает, причем весьма субъективно, частный эпизод и не может дать понимания всей широты задач Пролеткульта. Ходасевич обвиняет «главарей» Пролеткульта в пагубном захваливании рабочих-поэтов. Однако, как видно из отзыва А. А. Богданова о поэме М. Герасимова «Мона Лиза», Богданов критиковал пролетарского поэта именно за то, что отметил в своей рецензии и Ходасевич: подражательство символистам.

(77) *Львов-Рогачевский В. Е.* (1874–1930) — литературовед, член РСДРП с 1898 г., меньшевик. Активный участник революции 1905 г. После Октябрьской революции занимался культурно-просветительной и литературно-организационной деятельностью. Автор многих пособий по истории русской и советской литературы.

(78) *Базальжет Л.* (1873–1929) — французский поэт-универсал, переводчик и литературный критик, автор биографий Э. Верхарна (рус. пер., 1909) и У. Уитмена.

(79) *Садофьев И. И.* (1889–1965) — пролетарский поэт. В детстве был пастухом, батрачил, с 13 лет работал на заводах в Петербурге. С 1913 г. печатался в «Правде». После Октябрьской революции — депутат Петросовета, член рабочей дирекции Металлического завода, член ЦК Пролеткульта. Известность получил его сборник «Динамо-стихи» (1918). Участник гражданской войны. В дальнейшем — на редакторской работе.

(80) «Кузница» — литературное объединение, выделившееся в 1920 г. из Пролеткульта ввиду разногласий с его руководством. Пролетарские поэты М. Герасимов, В. Кириллов и другие, будучи неудовлетворенными схематичным и рационалистическим подходом П. И. Лебедева-Полянского и А. А. Богданова к вопросам художественного творчества и недостаточным вниманием к росту профессионального литературного мастерства в рамках широких задач Пролеткульта, выступили с инициативой создания независимого Всероссийского союза пролетарских писателей, на съезде которого (май 1920) разгорелась полемика между Богдановым, упрекавшим Герасимова в туманности содержания и надуманной изощренности формы, и рабочими поэтами, поддержавшими Герасимова (см.: Кузница. 1920. № 2. С. 26, 27). В дальнейшем в пролетарском литературном движении «Кузница» была оттеснена на второй план «напостовцами» (*Шешуков С. И.* Неистовые ревнители. М., 1970. С. 75–78). В творческих срывах поэтов-«кузнецов» сказалось и влияние пролеткультовской теории («отвлеченный коллективизм»), и неумение создать новую форму, и идейный кризис, вызванный неприятием нэпа. Во 2й половине 20х гг. М. Герасимов и В. Кириллов подверглись травле со стороны рапповской критики (общую характеристику группы см.: *Брюсов В. Я.* Собр. соч. В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 537–543, *Воронский А. К.* Искусство видеть мир. М., 1987. С. 416–459). В журнале «Кузница» (1922. № 7 и 9) опубликовал рассказ «Маркун» и статью «Пролетарская поэзия» А. П. Платонов.

(81) К. А. Тимирязев (1843–1920), русский биолог и популяризатор естествознания, крупнейший пропагандист дарвинизма, еще при жизни стал олицетворением передового ученого конца XIX — начала XX в. Поборник идеи союза науки и демократии, Тимирязев с самого начала своей деятельности ставил перед собой задачу «работать для науки и писать для народа». Приветствовав Октябрьскую революцию, вступил в Социалистическую академию. В знаменитой статье «Чарлз Дарвин и Карл Маркс», опубликованной в журнале «Пролетарская культура» (1919. № 9/10), заявил о своей солидарности с научным социализмом. В докладе на вечере памяти К. А. Тимирязева в Социалистической академии А. А. Богданов охарактеризовал его как новый тип ученого — «монистически мыслящего, социально живущего».

(82) *Союзный совет землячеств* (конспиративное название «Семен Семенович») — организация товарищеской взаимопомощи московских студентов, возникшая в начале 90х годов XIX в. Выступал как хранитель революционных традиций народофильства.

(83) *Лихтенштадт Владимир Осипович* (1882–1919) — русский революционер. Учился в Лейпцигском и Петербургском университетах. Во время революции 1905 г. примкнул к эсерам-максималистам, за изготовление бомбы для покушения на премьер-министра П. А. Столыпина в 1906 г. был приговорен к бессрочному заключению в Петропавловской, затем в Шлиссельбургской крепостях. В тюрьме подготовил обширное исследование «Гете. Борьба за реалистическое мировоззрение. Искания и достижения в области изучения природы и теории познания». Освобожден Февральской революцией. С 1919 г. — член РКП (б) и комиссар Красной Армии. Расстрелян белогвардейцами. Похоронен на Марсовом поле (о нем см.: *Марголис М., Сандлер В.* Сквозь время. М., 1968. С. 5 — 58).

Книга Лихтенштадта, изданная в 1920 г. Социалистической академией под редакцией и с предисловием А. А. Богданова, получила высокую оценку академика В. И. Вернадского, отметившего, что благодаря этой своеобразной работе широкие круги русской общественности впервые ознакомились с «вечным значением Гете-естествоиспытателя» (*Вернадский В. И.* Избранные труды по истории науки. М., 1981. С. 253).